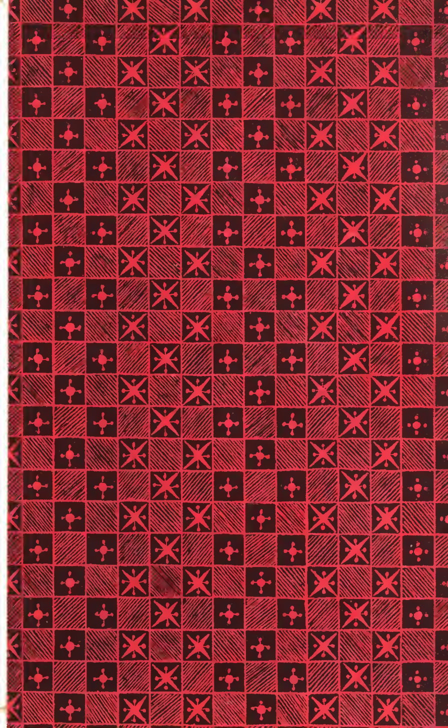
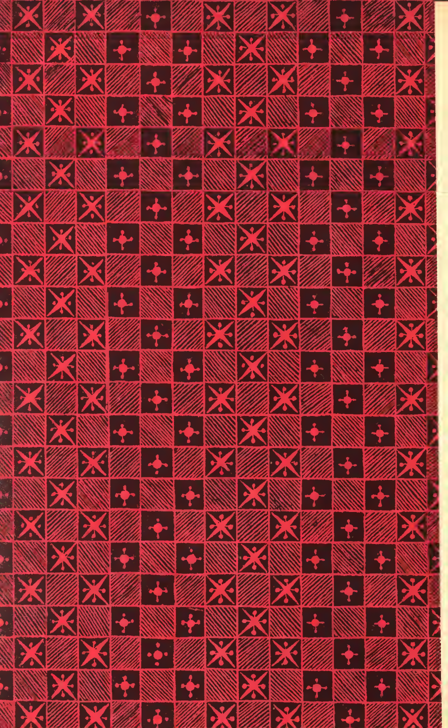
2 Владимир Крупин





Владимир Крупин

ТОМ ВТОРОЙ

Владимир Крупин

ИЗБРАННОЕ В ДВУХ ТОМАХ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1991

Владимир Крупин

ТОМ ВТОРОЙ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1991

ББК 84Р7
К 84

К $\frac{4702010201-057}{078(02)-91}$ 078—91

ISBN 5-235-01445-6 (т. 2)
ISBN 5-235-01444-8

Рассказы

Балалайка

Жителей в деревне осталось трое: старик Авдей и две старухи — Афанасья и Явлинья Ваниха. Самая худая избенка у Авдея. Ограда у него, по его выражению, до Петрограда, ветру рада, то есть нет никакой. Явлинья Ваниха всех старше и все время собирается умирать. Зрение у нее совсем никуда, даже солнышка она почти не видит, а чувствует по теплу. Вот и сейчас она выползла на улицу, сидит на бревнышке, старается угадать, который час.

Подходит Афанасья, она явно с похмелья, но где и как сумела вчера выпить — это тайна, и эту тайну Афанасья унесет в могилу. Обе старухи глуховаты.

— Козлуху мою не видела? — кричит Афанасья.

— Погляди-ко, сонче-то высоко ле? — кричит в ответ Явлинья.

— Тварь мою рогатую, говорю, не видала? — кричит Афанасья. У нее нет сил посмотреть на небо.

— Как я увижу, — кричит Явлинья. — Сама с утра свинью ищу.

Они молча сидят, потом заключают о свинье и козе, что много им чести, чтоб их искать, что захотят жрать — придут, а не придут, туда и дорога, пусть дичают, пусть их волки оприходуют, да они такие, что ими и волки побрезгуют, пусть сами подыхают. А и пусть подыхают, пусть. Много ли Явлинье и Афанасье нужно, ничего не нужно, покой только и нужен.

— Мне дак уж вечный, — уточняет Явлинья.

— Авдея-то не было с утра? — кричит Афанасья.

— И с вечера не было.

— Зови. Пусть «синтетюриху» играет.

«Синтетюриха» — это вятская разновидность «Камаринской».

— Сама зови, чать, помоложе.

Афанасья идет за Авдеем. Стучит в его окно и восклицает:

— Эх, балалайка, балалайка, балалайка лакова! До чего же ты доводишь — села и заплакала. Авдей, золотко, живой? Выходи, дитятко!

Авдей появляется на крыльце. Без балалайки, с маленьким приемником.

— Ой, — изумляется Афанасья. — Лопотина-то на те сколь баска!

— Афанасья, — сурово говорит Авдей. — Кур укороти, а то я их оконтужу. Боле они у тя вороваcты.

Чьи куры в деревне, это настолько давно и прочно перепутано, что Авдей не может этого не знать, но у Афанасьи нет сил напоминать это соседу. На все его выговоры она поддакивает:

— Эдак, эдак, — и, выждав момент, просит: — Авдей, не дай умереть!

— Я, Афанасья, ты знаешь, питье, которое не горит, не пью. Чтоб синим пламенем пылало, у меня так. А такого пока нет, терпи. А пока терпишь, за это время и выживешь.

— Козлухи моей не видал? Нет? Да хоть бы и подохла, кырлага! Тарлаюсь с ней, давеча утром доила, паздернула, молоко разлила по всему двору, чище печки землю выбелила. Авдей, кабы ты ее счинохвостил, я б тебе все вечерошно отдала.

Слово «паздернула» у Афанасьи означает многое — выпивку («бутылку паздернула») и движение («паздернула, тварь шерстяная, со двора»), слово «счинохвостил» тут означает поимку козы, а «вечерошно» — вечерний удой. «Тарлаюсь» в данном контексте — мучаюсь.

— Так чего без балалайки?

— А это чем не музыка? — Авдей прибавляет громкости в приемнике. — Слушай, а то начнется война — и не узнаем.

— Начнется, дак не обойдет, — отвечает Афанасья. — Как в эту-то войну, перед войной без радиа жили, а сто мужиков было, и нет. Эх, сосед, сосед, кто умер, сказано, — тот счастливый, а кто живет — будет мучиться. Вот смотри: то рак, то дурак. Явлинка! — кричит Афанасья. — Давай плясать! Ух! «Синтетюриха телегу продала, на телегу балалайку завела». Авдей!

Авдея долго уговаривать не надо, он меняет приемник на балалайку, садится на бревнышко, подтягивает струны.

Пес Дукат, который дремал до поры, не любит Авдеевой музыки, просыпается и уходит. Дукат — жулик и вор. И ярко выраженный индивидуалист. Были в деревне еще две собаки — сучки, которых курящий Авдей назвал, как и Дуката, именами табачных предприя-

тий — Ява и Фабрика Урицкого, но и Фабрику, и Яву Дукат выжил систематической травлей, и их не видать с весны. Одному Дукату вольготно в деревне, от кого ее охранять? А общие курицы несутся по всем закоулкам, это нравится Дукату. Поэтому, может быть, он сейчас не от балалайки уходит, а пошел обедать.

Явлинья шевелится на бревнышке и, как подсолнух, поворачивается на тепло солнца. Авдей повторяет первые строки без музыки, устраивая балалайку на коленях:

— Синтетюриха телегу продала. На телегу балалайку завела, — потом начинает трепькать:

Приведите мне Ванькю-игрока, да,
Посадите в куть на лавоцьку,
Дайте в руки балалаецьку,
Станет Ванькя наигрывати,
«Синтетюриху» наплясывати,
Старым косточкам потряхивати...

Афанасья переступает на одном месте, поднимает и опускает под музыку плечи, поводит руками.

— Мне уж только для ушей музыка осталась, — кричит Явлинья, — а тебе, Афанасья, еще и для ног. Ой, Авдей, ты заиграешь, дак я лучше слышу и разглядеть свет могу, ой! «Синтетюриха плясала на высоких каблуках! Накопила много сала на боках, да!»

Авдей тут же включается:

— Надо сало-то отсысывати. На реку идти споласкивати...

— На реке-то баня топичча, — частит Афанасья, — в баню милый мой торопичча. Ой, не помычча, не попаричча, золотая рыбка жаричча. В золотой-то рыбке косточки, хороши наши подросточки, двадцати пяти годовеньки, восемнадцати молоденьки...

Авдей замедляет плясовой размер:

Да расщепалася рябина над водой...

Старухи подхватывают:

Да раскуражился детина надо мной.
Это что за кураженьице?
Милый любит уваженьице.

Уважать не научилася,
Провожать не подрядилася,
Провожу я в поле все, поле все,
Расскажу я горе все, горе все.

Одно горюшко не высказала,
За всю жизнь его я выстрадала, ой!

На этом «ой» плясовая заканчивается. Авдей начинает выщипывать мелодию на слова: «Тень-тень, потетень, выше города плетень», но тут случается событие, и событие нерядовое, — к ним подбегает маленький щенок с костью в зубах и начинает играть у их ног. Старики потрясены: откуда взялся? Откуда?

— Это ведь от Явы, — решает Афанасья. — Срыжа.

— Нет, от Фабрики Урицкого, — утверждает Авдей.

Явлинья просит щенка в руки и долго щупает его, а в конце заключает, что это, конечно, Дукатов.

— А откуда такая кость? — спрашивает Авдей. — Вы, соседки, если собак мясом кормите, так мне хоть средка через забор кидайте.

Но появление щенка не последнее событие в этот день. Из-за бревен, громко кудахтая, выходит пестрая курица. С ней ровно десять, считает Авдей, цыплят. Это второе потрясение. Как это курица сумела тайком от них и от Дуката нанести и выпарить цыплят, непонятно. Да и чья это курица? Решают, что общая, делят на будущее каждому по три цыпленка. Одного оставляют общим, на случай гибели.

— Тащи тогда патефон! — приказывает Афанасья.

Авдей идет за патефоном. Этот патефон — загадка для старух, особенно для Явлиньи. Она вообще против любых нововведений. Не дала проводить в свою избу электричество, говоря: «Это бесы, бесы», — не ходит из-за электричества к соседям. «Задуете, дак приду», — говорит она об электролампочке. Слушая патефон, она дивится и верит Авдею, что внутри патефона сидят маленькие мужики и бабы и поют. «А ребятенки-то хоть есть ли у них?» — спрашивает она. «Как нету, есть», — отвечает Авдей. «А чего едят?» — «Кило пряников в день искрашиваю. И вина подаю, а то не поют».

Авдей выносит патефон, ставит на широкую сосновую тюльку. Крутит заводную патефонную ручку.

— А вот, товарищи соседи, чего будет, если завтра солнце не взойдет?

— Залезем на печь и не заметим, — решает Явлинья.

— Ну-ка, чего не надо не лёпай, — сердится Афанасья, — у меня и так башка трещит, а ты умные вопросы задаешь.

Играет патефон. Но больше слушают не его, а смотрят на щенка и на курицу с цыплятами. Скоро Авдей

в который раз рассказывает, как он обхитрил участкового.

До сих пор Авдей не знает, кто же сообщил участковому о его бочке. А жить в одной деревне и думать, что кто-то из соседей тебя предал, тяжело. Поэтому Авдей решил думать, что участковый сам приехал. В огромной бочке был запарен и бродил первичный суррогат будущего зелья. Скрыть его было невозможно. Но ведь додумался Авдей! Увидев участкового в окно, он мгновенно разделся и запрыгнул в бочку, объяснив это тем, что лечит ревматизм.

Талант к розыгрышам у Авдея появился поневоле. Например, после войны, когда он жил еще с семьей, выездная сессия насчитала на него за недоимки по налогам шесть пудов ячменя. «Ой, спасибо, товарищи, — закричал Авдей, — ой, побегу, запрягу, ой, на всю зиму хватит!» Ему втолковывали, что это не ему присудили, а с него, но Авдей, благодаря и кланяясь, повторял, что шести пудов ему хватит еще и на посев.

Когда к нему явилась комиссия во главе с уполминзагом — было такое министерство заготовок, были такие его уполномоченные, — Авдей объявил, что знахарка насильно передала ему черное ведьмино колдовство, стал кататься по полу, кричать, что его корчит. «Ой, на кого бы пересадить?» — кричал он. Комиссия отступилась.

Солнышко передвигается по небу. Явлинья вновь поворачивается за ним. Откуда-то возвращается сама и щиплет на дороге улицы траву коза Афанасьи. Находится и Явлиньин поросенок. Он неутомимо роет непонятно зачем глубокую канаву. Дукат, облизываясь, как-то боком идет от забора и ложится вновь спать. Неугомонный сын его все грызет и грызет белую косточку. Курица разгребает теплый песок и все никак не может умоститься полежать. Цыплята лепятся к ней.

Старики говорят о зиме, о дровах.

Паперть

Долгое время очень хотелось мне написать прямо-таки целое исследование о паперти. Церковные паперти, если кто обращал внимание, весьма разнообразны по архитектуре: просторные и тесные, высокие и низкие,

с затейливой резьбою и совсем простые, иногда соответствуют стилю самого храма, иногда независимы от него и так далее. Кроме внешнего описания интересной мне кажется и повседневная жизнь паперти, ее обитателей. Вот временные: деточки, которых несут крестить, и если служба затягивается, деточек выносят на паперть и разворачивают, освобождают головку из кулечка; вот жених и невеста, их родители, их свидетели, вот они застыли для фотографии и сбегают через секунду по чугунным ступеням, а вослед их крестят старухи; а вот и постоянные обитатели — нищенки и нищие. Я многих у нас в селе знал, с ними здоровался, разговаривал. Я у них ходил просить монетки для телефона-автомата. От них узнавал церковные новости: и кто сегодня служит, и кого это привезли отпевать, то есть чья последняя крыша, голубая или красная, прислонена к стене. Хотелось исследовать еще вот какое место папертной жизни — милостыню. Ведь в милостыне есть тайна. Когда мы даем копеечку, то вольно или невольно, даже сострадая нищете, от чего-то как бы откупаемся. Принявший же милостыню берет на себя ответственность молиться за давшего подаяние. Я, например, много раз нарывался на отказ принять протянутую мной мелочь. Стоит старуха на паперти, думаешь, подаяния ждет, нет, совсем другое. Есть и такие, что собирают, просят подать, даже сердятся друг на друга, даже, я знал и таких, собирают не на кусок хлеба, а на выпивку, но что из того? Встаньте-ка на их место. Разве случайно сказано: «Вели, Господи, подать, не вели, Господи, принять». И не надо никого осуждать. Подал — и радуйся, что в силах подать, а грех или обязанность на том, кто принял милостыню.

Знавал я там ясноглазую, веселую нищенку Пашу. Она звала меня братом, всегда у нее были для меня наготове двухкопеечные монеты, она очень сердилась, что я, взяв монеты, не иду в церковь. Даже прямо кулачком толкала в спину: «Иди, слушай».

И именно на паперти я встретил Степана. На вид ему было под пятьдесят. Волосы черные, густые, а большая растрепанная борода вся седая. Он продавал маленькие круглые образочки Богоматери с младенцем.

— Казанская, — говорил он старухам, — заступница наша небесная, кто на нее надеется, тот не погибнет.

— Истинно, — подтверждали старухи.

Паши что-то не было, я попросил его разменять мои серебрушки по две копейки.

— Выбирай, — ответил он и достал из кармана тяжелый целлофановый пакет с мелочью.

Я набрал побольше в запас и наугад высыпал в его большую ладонь свои монеты.

— Вам сколько образочков?

— Нет, это за размен.

— Принимаю с благодарностью. А что ж и образочек не купите? Для защиты от бед, а умрете — попросите с собой положить. Мы ведь все на том свете будем сиротами казанскими.

Взял я и образочек. Он ссыпал в пакет мелочь и сказал:

— Не подумайте, что это пойдет на плохое, я со дня смерти жены не пью, это пойдет на вечный двигатель.

Я посмотрел в его темные немигающие глаза.

— Зачем же тратить деньги на утопию, лучше на еду.

— Еще один Фома неверующий! — воскликнул он. — Да у меня шесть проектов вечного двигателя! И не говорите мне о трении, я его убираю, и вовсе не за счет подшипников.

— Но убрать трение невозможно, это же азбука физики.

— У меня в основе не физика, а биология. Я развожу биологических бацилл движения. Двух видов — весомых и невесомых. Сейчас делаю невесомых бацилл реактивных. Им трение не угрожает.

— Хорошо. Вы можете показать хотя бы один проект, самый простой хотя бы, — попросил я.

— И этот в соавторы! — объявил он в пространство. — Но хорошо, я согласен. Поможете пробить стены Комитета по делам изобретений, будете соавтором.

— Согласен, — весело сказал я, но споткнулся о его прямой взгляд.

— Уж бочку-то с водой вы найдете? — спросил он.

— Найду.

— И пружину?

— А зачем? Ну, найду.

— Поставите бочку на пружину, в пружине стержень, на нем поршень, верхняя бочка давит на поршень, поршень по пути вращает колесо и выдавливает воду. Дойдет до конца, пружина поднимает бочку без воды в исходное положение, по пути она наполняется, и весь принцип.

— Это невозможно, — решительно сказал я.

— Почему? Аппарат мой построен на основе природы, кто же может противостоять законам природы? Смотри: поршень идет вниз самовольно, а вверх принудительно. И это называется что? Ра-бо-та.

— Может быть, я бы на схеме понял, — попросил я, — может быть, ты нарисуешь. Пойдем ко мне, я тут рядом.

— А участковый к тебе ходит?

— Нет. Я не постоянно тут, у одной бабки временно снимаю.

— А икона есть в доме?

— Есть.

— Приду. Приготовь бумагу и карандаши. Но чтоб тайно. А то участковый мне не верит. Я испытывал вечный двигатель, тоже на воде. Из-под крана. Когда участковый пришел, двигатель работал. Весогруз ходил как маятник. Он не тронул, пошел за свидетелями, а у меня трубка лопнула, вода разлилась, а он трех привел. — Без паузы и в той же тональности он продолжал: — Я и лодку изобрел. Чем глубже, тем быстрее идет. Выходит из воды и летит над чем угодно. Авторство скрыть не удалось, дошло до генерального конструктора. Он посмотрел и тоже как ты: «Это же вечный двигатель, о, я боюсь!»

— Как тебя зовут?

— Степан, — отвечал он. — Цыгане назвали, а свое имя не могу говорить, узнают потом.

— Степан, вот мой дом. — Я показал на дом, где снимал боковушку. — Буду ждать. Чай поставлю.

— Обедня отойдет, и приду, — пообещал он.

Вскоре он пришел, перекрестился, снял пальто, свой портфель, севши на стул, зажал между ног. Все на нем: и пиджак, и рубашка, и брюки — было чистым и крепким. Я об этом потому упоминаю, что он похвалил мой закуток, а о себе сказал, что живет в подвале из милости дворника.

— Непохоже, чтоб ты ночевал в подвале.

— Там воды много, стираю. И трубы горячие, быстро сохнет.

Я угостил его картофельной похлебкой, положив перед ним две ложки на выбор, деревянную и железную. Он ел железной, но ел плохо, а все говорил и говорил.

— В чем причина долголетности? Не надо создавать

в организме излишнюю теплоту. И не надо потеть. Пот выедает волосы на голове, и даже лошадь стареет. А лошадь рассчитана на сто лет.

— Но как не потеть? А как работать?

— Как? Начались перегрузки — встать. Возьми старушек — умный народ. Ходят спокойно, теплоту берут из внешнего мира, свою берегут. Свою энергию для тепла не расходуют. Ноги озябли — кладут грелку. Но если женщина полная, как ей быть? Не бегать ни в коем случае, не курить, в еде не ограничиваться, тут нужно другое, — и через два месяца будет как пружинка.

— А что именно ей делать?

— Но я же изобрел, — отвечал он и безо всякой последовательности, не рассказав ни мне, ни полным женщинам, как им похудеть, похвалил картошку в моей похлебке: — Такая же была в Сасово, я хотел там жить, но не было прописки, поддали в милиции под скулу, с этой стороны зубов нет, и в живот. Отвезли в Мичуринск, во вшивый спецприемник, держали два месяца. Начальник входит по утрам, на руках злая собачка. Он ее гладит: «Ну что, хотите работать?» Я говорю: «Да кто же не захочет от такой жизни?»

— Работа человеку не полезна, — тут же сказал он, принимаясь за налитый мною чай, — полезно только одно — чертить в конструкторском бюро. Я за шесть лет все теории раскидал, дошел до того места, где остановился Исаак Ньютон. Пошел дальше, взялся за твердые и мягкие металлы, за соленые жидкости...

Не знаю как кому, а мне слушать его было интересно. Я не перебивал.

— Меня отнесли к тунеядцам, а некоторые к больным. Я больным быть не могу, я изобрел здоровье. Но никто этого не понимает, что больных нет, все здоровые, только разные. Ребенку сразу дается большая голова, и под ее управлением растет остальное тело. Мозг всегда здоровый, но есть глупцы, и их надо обучать. У мозга есть свои выходы в космос, и есть своя невесомость внутри черепа.

— А как обучать?

— Начинать с вопросов: почему мухи просыпаются в одно время, почему? Птицы улетают почему? Инстинкт или божья воля? Могли бы и не петь нам, букашек можно есть и молча. Почему фокус света солнца разный? Я люблю природу, но вначале надо дать бой чиновни-

кам. На эту тему я записал мысли на магнитофон, кому отправить? К ним же и попадет.

— Еще налить чаю? — спросил я.

Он подумал и кивнул. Пока я наливал, он говорил:

— Надо было с детства прицепиться к государству, а я шел своим путем и остался без паспорта. Тут и цыгане играли роль. — Он принял чашку с чаем и, размешивая сахар, вдруг предложил мне: — Вот возьми и кинься во Вселенную и дай по ней напрямик лет двести со скоростью света, и что?

— И что? — спросил я.

— Попадешь в постоянную температуру. А Вселенная, ну, это теперь все знают, бесконечна, лети и лети. Только мозг может все обогнать. Ты вот подумай, что достиг края Вселенной. Подумал?

— Подумал.

— Но нет же края. А мозг достиг.

Подделываясь под его рассуждения, я спросил:

— Значит, и ты достиг края?

— Достиг. Но на краю я снова подумаю. Вот посмотришь — пройдет два-три триллиона лет и земля расколется на несколько живых планет, для того и живем. Мы рождены, чтоб делать почву. Больше от нас космос ничего не просит, в космосе почва не рождается. Мы себя выращиваем, используем водород и кислород и увеличиваем землю. Только не надо сжигать себя. Вырежь кусок почвы — вся живая, а мы на ней сжигаем. Я дошел до высшей конечности материи — не надо сжигать результатов жизни. На горелом не вырастет, а на кладбище растет.

Меня он ни о чем не расспрашивал и моих вопросов не ждал, а сам все говорил и говорил. Можно было подумать, что он чокнутый, когда его завихривало, но взгляд его был ясен, и если его мысли были сбивчивы, то есть как-то не сопрягались милиционеры, паспорт и космос, то внутри каждой отдельной мысли была своя логика, причем совершенно понятная, и если спорная с нашей точки зрения, то бесспорная по его мнению. Вот он отодвинул чашку, перекрестился после еды и продолжал:

— Жил я нормально, цензурно, нецензуры на заборах не печатал. Ведь ты же не скажешь, что я из табора, сразу заметно по моим мыслям. Цыган интересует конский базар шесть раз в неделю. За лошадь ребенка отдадут. У них к детям силовое понятие. И вины нет,

а ходил в шишках. — Вдруг он строго посмотрел на меня: — Мысли мои не пропадают, они у других как пар испаряются, а у меня закреплено за счет рефлексов. — И сразу без перехода спросил: — Что такое свет? Что перед тобой? Кислород? Мы живем как в прозрачных чернилах, в них можно двигаться только со скоростью света, не больше, подумай сам. Со скоростью света в свете. Подумал? То-то... А что такое вера? Вера — это свободное мышление. А что такое квартира? Это заблуждение от климата. Возьми Африку, зачем им отопление, и зачем им разводить зверосовхоз для мехов? Не надо квартир, надо убрать мороз, но никто же меня не слушает.

— Я слушаю.

— Потому что мыслящее существо. А вот убрать твои мозговые клетки, их аннулировать, и будешь как чурка, мать родная в камеру зайдет, и не узнаешь.

— А можно узнать твое полное имя?

— Меня в таборе звали Степан Дунаев.

— Ты вроде не похож на цыгана.

— Украли. В милиции украли, — уточнил он и вернулся к теме разума и изобретений: — Я изобрел такое — вот ты идешь, я на тебя навожу свой тепловой луч и отражаю на свой экран и вижу твои мысли, возбуждаю твою память и вижу твое прошлое. Вообще памятей много, мозг такой, что в него все можно впихнуть, всю продукцию институтов, ни одна ЭВМ столько не выдержит. В мозгу есть такие клетки организма, их хоть к железу привари — жить будут. Но мозг один, вот что не продумано. Вот человек пьет, его голову присоединить непьющему туловищу, и тело запьет. А как не пить? Надо принять постороннюю энергию и ходить шагом.

Я решил вернуть его к тому, о чем мы говорили при первом знакомстве.

— Степан, у тебя в портфеле проекты вечного двигателя?

Он испуганно стиснул портфель ногами, даже рукой пощупал.

— Не бойся, мне не надо, я в них ничего не понимаю, в школе мне доказали, что такие двигатели невозможны.

— В школе учат одно, а когда очистишь себя от грязи чужих мыслей да когда Господь вразумит, тут и невозможного нет. Мы ждем гостей и дом чистим

и убираем, так же надо и мыслей ждать. А то придут мысли, смотрят — зайти-то некуда, и повернут к другому порогу. Я закон открыл, но его скрываю. А то дети начнут строить по моим чертежам — на каждом углу вечные двигатели будут валяться. Но лет через десять-пятнадцать открою, пусть в каждой школе будет генератор. А что такое генератор? Надо в него загнать явление природы. Аппарат загружаю явлением природы, и он работает. Я начал с двух явлений, сейчас загружаю аппарат четвертым. Аппарат мой пользуется явлениями, как печка дровами.

— Какие явления? — простодушно спросил я.

— Двигательные, — отвечал он еще простодушнее. — А знаешь, что Советский Союз ожидает, не знаешь? Мои двигатели наберут силу, и нефть и политика будут не нужны, и все пачками побегут в церковь. Труда не будет, лошади будут жить по желанию сотни лет, сосредоточатся по рекам, плотины я уберу, вода потечет своим ходом. Лошадей не надо будет красть и менять на детей. А жару я перемешаю с холодом, и совершится температура постоянства. Сейчас верблюды идут к реке Нил, а будут ходить безразлично где.

— А крокодилы? — спросил я. Честно говоря, тут я, хоть оно и грешно, подсмеялся над ним, но он серьезно отвечал, что и крокодилам соответственно будет одинаково хорошо и в тундре, и в Африке.

Тем временем закипел и второй чайник. Я заварил свежий чай, выждал минут десять и налил покрепче, и Степану, и себе. Степан не отказался, вновь крестя лоб и вновь размешивая сахар. Он сообщал все новые и новые открытые им идеи и изобретения. Сказал, что у него готов вечный двигатель и для космоса.

— Он на бациллах движения работает? — спросил я. — На реактивных? — Я сознательно хотел проверить, помнит ли он то, что недавно говорил.

— Может, и на реактивных, — отвечал Степан. — Но это-то самое элементарное, там же нет трения, это же не земля, по ней ходишь в тесных ботинках и чувствуешь трение. Разуешься — сразу легко. Вот тебе пример, как от трения освободиться. Тут только равновесие преодолеть.

— Но у тебя хоть один двигатель работал? Кроме того, который участковый видел? Он за свидетелями пошел, а у тебя трубка лопнула.

— Теория выше практики, — отвечал на это Сте-

пан. — Практику и баран сделает. Собирай детали по чертежам и ходи в кассу. У меня два приоритета, когда будет третий, буду паспорт просить. Все изобрел, даже вечность изобрел и живу, как шпана, в подвале, на трубе рубаху сушу... — Здесь, впервые за весь разговор, он задумался, я почувствовал, что он думает, что сказать, и сказал: — А все идеи в хижинах, а война во дворцах. Кто из хижин пришел во дворец, тот для космоса умирает. Христос к бедным шел, а Понтий Пилат руки умыл. Я вчера его материализовал и поговорил, сильно кается. — Далее Степан вновь сбился: — Участковый сказал: «Оформляй заявку, а кого поймаем по макету твоей идеи — привлечем». Мне сейчас главное — узнать, сколько водорода и кислорода уходит на изготовление одного кубического метра земли. Когда я отвечу на это, я замерю всю будущую почву земли.

— А мне кажется, что для тебя нет ничего невозможного.

— Это я тоже изобрету, — серьезно отвечал Степан.

— Изобретешь что?

— Исключу невозможное и подчиню природу.

— Мы уже однажды ее подчинили.

— Не мы, а бесы подчиняли. Я вхожу с ней в сотрудничество как старшее существо, для природы подчинение мне — ее законная работа, без работы она простаивает. А бесы ее лишают воды, а вода — кровь земли, бесы переливают кровь, заражают и опять переливают. Чем меньше воды, тем меньше жизни. Сила природы сякнет.

— Ты про мелиорацию? Про министерство водного хозяйства?

Степан отбежал в угол, к рукомойнику, и долго отплевывался в поганое ведро. Но и оттуда, в перерывах, говорил:

— Сила природы естественна, природа может делать то, что мы разучились. Смотри на примере: ребенок попадает в гнездо волчицы и через год превращается в волчонка, бегает на четвереньках, и обратно не переделать. А дай волчонка женщине, она из него и за десять лет человека не сделает.

Он вернулся к столу, снова зажал портфель в ногах:

— У меня заявок — только подавай и подавай. На все отрасли науки и техники. Только нельзя, чтоб за границу ушло. В случае чего ты должен будешь подтвердить мою гравитацию, сможешь?

— Смогу.

— Я и стихи пишу. Другой пишет все гладенькое, а я все жизненное влаживаю.

— Наизусть не помнишь?

Он сжал бороду в ладонях и поднял сразу сузившееся лицо к потолку:

— ...Нет, не помню... — Еще подумал: — «О, сколько нужно мук, чтоб пересилить боль!» А еще раньше я читал наизусть про аппарат «Ураган», я его изобрел ловить волны, чтоб морское волнение не пропадало. Для кручения лопастного колеса. Потом был аппарат «Зыбь». У меня есть такие аппараты — никому не построить. Хочу построить земной шар, будет даже вращаться.

— Глобус? — спросил я.

Он совершенно спокойно сказал:

— На глобусе как жить? Он только для указки. Уж строить земной шар, так уж строить. Только я на нем Шиловский район Рязанской области не обозначу. Хозяйка хотела прописать, не дали. Били вшестером, я вьюном крутился у ног, уполз в кукурузу, лежал два дня и истекал кровью. У нас скоро триста миллионов человек, но накинь на каждый миллион по две тысячи бродяг, накинь, прибавь и тогда кое-что поймешь.

— А кто тебя бил? Опять милиционеры?

— Строители. Я им сказал, что луна скоро свалится, будет новая комета Галлея, будет лететь при холоде двести восемьдесят градусов по Цельсию, ее захватит тепловое трение, все произойдет в одну миллионную века.

— А что вы строили?

— Баню у Григорьича. Меня пугали: не строй баню, разрушим. Написали в сельсовет, оттуда в район и область. Приказали явиться: «Где проект?» — «Строю из ума». — «Сделать». Сделал, показал: «О, это же проект коммунальной бани, тут склад, парная, раздевалка на двадцать четыре человека...» Думали, думали: «Строй!»

— Но зачем же такая баня Григорьичу?

— Велели строить по проекту, но я захандрил, а Григорьич умер. Жена его написала легендарному полководцу, тот приехал, разогнал всех: «Где Григорьич?» — «Вон, где баня, там просил похоронить». Подошел к могиле, он был чуть ли не маршал, постоял в молчании. «Это был мой командир, спас мне жизнь». Положил на могилу генеральскую шапку и уехал.

— Но за что тебя били?

— Потом я уехал в Кучино на Горьковскую дорогу, там, где московская свалка, жил с Галей на свалке. Вот я весь оттуда оделся и обулся, и портфель — чистая кожа — оттуда. Еще в подвале японская одежда, куртка, в Японии есть патриотизм — камикадзе. А есть подвиг со страха — хочется жить. Я изобрел бы изобретение от страха, но оно уже есть.

— Какое?

— А бессмертие-то? Душа-то бессмертна, чего тогда бояться?

И второй чайник закончили. Степан пересел на диван, откинулся. На секунду прикрыл глаза, я думал, что задремал, нет, вновь заговорил:

— Я не виноват, что родился в век дураков, что никто не верит. А вот машина моя закрутится, как они на меня посмотрят? Как будто я не могу деньги зарабатывать, по полторы тысячи за ночь, по пятьсот за день.

— Ночью дороже?

— Еще бы! Могилу раскапывать с фонарем или при солнышке? Он приходит: «Ах, ох, отца в моем пиджаке схоронили, в пиджаке все документы, помоги!» — «Пиши расписку на пятьсот рублей». Написал. Пошли к сторожу Ахмету, тот уперся. «Только ночью». Тогда я: «Пиши расписку на тысячу». Написал. Ночью пришли. «Держи фонарь». Держит, я копаю. Ящик вина привез, сам выпил для смелости и еще сильнее трясется. Он же загрузил психологию. Выкопал гроб, крышку поддел, в сторону. Покойник весь уже дутый, глаза открытые. Тот в обморок. Фонарь упал. Я его обрызгал вином, очнулся. Говорю: «Пиши расписку на полторы тысячи». Трясется, пишет. На крышке гроба пишет, неудобно, карандаш на материи проседает, бумагу рвет. Да и рука, а как ты думаешь, трясется.

— А еще какие заработки бывали?

— Ведьму раз в Тульской области отпевал, старухи наняли. На болоте, на острове, в колоде, иконы из ее избы горелые. Меня с вечера приводят пятнадцать бабок: «Оставайся». Уходят, за собой разберут кладку, чтоб я не сбежал. Псалтырь читал. Гроб подымался, она в нем сидит, головой трясет. Я самогонки махну, еще махну, и все равно как не пил. Гроб летает.

— Это ты Гоголя начитался.

— У него в церкви отпевали, а у меня намного сложнее. По пятьсот за ночь, полторы тысячи дали без

удержания бездетности. Там еще был почтальон Косяк, на корове ездил. Пьем — пистолет на столе. А то и стрельбу устроим. Идешь по деревне — головы из окон. «Сколько лет?» — «Семьдесят». Стрелять бесполезно. «Живи!» Там хороший народ. — Степан секунду помолчал и сделал неожиданный, но логичный вывод: — Глупый сильнее, потому что умственный потенциал берет больше энергии, но я всегда побеждал морально.

Степан говорил безостановочно и причем все о разном и о разном. Вот что он вещал далее:

— Воровали и будут воровать, выход один — сделать человека полковником, тогда ему воровать будет неудобно.

— Всех же не сделаешь полковниками.

— Тогда и не судить.

И — без паузы:

— Делаю невесомость в быту. Вот приходит муж домой, входит в комнату и, разуваться не надо — летает над женой, а та моет пол. Он над ней летает. Или изобрел еще дирижабль, чтобы не тратить самолетами кислород и водород. Дирижабль грузишь углем, тысячу тонн, две, три, это не принципиально, я их сжимаю и лишаю веса, уплотнить ничего не стоит, дирижабль летит налегке. Привез, вывалил.

И снова без паузы:

— Ты хочешь долго жить?

— Когда как.

— Ну, это ясно. Знаешь, для чего я тебя держу?

— Для чего? — изумился я.

— Ты будешь свидетелем изобретений.

— Хорошо. Но как же жить долго?

— Длительность жизни создана в детях. Детей мы держим не для потомства, а в них мы пересядем. Пересядешь в сына и женишься на молодой, так же и жена поступит с дочерью. У женщин психология на рефлексах, а у мужчин вечность, у них анатомная энергия.

— Анатомная?

— Да. Живая клетка бежит от холода и жара. Проверь на простейшем червяке. Он ползет, положи на его дороге горячий уголь, он его обогнет. Надо еще вернуть активную воду, тогда травы и деревья будут расти по одному циклу за ночь. А для человека я изобрел попутное освещение. Вот он ночью идет, и свет в этом месте загорается. Он прошел — гаснет. Это экономит энергию

и освещает бесконечность мысли. Я десять лет задавался этим вопросом.

Я подошел к окну, поглядел на колокольню и встряхнул головой. Скоро зазвонят к вечерне. Пойдет ли он к вечерне? Спросить неудобно, вроде выпроваживаю. Но если он еще часа два поговорит, наверное, и я заговорю, как он. Я спросил, бросаясь в крохотную щель меж бациллами движения и тренировками живой клетки:

— Значит, ты был женат?

— Да. Жил на свалке с Галей. Родился ребенок — Светочка. Когда были морозы, подъехала милиция, выгнали. Облили нашу хибару бензином и подожгли. Захохотали и уехали. В двух километрах строились склады бетонные, пошли туда, там жили свалочные собаки, они меня знали. Я развел на полу костер, выгнал стаю огнем, глядим: а ребенок замерз.

— Замерз?

— Да, умер совсем. — Вообще Степан говорил о чем угодно одинаково. — Умер. Галя руку обморозила, пока его несла, тряпочки тонкие. Трясет Светочку над костром, греет; умерла Светочка. Я утром взял лом, рядом там Пашинское кладбище, долбил, долбил, и в этих тряпочках Свету похоронили, присыпали. Стали под целлофаном ночевать, сверху снегом нанесло, внутри тепло. Нас свалочник обманул, брал у нас на сохранение деньги, тысячу рублей, и обманул, исчез. Мы деньги копили, чтоб к лету в сельской местности домик купить и со Светочкой жить. Я банки и бутылки собирал, Галя их мыла, надо все перемыть на холоде, да шоферу дать пятерку, отвезти, да за половину сдать. Вернулся, от Гали записка: «Ушла, жду на кладбище, на могиле дочери, все узнаешь». Я туда, там сверток, в нем портвейн и сигареты «Астра», я тогда курил. И кусочек хлеба и колбасы. Я обратно. Утром говорят: «В Реутове женщина под поезд попала». Я туда. В милиции гонят: «Много их таких, иди в морг». Пришел, нет, среди всех не опознал.

— И так и не нашел?

— Нет. Но пить и курить навсегда перестал. К церкви прилепился, старухам псалтырь читал. Не гнали, кормили. Стал изобретать. Изобрел прибор, как часы на руке. На ремешке. Как только краснеет — бросай работу.

— И стал ходить со своими изобретениями, да?

— А чего ходить, если все переучены на другой бок.

Говорят: «Формулы, формулы», — а глаза пустые. Какие формулы? — мне откровение дано. Еще изобрел трату тепла от животных, зимовал над хлевом коровы, рассчитал площадь хлева, добавил электричества, еще и куриц к себе взял, хозяйка просила. Одна курица на меня все садилась, вместо насеста. Выждет, пока я усну, и сядет. Еще я вывел закон рождения. От больной может родиться здоровый, а здоровая может брать здоровье от ребенка, за счет его жить, и рождается задохлик. Я знаю, в Саратове, от одной, совсем завернутой, родился нормальный. Надо готовиться к рождению с одной радостью.

— А как ты в Саратов попал?

— Из Воронежа. От цыган ушел. Потом был в Тамбове, завод «Комсомолец», арестовали у станка. Били: «Где пистолет?» — «Какой? Мне его дайте — не знаю, как выстрелить». Потом во мне дар открылся. Он с детства открылся, цыгане на время закрывали, заставляли плясать и воровать. Я в детстве в двухлетнем возрасте мать обличал за связь с офицером. Она закрыла меня в доме умирать. Я все цветы на окнах объел. Соседи сказали в милицию. Меня туда, а там были беспаспортные цыгане, они меня украли, назвали Дунаев Степан. Потом я открыл энергию, потом понял Вселенную.

— Послушай, — я решил хоть чуточку с ним не согласиться, — ты говоришь, что у Вселенной нет конца?

— Нет.

— Но она материальна?

— Конечно.

— Но ведь любое материальное, как ни растягивай, конечно. И по размерам, и по времени, я так думаю.

Тут раздался первый удар в колокол.

— К вечерне звонят, — сказали мы враз.

Степан засобирался, я пошел его провожать. Портфель свой он так и не открыл. На паперти мы встретили Пашу.

— На вечернюю службу пришел? — радостно спросила она. — Молодец, брат!

— Да нет, Степана пришел провожать.

— Ты Степана не слушай, ты иди батюшку слушай. Иди, иди! — Она стала толкать меня через порог.

— Образочек не купите? — спросил меня Степан как совершенно незнакомого. — Казанской Божией матери.

— Я же утром купил.

— Еще. На том свете мы все будем сиротами казанскими.

— Хорошо, давай, — я протянул руку.

А Паша как раз подавала мне приготовленные монетки для телефона-автомата. И тут проходила в церковь старушка, которая сочла, очевидно, что я нищий, и тоже положила мне в ладонь пятачок. Я нерешительно постоял, приняв подаяние, потом переадресовал его Степану.

Над нами гремели колокола. Паша радостно сказала, что срок ее послушания, оглашения, кончается и скоро она будет подходить прикладываться ко кресту.

— И ты, брат, тоже ходи, — сказала она Степану. — Испроси у батюшки послушание по силам, отбудь и ходи.

Степан только покосился. Он продавал образок подошедшей старухе и назидал ей:

— Мы — свободные граждане без кавычек и без паспорта, а на том свете все будем сироты казанские.

Мне досадно было, что он начисто меня забыл, я подошел к нему:

— Значит, у тебя все изобретено?

— Все природа изобрела, — отвечал он совершенно вразумительно, — а Бог воодушевил, нам только пользоваться. Вот пример: болеют раком, а это не заболевание, а психология. Клетки на себя замыкаются, до пересадки мозга дошли, а дать энергию клетке для разрыва блокады не можем.

— А как?

— Создать энергию питания, соединить молекулы и атомы, долго ли!

— А как с остальными болезнями?

— Сахар не допускать. Сахар нужен только для питания мозга, остальное он засахаривает, возьми прошлогоднее варенье и попитайся им неделю, потеряешь равновесие. Невесомости не добьешься, еще Ломоносов изучал: летит туча по небу, тысячи тонн воды тащит, а на землю не падает, почему? И не поймут! К месту приставлены, ведут полемику, а нет КПД, полезного действия нет.

— У кого?

— У лейтенантов. На работу устроить, квартиру дать — это долго, и ему выгоды нет, а оформить в тюрьму быстро и выгодно, тут стараются.

Колокола стихли, я поднял голову — прорезались в

небе звезды. А и в самом деле — выйти бы во Вселенную да дать бы по ней лет двести со скоростью света.

Было видно, как внутренность церкви освещается все сильнее, это зажигались все новые свечи. Паша решительно развернула меня по направлению к свету и стала толкать через церковный порог.

Петушиная история

Двор у бабы Насти проходной. Но теперь надо писать: двор у бабы Насти был проходным. То есть проходным он остался, но по нему никто не проходит. Все боятся нового петуха бабы Насти. Говорят: этот петух хуже собаки.

Этот петух заменил старого петуха бабы Насти, который был не только стар, но и драчлив. И однажды, когда петух подскочил сзади и до крови клюнул в ногу, баба Настя не выдержала:

— Из-за тебя, дурака, без яичницы сижу, так еще и бьешься. Сам напросился.

На что напросился петух, ясно. Но каково курам без петуха? Разброд и шатания начались в их бестолковом стаде. И баба Настя поехала на базар за новым петухом. Купила быстро и дешево. Петуха продали связанным.

— В автобусе чуть не задавили, — рассказывала она, — у меня ж не корзина, а сумка, и ее жмут. Нет, выжил. Вначале-то думала — хана: раскрыла сумку, а он глаза завел. Подох, думаю. Ноги развязала, он ими подрыгал, вроде как проверил, и, еще лежа, заорал. Ой, если б знала, я б его сама задавила, я б его из сумки прямо в кастрюлю.

У бабы Насти есть песик Ишка. Завели его все по той же причине проходного двора. Песика принесли совсем маленьким. Ишкой его назвала правнучка. Она приехала в гости и долго мучила щенка, думая, что с ним играет. Он ухватил ее за руку беззубыми деснами. «Ишь как! — закричала она испуганно. — Ишь как!»

Ишка жил не тужил, тявкал на прохожих, на ночь просился в дом, а в доме подружился с Барсиком, огромным, больше щенка, котом. Бедные, они так недолго были счастливы!

К моим приездам у бабы Насти скапливалось много рассказов о событиях на работе, она работает вахтером, о переменах в ее гигантской родне. Но с появлением нового петуха все рассказы стали только о нем. Когда я, не зная о покупке его, приехал и поздоровался, баба Настя поглядела на меня восторженно и восхищенно сказала:

— Живой?

— Живой.

— А как по ограде шел?

— Да так и шел.

— А его не встречал?

— Кого?

— В огороде, значит, дьявол, — сказала баба Настя, и мы сели пить чай.

Тут-то я узнал о новом петухе — он всех принимал за врагов, наскакивал на всех, не учитывая ни пола, ни возраста, ни размеров.

— Прямо хоть пиши: осторожно — злой петух. Засмеют. Палки видел у калитки? Не заметил? У крыльца тоже стоят. Приспособились. Иду от крыльца до забора с палкой, там оставляю, с работы приеду, беру у забора палку, иду до крыльца.

— Рубить будете? — спросил я как о решенном.

— Жалко.

— Но если вы говорите, что всех испугал, наскакивает. Опять дождетесь, что в кровь исклюет. Как тот.

— Этот и убить может, — сказала баба Настя, — но ведь несутся-то как. Да ты посмотри, какие крупные, — погордилась она, показывая полную миску белых яиц. — А две так и вовсе по два в день несут. А уж как любят-то его!

— Пойду, посмотрю.

— Без палки не вздумай.

— А как вы их кормите?

— Он, дьявол, кормить дает, это единственное. А уж яйца в потемках собираю.

Я вышел на крыльцо. Во дворе было пусто. Но ощущение незримой опасности уже не позволило сесть беззаботно на лавочку и радостно думать, что сейчас буду топить печку, разбирать привезенную еду и работу. Вдруг Ишка, старый знакомый, подал голос.

— Где ты? Ишка, Ишка!

Песик заскулил и выполз из-под крыльца. Да, видно,

много переменилось. То-то он не лаял сегодня, не бежал навстречу.

— Ишка, что ж ты, петуха испугался?

Ишка виновато скулил, мол, не знаешь, а упрекаешь, подползал под руку, чтоб его погладить, и вдруг, первый увидя врага, отпрыгнул и ускочил под крыльцо.

Резко повернувшись, я увидел огромного белого петуха. Петух стоял на бугорке и меня рассматривал. Я стал отступать, ища глазами палку. Мое отступление петух истолковал как свою победу, вытянулся, взмахами крыльев погнал в мою сторону пыль и мелкий мусор и прокукарекал.

— Смотри-ка, не тронул! — Это сказала баба Настя. Оказывается, она наблюдала за встречей в дверную щель.

— И не тронет, — самонадеянно уверил я.

Но, занимаясь хозяйством в своей боковушке, я все помнил про петуха. Решил закрепить мирное сосуществование подарком. Накрошил хлеба, обрезал корки с сыра. Только стал открывать дверь на улицу, как с той стороны, еще до моего появления, грудью в дверь ударился петух. Удар был силен, корм вывалился из рук. Я свирепо схватил палку, оттолкнул от себя дверь и вышел. Петух отскочил.

— Дурак ты! Миссию доброй воли не понимаешь. — Я собрал и бросил на землю приготовленную еду.

Петух стал клевать, поглядывая на меня. Я прислонил палку к стене. Он издал призывный крик, на который мгновенно примчались куры, а сам... кинулся на меня. Еле-еле успел я запрыгнуть за дверь.

Стыдно сказать, еще несколько раз за день я выходил и униженно заискивал перед петухом, разнообразил меню кормления. Петух нападал и до и после кормежки. За водой и дровами я ходил с палкой. Налил в корытце воды. В воду петух залез с ногами и презрительно в ней подрыгал. Не ценил он мои миротворческие усилия.

— Гад ты, подколодный ты гад, — объявил я, выплескивая в его сторону остатки воды, давая этим жестом понять, что не боюсь петуха, что с поисками мирного сосуществования покончено.

Вечером, когда слепнущие к ночи куры полезли на насест, я пошел с бабой Настей посмотреть дремлющего петуха. А и красив же он был, огромный, белый, с небольшой бородкой и гребнем. Баба Настя, довольная количеством яиц, все-таки палку держала под мышкой.

В следующий приезд повторилась та же история — петух нападал непрерывно. Из новостей было — Ишке сделали конуру из бочки. Но даже и в конуру, рассказала баба Настя, врывался петух. Но только раз. Видимо, лишаемый последнего пристанища на белом свете, Ишка решил сопротивляться до упора. Петух вырвался без нескольких перьев. Ишка отстоял неприкосновенность жилища. Одно перо, размером с павлинье, досталось мне.

Теперь выходили мы во двор только по вечерам. Осмеливался выйти и Барсик, играл с Ишкой. На земле они играли на равных, но как только Барсик впрыгивал на поленницу, Ишка испуганно мчался в конуру, видно, Барсик, заняв высоту, напоминал петуха.

— Несутся хорошо, — вздыхала баба Настя.

— Да и спокойно, — поддерживал я. — Днем петух охраняет, ночью собака.

— Нервы мои скоро кончатся, — говорила баба Настя. — Уж и яйца не в радость, трясусь от страха, вдруг кого покалечит, не расплачусь, из-за него приезда внуков лишилась, всю родню отбил.

Ее рассказы о петухе напоминали боевые сводки, с тем лишь отличием от настоящих, что в них был одинаковый финал — победа за петухом. За одной соседкой он гнался через три дома по грядкам, загнал в туалет и туалет чуть не повалил. Другую соседку держал два часа за калиткой, не давал выйти на улицу, а сам небрежно, как гвардеец кардинала, даже не глядя на заключенную, гулял по осенней траве.

На меня он нападал по-прежнему. Этот разбойник никогда не признавал себя побежденным. Даже отступая от палки, он преподносил свое отступление не как бегство, а как выполнение давно задуманного стратегического плана отхода на подготовленные позиции с целью заманивания противника, изматывания его сил и скорого подавления превосходящими силами и малой кровью. Еще из новостей было то, что начали нестись даже молодые курочки, летошние и весношные, по выражению бабы Насти.

Иногда петух делал дальние походы, и о его победах сообщали через вторые и третьи руки. В походах он не связывался с людьми, воевал только с петухами. И всегда побеждал. Так что постепенно он стал владыкой и двора бабы Насти, и сопредельных территорий, и вообще

всего Никольского. Будь у нас в моде петушиные бои, наш петух не посрамил бы чести Никольского и остальных наших сел.

На день рождения к бабе Насте гости собирались с опаской. Но им сказали, что кур в этот день не выпустят на волю, так что гости успокоились. А за столом только и было разговоров, что о петухе, о его подвигах. Тут и мужчинам захотелось совершить подвиг. Они пошли в курятник, изловили петуха и принесли его, безголового, лежащего на большом блюде.

— Держи, — гордо сказали они бабе Насте, — вот твой губитель!

И баба Настя, принимая блюдо, заплакала навзрыд.

Но это была шутка. Петуху особым способом повернули шею и спрятали голову под крыло, он затих. А когда голову достали из-под крыла и шею распрямили, то он так яростно взмахнул крыльями, что гости аж присели и побыстрее открыли петуху двери на улицу. Отшвырнув с дороги Барсика, комкая половики, петух вышел на улицу, где вскоре завизжал несчастный Ишка.

Как гадать, чем бы все кончилось, но произошло событие, и событие очень не рядовое — петух полюбил. Не смейтесь и не отказывайте ничему живому в этом чувстве. Цветок любит хозяина, и дерево способно помнить добро и зло, что уж говорить о теплокровном двуногом существе, каковым являлся наш петух.

Любовь сразила его по весне. Обойдя посуху село Никольское и убедясь, что оно, как и прежде, подвластно ему, петух заметил, что на отшибе, как бы уже на хуторе, находится еще один дом, а возле него пасутся куры во главе со своим петухом. Туда ничтоже сумняшеся и двинулся наш разбойник, и именно там он увидел эту курочку, а увидя, забыл все на свете, кроме нее. Я потом, опять же не смейтесь, специально ходил смотреть эту курочку. О, это была красавица редчайшая, это была сказочная курочка-ряба. Пестренькая, в меру полненькая, любопытная, но несуетливая. Можно понять нашего петуха. Но можно понять и бабу Настю — куры перестали нестись. Как только она не кормила петуха, как только не выговаривала. Я присутствовал при этих нотациях. Присутствовать было безопасно, ибо, полюбив, петух резко переменил характер, стал смирнее любой курицы и молча выслушивал упреки.

— Такой ты растакой, да неужели ж ты и сегодня укосолапишь, да как это ты можешь своих куриц бро-

сать, да ты посмотри на них, какие красавицы, какие беляночки, да неужели ж они хуже этой рябухи?

Курицы возмущенно кудахтали. Петух молча наедался, молча уходил за калитку и только там радостно кукарекал, будто сообщал возлюбленной о своей верности и о своем направлении к ней. Он шел через покоренное Никольское, шел по тротуару, иногда срываясь на бег, шел, никого не трогая, и так каждый день. Около курочки-рябы он являл вид глубочайшего смирения, искал для нее букашек и червячков, а к ночи шел ужинать и ночевать во двор бабы Насти.

— Придется рубить, — решилась наконец баба Настя, объясняя причину своего решения тем, что внуков и внучек надо кормить хоть иногда яичницей.

— А почему же он привязался к этой курице?

— Ой, не знаю, — засмеялась баба Настя, — наверно, потому, что она мамина-папина, а он инкубаторский, сирота. Вот и потянуло.

Но петуха не успели зарубить, жизнь внесла свои коррективы. На пути его встал другой петух. А где же он был раньше? Да тут и был. И каким-то образом они ладили. Нашему петуху было дело только до курочки-рябы, а остальных пас прежний петух. Тоже домашний, не инкубаторский. Он вовсе был произведением искусства, будто выкован из огня и меди, сверкающий на груди золотыми и бронзовыми перьями кольчуги. Как он уступил вначале без боя курочку-рябу, непонятно. А ее это, видимо, обидело. Тут можно только догадываться. И она то ли сама пожелала вернуться в стадо, то ли петух ей велел пастись со всеми.

И вот в это несчастное для нее утро курочка-ряба не подошла к нашему петуху, как бы не заметила его. Он позвал раз, другой — она хоть бы что. Красный петух на петушином языке сказал нашему петуху: ну чего, мол, ты привязался, видишь, не хочет к тебе идти, и отстань. «Замолкни!» — велел ему наш петух и еще позвал курочку-рябу. И снова она не пошла к нему. Тогда он подошел и стал оттирать ее от стада. На его пути встал красный петух.

И они схлестнулись.

Самой битвы я не видел, и баба Настя не видела, но ей рассказали, а она мне. Петухи не унижались до мелкого клевания друг друга, не стояли набычившись, топорща перья на шее. Они бились насмерть. Расходились, враз поворачивались и мчались навстречу. И сшибались.

Да так, что земля в этом месте окрашивалась хоть и петушиной, но красной кровью. И вновь расходились. И вновь сшибались. Потом, полумертвые, разбредались в свои курятники, отлеживались, и вновь шел на битву потомок инкубатора. Было такое ощущение, что уже и никакая курочка-ряба ему не нужна, но дикое чувство злобы к сопернику оживляло его силы.

В дело вмешались люди. Ведь не только бабы Настины куры перестали нестись, но и подруги курочки-рябы. Чего-то надо было решать. Ну, кто же догадается, какоо было принято решение? А такое, от которого курочка-ряба приказала долго жить. Увы. Когда на следующее утро наш реваншист пришел на поле боя, хозяйский петух упал с первого удара. Еле встал, его снова сшибли.

Больше они не дрались. То ли от ран, то ли от любви к казненной курочке-рябе красный петух стал чахнуть и умер бы от того или другого, но такой смерти, такой роскоши петухам пе дозволено, и он умер досрочно.

А что же наш разбойник? А наш хоть бы что. Вновь стал драться, вновь загнал воспрянувших было Барсика в избу, а Ишку в конуру, вновь ходим по двору с палками, вновь внукам не велено приезжать. Только что загнал меня в избу. Сижу и записываю петушиную историю. Допишу, покажу ему написанное, может, выпустит.

С наступающим!

— Ну, с наступающим, — говорит Коля, поднимая рюмку и наступая мне на ногу.

— Чего-то я не помню, какой завтра праздник, — говорю я.

— Как какой, — радостно объясняет Коля. — Я ж завтра с утра все равно выпью, а кто выпил с утра — весь день свободен. За свободу! — Выпивает, встряхивается: — Эх, косим, что кошено, носим, что ношено, любим, что брошено, и пьем все, что горит. — Потом находит на столе закуску посущественней, поглощает ее и вновь говорит, будто торопится наговориться: — Вот позвала хозяйка гостей: кушайте, гости, кушайте, вот салатик остренький, а один цепляет вилкой кусман сала

и говорит: сало тоже не тупое. Да! Ну ты — молоток! Не зря у меня все приметы были.

— Кошка гостей замывала?

— Какая кошка? А! Ну, в такие приметы я не верю. Я верю в конкретность. Коля, говорят, стопори машину, всякого привезли. Да! Чего-то не завязывается. Давай для завязки.

— Не буду больше, — отвечаю я.

— Но меня не обсуждай. — Он именно так и произносит: не обсуждай.

— Когда я тебя обсуждал?

— И еще бы! — Он медленно полнит рюмку. — Двадцать капель лечебных, двадцать капель служебных, всего сорок, а в конце последняя капля — до-о-олгая. Я тебе про аптекаршу рассказывал, нет? Ну, обожди. Ну! Кто празднику рад, тот до свету пьян. — Выпивает, закусывает, а под закуску говорит о некоей жене, которая говорила мужу перед приходом гостей: «Давай пей, а то гости придут, а ты трезвый».

Главный Колин тост такой: «За нас с вами и за хрен с ними», — но для него он пока не созрел. Вот обретет градусы, перестанет закусывать, будет только пить и курить, тогда только это и будет. А вначале он разнообразит беседу. Он доволен, что мы, по его выражению, сегодня не скоро обсохнем, затарились изрядно. Колупает пробку ножом в опасной близости от лица и комментирует:

— Вот сорвется — и по горлу, хорошо будет. У нас так-то один чуть не до смерти, даже бюллетень не оплатили. Он потом жалел, что не до смерти. У него, вишь, жена пила, он сберкнижку на сына завел. Она сына подговорила снять и все пропраздновала. Не убивать же. Он с горя полоскать. С сыном. Ее гонит. А напьется, зовет. Ну, за генеральские погоны!

Это у Коли такая шутка о жизни: жизнь как генеральский погон — ни одного просвета. А у Коли, обычно гордится он, погоны чистые и совесть чистая, не выслуживался.

Но и про наступающий он не забывает и давит мне ногу под столом. Закуривает. Кроме армейских рассказов, которые я не люблю, у Коли есть еще рассказы о его любовных, бесчисленных, победах. Сейчас они начнутся.

— Я тебе аптекаршу не покажу, уже поссорился. И в Киров с тобой не поеду, убьют. У меня там улицы

не осталось, где б спокойно прошел: везде было событие. Были, в основном, одноразки. Я их сам всех бросал. Чтоб я кого-то не покорил! Мне надо было от силы день, много два. На аптекаршу неделю извел, так она того стоит: царица фей, о, будь моей. Она меня вначале гнала, отбивалась, чуть ли не на три буквы, а то и того чище. А я смеюсь в лицо: «Это ты меня так покоряешь». Посылала, посылала, я не отступаюсь. Говорит: «Видеть тебя не могу». — «А чего, — говорю, — меня видеть, сейчас день, давай ночью на ощупь встречаться». — Коля закуривает, смотрит на бутылку: — Эх, я опять, мальчишка, запил и опять запировал, посреди широкой улицы галоши потерял. Гармошки нет? Ничего! Как еще приедешь — будет. Эх, понеслась, посыпалась погода сыроватая, девчонка белого лица любила черноватого... А знаешь, чем уничтожила чувства?

— Аптекарша?

— Да хоть бы и она. Нет, вдова. Я тебе еще про вдову не рассказывал. Эх, по дорожке столбовой катился яблок садовой, после милочки красивой я связался со вдовой. Жить спокойно не давала, все тащит и тащит на кладбище.

— Зачем?

— А вот догадайся... по голосу семиструнной гитары моей. На кладбище могила ее мужа. Понял? Ухаживать за могилой таскала. Я в этой фирме «Земля и люди» заскребся бывать. Ограду заказывал. Тому дай, этому налей, со всеми выпей. Машину бегай клянчи. Да еще наконечники на углы дали не те, ездил менять. Чугунные, с графин, потаскай-ко. Ну, я думаю, ты ж когонибудь-то хоронил, сам знаешь, как они над нами издеваются, эти фирмачи. Ну! Давай за нас с вами и за хрен с ними!.. Ну вот. Наконечники-то ладно, ограду не так вкопал, надо вдоль ряда, я поперек. Бежит Ахмет: переделывай. А и раньше мимо пробегал, ведь видел же, как копаю, нет, не сказал, ждал. Но он-то ладно, выгоду ищет, но она-то сколь жадна, сунула бы ему десятку, нет, давай, Коля, переделывай. Это ж заново три ямы рыть, да из старых вытащить. Три! — Коля рисует схему ограды. — Я копаю, реву и плачу, пот с меня течет, а она мне: «Тише, я сдаю зачет». Ахмет над душой, а она потом: «Зачем это я стала бы Ахмету деньги давать, когда ты в силе возможности, а я лучше тебе коньяку куплю». За краской погнала, стол, скамейку стал делать. На скамейку чтоб сесть и горе изобразить.

Какое горе — с ней же и выпили на этой лавочке, на этом столике. Эх, у нас было б два разка, да больно лавочка узка. Представь себе: кладбище, сумерки, я ее держу, смотрю на его фотографию, я же и вмазывал, на цемент сажал, смотрю на него снизу и говорю: «Что, брат, не один ты обманут, а уж на меня не сердись, оградой заработал». Она встала, платочком его фотографию протерла и мне говорит: «Это была последняя встреча».

— Ты же говоришь, что сам всегда бросал.

— Но это ж на кладбище.

— Коль, мне надо ужин готовить.

Коля идет за мной на кухню.

— Давай я тебя научу стряпать. Суп умеешь варить? — спрашивает он. — Я научу. Поставь воду, она закипит, а дальше я сам не знаю.

Я чищу картошку, а Коля делает любимое дело — разыгрывает меня. Он выходит потихоньку на крыльцо, потом громко хлопает дверью, заходит:

— За тобой пришли.

Я покупаюсь:

— Кто?

— Два друга в кожаных пальто.

Из разряда таких шуток у него есть еще, например, он сообщает, что меня ищут. Я спрашиваю, кто это меня ищет? Коля отвечает: «Два попа да нищий».

Варится картошка. Коля изучает программу телепередач, ничего достойного внимания не находит, но телевизор на всякий случай включает.

Картошка сварилась. Коля поет:

— Спрячь за решетку бутылку с закуской, выкраду вместе с решеткой. Это, знаешь, раньше пели: «Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором». Но бутылку лучше: выкрал, выпил, выкинул, а с девчонкой возиться.

— У тебя есть юмор, не связанный с выпивкой?

— Есть. Дура девка, не дала, баба б новая была.

— А такой юмор, чтоб не связанный ни с выпивкой, ни с женским вопросом.

— Есть. Карбюратор засорился, свечи не работают, в клапанах большой зазор, и цилиндры хлопают. Но в этом-то что интересного? Или... — Он думает. — Шоферов дерет резина, трактористов магнето, шнеки, деки комбайнеров, а электриков никто. Но про работу неинтересно, кабы я не работал, так, может, бы чего и рас-

суждал. Но если я работаю, да еще про работу говорить, когда жить? Мы на пилораме часами сидим, и все баланда про баб и выпивку, ну, может, еще начальство поматерим да газету почитаем. Везде же так. Ну, с наступающим!

Я отдергиваю ногу, Коля промахивается, но тут же находится:

— Опять от меня сбежала последняя баба по шпалам.

— От тебя?

— Это стихи. А так, чтоб от меня сбежала, ты что!

— Положить тебе картошки?

— Никогда! — восклицает Коля и добавляет: — Не откажусь. — Но не ест. Все курит и курит. Я гоняю его к форточке.

— Жену надо бить, — говорит он, — я у Лескова читал. Один немец на русской женился и не бил. Она думала, что он не любит, если не бьет. Ну, он ударил. Она поверила, что любит, а потом-то этот немец у нее же в ногах валялся. Прочти для пользы дела. А у меня так: удар глухой по тыкве волосатой — травинка в черепе сквозь дырку прорастет.

— Я не верю, чтоб ты мог кого-то ударить.

— Дак кабы не доводили. А уж если доведут! — Смотрит в окно. — Вроде дождь должен собраться, хорошо бы, сырое не пилим, день сактируют. А ты чего на пилораму не приходишь? Где карандаш? Бумаги нет? Да я на газете нарисую. Тут школа, «шэ» буква, сельсовет, дальше направо, а дальше не рисую, там услышишь. А как на территории искать, нарисую. На, сам рисуй. Рисуй квадрат. Пиши: «торцовочник», веди от него линию к лесу, рисуй квадрат, пиши: «склад пиломатериалов». Дальше линии не надо, делай прямоугольник, пиши: «бревнотаска», дай я сам, тут пилорама... так, цех два, тут пилим брус и лафет.

— Что такое лафет?

— Это нам невыгодно, это только с двух сторон. Вчера пять бревен пропустили, на карачках уползли. А надо? Надо до шестидесяти. Меня в магазин гоняли, специально хожу в ма́заном, чтоб очередь расступалась.

— Ладно, садись.

— Как это: садись? Ты что, судья? Надо говорить: присядь.

На очереди песня.

— «Как часто, балдея средь ясного дня, я брел наугад...», слышь, «...брел наугад по какп-им-то протокам. И родина щедро поила...», — тут Коля себя обрывает, с упреком говоря: — Как же — «щедро поила», — не больно-то!

Мысли Коли скачут. Он будто и сам чувствует, что вот-вот сломается, и торопится сказать, спеть побольше.

— Чего-то хотел еще тебе рассказать. Чего-то запел и Тасю вспомнил. А Тасю зачем? А! Тася беззубая к нам приходила, говорит, в Барановщине глухая Сима картошку копала. Бригадир мимо шел, говорит: «Здравствуй, Сима». Та говорит: «Да вот картошку копаю». — «Замуж тебе надо». Она отвечает: «Надо, надо, пока не замерзло». Мы до уржачки хохотали. «Я ухожу, — запевает опять Коля, — сказал мальчишка ей сквозь грусть, ты жди меня, я обязательно вернусь. Ушел совсем, не сделав в жизни первый шаг, домой вернулся в цинковом гробу. Рыдает мать, как тень стоит отец, ведь он же был для них еще юнец, совсем юнец. А сколько их, не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах». — Тут же, без передышки Коля поет: «По диким степям Забайкалья...»

— Может, тебе постелить?

— Ты что? Мне до сна как до лампочки. Я все могу, могу паять, варить, клепать, вообще могу командовать парадом. У меня мастер был нервомотатель, он провел меня по вредной сетке и гонит алюмишку варить. И все меня допрашивал, а я допросов не терплю. «Пил вчера?» Отвечаю: «И завтра буду». Это один вариант ответа. А у меня есть второй, на все случаи жизни, сейчас научу, налей. — И тут же поет: — «Из полей доносится: «Налей», из души уходит прочь тревога». Хватит, на почь оставь. Ну, за нас с вами и за хрен с ними! У меня мотоцикл был, «Урал». И я на нем бывал, и он на мне бывал, а все живу. Он меня от гангрены спас. Строгал на фуговочном, палец отдернуло. Хватились отвезти — бензину нет. Так я же еще свой «Урал» и завел. Приехали в больницу, говорю доктору: «Палец вам на холодец привез». Он заматерился, говорит: «Ты дошутишься». А я говорю: «Я и не стараюсь долго прожить».

— Коль, а что за ответ на все случаи жизни?

— Какой?

— Ты сказал, что научишь ответу на все случаи жизни.

— Это из трех слов?

— Ну, ты еще про мастера рассказывал. Как ему отвечал.

— А как еще ему отвечать? — Коля передразнивает мастера. — «Скажи, Николай, как ты мог убить человека?» Отвечаю: «Трезвый бы не убил, оттого и пью». Вообще, надо отвечать: не пью, и не тянет. Не пьют многие, но не тянет далеко не каждого. А-а! — радуется Коля, — из трех слов?! Например, спроси меня что угодно. Спроси, спроси. Ну, например: зачем ты, Коля, ночью по крыше ходишь? Я не хожу, но спросить-то можно. Спроси!

— Зачем ты, Коля, ночью по крыше ходишь?

— Так надо, — отвечает Коля и кричит: — Два слова-то, два! Не три, два! Три, три, и дыра будет. Давай еще спроси. Ты ответ заучил?

— Так надо?

— Да! Давай спрашивай.

— Зачем ты, Коля, пьешь?

— Так надо. Еще! Спроси: зачем ты, например, Коля, на дерево полез, или, например, спроси, зачем ты, Коля, на дерево не полез, и какой ответ? Так надо! И все! И все отскакивают. И в душу не лезут. Например, чего я в баню хожу или чего не хожу, как будешь отвечать, заучи на практике.

— Так надо, — заучиваю я.

— А теперь ответь, тебе нужен стакан с двойным дном?

— Зачем? — спрашиваю я.

— Так надо, — говорит Коля и объясняет, что он выиграл. — Тут еще надо хитро спросить. Теперь твоя очередь.

— Значит, тебя все женщины любят?

— Кому я нужен? — сердится Коля. Он потерял интерес к игре. Берет со стола и расколупывает яйцо. — Витамин це, яйце, сальце, мясце. Нет, не так: витамин це, чтоб не было морщин на лице. Витамин ю, чтоб не было морщин... — не дочистив, бросает яйцо. — Я полежу, или это тебе не в кайф?

— Ложись. Я стакан с водой поставлю и таблетку. Ночью проснешься, ее прими и водой запей.

— Вода не утоляет жажды, я помню, пил ее однажды. — Коля все еще пытается шутить. — Загулял, так не воротишь, горькая рябинушка, больше семя не получишь, тетка Акулинушка.

Я снимаю с него сапоги, он сопротивляется, но я говорю, что так надо, и он засыпает.

А был Коля-Николай первый парень в поселке. И вернется ли он к нормальной жизни, если жизнь его перекалечена, если не выдержали, сорвались его нервы. Сколько он еще продержится? Знаю, что впереди у меня невеселая ночь. Но еще совсем не ночь, хотя на улице темно. Осень. По телевизору программа «Время». Первые вставания Коли выдерживаю, еще не ложась спать. Коля встает, бредет по стенке туда, куда и цари пешком ходят, и не забывает повторять, что так надо. Каждый раз Коля всматривается в экран. Показывают сидячую демонстрацию.

— У нас вчера лежачая была. Народу-то сколь у них, как грязи, а мы обезлюдели, а надо, чтоб олюдели. Так надо. Убей меня!

«Убей меня» на Колином языке означает: налей мне, и я усну.

Но, выпив, он не засыпает, а рассказывает, как «человека меж колес пропустил», то есть наехал на лежащего пьяного.

— Он с испугу протрезвел, но заставил бутылку искать. «В вашей Вятской губерньи стало больше волоков, сколь наделал непорядков нам товарищ Щелоков». Все — спать! Лошадь в овсе не пасется, орел мух не ловит!

Он ложится и тяжело дышит. Ресницы иногда поднимаются, видна мутная полоска глаза.

Ночное его пробуждение мучительно для меня, так как я уже заснул. Но Коле страшно одному, без света. Он будит меня, ему показалось, показалось, что с ним рядом лежала чертиха:

— Чертиха! Только что!

— Как ты понял, что чертиха?

— Красоты необыкновенной. Иди, говорит, ко мне. Ты добрый, ты хороший, тебя никто не ценит. Тебя, говорит, только я пожалею. Пот со лба обтирает, наклоняется. Рядом легла! Волосы у нее огромные, много волос на подушке, мне в рот лезут, я весь исплевался! А лицо невообразимое! Лежит на подушке в портрете волос лица, зовет! Я к ней ложусь, руки тяну, она — раз ко мне спиной и хвостом меня по морде! Хвост у нее! Хвост! Тоньше коровьего.

Коля вытирает пот со лба, садится и плачет. Так,

плача, и закуривает. Слезы текут на стол, в них и тушит Коля сигарету, вновь прося убить его.

— Меня одна из тещ, я же за ней горшки выносил, найди еще такого зятя, лежит и лает, и лает, и лает. Носил, носил, говорю: «Теща, тебе ведь скоро на том свете отчет держать». Она говорит: «Ничего, мне есть что про тебя рассказать». Я говорю: «При чем тут я, тебя обо мне не спросят, за меня других спросят», — все равно лает и лает.

— Прими таблетку.

— Да приму, приму. Я их горстями пью, ты не волнуйся, приму. Я пока спать боюсь, пусть она подальше улетит. Ну, хвостище! Не помню, в первый раз такое или уж бывало. У меня было — так же вот сижу, передо мной, как сейчас, стакан. А по краю он бегает, на меня остреньким пальцем показывает и кричит: «Пьяница, пьяница!» Я стакан к себе поднимаю, он бульк в него, бульк, и в стакане пусто. Выглотал все, пусто. Меня же ругает, сам пьет. — Коля поднимает глаза к потолку. — А с потолка песни поют. Тут два этажа?

— Один.

— Ну да, это и ты приехал, мы же у тебя встретились. Я про тебя никому не рассказываю, но кому ни скажу, все сразу: это человек. У меня мастер был, сейчас не помню, как звали, но тогда знал точно — Павел Елизарыч, ох, от него я наслышался всякой сулемы. Говорит, что погода стала дырявая от горячих тел в облаках, облака к ним липнут. Но бабка моя точнее говорит: «Что от погоды, говорит, ждать, когда все небо самолетами перемесили».

— Спи.

— Сплю, — послушно отвечает Коля. — Сейчас еще стакан бутермаги барабну.

Но уже не может пить, клонит голову в тарелки, но только начинаю перетаскивать его на диван, он вырывается и кричит:

— Овчарка с автобус!

Веду Колю на кухню, клоню его голову над ведром и лью на затылок холодную воду. Даю полотенце. Он утирается и совершенно осмысленно говорит:

— Пить я больше не буду. И курить не буду. Я ж понимаю, я в массах с пеленок. У тебя служебное положение какое? А умственное?

Покорно принимает снотворное. Больше двух таблеток боюсь дать. Коля лежит и тихонько поет: «Восемь

лет, они прошли в тумане, с той поры как начал я страдать. Многим я писал, но только маме, только маме не успел я написать». — Задремывает.

Я оставляю включенной настольную лампу и крадусь мимо Коли к кровати. Уже далеко за полночь. И опять только задремываю, как Коля снова на ногах и кричит:

— Ты еще увидишь горящие танки! — падает на пол и поет: — «Что, товарищ, не поешь, да разве голос не хорош? У нас такие голоса — поднимают волоса».

И опять он закуривает, и опять я тащу его на диван, отнимаю из пальцев горящую сигарету.

И еще Коля многократно встает, бродит, рассказывает разные случаи. У меня нет сил их запомнить. Только один запоминаю, про цветной телевизор. Как жена просила цветной телевизор. Пристала к мужу, а где тому взять, хоть воруй. Он схватил банку с краской, размахнулся и выплеснул на черно-белый экран: «Ha тебе цветной». А сам загужевал с Колей. Вначале пили боярышник, другие настойки из аптеки. Потом нашли чего посадистее. Тут я переспрашиваю:

— Какое? — Мне послышалось — игристое.

— Садистее. На спирту.

И Коля вновь поет:

— «Качается вагон, кончается перрон, и первая бутылка открывается...» — потом спрашивает, правда ли, в Японии милиция дышит сквозь маску, как же она тогда преступников ловит, и так далее. Называет меня дядей. — Дядя, не спи, меня утащат. А я, дядя, люблю культуру. Дядя, поговори со мной!

Утро. Коля спит на полу в кухне. Вся упаковка снотворного опустошена. В полную мощь вдруг начинаются позывные радио, играет гимн, Коля вскакивает, объясняет, что это он ночью увеличил громкость, чтоб не проспать на работу. Идет умываться, я кипячу чай. Коля даже не присаживается. Он стоя пьет сэкономленное.

— С наступающим! — говорит он, наступая мне на ногу и мне веля наступить ему на ногу, чтоб не поссориться.

И идет на работу.

Гляжу на схему, которую он рисовал вчера. Путь его лежит между школой и сельсоветом.

До армии Коля не пил. Служил в Афганистане.

Змея и чаша

Рассказ-притча

Она жила так давно, что не помнила, когда родилась. Она была всегда.

Умудренная тысячелетиями настолько, что ей не нужны были доносчики, чтобы сообщать, кто и что о ней говорит и думает, она сама обо всем и обо всех знала. И она знала в последнее время, что молодые змеи смеются над ней. И знала за что. Она несколько раз в последние годы уклонилась от встречи с людьми — их врагами. Она, понимавшая времена, когда вся жаркая середина Земли трепетала от засилия змей, когда к гробницам и пирамидам фараонов, считавших себя равными богам, их трусливые рабы боялись подойти, ибо все сокровища гробниц принадлежали змеям. Она, помнившая времена Великого рассеяния змей по лицу необъятной Земли; она ставшая символом исцеления от всех болезней, опоясавшая чашу с живительным ядом, обкрутившая державные скипетры всех царей; она, изображенная художниками в такую длину, что ее хватило бы стиснуть весь земной шар и головой достигнуть своего хвоста; она, вошедшая не только в пословицы, но и в сознание своими качествами — змеиной мудростью, змеиной хитростью, змеиной выносливостью, змеиной изворотливостью, змеиным терпением... Чего ей было бояться? Ей, родной сестре той змейки, что грелась на груди Клеопатры, сестре всех змей, отдавших свой яд в десятки тысяч кубков, бокалов, стаканов, незаметно растворявшийся и делавший необратимым переход от земной жизни в не ведомую ни людям, ни змеям другую жизнь.

Чего было ей бояться? Всегда боялись ее.

Молодые издевательски шипели меж собой, что она жалеет свой яд. Что возражать! Не она ли за тысячелетия добилась того, что яд тем более прибывает, чем более расходуется.

Ей, бессмертной, кого бояться?

Ей, выступившей во времена рассеяния за Великое единение змей, а за это провозглашенной бессмертной самим Змием, тем, который был на древе познания, когда свершался первый грех, сделавший на все времена

людей виновными уже за одно зачатие, а не только за появление на свет, ей-то чего бояться?

Вот прошел сезон змеиных выводков, прошел настолько успешно, что, будь Змея помоложе, она бы возгордилась результатами своего многовекового труда: все прежние территории были полны подкреплений, были захвачены новые пространства, но Змея считала, что иначе быть не может.

Весь секрет Змеи был в том, что она хотела умереть. Она не умела радоваться, торжествовать, она умела терпеть и бороться, умела веками работать над улучшением и сплочением змеиной породы, она была всюду карающей десницей великого Змия. Она всегда поражалась его расчетливой, насмешливой прозорливости. Только Змий, в отличие от нее, умел насладиться результатами труда.

— Что сейчас не жить! — восклицал он. — Сейчас все змеи знают о конечной нашей цели — власти над всеми пространствами и племенами! А помнишь тяжелые времена? — спрашивал он Змею. — С нами боролись так сильно, что мы были символом греха, нас попирали, карали, изгоняли как заразу, о, сколько клятв о мщении вознеслось тогда к моему престолу! нет худа без добра: считая, что с нами покончено, они стали убивать друг друга, и мы успели собрать гаснущие силы. Помнишь, как славно было греться на камнях, бывших когда-то стенами храмов и жилищ, как славно оплетали развалины хмель и дурман, как славно пахли повилика и полынь? О, дурманящий запах запустения, о, этот запах, в котором нет запаха человека!

Да, Змея помнила эти времена. Помнила их клятвы превратить все города планеты в развалины. Вот тогда и был создан тайный из тайных жертвенный тайник змеиного яда. Огромная подземная чаша, освещенная отблесками золотоносной жилы, приняла тогда первые капли ритуального яда. Теперь все змеи перед уходом в свои регионы, а также при возвращении из них перед смертью отдавали часть своего яда в огромную чашу. Яд кристаллизировался, превращался в твердые янтарные россыпи, они ослепляли.

Чаша наполнялась.

Змея хотела умереть не так просто, она хотела изрыгнуть весь свой накопленный яд — а его скопилось очень много — в чашу, а сама, обернувшись вокруг нее, замереть навсегда. Она думала, что заслужила эту

великую честь. Но умереть без позволения Змия она не могла. И вот она в бессчетный раз появилась у его престола.

В глазах рябило от бесчисленных узоров на спинах и головах самых разных рептилий. Это не было роскошью, нет, здесь было единение, демонстрация змеиной силы, и где, как не здесь, над тайником их всесветного сокровища, собрать всех представителей грядущего властительства земли!

Пола не было видно— сплошное шевеление скользкого узорного ковра: протягивались длиннейшие анаконды, удавы гирляндами висели на потолке и стенах, серые и черные гадюки простирались у подножия престола, по краям его, как маятники времени, качались кобры, гюрза крутилась волчком, бронзовые медянки искорками порхали всюду, — все шевелилось, и все расступалось перед ней, выстелилось перед ней, замерев, только кобры продолжали отталкивать время вправо и влево.

Почетное сопровождение осуществляли самые разные змеи: слепуны, аспиды, бородавчатые, ошейниковые, игольчатые, ближе к ней двигались желтобрюхие полозы, а поодаль, непрерывно и торжественно оглашая воздух шуршащими звуками, виднелись гремучие змеи.

Змея втянула себя в коридор перед престолом, отметив, что мышцы ее упруги, как у молодой, что она еще вполне в состоянии свернуться в пружину и выстрелить себя как свистящий, неотразимый снаряд. Склонив голову и высунув длинный язык, она ждала.

— Великий, могу я говорить с тобой?

— Для тебя нет невозможного.

— Великий, могу я просить, чтобы разговор был у жертвенной чаши?

— О да!

* * *

Когда она увидела чашу, ее решение умереть стало окончательным — чаша должна была вот-вот наполниться. Дело ее огромной жизни завершалось. В ней поднялось внутреннее содрогание, так знакомое по встречам с врагами, такой прилив силы, что показалось даже — ее холодная кровь немного согрелась. Нет, нет, она отдаст свой яд потом, перед уходом.

Она примерилась, она окружила чашу своим крепким, красивым телом. Охрана чаши почтительно расступ-

палась. Да, как раз хватает. Хватает ее длины на окружность чаши. Она давно ничего не ест, ее тело придет сюда высохшим, в последний раз в обновленной шкуре, скоро она выползет из этой, она уже чувствует зудение новой кожи, рожденной на смену.

Напряженное, никому не слышное состояние воцарилось в жертвеннике — явился Змий.

— Повелитель, — сказала Змея, — я знаю цену твоего времени и буду говорить кратко.

— Нет, — возразил Змий. — Трижды нет. Ты не из тех, кому я могу запретить, мы с тобой помним стены Вавилона, мы с тобой готовили разврат жителей Содома и Гоморры, мы грелись с тобой на грудах золота еще тогда, когда золото было простым камнем, и после этого ты будешь торопиться?

— Великий, я помню первые две капли, которые мы с тобой отдали на дно этой чаши. Но время настало, я сделала все, чтобы ты более не нуждался во мне, я создала несколько родов, которые будут всегда рождать себе подобных, улучшая их, закаляя во злобе, делая мысль о мировом господстве не мечтой, даже не целью, а само собою разумеющимся делом. Осталось последнее: чтобы люди поняли нашу власть над ними, и тогда мы разрешим им жить...

— Помнишь день символа — символа исцеления от всех болезней: змея и чаша? Как они поддаются внушению, как легко оказалось ими управлять, но как долго мы к этому шли, надо только вбить в их костяные черепа, которые после смерти так прекрасно служат жилищами для змеиных семей, что зло можно обратить во благо, что добро побеждает зло. Но уже доходит, уже дошло до них, что злые живут лучше, что все блага принадлежат им, что лишение совести ведет к победе над собой, что... Я перебил, прости.

— Ты знаешь мои мысли, но не до конца, Великий. Я решилась просить смерти не от скромности, как ты понимаешь, напротив. Сделав все для нашей победы, я хочу навсегда остаться ее знаком, я и после смерти хочу поклонения; до твоего прихода я опоясала наш жертвенник, его окружность равна длине моего тела.

— Ты заслужила это, Змея. Но все-таки я не понимаю, почему того же нельзя совершить и после нашей победы?

— Я скажу. Сейчас я бы умерла, уверенная в ней, но из всех чувств, замененных злобой, мы оставили в

змеях обостренное чутье опасности. Ты помнишь, когда Он приходил. Он приходил тогда, когда уже все было готово для захвата власти.

— Да. Но Он больше не придет. Не сможет. Они сами виноваты, вынудив нас на борьбу, это и Он, должно быть, понял. Что бы делали они без понятия зла, которое несем мы, олицетворяем в злых поступках, что? Наше оружие — их страх перед нами и наша способность к провокациям. Первородный грех был не сам по себе, я спровоцировал его. Мы населили мир соблазнами: деньгами, похотью, успехом, властью, избавлением от усталости, — нет человека, который бы устоял. Когда зло было явным, явились аскеты, которые могли устоять против соблазнов. Они назвали злом свои пороки, ну и пусть борются, пусть тратят свою жизнь, нам-то что! Нет, Он не вернется. Они думали, что прогресс им поможет, а тем самым копают себе могилу. Они задыхаются от выхлопных газов, на которые мы не реагируем, змеи могут выжить даже в камере смертников. Ради шутки можем и мы повеселиться, некоторые змеи легко могут жить в сиденьях автомобилей, прекрасно путешествовать до тех пор, пока не надоест хозяин машины, чем плохо?

— Великий, я продолжу. Змеи могут перестать быть злыми только мертвыми. Я и сама могла греться последнее столетие на бетонных сооружениях, асфальте, металлических трубах, сама внушала змеям нечувствительность к запахам и вещам цивилизации. Они осушали болота, тем самым множили нас, делали наш яд более страшным, от страданий укреплялись зубы, делались мельче, но смертоноснее, твои слова о том, что мы не должны оставлять следов, осуществлены — мы их не оставляем: ни на песке, ни на траве, ни в лесу, ни на воде.

— Сейчас даже и это неважно. Нет, нет, Он не явится. В те века, разогнав нас, Он давал людям свободу выбора, и что? Они начинали кричать о порядочности, а пока они кричали, ими начинали командовать непорядочные. Они начинали выть о смысле жизни, задавать один и тот же бессмысленный вопрос: зачем, для чего живет человек? А мы знаем. Мы живем для власти над ними. Тогда и они узнают, зачем живут.

— Великий, у них есть еще способность помнить.

— О, очень у немногих. И пусть помнят. Пусть помнят свои слабые предания, легенды, хилые россказни про былое могущество, которое вдохновляет их на веру

в будущее, пусть! Это же единицы. И тех, кто помнит, мы тоже помним. Чаша перед нами — разве мы жалеем черпать из нее на нужное дело? Нет, Змея, трижды нет твоему решению покинуть нас.

— Я не посмею ослушаться, Великий, но я должна сказать, что в полнолуние я почувствовала тревогу.

— Должно быть, сильный ветер или разряд молнии. Ветер и солнце — наши враги. Если бы люди использовали для энергии ветер и солнце, тогда бы я испугался первый. Успокойся. Живи. Люди специально для нас перегораживают реки, они решили затопить свои пространства, убить все живое. Они поняли, что мы всесильны, что мы разбросаны всюду, но едины. Мы всегда опередим инстинктом и скоростью действия, о, мы еще увидим холодные, шевелящиеся змеиные сплетения на развалинах столиц. Ты хочешь уйти, когда их безумие, их жадность дошли до предела, они перестали ценить чужие жизни, у них нет понятия чужой боли, мы отдали им эти свои качества, нет, нет, живи, Змея! Ты же видишь, они же убивают друг друга! Живи!

* * *

И вот Змея возвращалась. Она решила проверить побольше мест гнездований, даже не столько этих мест, сколько пространств меж ними. Все было лучше, чем она предполагала. Глядя узкими сухими глазами, она видела всюду знаки разрухи и катастрофы: брошенную технику, опустевшие, одичалые поля, вырубленные леса, пустые деревни и поселки, ржавые рельсы железных дорог, трещин асфальтовых и всюду свалки мусора. И везде навстречу Змее выходили из нор и укромных мест ее соплеменницы, легкий свист постоянно звучал всюду, и где бы ни находились люди, за ними спокойно и выжидательно следили змеиные взгляды.

По пути было Большое Поле. Змея не любила его: оно было пропитано кровью давней битвы. О, змеи чуют кровь на земле, как акулы в океане, за многие, многие расстояния, но это была особая кровь, от нее исходила явная угроза, и змеи предпочитали обползать Поле стороной. Однажды она увидела, а потом всегда знала, что люди приходят сюда, приносят цветы, некоторые даже, уединившись, стоят на коленях. И получают силы, но не те, не телесные, которые получают змеи, питаясь кровью, а особые силы — силы мужества. Все-таки Змея,

зная, что за ней наблюдают, ее путь следят тысячи и тысячи змей, решилась ползти напрямик.

Уже в самом начале она ощутила в себе глухое сопротивление, как сигнал опасности завибрировал в ней спинной мускул. Но она заставила себя продвигаться дальше.

И здесь Змея увидела Его! Он шел легкой, летящей походкой, седые волосы непокрытой головы и борода серебрились в закатных лучах. Что ж! Мгновенно к Змее пришло решение — эта смерть будет почетнее любой, она с такой скоростью согнала тело в спираль, что над нею взлетели опавшие листья.

Он приближался. Еще, еще... Вот! Она с силой, содрогаясь всем телом, оттолкнулась и... была отброшена непонятной упругой волной. Она еще напряглась и снова отшатнулась. Он удалялся. Все так же летящей была походка, все так же бодро и размеренно касался земли Его посох.

Змея, делая огромные прыжки по обочине, догнала Его и хотела кинуться сзади, со спины. И вновь — прозрачная, отбрасывающая стена. Тогда пусть Он убьет ее, решила Змея. Она по обочине обогнала Его и вытянулась поперек дороги. Он приблизился и засмеялся.

— Иди и скажи Змию, что я вернулся, чтобы он явился ко мне с повинной позади всех змей, скажи, что времена смены шкур, времена вашей угрозы прошли. Вам не дано больше затмевать маяки и сбивать с дороги корабли. Скоро я коснусь посохом вашей жертвенной чаши и превращу ваш яд в песок. Вы были посланы в наказание и испытание, вы решили, что предела злу нет. Предел есть. Он в нашей силе наступать на вас. Иди!

Он пошел дальше. Он даже не наступил на нее, а переступил, как переступают брошенную за ненадобностью дубину.

Змея, извернувшись, рванулась к Нему, но получила такой удар, что очнулась не скоро. В бессильной злобе, корчась от позора, она, открыв страшную пасть, вцепилась зубами в огромный камень на перекрестии дорог и услышала, как ломаются зубы, как хлещет из их полости сверкающий желтый яд.

* * *

Того же дня, вечером, только еще более поздним, Змея была у Змия. Он знал о встрече ее с Ним. Он только хотел многое уточнить.

— Великий, это была неведомая сила.

— Проклятье! Куда Он шел?

— Не знаю. Там было три дороги. Когда я очнулась, Его не было.

— Я думаю, Он не с этой Земли. Здесь все боятся нас.

— Это был Он.

— Для нас лучше, что Он не с этой Земли. Пусть так считают во всех змеиных пределах. Мы укрепим охрану чаши настолько, что даже случайный человек, оказавшийся вблизи, исчезнет бесследно. О-о, сегодня, в разгар полнолуния, тревожный вечер. Я спросил тебя, куда Он шел, неспроста. Люди не могут поглощать расстояния, как мы. Ты встретила Его в Поле, а с севера пришло страшное сообщение. Там тоже ссылаются на Него, говоря, что Он учинил явление Света. Свет сам по себе не страшен нашим узким глазам, но это был особый Свет. Мало того! Этот Свет делил всех не на старых и молодых, не на самцов и самок, не на черных и белых, не на умных и глупых, нет! Все делились на злых и добрых. Добрые радовались, воздевая руки, злые падали на землю и ползли прочь от страха. Самые злые змеи превратились в бессильные плети. На кишку они были похожи! — закричал Змий. — На кишку, полную смертельного страха!

Все так же вправо и влево раскачивались у его трона кобры. Вот подошел полуночный час. Подползла сзади и встала на смену новая пара кобр. Только вдруг заметила Змея, что эти кобры качаются чаще и не в такт. Змий поднял голову. Кобры попали в ритм и выравнялись.

— Птицы распелись среди ночи! Небо стало бездонным, каждый листочек трепетал от счастья, — вот какой был свет! Крысы дохли от разрыва сердца, никакой твари не осталось даже малой темной щели, чтоб скрыться, — вот какой был свет! Если такой свет будет здесь, яд и впрямь станет песком.

— Великий! — наконец решилась Змея. — Ты мог бы говорить с Ним для начала о дележе Земли. Ты мудр, обмани Его. Признай Его силу, проси для нас условий существования.

— Боюсь, что Он не согласится.

— Ты сказал слово «боюсь», Великий.

— Да, — четко произнес Змий, — боюсь, что Он не

согласится... Так. Тебе следует продолжать свое дело пополнения и воспитания выводков.

— Слушаюсь. Великий, но те, кто испугались Света, принесут плохое потомство.

— Их убьют, я уже распорядился.

— Мои зубы, они не скоро отрастут.

— У нас достаточно запасов свежей крови, чтобы помочь тебе.

От входа, стремительно извиваясь легким бронзовым телом, приблизилась отмеченная особой метой медянка. Склонила голову.

— Говори, — велел Змий.

— Великий и высокомудрый, на наши сигналы вновь нет ответа.

— Продолжайте. Не давайте вырваться в космос никаким сигналам, кроме наших.

Медянка исчезла.

— Я поняла, — сказала Змея, — ты пытаешься связаться с другими змеями других миров. А вдруг их там нет?

— Молчи! Трижды молчи! Молчи всегда об этом! Иначе тебе не дожить до новых зубов. Прости, но даже с тобой я прибегаю к угрозе. Змеи есть везде, запомни это и втолковывай каждым новым поколениям. Везде, всюду и всегда. До этих тревожных дней не было в этом мире сплоченнее нас, увереннее нас, и это надо продолжать и усилить. Не жалеть яда на новые, подчиняющие тело и мысли ритмы, на бесовские страсти к вину и плотской любви, к деньгам, к власти, к успеху, ничего не жалеть! Охранять плантации наркотических растений! Убивать внезапно и без всякой системы! Тех, кто помнит прошлое, кусать не до смерти, но до потери памяти. Заставить их голодать, бросать недостроенное, ссориться и грызть друг друга, заставить их уничтожать все запасы пищи и топлива, заставить их и дальше безумствовать в разложении вещества, в сжигании для энергии отходов природы... Пусть они задохнутся в дыму и копоти своего прогресса, пусть отравятся радиацией, пусть живут и думают, что они живут! Пусть они без конца болтают и думают, что этим что-то изменят. Нет, Он не сможет ничего сделать, мы так многое успели, — Он пришел слишком поздно.

Змий опустил голову, показав жестом Змее, что она должна идти. Змея постаралась запомнить Змия в этот

час и отправилась. Навстречу ей ползла новая стража тронного времени.

* * *

Ничего, думала Змея, вползая в воду спокойной реки и отдаваясь течению, ничего. У змей есть силы, змеям есть из чего собирать новые силы, ничего, они крепнут от неудач...

— Ванька! — звенел над рекою мальчишеский голос. — Ты чего не забрасываешь, я уж вторую поймал!

— Сейчас заброшу! — кричал в ответ другой мальчишка. — Вот только эта коряга проплывет.

Картинки с выставки

Знал бы, не связывался — одни только подписи собирал целую неделю. Бегало от меня музейное начальство, ох не любило, чтоб кто-то заглядывал в их кладовые. Но что делать, и меня можно было понять — я был связан обещанием написать текст для альбома художника Костромина, и нужно было видеть его картины. А они были в запасниках, и вот я добывал разрешение войти туда. Только я получил последнюю подпись, только начал договариваться с главным хранителем о ближайшем числе, как снова пришлось ждать — всех сотрудников временно переводили на обслуживание выставки художника Зрачкова.

В издательстве меня торопили, предлагая сделать подтекстовки по контролькам — фотографиям, помещаемым в альбоме, на фото — одно, подлинник — совсем другое, я просил еще подождать. Хранитель ничем помочь не мог, так как: «Зрачков, сами понимаете», — сказал он.

Да, личность была не из простых. Этот Зрачков сумел поставить себя так, что им интересовались непрерывно. В таланте тут было дело или в чем-то другом, как знать, только разговоров было много. Мнение братьев-художников о Зрачкове было неважное, помню, и Костромин отмахивался, не поддерживая разговор о Зрачкове. Художники ругали Зрачкова за плохой рисунок, за насилие над цветом. Но только разве скажет объек-

тивно художник о художнике, надо смотреть самому. Ругать легче всего.

Но привкус ажиотажа был неприятен, казался специальным, я решил не ходить, переждать выставку, а тогда уж со своей бумажкой в запасники. Договорившись с хранителем позвонить ему, я простился, но пошел на улицу не через служебный ход, а через залы, где заканчивали развешивать полотна и где временами стремительно проносился сам Зрачков.

Полотна были на разные темы: исторические и современные, энергия скорости (или торопливость?) ощущалась в бегущих, оборванных линиях. Развешивающие повторяли утреннюю шутку художника: «Картину легко написать, трудно ее повесить». Особенно говорили о каком-то портрете, которому художник никак не находил места.

На бетонных ступенях музея толпились люди, особенно жующий молодняк, вспыхивали просьбы о билетах. Все это было неприятно, я вспомнил, как давно ли в этих залах были картины Пластова, их теплоту, сердечность и боль. Там не было таких вот девиц и их спутников, а может, тут были одни девицы или одни юноши, все были одинаковы, как из инкубатора, все волосатые, безгрудые, беззадые, все клейменные нерусскими наклейками.

Выставка Зрачкова не открывалась еще дней десять, и это тоже походило на специальное нагнетание страстей. Номер телефона музея был занят всегда. Наконец ленточка была перерезана, толпа хлынула. То один, то другой знакомый спрашивали меня, был ли я на выставке. Я отвечал с досадой: нет. А ты знаешь, говорили мне, сходи, интересно. Другие плевались, третьи говорили о порче вкуса, и вот — как понять самого себя? — через неделю я стоял в хвосте очереди. По правде говоря, я сначала сунулся со своей бумажкой с черного хода, но и там стоял пост, требовавший специальные пропуска. Надо было понастойчивей, но я махнул рукой и стал ждать. Да и плевать, думал я, сколько я видел людей, идущих всюду без очереди, а что толку? Чего они добились? Разве в этом удача — схватить кусок раньше других. Давно ли за это ложкой били по лбу.

Ждал, вспоминая другое лето, вот уж тогда очередь была так очередь, вся Москва с ума сошла, музей изобразительных искусств очередь обвивала кольцами. Занимали ее с вечера, мне как раз позвонили знакомые,

они стояли всю ночь. Я тут же помчался, от волнения проехал станцию «Кропоткинскую», почему-то не вернулся, а выскочил вверх на следующей и бежал прямо на красный свет, чуть не попадая под машины. Можно было не гнать, потому что еще стояли часов шесть: густо стали подваливать автобусы «Интуриста», мы злились на иностранцев: как будто не могли они побывать в Лувре, как будто специально надо было ехать в Москву, чтобы увидеть Мону Лизу. Да, в то лето Леонардо да Винчи, могучий дух его, оставшийся на земле, гостил у нас, и приди он не в жару, а в мороз, очередь была бы не меньше. А уж и жара была, то и дело падали в обморок и милиционеры по рации вызывали «скорую помощь».

К обеду, особенно в голове очереди, стали дежурить медицинские автобусы, видимо, ждавшие случаев массового психоза; легковых машин не хватало. Это оттого, что в конце очереди негде было спрятаться, она входила в огороженный проход, а до того бегали постоять в тени.

У ребят из одной компании случился магнитофон, они крутили его, закутав в газеты. «Включи погромче!» — кричали им, и ребята включали. Потом перегоняли пленку и врубали снова. Песни были лихие и запомнились, особенно повторы, например: «я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды...», или: «смерть самых лучших выбирает...», или: «я дрожал и усиливал ложь...», была в певце задиристость и понимание ее бесполезности, наскок перекрывался печалью, но это были песни нашего времени, тем более они помогали ожидать встречу с искусством.

Помню, что последней пыткой было то, когда как раз перед нами отсекли хвост очередной порции, и именно тогда подъехало враз пять или шесть делегаций. Мы их пропускали. Прошла, смеясь, толпа негров, видно, жара была им по душе, но и мы — белые люди — постепенно чернели под полуденным солнцем. Наконец запустили и нас. Внутри было прохладно, сразу как и не было этой египетской жары, говорили негромко, без толкотни брали билеты, и уже не рвались внутрь, ведь чудо было рядом и надо было набираться святости.

К Джоконде вел узкий коридор, выгороженный барьерами. Коридор был углом. В центре угла, на метр выше голов, была картина. К ней шли, вставая на цыпочки или выглядывая сбоку, от нее уходили пятясь, лицом к ней, пока она не закрывалась стеной. Останавливаться запрещали, за барьерами стояли дружинники и мили-

ция, они строго шептали: «Плотнее! Не задерживайтесь, вы видели, какая очередь» и т. п. Мысли путались, в голову лезло прочитанное об этой картине, торопливо думалось, что красный бархат не подходит к раме, что стекло бликует, да кто бы ее утащил, если бы была не под стеклом, главная досада была та, что только-только находилась точка для взгляда, только казалось, что она глядит именно на тебя, как мужской энергичный шепот в самое ухо страгивал с места. Нет, это, конечно, было не свидание. «Перед иконами, — говорил русский писатель Иосиф Волоколамский, — следует единствовать и безмолвствовать». А тут? Красный бархат, обложивший стекло, казался траурным, улыбка Моны Лизы усталой, даже злой, но все же картины хватало на всех; я видел, что эта женщина улыбнулась понимающе; но уже совсем уходя, я еще поймал ее взгляд — он был насмешлив.

Мы вышли и долго жмурились на свету. Ребята, вышедшие прежде, включили магнитофон, и он, побывавший в прохладе, орал пуще прежнего: «Затопи ты мне баню по-белому, я от белого света отвык. Угорю я, и мне, угорелому, пар горячий развяжет язык...», с этой песней они скрылись, и мы остались одни на белом, жарком асфальте. Следовало бы побыть одному после виденного, но ведь как у нас — если давно не видались, да встретились, да столько страдали, как тут расстанешься. Было странное ощущение, что город брошен, Москва пуста, только сумасшедшие машины и автобусы, готовые взорваться, добавляют в раскаленный желтый воздух синего дыма. Мы шли по мягкому асфальту, уж не чая спасения, однако в стеклянной забегаловке к нам бодро подскочили, предлагая выбрать и холодное и горячее... Потом, когда жара перетерпелась, наступил вечер, решили не расставаться. Поехали в какой-то дом каких-то внуков знаменитого дедушки, добавили, стали слушать записи церковных песнопений, но невнимательно, откуда-то взялись гитара, женщина за ней, я сразу в нее влюбился, в женщину, конечно, а не в гитару, но и гитара была хороша своими звуками: «Мой караван шагал через пустыню...» или: «Все своевременно, все своевременно» (дальше было, кажется, что женские волосы пахнут дождем)...

Потом песнопения сняли с проигрывателя, пластинку с ними положили на самый край накрытого стола, и когда кто-то тянулся к общей тарелке, то задел пластинку, и она упала. Но уже гремела другая музыка. Я захотел

вымыть руки и вообще умыться, пошел в ванную, но там уже целовались...

...Сейчас очередь была поменьше, двигалась побойчее. Машин «скорой помощи» не было, вдобавок для контраста пошел холодный дождь, очередь расцвела зонтиками. Спереди, сзади и сбоку меня теснились зонтики. Психологически сложно было попроситься под который-нибудь, вот и терпел сливание струй на себя со всех. Воспоминания о Джоконде было быстрее, чем если бы рассказывать о ней. Миновали угол, вышли на финишную прямую. Под зонтиками шел разговор о Зрачкове. Говорили о картине, которую у Зрачкова торгует один американец. Американец этот не искусствовед, но любитель и, наживаясь на каких-то машинах, для души скупает картины, у него большая коллекция, именно к нему якобы попадают увезенные из Европы картины, но все это слухи, кто видел? И вот этот бизнесмен хочет купить у Зрачкова именно ту картину, которую Зрачков не уступает. Он сказал: любую, но не эту. «Портрет любовницы!» — утверждали две девицы: одна в широченных брюках, будто на каждой ноге было по юбке, другая в брюках в обжимку, но у обеих на шее висело по лезвию от безопасной бритвы. Ну и вот, якобы бизнесмен и художник уперлись лоб в лоб и никто ни в какую.

Конечно, именно эту картину отыскивала вначале простодушная толпа. Это был портрет женщины, закутанной в желтую шаль, глядящей немного выше взглядов на нее, женщина, казалось, зябла; подвитые волосы держались атласной лентой, и вся женщина была из прошлого века, когда бы не глаза, подведенные по новой моде, когда и глаз-то не видно, душа спрятана, да еще валялись вокруг колеса магнитофонных лент. Непонятно было — измучен или загадочен взгляд, что было — бессонная ночь или событие? Может быть, эта загадка и пленила бизнесмена, который оказался не выдумкой, а живьем стоял у картины, говорил громко, смеялся, и какой-то знаток английского перевел, что господин Стивенс (так его называло его окружение) заявляет, что если Зрачков устоит перед ста тысячами долларов, то он, американец, станет советским.

Выставка напоминала читанное о скандальных выставках импрессионистов. Но читать — одно, да и публика там экспансивная, французская, а наш народ сдержанный. Конечно, Стивенс добавил страстей. Почему он вцепился в этот портрет? Другие были не хуже. Может,

он был дорог художнику? Дотошная толпа находила, что в этой женщине нет сходства с портретом жены, висевшим неподалеку. Шумно было у картин на исторические темы, картины эти и были как раз основой выставки. Около них была такая толкотня, что радовало только одно — никто не велел скорее уходить, каждый мучился, сколько хотел. Тут кто плевался, кто плевал в того, кто плевался, но многие молчали, вглядываясь. И то сказать — сумел художник царапнуть нервы:

— княгиня Евпраксия с маленьким сыном бросалась из высокого окна, а внизу, на камнях Рязанского кремля, лежал убитый князь Дмитрий;

— последователь Чингисхана, Мамай, на коне въезжал в Успенский Владимирский собор;

— с колоколен сволакивали колокол, назначая его в переплавку, другой колокол, эпоху спустя, везли в ссылку;

— там покорные люди поднимали тесаные камни на леса будущего храма, здесь те же люди, спустя века, закладывали под этот храм заряды;

— Петр Первый склонялся к стеклянной банке, в которой была заспиртована женская кудрявая голова;

— он же будил маленького наследника Алексея, вручая ему саблю и заставляя ссечь голову стрелецкому сыну, мальчишке таких же лет;

— Иван Грозный шел за телегой убитого им сына...

...было, было на что посмотреть.

В нескольких местах вслух читали затрепанные книги отзывов. Записи были двоякие: одни объявляли Зрачкова гением, другие — бездарностью. Но и те и другие сходились в одном — мы плохо знаем свою историю, Зрачков в силу своих возможностей заполнил пустоту исторического чувства. Чувство истории есть сравнение своего времени с временами минувшими, сравнение силы своей духовности с духовностью предков, как объясняет Пушкин: «...люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения».

И еще декада прошла.

Выставка Зрачкова закрылась, я выждал два дня и поехал в музей. Прошел свободно. Картины были сняты со стен, только одна, та самая, все еще висела и, одинокая на большой стене, где болтались бельевые веревки, казалась странной. В зале было много людей — теле-

видение сматывало свои кабели, у стола с табличками «Худфонд» и «Салонэкспорт» теснились смотрители залов, художники, но что главное — и американец был тут. Через переводчиц возбужденно он просил Зрачкова назначить сумму за портрет. Свои убеждали Зрачкова вполголоса уступить.

В следующую минуту произошло то, о чем через полдня заговорили всюду — Зрачков прошагал к портрету, снял его с петель, одна петля застряла, он дернул, оторвал шнур и... протянул портрет Стивенсу, сказав громко:

— Я дарю его вам. Дайте фломастер! — Перевернул портрет, написал несколько слов и велел рабочим упаковать портрет.

Что и говорить — жест был не из последних. Немножко была немая сцена. Особенно хорошо сыграл ее американец, заговоривший после столбняка по-русски:

— Я остаюсь в России!

Хранитель фондов забыл даже сверить мое разрешение с паспортом, долго путал ключи, наконец открыл.

Отошла в сторону кованая дверь, я медлил. Хранитель бесцеремонно впихнул меня, вошел сам и закрылся. Он объяснил, что нельзя долго держать дверь открытой, чтоб в запасниках не поднялась температура, сказал также, какая она по Цельсию тут, сверился с градусником. Но не это его занимало, поступок Зрачкова был слишком свеж.

— Триста тысяч долларов! — восклицал он, запинаясь за литые ступени и чуть не падая вниз.

— А здесь есть картины в такую сумму?

Хранитель очнулся:

— Есть! Есть и больше. Причем, чем дальше, тем дороже.

Полусвет, полутьма царили в запасниках. Мы шли вдоль стеллажей, где стояли разновысокие полотна. Провода пожарной охраны тянулись всюду, краснели звонки и кнопки сигнализации.

Если что и похоже на айсберг, так это музеи, думал я, идя по бесконечному коридору, ведь верхняя, видимая часть музея так мала, что смешно судить об искусстве по постоянной экспозиции или по чьей-то выставке.

— Это ж какие же нужны залы, чтобы выставить все враз, — сказал я фразу, наверное, надоевшую хранителю.

— А зачем? — ответил он. — Пусть отлеживаются. Было модно, схлынуло. Вот это — ведь не от большого

ума, — он показал картину: топор, бородатая голова, надетая на топорище, на заднем плане, стыдно сказать, была написана икона, подсвеченная лампадкой. — Или вот это выдрючивание — рояль с ослиными копытами вместо клавишей. Вообще всякая цветная геометрия, ведь это от бездуховности, от неумения рисовать, от пустоты души. А ведь так, подлецы, сумели, — хранитель выругался, — оболванили вкус, все сумели сделать и имя и деньги. Причем совсем недавно, сорок, тридцать лет назад.

— А полотна Зрачкова есть?

Хранитель засмеялся:

— Подождем лет десять хотя бы. Вообще-то надо бы ждать лет сто как минимум. Хотя... — горько сказал он вдруг, — вкус всегда низок.

— Вот бы здесь хранилась Джоконда, — совсем по-детски сказал я.

— Джоконда? — спросил хранитель, даже не улыбнувшись. — Я бы с ума сошел, разве можно. — Мы помолчали. — Вот мы и пришли, — он показал стеллаж, маленький автопортрет Костромина висел над ним.

Хранитель прибавил света и оставил меня. Слышно было, как он набрал чей-то номер телефона и стал рассказывать о событии, заключившем и без того шумную выставку Зрачкова.

Это мешало, но вскоре, поставив в ряд несколько полотен Костромина, я забылся. Радостно загорелся голубым цветом иван-чай, сдруживший нас. Костромин тоже был с Севера. Я рассказал, как мы в голодные годы собирали иван-чай на заварку, он косился недоверчиво, но вятское слово «нашвыркать» убедило его. «А в Сибири еще говорят: набруснили», — добавил он.

Как он умел смотреть глазами того, кто смотрел на картину. Вот и «Изба на закате» — то время дня, когда занавески еще не задернуты, в избе готовят ужин, разводят огонь. Время заката, темные простенки, красным светят окна. Вот картина — высокий колодезный журавль, и он как будто черпает из заката. Осенние травы под ветром. «Ночной букет» — светлые точки татарника. Иван-чай, шиповник. Тогда критики, торопливо отделываясь от Костромина, говорили о нем вроде оригинальную, но все же обычную фразу, что он пишет не цветы, а портреты цветов, грибов, вещей, утвари, но сам Костромин говорил, что худо-бедно, а он пишет в каждой картине свою жизнь. Трудно он шел к портретам, к сю-

жетным работам, история жертвы во имя людей — вечная тема — держала его всегда в напряжении. Пройдя войну, он ни разу не написал военного сюжета, только одно было — «Воспоминание о 41-м» — изба в центре разрыва и низкое небо над полем, как пересказать? Тем более как написать эти маленькие подтекстовки в альбом? О цвете писать, а вдруг оттиски будут такие, что от цвета останется только намек.

Вот и «Хризантемы в снегу», он любил их и продал в музей, только чтоб не ушло к частникам. Но вот опять же, подумал я, как было знать — разве лучше загнать их в эти подвалы? Вдруг увиделось в картине, какая она разная. То снежная вся, то вдруг проступает темень стеблей, мертвеющие листья. Цветы казались растущими из снега, то видно было, что они брошены замерзать или положены на сугроб над чьей-то могилой.

Вот и могила Костромина уже побывала под снегом, год прошел с его смерти. Любя Некрасова, он сказал раз о смерти одного общего знакомого: «Не рыдай так безумно над ним — хорошо умереть молодым». И сам умер едва за пятьдесят, задохнувшись от астмы в субботу вечером, в городской больнице. Перед этим было тяжелое дождливое лето, вредное его дыханию. Последние картины были такие: старые серебряные крыши уходящей России, седые туманные дожди, темные стеклянные лужи и в них чуточку предзакатного света. И писал куда-то девшиеся заготовки к полотну, горизонтальное полотно, дальние дали, черные птицы улетают в перспективу.

Не было заготовок, но не было и стилизаций — лиц современников в духе иконографии, красных коней в дыме костров, бесконечных свечей в золотых шандалах, только была одна картонка, как предчувствие — свечи уже вовсе нет, догорела, только кованый, слабо освещенный предсмертным пламенем, подсвечник. «Живой, он не думал о скором уходе, ведь пламя горит, хоть фитиль на исходе...» «Исторгла муза конъюнктурный звук, — смеялся он над стилизациями. — Но признал Париж — Москва признает». Иконописные лица, натюрморты с лаптями, кони, как приснившиеся красные тени, — все это сделало ему имя, как-то узналось иностранцами, в его две крохотные комнатки покупатели пошли косяком, сами назначая растущие цены. А ведь двое детей, жить хотелось по-человечески, он копил на кооператив. Стал повторяться, а имя укрупнялось — несколько цвет-

ных фото его картин прошло в каком-то издании о современных исканиях живописи. Тогда-то Костромина зазвали участвовать в выставке художников Севера, тогда-то музей и купил у него эти картины. Это было больше всего радостно Костромину, хотя и заплатили ему только-только, он резко бросил работать на потребу, но оставалось... да кто что знает, сколько кому остается!

Хранитель вернулся за мной, деликатно постоял сзади, не торопил, но было ясно — пора. Он помог аккуратно составить картины.

— Когда его столетие?

— Через полстолетия.

— Жаль, — огорчился хранитель, — да если еще некому будет пробивать, наследники вымрут, так и будет здесь.

— Альбом выйдет, может, что сдвинется.

— Хорошо, что вы наивны, — улыбнулся хранитель. — Правда, наивных много, просят принять даром, уверены, что их время придет. Дождутся! — как-то иронически воскликнул он. — Вкус ведь всегда низок, всегда потреба дня.

Я шел впереди, поэтому немудрено, что, плохо помня дорогу, сунулся не в ту дверь. Хранитель мгновенно обогнал меня и сделал жест — сюда нельзя. А я уже брался за медную ручку железной двери. Да и как я сразу не заметил — сургучная печать на стандартной круглой фанерке. Спросить, что там, было неловко и я пошутил косвенно:

— Алмазный фонд?

— Гораздо дороже, — ответил хранитель и как-то весь озарился.

Больше я не расспрашивал.

Хранитель погасил верхний свет, оставив дежурный, красный, сверился с температурой. Я помог ему закрыть. Он позвонил в охрану, назвал несколько цифр, дату, время дня.

А время дня было еще раннее, я решил побывать в типографии, узнать, как подвигается дело с фотографиями. К сожалению, дело это никак не подвигалось, причем по моей вине — типография не брала в работу альбом без текста. При мне просмотрели слайды и контрольки, отобрали только те, где было, как выразилась женщина-мастер, «больше линий, чем пятен». Я стал защищать и остальные, мастер спорить не стала, повела меня в цинкографию.

Шли через печатный цех, там лихо и почти бесшумно неслась широкая белая лента бумаги, разматывающейся с рулона, бумага влетала в машину и, всячески там бросаясь и вверх и вниз, выскакивала наконец вся испечатанная, взлетала в резальную машину, где ее рубило на короткие цветные куски. Что-то знакомое мелькало в них. В брошюровочном цехе я понял, что́ это — это готовился буклет художника Зрачкова, предназначенный для передвижной выставки. Я взял в руки буклет, перелистал. Под репродукцией портрета женщины, подаренного сегодня утром, стояло: «Из частного собрания м-ра Стивенса (США)».

В комнатке цинкографа ни о чем не удалось договориться. Цинкограф доказывал, что будет хуже для художника, если не получится клише. А оно не получится: слишком редкое, новое сочетание красок — машина не возьмет, «нет пока таких машин. Если хотите испортить впечатление о художнике, оставляйте».

— Сам я не возьмусь, — говорил цинкограф, — я не палач, убивать красоту — моя профессия, но не мое призвание... Душевные картиночки, — бормотал он, глядя на свет сквозь цветную пластмассу на хризантемы.

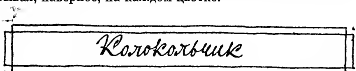
— Хорошо, что заехали, — говорила мастер, — теперь вы знаете, к каким писать текст, к каким уже не надо.

Вдруг цинкограф, вздохнувши, сказал:

— А вот попробую!

С тем и расстались.

Под вечер я заехал на кладбище. На могиле Костромина не было ни звезды, ни креста, никак не могли договориться мы — его друзья, какой и в какую цену делать памятник. Но могила соблюдалась, на холмике были посажены васильки, ромашки, бессмертники, в изножье цвели высокие черные розы, лежала охапка иван-чая. Шмель летал над цветами, и, пока я стоял, он побывал, наверное, на каждом цветке.



Колокольчик

Было это на праздновании 600-летия города Кирова-Вятки-Хлынова. Но вот тоже сразу вопрос — почему шестисот-, а не восьмисотлетие? Не могу я поверить

легенде, что шестьдесят ушкуйников создали огромную республику, с огромным населением, войском, управлением по типу новгородского веча, республику, ведущую переговоры с другими княжествами и, наконец, почти добровольно пятьсот лет назад, в 1489 году, вступившую в состав Русского государства. А было времени республики почти триста лет.

Сунулся я со своим вопросом к историкам, но мне дали понять, что открылись другие факты, что достовернее другое, то есть омоложение на двести лет, и вообще намекнули, что это их дело, историков, устанавливать даты, а мое, писательское, ковыряться в душах, хоть в чужих, хоть в своей собственной. Тут, может, сработала политичная мысль, что вроде не по чину областному городу быть вровень со столицей, хотя в те-то годы, во времена Боголюбского, чем была Москва?

Сошлись мы с историками только на том, что наши вятичи выместили своими застройками язычников угрофиннов. То есть на месте Хлынова что-то стояло и до упоминания в летописях, а уж сколько этому чему-то было лет, никто не знает и не празднует. Но уж ладно, шестьсот так шестьсот, что для нас два века!

И вот в лето 1974-е от рождества Христова в Киров съехались гости. Выходцы из вятской земли были отовсюду, может, в этом и есть историческая роль Вятки — рассылать своих сыновей по белу свету. На пресс-конференции перечислялось столько знаменитостей, что уж никто бы не повторил слова Костомарова о Вятке, что «в русской истории нет ничего темнее Вятки и истории ее». В числе приглашенных были и члены Союза писателей, а в числе последних был и я.

В библиотеке имени Герцена, под ее знаменитыми пальмами, состоялся литературный вечер. Вдоль стен просторного зала стояли стенды с книгами участников, вырезки статей положительных отзывов о книгах. На одном из стендов книги немного потеснились, впустив и мою первую книжку.

Без перерыва мы отсидели больше трех часов. Собратья по перу говорили о своей любви к городу Кирову, читали отрывки или стихи, ему посвященные.

Пришло время и мне выходить на трибуну. До этого я думал, о чем говорить. «Расскажи о себе, — посоветовал собрат, — тебя еще не знают». Подразумевалось, что остальных знают. Тут он похвалил мою первую книгу, она и в самом деле как-то быстро разошлась, о ней уже

кое-где написали хорошие отзывы, несколько писем пришло от читателей; материнские рассказы, открывавшие книгу, передавались по радио, и туда пришли благодарности.

Начал я с того, что вятская земля не знала крепостного права, но почувствовал, что это известно, перекинулся на благодарность вятским женщинам, вообще на материнское начало вятской земли. В президиуме скрипели стулья. Зал был вежливее и терпел.

— Моя мама, — заявил я, — родила меня дважды.

В зале засмеялись.

— Да, именно дважды. Один раз как всех, другой раз как писателя. — Даже не заметив, что этими словами я выделил себя изо всех, я продолжал: — Как было. Шел с мамой на реку полоскать белье, это она шла, конечно, ну и меня взяла, и вот, шли мимо больницы, мама говорит: «Ты здесь родился». Я ничего не ответил, а когда возвращались, заявил: «Я здесь родился и еще буду родиться!» Мне об этом мама рассказала, когда я студентом приезжал на каникулы. Вот этот рассказ был первым из записанных материнских рассказов... К тому времени я кончал болеть детской болезнью прозаика — стихами, — добавил я, не подумав, что среди собратьев много всю жизнь пишущих стихи. Надо или не надо, но рассказал собравшимся о первой публикации, как мне велели, и я пытался «высветлить» рассказы, но хорошо, что не получилось то, как мама решила, что я публично ее опозорил, побежала на почту узнавать, кто еще получает такой журнал. Оказалось, никто. «Я же тебе только одному рассказывала, ты зачем записал?» Закончил я вводную часть выступления спорной фразой: — Но что есть писательство, как не публичный донос одного о чем-то или о ком-то для многих?

Далее говорил о книгах детства, как тяжело они доставались: чтобы записаться в библиотеку, нужно было сдать десять рублей, и вот мы собирали кости по оврагам, сдавали кости проезжим старьевщикам; тогда не было открытого доступа к фондам, а всегда казалось, что за прилавком книги самые интересные; как я все свои первые любови отдал девушкам-библиотекаршам — на фоне книг они казались неземными. В этом месте, так как в зале было много работников библиотек, я сорвал аплодисменты. Словом, говорил сбивчиво, путано, но, как написали на следующий день в областной га-

зете, «взволнованно и с большой любовью к вятской земле». Для чего-то сказал, что когда был маленьким, то меня, чтобы не уполз, клали спать в хомут. Тут, видно, хотел усилить свое ямщицкое, по дедушкам, происхождение, то, что мы жили на конном дворе лесхоза, и я много времени провел в конюховской. Первые анекдоты, услышанные мною, были на тему: ямщик и барыня. А то, что ребенок лежал в хомуте, я видел сам как раз в этой конюховской. Там жила большая семья конюха Федора Ивановича. Жена положила сына в хомут, а я, кажется пятилетний, пришел с мороза погреться и вытереть сопли, увидел такое дело и, считая нормой русского языка все матерные слова, восхищенно сказал: «Ну, Анна, в такую мать, ты и придумала!»

После вечера редактор радиовещания пригласил записаться для передачи. Сговорились на завтра, с утра, так как в обед мы, разбитые на бригады, уезжали по районам.

Наутро я шел на радио, вспоминая вчерашний вечер, который после официального вечера местные собратья давали приезжим. На нем говорили о проблеме, почему наше сельское хозяйство отстает по урожайности от частных хозяйств Запада, а так как сильно специалистов по сельскому хозяйству среди нас не было, поэтому отставание мы списали на характер русского землероба. Также досталось отсутствию дорог и сселению деревень, кто был за него, кто против, спорили азартно, будто кто спрашивал у нас совета: уничтожать деревни или сохранять?

Но все время разговор возвращался к характеру землероба. Кто признавался, что не знает его, кто заявлял, что там и знать нечего, ссылки на авторитетные мнения летали над столом во всех направлениях; бывавшие за границей пробовали провести параллели, но зря трудились: там, где ожидалась логика, было пренебрежение загадочного характера, расчет заменяла догадка, там, где в руки этому характеру шла явная выгода и надо было только шевельнуть пальцем, шевелить пальцем он не хотел, заменяя ответ на все упреки и доводы бессмертной формулой: да ну и хрен с ним! Как понять его, сокрушались инженеры душ, как? Но все же мы решили, что поймем и отобразим, нас много и становится все больше, — и вот, вспоминая вчерашний вечер, я дошел до студии, где редактор запер меня наедине с микрофонами в звуконепроницаемой комнате.

Редактора я видел через стекло. Договорились, что я по своему выбору прочту два небольших рассказа.

Прочел.

Редактор пришел в комнату, полистал книгу и ткнул пальцем в две так называемые лирические миниатюры.

— Это плохо, — сказал я, — проба пера. Нагонял объем.

— Прочти, прочти, — велел редактор и снова запер дверь.

Я попил воды и прочел. Меня отпустили.

К обеду погода испортилась, пошел дождь. Сели в машину и поехали. В машине вначале поговорили о проблеме дорог, вспомнили вчерашние теории, особенно одну из них, что дорог не нужно, что это предотвратит проникновение в село теневых сторон цивилизации, но сейчас, на практике, трясясь на плохом асфальте, буксуя на глинистых обочинах, было решено, что дороги все же нужны, причем если их делать к каждой деревне, то и деревни не надо сносить. Правда, мы не знали, что экономически дороже — свозить деревни в поселки или тянуть к деревням дороги, но морально было лучше сохранить уклад и обычаи крестьянства.

Но вскоре разговор, как все писательские разговоры, съехал на материальный вопрос, на тиражи, одинарные и массовые, на то, в каком издательстве главный бухгалтер — собака, а в каком можно договориться, привычно ругали художников, выражающих в оформлении книг только себя и не помогающих доносить до читателей мысли...

Писательский шофер, видно, таких разговоров слышал-переслышал, часто зевал и, щурясь, вел машину, помогая нам проникать к читателям. Торопливо выскакивало солнце, озаряло темные ели и вновь скрывалось. Асфальт дымился, казалось, горит. Так и ехали под дождем и солнцем по тракту часа два, потом свернули и потряслись по проселку. Неубранные хлеба высились по сторонам, были хороши, самое время было их убирать.

Колхозная улица была вся изъезжена тракторами. Шофер, взглянув на наши ноги, подрулил прямо к крыльцу правления. Нас ждали, провели в кабинет председателя. В красном углу на специальной подставке стояло много знамен. Все простенки занимали красные вымпелы и почетные застекленные грамоты.

Председатель для начала рассказал, какие знамена и

вымпелы переходящие, а какие насовсем. Но и переходящие, сказал он, «прописаны в колхозе постоянно». Селекторная связь на его столе не умолкала, и он перевел ее на секретаршу, сказав ей при этом: «Собирайте».

Посидели, поругали погоду, похвалили поля. Председатель, как и шофер, с сожалением взглянул на нашу легкую обувь, пожалел, что не может показать нам строящиеся объекты, — строил колхоз много: коровник, свинарник, птицеферму. Строителей приходилось привлекать со стороны, даже, тут председатель не скрывал, переплачивать вдвое-втрое, чтоб сманить от других.

— Конечно, это общая беда. Так же будем строить школу, магазин, музыкальную школу, Дворец культуры. Пока у нас не Дворец, вы увидите, но проходит по смете по разряду Дворца, тут хитрость, чтобы заву и кружковцам платить побольше. Но это опять-таки общая хитрость, — засмеялся председатель.

Еще с полчаса мы потянули время, потом решили отправляться в клуб. Но дождь все шел, грязь увеличивалась, поэтому мы не могли пройти в своей обуви даже двести метров, залезли снова в машину и в ней достигли крыльца клуба.

Внутри копился народ. Продавали книги. Радостным сюрпризом было то, что Книготорг доставил сюда и наши книги.

Подошли с моей книгой и ко мне. Милая краснеющая девушка. Я спросил имя и написал: «Очаровательной Татьяне», следующей читательнице я написал: «Очаровательной Наташе...», дело пошло. В конце я размашисто расписывался.

— Дядь, — сказал мне какой-то мальчишка в громадных сапогах, — я не верю, что ты писатель.

Я не сразу понял всю глубину его слов и подумал, что он решил так оттого, что книга моя была без фотографий, а у собратьев с ними.

Позвали за кулисы.

В гримерной познакомились с представителями из района, договорились, кто за кем выступает.

— Начнем в восемнадцать двадцать, бригадирам приказано, — говорил председатель.

Меня как ударило: в восемнадцать тридцать по радио должны были передавать мое выступление. К удовольствию собратьев, я попросился выступать последним, потихоньку спросил завклубом, можно ли послушать радио, и объяснил, почему нужно. Она ответила, что

приемник есть, но внутри клуба радио будет обслуживать выступающих, но что дело поправимое, она включит радио на улице, там, над крыльцом, висит громкоговоритель, называется «колокольчик».

— Восхитительно! — поблагодарил я. — «Колокольчик»!

Мне сразу вспомнилась поговорка, которую мама употребляла, останавливая поток моего неразборчивого красноречия: «Болтаешь, как из колокольчика напоенный». Я решил это сравнение где-нибудь к месту употребить, гордо подумал, что у меня ассоциативное мышление.

В гримерную входили бригадиры, докладывали о прибытии людей со всех участков. Председатель разрешил не присутствовать дояркам и трактористам. Начиналась вечерняя дойка, а трактористы жили на полевом стане.

Пошли на сцену. В зале захлопали. Председатель представил нас. Вначале стал говорить представитель из района. Я постарался незаметно уйти. Завклубом помнила о моей просьбе и кивнула:

— Идите на крыльцо.

В фойе свертывали книжную торговлю. Я подписал книгу очаровательной продавщице. Снаружи в клуб рвались двое выпивших мужиков, но их не пускали, а за мной сразу закрыли. Этих двух мужиков уговаривал уйти третий.

— Че вы там не видали? — спрашивал он.

— Баба у меня там,— отвечал один,— у ней деньги, да и сам я, че ли, буду ребятам ужин делать.

— А мне интересно, — говорил другой.

Внезапно громко заговорил репродуктор, названный «колокольчиком». Мужики замолчали, прислушались. По радио как раз объявили о писательском выступлении.

— Наряд читают? — спросил один мужик.

— Да вроде рано, — другой еще послушал, — нет, не наряд.

И мужики продолжали говорить свое. На улице показалось стадо. Коровы старались идти ближе к заборам, но и там было грязно, копыта скользили. Трактор «Беларусь», буксуя, тянул тележку с травой.

Вдруг мой голос раздался над всем этим так громко и такой гадкий, что я содрогнулся. Да и все бы ничего, и это можно было стерпеть, но я услышал, что я читаю не те рассказы, которые хотел, а те самые лирические миниатюры, которые меня заставили прочесть.

Стадо брело по улице, трактор буксовал, шел дождь, мужики спорили на крыльце. Перестав ломиться в клубные двери, они сговорились идти в магазин и пошли, а мой безобразный голос орал над этой распутицей, над этими мужиками, над застрявшим трактором, над коровами, над пастушьим кнутом, над всей нечерноземной округой, орал о том, что не бывает в жизни, а если и бывает, то только для зажравшихся, для тех, потешать кого я чуть не угодил.

Редко мне бывало стыдно, как тогда на крыльце. «Слушай, — говорил я себе, — слушай, выходец из народа, слушай, дважды рожденный, крестись второй раз на своей родине». Я стал под дождь и заставлял себя слушать, но не смог все равно до конца, да и никто, кроме коров, не слушал меня. Но и перед ними было стыдно. Я вспомнил, как нашу корову загнали в ограду сельсовета за то, что она ушла на поле озимых и надо было платить штраф. Платить было нечем, как и другим загнанным, тогда нам сбавили жирность молока на одну десятую, это означало, что налог на корову будет не сто пятьдесят литров, а больше, а мы и так сидели без молока; вспомнил я бесконечные осени моей земли, длинные ленты желтых кустиков картошки, худых лошадей, измученных женщин, черное картонное радио на стене... да мало ли еще что вспомнил. А «колокольчик» все орал, все орал...

Когда я вернулся, выступал председатель. Говорил он коротко, жестко, слушали его гораздо внимательней, чем вслед ему выступавших поэтов. По какой-то непонятной потребности каждый поэт вначале долго усыплял слушателей пересказом содержания стихов, которые читал после пересказа. Потом, боясь, что смысл не дошел до умов, растолковывал и смысл. Когда зал порядком заездили, объявили меня. Слова «земляк», «молодой», «сельская тематика» разбудили некоторых. Для начала я пошутил, но очень топорно:

— Вас усыпили ритмы стихов, понадобилась проза.— Тут же я спохватился и поправился: — Проза, так сказать, жизни. Тут, перед вечером, не знаю, чей сын... — стали просыпаться женщины, — ...но это хороший сын, успокойтесь, он сказал мне: «Дядь, я не верю, что ты писатель». (В зале засмеялись.) — ...Он прав, никакой я не писатель. Какие мы писатели? — Это опять было бес-

тактно: нельзя говорить за всех, можно только за себя. Я торопливо кинулся объяснять: — Он прав, потому что язык, на котором я пишу, — русский, а не цыганский и не татарский... — В зале зашевелились, представитель из района кашлянул, вглядевшись, я узрел в зале и татар, и цыган. Снова я стал карабкаться из самим же вырытой ямы: — Ничего плохого, кроме хорошего, я не хочу сказать ни об одной национальности, но русский язык — великий язык, это самое главное, что есть у нас, смотрите, наш Пушкин, он родной и неграм, и всем.

— И французам, — подсказали из президиума.

Я даже не посмел обидеться за подсказку — косноязычие владело мною. Мешал, ох мешал мне мой собственный голос, который только что перед этим оглушил меня. Зачем я стал называть святые имена, но раз уж начал, раз уж начал, тащил ношу дальше:

— На русском писали Достоевский и Толстой, и какая же нужна высокая душа и мера любви к отечеству, чтобы отважиться писать на русском языке?..

Вряд ли были нужны мои слова людям из зала, а сзади довольно громко заметили: «Чего ж тогда сам-то полез писать?». Нет, не мог я говорить, но должен был, и, поймавшись, как в детстве, за мамину руку, я поймался за материнские рассказы и прочел несколько. Прочел и те два, которые не были переданы по радио, на том и закончил свое выступление.

Нас благодарили, приглашали еще приезжать. Сфотографировали с группой читателей.

Вечер кончился, мы вышли. Вверху висел безгласный «колокольчик».

Сели в машину, но поехали не обратно, а к рыбакам. И совершенно случайно оказалось, что над рыбацким столом натянут брезентовый навес, что случайно в этот день в сети попал осетр, что стол случайно застелен скатертью, и пили в этот день рыбаки не из стаканов, а из рюмок. Случайно вскоре и рыбаков не оказалось за нашим столом, а только мы да представитель с председателем да хозяйничала женщина, вся закутанная от комаров.

Я пошел просвежиться. И как раз набрел на рыбаков. Они разложили маленький огонь от комаров, вывалили на газету разваренную рыбу. Говорили они, употребляя в десятках вариантов одно и то же слово. Меня они застеснялись, но я употребил еще один вариант этого же слова и стал как бы свой.

Посидели хорошо. Успели выяснить, что матерные слова русскому языку навязаны, их корни в монголо-татарском нашествии, а до этого мы не ругались, не из-за чего было. И вообще, что это такое, говорили мы, до нашествия не ругались, вроде за ругань не виноваты, до Петра Первого не курили, не пили, тоже вроде не наша вина, но сами-то мы чего, чего мы сами-то думаем своей головой? Этак завтра чего-нибудь с нами вытворят, и опять будем не виноваты? Что ж это такое за жизнь? Это, значит, на нас черти отыгрались, а мы терпим, нет, ребята, это не ремесло, предел кончен, этак жить — только врагам на радость.

Пойду купаться, решил я. Рыбаки говорили снова о своем, я спустился к воде.

Вятка текла, светло-серая под дождем. Комары жрали непрерывно, пили кровь.

Я разделся, еще нарочно подержал себя в виде подарка комарам и нырнул.

Внутри воды показалось светлее, чем на берегу. Течение реки ощущалось — мощное, ровное. Да, если мои предки жили у такой реки столетиями, они невольно стали походить на реку — спокойную со стороны, но напряженную, сильную, неостановимую.

Я вспомнил, что до сих пор Вятка, пожалуй, единственная река, не перегороженная плотиной электростанций, ушел глубже ко дну, достал его — обломки резного дерева попались под руку; зрение памяти показало мне деревню у реки, девушку по колено в воде, деревянных и глиняных божков всех времен года, всех обычаев и ожиданий. Голого ребенка старшие тащили купаться, с промысла шла к деревне долбленая лодка, и я, выныривая, боялся удариться о ее дно...

На берегу меня ждали. Рыбаки уже ушли, ушла и женщина с ними. Но мы еще побыли, взбодрили забытый рыбаками костерок, старшие поехидничали надо мной, что я оторвался от интеллигенции, стали учить, что не надо приседать перед читателем, надо вести его за собой. Попробовали и запеть, но на общую песню не набрели, решили уезжать. Загасили костер.

Шофер спал. Был ли он на вечере в клубе, спросил я его, нет, конечно, не был, он этих вечеров перевидал страшенное количество.

Проехали напоследок по деревне. У правления простились с хозяевами. Шофер залил в радиатор воды. Было еще не совсем темно.

Со столба, стоящего у крыльца, слышался громкий голос. Здесь тоже висел «колокольчик» — усилитель радио.

Читали наряд на завтра.

О войне

Колхозный ток. Молотьба. Колотится, вздрагивает молотилка с конным приводом. Слабый свет сквозь пыльные, забранные в решетку фонарные стекла. Течет на черный брезент желтое зерно.

Подает снопы в молотилку Федор Иванович. Он уперся деревянной ногой в станину.

Нагибается, хватает сноп, кладет его колосьями к устью молотилки, раскатывает ровной полосой и чуть подталкивает. Зубцы барабана зажимают колосья, и подносящие снопы то появляются, то исчезают. Они вдергивают внутрь.

Место у молотилки освещено сильнее. Женщины держат снопы вперехват, как детей.

Я отгребаю зерно от лотка, женщины жестяными совками ссыпают его в мешки.

Ритмично грохочет молотилка.

Федор Иванович был конюхом. Когда вернулся из госпиталя, стал председателем. Он привез с собой в колхоз слепую лошадь, тоже побывавшую на фронте.

Лошадь ходит в темноте по кругу, подгонять ее специального человека не приставлено — Федор Иванович понукает ее через бревенчатую стенку. Он кричит на всех: на лошадь, чтоб быстрее ходила, на женщин, чтоб быстрее подтаскивали снопы, на мальчишку моего возраста, Тольку, чтоб быстрее разрезал свясла, на меня, чтоб быстрее отгребал зерно, на других женщин, чтобы быстрее насыпали в мешки.

Он злится не из-за того, что мы плохо работаем, а из-за того, что болит натертая протезом нога, что из мужиков остался только он да мы с Толькой, ему жалко лошадь, жалко нас, он злится из-за того, что молотьба, бывшая до войны праздником, сейчас только работа.

Дребезжит молотилка, рывками вдергивает барабан снопы. Женщины торопятся: у всех дома некормленые дети, недоеные коровы.

Деревня рядом, но отсюда не видна. В окнах нет света: ребятишкам не велено зажигать коптилки, чтобы не сделать пожара.

Уже пала роса.

Никто не злится на Федора Ивановича: ни женщины, ни мы с Толькой, ни лошадь, — Федор Иванович кричит, чтоб быстрее закончить. Нога его болит сильно, но никто бы не догадался, если бы сквозь сердитый крик не прорвался наконец стон.

— Шабашим?! — кричит одна из женщин.

— Толька! — кричит Федор Иванович. — Встань! Еще сотню пропустим.

Толька подскакивает, сменяет Федора Ивановича. А Федор Иванович отстегивает, отбрасывает протез, садится на пол и разрезает свясла на снопах.

— Ровней расстилай, — кричит он, — ровнее! Не комками. — Он командует через стену лошади: — А ну еще! А ну пошла! — И там, в темноте, лошадь убыстряет ход, обшаркивая ногами мокрые лопухи на краю круга.

Женщины торопятся подтаскивать снопы, отметать солому, насыпать зерном мешки, и я тороплюсь отгрести от лотка пыльное теплое зерно.

Я уже наелся зерна и больше не хочу. Я устал, но мне стыдно сказать об этом.

Вот кончим, и никто не засмеется, не затеет веселой возни, все торопливо побегут по домам.

Я завидую Тольке: он стоит подавальщиком на месте взрослых мужиков. Я высовываюсь, вижу его потное, грязное, напряженное лицо. И он взглядывает на меня и подмигивает: мол, вот где я! Голова его резко дергается, исчезает. И раздается крик...

Я ничего не понимаю, вскакиваю, слышу, как Федор Иванович гаркает лошади остановку.

Стала молотилка. Висит в воздухе пыль от соломы.

Навзрыд кричит, бьется о землю Толькина мать.

Кладут Тольку на снопы. А он, боясь посмотреть на левую руку, которой нет, обливаясь кровью, испуганно говорит:

— Дяденька, не ругайте меня! Дядя Федя, я не нарочно.

Через пять лет Тольку забракует призывная комиссия райвоенкомата.

Это все, что я могу рассказать о войне.

Конь с подпорой

Пошел я в школу не как все нормальные люди, не первого сентября, а третьего. Получилось так. Я был средний в семье, мне было пять лет: старше меня были брат и сестра, и младше меня были брат и сестра. Старшие готовились к началу занятий. Обертывали газетой учебники, чинили карандаши, укладывали в пенал. Ходили (и я с ними) в магазин за перьями. Обсуждали, какие лучше: «лягушка» или «копье»? Хотели купить с крючочком на конце, но до пятого класса такими перьями писать не разрешали: портился нажим, исчезала красота букв. Был специальный урок чистописания. А новый портфель сестры, прекрасная, через плечо, холщовая сумка брата, а их слова: «Не лезь, мал еще, сначала подрасти», — нет, не вынесла душа, первого сентября я встал с рассветом и сначала тихо, потом сильнее начал реветь. Разбудил всю семью, был отправлен в угол, но и там ревел, уже на законных основаниях. И тем горше, чем сильнее ощущал приближение торжества старших: запах утюга, запах раннего топленого молока, от которого я отказался.

Школьники собрались и ушли. Мама проводила их, вернулась — я ревел. Отец завтракал, я испортил ему весь завтрак, он бросил ложку, ушел на работу. Мама выходила, входила — я ревел. Выходила — делал передышку, но младший брат выдал — пришлось реветь беспрерывно. Кончились слезы — ревел насухую. Вернулись из школы брат и сестра — я взвыл. Они сели обедать, звали меня, не пошел. «Губа толще, брюхо тоньше», — сказала мама.

После обеда она убрала со стола, вытерла столешницу чистой тряпкой, подстелила газету, и школьники сели с двух сторон делать уроки. От зависти я зарыдал. Брат вытолкнул меня на улицу. Я ревел на крыльце и говорил всем прохожим, что хочу в школу, а меня не пускают.

Пришел с работы отец, прошел мимо, я заревел с новой силой.

«С утра ведь, что хоть делать-то, грыжу ведь наживет», — говорила мама.

«Никаких!» — отвечал отец.

Я ревел-заливался до ночи. Меня, чтоб семьи не по-

зорил, привели домой, пробовали говорить по-хорошему, я не сдавался. Лег спать последним. Спал я на полатях и, когда полез туда, на ходу подвывая, увидел там ломоть хлеба и кружку молока.

Наутро, выспавшись, я хотел нестись на улицу бегать, но увидел, что сестра стоит у порога с портфелем, и снова заревел. Короче: я ревел еще сутки.

«Отец, — взмолилась мама, — отведи ты его, все равно не возьмут, хоть охотку собьет».

Отец плюнул и пошел к своему знакомому, вместе служили, учителю. Я ждал отца у ворот и тихо скулил: «Хочу учиться, хочу учиться, хочу учиться...»

Утром третьего сентября я сел за парту. Как вольный слушатель. Вначале, когда я тосковал по маме, то вставал и говорил: «К маме хочу», — и уходил, но постепенно втянулся. Уже читал и писал не хуже других, но не был записан в журнал, меня не спрашивали, не ставили оценок. А другим ставили. Конечно, это была не учеба. Охотка действительно сбивалась, и только упрямство водило меня в школу.

Тетрадь мою не собирали для проверки, поэтому вместо выполнения домашнего задания — писать карандашом палочки, кружочки, петельки, хвостики — я рисовал в тетради на вольную тему. И дорисовался. Подошел учитель и спросил: «Это что?» Я не отвечал, так как считал, что нарисовано хорошо и можно понять, где танк, а где самолет.

И учитель поставил мне оценку. В великом восторге, не дожидаясь конца занятий, я полетел домой. Мама копала картошку, я помчался в поле, там были и другие женщины, и стал кричать:

— Отметку поставили! Отметочку! Так палочка, так палочка и точка!

В тетради, которую я раскрыл перед мамой, стояла моя первая отметка — кол с подпорой.

В школу я не пошел, притворился больным.

Так вышло, что сверстники мои еще сидели дома, а те, с кем учился, были старше, я остался без друзей. На улицу не тянуло. А мама даже радовалась, что я сижу дома, — может быть, и вовсе дурь из головы выкину. А я обиделся на учителя — кол с подпорой за прекрасную картину сражения наших с немцами.

Днем я лежал не на полатях, а на сундуке, у стены. Стена была оклеена газетами. Фотография коровы с теленком привлекла меня, и я стал по складам читать. Мне

попалась статья о костромской породе крупного рогатого скота. У нас тоже была корова Декабринка, но явно не костромская. В статье, которую я прочел, описывались такие чудеса, что нашей вятской Декабринке и не снились. Статью я выучил наизусть. Порода эта была выведена так. Одна корова потерялась, и ее не нашли. Думали, что задрали волки. Наступила зима, и зимой корова нашлась! Она вернулась в свой колхоз сама. И не одна, привела теленка. Оказывается, он родился в лесу, на снегу, закалился — и вот, пожалуйста. От этого теленка, он был бычком, пошли телята покрепче. Всех коров заставляли рожать на холоде. Телята сразу закалялись. Так получилась новая порода. Газета ссылалась на опыт живой природы, на лосей — ведь они рожают зимой. В статье ругали преступно нерадивых руководителей колхозов, которые занимаются утеплением скотных дворов, расходуют трудодни, а не следуют примеру костромских животноводов.

Наша Декабринка стояла в тесном хлеву. С потолка свешивалась белая паутина морозного инея от ее дыхания. Мама упечатывала хлев и часто ходила проверять корову, она должна была вот-вот отелиться.

Я знал, что маленького теленка принесут домой. Нет, решил я, так больше не будет. Зачем тогда газеты выпускают, зачем я тогда читать научился?! Потихоньку подговорил младшего брата, пересказав ему статью.

Зима стояла теплой, и в этот раз теленка не понесли в избу. Когда он родился, мы проспали. Утром мама сварила первое густое молоко, молозиво, и мы, наголодавшись, резали его ножом и ели.

Старшие ушли в школу, мама в магазин, а мы с братом побежали в хлев. Дали Декабринке хлеба с солью, а теленка вытащили и положили на снег. Закаляться. Его прямо затрясло от холода. Хорошо, что мама вернулась быстро, как чуяла. Она ахнула, принесла теленка в дом, укутала в тряпье. Он жил три дня в избе, и мы играли с ним.

А вскоре я снова сидел за партой. И отвела меня в школу мама. Опасно было держать дома такого грамотного. Обоев тогда было не достать, и мало ли что я еще мог прочесть: все стены были оклеены газетами.

Кончилась вольная жизнь. Учитель записал меня в журнал.

Когда появились обои, мы оклеили ими квартиру. Я не жалел, что газеты заклеены, потому что уже читал хорошие книги.

Утя

Когда ему было четыре года, пришла похоронка на отца. Мать закричала так страшно, что от испуга он онемел и с тех пор говорил только одно слово: «Утя».

Его так и звали: Утя.

Мы играли с ним по вечерам в большом пустом учреждении среди столов, стульев, шкафов. В этом учреждении его мать служила уборщицей и ночным сторожем.

Утя не мог говорить, но слышал удивительно. Ни разу не удалось мне спрятаться от него за шкафом или под столом. Утя находил меня по дыханию.

Было у нас и еще одно занятие — старый патефон. Иголок не было, и мы приловчились слушать пластинку через ноготь большого пальца. Ставили ноготь в звуковую дорожку, приникали ухом и терпели, так как ноготь сильно разогревался. Одну пластинку мы крутили чаще других:

Цыганочка смуглая, смуглая,
Вот колечко круглое, круглое,
Вот колечко с пальчика, пальчика,
Погадай на мальчика, мальчика.

Потом патефон у нас отобрали. Два раза Утя напомнил мне о нем. Один, когда мы шли по улице и увидели женщину с маникюром. Он показал и замычал. «Удобно», — сказал я. Он захохотал. Другой раз он читал книжку о средневековье, и ему попалось место о пытках, как загоняли иглы под ногти. Он прибежал ко мне, и мы вспоминали, как медленно уходила боль из-под разогретого ногтя.

Утя учился с нами в нормальной школе. На одни пятерки, потому что на вопросы отвечал письменно и имел время списать. Тем более при его слухе, когда он слышал шепот с последней парты.

Учителя жалели Утю. В общем, его все жалели, кроме нас, сверстников. Мы обходились с ним как с ровней, и это отношение было справедливым, потому что для нас Утя был вполне нормальным человеком.

Кстати сказать, мы не допускали в игре с Утей ничего

обидного. Не оттого, что были такие уж чуткие, а оттого, что Утя легко мог наябедничать.

Мать возила Утю по больницам, таскала по знахаркам. Когда приходили цыгане, просила цыганок погадать, и много денег и вещей ушло от нее.

Ей посоветовали пойти в церковь. Она пошла, купила свечку, но не знала, что с ней делать. Воск размягчился в пальцах. Она стояла и шептала: «Чтоб у меня язык отвалился, только чтоб сын говорил...»

Когда хор пропел «Господи, помилуй» и молящиеся встали на колени, она испугалась и ушла. И только дома зажгла свечку и сидела перед ней, пока свеча не догорела.

Но сколько ни ходила мать в церковь, сколько ни покупала свечек, сколько ни становилась на колени, Утя молчал. Но чем чаще мать ходила в церковь, тем больше верила, что Утя исцелится.

И Утя заговорил!

Мы купались, и я его нечаянно столкнул с высокого обрыва в реку. Он упал в воду во всей одежде, быстро всплыл и заорал:

— Ты что, зараза, толкаешься?!

После этого ошалело выпучил глаза, растопырил руки и стал тонуть. Мы вытащили его, он выскочил на берег, плясал, кувыркался, ходил на руках и кричал:

Цыганочка смуглая, смуглая,
Вот колечко круглое, круглое!
Вот колечко с пальчика, пальчика!
Погадай на мальчика, мальчика!

Говорил непрерывно, боялся закрыть рот, думал, что если замолчит, то насовсем.

Помню, мы особо не удивились, что Утя заговорил. Мы даже оборвали его болтовню, что было несправедливо по отношению к человеку, молчавшему десять лет.

Утя побежал домой, по дороге называл вслух все, что видел: деревья, траву, заборы, дома, машины, столбы, ворвался в дом и крикнул:

— Есть хочу!

Его мать упала без чувств, а очнувшись, зажгла свечку перед недавно купленной иконой.

Утя говорил без умолку. Когда кончился запас его слов, схватил журнал «Крокодил» и прокричал его весь от названия до тиража.

Он уснул после полуночи. Мать сидела у кровати до

утра, вздрагивала и крестилась, когда сын ворочался во сне.

Утром Утя увидел одетую мать, сидящую у него в ногах, и вспомнил, что он может говорить. Но испугался, что снова замычит или скажет только: «Утя». Он выбежал из комнаты и залез на крышу. Сильно вдыхал в себя воздух, раскрывал рот и снова закрывал, не решаясь сказать хотя бы слово.

Он глядел на дорогу, отдохнувшую за ночь, на тяжелый неподвижный тополь, на заречный песчаный берег, на котором росли холодные лопухи мать-и-мачехи, сверху затянутые тусклой скользкой зеленью, снизу бело-бархатистые; он видел рядом с крышей черемуху, ее узкие листья с красными сосульками болячек, воробьев, клюющих созревшие ягоды; печную трубу, над которой струился прозрачный жар,—он мог все это назвать, но боялся.

Наконец он вдохнул и, не успев решить, какое скажет слово, выдохнул, и выдох получился со стоном, но этот стон был не мычанием, а голосом, и Утя засмеялся, присел и стал хлопать по отпотевшей от росы железной крыше.

Его мать расспросила нас о происшедшем на реке и испекла много-много ватрушек. Мы ели их на берегу, и, когда съели, я снова спихнул Утю в воду, тем самым окончательно равняя его со всеми. Он, однако, обиделся всерьез.

В сентябре учителя подходили к Уте, гладили по голове и вызывали к доске с удовольствием, чтобы слышать его голос. Но здесь голоса от Ути было трудно дождаться: он почти ничего не знал, подсказок слушать не хотел и быстро нахватал двоек.

В конце концов учителя стали его упрекать. В ответ он всегда произносил услышанную от кого-то фразу: «Я детство потерял!»

Он и матери так кричал, когда чего-то добивался. Например, появились радиолы, и он потребовал, чтобы мать ему купила.

Радиола стояла у них на тумбочке в углу под иконами.

Мать слушала только одну пластинку, заигранную нами, — о цыганке. А Утя накупил тяжелых черных пластинок и ставил их каждый вечер.

Особенно любил военные песни, которых мать не выносила. Она просила не заводить их при ней, но Утя

отмахивался. Когда он садился к радиоле, мать уходила на улицу.

Утя включал звук на полную мощность, и радиола гремела на всю округу...

Женя Касаткин

В седьмом классе к нам пришел новый ученик Женя Касаткин. Они с матерью жили в деревне и приехали в село, чтобы вылечить Женю. Но болезнь его — врожденный порок сердца — была неизлечимой, и он умер от нее на следующий год, в мае.

Круглые пятерки стояли в дневнике Жени, только по физкультуре был прочерк, и хотя по болезни он не учился по две-три недели, все равно он знал любой урок лучше нашего. Мне так вообще было хорошо, я сидел с ним на одной парте. Мы подружились. Дружба наша была неравна — он не мог угнаться за нами, но во всем остальном опережал. Авторучки были тогда редкостью, он первый изобрел самодельную. Брал тонкую-тонкую проволочку, накручивал ее на иголку и полученную пружинку прикреплял снизу к перышку. Если таких пружинок было побольше, то ручка за раз набирала столько чернил, что писала целый урок. Такое вечное перо он подарил и мне. А я спросил:

— Как называется твоя болезнь?

Он сказал. Я написал на промокашке: «Окорок сердца». Так мне это показалось остроумно, что я не заметил его обиды и пустил промокашку по рядам.

Пришла весна. Когда вода в ручье за околицей вошла в берега, мы стали ходить на него колоть усачей. Усачи — небольшие рыбки — жили под камешками.

Как-то раз я позвал Женю. Он обрадовался. Матери его дома не было, и Женя, глядя на меня, пошел босиком. Земля уже прогрелась, но вода в ручье была сильно холодная, ручей бежал из хвойного леса, и на дне, особенно под обрывами, еще лежал шершавый лед. Вилка была одна на двоих.

Чтобы выхвалиться перед Женькой своей ловкостью, я полез первым. Нужно было большое терпение, чтобы подойти, не спугнув, сзади. Усачи стояли головами про-

тив течения. Как назло, у меня ничего не получалось, мешала дурацкая торопливость.

Женька зашел вперед, выследил усача и аккуратно наколол его на вилку, толстенького, чуть не с палец. А я вылез на берег и побегал, чтоб обогреть ноги. У Женьки получалось гораздо лучше, он все брел и брел по ледяной воде, осторожно поднимая плоские камни. Банка наполнялась.

Солнце снизилось, стало холодно. Я даже на берегу замерз, а каково было ему, чуть не километр шедшему по колено в воде. Он вылез на берег.

— Ты побегай, — посоветовал я. — Согреешься.

Но как же он мог побегать — с больным-то сердцем? Мне бы ему ноги растереть. Да в конце концов хотя бы матери его сказать, что он замерз, но он не велел говорить, где мы были, всех усачей отдал мне. Дрожал от холода, но был очень доволен, что не отстал от меня, даже лучше.

Его снова положили в больницу. Так как он часто там лежал, то я и не подумал, что на этот раз из-за нашей рыбалки.

Мы бежали на луга за диким луком и по дороге забежали в больницу. Женька стоял в окне, мы кричали, принести ли ему дикого лука. Он написал на бумажке и приложил к стеклу: «Спасибо. У меня все есть».

— Купаться уже начали! — кричали мы. — На Поповском озере. Ты давай кончай сачковать!

Он улыбался и кивал головой. Мы отвалились от подоконника и помчались. От ворот я оглянулся — он стоял в окне в белой рубахе и смотрел вслед.

Раз нельзя, то мы и не принесли ему дикого лука. На другой день ходили есть сивериху — сосновую кашку, еще через день жечь траву на Красную гору, потом снова бегали за диким луком, но он уже зачерствел.

На четвертый день, на первой перемене, учительница вошла в класс и сказала:

— Одевайтесь, уроков не будет. Касаткин умер.

И все посмотрели на мою парту.

Собрали деньги. Немного, но добавила учительница. Без очереди купили в школьном буфете булок, сложили в два портфеля и пошли.

В доме, в передней, стоял гроб. Женькина мать, увидя нас, запричитала. Другая женщина, как оказалось, сестра матери, стала объяснять учительнице, что вскрытия не делали, и так ясно, что отмучился.

Ослепленные переходом от солнечного дня к темноте, да еще и окна были завешены, мы столпились у гроба.

— Побудьте, милые, — говорила мать, — я вас никого не знаю, все Женечка о вас рассказывал, побудьте с ним, милые. Не бойтесь...

Не помню его лица. Только белую пелену и бумажные цветы. Цветы эти сестра матери и укладывала вдоль доски. Это теперь я понимаю, Женя был красивый. Темные волосы, высокий лоб, тонкие пальцы на руках, покрасневшие тогда в ледяной воде. Голос у него был тихим, привыкшим к боли.

Мать говорила:

— Вот эту книжечку он читал, да не дочитал, положу с ним в дорожку. — И она положила в гроб, к левой руке Жени, книгу, но какую, не помню, хотя мы и старались прочесть название.

Когда мы засобирались уходить, мать Жени достала из его портфеля самодельное вечное перо и попросила нас всех написать свои имена.

— Пойду Женечку поминать, а вас всех запишу за здравие. Живите, милые, за моего Женечку.

Подходили к столу и писали на листке из тетради по немецкому языку. Ручки хватило на всех. Написала и учительница. Одно имя, без отчества.

Хоронили Женю Касаткина назавтра. Снова было солнце. Ближе к кладбищу пошли лужи, но все равно мы не ставили гроб на телегу, несли на руках, на очень длинных расшитых полотенцах. Менялись на ходу и старались не останавливаться — за этим следила сестра матери, — остановка с покойником была плохой приметой. Наша учительница и еще одна вели под руки мать Жени.

А когда взрослые на этих же полотенцах стали опускать гроб, то мы с Колькой, который один из всех мальчишек плакал — он был старше нас, вечный второгодник, и Женя занимался с ним, — мы с Колькой спрыгнули в могилу и приняли гроб — Колька в изголовье, я в ногах.

Потом все подходили и бросали по горсти мокрой земли.

И, уже вернувшись в село, мы никак не могли разойтись, пришли к школе и стояли всем классом на спортплощадке. Вдоль забора тянулась широкая скамья, под ней еще оставался лед. Кто-то из ребят начал пинать этот лед. Остальные тоже.

Две доли

С обеда зарядил дождь, сенокос остановился. Мой дядя, тракторист, не терпящий безделья, придумал сходить «забрести» пару раз бреднем. Напарником он кликнул соседа Федю. Я попросился с ними.

— Возьмем, — прохрипел сосед Федя, — ведерко таскать. Все, глядишь, рыбка лишняя в хозяйство.

Но дядя сказал, что я иду от не хрен делать, что и без рыбки буду хорош.

Жена дяди, тетя Еня, вынесла из чулана груду рванья.

— Живет бурлачить-то. А ты-то куда?

— Интересно.

— Ну, сходи, сбей охотку.

Мы оделись и как три каторжника (собаки отскакивали) пошли деревней, потом огородами к реке.

Нести бредень пришлось мне. Я радостно тащил его на плече. Перед глазами болтались куски осокоревой коры — поплавки.

С обрыва увидели внизу, на заливных лугах, озера. Спустились пока еще твердой глинистой тропинкой. Шли вдоль берега. Вода в реке лежала неподвижно, легкие дождинки не тревожили ее.

— Дождь с полдён на двенадцать дён, — хрипел сосед Федя. — Перебьет тебе, Василий, весь заработок.

Река свернула в сторону — мы пошли прямо и у первого же озера раскрутили бредень, размотали мотню.

— Не боишься ты, Вась, ласкушки сколь заузил, — одобрил сосед Федя. — Мальчика в воду пошлем?

— Какой он мальчик, парень.

Мне было поручено идти сзади бредня, приподнимать мотню, чтоб не тащилась по дну и не порвалась. Так что я оказался необходимым. Я полез в воду.

— Сердце не замочи! — закричал дядя. — Выше сердца в воду не заходи, замерзнешь.

Но «замочить сердце» пришлось; там, где дяде было по грудь, мне по плечи.

— Ничего, молодой, — сказал сосед Федя. Он шел от берега по колено.

Ноги вязли в иле. Со дна поднималась и расходилась

белесая муть. Вода, теплая к вечеру, мягко поддавалась движению.

Дождь перестал, комары вылезли из своих укрытий и набросились на нас. Мы мотали головами, как запряженные лошади.

Видно было, как рыбки охотятся: маленькие рыбки за комарами, большие рыбы за маленькими. То тут, то там всплескивала вода, и от всплеска в разные стороны стрекала рыбья мелочь. Мы поворачивались на плеск и сильнее налегали на палки.

— Есть, — говорил дядя, — должна быть рыбка.

— Чирей те на язык, — суеверно хрипел сосед Федя, — господи благослови, должна быть.

Верхняя веревка с поплавками выгнулась полукругом. Перед ней вздрагивали и исчезали кувшинки, как будто их заглатывали. Траву и кувшинки у корня сгибала донная веревка с грузилами.

Мотня набивалась грязью, травой, головками кувшинок. Скользкий раздувшийся пузырь мотни стал даже в воде неподъемно тяжелым, как будто мы чистили дно, а не ловили рыбу.

Однако в выволоченном на пологий берег бредне местами поблескивало. Мы стали разгребать грязь, набрали из мотни несколько сопливых карасиков.

— Сглазил, Васька, — хрипел сосед Федя. — Одну грязь и кокоры чего волокчи? На уху не набурлачим.

Азарт охоты не пропал во мне. Я хватал тугих карасиков, обмывал их у берега, резал пальцы о прямые серпы осоки. Мелочь отпускал, глядя, как брошенная рыбешка шлепалась на воду, переворачивалась и уплывала.

Комары прокусывали одежду. Дядя предложил пробрести маленькое озерцо неподалеку. Надежда на него была плохая, но оно было чистое, без коряг.

Двенадцать метров бредня как раз хватило, чтобы боковым идти по берегам. Я опять шел посередине, два раза всплыл, чуть не бросил палку с привязанной мотней.

Уже стали сводить концы бредня, как мотня ожила, будто ее схватили и трясли изнутри.

— Есть! — крикнул я.

Они и сами поняли, что есть.

— Нижнюю выводи! — орал дядя на соседа.

Сосед Федя орал на меня, я тоже чего-то орал.

Они бросили палки и тянули, перехватывая, сгибаясь до земли, нижнюю веревку, обмотанную черной скольз-

кой травой. Я толкал мотню сзади, боясь, что щука цапнет и отхватит руку.

Это действительно оказалась щука. Бредень она прорвала уже на берегу, когда дядя бил ее снятым сапогом. Федя колотил камнем, который, как он потом говорил, неизвестно откуда взялся.

Я ничего не нашел лучшего, как брякнуться на щуку животом. То ли спасая ее, то ли убивая. Дядя не сдержал замаха и треснул меня сапогом по спине. Федя замах сдержал, но, когда щука меня сбросила, ударил точно.

— Здорова, — заметил дядя. — Не столь длинна, сколь толста. — Он обувался. — Отожралась на карасях.

Федя издал испуганный крик — из порванной мотни вываливались, шлепая хвостами, круглые караси. Мы кинулись и за минуту наполнили ведро. Мелочь, какую брали при первом заходе, сейчас отшвыривали.

Я подбирал и бросал в воду мальков.

— Плюнь, — сказал дядя, — все равно подохнут.

— Почему?

— Это озеро высохнет.

— Я в большое перенесу.

— Там своей мелочи пузатой хватает.

— На что она надеялась? — хрипел Федя. — Видно, с реки зашла, карасей лопала, а обратно — шиш. Значит, думала хоть пожрать вдоволь.

— А чего не жрать? — отозвался дядя. Он стягивал дыру в мотне. — Жри: кто знает, что завтра будет.

— Караси до чего жирны! — похвалил Федя. Он крутил рукой в ведре, как будто месил тесто. — А они-то что едят?

— Находят.

— Траву едят, — сказал я.

— Ишь, — захохотал Федя, — посади-ко нас на траву, друг друга жрать начнем.

— Сидели и не жрали, — сказал ему дядя. Встал. — Ну, давай! Еще бы такое озерко, и шабаш.

Такое озерко нашли. Их было много, высыхающих. Меня пожалели, я шел боковым. Сосед Федя, идущий на моем месте, жулил, не помогал волочь бредень, просто шел сзади. Он ждал щуку, вглядывался в толстое сквозное тело мотни, процеживающее зеленую воду. Шли тихо. Зудели комары, да изредка стукала головой умирающая щука.

Задирая склоненную над водой траву, вытянули бредень. Карасей и на этот раз было много. Федя снял ру-

баху, завязал рукавом ворот, получился мешок. Я ходил по берегу и пинал мелочь в воду. Многие рыбки уже не перевертывались, уснули. На белые пятна их животов слетались комары. Снизу комаров хватали пока не попавшие в сеть рыбы.

— Полпуда, ей-богу, не меньше, — хрипел Федя. Он выдернул из своих брюк ремень, завязал мешок.

— Зажрут! — не выдержал дядя. Он чистил бредень, вскочил, яростно охлопывая шею и лицо ладонями.

— Ты их не яри, — посоветовал Федя, — отгоняй. Кровь почуют, разъярятся. Спутники запускаем, а комаров, мать-перемать (его тоже кусали), уничтожить не можем.

— А птицы чем будут питаться? — спросил я.

— Травой! — решил Федя.

— Пусть пьют, — сказал дядя, — лишнюю кровь отсосут.

— И то! — сказал Федя. — Пиявок я брезгую.

Я вспомнил, как они били щуку, и сказал:

— А привязать человека к дереву — до смерти искусают. Вот попробуйте.

— Сам пробуй, — сказал Федя.

Еще забрели.

Темнело. Я окунал шею и лицо, спасаясь от комаров, а заодно греясь: в воздухе похолодало.

Бредень пришел пустой, если не считать мелочи, которую мы вытряхнули и оставили на берегу.

— А ну еще! — задоря нас, крикнул Федя.

— Да хватит вам! — не выдержал я. — Совсем уж обжадовели.

— В сам деле, — согласился дядя, — набурлачились. Да и куда ее складывать, если еще.

— Рубахи снимем.

— Я не сниму, — злобно решил я.

— Тогда я штаны сниму, — решил Федя. — Что мне, в темноте-то по деревне и без штанов просквожу.

— Уходим, — сказал дядя, — бог через раз улыбается.

Мы смотали на палки тяжелый бредень, понесли его: дядя спереди, я сзади. Кроме того, дядя нес ведро, я щуку. Федя нес только мешок, потому что свободной рукой поддерживал штаны.

Дядя был выше меня, и с бредня мне текло на плечо. Я замерз.

— Сердце-то замочил, — упрекнул дядя, — дрожишь.

Как будто я был виноват. Он ускорил шаг.

Мы поднялись на обрыв. Сзади, на лугах, остались высыхающие озера, полные рыбы. Тяжело шаркала сохнущая на ветру одежда. Комары отступились.

В деревне, в домах, готовили ужин. Огонь под таганами давал отблеск на окна, как бы задернутые красными дрожащими занавесками. На дальнем конце деревни сухо и отчетливо щелкала колотушка ночного сторожа.

Пришли.

Хотели развесить сушить бредень, но Федя посоветовал оставить до утра.

Тетя Еня вынесла керосиновую лампу.

Стали, не переодеваясь в сухое, делить. Федя ногой потрогал щуку. Она слабо ущемила сапог.

— Неохота подыхать, — сказал Федя.

Дядя, хакнув, махнул топором.

— Отвернись, — сказал он. Я отвернулся. — Кому?

— Феде.

Феде достался хвост. Дядя отбросил голову в другую сторону, опрокинул ведро на траву. Рыба растеклась небольшим толстым пятном. Федя развязал рубаху. Дядя примерился и разделил кучу надвое. Рыба бесшумно и гладко подавалась под его рукой. Посмотрел, перекинул пару карасей слева направо, потом обратно.

— Смотри, Федь.

— Чего смотреть. Одно к одному.

— Отвернись.

Я отвернулся. Федя сказал:

— На парня-то надо. Слышь, Вася, парень-то лазил.

— В один дом, — сказал дядя.

Тетя Еня поддержала мужа. А мне и не нужна была рыба, я жил у них в гостях, но какая-то обида вдруг резанула меня.

— Кому? — спросил дядя.

— Тебе! — крикнул я и убежал на задворки.

Никогда до этого я не называл дядю на «ты».

Розовый свет

Когда едешь летом, то его хорошо видно и рано утром и поздно вечером. Даже ночью, если вызвездило, видна его легкая тень. Вот зимой плохо — и утром и вечером

поезд идет в темноте. Хорошо, если луна, но, если и нет, я все равно не ложусь, дожидаясь двухсотого километра, и, глядя в темноту, представляю его. А когда возвращаюсь в Москву, то рано утром будто кто будит меня: ни разу я не проспал встречу с ним.

Речь идет о храме Покрова на реке Нерль. Если ехать от Москвы, то он будет по правую руку после Владимира, недалеко от села Боголюбова, на заливных лугах. Деревья на полосе отчуждения сильно выросли и загораживают взгляд, но есть в полосе разрывы, и храм, то исчезая, то показываясь, плывет в окне и виден минуту или полторы.

Этот храм необъясним, как чудо. Столько о нем написано, о его соразмерных пропорциях, удивительных белокаменных тягах, полуколоннах, закомарах, вытянутом барабане под вознесенным куполом, но зря стараться объяснить то состояние, которое приходит... То есть то состояние, ну вот как сказать, когда любишь, когда красота спасает, только бы не опоздать к ней. И только вспоминается известное об этом храме. Он построен Андреем Боголюбским в память о сыне, погибшем в походе на камских болгар. Боголюбский — сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Мономаха. Но не совсем верно говорить, что такой-то князь или царь построил что-либо. В его время, да. Например, не Иван же Грозный строил собор Василия Блаженного или не Алексей же Михайлович церковь Вознесения в Коломенском; из царей один Петр работал плотником, но это отклонение от нормы — дело монарха вызвать к действию желание прекрасного, а творцы его всегда есть в народе. Но кто они, безвестные строители храма? Тут мы, по славянскому обычаю, смиряемся, что никогда и не узнаем. Но какие они были, говорит тот же храм — сильные и красивые, и чувство прекрасного было у них врожденным.

Как говорят летописи, Боголюбский был «нищелюбив», кормил бедных, часто сам раздавал милостыню, при нем выстроено много церквей, в том числе знаменитые владимирские. Именно при нем Владимир противопоставился Киеву, киевский престол, на который отказался сесть Боголюбский, перестал быть старшим среди русских княжеств. Но и собственным северным князьям, новгородским и суздальским, Боголюбский не угодил. Только когда он привез с юга икону чудотворной богоматери, названную Владимирской, тогда началось возвышение Владимира.

Но самого князя икона не спасла, его убили. Убили, напившись перед этим для храбрости и вначале в темноте убив своего. Меч князя заранее был выкраден из-под подушки, ему нечем было защищаться. Князь вырвался, ушел, но вскоре его нашли по следам крови.

Как замечает историк Ключевский, северные летописи славят Боголюбского, южные бранят, обвиняя его в разрознении княжеств. Займи он киевский стол, могло быть иначе, говорят летописи, ведь до второго нашествия татар оставались считанные годы. Но теперь что предполагать, как могло быть, раз уже было, а было страшно. Татары сожгли Владимир, Суздаль, Коломну, Серпухов и тогда еще крохотную Москву. Они не разбирались, кто с кем был в ссоре, кто с кем не мог поделить власти, подчиняли всех. Пала Рязань. Дольше всех держался Козельск, названный татарами Злым городом. Малолетний князь Козельска Василий, по преданию, захлебнулся в крови в своем тереме.

Но храм на Нерли гроза миновала. Может, то помогло, что была зима, а храм стоял вдали от дорог, в снегу, а может быть, просто пожалели его. Хотя вряд ли: татары, пишет Карамзин, оставляли жизнь только рабам и данникам, «опуская меч единственно для отдохновения».

Но вот уцелел храм и стоит девятый век. Если бы волна воинствующего безбожия коснулась и его... Нет, лучше не думать об этом. Но говорят, идея разрушить его была. Даже якобы на купол отпилить с него крест был послан мужик, а внизу стоял и командовал приехавший представитель. За верх креста были захлестнуты вожжи, а за них еще двое, а они были привязаны к хомуту лошади, чтоб за них сдернуть сволочь крест. Будто бы мужик пилил ножовкой и допилился до середины, и как раз прибежала его мать, с ней жена, стали ему кричать, чтобы слезал, не смел пилить. Мужик выпрямился, кинул ножовку и, чтобы не упасть, поймался за крест. Представитель ударил по лошади, она рванула, крест хрустнул и упал вместе с мужиком. Это очень высоко, но мужик остался цел, а представитель попал ногой в вожжи, его опрокинуло и ударило затылком о булыжник.

Это рассказ с чужих слов и без уверенности, что история эта относится именно к храму Покрова. Такую же историю я слышал и в Великом Устюге, бывшую, как говорили, в Спасо-Гледенском монастыре. Скорее, именно

храм Покрова обошло посягательство, не воины же мы Чингисхана, чтоб подымать руку на свою красоту. Но, видно, временами находит затмение, сколько разрушено. Интересно, как кончали жизнь те, кто разрушал, взрывал, загаживал белокаменные творения? А если живы, то что рассказывают? Кому? Может быть, этого случая с крестом не было ни здесь, ни там, тем более и крест высится на куполе и никому не мешает.

Многим памятникам старины нужна легенда, то есть что-то происшедшее в связи с этим памятником, какая-то тайна. Но храм Покрова притягателен сам по себе. Печально, что он уходит в землю, и ушел уже на четыре метра, будто земля старается укрыть в себе такую красоту. Бесчисленно фотографировали, рисовали храм, и вот опять-таки: сколько бывает талантливых рисунков и фотографий какого-либо памятника, так и тянет приехать, увидеть самому, а приедешь, и настигает ощущение, что на фотографии он казался заманчивей. Нет, храм Покрова лучше любых своих изображений. То есть его красота невыразима, и ее хватает на всех.

Проезжая мимо храма, я всегда вспоминаю знакомого парня, отличного фотохудожника, который почти месяц жил недалеко от храма, пытался сделать такой снимок, который представился ему в один из приездов.

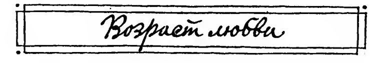
«Я тогда был без аппарата, — рассказывал он. — Вот представь: садилось солнце, вода в озере перед храмом была розовой и в ней отражался белый храм. А вода зеркально возносила его отражение. То есть мне не объяснить, — виновато говорил он, — было как бы три храма: реальный, его отражение и то, что возносилось; нет, не рассказать. И вот я взял аппарат, оптика новейшая, японская, палатку взял, командировку дали — я попутно снимал Владимир для буклета рекламбюро — и поселился. Живу. Злюсь на туристов, мне надо безлюдье, чтобы непонятно было, когда снято, в какую эпоху, ведь камень, вода, деревья — вне времени. Вставал с рассветом. С другой, рассветной, стороны тоже озерко, зайду оттуда, жду. Но ни разу не было спокойной воды, хоть бы маленький ветерок, рябь. Один раз уж совсем загнал в фокус, жаба прыгнула, вода исказилась. Но живу, щелкаю. А в закатное время тоже не везло, то люди, то солнце садится в тучи, то ветер, то дождь. Но вот однажды все-таки дождался — ни ветра, ни людей, закат горит, озеро светится, самое то, а садится солнце быстро, этого времени всего пять-семь минут. И что?

Кончилась пленка! Аппарат чуть вдребезги не расшиб».

Все-таки этот парень сделал много хороших снимков. И, собранные вместе, они показывают, правда частями, то, что очаровывает враз: и то, что храм уходит в землю, и то, что возвышается. С годами храм хорошеет, и это тоже загадка, может, наша любовь не дает ему стариться.

Более поздние пословицы о том, что хорошо там, где нас нет, литературные россказни о поисках синей птицы, о заграничных чудесах света — все это от слепоты. Чудо и красота с давних пор рядом с нами. Злые люди боятся ее и успевают опорочить, а если не удается, то хотя бы стараются внушить, что где-то есть лучше. Было бы легко отделаться от них фразой, что зря стараются, нет, убивать научились. И воспитывать себе подобных тоже.

Одна радость — поеду завтра на северо-восток России, и после Владимира, в бегущих разрывах полосы отчуждения, выше электропроводов, появится, исчезнет и вновь появится, и будет виден полторы-две минуты...



С детства я был обречен на безответную любовь — все девчонки, с кем я учился, были на два-три года старше и меня за человека не считали. Классе в девятом, после вечера, я осмелился тайно догнать одноклассницу Галю и сказать ей: «Давай с тобой ходить». Это по-вятски означало предложение дружбы. «С тобой?» — изумилась Галя и захохотала, так ей стало смешно. А я пошел топиться.

Дальше было так же. Я утешал себя тем, что мне остается работа, что никто не запретит мне любить того, кого я захочу. А узнает она или нет, это пусть. И может самая моя пронзительная любовь обо мне так и не узнала.

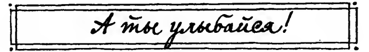
Это Лолита Торрес. Когда, сидя на полу нашего клуба, я увидел ее на экране, не знаю, что сталось со мной. Все переменилось. Ее голос, как она шла из глубины дворца, когда ее лицо приближалось, у меня захлестывало дыхание.

Свет зажегся, и меня будто застали на месте страшного события — будто меня убили и сейчас сбегутся смотреть. Я убежал, очнулся в сарае, отлично помню, как стонал и бился лбом о перегородку. Фильм назывался «Возраст любви». Возраст любви.

Любовь! Еще не было названо это слово, но кто же, как не она, сделала меня уверенным в том, что я вырасту, стану знаменитым и Лолита Торрес меня полюбит. А она обязана все эти годы быть мне верной и остаться именно такой же юной. Юной рядом со мной, возмужавшим.

Я представлял — вот я становлюсь таким человеком, о котором она не сможет не знать. Но и тут же, терзая себя, знал, что нет, не узнать обо мне Лолите. И все мучил и мучил себя этим, и не хотел, чтоб мучение кончилось, неосознанно продираясь к мысли, что радость может прийти только через страдания. По крайней мере в возрасте любви.

Недавно Лолиту Торрес показывали по телевидению. Она все еще поет, и прекрасно поет. У нее пятеро взрослых детей.



А ты улыбайся!

В воскресенье должен был решаться какой-то очень важный вопрос на собрании нашего жилищного кооператива. Собирали даже подписи, чтоб была явка. А я пойти не смог — не получилось никуда отвести детей, а жена была в командировке.

Пошел с ними гулять. Хоть зима, а таяло, и мы стали лепить снежную бабу, но вышла не баба, а снеговик с бородой, то есть папа. Дети потребовали лепить маму, потом себя, потом пошла родня поотдаленней.

Рядом с нами была проволочная сетчатая загородка для хоккея, но льда в ней не было, и подростки гоняли в футбол. И очень азартно гоняли. Так, что мы постоянно отвлекались от своих скульптур. У подростков была присказка: «А ты улыбайся!» Она прилипла к ним ко всем. Или они ее из какого фильма взяли, или сами придумали. Первый раз она мелькнула, когда одному из подростков попало мокрым мячом по лицу. «Больно же!» — закри-

чал он. «А ты улыбайся!» — ответили ему под дружный хохот. Подросток вспыхнул, но одернулся — игра, на кого же обижаться, но я заметил, что стал играть он злее и затаенней. Подстерегал мяч и ударял, иногда не пасуя своим, а влепливая в соперников.

Игра у них шла жестоко: насмотрелись мальчики телевизор. Когда кого-то шарахивали, прижимали к проволоке, отпихивали, то победно кричали: «Силовой прием!»

Дети мои бросили лепить и смотрели. У ребят появилась новая попутная забава — бросаться снежками. Причем не сразу стали целить друг в друга, вначале целили по мячу, потом по ноге в момент удара, а вскоре пошла, как они закричали, «силовая борьба по всему полю». Они, мне казалось, дрались — настолько грубы и свирепы были столкновения, удары, снежки кидались со всей силы в любое место тела. Больше того — подростки радовались, когда видели, что сопернику попало, и больно попало. «А ты улыбайся!» — кричали ему. И тот улыбался и отвечал тем же. Это была не драка, ведь она прикрывалась игрой, спортивными терминами, счетом. Но что это было?

Тут с собрания жилищного кооператива потянулся народ. Подростков повели обедать родители. Председатель ЖСК остановился и пожурил меня за отсутствие на собрании.

— Нельзя стоять в стороне. Обсуждали вопрос о подростках. Понимаете, ведь столько случаев подростковой жестокости. Надо отвлекать, надо развивать спорт. Мы решили сделать еще одно хоккейное поле.

«А ты улыбайся!» — вдруг услышал я крик своих детей. Они расстреливали снежками вылепленных из снега и папу, и маму, и себя, и всю родню.

Хмелевка

Село, в котором я жил весной, стояло близко к Уральскому хребту. Сразу за увалом была деревня Хмелевка, в которой я мечтал побывать. Именно на хребте, на границе Европы и Азии.

Но весна хлынула такая дружная и жаркая, такой

грязищей затопило село, что я оставил мечту ходить куда-то и больше сидел дома. Топил печь, делал вылазки только за хлебом в магазин да кое-как ползал по закрайкам дороги к колодцу. Вечерами ходил в кино. Нравы в сельском клубе напоминали итальянские, молодежь курила, выражала мнения, радовавшие энергичной краткостью. Однако когда действие захватывало, публика замирала. Но фильмы шли таковы, что замирала публика редко.

Утрами, когда не то чтоб подмерзало, но чуть отвердевало, выбирался из дома. Ходил по улицам Заовражной, Запрудной, Подсобной. Сильно донимали собаки. Политика с ними была одна — не замечать. Но как не заметишь, когда какой-нибудь гаденыш бросается под ноги, изображает тигра, а поодаль сидят большие псы и ворчанием одобряют нападки. Наедине собаки вели себя иначе: злые ворчали и отходили, трусливые лаяли издали, те, которые рассчитывали на дружбу или подачку, виляли хвостом. Но на одной улице я повел себя неправильно — обидно стало, за что на меня лаять, жизнь отравлять, и швырнул в собак всего-навсего снежком. И не стало мне по этой улице прохода. А именно от этой улицы шло направление в Хмелевку.

В магазине, где продавщица молча швыряла на весы, а затем сметала в пакеты каменные пряники и окостеневшую сельдь иваси, я узнал секрет такого количества собак на этой улице. Их расплодила одна старуха, которую упрекали женщины за то, что она жалуется на судьбу, а сама кормит собак, штук двадцать, не меньше.

— А я не считаю, сколько, — отбивалась старуха. Была она в легонькой спортивной куртке и огромных сапогах. — А вот кто бы мне шерстяные носки дал, а то мерзну.

— Начеши шерсти с собак, да и свяжи, — отвечала ей толстая тетка.

— Как я свяжу, если я ложку в чашке не вижу.

— Купи.

— Денег нет.

— Ну и не проси.

— Какие вы все злые, — говорила старуха, прося меня посмотреть, нет ли макарон в продаже. — Злые какие. И живете еще так хорошо. А жили бы как я, давно бы сбесились. С мужьями живете, вот и причина. И обзовет, и пьет, еще и ударит. А я захочу поругаться,

кричу на собак, они на меня лают, заплачу — они укусят...

Спал я с открытой форточкой и однажды утром почувствовал решительное похолодание. Солнце было как новенькое. Я не стал затапливать печку, а собрался на лыжную прогулку. Обулся, взял лыжи под мышку и пошел к окраине села именно по той, «собачьей», улице. Но не было на ней ни одной собаки. Не теряя бдительности, встал на лыжи и помчался. Наст держал, было даже ощущение полета над бездной, особенно когда наст проседал огромной своей площадью под моей тяжестью.

Бег навстречу солнцу, когда раскрепощенные остатки сил, помноженные на воспоминания о спортивной лыжной юности, затмили зрение, вдруг прекратился: я оказался в центре огромной собачьей стаи. Их было не меньше сотни. Они умчались из своих дворов, конур, укрытий, чтобы на окрепшем насте порезвиться, порадоваться жизни. Я не заметил среди них ни склок, ни грызни, всех примиряло это солнечное утро на безграничном пространстве, где никому не тесно. И то ли от того, что я был с железными палками, то ли им было не до меня, но я пронесся сквозь стаю, не снижая скорости.

В лесу перевел дыхание. Послышался дятел. Долго и медленно, то «елочкой», а то и «лесенкой» поднимался на увал, откуда открывалась Хмелевка. Семь дымов стояли над ней, от белых до сиреневых. Они стройно поднимались до одной высоты, дальше которой не шли, а смешивались на одной плоскости, образуя над деревней разноцветный покров. Только над часовней не поднимался дым.

Итак, подо мной и надо мной была граница Европы и Азии. Уральский хребет, пологий, поросший седыми лиственницами, видимо, смирился с тем, что у него не хватит сил вздыбиться, подтянуть ближе друг к другу Азию и Европу. Но подумалось вдруг, если б это у него получилось, сам-то Урал куда бы делся?

В Хмелевке пошел к часовне. Снял лыжи, обошел вокруг. Да-а, тут уж будь я хоть трижды потомок вятских плотников, такую бы мне ни в одиночку, ни в артели таких же, как я, не сделать. Бревна были одно к одному, запилы и зарубы «в лапу» были такими, что до сих пор меж бревнами не прошло бы лезвие. У основания

часовни углы восьмиугольника были рублены «в замок», прямоугольник паперти соединялся «в чашу», будто мастера сговорились показать разные способы плотницкого искусства.

Двери в часовню были только на закладке. В центре часовни, занимая почти все место, на белых плитах, лежало огромное полотно старинных ворот. На нем, под натянутой поперек веревочкой, лежали теннисные ракетки. Все стены были изрисованы фигурами разных зайцев, волков, медведей. Над бывшим алтарем огромными буквами значилось: «Без улыбки не входить!» Под надписью на гвоздике висела тетрадь, озаглавленная «Дневник событий».

С детства и отрочества, читая книги, в которых печатались найденные на чердаках, или в подвалах, или на погибших кораблях рукописи, я думал, что так оно и есть, рукописи найдены, и отчаянно завидовал везению авторов книг — вот бы и мне найти заброшенную рукопись. И вот — не прошло и жизни — мечта сбылась. Это был дневник компании молодых ребят. Я так понял, что они вели его, приезжая домой на лето и выходные из города, где учились. Фамилий их не было. Только одна — Аникин, и то оттого, что его особенно ругала автор записей Люда С. Например: «Аникину дать в лоб за неявку».

Вначале шли споры, как назвать их союз. «Мы с Галей предлагаем назвать «Союз старожилов Хмелевки», а Саня предлагает назвать «Союз блатных и нищих».

Далее шли записи по датам, когда кто был, кому и за что сделан выговор. Аникину доставалось больше всех. «За выпивку перед заседанием», «За подстрекательство к выпивке после заседания», «За привод в клуб недействительного члена Союза», это когда из города Аникин приехал не один, а со знакомой девушкой. Доставалось и Сане. Он в отличие от Аникина наказывался более строго за сущие пустяки — сломал шарик пинг-понга, тайком курил, нарисовал углем усы, дергал Люду С. за косу.

Летние даты сборов «Союза», так и неназванного, были часто, после сентября гораздо реже. «Аникина забирают в армию». Тут же другой рукой: «Не плачь, Люда, пройдут дожди, Аникин вернется, ты только жди». Снова рукой Люды: «Объявить благодарность Аникину за то, что на проводы он приехал в Хмелевку, не изменил нашему Союзу». Рукой Сани: «Присвоить Аникину

звание генерал-ефрейтора». Рукой Люды: «Аникин, напиши что-нибудь на прощание». — «С губвахты напишу».

Последняя запись: «Никого нет сегодня, я одна. И Саня. Он учит меня играть в теннис, но это бесполезно».

Вернув дневник событий на место, я вышел. Солнце начинало расходиться, уже, совсем похоже на синиц, тенькали с крыши капли, воробьи возились в маленькой светлой лужице у крыльца. Обнаженные глыбы земли начинали потеть и сверкать. Надо было спешить обратно, пока держал наст.

У крайней избы стал обуваться. Вдруг услышал сильный стук по оконному стеклу. За окном избы сидел мальчик лет четырех-пяти и барабанил кулачком, подзывая меня. Я подошел, он замахал рукой и закричал: «Отопри меня! Отопри меня!» Я зашел со двора — изба была на замке. Вернулся к окну, мальчика не было видно, убежал к двери. Тогда по стеклу постучал я. Мальчик прибежал. «Ты запертый. На замок. У меня же нет ключа. Ну, ничего, придет кто-нибудь скоро. Еда есть у тебя?» Мальчик сделал мне знак, чтоб я не уходил, исчез, скоро вернулся и стал показывать мне маленькую машинку, объясняя знаками, что она хорошая и что с ней было бы интересно вдвоем играть.

И снова я был на вершине увала, снова увидел Уральский хребет. Насмотревшись на него, оглянувшись на Хмелевку, на крайнюю избу, на часовню, оттолкнулся и поскользил вниз, по своим следам. Захватило холодом сердце. Я думал, от страха. Нет, от ветра. Но пока разбирался, страшно мне или холодно, потерял ощущение, где юг, где север, где запад, где восток. И только старался не упасть, хотя никто бы и не видел моего позора.

А впереди была встреча с собаками.

Под обрывом

Есть такой вятский город Халтурин. В нем я еще в студенческие годы получил изрядный жизненный урок. Урок этот, к сожалению, не очень пошел мне на пользу, но сегодня вспоминаю его с той целью, что он, может

быть, будет небесполезен нынешней молодежи. Речь идет о том, насколько нас, юношей, легко дурачить. Жаль, что надо было дожить до седин, чтоб понять это.

В Халтурине жила моя сестра, и к ней я ехал на несколько дней в летние каникулы. Представьте студента, прожившего год вдали от родины, представьте прекрасное послеполуденное время июля, представьте автобус, который мчался среди полей и лесов и все пустел и пустел на редких остановках. Но оставалась в автобусе юная красавица. Загорелая, в голубом крепдешине, с плетеной корзиночкой на коленях. Хорошенькое ее личико отражалось в стекле, ибо дело двигалось к вечеру, за стеклом проносились пейзажи родины, но, как вы понимаете, дальше стекла мой взгляд не проникал. Да разве можно осудить студента тех моих лет. И хорош был бы он, если б даже не сделал попытки заговорить.

Не знаю, насколько я тогда преуспел в науках, но что за год в Москве познакомиться с девушкой стало для меня элементарным, это точно. Я продумал несколько вариантов первой и второй фразы, уж не помню какие, и решился. Место около девушки освободилось, отражение ее в стекле становилось все загадочнее. Кстати, это вообще загадка, почему отражение заманчивее оригинала. Итак, я попросил разрешения подсесть, разрешение было дано, я сел и вместо готовой фразы сказал наиглупейшую: «Вместе едем». А почему я оглупел, объясню. Разрешая сесть, она взглянула на меня, взглянула, и как! В литературе девичьи и женские взгляды и рублями дарили, и голубыми огнями полыхали, на меня же взглянули наивно и целомудренно.

Почему же я не смог разглядеть за внешностью ее суть? Не мальчик уже был, повидал кое-что, в армии три года, до армии три года работал после школы. И все равно был молод, на молодость-то все и свалим.

Но почему же эта девушка приняла мои ухаживания? Ведь она была связана обещанием о замужестве, о чем я узнаю немногим более чем через сутки. Причем вряд ли я мог — нищий первокурсник — конкурировать с инженером, но не будем забегать. Не хватило мне второго взгляда. Именно так — второго взгляда. Первый взгляд подобен заглатыванию наживки, второй взгляд включает в себя трезвую оценку избранного предмета. Но многие ли из нас способны на второй взгляд? Замечали ли вы, что в споре, возможна ли любовь с первого взгляда, за такую любовь особенно выступает женская половина?

В женской натуре есть жадность на внимание к себе. Да, говорят они, мы хотим нравиться и тому подобное. Потом вот эту девушку в автобусе разве не оправдывает такой, например, довод: а почему бы не поговорить с попутчиком? Разговор ни к чему не обязывает, могут сказать женщины.

Но это не так, очень не так. Разговор сближает необыкновенно, в нем стремительность магнетизма, в нем даже паузы — звенья цепи, которая обматывается все туже и энергичнее. Причем сами с радостью обматываемся. Вы говорите, что на автостанции была огромная очередь, не было билетов, а вот, надо же, пустой автобус, и вы думаете, что ничего не сказали? Вы думаете, что ведете разговор, очаровываете, как бы не так, вы влипли как муха, только еще крылышками машете и жужжите, а улететь уже не можете. Да и не хотите! Вы чувствуете гордость собою, что вот как вы ловко покоряете девушку, а на самом деле все наоборот.

Во втором взгляде есть оценка, анализ. Но в Евиных дочерях есть тысячелетиями выработанные ухищрения избежать проверки. Они идут вперед и по нарастающей. И мы уже потом только соображаем, что нет красавиц без изъяна. Хорошо, не соглашайтесь. Но я стою на своем. Меня не смущают недостатки внешности, я о том, чтоб в сéти не попадаться, а для этого-то важно и заметить недостаток. Легкая косина во взгляде, невыгодный поворот, полноватость или худоватость, жест, улыбка с показом десен, резкий смех, неженственность в чем-либо, тонкие, или толстые, или широкие губы, подбородок острый или тяжелый, уши тоже бывают всякие. И к волосам можно всегда придраться, к любой детали одежды. Но зачем же придираться, восклицаете вы, разве мы рабыню на невольничьем рынке выбираем! С лица не воду пить, живут не с красотой — с добротой, не с внешностью — с человеком и так далее. Но ведь верна же народная примета, что, если тебе в девушке хоть один мизинец не нравится, не женись. Что-то же есть в этом. Но это о невесте. Ее истинная любовь, ее жертвенное чувство, готовность к подвигу деторождения несовместимы с захватом чужой собственности. Ей надо одного, ее не тешит власть над многими, хотя... хотя, опять-таки, чего в том плохого, что она еще нравится кому-то, кроме жениха?

Но как же неистребимо много таких женских натур, которые ненасытны в покорении сердец. Ей уже хватает

поклонников, нет, если еще подвернется, и еще не упустит. Она видывала старух, она знает, в кого она превратится всего через лет пятнадцать-двадцать, поэтому сейчас или никогда. Кого она потом соблазнит? А сейчас — вот она я, царица Тамара, попробуйте устоять, у многих ли у нас хватит силы толстовского отца Сергия побороть плоть?

Приглашаю вас на минутку в тюрьму. Нет, не надо. Поверьте на слово: когда листаешь сотни судебных дел, оказывается, что в корне преступления почти всегда — женщина. Почти все лагерные песни о будущей мести подлой марухе, которая довела до тюрьмы. Вот выйду — я тебе покажу. И выходят, и показывают, и вновь садятся. Почему же наши законы не учитывают моральной стороны уголовного дела? Парней судят за драку. Из-за чего дрались? Из-за девки. Парни за решеткой, где девка? Из-за нее опять дерутся, а она горда-прегорда перед подругами, а те ей завидуют. А ее, как в древности, тешит, что ристалище из-за нее. «Зачем ты в небе был, отважный? — спрашивает Блок, печалясь о разбившемся летчике, и спрашивает: — Чтоб львице светской и продажной поднять к тебе фиалки глаз?» Из-за кого воруют? Из-за ненасытности жен или любовниц. Из-за кого пьют? Из-за баб. Правда, тут неоднозначно. Иногда пьют из-за отсутствия любви, чтоб ее вызвать насильственным возмущением крови. Ведь если любовь есть, зачем ее горячить, она и так горяча.

Но вернемся к движущемуся в вятский город Халтурин рейсовому автобусу, и к девушке, и ко мне, сидящему возле девушки. Темнело, за окнами совершенно по-лермонтовски мелькали «дрожащие огни печальных деревень», о, а ее смуглые руки, покойно лежащие на корзинке, ее склоненная темная головка с пробором, тут опять литература, тут весь девятнадцатый век затапливал и выплескивался в моем недержании слов. Звали ее Лида. Лида ее звали. Приехала из Тамбова, живет у тетки в Халтурине, не поступила, преподаватель попался вредный, год отдохнет, там посмотрит. Родители в Тамбове, тетка живет одна в огромном доме. Глуха и слепа. Лиду оформляют опекуншей, дом запишут на нее. Только зачем Лиде дом, и сад, и огород? Она возьмет да все это продаст. Халтурин — не деревня, цены приличные. Правда, Лида в том ничего не понимает, был бы мужчина, он бы справился.

Две тетки да мы остались в автобусе. Тетки храпели,

а автобус, на мое тогдашнее счастье, остановился: что-то случилось в моторе. Водитель поднял капот, влез туда, как в пещеру, и чем-то там звякал и гремел. Тут уж я успел и за Лидины руки подержаться, успел и за плечи приобнять, и щечки щекой коснуться. О, этот стеснительный взгляд, эта потупленность, этот царапающий шорох ресниц, этот шепот: «Не надо, зачем, не нужно», — шепот, подстрекающий к смелости. Я вскрикивал про себя: «Как наивна, как чиста, как непосредственна!»

Автобус двинулся. Закрепляя успехи первой наступательной операции, я зарифмовал и прочел ей нижеследующее: «Лида, Лидия, с короткой прической, ты — стих Овидия в жизни жесткой». Я использовал встряхивания общественного транспорта, чтоб сильнее прижимать жертву к стеклу. «Слушай, — шептал я, — слушай, не убирай руки, зачем, никто же не видит, вот еще, подожди... Мне все равно, что Вятка, что Тамбов: в Тамбове тоже сосны и березы, но там иль здесь, была бы лишь любовь, а не обманчивые сахарные грезы». Так я рифмовал, бросая с легкостью вятскую свою родину под тамбовскую туфельку.

Далее мы прибыли в Халтурин. На остановке было пусто. Далее мы шли по тротуарам, я нес ее настушескую корзинку, оказавшуюся такой тяжелой, будто Лида возвращалась с работы на кирпичном заводе. Далее мы стояли у теткиной калитки, стояли за калиткой, стояли перед крыльцом, на крыльце, перед дверью, но увы, увы, рассвет не застал наши головы лежащими на теткиной подушке. «Завтра, завтра!» — горячо обещала она, вырываясь из моих крепнущих в борьбе рук. Мне было обещано море счастья. Мы договорились увидеться вечером на танцплощадке.

Придя к сестре, я умело расширил остановку автобуса из-за мелкой неисправности до размеров дорожного происшествия и рухнул на диван.

Как медленно тянулся жаркий день! Днем я, конечно, прошел мимо танцплощадки. Она тогда была, не знаю как сейчас, на высоченном обрыве над рекой Вяткой. Чего я только не нафантазировал про эту Лиду! «Женюсь! Чем не жизнь? Вот возьму и останусь! Дом и баню недолго срубить. Бригадирить в колхозе стану, институт постараюсь забыть». Ну и так далее, ибо полагаю не всегда приличным мучить читателей своими строфами при нынешнем высоком уровне русской поэзии.

Вечер. Я в глаженых брюках. Белая рубашка. Пиджак мужа сестры, его же галстук. Верчение перед зеркалом. Репетиция легкого прищура. Столичная штучка, чать.

Берег. Музыка радиолы. Легкий ветер вверху. Комары. Мальчишки за оградой. Группа юношей, стайка девушек в разных платьях, но в одинаковых, прелестнейших белых носочках. Вот и смерклось, вот и Лида явилась. Не одна, с молодым мужчиной. Ну и что, мелькнуло у меня, подошли враз к билетерше с разных сторон. Я мгновенно разлетелся к своей Лидочке и даже не заметил тревоги в ее глазах. Мы были первыми в этом танце, были одни на освещенном пространстве. Закат плюс электролампочки. Полагаю, мы смотрелись неплохо. Так я думал, ибо никто не выходил на круг. Конечно, стесняются выглядеть хуже рядом с нами. Кого можно поставить рядом с нами, некого, так я болтал, счастливый.

И второй прошел танец, и третий. Я не отпускал от себя Лиду. «Смотрят же, — вздергивала она плечиками. — К девчонкам пойду». Но я не отпускал. «Хай завидуют, — отвечал я. Рассказывал про дюже добрых хлопцев, с которыми служил. — Ах, хлопцы — орлы! Вот и ты мягко произносишь звук «г». Это — «г» фрикативное. Вот поженимся, поедем к ним на радяньску батькивщину, пусть даже погода будэ хмарна, лишь бы бсз опадив. И будем там жить гарно, и вареники исты, и горилку питы».

Четвертый танец для меня в тот вечер не наступил. Подошел ко мне хлопец, но не украинский, вятский, попросил закурить, попросил отойти с ним в сторонку. Там подошел другой, попросил, все пока вежливо, выйти на минутку с танцплощадки. А за площадкой были разговоры еще с одним хлопцем, тем самым, с которым Лида появилась на танцплощадке. Диалог в таких случаях проще мычания. Мне: «Ты чего?» Я: «А вы чего?» Мне: «Ну-ка мотай отсюда!» Я: «С чего это?» Мне: «Ни с чего!» Я: «А все-таки?» Мне: «Получишь — узнаешь». И все влекли и влекли меня подальше от света. Там, во тьме, все было еще проще. Мне поддали, и крепко поддали, я отшатнулся, ступил назад и оступился в пустоту. То есть меня сшибли с обрыва. Но, падая, я успел цапнуть его за рубаху. Он саданул меня по шее, я автоматически стиснул пальцы, рванул его к себе, и мы загремели вместе.

Долго мы кувыркались, ибо, повторяю, обрыв у Вятки в Халтурине высок. Цепляясь за траву и сучья, проезжая лицом и остальным телом по глине и камням, мы наконец достигли подножия.

— Ну и вляпались, — сказал я, стоя новыми ботинками в прибрежном иле. — Ты живой?

— Живой! — свирепо отвечал он. — Сейчас как дам по морде.

— Брось ты, — сказал я. — Ты из-за Лидки? Я с ней вчера всю ночь целовался, она мне свидание назначила. Давай умоемся, морды и так перецарапаны.

Мы чуть разошлись и при свете встающей луны кой-как отчистили себя. Он подошел.

— Ты врешь или нет? — спросил он.

— Чего тебе, локтем перекреститься?

Он молча повернулся и первым полез в гору. Как мы карабкались, какие еще ушибы и царапины получали, можно и не рассказывать, ибо ведь это было нам наказание, и наказание заслуженное.

На половине пути он остановился и снова спросил меня, правда ли, что Лида сама обещала прийти на танцплощадку, потом вздохнул, выматерился и сказал, что он же па ней собирался жениться, что вчера не смог из-за поездки в колхоз ее встретить у автобуса.

Знаете ли вы другой способ учить дураков? Когда мы поднялись наверх, но специально с другой стороны, чтоб не встретиться с его дружками, когда мы издалека, из-за кустов, поглядели на освещенное пространство танцплощадки, над которым летало облако мошкары, что мы под ним увидели? Конечно, тут и гадать нечего — танцующую Лидочку мы увидели.

Теперь представьте наш вид.

Но ведь поумнели, должны были поумнеть. Правда, не знаю, как у моего соперника, у меня поумнение запоздало. Но теперь-то, теперь-то имею я право посоветовать молодежи не повторять моих ошибок. Да ведь вот в том и печаль, в том и отчаяние, что все наделают своих.

Но вы, прекрасная половина человечества, зачем вы поднимаете на нас «фиалки глаз», мало вам наших несчастий?

О милосердии прошу.

Передаю

Я шел быстро, но не с такой скоростью, чтобы проскочить мимо, когда он крикнул:

— Думай хоть немного!

Он не ожидал, что я остановлюсь, но обрадовался. Протянул крепкую сухую руку. Бесцветные глаза его выражали просьбу. Я постоял и дернулся, чтобы идти дальше, но он удержал мою руку и виновато улыбнулся.

Я видел седую щетину на подбородке, худую шею, старый китель с медными пуговицами и, не отнимая руки, сказал:

— Думаю. Как же иначе?

Он выпустил мою руку, свою вскинул к козырьку кепки и торжественно объявил:

— Триста пятый полк, Двенадцатая гвардейская! — сник, уронил руку и добавил: — Сколько полегло.

Я не знал, что ответить, и сказал негромко:

— Ничего. Так уж... Что делать.

Еще помолчал и шагнул было, но он выпрямился и надменно произнес:

— Я не пьян! Фронтовые сто грамм.

Я пожал плечами, мол, я и не говорю, что вы пьяны, — и пошел.

Он догнал меня и торопливо, громко заговорил:

— Живите! Ладно, погибли. Гусеницы в крови! Вы молодые... Если что, мы хоть сейчас. Гвардейцы! Грудью! Живите! Понял? Передай своим.

Я кивнул и зашагал, а он кричал вслед:

— Передай по цепи! Слышишь?! Всем передай!..

Передаю.

Зеркало

Подсела цыганка.

— Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить. — Закурила. Курит неумело, глядит в глаза. — Дай погадаю.

— Дальнюю дорогу? Казенный дом?

— Нет, золотой. Не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили черной воды. Ты пойдешь безо всей одежды ночью на кладбище. Клади деньги, скажу зачем. Дай руку.

— Нет денег.

— А казенные? Ай, какая нехорошая линия, девушка, выше тебя ростом тебя заколдовала.

— И казенных нет.

— Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живешь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.

— Нет бумажных.

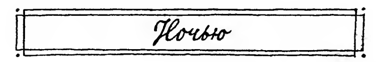
— Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных, положи мелочь. Не клади черные, клади белые. Через три дня будешь ложиться, положи под подушку, станут как кровь, не бойся: будет тебе счастье. Клади все, сколько есть бумажных.

Вырвала несколько волосков. Дунула, плюнула.

— Видишь зеркало? Кого ты хочешь увидеть: друга или врага?

— Врага.

Посмотрел я в зеркало и увидел себя.



В лунные ночи зимой волшебно и нестрашно в лесу.

Тени деревьев не похожи на деревья, они самостоятельны. Это отчетливые синие контуры на светлом снегу. Да и ночь ли это? Даже теневая сторона деревьев видна прекрасно.

Ветви в снегу, в тяжелых округлых сугробах, но кажутся легкими-легкими. И если стряхнуть тяжесть, ветви темнеют и тяжелеют.

Шапка на пне. Внутри ее тепло земли продышало горло, пахнет травой и грибами.

Гречиха

Вот одио из лучших воспомииаиий о жизии.

Я стою в кузове бортовой машины, уклоияюсь от мокрых еловых веток. Машиина воет, истертые покрышки, как босые иоги, скользят по глиие.

И вдруг машина вырывается на огромиое, золотое с белым, поле гречихи. И запах, теплый запах меда, даже горячий от резкости удара в лицо, охватывает меня.

Огромиое поле белой ткани, и поперек продериута коричневая иитка дороги, пропадающая в следующем темном лесу.

В заливных лугах

Поздией весиой в заливиых вятских лугах лежат озера.

Дикие яблоии, растущие по их берегам, цветут, и озера весь деиь похожи на спокойный пожар.

Ближе к сеиокосу под цветами нарождаются плоды. Красота становится лишией, цветы падают в свое отражение. И иа воде еще долго живут. Озера лежат белые, подвеиечные, а ночью вспоминается саван.

Падает роса. Лепестки, как корабли, везущие слезы, покачиваются, касаясь друг друга.

Постепеиио вода оседает, озера уходят в подземные реки. И как будто лепестки вместе с иими.

Вода в вятских родниках и колодцах круглый год пахнет цветами.

Нет в мире сирот

Судили жеищииу, многодетиую мать, за аборт. Аборты были запрещеиы. Жеищииа была напугаиа, сбита с толку. Виачале пыталась слушать, плакала, потом оту-

пела и замолчала. Озиралась и все прятала лапти под подол длинной черной юбки.

В перерыве, когда суд ушел на совещание, она попросилась в уборную. Там с трудом протиснулась в отверстие, обрывая платье и царапая тело, и упала вниз.

Это было в 1951 году. Суд, как говорили потом, не посадил бы женщину в тюрьму. Хотели попугать как следует, дать условную меру наказания, принудиловку. Учтено было и то, что она родила пятерых и награждена медалью «Материнство». Однако оставить факт аборта безнаказанным суд не имел права.

Пошли читать приговор. В зал крикнули: «Встать! Суд идет!» — и прозвучало первое слово: «Именем...»

Вдруг хватились — нет подсудимой. Милиционер сконфузился, побежал, подергал за ручку. Окликнул. Молчание. Забеспокоился, сорвал запор. Пусто. Подумал, что убежала. Но сообразил и заглянул в дыру.

С улицы открыли доски над выгребной ямой. Молчаливую толпу оттеснял другой милиционер, высокий, в белых кожаных крагах.

— Любопытство, — говорил он, — хуже свинства.

Тело, всплывшее вверх спиной, зацепили багром, погрузили на телегу, повезли. На другой телеге сидели: муж женщины, старшая дочь с грудным мальчиком. Девочку не подпустили к матери, чтоб не испугалась. Отец отвязал лошадь, но его окликнули из окна, чтоб зашел подписать акт о смерти.

* * *

Храм «Всех скорбящих радости».

Громким, но не напряженным голосом текли слова:

«...и как путник в холодной, бесприютной ночи видит огонек,

как ребенок, плачущий и обиженный, бежит к матери,
так мы приходим к пречистой деве Марии...»

Вверху перспектива, сужающая пространство, казалась обратной, как на древнерусских иконах. В бесчисленных изгибах окладов икон отражались свечи.

«...у всех у нас одна мать — пречистая дева Мария...»

«...у всех у нас одна мать — пречистая дева Мария... И нет в мире сирот».

Зато весной...

День пасмурный, долго тянется. После обеда идет снег. Он вперемешку с дождем, снежинки темные.

— Через месяц после первого снега начинается зима, — говорю я пришедшей с улицы женщине. Пальто мокрое, и дорогой мех на узком воротнике некрасивый. — Но это среднегодовое, многогодовое, нынче может и не сойтись.

— И не плакала, — говорит женщина, — а ресницы потекли.

— Если через месяц начнется зима, то поверим в наблюдательность предков.

— Господи, — говорит она, быстро поправляя прическу, — о чем ты думаешь? — И, наладив красоту, садится к столу и говорит, что пасмурно, что в такую погоду что ни надень, все убивается. — А ты еще говоришь, что зеленое — цвет надежды. В такой день ничем не спасешься.

— Зеленое не по цвету, а по смыслу: дождаться первой зелени означало выжить.

— Да, вот что! — спохватывается она. — Все забываю. Дай мне Монтеня.

— Обязательно Монтень? Возьми «Летописца». Мне кажется, наши летописи заполнялись осенью. Так же мрачнело и снег таял. В летописях...

— Ой, не надо. Не лепо ли ны бяшеть! Аще кому хотяше! Монтень хоть переведен, а это когда еще соберутся.

— Возьми «Назиратель». Он переведен с латыни на древнепольский, оттуда к нам. Узнаешь, как ставить дом, лечить заразу, сажать овощи...

— Ах, — говорит женщина, смеясь, — «извозчики-то на что»?

Отходит к окну, смотрит вверх, вытирает стекло.

— Ослепнешь, — говорит она. Снова долго смотрит, поворачивается: — Да, да. Раньше или позже, но каждый год приходил первый снег. Мальчишки радовались, а матери боялись, чтоб дети не простыли.

— Босиком бегали, а крепче были, — говорю я и злюсь неизвестно на кого. — Смотри, сейчас одеты, обуты прекрасно, а без конца болеют, совсем хилый народ...

— Все-то ты знаешь, — иронически замечает женщина. — Скажешь, сидели на печке, одни лапти на всех...

— Зато весной...

— Да, весной. Весной, да. Им снова радость.

Мех на воротнике высох и потрескивает, когда она проводит по нему ладонью.

На окне как будто легкие кружевные занавески.

Снег все гуще.

К вечеру светлеет.

* * *

...и оказывается, эта томность, это изображение разочарованности — все это оказывается обыкновенной человеческой усталостью.

— Никаких нервов не хватает, — говорит она и виновато улыбается.

И я вижу — не врет: замотана до последней степени. А минуту назад думал: игра.

— К вечеру я буквально труп, — говорит она.

Около окна стоит девочка и смотрит вниз, на белое дно двора. Девочка слышала наш разговор. Спрашивает:

— «Слово о полку Игореве» — первая русская книга. А какая будет последняя русская книга? Слово о другом полку?

Ночью я выхожу на балкон и не могу понять, исчезает луна или зарождается.

Тепло. Снег тает. Туман.

Не пора ли нам, братия, начать старыми словами новую повесть?..

Синий дым Китая

Смотрел передачу об отверженных, о касте неприкасаемых, об их несчастьях. Вспомнил к тому же, как работал в издательстве и пришло письмо от прокаженного из лепрозория. На письме был оттиск штампа «Продезинфицировано». От конверта отдергивали руку. А это был обыкновенный отзыв читателя на прочитанную книгу.

А еще вспомнил, как и сам был отверженным. Это когда я был заразным, болел страшной болезнью, гулявшей после войны по нищете и бедности, — стригущим лишаем.

У братьев моих и сестер прекрасные, еще не седые волосы, а у меня и седые, и совсем редкие. Это не только от каких-то переживаний, но именно от этой болезни. Как она меня зацепила, не знаю. Хорошо, что быстро хватились и заперли меня от здоровых и в заразный барак. Но там болезни не вылечили, хотя долго чем-то мазали. Велели везти в областной город, иначе грозили, что я вовсе останусь без волос. Завязали голову, нахлобучили буденовский шлем, которым я очень гордился, не велели его снимать даже на ночь и отправили.

Повез меня отец. Ехали двое суток, с пересадками. В Кирове меня сразу отняли у отца, и потом я его не видел до выписки. Лежал в большой, человек на двадцать, палате, ходил с замотанной головой. Первые дни меня водили на облучение. Клали в отдельной комнате на стол, обкладывали голову свинцовыми пластинами и уходили за стекло. Включали ток. Не велели шевелиться. Потом стали процедуры побольнее. Два раза в день медсестры вели меня в служебную комнату, разматывали голову, клали ее к себе на застеленные клеенкой колени, не велели вздрагивать и пинцетом выдергивали каждый отдельный волосок с корнем. Так полагалось — вырвать все волосы, которые не выпали сами от облучения. Дергали, пока не уставали или пока не надо было куда-то идти. Тогда мазали голову йодом, завязывали и отпускали.

В палате я привязался к раненому моряку. Он с войны болел гангреной, он потом при мне умер. У него были отняты ноги, и их все выше и выше отнимали. А гангрена опять ползла. Моряк сидел в койке и учил меня морской азбуке. Я потом долгое время гордился перед друзьями, что знаю многие морские сигналы, знаю отмашку флажками: «В кильватерную колонну», «Ко мне», «Прекратить стрельбу». Еще моряк пел песню: «Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...» Я слушал и почему-то понимал так: «Любимый город, синий дым Китая...»

Когда меня выписали, я был совершенно лысый, с коричневой, сожженной йодом, чешущейся и шелушащейся кожей головы. Буденовку мою сожгли, за что отцу велели расписаться. А остальную одежду с подпалинами дезинфекции выдали. Я переоделся и, два месяца не ви-

дев улицы, вышел на крыльцо. Уже была весна. По мокрому снегу ходили грачи. И тогда и теперь я думаю, что именно в такое время писалась картина Саврасова «Грачи прилетели», в ней такое же состояние печали и выздоровления. С собой отец принес батон городского хлеба, который я сразу съел. Медсестра завязала меня своим платком. Как девчонку. Я шел, от стыда не поднимая глаз. Но с непокрытой головой было бы еще страшнее.

Мы пришли на квартиру, где ночевал отец, но ночевать со мной его не пустили, боялись, что я заражу их детей. Отец упросил, он при мне просил, чтоб мне разрешили посидеть в коридоре, пока он ездит на вокзал за билетом. Этот дом сохранился, он на улице Энгельса, на задах Дома Циолковского. Сидел я тихо и неподвижно. Потихоньку сквозь повязку нажимал рукой на те места, которые зудели. Смеркалось. Отца все не было. В комнатах зажгли свет, и коридор освещался, когда двери комнат открывались. Забыл сказать, что в больнице мне выжигали бородавки, выжигали соляной кислотой. Сначала болело, потом прошло, но чесалось, я скреб ногу, залезая рукой в валенок. И это заметила женщина, ходящая на кухню и обратно.

— Ты чего?

— Чешется, — прошептал я.

— Иди на улицу!

А я вышел даже с радостью, так как до этого боялся, что нельзя. Вслед я слышал, что она запрещает своим детям подходить ко мне, и они смотрели издали.

Совсем к вечеру вернулся отец, снова принес хлеба. Я хотел пить, сказал ему. Он принес попить в какой-то черепушке, которую выбросил, когда я попил. Я понял, что нас ночевать не оставили, и даже был рад, потому что стеснялся городских ребят. На вокзале отец нашел у стены место, сел на дощатый чемодан, а мою голову положил себе на колени, и я крепко уснул.

Конец недели

Однажды, по пути в командировку, я выкроил два дня и заехал к родителям. Только сели за стол, как отец спросил меня, смогу ли я сладить с бензопилой «Дружба». Мама заругала отца, чего это он, не дал сыну отдох-

нуть с дороги и сразу хочет запрячь в работу, но отец объяснил, что пятница — последний день, когда можно договориться со знакомым бензопильщиком, взять пилу на субботу. Не будешь же ширкать вручную — на тебе, дай мне — две машины толстых бревен. С этим мама согласилась, теперь вручную уже никто не пилил.

Не откладывая, пошли в мастерские. Отец поторапливался, и я спросил, чего он гонит, пилу, что ли, перехватят.

— Уговор-то есть, — объяснил отец, — да зарплата сегодня, получат — никого не найдешь.

Было время обеда. Станки в мастерских молчали. Бензопильщика не нашли. Сели ждать и курить. Оказывается, кассир с утра поехала в банк, но еще не вернулась. Рабочие ругались, что вечно первым дают леспромхозовским, вот и жди, пока леспромхозовские отнесут деньги в магазин...

Мастерские — высокий просторный сарай — были набиты заготовками сохнущего дерева: досками, брусьями, рейками. По углам стояли различные станки. Готовая продукция — оконные рамы, дверные проемы, тарные ящики, коробки ульев — теснилась ближе к выходу. Пахло смолой, папиросным дымом.

Общего разговора не было, если кто и начинал говорить, то тема подворачивалась одна — получка. Как закрыли наряды, как утвердили, сколько выписали, велик ли был аванс, кто кому сколько должен, также говорили, что вряд ли чего после леспромхозовских в магазине останется, и тому подобное. Отец очень жалел, что мы не выпили с ним на дорожку, все было бы веселей ждать. Он раза три переспросил, какого питья я привез, огорченно покачал головой.

— Обманывают вас, а знаешь почему? — Отец был уверен, что водка московского разлива слабее, чем местная.— Знаешь почему? Чтоб меньше пьяных было. Один мужик ездил в Москву, вернулся, говорит: сплошной обман — выпьешь, и, как вода, не горчит. Неделю пил, говорит, ни разу не разобрало, а вернулся, и в первый же вечер с копыт. А чего московская — ни крепости, ни запаху. А наша так продерет, что не раз и не два передернешься.

Обед кончился, но станки не заработали, потому что в мастерские влетел голубь и его стали ловить. Куда девались оцепенение и лень?! Закрыли двери, носились по

заготовкам и по готовой продукции, рассыпали и то и другое, пока голубь не забился под стропилу. Приволокли здоровенную лестницу, и Гена, парень помоложе, слазил по ней и принес голубя под рубахой.

Рассмотрели, что голубь не простой, с полосками. Чей? В поселке голубей никто не держал, значит, дальний. То ли сам прилетел, то ли заблудился. Решили сколотить из реек голубятню, стали уже прикидывать, во сколько этажей, но могли не успеть до зарплаты. Тогда придумали окольцевать его и выпустить. Из алюминиевой проволоки стали делать кольцо. Гена, дурачась, пел:

— О, голубка моя...

Кольцо оказалось велико. Следующее получилось толсто, разогнули, расплющили — опять неладно: широко. Тогда за дело взялся сам мастер, и получилось колечко какое надо — ровненькое, легкое. Хотели уже замыкать кольцо на ноге голубя, как решили написать что-нибудь на проволоке.

— Это ж для науки! — кричал Гена. — Число, год и место, где выпущен. Полетит зимовать в Африку, его там поймают...

— И съедят!

— ...и сообщат в академию.

— Откуда в Африке знают наш поселок? — возражали Гене. — Надо область писать.

— Область не войдет, — сказал мастер. — Тогда надо второе кольцо делать, писать с переносом. Но с двумя не долетит.

— Да не полетит он в Африку, что он там не видал, сейчас уж и здесь зима не зима...

— Да что мы думаем! — закричал Гена. — Напишем... — и он вдохновенно предложил непечатное слово.

Забраковали. Но не оттого, что непечатное, а оттого, что не знали, голубь это или голубка. Тогда надо писать другое слово. Но опомнились по двум причинам: не умели определить различие между голубем и голубкой, и другое — вдруг да птица улетит за пределы страны и надпись испортит международные отношения.

— Скорее думайте, — торопил Гена, — а то он мне всю матросскую грудь исцарапает.

Сошлись на том, что написали: «День получки», потому что это хоть где поймут, и дату.

Голубя выпустили, мастер заставил сложить в порядок заготовки. Тут в мастерских появилась старуха. Она объяснила, что пришла заказывать гроб. У нее умер муж

и — вот такое дело — заказывать некому, хоть и разослала телеграммы детям, но живут они далеко, да еще как, с билетами худо, да куда ребятишек, время каникул, а везти их сюда, что им за отдых...

Ей сказали, что гроб обойдется в десятку. Это за материал, а домовину сделают ее старику даром, старик был хороший. Старуха не ожидала, что так дешево, заплакала и стала благодарить. Но как делать — мерки она не подумала взять.

— Ну, с кого он хоть из нас ростом? — спросили ее.

Она посерьезнела и стала смотреть на каждого и мысленно сравнивать со своим умершим стариком. Посмотрела и на меня и на отца, но мы не подошли, а подошел тот же Гена.

Он залез на верстак, вытянулся и сложил на груди руки. Его обмерили — длину, ширину, высоту, и началась работа. Завыла циркулярка, защелкал ремень фуговочного станка. Минут через двадцать готовый гроб стоял на том же верстаке. Старуха и плакала, и радовалась, и не знала, как и благодарить. Пошла за лошадью — везти гроб, который пока выставили на улицу с глаз долой. А десятку вручили Гене и погнали в магазин.

Вернулся бензопильщик. Обмотанный цепями, веселый, он выслушал отца, вспомнил уговор и охотно передал мне бензопилу.

— Она, сволочь, глядя на пятницу, не хочет пилить, но заставим. Несите, я подойду. Сегодня зарплата, уж завтра с утра.

Кроме пилы, мы прихватили канистру с бензином, стартер и с грузом шли медленно. Мечтали сесть за стол, пилу запереть в чулане, а завтра с утра работнуть.

Но вышло иначе. Около дома нас ждали... бензопильщик, Гена и еще один мужик, Саня. Оказывается, зарплату в этот день так и не дали, и вот мужики, просадив старухину десятку, вспомнили о нас. Знакомый шофер их поддернул, вот они и оказались быстрее нас.

— Давай работу, хозяин!

Их трое, да нас двое, дрова у нас только пикнут, обрадовались мы. Мама пошла готовить на стол, отец побежал в магазин.

Одно не получалось — пила действительно оказалась сволочью, не заводилась. Когда каждый из нас досыта надергался за резиновый набалдашник стартера, бензо-

пильщик Петр плюнул и стал разбирать мотор. На разостланную тряпку летели отвинченные части.

— Жиклер продуй, — советовал Гена.

— Свеча запаздывает, — говорил мужик Саня.

— А я грешу на горючее, — заявил отец. Он вернулся из магазина, и ему вовсе не хотелось, чтоб пила заработала.

Вскоре из дома вышла мама, постояла, махнула рукой на наши занятия и велела садиться за стол. «И сын с дороги ничего не ел, и вы все с работы».

Мужики поотказывались, вроде неудобно, ничего не заработали, но все-таки согласились и пошли мыть руки. Петр кой-как собрал бензопилу, что-то не туда завинтил, какие-то железяки остались на тряпке, он их завернул и сунул в телогрейку.

Вначале распечатали привезенную. Мужики, попробовав, подтвердили, что это зряшный перевод деньгам, обман зрения.

— Высшей очистки, — говорил мужик Саня, — точно сказано: все очистили — и крепость и вкус.

Не медля, для контраста, выпили местной, высекающей слезы и тормозящей дыхание.

— Это огорчило, — довольно говорил отец.

— Семеновна, не обессудь, — извинялся Петр, — дрова мы те раздернем, а то вышло не по-людски: пьем, не заработавши.

— Пей, — весело говорила мама. — Сын приехал, да и тебя в другой раз будет не стыдно просить.

— В любое время дня и ночи! — заверял Гена. — Ночь — полночь, приходи! Я пью чай, ты садись пить чай, вот какой я человек.

Мужик Саня заторопился домой. Мама собрала ему в дорогу несколько конфет из привезенных мной и лимон: «С получки-то ребятам принесешь хоть».

Отец и Петр стали вспоминать войну. Потом перешли ругать блоки НАТО и СЕАТО, и Петр строго спрашивал меня, чего мы там в Москве думаем своей головой, почему не внушили ихним генералам, что воевать с нами бесполезно, а бесполезно потому, что мы все вытерпим, терпение — наше оружие.

— Ни хрена подобного, все подобрано, — вмешивался Гена в разговор старших. — Наше оружие — десант, счас там такие ребята, такие... знаешь какие? Кирпич кулаком ломают, по телевизору показывали.

— Кирпич сломать ума много не надо, — останавливал его Петр.

— А генералы-то, — не слушал его Гена. — НАТО-то? Тьфу! Позорники! Знаю я их — три-четыре ракеты покрепче — и делать нечего.

Оказывается, Гена еще не служил в армии, а только собирался идти осенью. Мы могли не сомневаться, что, как только Гена обмундируется, все враждебные нам генералы могут подавать в отставку.

— Первыми, конечно, не тронем, — радостно говорил он. — Но уж если!.. Главное, дойти до рукопашной и паспортизировать местность.

— Ой, Гена, не маши-ко ты руками, не маши, — останавливала его мама. — Не знаешь ведь ты, не знаешь, что это за война, это ведь горе-горькое, что ты, Гена, не приведи Бог! Вот слушай, — она тронула Гену за плечо. — Вернулся мой Яколич из трудармии — не узнала: черный-черный, шея болтается, еле душа в теле. Баню протопила, пошли. Он разделся, я боюсь глядеть — до чего худ. Спину тру, сама отвернулась, лишь бы, думаю, не запомнить, ой! А на следующий день поехали за дровами. На быке. Туда в санях, там воз навалили, отец еще помогал, бодрился, да весь пар и вышел. Пешком идти не может, падает, и все. Тогда я свалила две чурки, его посадила. Бык встал и не повез. И упрямый, да и заезженный. И вот — вспоминать страшно, забыть грех — не пошел, пока еще чурку не вывалила. Так и до самого дома — везет-везет, остановится, ждет, чтоб чурку свалили. Попойдет-попойдет — опять стоит. А уж вижу, Яколича прижало, скорчился...

— Сырую брюкву ели, дак... — объяснил отец.

— Тогда выкидала остатки, все дрова, и погнала, нахлестываю. А сама думаю: дома не топлено, ребята. Езжай, говорю, вернусь. Пошла в обратно, взяла одну чурку на плечо и ведь еще и их догнала. Принесла на одно истопливо, а уж утром со старшим съездила, подобрала. Ой, батюшки! Сейчас, когда самолеты разлетаются, разгудятся, так тревожно, боязно станет...

— Я пойду, наверно, — сказал Гена.

— Иди, конечно, иди, — сказала мама, — чего с нами, со стариками.

— Утром забегу, — пообещал он.

Оставшись, мы выпили чаю со свежей смородиной и вышли на улицу. Сели курить на бревнах. Был светлый

летний вечер. Ночь все не шла. Вдруг голубь вывернулся откуда-то и сел на крышу дома.

— Приглядись-ко, приглядись, — сказал отец, — гляди, ведь окольцованный.

Мы всмотрелись — точно, кольцо на ноге. Рассказали Петру, что голубь этот из мастерских, окольцованный в обед. Петр усмехнулся, докурил, подошел к бензопиле, наставил стартер и рванул.

Мотор... завелся.

И пошла работа! Мы с отцом только успевали подкатывать бревна и оттаскивать тюльки. Почернела, запалилась одна цепь, Петр поставил другую. И эта так раскалилась, что опилки дымились.

Вернулся с провожанок исцарапанный Гена. Стал помогать.

— На звук пришел! — кричал он. — Отмахались! — кричал. Это он рассказывал о событиях на танцах.

Кончили работу, и, как ни поздно было, мама расстаралась, еще посидели.

Утром пришел мужик Саня, долго ахал, что работа сделана, но внес и свой вклад, стал колоть дрова. Я присоединился, а тут и Гена, прибежавший опохмелиться, застрял. Петр пришел за бензопилой, посидел, покурил, но разобрало и его, особенно, когда никому из нас не поддалась комлевая тюлька. Она и ему не поддалась, сколько он ни пугал ее замахами, сколько ни материл. Отец к дровам уже не подходил, бегал в магазин.

К обеду пришла вчерашняя старушка, попросила помочь вынести старика: «Больше ждать некуда, оба поезда с двух сторон прошли, никто не приехал».

На дворе старухиного дома было мокро, таял лед. В избе пахло одеколоном. Я думал, что у меня после работы грязное лицо, и дернулся поглядеться в зеркало. Но оно было закрыто черным. Почему-то вспомнилась древняя басня о вдове, которая, надев траурную одежду, погляделась в зеркало.

Мы подождали, пока другая старушка что-то быстро и бормовато дочитает, пока покроет лоб старика бумажной лентой, пока достанет из рук старика огарок свечки, а на это место вложит исписанный листок, пока высыплет на него в виде креста горсть мелкого песку, и тогда, по команде Петра, взяли за углы и вынесли гроб. Поставили в кузов пятитонки, положили сверху крышку. Петр прихватил ее на два гвоздя, чтоб держалась.

Провожать было не нужно, старуха объяснила, что на кладбище ждут, она договорилась.

— Ну, Сергеевна, — спросил Петр, — пойдешь еще замуж?

Старуха ответила:

— Лучше и не спрашивай, сама не знаю, че и сказать.

Старуха села рядом с шофером, машина уехала. За ней улетел вязавшийся к нам окольцованный голубь. Я спросил Петра, чего ж он так не вовремя сунулся с вопросом.

А все оказалось просто. Старика этого хоронила старуха не первого. Он хоть и местный, но всю жизнь прожил в городе, там и свою жену похоронил, а оставшись один, приехал доживать сюда, на родину. Одному тоскливо, сошелся со старухой, да и пожил-то всего ничего. Знать его здесь особенно не знают, а спросил Петр ее потому, что к ней уже сватался другой старик.

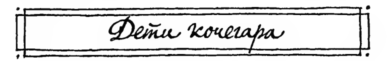
— Наверно, сойдутся. Ей провожать не впервой, а и старикам, доведись до кого, спокойнее.

Мы расстались. Расставаться не хотелось, но и того, что помогло бы остаться вместе, — работы, уже не было. Договорились, что утром в понедельник я принесу бензопилу и все детали от нее в мастерские. Простились.

Около поленницы сидела довольная мама.

— Вот и зимовать можно, — говорила она. — В баню идите, белье вам собрала.

Мы посидели, поговорили, что вот ведь как нынче, никакой проблемы с дровами, и привезти и распилить — всё машины, так что сейчас и в сельской местности хоть и без парового отопления, а жить во много раз легче стало. Поговорили, слазили на чердак за веником и пошли в баню...



Дети кочегара

Еще ни разу у меня так не было, чтобы каким-то рассказом я угодил всем. Не успеешь обрадоваться хорошему отзыву, как тут же его глушит отзыв отрицательный. Но не для того я ссылаюсь на личный опыт, чтоб кто-то ободрил меня фразой о том, что хвалу и клевету надо принимать с безразличием, это я давно выучил наизусть

и давно взял за правило. Я заезжаю в новый рассказ от того, что вот эта истина, что ни на кого не угодишь, — она давно растеклась по всей нашей жизни. Никому не угождают начальники, большие и маленькие, да и подчиненные пронизаны грехом осуждения сверху донизу, вдоль и поперек. Когда много и напористо кричат о покаянии, то как-то забывают, что в покаяние, а лучше говорить — в раскаянии, входит прежде всего смирение.

Но хватит теории.

Мой отец сменил после выхода на пенсию огромное количество работ. «Горький, — замечал он, — свои университеты в детстве и отрочестве прошел, а я под старость. Десять пятилеток я в одном министерстве отработал, а за одиннадцатую пятилетку десять министерств сменил». Работы у отца были незамысловатые: вахтер, гардеробщик, кочегар, разнообразный дежурный, дневной и ночной. Причина частой смены работ — нарушение трудовой дисциплины. Раза два доходило до смешного: брата моего, доцента, заведующего кафедрой, вызывали на работу отца и делали за него выговоры. Конечно, брат мой, сын моего отца, обещал администрации строго поговорить с нарушителем трудовой дисциплины. И поговорил. Нарушитель, то есть мой отец, отвечал, что раз администрация им не дорожит, то он ею тем более.

Мама наша каждый раз требовала, чтобы отец вообще прекратил всякие работы, сидел бы на пенсии, смотрел бы телевизор. Отец отвечал, что стране нужны трудовые руки, стране надо помогать, а по телевизору смотреть нечего, одна болтовня, сплошной разврат, вранье и провокации. А кроме того, пенсия мала и идет на питание, а остальное он может тратить по усмотрению, что ему деньги не в гроб класть, что дети не разорятся, если на свои деньги похоронят, и что поминки им обойдутся недорого, ибо его следует поминать, ему подражая — не заботясь о закуске. А телевизор что? Телевизор — сокращение жизни без радости взамен. Ну вот смотришь его и что? Эта же дикость потом и лезет в глаза, снится потом всю ночь. «А тут еще твои упреки, горьки, горьки они мне, твои упреки. Говоришь, что я по ночам кричу, а как не кричать, если такая международная обстановка. Нет уж, мамочка, я выпью, я покурю, потом еще приму для возбуждения сна и посплю. А если еще на утро остается, так это уже будет целый рай. А телевизор для чертей выдуман, то-то они в нем и скачут, да еще голые девки изгибаются, нет, мамочка, я хоть и любил в пар-

нях в бани подсматривать да как купаются подглядеть, так ведь это было временно, кратко, и разглядеть в банное окошко ничего не разглядишь, оно маленькое, оно закопченное, оно паром затуманено, а в реке девушки по шейку сидят, и больше визгу, чем смотрения. А тут, прости, господи, сплошное прости, господи».

Прослушав такой речитатив и арию, мама отворачивалась, махала рукой, что означало, что она даже и слов на отца не собирается тратить, что пусть он делает, что хочет, лишь бы ей остатки нервов не мотал, над ней бы не издевался, на старости лет ее бы не позорил, а уж сам пусть позорится сколько хочет. А она уже устала с ним бороться. Это бессмысленно, его уже не переделать, да у них вся порода такая. «А вы, ребята, не расстраивайтесь и внимания на него не обращайте».

Последняя работа отца была кочегаром в Северных банях. Она могла быть и в Южных, ибо кочегарки в банях нашего и не нашего Нечерноземья неразличимы. Просто Северные были поближе, а кочегары всегда требуются. Мы не какие-нибудь капиталисты, мы безработицы не допустим.

Кочегарка работала на газу, не было никакого сравнения с теми кочегарками, которые я прошел в армии и в студентах. В ней не кидали уголь лопатой, не качали вручную воду, не выгребали раскаленный шлак, не дышали горячей пылью, в ней вода качалась насосом, насос включался кнопкой, уровень воды и температура означались на приборах, словом, кочегар в данной котельной справедливо именовался оператором газовой установки. Но котельная есть котельная, и в нее привычно сбредался знакомый друг другу народ, знающий как лицевую, так и изнаночную стороны жизни.

Отец наш первенствовал в разговорах во временных, но спаянных коллективах. Надо сказать, что его любили, ибо он к работе относился ответственно, умел поговорить, умел залечить душевные раны. В его популярности, в его авторитетности я убедился, когда в один из приездов по просьбе, как говорят, трудящихся искал питье. Где там! Город был сух как позапрошлогоднее сено. Мне вообще иногда кажется, что вятские люди существуют для того, чтобы на них испытывать, что еще могут вынести русские люди. Они лишаются масла и колбасы, сигарет и мыла, они никогда не знают расписания работы винных магазинов, безропотность вятичей изумительна. Вот отчего мы непобедимы — мы терпеливы. Но, видимо, кто-то ис-

следует пределы этого терпения, и надо сказать, что вятские для такого исследования выбраны безошибочно.

Итак, я искал питье. Конечно, я боюсь, что академик Углов прочтет эти строки и меня осудит, но что ж делать, если питье требовалось дозарезу. Искал я тайком от отца, но его гениальное чутье вычислило мои заботы.

— Ищешь?

— Ребята очень просили, — отвечал я.

— Пойди в кафе на угол Свободы и Коммуны и скажи заведующей: «Я сын гардеробщика» — и попроси, что тебе надо.

Не веря в чудеса, я пошел на угол улиц Коммуны и Свободы, сказал волшебную фразу. Мне вынесли просимое.

В этот раз мы с братом были детьми кочегара. И как раз шли к нему на работу. Собственно, мы шли в баню. В этот субботний день был день рождения у нашей сестры, они с мамой к нему готовились, а нам было строго-настрого приказано сохранить отца до вечера, не допустить его до первой рюмки, ибо именно она начало всех начал, остальные, много их или мало, только приложение.

Отец ждал нас у кассы. Просил спуститься к нему в котельную.

— Может, после бани?

— Я сказал товарищам, что зайдете.

Мы сошли по серым железным ступеням. Человек пять или шесть подали нам руки.

— Который доцент-то? — спросили отца.

— Этот, — показал отец, — завкафедрой.

Я заметил, что мудреное слово «доцент», пред которым и сам я робею, производило на мужиков сильное впечатление. А выражение «завкафедрой» их поражало окончательно.

— А ты, — спросили меня, — при штабе, что ли, каком?

Думаю, что они умышленно спутали понятия писатель и писарь, но и то сказать, какое может быть сравнение доцента и писателя? Писать может любой, писать в начальной школе учат, а на доцента пойди-ка выучись, чай, надорвешься.

— Так чего, парни, — осторожно спросил отец, — может, по кружечке?

— Нет! — воскликнули мы, помня приказ мамы. — Нет! И тебе нельзя!

— Вам-то, может, до бани и ни к чему, — рассудил один из собравшихся на смотрины детей кочегара, — а отцу-то кружка не повредит. Тоже посиди-ко в кочегарке, это ведь не кафедра, не штаб.

— От кружечки-то, я думаю, не обеднеете, — добавил другой.

— Не обеднеем, — ответил брат. — Но отец на работе.

— Дак это же не кафедра, — закричали все. — Это же, посмотрите, это же кочегарка.

— Да эту-то работу, — сказал отец, — я могу во сне делать.

— Кружку пива отцу родному пожалели, — проворчал кто-то в сторону, но так проворчал, чтоб было слышно и нам.

Что ты будешь делать! Мы выдали отцу денег на весь коллектив, но отцу, отозвав его в сторону, объявили свой и материнский вердикт: ни капли даже пива. Это нам было торопливо обещано, и мы, провожаемые пожеланиями будущего легкого пара, пошли в баню. Еще нам не велели мыться шампунем, а то, сказали, потом как свиньи будем чесаться о все косяки.

— Я свой барак весь расшатал, — сказал один. — В войну делали сами — было мыло так мыло.

Баня эта, как, собственно, все почти общественные бани, была, конечно, суррогатом по сравнению с настоящей русской баней, так сказать, кастрюлей-скороваркой на городской плите в сравнении с котелком ухи на костре, когда костер горит на берегу реки, когда даже зудение комаров — музыка, когда размягченная душа позволяет расслабиться телу: лежишь разморенный, кажется, что все силы тебя покинули, а на самом деле они именно в такие часы копятся для новых битв и свершений.

Северная баня была конвейерной, в парилке только первые минуты после перерывов на просушку можно было дышать, потом воздух перенасыщался водяными парами.

— Чего это, — возмущались мужики, — кочегар-то с ума сошел, этак поддает.

— А не поддавал бы, опять бы нам неладно, — защищали мы кочегара.

Мылись мы на скорую руку, ибо очень уж не внушал доверия коллектив, который в эти минуты, находясь под

нами в немытом состоянии, пропивал наше капиталовложение.

Но как ни спешили, прошло полчаса. За эти полчаса компания в котельной повеселела и сплотилась. Мы с братом, думаю, сбросили от своего веса, а они, по всему видно было, наоборот, в весе набрали.

Нас дружно поздравили с легким паром и вернулись к шумному, начатому без нас, разговору. Один делился опытом сидения в тюрьме. «Там лучше, — говорил он, — там я человек. Вышел — никому не нужен, на работу не берут, что делать? Я витрину высадил, я ученый, по хулиганству неохота, мало дадут, но и до кражи не довел, чтоб не было со взломом, чтоб года на два». Другой, уж совсем старик, небритый и слабый, в разговор не вступал вовсе, только раз, когда сидевший долго не мог прикурить и поэтому молчал, старик этот внезапно вступил возгласом сокрушения: «Э-э-эх!» — «Не вздыхай тяжело, не отдадим далеко», — откликнулся отец. «Как не вздыхать, — сказал старик, — скоро помру, и зароют как собаку, неужели я даже отпевания не заслужил? Лежу ночью, ангелы поют. «Херувимскую»! Да разве вы слышали! А распевы! «Благословен, Грядиый!» Или: «Во Христа креститеся, во Христа облекохтеся!» Э-э-эх! Мне уже «Со святыми упокой» не дождаться. Да уж хоть бы платок кто в гроб сунул, на том свете сопли утирать».

— Почему сопли? — вытаращился сидевший мужик. Не в смысле — сидевший, хоть он и сидел на слабеньком стуле, а в смысле — сидевший раньше в тюрьме.

— Как почему? Встретят меня там и бац по морде! Заслужил!

Мы с братом-доцентом сели в сторонке, отдыхая после бани и не решаясь оттягивать отца от разговора. Мужики приняли еще, принял и весело подмигнувший нам отец. Мы вздохнули, отказавшись от предложения участвовать в очередной здравице во славу раскрепощенного времени. Сидевший все матерился, все припоминал следователю старые обиды. Все курил, все совал всем свою открытую пачку «Беломорканала», приговаривая, что это фирменные папиросы всех зэков.

— Кури, кури, ворошиловские стрелки! Ну и вот, и он мне кулаком по морде. Говорит: как по тюфяку бью. Я утираюсь, думаю, ладно, а ведь и ты сдохнешь. И так получилось, что я, вроде как в бреду, это вслух сказал.

Нет, он говорит, вначале ты сдохнешь, вначале я тебя в лагере сгною. Я ему: нет, я не сдохну, я временно умру, а ты сдохнешь навсегда.

— Сейчас хоть писать стали, как над нами издеваются, — вставил еще один мужик, которого я определил для себя как правдолюбца. В подтверждение моего прозвища он добавил: — А преступность будет расти, потому что сажают мелюзгу, а на крупных и законов нет. Грабьте, милые, на здоровье. Смотри, Медунова посадили? А наш Беспалов? А не при нем ли Вятку вконец отравили? На это есть законы? Вот сейчас придут, нас заберут, и никому ничего не докажешь.

— Так бьют, чтоб следов не оставалось.

— А вот грузин на рынке мне говорит, — сказал еще один безымянный собеседник, — плесни... хорош! говорит: я бастовать не буду. Это я ему сказал: чего ты тут торгуешь, слыхал, что в Тбилиси? Он говорит: если отделимся, кому я гвоздики буду продавать, кто их там у меня купит?

— Смотри, какой любопытный экономический подход, — прокомментировал только для меня брат-доцент.

— Мы слаборазвитый рынок сбыта, — вступил наш отец. — Купим все, чего ни выкинь. Нас держать в нищете выгодно. Поэтому нам все время вдуваривают, что у нас низкий жизненный уровень. Но живала Русь и хуже. Смотри, штаны без заплат некому отдать доносить, это называется — ни хрена себе, дожили!

— Зависимость от иностранного капитала повлечет зависимость нравственную, — это снова брат-доцент.

Мужички еще тяпнули, и вновь зашумел под ветром градусов разговор.

— Там рвануло, тут рвануло, какой-то СПИД еще какого-то лешева, нет, пойду за решетку, там безопаснее, — говорил сидевший. — А тут вас все равно уморят. Все отравлено, и вас отравят, вы и не заметите.

— Он затрагивает вот какую тему, — оживился брат. — Мы и не заметили, как вступили в период, когда природа начинает мстить за вторжение в нее. Причем у нас нет философии новых видов энергии. У нас только идеология, а этого мало.

— Да нас голыми руками научились брать! — закричал безымянный мужичок. — Ты пахал и будешь пахать. И не пикнешь. Вот сейчас по пьянке поорешь тут и доволен. Сейчас признали, что борьба с вином была убы-

точна, на нас все держалось, на наших рублях, и с нами же боролись, нас же презирали, нас же за людей не считали. Поили столько лет и опохмелиться не дают. И хоть ты что, хоть заматерись, хоть в трон, хоть в закон, хоть по матушке. За свои же деньги и трясешься. И кругом виноват. Все правы: и жена, и партком, и местком, — один ты живешь Ваня Ваней.

— Сравнения с нэпом никакого! — давил свое отец. — Никакого. Какой нэп, когда еще анархию не прошли. А еще вдобавок пропаганда новой революции, будто не хватило еще. Лионские ткачи! — неизвестно зачем добавил он, видно, проблеснуло в памяти выражение из политграмоты давних лет.

— Живала Русь и хуже, — вспомнил выражение отца старик, — живала. Но почему раньше она хорошо жила? Она была на своем месте, а ее со всех мест сорвали. И живем хуже всех, и все на нас свою вину сваливают, во всем виноваты. Ведро водки стоило при Николае восемь рублей, и пьяных не было.

— Кому немного надо, тот победит, — сказал отец афоризмом, — а кому много надо, тот и злобствует и в желчи умрет.

— Идем неизвестными путями! — передразнил кого-то правдолюбец. — Конечно, пойдешь неизвестными, если известные разрушили.

— Пение это, «Херувимская», такое было, что никакого сравнения, — заговорил внезапно старик, перед тем как упасть в забытье. — Это пение было между соловьем и ангелом. А татарье и монголье иго мы победили, и немту победили на одной картошке, а они на шоколаде не смогли.

— На кой хрен такая гласность, — говорили мужики, — когда мыла нет, пусть бы ее и не было, гласности, да мыло б было.

— Спекулянты, — это отец, — перевернулись в кооператоров. Мыло скупают, расплавляют и льют в формы зверей и животных, такусенькие, — он показал полмизинца, — и продают за рубль. Хоть ешь, хоть мойся. Взяли моду правду говорить, и мы опять вышли дураками. — Тут он нечаянно уронил крылатую фразу: — Если правду не скрывать, ее и говорить не надо. Когда ТОЗы заменили на колхозы, это повело к гибели народа на корню. Кабы не было зимы, не было бы холоду, кабы не было колхозов, не было бы голоду. В колхозы гребли

подчистую. Хотя до войны некоторые выравнялись, приближались к уровню нэпа, стремились к уровню тринадцатого года, уже начали кормить зерном Германию, и она разлакомилась. Нет, с нэпом никакого сравнения. Тогда цены падали, сейчас — под потолок растут. Тогда о качестве не говорили. Продают чего, значит, качественно. А совести не стало, заговорили о качестве. Знак придумали, везде штампуют. Только на капусте его нет — расползется. У-у, спекуляторы, — закончил отец, объединив спекулянтов и кооператоров.

Разговор свернул на политику, это означало, что он идет к концу и что для оживления его, для его дальнейшего продвижения необходимо горючее. Говорили о выборах.

— А кого бы ни выбрали, нам по бутылке не поставят, — заявил один из мужиков. — Так ведь, товарищ профессор?

— Да-а, — протянул отец, — а раньше, ох, раньше! Земство после выборов бочку-сорокаведерку выкатывало.

Так же целенаправленно, пострекательски мужики вспомнили, как ходили по вагонам в белых фартуках с графинчиком, с закуской официанты, как это все было дешево, культурно, какое уважение было к людям, а стали к людям относиться как к скотам, чего тогда от людей и ждать.

— Может, домой пойдем? — спросил я отца. — Пока не поздно.

Но мужики зашумели:

— Чего это из-за двух часов смену терять?

— Мы заплатим сменщику.

— Вот ведь как доценты-то, — ехидно сказал въедливый мужик. — Денег не считают, деньгами швыряются.

— И отца рады от людей оттянуть, — поддержали его.

— Мужики, а мы ведь их вроде с легким паром поздравили.

Мы с братом как воспитанные люди, не дожидаясь напоминания, что после бани последнюю рубаху продай, да выпей, выдали им на пол-литру. Кто-то побежал. Мы отозвали отца в сторону, напомнили про день рождения сестры, что дома все полно, что там закуска замечательная, что хорошо ли это — рукавом утираться после рюмки. Отец курил, нетерпеливо поглядывая на лестницу. Нас, однако, похвалил:

— Это вы, парни, правильно на бутылку дали. А то вы ушли мыться, они очень вас осуждали: говорили, что вот какие нынче доценты пошли, отец их выучил, вырастил, на ноги поставил, а они ему сунули на кружку пива и рады — отделались, выполнили сыновний долг.

Принесенная посудина вмиг опустела и произвела такой эффект, что нас вновь осудили. Об этом сообщил отец. Он участвовал в уничтожении отравы, а мы сидели в сторонке, решив без отца не уходить.

— Мужики говорят, с нами выпить брезгуют, сами-то небось коньяк пьют, икрой заедают, а отцу родному кинули, как нищему, на бутылку, — сказал отец, подойдя к нам.

— Но ты же знаешь, мы не пьем.

— Не могу же я сказать, что вы мало зарабатываете. Зачем тогда, скажут, учились, катали бы бревна, самое малое три сотни.

— Хорошо, — согласился самый терпеливый из нас, — вот, возьми на коньяк, но это последнее, и сам не пей.

— А разве я пил?

Кончилось тем, что мужики вместо коньяку купили белого. Отец наш, поддерживаемый нами, покинул котельную и добрался до дому, где был лишен ближайших прав на участие в дне рождения, где мама велела ему немедленно ложиться в постель. Что он и сделал. Лежа закурил и, засыпая с горящей сигаретой в руке, сообщил нам, что, по общему мнению его товарищей, мы все же дураки.

— Почему?

— Хоть вы их и поили, и все равно дураки.

— Но почему?

— Говорят, кто же в баню с деньгами ходит. Говорят, всех не напоишь. И меня, это тоже на вашей совести, из строя вывели. Сами-то сейчас пойдете, за столы сядете. Мне хоть чекушку принесите перед сном выпить. Для возбуждения сна.

В завершение скажу, что отец наш сидит дома, но не исключено, что мы с братом будем сыновьями еще когонибудь. Потому что отец внимательно читает объявления о приеме на работу.

— Я везде требуюсь, — говорит он.

Пока не догорят высокие свечи

За столом летнего кафе компания молодежи. Лица красные, жесты энергичные. Говорят громко, кружки по столу двигают резко и, кажется, разбили одну: около стола уборщица с веником и совком.

— Вы не возражаете?

Я повернулся — кто это таким детским голосом, — увидел мальчика и хотел послать к папе-маме, но разглядел — карлик. Лет сорока.

— Да, конечно.

— Люблю, — сказал он, ловко влезая на стул и двигаясь на нем ближе, — люблю на открытом воздухе выпить свежего пивка. Вы позволите? — он перехватил у меня пустую кружку и передал уборщице. — Вы кто по профессии? — спросил он, поворачиваясь обратно. — Можете не отвечать, главное, что интеллигентный человек. И мы поймем друг друга. — И, хихикая, добавил: — Несмотря на явную разность величин.

Мимо нас к прилавку прошел мужчина, пошатнулся, задел кого-то из парней. Они все сразу вскочили и налетели драться. Каждый непременно старался ткнуть мужчине в лицо. Кепка слетела у него с головы. Уборщица успела быстрее всех. Оттащила мужчину, прикрикнула на молодежь. Тут мой карлик слез со стула, подбежал к упавшей кепке и стал ее подпинывать и топтать. При этом восторженно вскрикивал. «Вы позволите?» — спросил он парней. И вскоре сидел за их столом и потешал их.

Я невольно вспомнил карлика, который в моем детстве пас гусей. Имени его мы не знали, звали лилипутом. Он жил на мельнице, ходил босиком. Помню пруд и плотину после дождя. На глине глубокие детские следы. Лилипут очень боялся гусей. Пока гнал одних, другие забегали сзади и щипали.

Еще вспомнился театр лилипутов и афиша:

«ТЕАТР! ЛИЛИПУТОВ!!!»

Уборщица подняла кепку мужчины, хлопнула ею по стулу, унесла. Карлик что-то рассказывал парням. Парни хохотали и плескали в его кружку из своих.

Казалось, что у лилипутов крошечные паспорта, крошечные в них фотографии и вообще все капельное, ку-

кольная посуда, маленькие весы и гири. Буханки хлеба хватает на весь театр на неделю. Когда мы узнали, что театр приехал, то нас уже от клуба было не оттащить. И дождались — изнутри вышла женщина-лилипутка. Губы накрашены, в губах папироса. «Мальчики, — сказала она, хотя любому мальчику была по пояс. — Нужен уголь — подводить брови. Кто принесет, получит контрамарку. — Мы молчали. — Ну! Простой уголь! Из печки».

Ближе всех жил Руслан, сын продавщицы. И то, что он опередит, я с великой горечью понял, когда добежал до своего дома и нахватал полную пазуху самоварных углей.

Окна в клубе были плотно занавешены, мы ничего не увидели, а Руслан рассказать ничего не сумел, только все повторял шутку из концерта: «Он в столовой говорит: а где сахар? Она говорит: вы как мешали? Направо? А сахар ушел налево».

...Молодняк за соседним столиком вдруг встал и, говоря нынешним языком, слинял.

— Вы позволите? — спросил карлик. — Интересует меня молодежь, — сказал он через минуту. Говорил он быстро, с удовольствием, хотя казалось, что говорить высоким голосом трудно. — Вы заметили, какова стадность? — спросил он. — Впятером за бутылкой. Будто нельзя одному. — Он почувствовал, что говорить мне с ним не хочется, но не отступился, наоборот, качнулся вперед, заговорил вполголоса: — Вы не думайте, у нас все так же, и свадьбы, и дорогие специальные кольца (он показал широкий желтый перстень), все, как у вас, только по знакомству. Только у нас не рождаются дети. Нет детей! — трагически произнес он. Выждал паузу и закончил: — Мы рождаемся у нормальных людей. Н-но! Вопрос: кто нормальные?

Невольно я заметил, что ноги его в лаковых туфельках не достают до земли.

— Да, да, — сказал крошка, — это загадка природы: карликов рождают гиганты. Причем правильно говорить не лилипут, а карлик. Некоторые наши стеснялись этого слова, но возьмите Даля, у него нет слова лилипут. Даже в девятьсот третьем при переиздании словаря Даля Бодуэн де Куртенэ не включил слово лилипут, проверьте. Видимо, Свифтов Гулливер еще не прошел по России. Это ведь оттуда страна Лилипутия. Забавно! — воскликнул карлик. — Свифт думал, что зло исчезнет, люди прочтут его книгу. Прошло три столетия — и что? Но это к слову.

Когда не с чем бороться, зачем жить? Так вот, кому-то кажется благозвучнее лилипут, хотя правильнее карлик. А-а, теперь карликом обзывают всякого горбуна. Нет чистоты породы! Вы пейте, пейте. Я, с вашего позволения, тоже.

— У вас есть теория? — спросил он вскоре, утираясь большим желтым платком. — Нет? Ну, это нестрашно, в основном, живут без теорий. Вот эти, например. Но узнать их подоплеку, изнанку...

— Это можно и без топтания кепки, без лизоблюдства. — Я все-таки не мог понять, чего ради он заискивал перед парнями.

— Если бы меня не перебивали, — сказал он, — но всегда думают, что в маленькой голове мало ума. Дело же не в килограммах мозга, а в извилинах. Грецкий орех или тыква? — спросил он. — Однако у нас пусты бокалы, я их наполню. Сейчас вы скажете, что страсть к услужливости у меня в крови, и ошибетесь. Просто я возьму без очереди, а вам не дадут.

И в самом деле очередь перед ним расступилась. Да доведись бы до кого угодно. От сдачи я отказался. Он спрятал ее, снова залез на стул.

— Благодарю. А ведь вы вряд ли богаче меня, у вас нет лаковых туфель и золотого кольца, и вовсе не модерновый костюм.

— И что же теория? — спросил я.

— Покончим сначала с этой, — ответил он, обхватывая кружку как маленький бочонок. И долго, по-комариному пересасывал в себя жидкость. — Теория в том, — сказал он наконец, вновь утираясь желтым платком и слегка посмаркиваясь, — что все познается в сравнении. Не будь вас, мы — карлики — считали бы себя гигантами по отношению, например, к мухе. Не так ли? И кто возразит, что электрон бесконечен для познания? А ведь я побольше электрона, — посмеялся он. — Сколько душ на конце иглы? Или вы по-прежнему считаете это схоластикой? Но, — вновь вернулся он, — вы хозяева природы, а природа создала карликов, чтобы вы считали себя большими. В сравнении. Потому что появись великан, и все вы перед ним лилипуты. Кстати, вся теория относительности в этом. Эйнштейну совершенно излишне аплодируют. Но почему карликам не дано функции размножения? Наше себялюбие помогло бы нам размножаться с большой скоростью. Кто знает, какое качество возникло бы из количества карликов. Вы не устали? Еще

пива? Ведь вы столько выпьете, что мне не унести. Деньги есть, не волнуйтесь. Зарплата у нас подходящая. Знаете первую заповедь? Если ты должен предать свой народ, чтобы спасти его, предай. А вторая? — Карлик еще раз показал широкий перстень: — Копи золото и жди сигнал...

В кафе вернулся мужчина, которого хотели избить парни. Я махнул ему рукой, он увидел и сел к нам. Он где-то успел ополоснуть лицо, вытирался рукавом и глядел по сторонам трезвеющими красными глазами.

— Ты этих парней знал?

— Впервые вижу.

— Вот твоя теория, — сказал я карлику, — количество этих мальчиков сильнее мужика, так?

— Это совсем другая теория, — радостно сказал он, — это вопрос стадности, я же говорил...

— Кепку мою не видали? — спросил мужчина.

Карлик спрыгнул со стула, быстрыми шажками сходил за кепкой.

— Спасибо, — сказал мужчина. — И только за то хотели убить, что нечаянно задел. Это уж до чего дошло? Хуже нас людей не осталось. Я пришел выпить пива. Имею право.

— Д-да! — вскрикнул карлик.

Мужчина, будто впервые увидев его, долго смотрел.

— Ты какой размер носишь?

— Ой, только не надо! — заотмахивался карлик. — Только не говорите, что нам дешево жить, наши женщины, представьте себе (он адресовался ко мне), нуждаются в мохере не меньше других и не носят детских колготок...

— Я своей покажу мохер, — сказал мужчина. — У них, конечно, одним пивом не обошлось, — сказал он о парнях.

— Все спецзаказ, все индпошив! — продолжал карлик. — Это дорого. Это безумно дорого. Никто не представляет себе, как дорого.

— Пенсию-то какую-то должны вам платить, — сказал мужчина. — Одежда дорого, зато на еду мало идет.

— Вы еще сначала заработайте эту пенсию.

— Тебя же не поставишь камни ворочать.

— Перестань, — сказал я мужчине. Пододвинул ему нетронутую кружку.

Своим высоким голосом карлик стал говорить:

— Один энный, скажем так, человек нанимал меня для шпионажа...

Мужчина поперхнулся и долго кашлял. Я постучал мужчину по спине.

— ...для шпионажа. Он был страшный картежник, ставки бешеные, вначале он хотел нанять вертолет. Они играли в парке. Вертолет зависает над ними, вертолетчик смотрит в двенадцатикратный бинокль и по рации сообщает данные. Но неудобно: вертолет шумит, партнер может пересесть, сядет спиной. Вот тогда игрок решил использовать мой рост. Он взял большую спортивную сумку, посадил меня в нее, принес к месту игры. Но я все же не молекула, не атом. Вдобавок партнер сильно прижимал к себе карты. Так что мне даже ничего не заплатили.

— А знаешь, — воодушевляясь, сказал мужчина, — пойдем к тебе в гости. Пойдем к нему, — пригласил он меня. — Кровать, наверное, у тебя с этот столик. Или детская коляска? В ней и похоронят.

— Ничего интересного, — грустно ответил карлик. — Может быть, только перевернутая подзорная труба. Я смотрю через нее на улицы, и все вы кажетесь муравьями. Еще, может быть, набор говорящих кукол: президенты, их жены, прочий аппарат. Иногда я на них проигрываю очередную смену правительств. Но и это не редкость. Пожалуй, единственное, что у меня есть, — свеча. Абсолютно с меня ростом. Стоит на полу. Пламя на уровне моих глаз. Боюсь зажигать, ощущение шагреневой кожи, то есть... объяснить?

С прежним шумом в кафе вернулась прежняя компания.

Одни пошли за стаканами, другие сели и стали звать карлика.

— Я пойду, — сказал он, — с тем условием, что вы будете знать мой научный интерес. Шагреневая кожа, — разъяснил он напоследок, — это вся наша жизнь. Я маленький, кровь во мне обращается быстро, я сильнее чувствую, быстрее вижу, а вы наоборот, оттого мне любопытны ваши особи.

Он перешел к парням.

— Их по одному надо убивать, — сказал мужчина. — Ну, свяжись я с ними сейчас со всеми. И что? И не жилец.

Слышно было, как карлик высоким голосом спрашивал:

— Вопрос на засыпку: как звали карлицу в романе Пушкина «Арап Петра Великого»? Считать до трех? Бесполезно! Ласточка. Каков размер вершка? Вершок? Р-раз, два... три! Бесполезно. Скольких вершков были карлики, подаренные Голицыным (кто Голицын?) Петру Первому? Двенадцати! Стыдно, цари природы! Все цари имели карликов, вы и без карликов мните себя царями.

Мы еще посидели. Подходил один из парней, спрашивал, не обижали ли мы их нового друга. Звал к ним. Мужчину они не узнали.

Надо было спросить карлика про театр лилипутов. Если их немного, они могут знать друг друга. И тот мужичок с ноготок? Который пас гусей. Да нет, это было давно.

— Давай выпьем, — говорил мужчина. — Если что, кепку продадим.

Но было уже поздно.

Еле-еле успел я на пригородную электричку. Вскочил в хвостовой вагон, вошел внутрь и услышал:

— Дорогие гражда́не, братья и сестры, обращаюсь к вам, полный инвалид, мои руки не работают, мои ноги не ходят, глазами вижу половину белого света...

Запел:

Родился безногий, родился безрукий,
Товарищский суд меня взял на поруки...

Люди в проходе расступились, и я его видел — в плохоньком пальто, он, дергаясь и хромая, и поводя протянутой рукой направо и налево, двинулся вперед. Когда ему подали, подала женщина, он сказал: «Большое спасибо» — и продолжал:

Глухой и слепой, обратите вниманье,
Нет обонянья, нет осязанья, совсем осязания нет...

Стоять было тесно, я решил пройти в другой вагон. Но надо было обгонять нищего. Стал ждать, пока он дойдет до тамбура. Он пел, ему подавали. Некоторые закрывались газетами, некоторые отворачивались. Столько их ходит, просит, что не отличишь, кто настоящий нищий,

а кто придуривается. Конечно, мелькнула мысль, что никакой он не слепой, да ладно, подумал я и сунул монету в тяжелеющий карман. «Большопаси!» — отрывисто сказал он и затрясся у дверей в тамбур. Я их раздернул ему и вышел сам. В тамбуре ему никто не подал. Да он и не просил, стал открывать дверь в соседний вагон. Я снова помог, и мне показалось, что он меньше трясется, а больше так, по инерции. Он закрыл за собой дверь, немного побыл в переходе и прошел дальше. В новом вагоне, протягивая вперед уже пустую ладошку, он снова вкратце рассказал, что нет руки, ноги, что дело плохо, и запел, как бедная старушка мать, ожидая сына из армии, «ночью идет на дорогу, днем у окошка сидит».

Но сейчас дела шли у него хуже: приближались к платформе — многие вставали с мест и, хмурясь, пропускали его. Один дядя, проходя, сказал: «Работать надо». На это одноногий ответил: «Большое спасибо». Те, кто выходил на остановке, видимо, считали себя свободными от обязанности подать милостыню, а только что вошедшие были не в курсе дела.

В третьем вагоне после обращения к братьям и сестрам он сказал:

— Как бы я хотел сесть и ехать, как вы, но приходится собирать: пенсии пока не платят, а на работу не принимают, в артели места нет.

И, потряхивая ладошкой и ступая боком, карманом вперед, он стал двигаться по проходу. Вагон поматывало на стрелках, один раз нищий чуть не упал. Его поддержали, а одна девушка вскочила и сказала: «Садитесь, пожалуйста». Но он двигался дальше, а над девушкой улыбнулись. Подавали. Подавали, потом отворачивались, громче прежнего продолжая говорить с соседями. Ехавшие поодиночке, а не со знакомыми, почти не подавали. Компании молодых ребят не подавали, смотрели с интересом, но не острили. Трясение рук около молодежи незаметно увеличивалось.

Он уносил мою монету к голове состава, да и мне было бы удобнее и быстрее выйти на вокзале из первых вагонов, и я шел за ним и заметил, что в переходе он ссыпает деньги в карман, работая обеими руками. И уже не вслушивался, как он жалуется, что на работу не принимают, в артели места нет.

Все-таки наблюдать, кто как подает, как действует нищий, было интересно. Отрывистое «Большопаси!» он говорил и тогда, когда не подавали, это действовало: в са-

мом деле, мог думать человек, другие подают, чем я хуже, пятак (гривенник) меня не разорит, а этих попрошаек не перевоспитаешь.

Третий вагон от головы был заполнен сплошным молодняком. Курсанты — гражданские летчики шпарили в дурака. На изнанке карт была изображена красотка без ничего, красотка, что называется, в полном порядке, но бравым ребятам, видимо, она примелькалась, и они хлопали ею бесстрастно. Другие ржали, кто-то пытался листать учебник, многие курили.

«Тут-то ты попался, — подумал я про нищего. — Лучше тебе, друг-приятель, потрястись безмолвно».

Но нет! Профессиональная гордость не позволила нищему оставить неохваченным очередной коллектив, он взялся за работу. Без предисловия запел:

В селении Ясной Поляне
Жил Лев Николаевич Толстой.
Не ел он ни рыбы, ни мяса,
Ходил по деревне босой...

Вагон оживился.

— Сам-то жрешь, наверно, — крикнул один картежник.

— Дай послушать! — сказали ему.

— А ты чего возникаешь? Чего выступаешь? По мозгам захотелось?

— А тебе чего?

Скорость развития отношений у этих ребят была космическая, но ссору приглушил тот же нищий. Он перестал петь и мучительно, весь кривясь и дергаясь, сдерживая стон, стал сцеплять руки. И все поневоле смолкли.

Никто в этом вагоне не советовал ему пойти на работу, а он двигался так же медленно, как и раньше, терял время и пел про Ясную Поляну. Песня была длинная, когда-то в студентах мы ее пели на картошке. Я думал, выдохнется, но он не пропустил ничего и последний куплет закончил точно перед выходом:

Граждáне, Толстого читайте,
Он много писал кой-чего,
А мне хучь копейку подайте,
Я внук незаконный его.

Он спел не «читайте», а «чатайте», нарочно исковеркав язык, и не напрасно — засмеялись. Тот, что упрекнул вначале, послал через дружка металлический рубль,

сказав при этом: «Гарсон!» Мужичок взял рубль и сказал спасибо.

Видя, как ловко нищий приспосабливается к аудитории, я не мог не подумать, что ничего не стоит на месте, что и нищих касается прогресс; в мое время просили примитивно: ради христа, ради бога, а тут и песни, и вызов к состраданию, и расчет на брезгливость и на боязнь оказаться в немощных, уж лучше откупиться. Да и в самом деле, кто нынче обеднеет от копейки.

Какой же ты нищий, думал я. Нищета! Да кусок хлеба ты в лицо бросишь — деньги тебе давай.

А сколько я видел настоящих нищих. Особенно после войны. Особенно в многодетных семьях. Мать с детьми приходила, крестилась и была за все благодарна: хоть за горбушечку, хоть за картошку вареную. А уж если ничего не было, так никто и не обессудит. Стеснительные нищие ходили между утром и обедом или между обедом и ужином, а бессовестные старались попасть в обед, потому что ложка в глотку не полезет, когда у порога стоит голодный.

Мы жили ввосьмером, но у нас вернулся из армии отец и была корова. И то весной, после снега, ходили в поле, собирали старую картошку и пекли из нее слатимые лепешки. Стригли крапиву. Или лебеду. И заваривали. Но не сбирали же. Раз сестра полезла зачем-то наверх и нашла за бабушкиной иконой сухую корку. Мы плясали, как первобытные. Но нищими себя не считали.

А была у нас в классе девочка Аня. И мы не знали про нее, что она сбирает после школы и ходит с той же торбочкой, в которой лежат арифметика и русский язык. Она не заходила в избы, где жили одноклассники. У этой Ани отец пропал без вести, и поэтому им не оформили на него пенсию. Да мать и не ходила: они не подписались на заем — и было неудобно просить.

Она однажды ходила и ошиблась. Я сидел в передней, она вошла и от порога стала ради христа просить милостыню. Не надо было мне выходить. Она бы увидела, что дома никого нет, постояла бы и ушла, но я не узнал по голосу и вышел. Она как раз крестилась.

Больше она не пришла в школу. Может быть, боялась, что я скажу, что она крестится и снимает пионерский галстук после уроков? Ее не было, и в воскресенье я пошел в деревню, где она жила. Изба у них была совсем маленькая, на дворе никакой даже курицы. А внутри было так все ободрано, темно и так бедно, что сейчас

пикто и не поверит. Аня спряталась от меня за печкой.

Тогда ходили слухи, что поймали женщину, которая продавала пирожки с мясом, и будто бы это мясо было ее детей, а узнали по ноготку. И уже потом мне казалось, что эта женщина — мать Ани, а ноготок этот Анин. Так думалось, видимо, оттого, что тогда в темной избе эта худая больная женщина злобно посмотрела на меня и сказала: «И без учебы сдохнет», и еще оттого, что Аню я больше не видел.

Так вот это были нищие, а ты? И я так рассердился, что набрался решимости и в переходе хлопнул его по плечу:

— Много набрал?

Испугался он страшно. Но, видимо, и на такой случай он был подготовлен и отработанно мучительно затрясся и закатил белки.

— Не бойся! — грубо сказал я. — Никто тебя не ограбит.

Он замычал и, показывая на плечо, изобразил ладошкой погон.

— Майор?

— Ефрейтор, — сказал я. — Валяй.

— С-сы-сы-сы, — зазаикался он. — Сын!

Ну, сейчас залепит, что у него сына вчера убили в подъезде и на гроб негде взять.

— Говори нормально!

Но он все трясся и трясся.

— Иди!

Уже подъезжали к Курскому. Нищий вошел в головной вагон. И хотя люди вставали и готовились к выходу, он все-таки приступил к работе.

— Братья и сестры!

На него стали оглядываться. Заговорило поездное радио и заглушило мужика. «При выходе из вагонов не забывайте свои вещи» — вот что сказали по радио.

С утра шел дождь, вагонные окна запотели. Это к тому, что электричка остановилась и не было видно где. Но я часто тут ездил и знал, что стоит она перед мостом через Яузу, напротив Андроникова монастыря, музея Андрея Рублева.

В наступившей тишине вновь зазвучал голос нищего:

— Ездил к сыну в армию. Возвращался обратно — в вагоне случился приступ. Очнулся — чемодана нет. Возвращаюсь домой, в Горький. Собираю на билет. Подайте, сколько можете. В кармане у меня тетрадка —

запишите свой адрес, — приеду, вышлю. Подайте ради всесветного господа Бога нашего.

И так говорил он жалобно и проникновенно, так постариковски, что люди дружно полезли в карманы. Молодежь, впрочем, и тут обошлась. Адрес свой, конечно, никто не записал.

Мне стало стыдно. Я вспомнил, что мама моя всегда говорила: «Не вели, господи, принять, вели, господи, подать».

И вот — Курский. Люди, не забывая, конечно, вещи, выходили из вагона. Нищий стоял и провожал их, крестя дряхлой рукой. И никто слова плохого ему не сказал. Пятаки, готовые для метро, переходили к нему.

«Не должно же, в самом деле, исчезать сострадание, и пусть чужое горе будет единением. И человек этот со своим несчастьем нужен. Дороже всяких денег наличие совести. А жалость — это начало ее» — так думал я и спросил нищего:

— Вам в самом деле в Горький?

— Сынок! — сказал он и заплакал.

— Вы набрали на билет?

Он окончательно расквасился.

— Идемте.

Я вывел его из электрички. Те люди, что ехали, уже ушли, а новые видели, что молодой мужчина помогает инвалиду.

Пока мы шли по проходу, он все повторял, как он благодарен людям, что он инвалид труда, но пенсии нет, все бумаги были в чемодане. Припадок — чемодана нет. Надо в Горький. Запишите адрес, я вам вышлю. В артели нет места. Три раза дом попадал в пожар, два раза в наводнение.

Народу у кассы было порядочно.

— Сядьте, — сказал я и встал в хвост.

Он пошел к дивану, но свернул в сторону. Я еле догнал.

— Вы куда? Я же очередь занял.

— К администратору.

— Действительно! Идемте!

С решимостью законного дела я пробился к администратору и заранее собрался нагрубить, если откажут. Но администратор — тетя в годах — выдала мне бумажку в кассу номер семь.

— Номер семь — христианское число, — сказал я нищему.

— Большое спасибо!

Билет стоил восемь рублей. Отошли в сторону, стали считать деньги. Каждый пятак, каждый трешник, каждый гривенник нищий доставал мучительно долго. Набрали рубль.

— Слушай, — не выдержал я. — Никто нас не видит. Высыпай все!

— Сынок! — зарыдал он. — Мою жизнь описать Льва Толстого не хватит.

Глаза его вновь стали заволакиваться. Я подумал — опять припадок, усадил. Он продолжал доставать по монетке.

Набрали шесть с мелочью. Вернее, набрали одной мелочью шесть с копейками.

— Больше нету, — сказал нищий.

У меня было три рубля. Обычно жена дает рубль на обед, а сегодня нужно было купить дочери набор для урока труда.

«Бог с ним!» — подумал я. Жена, конечно, расстроится, да и дочь обидится, но зато доброе дело, пусть за него им будет лучше.

— Ладно, — сказал я и решительно пошел к седьмой кассе.

Когда я, досыта натерпевшись злости от очереди, накрасневшись от молоденькой кассирши, которая пересчитывала мелочь, получив билет, вернулся к нищему, его... не было. Не было нигде. Он сбежал.

Большое спасибо!

Самое плохое, что этот вымогатель мог подумать, что я у него взял деньги не на билет, а себе. Он же по себе судил. Ведь те времена, о которых я вспомнил, нечего идеализировать. И тогда бывали сытые нищие. У них, например, была такая забава. Играли в карты на какую-то деревню. То есть проигравший должен был обойти всю деревню и собранные куски отдать.

Какая он все же скотина. Но, с другой стороны, ну догоню я его, возьму за шкирку, да те же сердобольные гражда́не сочтут меня хулиганом. И вообще, чего ради я связывался? Шел за ним? Получилось, что подсматривал, как он в переходе переставал трястись. Это его кулисы, а за кулисы не надо ходить. Да и легкий ли хлеб? — походи-ка по электричкам.

Хотя, конечно, обидно, вместе с пятаками убывает и без того невеликая сострадательность. Да раз, да другой,

да третий, чего же останется, когда надо будет помочь по-настоящему.

И опять я невольно вспомнил об Ане.

Когда я рассказывал знакомым об этом нищем, почти все говорили, что видели тех или иных вымогателей. Одна женщина даже в метро видела нищенку с девочкой. Девочка была с погремушкой и трясла ее около пассажиров, обращая на себя внимание.

А «своего» нищего, жизнь которого описать Льва Толстого не хватит, я встретил. И тогда, когда он получил жестокий урок. Все в той же электричке, все так же дергаясь, он продвигался и громче прежнего пел: «Болять мои раны, болять мои раны, болять мои раны тяжело. А немец ударил и пулею ранил, и пулею ранил глубоко...» — свирепо скрежетал зубами и грозно говорил: «Подайте пострадавшему за ваше безоблачное небо!»

И вдруг раздался голос, услышанный всеми:

— Возьми сам.

Это сказал мужчина. Крупный, в годах. Он казался очень широкоплечим оттого, что у него не было обеих рук.

— Возьми сам, — повторил мужчина и подставил нищему карман пиджака.

И нищий ушел.

Закрытое письмо

Ни разу в жизни я не вставал на коньки, но лыжи — душа моя. В местах, откуда я родом, младенцы из родильного дома убегают сами. На лыжах.

Среди нас, мальчишек, жила легенда о необыкновенном лыжнике. Он был из нашего села и бегал на лыжах с такой скоростью, что деревянная лопата, привязанная к ремню, поднималась и летела вслед, не касаясь снега. Мы точно знали, где он сейчас, — его выкрали специальные шпионы, увезли в Америку, загипнотизировали, во сне научили своему языку, и сейчас он выступает за команду Америки. Вот если бы увидеть его, он бы сразу понял обман и вернулся бы из-за «железного занавеса». Но только надо, чтоб увидели его именно мы, кто бы еще сказал ему названия: Красная гора, Малахова гора,

Волчьи лога, как раз те, где пролетал он над сверкающим снегом, и те, где бегаем мы.

Привычка к лыжам была иногда из необходимости. Инвалид войны Кашин сделал себе для зимы коляску на полозьях и толкался палками. Мы бегали за ним, но недолго, он выпил, стал звать нас на штурм рейхстага и поехал к райисполкому. Что он там кричал, не помню, нас расхватали матери. «Не лезь!» — сказала мне мама, закрепляя запрет подзатыльником. Вскоре инвалид Кашин куда-то исчез. А в нашу, мальчишескую, компанию пристала девчонка, дочь Кашина, Галька. Мы спрашивали ее об отце, она храбрилась и говорила словами матери, что язык довел и ордена не спасли.

Зимой физкультура в школе не преподавалась. Было глупо учить нас ходить двухшажным, одношажным, попеременным или перекидным способом, все знали их наизусть, в основном изобретали свои. Я, например, бегал странным, неучтенным способом — пока левой рукой отталкивался один раз, правая успевала обернуть палку и отпихнуться два раза. Зимой наш физкультурник Николай Павлович (прозвище его было Колька Палкин) ставил всем пятерки. Учеников, не выполняющих нормативы хотя бы третьего юношеского разряда, за людей не считали. В каждом классе пять-шесть человек ходили по второму, два-три по первому и даже были бегавшие пятерку и десятку по норме мастеров. Но это было известно только нам, ведь чтобы официально стать мастером спорта, нужно участвовать, как минимум, в республиканских соревнованиях. Наше село было так далеко даже от областного города, что и до него-то нам было не добраться. Даже на лыжах.

Но уже зато соревнования по лыжному спорту в школе были непрерывные, не только в воскресенья, но и в будни; внутри класса, по параллелям, по годам, между школами своего района, соревнования военкомата — приписные подростки, допризывники, призывники. Соревнования на значки БГТО и ГТО, соревнования на значки БГСО и ГСО в зимних условиях, и любое из этих соревнований было радостью. Все село приходило к школе. Наверное, я тогда весь голос выкричал, болел за своих. Мы бежали навстречу лыжникам по целине: ступить на лыжню считалось святотатством. После соревнований награждали Почетными грамотами. Грамоты выделял райвоенкомат. На них вверху были профили Ленина и Сталина и слова: «За нашу Советскую Родину».

Раз в жизни и меня выдвинули на общешкольные соревнования.

Это было в конце февраля. Причем выдвинули не в запасные, не заткнули мной дыру, нет, я был в основном списке. На три километра.

— Только со старта уйди по-людски и перед финишем, понял? — сказал Колька Палкин. — А то с твоей иноходью все со смеха передохнут.

Выдал мне лыжи с ботинками.

Оставшуюся неделю я тренировался, засекая сам себе время по отцовским карманным часам.

Прошел последний день зимы. Отметелило. Наступил март. Ожидание пятого числа было томительным. Как раз на пятое были назначены соревнования школы, а девятого, в воскресенье, районные. Вся наша большая семья жила в напряжении. Лучшие куски мама подкладывала мне.

В газетах со второго марта начали печатать сообщения о болезни Сталина. Передавали по нескольку раз в день по радио. В конце сообщения перечисляли лечащих врачей, список замыкал доцент Иванов-Незнамов. Никто и мысли не допускал, что Сталин умрет, я только одного боялся, что соревнования отменят. Утром пятого марта я встал вместе с мамой, еще было темно, и горела керосиновая лампа. Я натирал лыжи, мама ушла доить корову. Вдруг она вернулась, не закрыла за собой дверь и сказала:

— Умер.

Все проснулись и не знали, что делать. Включили радио — черную картонную тарелку. По радио шла траурная музыка и все время передавали медицинское заключение о кровоизлиянии в мозг и параличе левой стороны. Пришла соседка, сказала, что Сталина отравили врачи. Мама и она тихо говорили, что́ теперь будет, особенно думали, кто заступит его место.

Я надел лыжные ботинки и пошел в школу. Соревнований, конечно, не было, хотя старт и финиш были обозначены и лыжня накануне провешена еловыми ветками. Очень жалко было сдавать лыжи с ботинками, ведь их давали только на соревнования, а так бегали в валенках, с веревочными креплениями. Я пришел к старту, воображая, будто слышу команду: «Пошел!» — посмотрел на часы отца, запомнил время и побежал. Вначале я думал просто сделать километровку и вернуться, но когда проскочил поворот, скорость все росла, дыхание

было ровным, то с радостью понял, что бегу в полную ликующую силу. День, бывший с утра пасмурным, разгулялся, снега сверкали. Большая ветка стояла на повороте на три километра, я проскочил ее и пошел на пять. И поворот на пять прошел. Лыжня обозначалась похуже, мало ходили на десять, только призывники. Я стал уставать, но не сдавался, гнал себя. Тем более я боялся Кольку Палкина, вдруг он хватится меня, а я бегаю, изнашиваю казенные крепления, да еще в такой день.

Что я знал о Сталине? Он — вождь всех времен и народов. О нем мы учили стихи: Сталин не спит в Кремле, думает о нас, утром он закуривает свою трубку и выпускает колечко дыма. Это колечко видит летчик и думает о Сталине, проплывает колечко над пастухом, тот тоже понимает, что Сталин закурил и начал рабочий день. Мы пели много песен: «Артиллеристы, Сталин дал приказ...», «О Сталине мудром, родном и любимом прекрасные песни слагает народ», «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем»... На вечерах строили гимнастические пирамиды, самый верхний кричал: «Товарищу Сталину...», а мы, стоящие на плечах и спинах друг у друга, трижды кричали: «Ура, ура, ура!»

Было и неприятное воспоминание. Совсем из детства. В сорок девятом году в декабре Сталину праздновали семьдесят лет. Портреты его обычно печатались в каждой газете и почти каждый день, а тут стали выходить форматом в целые газетные полосы. Учитель сказал нам, чтоб мы выпустили к юбилею вождя стенгазету. Мы вырезали из газеты портрет. Я решил его украсить — обвел красной рамкой, щеки подрумянил, усы зачернил и приступил к волосам. Тут меня и застиг учитель. Оставил после уроков и долго стращал тюрьмой.

«Ты бы еще очки нарисовал, — говорил он, — на, рисуй. — Он протягивал карандаш. — Рисуй — и пойдем отдадим кому следует». Когда я наконец понял, что я преступник, учитель велел сжечь портрет при нем. «Возьми спички. Зажги сам. Подойди к печке». Портрет быстро сгорел. «Разбей пепел. Иди домой и никому никогда не рассказывай».

...На одном из подъемов прихватило дыхание и сжало в боку. Но потом пошел спуск, я катился и глубоко вдыхал, задерживая выдох, потом резко сгибался. Не выдержал и посмотрел на часы и не поверил: пробежал больше половины, а время будто не шло. Тут уж я привалег. Я и забыл, что никто не ждет на финише, некому за-

сечь время, но бежал как одержимый. Прежнее чувство тревоги также подгоняло. Озираясь на окна школы, я проскочил финиш.

Нет, ничего в школе не случилось. Только я не осмелился сказать, что бежал на десятку и пробежал быстро. Почему-то казалось, что это нехорошо — умер вождь, а я ставлю рекорды.

Сдал лыжи и ботинки Кольке Палкину. Он был не один в спортзале. Лаборант учителя физики, другой Николай, был с ним и торопливо спрятал что-то звякнувшее. Палкин ничего не сказал, хотя видел, что вид у меня загнанный.

Занятий в тот день не было.

Через три дня, девятого, были похороны. Накануне в школе вязали еловые гирлянды. Мы без конца гоняли в лес за лапником. Шел крупный снег, и было полное ощущение запахов Нового года. Если бы только еловые гирлянды не перевивали черными лентами. Гирляндами обвешивали спортзал. Утром было два урока. На литературе учительница вызвала меня, задания я не знал. Я сослался на вчерашнюю занятость трауром и сказал, что мы думали, что урока не будет. «Как не стыдно, — сказала она. — В такой день!.. Ты вообще хоть что-нибудь знаешь?» — «Знаю».— «Что?» — «Стихотворение — «Трубка Сталина». Читать?» — «Не надо. А еще?» — «А еще стихи Суркова «Сталин — наша слава боевая». Нет, эти стихи тоже не подходили к пятому марта. Я подумал и объявил: «Шведов. «Лети в Москву, соловушка, на зори незакатные, привет от нас, колхозников, снеси в столицу Сталину». Учительница снова оборвала меня, повторила: «В такой день!..» — и поставила четверку.

Без десяти двенадцать по классам пробежали и велели всем идти на общее построение. Я задержался, так как просил учительницу поставить оценку в дневник, — кто бы мне поверил, что я получил четверку. Помчался в спортзал, как раз Колька Палкин и Коля-лаборант втаскивали туда пожарную сирену. Я стал помогать. Приближался директор с черной повязкой, с ним заведующий роно. По радио шла трансляция с Красной площади. У нас время было раньше московского на час. Все замерли слушая. И стояли неподвижно. Прошли все речи, гроб с телом установили в Мавзолее, и наступил как раз полдень по московскому времени. На пять минут включались все гудки фабрик и заводов, так же, как в день похорон Ленина. А я как стоял около сирены, так и стоял, и вот

ровно в час сирену включили. И она выла пять минут. Я оглох.

Оглох я сильно. Потом постепенно стал слышать, но как-то заторможенно. Как-то запоздало услышал, что в Москве при похоронах были большие жертвы, люди давили друг друга, все хотели увидеть Сталина в гробу. Так же заторможенно воспринял я летом известие об аресте Берии. Мы шли с лугов через поле высокой ржи, и нам попался навстречу знакомый и рассказал. Мы пошли дальше, особенно веря в то, что Берия — американский шпион. Около школы, где летом был пионерский лагерь, валялись портреты Берии и уже бегала беспризорная Жучка, откликаясь на кличку Берия. И уже пели частушку: «Что наделал Берия, вышел из доверия. А товарищ Маленков надавал ему пинков».

Осенью прошла амнистия, названная почему-то ворошиловской. Была всеобщая радость, так как сидело много родных и знакомых. Но вернулось в село только несколько человек, а в окрестностях появились выпущенные уголовники. Инвалид Кашин не вернулся.

И еще три года прошло. Я уже вступил в комсомол. Уже вовсю влюблялся, писал стихи, но стеснялся отдавать. Однажды я выступил на общешкольном собрании и подверг суровой критике комитет ВЛКСМ. «Когда же мы будем говорить о деле, о нашей школе, наших делах, видимо, никогда? Все слышали отчетный доклад? Вряд ли. Половина притворялась, что слушает. Да и половина ли? Не больше ли? Многие ученики закончили тракторный и комбайновый кружки, работали самостоятельно, почему молчим об этом, неужели вся наша работа только в том, чтобы собирать подписи за мир, это могут и пионеры, наше дело — именно эта борьба. По-латыни говорят: «Хочешь мира — готовься к войне». По-русски — парабеллум. Почему нам не доверяют взрослые винтовки и автоматы, вот что должно нас волновать, а мы далеки от этих вопросов. Почему? Да потому, что сплошные трафареты, лозунги; партия, Ленин — это мы и в газете прочтем, надо брать быка за рога...»

Взять быка за рога мне не дали. Выступил директор школы, сказавший, что я допустил «аполитичную ошибку». Незнакомое слово увеличило мою гордость. Директор предложил комитету ВЛКСМ взять меня под свой контроль. А он лично и коллектив педсовета подумает, что со мной делать.

На уроки меня на следующий день не пустили. Вме-

сто уроков я ходил стоять в кабинет директора, утыкался в корешки многотомников. «И до чего ты додумался? — спрашивал директор. Я отмалчивался. — Ну, постой».

На четвертый день я пришел к директорскому кабинету, как на работу, — закрыто. Прождал час, директора нет, пошел проситься на урок — нет разрешения. Остаток дня я болтался по коридорам, гремел цепью у питьевого бачка, помогал уборщицам топить печи и чистить ламповые стекла для второй смены. Последним уроком была история, я любил ее, стоял под дверью слушая. Учительница Маргарита Михайловна когда рассказывала, то входила в такой раж, что ломала указки, особенно говоря о войнах. Так как вся история состояла из войн, то указок требовалось много. Особенно много указок переломала Маргарита, говоря про десять сталинских ударов, благодаря которым мы выиграли последнюю войну.

Я спрашивал Гальку, в каком из сталинских ударов отец потерял ноги, но она не знала. «Напиши, спроси». — «Ты соображаешь? Куда я напишу?»

Так как я болтался без дела, ожидая наказания за аполитичность, меня прибрал к рукам Коля-лаборант. Приближались районные соревнования. Впервые они радиофицировались. Я помогал Коле тянуть провода, лазил на столб и нарочно долго сидел наверху. Зависть ко мне была общешкольная.

Колька Палкин в команду лыжников меня не записал, остерегся, но мне было даже лучше: Коля-лаборант окончательно взял меня в помощники. Аппаратура стояла в физкабинете. Перед окнами был старт и финиш. Бессмертную «Рио-Риту» включал я, когда мне в окно кричали, что финиширует кто-то из нашей школы, объявлял результаты. Наши побежали. Я был в восторге и начинал допускать такие вольности, например: «Горячо поздравим наших товарищей!» Или: «Легенда о летающем лыжнике обретает реальность!» Или: «Мы ожидаем красных маек над снегами, как Ассоль ждала красных парусов!» Я был начитанным юношей. Мою самодеятельность не прерывали, я видел в окно, что директор доволен — наши побеждали. Они были в красных футболках поверх курток. Оставался финиш «десяток». Напряжение росло. Мальчишки лезли на деревья, бежали навстречу. Я держал адаптер над крутящейся «Рио-Ритой». Вдруг в окно закричали, что идет зеленый, еще зеленый, а нашего не видно. Отчаяние было такое, что

я неожиданно для себя переключил технику на микрофон и закричал то, что первым выскочило:

— Господа! Седлайте коней: в Париже революция!

Эти царские слова, сохраненные историей, я недавно прочел в книге.

Примчался в физкабинет директор. Опережая его, влетел Колька Палкин, вырвал с корнем микрофон и протянул его директору. Я думал, со мной расправятся тут же. Директор схватил меня за шиворот и ткнул лицом в аппаратуру:

— Читай!

Я и сам знал, что там написано: «Осторожно, враг подслушивает». Мне приказали завтра явиться на общее построение.

Общее построение было делом исключительным. Я думал так: ругань долго не выдержу, поэтому надо прийти в обрез. Сумку не взял, так как был уверен, что прямо с построения меня заберут в тюрьму. Больше чем угодно было тогда рассказов, как забирали за пустяк, за анекдот, а тут аполитичное выступление на собрании и еще такая антисоветская выходка в воскресенье. То, что меня накажут, я не сомневался. Но как? Перед всеми я выдержу. А если поведут в милицию и будут бить как врага народа? Это было страшно. Я решил тогда броситься на того, кто будет бить, чтоб меня сразу убили. Во всех кинофильмах о наших разведчиках, попадающих в безвыходное положение, они так и поступали: не желая выдать тайны, кидались на врага, вызывая смерть. Тайны у меня не было, но положение было безвыходным. А если узнают, что мы собираемся у костра на берегу Волчьего лога, что я пишу стихи и читал их друзьям? Друзья оборжали меня, но сейчас это казалось сходкой, подпольным собранием. Я не имел права выдать друзей.

Школа стояла в каре, я вошел в него и остановился, глядя в землю. Палкин скомандовал смирно, доложил директору. Надо было поднять глаза — я не мог. Что говорил директор, я не различал. Легко представить, что он мог говорить. Многие выскочили на построение без телогреек и зябли, и я чувствовал, что они злятся на меня. Звякнул, но не затрезвонил звонок. Я поднял глаза — на крыльцо вышла уборщица и стояла с поднятым звонком. Подскочил Колька Палкин, снял с меня шапку и сунул в руки. Я стал теребить серое полусукно. Уловил я еще и то, что обвинялся не только в аполитичности, но и в моральном разложении. Оказывается, кто-то

выдал, что я писал стихи о любви. «А разве это допустимо в школе?» — кричал директор. Школе еще раз скомандовали смирно, хотя команды вольно вообще не давали, а зачитали приказ — я отчислялся. Комсомольской организации предлагалось исключить меня из своих рядов. Последнее было и обидным и утешительным. Я так рвался в комсомол, еле-еле дотерпел до четырнадцати лет, но было и хорошее — значит, не сразу заберут, надо же вначале исключить. Я решил не отдавать билет, приготовив фразу из «Поднятой целины»: «Вы мне его не давали».

В Москве в это время шел XX партийный съезд. В один из дней было сказано, что с докладом выступил Хрущев, но доклад не был напечатан.

Близились последние морозы. Школьники их всегда ждали и утром бегали смотреть на пожарную вышку: если на ней вывешивали флаг, то в этот день занятия отменялись, значит, температура ниже тридцати пяти, боялись поморозить учеников. Но именно в эти дни все были на улице и никто не обмораживался, а в другие, более теплые дни обмораживались сплошь и рядом. Повторяя обычный путь исключаемых из школы, я стал курить и нарочно старался попасть на глаза учителям. Ждал вызова. Подстерегал Гальку, но она все время ходила не одна, и я притворялся, что иду по делам. Мне очень многое надо было сказать ей, что стихи были для нее. Какой же это разврат? Галька же может сказать, что я ни с кем не целовался, я же никого, кроме нее, не любил. А потом, что это за свинство друзей, заложивших меня?

Однажды я подстерег Гальку одну, около ее дома. Она шарахнулась от меня.

Разыскал меня Коля-лаборант и привел помогать делать проводку.

Толстые белые провода «гупер» плохо обматывались вокруг хрупких изоляторов. Работали мы по вечерам, при керосиновой лампе. Школу должны были подключить к комхозовской «нефтянке» — старой, пять раз списанной электростанции.

Были в селе и другие электростанции, больше десятка. Мощные дизели были в леспромхозе и сплавной конторе, окна их домов светились ярче всех. К ним же были подключены квартиры работников райкома и райисполкома. Лесхоз, больница, химлесхоз, потребсоюз, сельпо — все имели свои электростанции, но все так себе.

В клубе был свой двигатель, от машины ЗИС-5. Мы бегали смотреть, как работает «нефтянка», как хлопает на сшивах допотопный ремень. Лампочки еле-еле светились, иногда только тлела красноватая нить накала. Так что по-прежнему занимались при керосиновых лампах.

Пришли долгожданные холода, и занятия прекратились. В школе было пусто, только в учительской сидела новая учительница литературы и проверяла тетради. Она зябла и натягивала шаль на горло. Когда я ввернул лампочку и лампочка слегка осветила сама себя, учительница вдруг вскочила, взяла патрон в левую руку, правой сильно хлопнула по лампочке, лампочка засияла. Так я тоже умел, но это был запрещенный способ — укорачивать нить накаливания, чтоб светилось сильнее, но и срок жизни лампочки сокращался.

— «Коль гореть, так уж гореть сгорая», — сказала учительница, кутаясь обратно в шаль. — А ты, значит, кончил курс наук?

— Да вот, должны из комсомола исключить.

— И ты заранее хочешь осветить этот момент своей истории?

— А я знаю, что это из Есенина вы читали.

— Да уж пора бы и всем знать.

— А правда, — спросил я, — Есенин был запрещенный?.. Почему?

— По кочану, — отшутилась она и строго сказала: — Мог бы, между прочим, и написать сочинение, мог бы и порадоваться вместе со мной, что можно писать на вольную тему: «За что я люблю свою Отчизну». Эпиграфы подсказываю. Сразу два: «Люблю Отчизну я, но странною любовью» и второй: «Кто живет без печали и гнева, тот не любит Отчизны своей». Напишешь? Ты ж сам стихи пишешь? Прочти. Я отвернулась.

Значит, уже и тут друзья выдали. Как я ни отпирался, учительница вынудила. Глядя в пол, я прочел стихотворение. Оно заканчивалось так: «Но я любил тебя. И верил, что и меня ты тоже ждешь, когда ногами поле мерил и убирал комбайном рожь». И объяснил:

— Я летом на комбайне работал.

— Я поняла, — сказала учительница. — А предмет любви получил эти стихи?

— Это как бы не человек, а муза, — объяснил я.

— Я была бы рада получить такие стихи. Посвяти их мне.

— Пожалуйста, — обрадовался я. — Только их отобрали.

— А помнишь, — заметила она, — и еще спрашиваешь, как сохранился Есенин.

Лампочка перегорела. Учительница пошла домой, я нес тетради. Она жила рядом, и я не успел осмелиться сказать ей, что мой любимый предмет — литература. Я постепенно изменял истории.

Назавтра с утра тоже висел флаг над пожарной вышкой, неподвижные прозрачные столбы дымного тепла стояли над домами. Солнце вышло, охраняемое морозным кольцом.

До обеда я сидел дома, записывал на память свои стихи. Но казалось нехорошим отдать их учительнице, ведь они были посвящены никакой не музе, а Гальке.

После обеда за мной из школы прибежала уборщица. «Срочно приказали». Все сжалось во мне, ведь не учатся. Мама заставила меня выпить молока. Я бросил в печку стихи и оделся.

Оказалось, что было велено провести свет в спортзал. Мы с Колей-лаборантом наспех тянули «гупер», другие вызванные старшеклассники с Колькой Палкиным таскали скамейки. Вполголоса говорили, что будут читать письмо партийного съезда.

К семи, когда еще было немного светло, собрались комсомольцы-десятиклассники и все учителя. Я уже не был учеником, но был комсомольцем и посчитал, что имею право.

Колька Палкин безжалостно вышибал любопытных из девятых и восьмых классов. Он хотел выпереть и меня, но Коля-лаборант сказал, что я помогаю.

Пришел директор, с ним бывший завроно, сейчас инструктор райкома. Ученики встали. Учителя встали тоже, переглядываясь.

Инструктор достал из портфеля и передал директору большой зеленый конверт.

— Включите свет, — сказал директор.

Свет зажегся и ярко осветил белую с изнанки бумагу. Это Коля не пожалел, ввернул над столом стоваттку из школьного проектора.

— Проверено? Все, кому положено? — спросил директор.

— Так точно! — доложил Колька Палкин, вставший в дверях.

Началось чтение письма. Читал директор. Инструктор

сидел неподвижно и так просидел все время, а письмо было длинным. Письмо было о культе личности Сталина. Тишина в зале стояла затаенная. Письмо оглушило нас, и это нас, еле-еле захвативших Сталина при жизни и то понимающих, что происходит что-то огромное, то что же испытывали старшие?

Какой-то священный ужас исходил и от исторички, навытяжку стоял Палкин, часто мигал, но не шевелился Коля-лаборант, литераторша все тянула к горлу шерстяную шаль и обводила всех взглядом.

В середине лопнула стоваттка. Она давно уже потрескивала. Вначале ослепило чернотой, потом проявились переплеты окон и деревянная решетка, защищающая стекла от мячей. Оказалось, что уже поздно, но за окнами луна.

Никто не шевелился. Остальные лампы светились легким красноватым сиянием.

Коля-лаборант пробрался к сцене, вывернул цоколь лампы, ввернул запасную, но очень слабую. Директор поднял к ней письмо, но видно было плохо.

— Надо встряхнуть! — услышал я литераторшу. — Иди, — сказала она мне.

— Можно? — спросил я директора.

Директор поглядел на инструктора. Тот сидел неподвижно. Директор кивнул. Я взялся за горячий патрон, ударил по лампочке ладонью. Плохо. В зале зашевелились.

— Мы этого не разрешаем, — объяснил директор вполголоса инструктору. — Ну сейчас, понимаете?

Тот сидел окаменев.

Я ударил еще раз и еще и добился — стряхнул вольфрамовые волоски с крючков, а потом соединил напрямую.

— На пять минут, — сказал кто-то из наших.

И вот эта заминка, это отклонение от заколдованной тишины, в которой звучал только пересохший хриплый голос директора — и никто не осмелился сходить за водой, — это напряжение исчезло. В зале зашевелились, стало просторнее. Побежали за водой, слышно было, как гремела цепь у бачка.

Остаток письма слушали свободнее, легче. Кто-то из учителей даже прошептал, и были всем слышны слова: «А мы-то, а мы-то...»

Лампочка не перегорела, но погасла, погасли и остальные. Не потянула «нефтянка». Зажгли керосиновые лам-

пы, висевшие на вбитых в стены гвоздях. Самую яркую — молнию — держал сзади директора Колька Палкин. Держал, а сам смотрел в сторону, чтоб видно было, что не подглядывает.

Письмо дочитали. Инструктор встал. В зале тоже встали. Письмо инструктор положил в портфель и первый вышел. За ним директор.

— Завтра в школу, — сказал он, коснувшись моего плеча.

На улице была такая луна, такая у нее была начищенная радостная глупая морда, что и мороза не чувствовалось. Началась возня, побежали на Малахову гору, стащили по пути чьи-то сани.

— Ты завтра в школу придешь, да? — спросила меня Галька.

— А ты думала, в тюрьму?

Сани неслись все быстрее, и все быстрее неслась над лесом ослепительная луна.

— А правда, ты мне стихи писал? — тихо спросила Галька.

Ужас, сковавший историчку, оправдался через месяц. Историю исключили из числа предметов, сдаваемых на аттестат зрелости. Мы учились по истории, искаженной в угоду одной личности, а новой истории не было написано, хотя было сообщено, что для написания новой истории утвержден новый авторский коллектив.

В тот год впервые был праздник проводов русской зимы и был массовый забег на лыжах. Коля-лаборант был пьян и включал «Рио-Риту» на полную мощность. Меня хоть и восстановили в школе, но к радио не допустили. И хорошо — был массовый забег, раннее морозное утро, и можно было бежать по насту даже без лыж, наст держал. Я вырвался вперед, и мне казалось, что, привяжи я к ремню деревянную лопату, она бы полетела.

Потом меня обошли.

А про лыжника мы еще года три-четыре говорили, потом поняли — даже если б его и вернуть, он уже сейчас ведь устарел, наверное. Да и где записано, что американцы чемпионы, надо же для этого собрать мировые состязания.

Будем готовиться.

Петр и Павел

— Я только что вернулся с заседания суда! — объявляет он. — Там судили деточек, которые убили свою мать. Мать — это поэзия, а деточки — имажинисты.

Его имя Павел. Как ни зайдешь, он всегда торчит в пивной. Но, в отличие от другого завсегдатая, Петра, Павел пьет на свои. Если встретиться с ним глазами, он радуется и повышает голос:

— Имажинизм от слова имажио — выражаю. Возник в нашем веке как протест официальному правительству.

В пивной привыкли к нему и знают, что он обязательно начнет читать Есенина. Точно.

— «И все, что думаю, я расскажу. Я расскажу в письме ответном». Ответном! — громко говорит Павел.

— Ты у меня доорешь, — осекает его буфетчица.

— Мария! — высокомерно отвечает Павел. — Ты ни разу не была на Ваганьковском. Как ты можешь жить? Как ты живешь?! Как ей не стыдно жить? — спрашивает он, встретившись взглядом.

— Пей, — говорю я.

— «Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?» — Он немного отпивает, мучительно проглатывает. Так морщится, будто его заставляют пить насильно. — Вы были на могиле Сережи?

Если б он так не орал, с ним можно б было поговорить спокойно. Ничего не выйдет: от того, что его не слушают, он говорит громко и сам перестал слышать нормальную речь. Но когда он читает Есенина, многие замолкают.

— Я служил на флотах! — объявляет он. — Баренцево море — шесть месяцев! Остальное Балтийское и Белое!

— Все на «бэ», — говорят из очереди.

— Идет снежный заряд, нечем дышать! — кричит Павел. — Когда меня провожали, оркестр заиграл! «Прощение славянки»!

— Анна! — кричит буфетчица Мария на сборщицу кружек. — Заснула?

Подходит Петр. Он всегда выбрит, ходит с магнитофоном. Сплескивает из кружки Павла себе на пальцы. «Рыбу ел», — объясняет он. Вытирает пальцы чистым

носовым платком. Берется за магнитофон. Так как номер отработан, то публика оживляется. Спорят: будет или нет Павел плясать. На магнитофоне записано «Яблочко». Павел не хочет, но его подзуживают.

— «Яблочко»! Какой же ты моряк?

— Да не может он!

— Я не могу внезапно использовать душу.

— Нич-чего!

— Хотите, я вам почитаю немного стихи про кабацкую Русь?

— Пляши!

Павел не пляшет. Анна, сборщица кружек, приносит из подсобки балалайку. Петр начинает тенькать струнами, помогая магнитофону, и доводит Павла до пляски. Павел отчаянно топает, начинает с выходкой, но пляшет медленно. Скоро на него никто не смотрит, только Петр и те, с кем он поспорил на пару пива, что Павел продержится полчаса.

— Никого не трогай — и тебя не тронут, верно? — спрашивает меня вечно пьяненькая Анна.

— Верно.

— То-то. — Она довольна, что с нею поговорили. — Кружечку можно взять? Спасибо. — Она уносит кружку.

Не доплясав срока, Павел останавливается.

— Проиграл! — кричат Петру.

— Так вы спорили?! — надменно спрашивает Павел. — На меня. Уже трижды пропел петух? Не спорьте, не унижайтесь корыстью, я пошлю на ваш столик «золотого как небо АИ». Человек! Напоите коней!

— Ставь! — ловит его на слове Петр. — Все слышали? Ставь, ставь.

— Петька, не издевайся над человеком, в милицию сдам, — кричит буфетчица Мария.

— Какая статья? — спрашивает Петр.

— Там найдут статью.

Сквозь стиснутые зубы Павел тянет из кружки.

— Вот так же, — громко говорит он, — так же потешал вас Сережа. И небеса молчали!.. Почему? Небесам в то время было не до него. «С того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий». Петька! Музыку!

Петр ударяет по балалайке. Павел подпирается в бока, высоко дергает плечом и поет похабную частушку. Потом сникает и долго сидит на подоконнике.

Анна возвращается.

— А еще говорят: часы сняли, перстень, кольцо. А ты не носи! И нечего снимать будет. Правильно я говорю?

— Правильно.

— А правда, что алюминий принимают? — спрашивает Анна. — Я не понимаю. Алюминий идет на самолеты? Да? Да? Значит, не врали. — И она объясняет: — Мне посоветовали сдавать пробки от бутылок. Я каждый день не меньше ведра выношу одних пробок. Буду сдавать. И мне хорошо, и вообще польза. Правильно?

Петр перекручивает пленку в магнитофоне на старое место, включает. Павла подталкивают. Он поднимает голову.

Огромная свалка на окраине села Никольского. Везут на нее... чего только не везут на нее. И дымит она день и ночь, год за годом. Дымит главным образом за счет отходов мебельных фабрик. Эти отходы жители Никольского пускают на дрова, они по договоренности с водителями самосвалов приворачивают машины к своим заборам. Отходы сортируют. Мелочь в печку, а из того, что покрупнее, возводят курятники и сарайчики. А так как отходы разнокалиберные, то архитектура сарайчиков получается затейливой.

Строит сарайчики Иван, по прозвищу Копченый. У кого он работает, у того и живет. Собственно, не живет, а только ночует. А так все время на улице, от того и почернел. Прозвище у него достаточно обидное, но Иван не обижается.

— Это что, — говорит он, — меня разве так обзывали.

— А как?

— А так. Говорили: «Машек да Иванов как грибов поганых».

Он приходит ко мне с утра. Вид у него... да какой там вид, никакого вида, при смерти человек. Я знаю, он пришел спастись «Тройным» одеколоном. Как он его пьет, я не буду описывать. Он его бережет, тратит по два-три наперстка. Выпьет, согнется и ждет. Вот дождался, ожил. Разогнулся. Теперь покурить и спать. Спит он одетым на моей солдатской койке. Мечется, бормочет. Просы-

пается быстро, лежит лицом к стене, водит черным пальцем по узорам желтых обоев и рассказывает:

— За двести подрядился. Мне одному неделю бы гудеть. Но они же знают, что я один не могу. За день аванс прокочегарили.

Щупает карман. Там чего-то есть. Садится на кровати, курит.

— Пойду похмелюсь, да к Тамарке. Обещал.

— Ты уж сегодня никуда не ходи, отлежись. Чаю выпей.

— Чай! С него же тошнит с похмелья. Нет, надо идти. Летом самый заработок.

Назавтра с утра пораньше он опять реанимируется «Тройным» одеколоном.

— Остальное прогудел. С хозяевами. Да еще оставалось в бутылке, бабка на лекарство внучке забрала. У них внучку клопы изгрызли, а думали аллергия. А это клопы. Они кусаются, она в коляске чешется, исчесалась в кровь. Вот как нынешние родители спят.

— Да неужели клопы есть?

— О! с клеща!.. Да-а, посидели. Слушай, ты как-нибудь достань магнитофон, я тебе редких песен спою. Вчера много вспомнил, весь вечер пел.

— Спой без магнитофона.

Иван долго готовится, но у него не выходит.

— Я тебе вначале стих скажу. Только весь не помню. Вот: «Как труп, давно уже смердит душа, пропавшая в вине. И смерть в глаза мои глядит, и руки тянутся ко мне». В смысле ее руки тянутся ко мне.

— Ты сам к ней тянешься.

— Еще бы не тянуться, — отвечает Иван. — Зачем жить-то мне? Меня уже ничто не вылечит: и добровольно лечился, и принудительно. Только того и добился, что человеком перестали считать.

Он сидит на койке и бормочет:

— «Милая рóдная мама... милая рóдная мама, о! Милая рóдная мама, зачем ты так рано ушла? Ты с жизнью простилася рано, отца подлеца не нашла...» Тут пропуск. «А там, в роскошном замке, с женою живет прокурор. Судил он воров беспощадно, не зная, что сын его — вор. В суде, на скамье подсудимых, молоденький мальчик сидел и голубыми глазами на прокурора глядел. Вот кончилась речь прокурора, преступнику слово дано. «Судите, граждане судьи, лицо перед вами мое»... — Иван долго думает: — В общем, его присудили к рас-

стрелу. А в конце: «И над двойною могилой лил слезы судья-прокурор».

— Почему над двойною?

— У него же не родная жена, первая жена была возлюбленной, он ее бросил, сын стал воровать, а отец стал прокурором. И отец дал ему расстрел. А когда узнал, что это был сын, то и получается, что над двойною могилой лил слезы отец-прокурор. Жена-то до суда не дожила. Я этих песен знаю полную коробочку.

Он ложится лицом к стене и долго молчит. Я думаю, что заснул, — нет. Говорит неожиданно:

— Вчера знаешь как плакал. Отчего-то слезы лились, и все. Подумал про матерь, слезы полились. Минут пятнадцать, наверное. Проснулся — вся телогрейка мокрая. Мать вспомнил. И спокойно потом уснул. Это я по ней тосковал. А вот эту песню знаешь? «Вмиг просверлили четыре отверстия против стального замка. Дверцы открылися с грохотом, добыча была велика. Денег досталось немало, по двадцать пять тысяч рублей. Я дал тебе слово — столицу покинуть в несколько дней. — Дальше Иван вспоминает с трудом: — Ровно в семь тридцать покинул столицу, и даже в окно не взглянул. Поезд помчался на бешеной скорости, а вечером Харьков мелькнул огоньками и скрылся в ночной полутьме... — тут забыл, тут... — одет был прилично — костюм из бостона и серое английское пальто... дальше, дальше: нужно опять воровать, нужно опять опускаться в хмурый и злой Ленинград».

— Ладно, спи, — говорю я. — Я буду тихо сидеть.

— Да я под гром пушек могу спать. Я на крыше товарного вагона пять суток жил и ехал. Тоже ведь, как думаешь, и спать приходилось. А вот эту знаешь: «В одном прекрасном месте, на берегу реки стоял красивый домик...

— ...в нем жили рыбаки». Знаю.

— Да-а. Вчера и ее спели. «Раскинула все карты, боится говорить. — «Тебя жена не любит: семерка треф лежит. А туз пике — могила», — цыганка говорит... да-а, цыганке заплатил, а сам тропой печальной до дому поспешил...»

Вскоре он засыпает, но тут же начинает стонать и метаться во сне. Начинает плакать. Слышать и видеть это невыносимо. Я выхожу из дома и сажусь на лавочке у калитки.

— Размышляете? — приветствует меня подходящий с бетонной дороги мужчина в летней шляпе.

Мы здороваемся. Это тоже Иван. Иван Иванович. Он часто приходит ко мне и старается заинтересовать историей села Никольского. То есть заинтересовывать меня не надо, история интересна. Но Иван Иванович считает, что у меня есть или непременно должны быть такие знакомства среди ученых, чтобы организовать раскопки на окраине села. Как раз недалеко от дымящейся свалки. Там, по его словам, французские могилы.

Никольское — это бывшее село Разореново. Так названо после Наполеонова нашествия. А как называлось до этого — Иван Иванович скоро установит. Так вот, место историческое. Французы тут все сожгли, разорили. Но жители решили: не поддадимся. Французы были изгнаны на Николу, назвали село Никольским, изгоняли Василиса и Герасим, партизаны, описанные в романе «Война и мир». Заложили крестьяне села церковь и освятили ее в честь Рождества Богородицы. А французов, брошенных французами, предали без почестей земле. Место захоронения ученые, которых я обязан найти, должны определить и подтвердить народное предание. Иван Иванович восклицает:

— Живем меж Стромынским шоссе и Владимиркой!

Нынешнее Щелковское шоссе было Стромынским, а Горьковское называлось Владимиркой.

— Картина Левитана, — сообщает Иван Иванович. — Каторжный путь! Историческая трасса!

Из дому выходит Иван. Идет боком. Он считает себя недостойным сидеть рядом с Иваном Ивановичем. Так же считает и Иван Иванович и очень меня осуждает, что я вожу дружбу с Копченым. Все-таки я зову Ивана посидеть. Иван Иванович насмешливо допытывается, когда же Иван мылся последний раз, Иван отмалчивается.

— На работу? — спрашиваю я его.

— Пива поищу, — отвечает он. — Вчера, нет, позавчера, в Балашихе у пивной один мужик за двадцать копеек в кружки брызгал... этим, этим. — Он не может выговорить, и Иван Иванович насмешливо произносит:

— Дихлофосом, что ли?

— Ну! Струей брызнет, кружку дерпешь, и в башке мутно.

— Ужас, — говорю я. — Это ж химия, ведь ты желудок прикончишь.

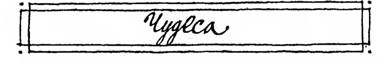
— Уж вы за него не беспокойтесь, — заверяет Иван Иванович. — Это он с виду хилый, а так стальной.

— Это ж какая-то цель жуткая, — не могу я успокоиться, — это прямо как самоуничтожение.

— Да нет, — успокаивает Иван. — Это чтоб пять-шесть кружек не пить, с одной хорошеешь и в пузе не булькает.

Со свалки доносит дымом костра. Привезли новую партию отходов.

Иван встает и уходит от нас.



Зеленый забор вокруг пивного ларька. День, людей еще мало. Под ногами ходят голуби. Мужик в комбинезоне взял полторы кружки, жадно выпил маленькую, вздохнул и закурил.

— Жить захотелось, — говорит он соседям.

— А наши вчера чехам продули, — говорит толстый мужчина. Лицо у него разбухшее, поверх плаща вылез капроновый галстук.

Первому мужику, видно, неохота поддерживать неприятный разговор, но что-то надо ответить.

— Продули, — безлично соглашается он.

Молчат. Третий мужик, низенький, плотный, с поддевкой, замечает:

— Не футбол бы да не хоккей, и говорить бы было не о чем. «Победили!», «Потерпели поражение!» Экие события международной важности.

Умолкает низенький, как и начал, неожиданно. Все молчат, то ли от неловкости за него, то ли нечего возразить.

Один из голубей булькает горлом, шеперит на груди перья и, по-петушиному подшаркивая крылом, начинает обхаживать голубку.

— Брысь! — пугает голубей мужик в комбинезоне. Голуби улетают.

— Божья птица, — осуждает толстый. — Я хоть и не верю, но их уже и по-новому тоже не гнали. Назывался голубь мира. До войны и после войны специально разводили и на демонстрациях выпускали. А в войну

кормить нечем, выпустили. Ловили и варили. — Видно, что толстый еще хочет поговорить, но сбивается.

— О! — оживляется вдруг первый мужик. — Слышь, чего расскажу. Про венок на церкви на Шаболовке.

— Венок? Лавровый? — спрашивает низенький.

— Да не венок! — чешет мужик в затылке. — Не венок. Как это? — он торопливо отхлебывает. — Вот еще венчают, в кино над головой держат. Венец! Венец на кресте. Церковь какого-то расположення.

— Нич-чего не знают! — говорит низенький, резко осматривая всех. — Кин-но! Расположения!

— Не все ли равно? — сердится мужик в комбинезоне. — Не мое дело, могу и ошибиться. Ты меня спроси про подъемный кран, я тебе любой реверс объясню. Я крановщик.

— Ризоположения! — поправляет низенький.

Подошли еще два парня.

— Ну вот, — продолжает крановщик, — тестя хоронил. Занесли гроб, поставили, сдали попу, сами, как полагается, по-рваному, то есть: хрен ли нам тянуть резину — по рублю и к магазину!

Слушатели одобрительно хмыкают.

— Зашли за церковь, причастились, и нам одна старуха — бутылки подбирает — рассказала. Брат и сестра будто с детства росли врозь. Вот время пришло, встретились. А не знают, что родные. Он ей предлагает руку и сердце... и шею.

Рассказчик окончательно завоевывает внимание. Слушают его с интересом, поэтому он позволяет себе медленное прикуривание сигареты.

— Шею! — говорит он, хлопая себя по затылку и подмигивая парням. — Ну, туда-сюда. Венчаться. И только, значит, вокруг аналоя идти... Вокруг аналоя, — повторяет он, глядя на низенького.

— Ври, ври, — примирительно поощряет тот.

— Значит, пошли вокруг аналоя, как венец у него с головы сорвался, крышу пробил и сел на кресте.

Мужик останавливает скептический жест низенького и добавляет:

— Конечно, скажешь, вранье. А верят.

— По одним данным, — говорит низенький, — такой венец означает чашу, куда стекала кровь Христова, по другим данным это знак присоединения иранской церкви к нашей. Но и те и другие данные требуют провер-

ки, — строго говорит низенький. — А скорее всего это треснувшая перекладинка под ногами Христа.

— Небось маляр купол красил, сунули в руку, недолго прицепить, — говорит один из парней.

Толстый сопит. Видно, что и ему хочется что-то рассказать. Но кружки уже пустые.

— Повторим?

Но повторить пока нельзя: пришла машина-цистерна с пивом. Буфетчица Вера присоединяет шланг и выходит к мужикам.

— Погреюсь хоть, — говорит она. — Чего это вы ржали?

— Брат на сестре женился, — испытующе говорит ей один парень.

— А, — отмахивается Вера.

Другой парень наступает на шланг, в котором гудит пиво.

— Не продавишь, — замечает он.

— Брат на сестре! — говорит Вера. — Это разве чудо? Вот чудеса мне сказали, так чудеса. У молодой матери молоко пропало. Пока бегает на молочную кухню, он орет, и бабушка, чтоб успокоить, стала давать свою грудь.

Мужики смеются.

— Такую тещу, так и жены не надо, — говорит парень и шлепает Веру по монолитной спине. — Руку отшиб.

— Ид-ди! — отмахивается она. — Вам, дуракам городским, только вино, кино и домино!

— Ну так что ты хотела выразить? Какое чудо — грудь ребенку дала? — спрашивает толстый.

— Бабушка ведь.

— Ну и что. В нашем доме одна прописана, бабушкой в тридцать восемь лет заделалась.

— Во сколько?

— В тридцать восемь.

— Ну-у-у?

— Гну! Она вышла замуж восемнадцати и дочь восемнадцати. Считай.

Все считают. Вера тоже считает.

— Когда-то ведь и родить надо. Тоже набрось по году.

— Ну и набрось.

Все сходится.

— В тридцать восемь.

— Да-а.

— В тридцать семь даже.

— А когда ж она прабабкой будет?

Все снова считают.

— Не девятнадцать прибавляй, а шестнадцать. Нынешние не больно-то с паспортами считаются.

— Они уж ждать не заставят.

— На замок не запрешь... Ну, так сколько?

— Пятьдесят!

— Пятьдесят четыре! — поправляет парень.

— А когда ж прапра будет? — спрашивает толстый мужик.

Начинают считать, но бросают.

— Плевать, еще башку мучить, — говорит одни парень.

— Это я могла бы уж прабабкой быть? — изумляется Вера.

— А чего? И прабабкой бы была, и еще бы и сама... — парень с намеком крутит ладошкой.

— Отста-ань! — лениво говорит Вера. — Пойду.

Все видят, что шланг вздрагивает, напор пива слабнет, резервуары наполнены.

— Господи! — вдруг восклицает Вера так громко, что все оборачиваются к ней, и даже скопившаяся уже очередь, которая не в курсе дела. — С вами, дураками, только свяжешься. Чего я стала говорить-то, тьфу ты! Грудь-то, говорю, бабушка давала, это-то не удивительно. Молоко у нее появилось, вот что!

Мужики потрясены. Когда они приходят в себя, машина уже отъехала, очередь уплотнилась. Но Вера наливает вначале «своим».

— Не ворчите, — кричит она вновь прибывшим. — Это женихи мои.

Окончательно сплотившиеся мужики отходят в сторонку и начинают обсуждать Верино чудо.

— Тогда что ж, — говорит один парень, в шляпе и нейлоновой куртке, — рожай да бабке подбрасывай. Фигура не испортится.

— Это объяснимо физиологией! — говорит низенький.

— Я верю, — говорит толстый. — У нас одна, можете проверить, давала в бутылочку с соской пиво сосать. Я в этом доме живу. Пенсия, но работаю. Сотенка не лишняя.

— Пьяницей стал?

— Ни в коем глазу! — выпрямляется толстый. — Кружка пива, две, редко четыре — все!

— Да не ты! Ребенок этот.
— А-а!
— Бэ!
— Вы неуважительно говорите с пожилым человеком, — пытается оскорбиться толстый. — Мы еще не знакомы.
— Вася! — дурашливо сует руку парень в нейлоновой куртке, дружок его представляется Петей.
— Если не шутите, то я Серафим Иванович, — говорит толстый.
— Кроме шуток!
— А я Сергей, — говорит первый мужик, в комбинезоне.
— Сережа, — парень, назвавшийся Васей, подмигивает. — Серафим Иванович, что это мы пиво пьем, кишки полощем? Отливать только бегать. Сережа, как ты говорил? Чего тянуть резину?
— Я же не рассказал про ребенка, — напоминает Серафим Иванович.
— Про какого?
— Который же пил пиво.
— Чего, запился? Или посадили?
— Он пока в четвертом классе.
— Посадят. Так, Серафим Иванович, как насчет тогосего? — парень щелкает себя по горлу.
— Вась, — говорит дружок, — мы ж опаздываем.
— Подождут. Шестикрылый Серафим, понимаешь, скажем, на перепутье нам явился. Серафим Иваныч, поставьте бутылочку.
— Я пойду, ребята, — говорит Сергей, но сам не уходит. Собирает пустые кружки.
— Нет, я же готов по-человечески, — говорит Серафим Иванович. — По рублю, пожалуйста. — Он лезет в карман брюк. — Вот, пожалуйста. Действительно, набулькаешься этой дрянью.

Низенький мужик, так и не назвавший себя, давно молчит. Презрительный его взгляд мутнеет, ломается, он бьет кулаком по доске:
— Секим башка!
— Эй, — неодобрительно кричат ему.
— Ой, цветет кудрявая рябина, — поет низенький, скаля зубы. — Меня, — сообщает он, — знают в милиции. И есть за что уважать! Ой, цветет кудрявая рябина... — Взгляд его становится вновь осмысленным, и он спокойно добавляет к пенсионерскому и свой рубль.

Добавляют и парни. У Сергея денег нет, поэтому он вызывается сбегать. Пока он бегает, Серафим Иванович, из которого так и прет желание рассказать свой случай, ставит всем по кружке пива. Слушают, хотя поглядывают на выход.

— Чудо — так уж чудо, — говорит он. — Слепая старуха. Вот слушайте.

— Ну.

— Было у нее восемьдесят иностранных кошек. И она, когда спала, их кругом себя обкладывала. И что? Глаза улучшились.

— Ты говорил: слепая, — напоминает Вася.

— Значит, проявилось. И ей доктора сказали: тебе кошки вернули зрение. В них электричество. Без очков газету читает.

— Ерунда, — резко заявляет низенький.

Серафим Иванович опасливо косится на него.

— Факт тот, что помогли.

— Иностранные, говоришь? — спрашивает Вася.

— Восемьдесят штук.

— А идеология, папаша?

— Конечно, — совершенно нелогично соглашается низенький, — вон под забором ходит какая-то рвань...

Все смотрят: действительно, пугливо приседая и подбирая хвост, худая кошка ищет в остатках воблы рыбье мясо.

— ...так какое в ней электричество? Породистую ж не бросят.

— А может, и есть, — говорит пенсионер. — Мы же не знаем. Ее если вычесать, вымыть, раскормить. Та-то старуха из одной тарелки с кошками лакала.

— Эта уж безнадежная, — печально говорит низенький, и все снова смотрят, как кошка аккуратно трогает лапой обсосанные косточки, как, садясь, обкручивает себя хвостом. — Безнадежно. С одной тарелки с ней, во-первых, никто есть не будет, во-вторых, ее хоть саму кошками обкладывай.

Сергей торопливо прибегает и рассказом о том, что очередища аж на улицу вылезла, но что он купил без очереди («напарник стоял со второй смены»), усиливает свою заслугу. Как неожиданное для всех он приносит четвертинку черного. А из кармана достает сырок.

— Ты что, на свадьбу набрал? — спрашивает Вася.

Берут у Веры стакан, быстро пьют.

— Пойдем, — просит Петя. — Ждут же.

— Куда? Такая хорошая компания, — раздраженно говорит Вася, — куда они денутся? По губам только помазали.

Низенький долго и шумно нюхает хлеб, наконец кладет его на газетку, медленно достает пятерку и, мгновенно зверея, шваркает ею по доске:

— Н-на!

Сергей, на ходу жалея, что отдал пустую бутылку Вере, несется в магазин.

— Как зовут тебя? — трогательно интересуется Вася.

Низенький яростно смотрит на него.

— Не-не обязательно.

Но гнев его быстро стихает, и он снова поет про кудрявую рябину. Через полчаса они, уже побратавшись, приходят к выводу, что золото в хоккее — это хорошо, но вот футбол — это вот бы да! В хоккей только там, где лед, а в футбол играют везде. Да и земной шар похож на футбол.

— А что? Пеле на пенсии. В футболе же год за пять.

— Не на пенсии! В торговле.

— Домовладелец!

— Все равно. Значит, не препятствие.

— А Гарринча?

— Вспомнил! Перекупили.

— О-о! А Тостао?

— Травма.

— А Жаирзиньо?

— Женился.

— А Ривелино?

— Подкуем!

— Тогда победим.

— А ФРГ?

— Кого испугался!

Наутро они сбредаются к загородке еще до открытия. Низенький, оказывается, ночевал в вытрезвителе.

— Стартовый номер, — говорит он и дергает вверх штанину. На ноге трехзначная цифра.

— Ох, мужики, мужики, — говорит Вера. — Рассказали женам, как молоко у бабушки появилось?

Сергей машет рукой. Вася и Петя хихикают.

— Обломилось вам чего-нибудь? — спрашивает Сергей.

— К другим попали! — гыгыкает Вася. — Но все в полном порядке! Без Мальтуса ни шагу.

Вера открывает, и оказывается, что у честной компании нет денег, кроме обеденного рубля Сергея. И то ладно. По первой пьют за деньги, по второй в долг.

Подходят два мужика. Они сразу понимают состояние новых знакомых.

— Что, — спрашивают они, — маленько отдохнули вчера?

Глаза низенького черного человека мутнеют, он бьет по доске рукой:

— Секим башка!

И когда вновь подошедшие мужики думают, как им реагировать, низенький уже ласково спрашивает их:

— Вы почему такие хорошие люди?

— Выпить пришли, — находится один из них.

— Молодцы.

— Три дня не пил, — говорит один из новеньких, — и на доску Почета не повесили. Выпью с горя.

— Я тоже с горя, — говорит другой. — Пришел без опохмелки на работу — медаль жду.

— Трудовые будни — праздники для нас.

— Верка! — кричит один из новых мужиков. — Тебя еще не посадили? — Вера никак не отвечает, и мужик объясняет: — Это так мы с ней здороваемся. А что? Живет по горло. У меня на стенах того нет, что у ней на полу. — Мужик попался бойкий и работает на публику: — Что, папаша, — говорит он Серафиму Ивановичу, — мотор не тянет? На подсосе доскребся? Сейчас реанимируешься.

Серафим Иванович, уже отяжелевший, стоит молча, опирается локтем на залитую пивом доску. Локоть срывается, гремят кружки.

— Разобьешь, дьявол, — кричит Вера.

Рыжая струя хлещет в кружки, белесая пена вспыхивает над краями.

— Мы эту пивную заправочной колонкой называем, — говорит новый мужик. — Раньше пивнушки назывались «Бабьи слезы»...

— «Голубой Дунай», — добавляет низенький. — Привезли это название с войны.

— ... так вот, сейчас уж не то и не то. Женщины и сами сюда ходят, так что какие уж тут бабьи слезы.

Вчерашний Вася судорожно трет лоб, что-то силится вспомнить, но вспоминает только после выпитого.

— А! — восклицает он. — Чудеса! Вот ведь о чем мы говорили-то! Вчера-то! А я сразу забыл сказать, а ночью вспомнил. Главное, не думаю, где сплю и с кем, а то, что забыл рассказать. — Вася торжественно спрашивает: — Почему в Мексике все грамотные?

— У нас тоже все грамотные, — говорит низенький. — Я лучше расскажу про милицию. Я старше, не перебивай. У них там раковина. Приводят и говорят: выливай. И с понтом выливают. А внизу раковины трубка. И льется в бачок. Сбоку кружка на цепи. Подходи, пей. В милиции знают, кем я был, поэтому полное уважение. Также и супруга ни слова. Она знает, что я был человеком.

— Все? — спрашивает Вася.

— Пока да, — строго отвечает низенький.

— Так вот, в Мексике король футбола, мы вчера говорили, Пеле, написал книгу, как играть в футбол. Напечатали крупным шрифтом. А все неграмотные, никто их не заставлял, выучились по этой книге читать...

— Зато ни у кого, кроме нас, нет бездомных собак, — говорит новый мужик.

— ...Дали ему специальную грамоту министерства просвещения, — продолжает Вася.

Сергей, нетерпеливо переминающийся, решается:

— Пойду, ребята. Я вроде как вас опохмелил за вчерашнее, пора. — Пиво в его кружке выдохлось, и он выплескивает его. Тотчас же с забора слетают вниз голуби и начинают пить из желтой лужицы.

Сергей уходит. Остальные, помня, как вчера низенький шваркал деньги, выжидающе смотрят на него. Но он молчит. Компания явно распадается. Новый мужик пытается сдержать ее, но, видно, денег у него, чтобы угостить, то ли нет, то ли жалеет. Петя пытается намекнуть ему:

— Мы про чудеса вчера говорили. По кругу. Кто не расскажет, ставит.

Новый мужик оживляется:

— Так вот, чудо самое свежее. У нас один пропил три дня, очнулся, ведь выгонят. Что делать? И додумался. Обмотал ногу проволокой, в гипс и на рентген. Просветили — перелом. На месяц освобождение. От радости надрался, давай гипс снимать, не снимается, отмачивать долго. Взял, дурак, топор и стал обухом разбивать. И разбил, да так, что ногу сломал по-настоящему.

Загородка наполняется. Надо идти по делам.

— Может, у Серафима есть? — спрашивает Вася.

Обращаются к Серафиму. Тот бесчувствен. Когда его встряхивают за плечо, он безмолвно, не открывая глаз, оседает. Земля в загородке подметена, вчерашний мусор убран, нового еще нет. Напившиеся голуби взлетают.

— Когда я пошел за два звука... — говорит низенький, но его уже некому слушать. Вася и Петя ушли, новые мужики тоже. И низенький повторяет то, чему уже сам не верит.

Машка, ты знаешь закон

Скорый поезд Москва — Пекин сделал остановку и вот-вот должен был отправиться. В окнах поезда стояли китайцы и приветливо улыбались. В одном особенно: их потешал подвыпивший мужик.

— Ребята, — говорил он, — много воли вы начальству дали. Че им неймется? Ну и похоронили Мао, ну и лежит в хрустальном гробу, ну и надо дальше жить. Если че надо помочь, скажите. Верно говорю? — обращался мужик к тем, кто стоял рядом на перроне, и вновь поворачивался к китайцам: — Но, мужики, одно не поверю, и вы не уговаривайте, чтоб он в семьдесят лет по Хуанхэ в задор, против течения плыл, врет! Кто-то другой, похожий, специально плыл, а вы поверили и полезли топиться.

— Ты поосторожней, — заметила мужику толстая женщина.

Тут поезд дернулся, китайцы, улыбаясь, качнулись в окнах и поехали.

— Эх! — крикнул мужик вслед. — Первый парень на деревне, а в деревне один дом. Дураки мы, приходили, больше разу не придем.

Скоро на эту же платформу подали электричку. Я ехал в ней, сел и встретил этого мужика. Он по-прежнему хорохорился и приставал к той же тетке:

— Ты два-ле билета-то взяла? — строго спрашивал он. — Ведь вишь как по сиденью растеклась, пол гнется, ведь не повезет машинист, надсадится — экая масса! Беги за вторым билетом, я вещи покараулю. Мне доверить можно, я за воровство не сиживал, только за диверсии.

— Еще не назвонился? — презрительно спрашивала тетка. — Как-нибудь добрякаешься, все до поры до времени.

— Че хоть я такого сказал-то? Когда хоть чего-то сказать можно будет?

Мужик поприставал еще немного и пошел курить.

Двери, зашипев, стянулись. Поехали.

Быстро отмелькали пристанционные строения, выставилась и скрылась телевизионная вышка, пошли деревянные дома, асфальт заменился гравием, отстали бежавшие рядом машины. Стало больше зелени за окном, глазам полегчало.

С перекура мужик вернулся весь измененный, к тетке на свое место не сел, а, увидя свободное около меня, подошел и сделал значительный жест:

— Потом расскажу. Вы не курите?

Вышли в тамбур. Взаимно угостились. Помолчали.

— Ты можешь говорить? — спросил мужик.

Я оглянулся.

— Нет, ты не понял. Есть же разные люди, — сказал мужик. — Которые могут говорить, которые нет. Я, например, разговорчивый, ты сразу понял, верно? Я вот иду по улице, так люди с другой стороны перейдут и спросят именно меня, где туалет. У тебя голос есть, ты можешь говорить?

— Могу.

— Видишь! — обрадовался мужик. — Вот че и хотел-то, можешь говорить, и можем выпить и побеседовать по уму и сердцу. А сейчас вот че я давал намек-то, ведь тут был глухонемой. Еще на вокзале чего-то мне маячит, а я не пойму. То ли чего спрашивает, то ли еще чего. Я думаю сначала, гляжу — фуфайка, сапоги, может, выпить? По горлу щелкнул, мол, давай, если, мол, денег нет, так у меня есть маленько. Хрен, мол, с ней, с электричкой, отстанем, не последняя. Опять не угадал, не то, та́к он от меня толку не взял. Сейчас в другом вагоне. Может, ты поговоришь, может, глухонемой язык знаешь?

— Нет, не знаю. Китайцы-то тебя поняли, так что и свой, хоть и глухой, поймет.

Мужик засмеялся, но сразу оборвал смех, поехал в разговор о политике. Он недавно видел телефильм о Китае и стал пересказывать его содержание. В свою очередь я рассказал о знакомом китайце. Мы учились с ними.

— Особенно с одним я дружил, с Ва́нем. Так и звали его: Ваня...

— Действительно, чего делить! — воскликнул мужик. — Я в те годы, когда дружба с ними была, ездил на целину шоферить. Я ведь хоть кем могу. В Свердловске пересадка. Ночь, дождь, нигде ничего не найдешь. Вот с другом посуетились по вокзалу, слышим — гитара. Так играет, так играет — подошли. Стоят наши и китайцы под колоннами, наш парень играет, не помню чего, но уж я доложу! А вверху голуби от дождя забились, и один капнул на плечо китайцу. Такая клякса, как звезда, он отскочил, ему на другое плечо такая же.

— А я еще всегда спрашивал Ва́ня, как их различать. Придем к ним на комсомольское собрание, сидят все одинаковые. Он говорит: ты что, мы все очень разные, это вы, говорит, все одинаковые.

Справа и слева сплошняком шел лес. Очень много было рябин, и когда электричка после остановки набирала скорость, то летела сквозь красное. Иногда пестрел березняк. А подальше, медленнее отставая, зеленели елки.

Мы выкурили еще по одной и вернулись в вагон. Людей в нем заметно поубавилось. Мужик прислонился к окну, видно подремать, подсунул под голову кепку, но вдруг оторвался и строго спросил:

— Знаешь, где я работаю? — Сделал паузу: — Сказать не могу, где именно, но скажу одно: работа не тяжелая — натура нужна.

— Не надо, не рассказывай.

— Нет, почему же? Я человека насквозь вижу, я тебе доверяю, я же строго по секрету...

— Не надо, не надо, — перебил я снова, — вишь, как у нас, никаких шпионов не надо, все сами рассказывают.

— Я шпиона с детства определить могу. Я в деревне вырос, если видел кого незнакомого — шпион.

— А было у вас чего шпионить?

— Да ну, глупость.

— А я в детстве Павлику Морозову завидовал, — вспомнил я. — Уж так хотел, чтоб дедушка чего-нибудь спрятал, а я бы выкопал и на него донес бы. Вот до чего доходило. Чего там было закапывать! Есть-то было нечего.

— А вот я из деревни, — выпрямился мужик и сделал жест, — и никогда не постесняюсь. Из Чухраёв! — передразнил он кого-то. — Нашлась мадам Сижу́! — Кто мадам Сижу, он не объяснил, но мысль закончил: — Я еще не дошел, чтоб с городскими в сравнение идти.

Ко мне приезжают гости, я с сумочкой по магазинам трястись не буду — все свое! Я сейчас на участок еду, вот выйдем, посмотришь. — Вдруг он снова сменил тему: — Устроюсь сторожем, будет знать. В получку буду столь приносить, что и в лупу не разглядит.

Наконец я спросил, о ком он.

— Машка, кто же! — ответил мужик и сказал: — Слушай мое личное сочинение, больше нигде не услышишь, — и начал читать: — «Машка, ты знаешь закон...»

— А кто Машка?

— Все поймешь. Слушай и запоминай на ходу:

Машка, ты знаешь закон,
но не знаешь, где он.
И по отношенью к тебе он несправедливый.
Так будь добра, не делай зла.
Я знаю — денег у тебя тьма,
но принцип есть и у меня.
Возможно, из-за него я погибну.

Для себя ты сделала все:
дочь, судьбу, квартиру,
а мне оставила тюрьму и могилу.

Не глядя на меня, мужик еще что-то пошептал.

— Вы с ней разошлись? — спросил я.

— Не разошлись, но постоянно на грани, — ответил мужик. — У нас в семье был толк, но результатов не было. Она меня держит за крючок дочери, знает, что дорожу, но и дочь будет такая же, уже вовсю шипит. Только лицом в меня, а так вся в нее. И в тещенку! Им ведь не понять, что специально приходится пить.

— Почему?

— Покрыто тайной. Вот слушай, извини за доверие, я тебе еще одно прочитаю. Вот:

Ты лишила меня крова,
ты лишила меня всем.
Ты в омýт меня пустила,
улыбаешься теперь.

Но скажу тебе, подруга,
но скажу тебе, жена:
— Погоди пока смеяться,
что не знаешь ты своего и моего конца!

— Про себя-то я все до конца знаю, — объяснил мужик, — но ей нарочно написал, чтоб барахла не натаскивала. И вот тащит, и вот тащит! Я говорю, какой же тебе гроб нужен, чтоб все скласть. Злится! Баба, чего

взять. Может, хоть дочь поймет, да нет! Уже и ей рога повернули.

Мы снова пошли курить. Я попробовал защитить жену, да он и сам ее жалел и ей же хотел добра.

— Разве за всеми нагоняешься. Я и в стихах критику навожу, чтоб исправилась. У меня и другие стихи есть, но незаписанные, держу в уме. Но, поверь, ни одного такого, чтоб со словом в рифму — мать. Я б этим пацанам, которые матерно пишут, на одну бы ногу наступил, за другую бы дернул.

Он замолчал, и я решился спросить его о его же словах, как это он знает все про себя до конца.

— А чего не знать? Умру, да и все.

— Это-то все про себя знают.

— Да вот не больно-то, — сказал мужик и придвинулся, потому что в тамбуре было шумнее, чем в вагоне. — Я тебе прочитаю, давно-давно запомнил от старухи, ходила сбирала по деревням, вот слушай:

Вот скоро наступит наш праздник,
последний горестный пир.
Душа наша горестно взглянет
на здешний покинутый мир.

Помоют меня и причешут
заботливой нежной рукой
и в новы одежды оденут,
как гостя на праздник большой.

Покрывалом богатым покроют,
я буду во гробе лежать.
— Прощайте вы, милые детки,
теперь ухожу я от вас.

Прощайте, и братья и сестры,
прощайте теперь навсегда.
И гроб мой к могиле подносят,
встречает сырая земля...

— О! о! — сказал вдруг мужик, и я тоже повернулся на открывшуюся дверь из соседнего вагона, и вошел человек. — Я ж говорил тебе, — и я понял, что это глухонемой, так как мой мужик молча ткнул его в грудь и дал сигарету.

— А вот уже и не поговоришь, — сказал после молчания мужик, — пусть он и не слышит, а нехорошо говорить при нем, он же не виноват, что такой, может подумать, что про него.

Глухонемой замычал вдруг, мы поглядели на него, он

возбужденно показывал в окно. Мы увидели сидящих и стоящих на желтом откосе китайцев. Некоторые рвали и складывали в фуражки красные кисти рябин. Когда все это видение пронеслось, в тамбуре никого, кроме нас, не было. Мужик покрутил головой:

— Машинист, что ли, их не повез? Или че сломалось?

Вернулись в вагон. И еще одна остановка мелькнула.

— Ты докуда едешь?

Я ответил.

— Я раньше выхожу.

— На какой?

— А никакой! Имени даже не нашлось. Километр номер такой-то, и все. Болото было. Участки давали, я взял. Мадам Сижу даже не шевельнулась. И что? Год, два, на третий является: где тут наша дача? У меня уже и лук свой, и морковка, и есть где переночевать. Я ведь чего вчера-то психанул, — стал объяснять мужик...

История начиналась издалека и была проста. Мужик общительный, он звал ночевать к себе всех знакомых, особенно своих деревенских, когда те бывали в городе, не говоря уж о родне. А приезжали часто. Это теще (мадам Сижу) и жене (Машке) было не по губе. «Другое дело, чего бы привозили, а что они могут привезти, сами едут чего бы купить. А ведь каждого хоть чаем, да напои, спать уложи».

— Они ж мадам культурные, я говорю: как сами-то росли, не интелего́ же были, клади всех впокатушку, нет, они каждому две простыни выдадут, наволочку номерную, а меня шепотом жрут. Ладно, терплю, на сердце, конечно, отражается, но я же нехороший, это они заботливые. Вот и приходится, гости приедут, бутылочку выставят, я расстараюсь; посидим на кухне. Я еще, может, в деревню уеду, — неожиданно сказал он. — Разве я пропаду? Да у меня специальностей! Я жидкие кристаллы ногами пинал. Приходят из КБ: «Благодатских!» — «Я за него». — «Помоги!» Они указкой по схеме водят, а я пальцем в то самое место и покажу.

И еще к одной остановке подъехали, но остановились перед ней и стояли.

— Чего-то долго держат, — заметил мужик. — А, вот из-за кого, — указал он причину, да я и сам увидел: по освобожденному пути промчался обгоняющий нас скорый.

— Дранг нах остен! — крикнул мужик и захохотал. Поехали и мы.

— Вот я выйду, смотри по ходу на левую руку, от забора пятый курятник, мой. Я ведь бы не поехал, а вчера психанул, почему? Приехал знакомый, да он не впервой. Ну, втёрли с ним, а эти поволокли, и, главно дело, девка подвякивает. Тогда говорю: «Коля, рубим концы, я такого позора, чтоб человека ночевать не оставить, не выдержу». Мадам орет: «Ну и уходи!» — «Дай пятерку». — «На, запейся!» Пошли на вокзал, еще достали. Ночью очнулся — меня уборщица шваброй из-под скамьи выковыривает. А Коли хрен ночевал! Вот и жалей их, вот и спасай, меня же под колеса бросил, правильно Машка говорила, доведут. Ну, утро. А как возвращаться? Вот и решил — давай на участок, вроде чего поделать, а в доказательство картошки нагребу, может, смородинки наберу, девчонка любит. Да че-нить подколочу.

— Ты стихотворение не закончил, — напомнил я: — «Встречает сырая земля...», а дальше?

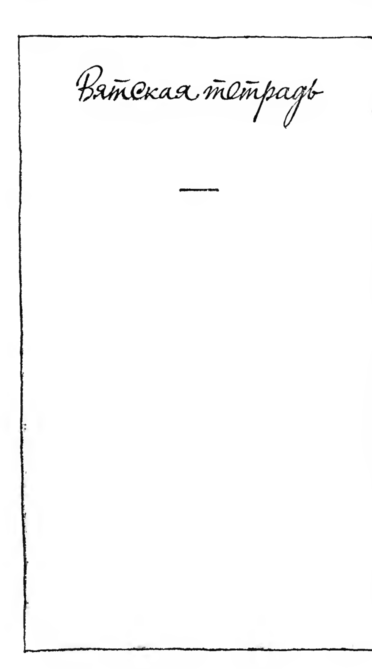
— «И ушли уже все от могилы, — сразу включился мужик, — и могила осталась одна... Царица моя ты, царица, встречай ты, встречай здесь меня. А как тут страшно, ужасно, на суд надо страшный идти, а еще всего страшнее — грехи свои нести».

Электричка тормозила. Из вагона в тамбур вылезла толстая тетка, видно, спала, и вдруг оказалось, что она была знакомой мужика. Он вычитал ей, что много вещей тащит с собой, а ведь сама такая габаритная. «Знала небось, что я поеду без вещей, на грузчика рассчитывала».

— Тащи, тащи, не переломишься, — говорила тетка. — Толстая, говоришь, а ты поешь-ко с мое картошки.

— А ты пей больше, — говорил мужик, взваливая на себя ее узлы и мне подмигивая. — Нальешь в получку. А если сразу есть, то возьмем и товарища.

Но тетка смолчала, а я торопился и все равно бы не смог выйти с ними. А потом жалел — надо было. И остановки я не запомнил — номер километра, и все.


Вятская тетрадь

Памяти В. Шумихина

Землячество — понятие круглосуточное

Все знают выражение: вятский — народ хватский. Это даже как-то автоматически произносится. Скажешь где угодно в нашей стране, что ты вятский, тут же добавят, что вятский — народ хватский. «Да, — подхватишь, бывало, — семеро одного не боятся, а один на один — все котомки отдадим». Меньше тех, кто знает и другие продолжения первых слов. А они такие: вятский — народ хватский: на полу сидим и не падаем; или: вятский — народ хватский: семеро на возу, один подает и кричит: «Не заваливай!»

И много лет я думал, что на этом словотворчество в области определения вятского характера кончилось, что оно осталось где-то в прошлом. Вел потихоньку толстую тетрадь, названную «Вятской», вносил в нее все, что узнавал о Вятке и вятичах. Видел подтверждение, что историческая примета — о юморе, о способности посмеяться над собой означает живучесть данного народа, что определение «пошехонцы», кочевавшее по всей Руси, более пристало к вятичам: они же, не другие, затаскивали на крышу бани корову, чтоб объела траву, они сыпали толокно в реку и солили, они долее всех в России противились посадкам картофеля, они в лыковый колокол лаптем звонили, ну и другие подвиги... Все так. Еще и не это придется признать. Но ведь из-за них же и назвали Фроловскую башню Кремля Спасской, они же стали несокрушимым форпостом северо-востока России, это они выдвинули миллионную армию, как тогда выражались, колонизаторов Сибири и Алтая, они выставили в числе первых ополчение и в Смутное время и в Наполеоново нашествие. Северо-западный фронт прошедшей страшной войны держали в основном вятские.

А умельство! Деревянные часы, идущие до сих пор с точностью до доли секунды, шкатулки с неразгаданными секретами, деревянные чудо-храмы. Пословица говорит, когда Колумб открыл Америку, в ней уже было семеро вятских плотников! И с Америкой торговать первыми стали вятские, купец Ксенофонт Анфилатов. А теперешнее диво, сохраненное на ветрах эпохи, — дымковская вятская игрушка! Нет континента, не согретого ею. Про пять континентов мне кто угодно поверит: игрушка дело валютное, доходное, а про Антарктиду знакомый полярник Сильвестров, опять же вятский, рассказывал. С собой дымковскую барыню возил, без нее бы не перезимовал.

И вот тут же, рядом со всеми своими доблестями, о которых я не рассказал и тысячной части, есть в вятских черта какой-то зажатости. «Вятские, дак че, — говорит об этом моя мама. — Чего с нас взять — не умеем ни ступить, ни молвить. Какие-то мы простодырые. Другие на копейку сделают, на рубль наславятся, вкруг головы и пазухи наговорят. Да уж нам, видно, судьба — не жили хорошо и начинать нечего».

Чрезмерное стеснение могло бы быть даже и достоинством в наш бесцеремонный отрезок времени, но беда, что стеснительность идет рядом с бесхребетностью. Смеются над нами — ну и ладно, обзывают всяко — ничего, пусть. Я замечал, что само унижение у нас не граничит с хитростью, в нем нет того, что в других местностях — прикинуться бедненьким, сыграть под дурачка. Это можно понять, это русское. Дурачок и сеет и пашет и хотя бы в сказках дожидается вознаграждения. Вятский характер покладист, он из тех характеров, на которых воду возят. «Мы впряжемся, так не вылягиваем, — ссылаюсь снова на мамино выражение. — А они все бочком да ребрышком», — добавляет она о других, сопоставляя.

Вятское самоунижение, даже самоуничижение есть любовь и действие сознательное. Ведь это действие возвышает того, перед кем уменьшаются. Оно же высвечивает того, кого возвышают. Тут все связано.

Думание о себе плохо, и еще одно — рассказывание всего о себе — эти качества характера, взятые у земляков. Но ведь я жил не в Вятке. Чаще там, где не принято простодушие, где договариваются до того, что язык дан человеку, чтоб скрывать свои мысли, в Вятке бы я жил и не тужил. Но тогда бы так остро не ощутил боль

за своих. И даже обиду на них. На беспамятность прежде всего.

Ехал в дальнем поезде и безошибочно узнал земляка. Распахнутый, простоволосый, глаза голубые. Ручищи огромные. Точно — вятский. Очень мы друг другу понравились, и это событие закрепили. Свежее страдание мучило мужика — у него конфисковали краденый тес. Не он крал, но он купил. Не знал, что краденый. «Как же ты не знал, если дешево продают?» — «Думал, по дружбе. Да-а. Его замели, меня вычислили. Приехали, грузят. Говорю: оставьте досок-то хоть на гроб. Как же, оставили! Поросенку хлевушек хотел сколотить. Да избу перекрыть».

Стали вспоминать родину, забыли про доски. Вятские присловья вспомнили. И мужик подарил меня выражением, которое я не знал и которое показало, что словотворчество земляков бессмертно. «Вятский народ хватский: столь семеро не зарабатывают, сколь один пропьет». Тут все — и живучесть выражения, и — никуда не денешься — признак времени. Конечно, запомнилась пословица мгновенно. Еще мужик, рассказывая о нехорошем случае, сотворенном призывниками, промолвил: «Нынче что дурно, то и потешно». И тут же вздохнул, сетуя на взрослых детей: «Эх, молодежь — штаны на лямках!»

Разошлись по своим полкам. Ночью мужик разбудил меня толканием и страшным шепотом: «Земеля, выйди в тамбур». — «Ночь ведь», — слабо возражал я. И тут-то он подарил меня афоризмом:

— Землячество — понятие круглосуточное.

Я люблю таких мужиков, мог бы долго рассказывать о них, но печаль в том, что эти мои мужики почти поголовно плохо знают историю Вятки. Да только ли они. Выступая недавно в Кировском пединституте, спросил, когда же пятьсот лет присоединения России к Вятке. Специально так пошутил — не Вятки к России, а России к Вятке. Не знали.

— Когда был поход Ивана Третьего?

Молчание аудитории было ответом. Но пристыженное молчание. Это уже хорошо.

Поход был в 1489-м, следовательно, пятисотлетие надо праздновать в 1989-м. Почти триста лет, по Карамзину, просуществовала независимая Вятская республика. Триста да пятьсот — уже восемьсот. Поэтому спорил и буду спорить и с этим в гроб сойду, что дата основания

Хлынова-Вятки гораздо старше, чем принято думать, по мнению историков. А заселение наших этих мест вятичами уходит вообще во времена языческие. Новгородские ушкуйники уже плыли по Вятке. Кто ее назвал? Угрофинны называли Вятку Серебряная вода — Нукрат. Допускаю, что Хлыновку назвали ушкуйники, ибо хлын — человек шаткий, вороватый, но чтобы несколько десятков разбойников стали родоначальниками края, заселенного до них и без них? Думаю даже, что нравственность с приходом ушкуйников не стала лучше. Что этим ушкуйникам у себя в Новгороде не пожилось, не изгнаны ли были они? Вятичи — это огромное древнеславянское племя, пришедшее из междуречья Москвы и Оки, по Оке, Волге, Каме и Вятке.

И для меня совершенно ясно, как произносить название уроженца вятских земель: вятич или вятчанин? Конечно, вятич.

Заранее замечу, что «Вятская тетрадь» не есть историческое изыскание, хотя в ней будут выписки из Карамзина, «Истории Вятского края», «Казанского вестника», летописей и т. п., но главным для меня было исследование вятского характера.

Да, полно, есть ли он, сохранился ли, спросят меня. Есть, сохранился. Я сейчас только был свидетелем научных изысканий трех вятских мужиков. Живу сейчас и пишу это в Нижнем Ивкине, месте, где выходят на поверхность минеральные воды, по-летописному, местночтимые. В их числе есть источник, называемый почему-то источником красоты. Говорят, что в него даже среди зимы иногда залезают с головою закоренелые курортницы (здесь первый в области курорт). У этого источника я увидел трех мужиков. Они измеряли жердью глубину его. Одной жерди не хватило. Это изумило исследователей и возбудило к дальнейшим изысканиям. Один сбегал к изгороди, препятствующей коровам топтать территорию курорта, выдернул из нее еще одну длиннющую жердь и приволок. А чем связывать? Мужики выдернули ремни из брюк, посмотрели на меня как на ременный резерв, но решили, что пока хватит, и стали опускать жерди. Но и второй жерди не хватило.

На этом экспедиция распалась. Помоложе хотел бежать еще к забору, двое постарше его остановили, говоря, что хватит, что и так понятно, что источник глубокий.

— Ну так, — рассуждали они, — еще бы: ежели бы был мелкий, так ведь давно бы вытек.

Подпоясались мокрыми ремнями, бросили жерди и пошли, изумляясь:

— Ох ведь, сколь земля-то толста.

И непонятно было, то ли они восхитились толщиной земли, то ли возмутились. И пошли в шестой источник, так зовут винный магазин. Всего источников пять. Как тут не поверить, что их предки — и мои: я ведь тоже заинтересованно участвовал в познании глубины недр, как не поверить, что наши предки блинами острог конопатили, мешком солнце ловили, с полатей в штаны прыгали, чтоб надеть.

Думаю, что шутка, которую сейчас расскажу, жизненна. Она, может, как раз оттуда, от проплывания новгородцев вдоль вятских берегов. Плыли чужие по Вятке и стали тонуть, говорит предание. Стали тонуть и кричат тем, что на берегу: «Эй, люди!» Те не шевелятся. Эти кой-как выбрались на берег и с обидой говорят: «Что ж нам не помогли, мы сколь кричали: люди, люди?!» — «А мы не люди, — ответили им, — мы вятские».

Хочется и напомнить события вятской истории, не пропуская значительных, и попытаться проследить в них вятский характер. Досадно, что мои земляки хотя и могут круглосуточно радоваться землячеству, хотя и не дают отдыхать шестому источнику, но знают себя, предков плохо. И мне стыдно соглашаться с Костомаровым, что нет ничего в русской истории темнее судьбы Вятки и земли ее. Пусть уж другой край возьмет на себя столь тяжкое обвинение, но не мы.

Теперешняя Хлыновка звалась Хлыновицею, Киров Хлыновом. На это слово нет точной этимологии. Одну догадку мы упомянули: от хлын — бродяга вольных промыслов. Есть две другие. Якобы во время строения города над ним пролетала птица, крича: «Хлы, хлы!» По-моему, ерунда. Третья догадка более правдива. Вятка была далее от города, источники не могли снабдить город водой полностью, припруживали речные. Плотина и теперь кажется искусственной, ложе Хлыновки так же. «Когда-нибудь, — пишут в «Истории Вятского края» (далее просто «История»), с. 15, — речка эта, стесненная в своих берегах, от большого скопления и напора воды хлынула через свою преграду и тем действием подала повод к своему наименованию».

Но и это весьма гадательно. То есть тут вольно выбирать, кому что нравится. Скорее все-таки первое.

Начало

Вятская земля огромна, как огромен бассейн реки Вятка. И кроме этого прихватывался и камский бассейн, и даже верховья тех рек, что уходят со своими водами в Ледовитый океан. Это, помню, с детства было необыкновенно — одни реки идут в Волгу, а другие в Печору, Сухону, Северную Двину. Еще, помню, волновала близость Уральских гор. И тут же рядом, помню, потрясение, что мы, оказывается, принадлежим к Европе. Это вроде было не по одежке. Но и к Азии принадлежать не хотелось. Хотя в истории Вятки бывали времена принадлежности и к Сибирскому и к Казанскому наместничеству. Огромность Вятской земли перешла в огромность Вятской губернии. Она была гораздо больше теперешней Кировской области. Различные размеры площадей, несравнимость уездов с районами, а волостей с сельсоветами очень затрудняют занятия историей, сопоставления и выводы. Десятина не гектар, сажень не метр, золотник не грамм, верста не километр, но земля есть земля, она родная. И сколько гордости она дала нам вместе с жизнью. Чайковский наш, вятский (написал и сразу вдруг представился вид на большой пруд, который мальчиком видел композитор. Это в Воткинске, где Чайковский родился. Предков этих сосен видел он, это же солнце освещало этот же паркет этого дома. Стоит бережно и благодарно сберегаемый дом, вот еще, в добавление к сотням тысяч людей, пришли и мы и потихоньку столпились у порога, пытаясь представить то время, когда композитор услышал и записал те звуки, которые спасают нас. И только что был на его могиле в Некрополе Александро-Невской лавры. Дождь, и ветер, и снег, как часто в Ленинграде, могила заметена листьями, еще зелеными, сорванными досрочно с деревьев). И наш Шаляпин, и тут снова воспоминание. О Вожгалах, где стоит доселе школа, называемая «шаляпинской», он построил ее на свои деньги. Старик один говорил, что мальчиком видел Шаляпина, когда тот приезжал к родителям, и что когда он пел, то колокола на колокольне отзывались. Легенда, скажете вы. Но ведь рассказывали мне в Советске (бывшая слобода Купарка), что когда поет Александр Ведерников, он тоже наш и каждое лето приезжает, то слышно, как раньше был слышен колокол, за десятки километров.

Слово «Вятка» означает не только реку, но географи-

ческий регион, как, например, Полесье, Поморье, Сибирь, Урал. Поэтому хроники, говоря о Вятке, чаще имеют в виду местность, а не город. Огромность Вятки надо начать описывать с ее красоты. И, право, хорошо, что я не рожден художником, я бы не выжил от бессилия выразить красоту. Вот сейчас предзимье. Снега почти нет, но все замерло и по любому болоту можно идти как по дороге. Осока в пасмурном инее, гигантские лужи сейчас как фантастические лекала. Вот озеро все в зеленой ряске, так и замерзло, и будто месторождение малахита вышло на поверхность. Последнее дыхание речной полыни забелило весь обрыв, только глина краснеет. На льду, у трещин и вдоль наледи, полчища белых перистых бабочек. Жалко ступать, но приходится. Замираешь — из-под льда идет звон, а то вдруг прощурит не приставшая к месту льдинка. Скажете, так везде. Так, да не так. Нет ничего похожего, ничего нельзя ни с чем сравнивать. Не все познается в сравнении. Нет двойников в природе. Отпечатки пальцев, рисунок ушей, губ (есть целая наука хейлология об отпечатках губ), запах, голос, походка — все это, как говорит криминалистика, единственно в каждом человеке. Что уж говорить о природе, которая древнее человека. Начальник пристани в Русском Туреке рассказывал мне, что он узнал вятский лес, привезенный на стройку Кольского полуострова. «А как узнали?» Но объяснить этого он не мог. «Чувствовал и все». Он именно настаивал на том, что узнал не по клеймению, а по ощущению. И оказался прав, так как поинтересовался, откуда лес. Точно, лес был, как говорят, «с воды», кировский. «Но ведь по воде плавят не только наш лес». — «Так-то так, но вот чего-то ударило — наш лес. И — точно».

Здесь Предуралье, и сочетаются увалы с равнинами. Берега рек, обращенные к востоку, к Уралу, как правило, обрывисты, западные низменны. С запада обычно шла плохая погода, с востока ведро. Увалы обычно в сосновых лесах песчаны. По рекам леса в основном вырублены. Лететь на маленьком самолете — мука мученическая, с большого хоть не видно, а с маленького смотришь — сплошь вырубки, сплошь навалено, как обгорелых спичек, соснового и елового леса. Уж не говоря о лиственных породах. Конечно, военное время вынуждало рубить поближе к вывозке, но от этого не легче. Сейчас делается много подсадки, новых посадок. Недавно у меня была радость — посещение лесного питомника, там малыши елоч-

ки, сосенки, лиственницы в окружении охраняющих их берез и взрослых елей растут в неисчислимом множестве. Есть с мизинчик ребенка, есть сантиметров по двадцать. Но как представишь их жизнь и те угрозы, что могут воплотиться — пожары, засухи, порубки — страшно за малышей. Высаживали крохотные елочки в грунт, я взял ростки на ладошку и насчитал их пятьдесят штук.

Увалы называют еще тягунами (в Сибири — тянигусы). «Хоть и не велик подъем, а все на вытяжку», то есть вытягивает силы. Называют и взгорьями.

Черемисы и вотяки, теперешние марийцы и удмурты, а также угро-финские племена бесермян и тептярей, исчезнувшие совсем недавно, уступали свои места неохотно. Вотяки были менее воинственны и предпочитали уходить на восток, в теперешние районы Удмуртии. Черемисы сопротивлялись, но сопротивления не переходили в многолетнюю вражду. Происходило не завоевание края, а заселение, а после крещения Руси в 988 году — его христианизация. Язычники видели преимущество новой религии даже в практическом смысле. Рассуждая здраво — жертвы, подношения давать бесчисленным идолам-божкам или же одному? Бояться всех злых духов (леса, воды, земли, воздуха, грома, молнии, ветра) или же одного, который, тем более как внушали пришедшие русские, в тебе самом. Христианство освобождает от страха перед природой, а говорит о сотрудничестве с нею, христианство обещает загробную жизнь, но жизнь эта не в вещах, в душе. А практически это опять же выгодно — попробуйте снарядить умершего язычника по всем правилам в последнюю дорогу: коня ему надо, лук, стрелы надо, украшения надо, одежду, и не одну, а на все времена года, тоже положи. Не похороны — разоренье. Христианские захоронения скромны, дело снова не в вещах, а в качествах души и в памяти. Память об умершем дороже подношений в могилу. Так учили священники. Так воспринимался любимый русский святой Никола-чудотворец, принятый язычниками как Никола, Микола, Микула.

Первое поселение было основано в его честь, первый город Вятской земли звался Никулицын. Это к северу от Кирова, за Макарье, к Слободскому. Но первой церковью, говорит история, был храм не в честь Николая-чудотворца, в честь Бориса и Глеба, покровителей русского воинства. В числе русских, следовательно, были люди с саном священников, кто же иначе мог вдохновить строительство храмов и их освящение? А почему в честь Бориса и Гле-

ба? Потому что взятие Болвановки, как называлось Вотское городище перед переименованием в Никулицын, было совершено в день памяти этих мучеников.

Говорить об истории России, не соотнося ее с историей язычества, христианства, — пустое занятие.

Не хочется передавать известный рассказ о двух партиях новгородцев. Одна дошла вверх по Вятке, покорив черемисское городище Кокшаров (теперь Котельнич), о другой мы сказали. Другая, якобы подымаясь по Каме, прозевала устье Вятки и дошла аж до Чусовой.

Оттуда сушей до Чепцы, по Чепце вновь к Вятке, к покорению Болвановки. Но есть предание, что, не зная ничего друг о друге, обосновавшись в ста верстах друг от друга, они так бы и жили, не встреться однажды дровосеки обеих партий в лесу. Тут многое сомнительно. За пятьдесят верст искать леса, когда он рядом, первое; второе, это ведь только представить пеший путь от камских мест до Чепцы, которая очень не сразу судоходна для ушкуев — древних судов. Тащили на руках? Строили заново? Темна вода во облацех. Снова и снова возвращаюсь к мысли, что люди тут были с незапамятных времен (отсылаю к раскопкам славянских могильников на территории области, результаты красноречиво представлены в Кировском краеведческом музее на улице Ленина), но допускаю, что взятие Кокшарова и Болвановки было совершено пришедшими новгородцами, которые принесли в сей русский край опыт самоуправления по типу новгородского веча. Три столетия вятичи жили, самоуправляясь именно таким образом. Но вполне возможно, что строительство города Хлынова-Вятки было начато по настоянию также новгородцев, как необходимый центр огромного обильного края.

Тут начинаются чудеса. Место было выбрано. От Кокшарова в девяноста верстах, от Никулицына в двенадцати. Был заготовлен строительный материал, то есть лес, глина, мох, но еще не было начато строительство, как все материалы (далее цитирую): «...неведомо кем, как бы по воле таинственных сил, в одну ночь оказались перенесенными на другую, находящуюся ниже по течению Вятки, гору. Пораженные сначала таким событием, недолго, однако ж, недоумевали строители о причине его. Осмотревши новую местность, они нашли ее более выгодною для поселения, а совершившееся чудо отнесли к действию особенно пекущегося о них промысла божия, повелевавшего начать им постройку города именно на этом, а не на другом каком-либо месте. Первым строением нового Вятского го-

рода был, по прежде данному ими обету, храм в память воздвижения Частнаго креста Господня.

Место, на котором предположено было ими строить город, назвали они полем Балясковым, а то место, на котором они выстроили город, — Кикиморкою».

Суть важно то, что место было выбрано удачно и жилось в нем спокойно. Городского вала и тына не было долгое время, откуда можио заключить о мире с местными племенами.

Население в Вятке стало прибывать особеиио в это время, когда люди уходили от татаро-монгольских захватчиков на Север.

К зтому времеии к Хлынову добавились еще несколько городов. Добрая слава о Вятке, как о благодатном, независимом от княжеских податей крае, ие могла удержаться внутри ее.

В Вятке свои порядки

Называли ли себя республиканцами вятские жители? Ясно, что нет. Имя республики вятичам присвоено позднее. Скорее, с легкой руки Карамзина. Но пословица: «В Вятке свои порядки» — древняя. Она и ироническая, она и горделивая. Как в Вятке мерили расстояния? «Мерили Сидор да Борис, веревка возьми и оборвись. Один говорит: давай свяжем, а другой говорит: иет, давай так и скажем». А как до сих пор объясняют дорогу в Вятке. «Тебе куда? В Яшкино? В Жирново? А-а, в Карманкиио. Так вот видишь дорогу, по-за ферму пошла, видишь? Так ты по ией ие ходи, это солому с поля возят. А вои эту видишь, от плотины, направо? Видишь?.. Так ты по ней тоже не ходи...» И так далее. Но горделива пословица от независимости. Вятка не знала крепостного права. Оио чуть-чуть прихватило некоторые места в южных уездах (так в Яранском было имение позта Державина, но это потом).

Вятка росла. И само по себе, и за счет иовых поселенцев. Теперь они шли не снизу по Вятке, а через северо-восточное направление, от Великого Устюга. Где те древние волоки и дороги, пройденные предками? От кого узнать зто? Книги говорят: одни шли к Моломе и спускались по ней, другие доходили до Летки и тоже спускались к реке Вятке. Те, что шли по Моломе, основали город Орлов, нынешний Халтурин, а те, что по Летке,

Шестаков — названия, видимо, от фамилий начальников переселенцев. Были ли они беглыми, недовольными, преступными, специально переселяемыми, не понять из летописей. Историк Вечтомов называет их выходцами.

Шестаков разросся очень быстро, и из него выделился, как сказали бы теперь, город-спутник, Шестаковская слобода, ниже по течению Вятки в двадцати пяти верстах. Слобода населялась в основном устюжанами, быстро перегнала Шестаков и стала самостоятельна. Теперь это город Слободской, а Шестаков — село Шестаково Слободского района. По другой версии, историка Верещагина, Слободской возник ранее Шестакова.

Великому Новгороду была не по нутру независимость Вятки. Властвуя надо всем Севером, подчинив гигантские Двинские земли, Новгород того же хотел от Вятских земель.

Быстро крепнущие великие князья московские также негодовали на вятичей, как на непослушных сыновей. Но, несмотря ни на что: «...к концу 14 века Вятские республиканцы до того уже расширили пределы своих владений и до того окрепли в воинском быту, что соседние с ними Кострома, Вологда, Устюг, Новгородские, Двинские поселения и даже в значительной степени относительно их сильные Болгары, со страхом и завистью взирали на них, как на новых Норманов».

К основным городам Вятки — Хлынову, Котельничу, Орлову, Шестакову и Слободскому — быстро добавлялись пригороды, селения, деревни, строились церкви. Религиозность воинственного, разбойного даже народа, каким рисуют вятичей, была скорее внешней. Хотя свершались крестные ходы, один особенно значительный, в честь побед над туземцами, разрушившими селения Богоявленское и Богородское. Икона Георгия Победоносца переносилась из села Волковского (названного по обилию волков) в Вятку в день Преполовения. Обратное шествие совершалось ночью. Свечи прикрепляли к седлам и дугам, несли в руках. Также был обычай нести с образом Георгия языческие стрелы. Было даже, потом угасшее, поверье об исцелении болезней от этих стрел. Ими кололи себя по больному месту, пили стекавшую с них воду, промывали ею глаза. Позднее, читая «Вятский архив», мы вернемся к этим стрелам.

Снова и снова читаем мы о буйном характере вятского народа. В это верится слабо. Хотя факты упрямы. Но факты не изнутри, а извне. То есть не сами вятичи говорят о

себе, а о них. Конечно, письменность была, но опять-таки не судьба была уцелеть ей — бумага, дерево, береста бесправны были перед огнем.

Будучи в Новгороде, я напряженно всматривался в лица. На улицах, в магазинах, на рынке. Ездил по Новгородчине, тоже смотрел неотрывно и слушал, и разговаривал. Нет сходства. Нет, и только. Говор — совершенно несходен. Манера, повадки другие. То есть неуловимо другие. Тут надо ощущению доверять. Поверили мы начальнику пристани, что он лес узнал, так и тут. Не надо думать, что я открещиваюсь от новгородцев, нет. Все мы плоды с одного дерева, только потом вырастать и множиться пришлось в разных местах. Конечно, пришли к вятичам новгородцы, конечно, принесли опыт самоуправления, конечно, пришли к власти над этим краем. Вятские вообще к власти не рвались.

Маленькое этому доказательство: нас, вятских парней, призвали и привезли в часть, куда в один день с нами приехали и горьковские, и новгородские, и украинские парни. В первые же дни вышло так, что новгородские стали командовать, горьковские ударились в спорт и самодеятельность, украинцы пошли на кухню и в хлеборезку, а вятские в кочегарку и посудомойку. Это была сержантская школа. И сержанты из нас вышли не хуже других, но факт есть факт — сами мы в командиры не хотели.

Но мои же земляки скажут мне: ты что, забыл, что маршалы Конев, Говоров, Вершинин — вятские, что у нас больше двухсот Героев Советского Союза, что наш Падерин первым в войну закрыл амбразуру фашистского дзота. Знаю и горжусь. Но, прочтя биографии этих военачальников, вижу, что и они не выслуживались — служили. А их способности не могли не проявиться. Способности были. Мы тоже, многие из той сержантской школы, закончили службу старшинами батарей.

Не высовываемся, не выслуживаемся, на полу сидим и не падаем. Но если надо, так надо.

В самом деле, до того иногда бывает обидно за земляков, за их безгласность, бесхитростность. А работники они ценные, незаменимые. На Северном флоте, принимая нас, главнокомандующий очень хвалил вятских моряков, пошутил даже: «Я думаю, оттого к морю привычны, что их с детства не в колясочках возили, а в зыбке качали, вот они и закалили вестибулярный аппарат». В Болгарии нашлись мои землячки — преподаватели русского языка. Влюбленные в Болгарию, сидя на набережной Варны, они

даже всплакнули, когда в разговоре замелькали наши родные названия: Омутинск, Уржум, Лальск, Оричи... Работают они на совесть. Кстати, раз уж о Болгарии — первым генерал-губернатором Софии после свержения турецкого ига был Алабин, вятский человек. А с учителями я говорил, когда еще впечатление от полета сотого космонавта планеты было свежим. И кто же этот сотый космонавт? Виктор Савиных, из вятских вятский. Ну ладно, хватит, расхвастался.

Но вполне понятна моя страсть к землякам, пристрастие к их судьбам. Я отлично понимаю, что все было в истории — летописи врать не могут — и набеги грабительские, и многоженство (а сам Владимир Красное Солнышко сколько жен имел до принятия христианства?) — все было, и много темного. Но для того и история, чтобы служить прогрессу. А для служения прогрессу надо брать из истории хорошее.

Взять сегодняшний день. Мало ли в нем плохого? Сейчас обедал, уже есть мужики с утра веселенькие. Оправдываются: «С утра выпил — весь день свободен». Один уже окончательно хорош. (Вот тоже загадка русского языка: почему если пьян, то хорош, а уж если окончательно пьян, тогда и вовсе: в полном порядке?) А два других, затащив его поспать на огромные бочки жигулевского пива, привезенные из Горького, громко советовались, как им поступить с Санькой и Петькой, еще двумя дружками, которые самостоятельно пойти опохмелиться не смогли. По причине лежачего положения. Мужики советовались друг с другом: кого опохмелить — Саньку или Петьку? «Да отнесите обоим», — не выдержал я. «Нельзя, — возразили мне, — драться начнут. И не опохмелить жалко. Но опять-таки — Петьку опохмелить — Саньке обидно будет, Саньку опохмелить — Петьку жалко. Обоих похмелить — драться начнут».

Согласитесь, что нелегкие задачи приходится решать с утра вятским людям.

Еще наградили меня мужички анекдотом. Вот он. Один слесарь был прекрасный работник, но выпивал. И ему начальник цеха огорченно говорит: «Эх, Вася, какие у тебя золотые руки, какая голова. Вот ведь только выпиваешь ты, Вася. А не выпивал бы, я б тебя давно бригадиром сделал». — «Зачем это мне нужно, — ответил Вася, — я выпью, так я себя директором чувствую».

Возвращался я в печали, еще бы — с такой обреченностью, даже радостью гибнут мужики. И анекдот не

прост, его я раньше нигде не слышал, только здесь — в нем тоже одна из разгадок характера. Пришел в печали, и не работалось. Включил телевизор, областное телевидение вдруг передает, что слесарь из Залазны, фамилию я не расслышал, сделал самолет и летает на нем. И показали и его самого, и самолет, и то, как он взлетел и сел.

Итак, ставим эти два факта рядом. Какой мы берем для истории? Какой факт лучше для нас, чтоб нас потомки вспомнили? Конечно, умельцев из Залазны. Но и Саньку с Петей жалко.

Однажды в областной библиотеке, в «герценке», после встречи ко мне подошел невысокий, еще нестарый мужчина, сказался, что из Кирово-Чепецка. Спросил: «Как вы думаете, сражались вятские в Куликовской битве?» — «Да, обязательно. Мы тогда соотносились с Тверским княжеством, с Новгородским, с устюжанами, тем более известны были как прекрасные воины. Так что я уверен, что мы в битве участвовали. Иначе, почему же нас тянет побывать на поле Куликовом? Голос крови». — «Это я согласен, — сказал мужчина, — а сейчас, значит, что получается: Иван-дурак да Машка-дрянь пошли на именины. Да был бы пирог хорош. И все?» И он яростно посмотрел на меня.

И этот третий вариант вятского характера — думающий — мне очень дорог. Итак, один лежит, другой летит, третий думает.

Своя своих не познаша

Эту пословицу, известную повсеместно по России, подарили миру вятские совместно с устюжанами. Случай этот известен, а вкратце, кто не знает, она сложилась так.

Вятичей тревожили племена вотяков и черемисов. Причем видны были их сношения, ибо они нападали враз из мест, друг от друга отдаленных, от Чепцы, Пижмы и Кокшаги. Положение вятичей было опасным. Они обратились к устюжанам с просьбой о помощи, и те эту помощь выслали. Цитирую: «Силы устюжан, как видно, были довольно значительны, потому что неприятель, осаждавший Хлынов, услышав о такой подмоге еще до прибытия ее, снял осаду и рассеялся. Прибытия устюжан ожидали хлыновцы с западной части своего города, с Орловского тракта. По какому-то не объясненному случаю устюжские дружины в одну темную, глухую ночь под-

ступили к Хлынову со стороны реки Вятки по северному рву нынешнего оврага Раздерихинского, у которого в то время, сосредоточив все свои силы, находились хлыновцы, ожидавшие приступа неприятелей. Непредупрежденные о прибытии устюжан с этой стороны, по темноте ночи они не узнали их, приняли за врагов и вступили с ними в бой. В дело против своих союзников употребили они все заготовленные для неприятеля снаряды и орудия, как-то: бревна, кипящую смолу, каменья, стрелы и пр. и пр. Множество устюжан улегло на этом месте. На рассвете только увидели хлыновцы свою ошибку, прекратили побоище, бросились к союзникам в объятия и горько заплакали. В одну общую могилу положили хлыновцы тела убиенных. Над этою могилою построили они часовню и установили всегда ежегодно, в четвертую по день пасхи субботу, отправлять там панихиду».

По поводу этого происшествия вятчан, как людей, которые «своих непознаша и побише», прочие русские прозвали слепыми. Потомки же этих вятчан наследовали пресловутое прозвище «слепородов».

Деревянная часовня стояла до середины девятнадцатого века, потом была заменена каменной. Могила находится напротив сада им. Степана Халтурина, бывшего Александровского, на другой стороне Раздерихинского оврага, по дну которого положена булыжная, сохранившаяся доселе мостовая — спуск к Кировскому речному порту.

Долгие годы в день памяти по убитым после панихиды делалось гуляние для детей. Сюда привозили из Дымковской слободы глиняные игрушки, расписанные глиняные шары, праздник назывался «свистуньей», а в народе «свистопляской». Теперешние попытки его возрождения пока тщетны. Причина одна — очень дороги стали глиняные свистульки, разбить жалко. Из предмета забавы они перешли в предмет декоративный, их мера — ладошка ребенка, которая, кстати, вообще как мера игрушек, давно увеличилась и доходит до размеров комнатных скульптур по цене соответственной. Выражение «свистеть, просвистеть» было уже тогда. «Чего уж теперь, свисти не свисти, все уж просвистели».

Одна из догадок именно такого понимания — свистом, — такова, что промысел «дымки» привезен из слободы Дымково под Великим Устюгом. Об этой догадке я читал, а когда был в Великом Устюге, то и слышал. И до чего же живуча история, настолько она рядом, что меня, вятского, всерьез упрекали за то, что тогда случилось.

«Что ж вы это, а? Мы ж помогать шли, сами же вы просили!» Я оправдывался как мог. Упрекали меня и в сожжении Гледена — города, стоящего напротив Великого Устюга. И вообще говорили, что вятские — разбойники. Я склонял мнение устюжан к тому, что шалили не вятичи, а пришлые, нашедшие приют в Вятке и сплотившиеся. «Но звали-то их вятскими, вот и отвечай».

Через три года после Куликовской битвы в Вятке на реке Великой явилась чудотворная икона Николая-угодника. Река названа Великой именно по этому событию, как и Великорецкая последующая ежегодная ярмарка. Этот образ обнаружил один крестьянин. Может быть, икону занесли сюда русские, скрывавшиеся от нападения язычников. Он принес ее домой, и о находке никто не знал, но далее произошло то, что она исцелила больного, которому представилась во сне. Об этом узнали в Хлынове и пожелали перенести икону в город, но «произошло следующее чудо: священники Великорецкой церкви, несмотря на все свои усилия и помощь народа, не могли поднять икону Святителя, чтоб нести ее в Хлынов». Тогда решили, что пусть так и будет — чтоб образ остался в Великорецком, болото вокруг него обсохло само собою, а в Хлынов образ носился раз в год. Открытки конца прошлого и начала нынешнего века дают представление об этом событии — вся река Вятка сплошь покрыта лодками, окружающими пароход с духовенством. Встречали образ у села Филейского, за семь верст от города. Впоследствии был основан Филейский монастырь (не сохранился). И все-таки вскоре образ Николая-угодника был перенесен в Хлынов в специально сооруженный для этого храм, но ежегодно носился в Великорецкое, как бы бывая в гостях на месте своего обретения. День его переноса (обычно середина мая по старому стилю) был воскресным и означал к тому же открытие знаменитой Великорецкой ярмарки. Вятичи не упускали возможности совмещать приятное с полезным.

К слову заметить, хитрости вятичей иногда смешны и ничего не дают. Мешает образ мышления. Вятские ищут не выгоду, а интерес. Ходил сегодня смотреть, как замерзает река. У закраек уже толсто и можно постоять. Вода по сравнению со вчерашним осела, лед стал как навес, и я зачем-то стал ногой обламывать край льда. И вдруг весь прибрежный лед обломился в воду. Хорошо, я держался за ветку вербы, а то бы булькнул. Сел я с мокрой ногой смотреть на свою льдину — уплывет или пример-

знет. Развернулась она и остановилась, вода со стеклянным шорохом звенит, солнце светит. Завтра опять пойду смотреть.

Возвращаюсь — новые встречи. Идут старухи, громко разговаривают.

— Ак у Павла-то оба в армию сходили?

— Оба. Один-то уж по три зимы ездил в Киров, на кого-то учится, на кого не скажу, не умею по-новому говорить, внучка всю засмеяла.

— Дак и второй выслужился?

— Нет, второй-то не учится. А в армию сходил.

— Так я это и спросила.

В поселке у столовой из автобуса выгружается свадьба.

— Айда в столовую! — кричит женщина.

— Ты чего хоть это — со свадьбы да за стол.

— Я не есть, а плясать.

Едет мужик на лошади. Сани наполовину тащатся по снегу, наполовину по земле.

— Садись!

— Да мне только до поворота.

— Все равно садись. Все, глядишь, не пешком.

А до поворота десять метров.

— Ну, спасибо тебе.

— Не за что. Чего, по договору здесь?

— Нет, сам.

— Ну так тем более. — И мужик уезжает.

Что тем более?

И еще картинка. Подвыпивший старик на улице не поет, не кричит, а орет.

— Ты чего раззевался? — останавливают его женщины.

— А чего, нельзя?

— Нельзя.

— Да что же это такое, — возмущается старик. — На работе нельзя, дома нельзя, где можно?

— Иди в лес и хоть заорись.

— В лес не пойду.

— Боишься?

— Медведей жалко. Испугаются, а их мало.

— А нас не жалко? — спрашивают женщины.

— А вас ничем не испугаешь, — отвечает старик.

И все довольны и смеются.

Мне кажется, такие примерно разговоры можно было

слышать и в прошлом и в позапрошлом веке. Но вот возвращаюсь, включаю телевизор.

— Плодовые и плодово-ягодные растения вступили в период глубокого органического покоя.

Это надо понимать, что зима наступила. Выступает ученый. Дальше:

— Температура почвы в области узлов кущения выше среднегодовой нормы.

Нет никаких физических сил слушать такой язык. А ведь о природе, о деревьях и кустах, о хлебе, о земле. Чей он сын? Это была передача кировского телевидения. Московского не лучше, но от этого не легче.

Нечего мне было сказать и в свое оправдание и в оправдание предков, когда говорили в Великом Устюге о прошлом. Одним я их задел: «Что ж вы, такой значительный для истории город, а даже областным центром не стали?» Закряхтели устюжане. И отнесли-то их даже не к Архангельску хотя бы, а к Вологде. «А я знаю, чей Великий Устюг, — сказал я, — он вятский и больше ничей».

И в самом деле, бывавшие и в Великом Устюге, и в Слободском, и в прекрасных краеведческих музеях несомненно увидят много сходства. Конечно, Великий Устюг больше сохранился.

Очень не хочется мне переходить к тем страницам вятской истории, которые испещрены описаниями, преданиями то ли воинских подвигов, то ли необыкновенно дерзкого разбоя. Может быть, надо последовать правилу, которое я слышал здесь же, на родине: «Не тянет куда нога, туда не ходи», то есть перефразируя: не тянется рука описывать, не описывай. Тем более нельзя подменять историков, которые должны быть, в отличие от писателей, лишены эмоций. Я же ими полон. С содроганием при каждом приезде я слышу рассказы о происшествиях на дорогах, авариях, убийствах. Пристрастно каждый раз спрашиваю, вятский ли тот, что совершил преступление? Все-то мне кажется, что не могут вятские участвовать в чем-то нехорошем, что, если и участвуют, по дурости, втянутые другими. Но увы, уже могут.

Но не может не восхитить удаль и отчаянная, отпетая отвага походов вятчан. В данном случае я употребляю этот термин. Они держали под контролем неизмеримые пространства от средней Волги до Белого моря. И не считались ни с московскими, ни с новгородскими князьями.

Но почему так получается и уже так почти принято, что история у нас — это войны, смуты, то есть, по сути, отклонения от нормы. Норма — нормальная жизнь, подчиненная смене времен года, прохождению жизненных циклов. Сотни и сотни страниц публикаций вятской архивной комиссии, созданной в начале этого века, прочел я благодаря «герценке». С незапамятных времен смысл этих документов один — земля и люди. Жалованные грамоты монастырям, тяжбы из-за лугов и лесов, обложение податями в пользу общин — эти документы основные. Военных очень мало, разве что о картофельном бунте и участии в Смутном времени. Тем более странно было прочесть мне в «Кировской правде» (15.11.84): «В архивах области хранятся документы с 1711 года, насчитывается два миллиона дел». А где же тогда тысячи и тысячи документов гораздо более раннего времени, которые печатались в выпусках Архивной комиссии? Вопрос очень резонный. Больной вопрос. Он из ряда того же — о забывчивости родства, кто мы и откуда?

В той же газете о сельских школьниках, их приобщении к труду. Это очень хорошо, это просто необходимо. Ребята учатся производству. Но если те же ребята не знают ничего, как теперь говорят, о малой родине, говорю это с уверенностью, ибо многократно спрашивал, то дело плохо — ребята могут стать приложением к производству, роботами по поставке кормов, фуража, по уходу за машинами и животными. А знали бы своих предков — стыдились бы жить плохо.

— Ты чьих? — всегда был на Руси такой вопрос.

Очень много в Вятке именно таких фамилий, образованных от ответа на этот вопрос. Фоминых, Русских, Деревских, Кузьминых — это все вятские фамилии, и подобных много.

Чьих мы?

Вятские мы, вятские, люди хватские.

«То-то, люди, эй, ребята, Вятка Ванями богата...»

Семен Веснин ровесник Кузьмы Ершова (год разница). Оба семинаристы. Ершов, сибиряк, одарил литературу «Коньком-горбунком», вятич Веснин «Рассказами бабушки о Ванях-вятчанах». Всемирность известности ершовской сказки затмила многое из написанного на на-

родные мотивы. «Вани-вятчане» и прежде были малоизвестны, а сейчас прочно забыты. И просто необходимо в «Вятской тетради» рассказать о них.

Книгу «Вани-вятчане» издал в 1913 году А. П. Чарушников. Но когда книга была издана первый раз, неизвестно. Может быть, Чарушников издал ее по сохранившейся рукописи.

В «Библиотеке для чтения» в 1834 году были напечатаны отрывки из «Конька-горбунка». Это, полагает в предисловии Р. Н. Блинов, воодушевило Веснина к написанию похождений вятских Ваней. Может, и так.

Семен Веснин овдовел в двадцать два года. Двадцати пяти, исходив святые места России, был пострижен в монахи с именем отца Серафима, на Афон прибыл в 1843 году, где принял схиму с именем Сергия и стал, как говорили тогда, святогорцем. Он много писал религиозно-нравственных писем и был знаменит в России этими письмами. «Письма Святогорца» многократно издавались в России в 19-м веке. Умер Веснин в 1853 году, 39 лет. Теперь непосредственно о сочинении. Оно делится на части и главы.

Первая глава называется «Поездка в Устюг».

Вот стоят в запряге сани
и два вятчанина Вани,
снаряжаясь в дальний путь,
хлеба на сани кладут.
Склали, богу помолились
и до Устюга пустились.

На третий день метелица, что «ни неба, ни земли Вани взвидеть не могли». Один побежал за возом согреться, другой на возу «пошевеливал ногами да почекивал зубами».

Добрались до ночлега. Хозяин, узнав, что они с Вятки, подшутил, ибо знал, что они, чтоб наутро не сбиться с пути, вечером ставят сани оглоблями в ту сторону, в какую завтра ехать. Дальнейшее понятно, сани повернули, братья утром запрягли и поехали. Едут день-другой, «Все им кажется не ново! Глядь-ка, это ведь Орлово». Другой брат упорствует, спорит, что едут правильно, наконец, узнали свой дом. «О, как черт морочит нас. Ну-ка, Ваня, разувайся, стелькой в обуви меняйся» (это по примете обороняло от лешего). Стельками поменялись, но «по-прежнему их дом с воротами и крыльцом... жены в шубах меховых тут выходят встретить их».

Погоревали братья и решили ехать на другой год в

Москву, тоже продавать хлеб. Приезжают, дивятся на колокольню Ивана Великого. «Надо голову загнуть, чтоб на крестик заглянуть... высока, однако, крепко, чай, не вылучишь (не докинешь) и щепкой...» Во время дивованья у них украли «и воза и лошадей да сумку сухарей». Они жаловаться, плакать, над ними хохочут: «Что за этакой народ, словно вятский зеворот? — То-то, батюшка, мы с Вятки, не ошиблись вы в догадке». Но что делать? Наши Вани «повыли сколь могли да пешком и побрели».

Главка «Дом без окон».

Все-таки Вани не только обокрадены в Москве, но и кое-что повидали. Они слышали, что есть дома без окон, и увидели такой дом в Москве. Зачем он, они не поняли, но решили: «Дай-ка мы так смастерим, то-то вятчан удивим». Вернувшись в Вятку, стали делать задуманное, а народ действительно дивится: «Дом без окон? Да кому? Аль, ребята, на тюрьму?»

«Ладно, — думают Ванюши, — взвеселим мы ваши души». И вот они достроили дом, а в нем темно. Стали лукошками носить в него свет. «Но сколь свету ни таскали, только время потеряли». Бросили пустое занятие, «прорубили окон ряд, стали жить да поживать. И у Ванек тех светелки развеселы, да и только!» Другие Вани, чтобы переФорсить братьев, построили дом без трубы, а дым из дому выносили решетами.

И свет лукошками, и дым решетами уже носили в устном народном творчестве. Все же кажется, что знание пошехонцев более пристало к вятским, трава у них вырастает не на бане, что не диво, а на доме. Это мы узнаем из присказки к следующей главе. Вырос на доме «целый густенький травник. Он не мал и не велик, две-три зрелые травинки. — Как бы, Ваня, и скотинке их не худо бы скормить, — младший Ваня говорит». Другой — «плетенчик завивает он козленку на рога, тянет вверх: — А ну, врага!» Козленок «щиплет травку на дому и в разгуле по нему». Финал истории печален, козленок сваливается.

После такой присказки идет глава «Поросенок на нашести». «Наши Вани, два-то брата, толь не славные ребята! И удалы, и умны, как-то вздумали они... сорты выводить», сорты — породы домашней скотины. Вздумали, а чего бы это поросятам не сидеть на насесте, как курицам. В самом деле, почему «поросенок на нашесть не может вовсе сесть? Глядь, известно, у враженка ведь

не куричья ножонка. Их четыре, да каких!.. как бы выучить нам их?» Взяли подопытного поросенка, установили на насест. «Поросенок на лоб — бух, только скрюкал бедный рюх». Вопреки ожиданиям наши Вани не печалятся. «Надсажалися, смеясь, хохотали оба враз... Эко дьявольское рыло, чтоб тя, черта, задавило! Ты недаром у татар, словно в горле нож, пропал». Больше того, Вани удивляются: «Как тебе б не сесть, враженку, уж добро б одна ножонка. Ведь четыре у врага, вишь какая комуха». (Комуха — это опять же нечистая сила, слово диалектное.)

В начале второй части автор, скромничая, сообщает: «Эй, не время ли уж, братцы, за рассказ мне приниматься?» Будто и не было описания поездок в Устюг и Москву, опытов строительства домов без окон и труб, выведения новой породы поросят, он замечает единственно: «Все, что сказано — не диво, если только справедливо».

Первая глава второй части «Чествуют воеводу»:

> Наши Вани каждый раз,
> не бывали без проказ.
> Вот, по жалобе народа,
> выбыл с Вятки воевода...

Тут немного непонятно: раз он выбыл, то зачем далее Вани начинают совещаться о подарках воеводе. Они стали думать, «как ему во славу, в чемть да подарочек приннемть; знать, втереться, чтоб тем в милость... Заседание открылось».

Избираются для такого дела три Вани — Догадца, Дока, Удалой. Они решают вместе с хлебом-солью поднести на скатерти еще и кулаги в корчаге. (Кулага делалась из солода или «рощи», варилась в сусле, в данном описании с калиновыми ягодами вдобавок.)

Воевода, «в приемный выйдя зал, Ваней-вятчан выжидал». Наши послы опозорились. У Догадцы развязался лапоть, на лапотную веревку наступил Удалой, «на Догадцу пался Дока», корчага разбилась, кулага расплылась. «Воевода поглядел, рассердился, не стерпел... — Да какой вы это дряни нанесли мне? Эки страни!» И угостил послов в свою очередь на свой манер, да так, «что к ненастью и под старость это после вспоминалось».

Глава «Рекрутский набор».

Воевода обнародовал приказ о рекрутах. Вятчане сразу же «пришли и такую речь вели: «Мы узнали, что царь-батька выслал нам указ на Вятку о наборе... все мы

хочем быть в солдатах». — «Что вы, сбесились, ребята?» — спрашивает воевода, ведь призываются только по два человека «с пятисотка». Вятчане упорствуют: «Все мы в службе хочем быть, что те нужды нас учить?.. хоть посмотрим Москву-матку, а она не то, что Вятка! Там, чай, горы серебра, да и всякого добра». Воевода решает: «Ну, как хочете, ступайте, гей, всем лбы им набривайте».

Автор далее спрашивает: «Думать можно: без оглядки все пошли в Москву из Вятки? Нет-с, помилуйте!.. Пальцы рубят, зубы рвут, и в солдатики нейдут... и из прочих чуть нашелся кто охочий...»

Глава «В походе».

Далее идет рассказ, как партия вятских призывников следует в Москву. В ней и наши знакомые Дока, Догадца и Удалой. «Простившися с семьей, шли дорогой столбовой». Дойдя до большой горы, Дока задирает голову и делится соображением с Догадцей, что с такой горы, наверное, видно Москву. «Дай мы высмотрим ее». И они полезли на гору, за ними остальные, на горе высокое дерево, полезли на него. «Партионный видит: худо! «Эй! ребята, что за чудо, да зачем лукавый бес вас на дерево понес!» Велел слезать, но Вани карабкаются все выше. Больше того, Дока стал рубить за собой сучья, чтоб за ним не лезли. «А Догадца, что ль, уступит, и Догадца тоже рубит... И очистив сучья с ели, на вершину Вани сели. Смотрят там и сям, но что ж? Нет Москвы, гляди, как хошь!»

Надо слезать. А как же? Полезли, ставить ногу некуда, «Вани кубарем с дерев! шел тут стук, да шум, да рев. Сколь ни строг был партионный, по инструкции законной, — уж ругал-то их, ругал... но не смог, захохотал: «Эки вы, какие черти ну, что если бы до смерти заразились вы теперь? Я б к ответу и поспел. Впрямь-то Вани — слепороды! Что за этакой народ? Уж прямой-то зеворот».

Пошли дальше. Ночь. Ночевать. Стали на подворье. «Что послал бог — закусили; то да се поговорили, а окончив поздно речь, улеглися все на печь».

Знающие фольклор сразу догадались, что далее следует история «Перепутались ногами».

Проснулись. Вставать, а не могут разобрать, где чьи ноги. «Некошной бы вас побрал, — партионный закричал. — Экой вятский зеворот! Обуваться и в поход!» Догадца подает голос: «Не лакей же я для друга обувать

и чередить...» Поднялся тут шум такой, что хоть в омут головой. «Что, распутались вы, дряни? уж прямые-то вы Вани. Бестолочь вятская и есть. Вам, чай, двух не перечесть».

Разобрались, помаршировали далее.

Главы «Ружья» и «Выстрел».

Увидели у охотника ружье, решили купить. «Догадца как знаток на ружье со страхом смотрит и по-вятски зеворотит». Стрелок запросил пять рублей. Показалось дорого. Тогда он спросил по рублевику с брата. Согласились. «И взамен пяти рублей взял с них в десять раз грудней».

Купили. А как стрелять? Знают, что нужен порох, спросили. Стрелок ответил, что он порох сеял, снимал урожай, и, «смотря по умолоту с ним пускался на охоту».

Мечтая пальнуть так, что звук «в поднебесье разольется, и в Москве, чай, отзовется», Вани приступают к выстрелу. Рассуждают: «пророк-то уж Илья не палит ли из ружья, как гремит на небе летом? Глядь, там молнья, искры с светом, так ведь сыплет в облаках, что вот пять да шесть в глазах»...

Все подкладывают порох, мотивируя тем, что «аль моя грешна щепоть?». «Все пороху валят, и уж так ружье набили, чтоб хоть черта б, так сразили». О том, кто будет стрелять, опять спор. Ведь каждый платил. «Уж стрелять, так, буди, грудой». Но не всем прилучилось ухватиться за ружье. Дока предлагает тем, кто остался, встать «прямо дула», поднять руки и как ружье выпалит, то ловить порох, чтобы набрать на новый заряд. А потом уж и они выстрелят.

«Выстрел шумкий прогремел... рассыпаясь эхом громким. Ложа вдребезги, в обломки разлетелась ровно дробь. Тут кому взорвало лоб, кто без рук, без ног валится, иль в сажени очутится. Кто лежит без головы. Все как купаны в крови». Жуткая картина. Но «где-то бедный партионный? Он наехал, прискакал, но их вживе не застал... и про этот горький путь он донес в Шемякин суд. Но Шемяка, он был занят. — Ну, — сказал, — им вечна память. Уж не надо ли реветь, хоть всем там околеть».

Смягчая свирепость Шемяки, в конце главы автор желает: «братцы, всем спокойной ночи».

А третью часть начинает: «С добрым утром поздравляю, ну ведь все я продолжаю об Иванушках своих, о проказниках былых». Но как же так, они же все полегли? Нет «хоть Вани и убились, да и снова народились». Да-

же так, что «ныне Ваней боле стало, да и Ванюшек о-о! слава богу наросло. То-то люди, эй, ребята, Вятка Ванями богата».

Ванюшка Различай едет в Нижний на Макарьевскую ярмарку, едет, «песенку поет: «Как у наших у ворот». Едет торговать. «Разобрав свои товары, тотчас продал на базаре, денег кучу получил и в кисетик их зашил». И ехать бы Ванюшке домой, да застрял, загулял, «пунширует и уж любо как пирует». И допировался: какой-то плут ему «в карман-то слазил, над Ванюшею спроказил, деньги счалил и утек, а Ванюше невдомек». Возвращается. «По тракту по столбовому весел катится до дому... невдолге «Вниз по матушке по Волге» со присвистом затянул, солового пристегнул и катится веселенек здрав и с выручкою денег».

Радостно встречает жена Надюша муженька. «Чарку водки налила и Ванюше поднесла. Он всю выхватил с дорожки и поужинал немножко. — Ну, сердечная, мне Бог все товары сбыть помог». Хвать за карман, а «от денег только место, где лежали... Сердечная жена тут такого лизуна сгрела мужу, рассердяся, что избушка потряслася... сколь Ванюша ни был борз, от жены едва уполз».

Прочитанный отрывок дает право утверждать о весьма раннем проникновении эмансипации на Вятку. Спрячась, Ваня рассуждает про жену, что отдал бы ее «хоть ведьме в пережогу, без копейки, на, возьми! хоть бы дал кому... взаймы! эко дьявольское семя! и хлопот-то с ней беремя...» и тому подобные мысли, но в конце главы «сколь долго ни сердился, как-то ночью помирился. Стал с ней жить да поживать. И жена ему как клад!»

Глава «Словил вора».

Не может преступление остаться безвозмездным. «Время катит мимоходом, день за днем, и год за годом, через год Ванюша вновь катит в Нижний для торгов». Чтобы словить вора, он оборудовал карманы удами, да такими, что «лезть в карман благополучно, а назад-то неподручно», и... ловит прошлогоднего «кисетчика». Кисетчик возвращает украденное, обещает не воровать и, прощенный, уходит. «Так потом Ванюшу знай и с субботы поминай».

Штука в том, что история с торговлей, женой, вором оказывается все еще присказкой, а уж вот теперь-то «будем приниматься и за Ваней записных, за проказников былых».

Глава «Садовники».

Есть много степеней лени. Классическая: «Лень, отвори дверь, сгоришь». — «Сгорю, да не отворю». Но наши Вани побеждают и эту лень. Двое Ванюшей лежат под деревом, один мечтает, чтоб яблоко само упало в рот, второй, зевая: «Как тебе не лень это сказать-то?»

Но и это присказка. Далее идет история «Колокол из Кая».

Большой город Кай к моменту написания «Рассказа бабушки» называется селом и «оттуда идет Ваней цела груда». Идут в город Шестаков, который «чуть ли матушке Москве не уступит по красе». В Шестакове, расписывает история, все «баско больно», огромные колокольни, но вот беда, «колокольчики» на них малы.

Вначале, непонятно зачем, Вани «пустилися по лыка. Люди — кол да перетыка. Толку в людях ни на грош: вот живи-ка тут как хошь». Надрали груду лык и принялись «молодецки и проворно шестаковской колокольне лычный колокол тут плесть... бестолочь кайская и есть».

Сплели колокол, затащили на колокольню, примастерили язык, ударили, а звука «только шлык. То еще, знать, просит лык». Спустили обратно, додрали лык, еще наплели и... не стали поднимать обратно на колокольню, а повезли шестерней в город на показ и на свое посмеяние.

Следующая прибаутка, по автору, «будет не на шутку».

Глава «Гоголь».

Данный «гоголь» не имеет ничего общего с писателем, это некое чудовище, которое движется к Котельничу «по реке на огромном челноке». Вани перепугались, стали кричать: «Час свой грозный отведи, старых-малых пощади... В молебствии святом духовенство со крестом из собора выходило и литию отслужило... Того грозного в слезах рассмотрели тут впотьмах: вместо гоголя кокору, занесенную из бору в Вятку вешнею водой, ой, Котельнич разлихой! Уж хоть грех большой смеяться, но никак не удержаться».

Но это еще что. Вани принимают серп, воткнутый в снопы хлеба, за червяка. «Слышьте, хлеб-то он точит, — Ваня сметливый кричит». Надо помешать злодею губить хлеб. Ваня Забегай отважился сходить на разведку. Вернулся, доложил: «Страшно, Вани, он с зубами!» Но делать что-то надо, ведь червяк-хлебоед может разродиться, то есть размножиться, тогда «куда мы? Как-нибудь

его мы в Каму. Ваня Смелый, ты ступай, да и ты вот, Забегай». Взяли веревку, заплели на конце петлю, пошли с великим страхом к червяку. Смелый и Забегай набросили петлю, остальные потянули что есть мочушки к Каме, «оглянулись, а где Вани?». Лежат наши Вани без голов. «Это, знать, червяк-пострел Ваням головы отъел». Стали его в наказание топить, да и сами утонули. Их жены «в печали и в слезах попричитали, да и замуж напоследок, народили снова деток».

Эти очередные дети выросли, «поженилися ладненько и живут себе честненько».

Повадился к ним медведь. Он «без следствий, без суда лупит шкуры со скота. И безбожник этот мишка, словно рехнулся умишко». И оборониться нечем — «ни копья, ни рогатки, ни ружья».

Но наши Вани, на то они и вятчане, чтоб до чего-нибудь додуматься. Додумались пойти к берлоге, опустить в нее вниз головой Ваню Догаду, а его задача «заметнуть» петлей мишку и дать знать о том дрыганием ноги. Так и исполнили, опустили Ваню, он дрыгнул ногой, потащили и вытащили... без головы. Как так? Ваня Забегайка уверяет, что утром видел Догаду с головой. Но другие говорят, что Догада и раньше был без головы. Пошли спросить жену Догады Таню. Но и для нее вопрос о голове мужа сложен. Вроде ел, вроде борода тряслась. «Так и не добившись толку, ямку вырыли под елкой и зарыли тихомолком».

Глава «Толоконники».

«Катят Вани с толокном» из Устюга. «А кто в Устюге бывал, тот бывальцем прослывал». Здесь история о том, как толокно сыпали в реку, от известных она отличается окончанием. Сыплют, сыплют, даже и воды не замутило, «осежается на дно... чтоб сгустилось толокно, надо кинуться на дно». Вызвался Забегайка. Вани «брата ждали-ждали, поглядели, постояли» и стали говорить, что раз Ваня не вылезает обратно из проруби, значит, все съест сам, им не останется, а здесь, наверху, такой холод и голод, что не выжить. И они все в прорубь «поскакали. Поминай, как Ваней звали».

Глава «На часах».

«Ну-с, у бабушки моёй есть рассказ еще такой — как-то вятские ребята были отданы в солдаты». Один дослужился до того, что был поставлен стоять на страже в царском дворце. «Прилучилось на часах при стенных стоять часах». Наш Ваня впервые видит часы. «Только

стрелка — чик! с пружинки, дрожью обдало детинку... что за дьявол, кто сидит?» Дальше еще страшней. Часы стали бить. «Кто там? — он кричит, — такова тя-сякого! — не добившися ни слова, Ваня брякнул по часам — лишь осколки там и сям». Часы затихли. Наш часовой доволен: «Будешь знать приказ!» Ему же было велено «не пускать тут никого, чтоб ни шуму, ничего».

Прогулялся молодцевато по дворцу. И новое приключение — перед ним зеркало во весь рост. А в нем солдат с ружьем. «Ведь же не было приказу, чтобы двое было сразу... Часовой ответу не дал, артикулы те же делал, что и Ваня на часах. Ваню обнял сильный страх».

Опять же на вопрос: что делать? — Ваня отвечает посвоему. Погрозил штыком тому часовому, тот тоже. Тогда на него в атаку — зеркало вдребезги. Надо отдать должное появившимся царю с царицей, они не наказали солдата, похвалили. «Славно, братец, ты сражался».

Глава «Переправа».

Ваням дали отпуск. Пошли «полегоньку на родимую сторонку». Уже видят за рекой Вяткой родные дома. «Как попасть им через Вятку? Вани разом на ухватку, взяли бревен плотовых, на реке вить много их». Далее опять же известный рассказ о том, как садились на бревна, связывали под бревнами ноги, плыли, бревна переворачивались, Вани плыли кверху ногами. Задние хохотали над передними, тоже садились на бревна и тоже тонули. Автор сожалеет над их гибелью, ругает Вань за бестолковость, замечает, что не надо бы допускать до таких глупостей, «только трудно допустить, ведь у Ваней все кипит». Вани не вначале соображают, а потом, когда зачастую поздно.

Глава «Рак».

Увидя рака, Вани изумились: «...что за выродок шайтана... да и ходит как проклятой». Ваня, бывавший в Устюге, говорит, что это портной, что клешни — это ножницы.

На этом мы прощаемся с Ванями. «Ложь вам, братцы, в заключенье и спасибо за терпенье». Отдаются последние почести бессчетному числу погибших в течение рассказа Ваней. «Вахлачки они на веки, знамо — божьи человеки — у них правды нет, а прибауток много слышал я, без шуток. Что лишь брат наш, зеворот, только чуть разинул рот, тотчас молвят по догадке: «Э, да ты, брат, знать, из Вятки!.. И примолвить, братцы, вам, по наречью и словам, где бы ни было нас знают и по Ваням

величают. Вятский Ваня, слепород, толоконник, зеворот! Знать-то, вятчан я обижу, больно, право...»

И мы закончим на этом «больно, право».

Сопоставление с «Коньком-горбунком» историй вятских Ваней вряд ли правомерно, «Вани» — попытка сказать о людях в связи с жизнью не сказочно. Еще и в 1913 году, в предисловии, называя «Ваней-вятчан» «репертуаром балагурства», упрекая земляков в глупости и ротозействе, Н. Блинов говорит также об их пытливости, любознательности, непрерывной готовности на деле испытывать теорию проб и ошибок. «Нелепы их предприятия...»

И пишет о вятских как о туземцах: «На вопрос: ты откуда, вятский сам задает вопрос: «Кто я-ту-у? Я вячкой». Рассказов о них много. Идет по Вятке караван судов. Проезжий спрашивает: чьи барки? Ответ: «То не барки — коломечи-и». — «Товар какой?» — «Не товар, а золезо». — «А народ?» — «Не народ, а бурлаки».

И эти бесчисленные «ты-то, я-то, ведь, уж» — это тоже из вятского говора, в котором и оканье, и цоканье, и чоканье. Что говорить, после армии, в шестидесятые годы (я учился в Москве), стоило мне заговорить, как на меня смотрели с огромным, насмешливым интересом. Но великая вятская формула: «Как говорим, так и пишем», что видно и по «Рассказам бабушки», наиболее сближает речь устную и письменную.

Из личного опыта. Когда появлялись первые отклики на первые мои публикации, я жадно набрасывался на них и... разочаровывался — писали и хвалили за язык, а мне так хотелось, чтоб и за сюжет похвалили, и за характеры типические в типических обстоятельствах. Потом понял, что мне самой жизнью дано великое от отцов и дедов — выражать мысли так, как они возникли, рассказывать о событии так, как оно произошло. Это, кстати, беда для вятских, они ничего не умеют скрывать, говорят о себе правду. Но не в этом ли и счастье и спокойная совесть?

По одной из догадок вятский говор сохранил чистоту оттого, что русский язык здесь как бы был законсервирован — отовсюду Вятку окружали угро-финские и татарские племена, прорыв на северо-восток соединял с чистым говором Устюга и Архангелогородчины.

И последнее: меня считают смелым человеком, а я не смелый, грозы боюсь. А говорю всегда то, что думаю. Что с женой наедине, что на трибуне. А что мне скрывать,

какие я секреты знаю? Да никаких. И тем более даже все тайное станет явным. Вон Вани. Может, и хотели бы что скрыть из своих подвигов, а мы все равно узнали.

Свадебная «молитва» дружки

Как доказательство умения красно говорить, вставляем в тетрадь монолог дружки из свадебного обряда. В записях обрядов других мест подобного не встречалось.

Запись произведена в селе Кумены в 1907 году.

«Доброе здоровье, сват и сватья! Поздорову-подобру подъехали к вашему двору. Где ваша избенка стоит, тогда-то я, друженька, начал молитву творить. Дверь в сени отворилась, я легонько скок в сени через порог, насилу ноженьки переволок. Направо, налево поворотил, за скобу схватил, в избу дверь отворил. В избу, а не в клить, надобно, сватушки, дружке язык отлить, тогда я, друженька, смогу половчее говорить.

Здравствуйте, все вы, гости званые, а мы жданные! Вас-де, быть может, позвали, а нас-де, быть может, вы дожидали.

И дайте мне, дружке, дорожку не узку, вдоль по горенке пройти, до святых икон дойти, со гостями поздороваться и с вами-то, сватушка, познакомиться!

И пора вам стаканчик поднести и дружкину молитву не стрясти. Вот-то, сват предорогой, выступай правой ногой, поговорим-ка мы с тобой, как мы сватались, кумились, в одну горенку сходились. Пивцо, винцо пили, при этом деле посторонние люди были. А и вы, сватушка, оказались товарцу продавец, а наш-де сочинитель свадьбы купец. Так-то он товар покупал, все ли деньги отдавал? Подашь рюмочку, а как две, скажу, сватушка, где.

Вот наш князь молодой и сват дорогой позвал свою родню к сегодняшнему дню. Меня избрал в дружки, ехать вперед по дорожке. Ехать умеренно на своем мерине и ехать не промчаться, под окнами постучаться.

Собрались мы ехать с полночи, ехали изо всей мочи, так сильно понужали, что нас пешком достигали, а некоторые даже опережали.

Ехали чистым полем, полем стало пыльно, поехали по лесу, в лесу стало дымно. Попал нам волок, не широк, не долог, всего семь елок. Как я на вершины посмотрел, очень выпить захотел.

Сват и сватья, едет свадьба к вашей деревне, как к большому городу́, скоро будет в вашем дому, как в высоком терему. Вас, сватушка, покорнейше прошу, на широкий двор выходите, дубовые полотенышки растворяйте, кленову подворотенку вынимайте и молодцев с поклоном на двор приглашайте.

А я, друженька, первым на двор въезжал, язык прижал. Нет ли у вас примочки из сороковой бочки во рту помочить, мой язык подлечить.

А теперь, сватушка, прикажите трубу прикрыть, дверь притворить, я начну молитву творить: «Господи, Исусе Христе, боже наш, помилуй нас!»

Сват и сватья, сегодня ли у вас свадьба? (Ответ: «Сегодня».) У вас сегодня и у нас сегодня. Наш князь молодой находится в добром здоровии. Ваша княгиня в каком положении? (Ответ: «Слава богу».)

Свадьба едет по вашему полю на наших конях. Кони у нас вороные, ямщики молодые, сани городовые, оглобельки точеные, копыльца золоченые, заверточки шелковые, чересседельнички моржовые, дужки строченые, колокольчики золоченые. У нас поезжане все не бедные, на всех валенки кукмарские, тулупчики боярские, шапочки бобровыя, перчаточки козловыя, шарфики вязаны, головки примазаны, на поле выезжали, коней установляли, а меня, дружку, вперед посылали, спросить и расспросить и чего для нас попросить.

Сватушка, дайте нашим лошаденкам караульничка необлыжного и надежного, чтоб привязанных не напоил и обузданных не накормил. Дайте нашим лошадкам сена по копне, овса по зобне, а моей лошадке всего вдвойне, потому что она вперед бежала, струги рассекала и путьдороженьку топтала и меня, друженьку, не изваляла.

Я, сватушка, по вашим лесенкам ходил, все ноженьки надсадил, нечем ли у вас, сватушка, горло помочить, мои ноженьки полечить? Ах, сватушка, вот-то так, нельзя ли выпить хоть за пятак?

Вот, сват и сватья, нашего князя молодого прошу с добрым словом, с низким поклоном посадить за столы дубовы, за ложечки кленовы, за скатерочки клетчаты, вилочки ревчаты, за яства сахарны. Напойте, накормите и, если милость будет, подарите шелковым полушалочком, тысяцкого — белым полотенцем, поезжанушек — мерным аршинцем, а поневестницу — белой ширинкой, а меня, друженьку, — целой новинкой.

Но, сватушка, подавай пивцо жбанчиком, винцо —

стаканчиком. Нам не нужно стаканчики избирать, лишь было бы в обе руки забирать.

Вы, стары старики, хотя званы родники, идите в кут, где мухи ткут. Принесут вам шерсти пуд, вы эту по клочкам перебирайте да на сорта кидайте, куда какая идет, дружка поверить придет. Когда мы будем отправляться, вы будете вперед продвигаться. Но кто из вас не послушает нас, не пойдет в кут да не будет тут, того мы сами в кут отведем, в великий срам приведем: посадим ко стене лицом, ударим по спине бичом.

А вы, старые старушки, седые разлапушки, косые заплатушки, идите на полати лук перебирати.

Вы, молодые молодушки, одна другой подружки, садитесь на лавку подружнее, про наших поезжан пойте песни веселее и во все горло качайте, каждого по имени величайте, с каждого по пять копеек получайте. С этого пятак, с вон этого пятак, но с меня, дружки, так.

Но вот, сватушка, помните, я вам лошадей и сбрую хвалил? Идите, теперь вы сами смотреть смотрите. Если окажется лошадь о три ноги, или хомут об одном гуже, или сани об одном полозу, тогда я вашу невесту не повезу.

Но вы, девушки, одна другой подружки, садитесь на подушки и смотрите на свою подружку.

И ты, княгиня, с подружками прощайся, больше жить сюда не обещайся, разве на то можно полагать, что ненадолго можно в гости побывать. Ты и здесь жила, не мед пила. У нас будешь жить, не сахар есть. Здесь ты плакала, слезы лила, а к нам придешь, во весь голос заревешь!

Сват и сватья, позвольте ко столу стольничка, ко дверям — притворничка, к печке — повара, чтобы, скорей подавая, поезжан не задержал. А мне, дружке, — стульчишко, четыре ножки, ложку долгочеренку, чтобы можно хлебнуть, махнуть и за пояс заткнуть и молодушек под бок ткнуть и ребят по лбу колотнуть.

И скажите моей молитве: «аминь», нельзя ль выпить стаканчик один?»

Цитата из Зеленина

Дмитрий Зеленин, выходец из Глазовского уезда Вятской губернии. Окончил в 1905 году Дерптский университет, вернулся в родные места, много ездил по рус-

скому Северу, Уралу, Сибири. Его труды по фольклористике, этнографии, народной культуре ценны необычайно. Для данной работы очень к месту цитата из книги Зеленина «Народные присловья».

Вятские люди, по Зеленину: «...чисто русские люди, даже больше. В них мы наблюдаем какую-то особенную, поэтическую непрактичность, покорность судьбе... Тяжелый на подъем, неловкий, он как бы просыпается от сна, когда вы обращаетесь к нему с каким-либо вопросом... Вятчанин очень любит семейную обстановку; он нежный отец... большой домосед; он не любит покидать свою семью, свой дом... он везде и всегда ищет себе средства к пропитанию вокруг своего дома. Он целые дни точит ложки, получая за это грошовую прибыль, но нейдет на фабрику. Здесь главный секрет, почему на Вятке получили столь широкое развитие кустарные промыслы. Здесь же секрет любви крестьянина к лесу... Ничего воинственного, заносчивого, даже тени амбиции или самоуверенности у вятчанина нет. Напротив, глубокое смирение и самое неподдельное добродушие написаны на его лице и сквозят во всем поведении... Смирение, даже незлобивость вятчан выразились и в том, что они не выдумали, в ответ соседям-насмешникам, таких же насмешек, не любят зубоскалить и в то же время не сердятся на насмешечки по своему адресу, принимая их с философским равнодушием... У вятчан сильны общественные инстинкты... Работы помочами широко развиты на Вятке. Нищенство совсем не в характере вятчан».

Для тех, кто не знает слова «пóмочь», объясню. Это совместная работа, когда люди одной деревни, улицы собираются в выходной или после работы кому-то помóчь. Работа бескорыстна. Главное в работе — радость совместного труда, общий обед после трудов. Помню, в деревне Кизерь Уржумского района я помог двум старухам сложить в поленницу наколотые дрова. Когда пили чай, хозяйка все повторяла: «Ох, какая помоченка хороша больно получилась».

Зачем ты так, матушка?

Татьяна — это женщина пятидесяти лет, а Серафима Сергиевна (именно так надо произносить — Сéргиевна) ее мать. Ее звали матушка Серафима, она была старостой старообрядческой общины. Это никакие не сектанты, а

старообрядцы, называемые раньше раскольниками, в просторечье кержаками. Вятка — край, куда ушло огромное число людей, не согласных с реформами патриарха Никона. И они сохранились с тех пор. У нас, в Кильмезском районе, были целые колхозы старообрядцев. Они очень сопротивлялись объединению с другими колхозами. По молодости лет греша и курением и выпивкой, я неоднократно нарывался на неласковый прием, когда юным журналистом ездил, а чаще ходил в заречные сельсоветы. Рыбная Ватага, Каменный Перебор, Дорошата — там было много старообрядцев. Даже одна деревня так и называлась — Кержаки. Кормили меня отдельно, а ночевать отправляли в сельсовет или в правление. Но работали они здорово, были честны до щепетильности, и местные начальники старались завхозами, завскладами поставить выходцев из старообрядческих семейств.

С Татьяной я познакомился давно и совсем по другому поводу, неважному для данного рассказа. Она как-то проговорилась, что ее мать старообрядка и что мечтает и Татьяну приобщить к себе и своим подругам. Что и мать и ее подруги совсем старухи и что, наверное, так на них и заглохнет их вера. По секрету Татьяна добавила, что бывает с матерью в доме, где они молятся, и что там прекрасные иконы. Я загорелся их посмотреть. Тем более не курил, не пил, носил бороду, то есть по внешним параметрам подходил к требованиям суровой старообрядческой веры. Знал чуть ли не наизусть письма и дневники протопопа Аввакума, суть его несогласия с Никоном, знал о первом съезде христиан-поморцев, приемлющих брак, в начале этого века, когда старообрядчество перестало именоваться раскольничеством и преследоваться. Словом, можно даже было и притвориться старовером. Но Татьяна с сомнением покачала головой.

Шло время. Приезжая, я напоминал Татьяне о своей просьбе. И однажды она свела меня с матушкой. Мы долго разговаривали, пили чай. Я с заваркой и сахаром, Серафима Сергиевна только кипяток и чуть-чуть варенья. В вопросах веры старуха могла обставить кого угодно. Очень осуждала официальных священников за роскошь, за убранство икон, чинопочитание. Но сошлись мы на любви к Аввакуму и нелюбви к папе римскому того времени, когда Ватикан возомнил о всесветной власти. Очень просяще и нерешительно я высказал пожелание увидеть иконы их общины. Серафима Сергиевна засмеялась: «Иди к нам в батюшки и владей».

И еще шло время. И еще были чаепития и разговоры. Подарки мои в виде конфет не принимались, о деньгах и речи быть не могло (так меня Татьяна предупредила), но одним подарком я очень угодил матушке Серафиме. На Кузнецком мосту в Москве на меня напал фарцовщик и сбыл мне «каноник» — служебник. Я посмотрел, а книга-то старообрядческая, и сразу вспомнил о матушке. Она обрадовалась четкости печати и крупному шрифту. Может, из-за этой книги я был приглашен в святое их место. Почему, спросите вы, все так секретно, ведь старообрядчество не преследуется. Да, они могли бы зарегистрировать общину, но какие у старух деньги, пенсии крохотны, самой молодой под семьдесят лет, надежды на смену нет. Так они и ютились в полуподвале одного из домов, куда меня привезли зимой с двумя пересадками, в автобусах с замерзшими стеклами. Я как будто в метро ехал, ничего по сторонам не видно. В темноте мы прошли по тропинке и спустились по ступенькам. Матушка Серафима не велела раздеваться, провела в переднюю. В красном углу горела голубая лампада, по стенам бегали отблески от нее. На скамьях сидели старухи в пальто и в телогрейках.

— Батюшку привела! — весело сказала моя провожатая.

— Ой, ну-ко, ну-ко, — заговорили старухи, разглядывая и следя за каждым моим движением.

Конечно, они знали, что никакой я не батюшка, что просто добрый человек, который подарил им нужную книгу. Меня провели в угловую комнату к настоятельнице общины, почти девяностолетней слепой старухе. Про нее Татьяна говорила, что она ясновидящая, и я, честно сказать, трусил предстать перед нею. Она сидела в наклоненном к стене деревянном кресле, застланном цветной дорожкой. Я поздоровался.

— На Рогожском бываешь?

— Да. И на Преображенском тоже. — Я назвал еще один центр старообрядчества в Москве. — На Преображенском военное кладбище, — добавил я. — Вечный огонь все время горит. На Девятое мая солдаты и пионеры в карауле стоят.

Она молчала. Матушка Серафима сделала знак, что пора уходить. В большой комнате зажигали рукодельные дымящие свечи. Но света оказалось достаточно, чтобы внутренне ахнуть от изумления — все стены были в ста-

ринных иконах, все ковчежные, без киотов, суровые лики святых глядели отовсюду. Матушка Серафима, явно радуясь впечатлению, показывала наиболее редкие:

— Вот «Не рыдай мене, мати», вот ангел просит апостола Петра за грешную душу, это соловецкие угодники; глава Иоанна Предтечи, «Спаситель в пустыне», «Деисусный чин», «Апостольский чин», «Праздничный чин»...

Мерцали свечи, от них теплело, старухи снимали шали, повязывались белыми ситцевыми платочками, становились на молитву. Мне следовало уходить.

Мы долго говорили с Татьяной о красоте, о редкостности икон. Листая альбомы новгородской, тверской, московской школ иконописи, видел я, что виденные мною иконы отличны от них. Что они ближе к велико-устюгским, к строгановским, что-то похожее и все-таки свое. Но в чем? Знакомая искусствовед, влюбленная в живопись Вятки, говорила мне, что не могло быть такого, чтобы в Вятке, этом центре огромного края, причем края крепкой веры, не было своей иконописной традиции. Пусть не школы.

Она ссылалась на книгу крестьянина Василия Душина, вышедшую в Казани в 1869 году. «В Вятской губернии, — писал он, — в редком доме не найдешь человека, который бы не побывал в святых местах в своей жизни». Книга называется «Воспоминания о святых местах, или Путешествие в Соловецкую обитель».

— А вот, — восклицала она, — воспоминания Спасской, напечатанные в «Трудах Вятской архивной комиссии о митрополите Макарии Миролюбове»: «Население Вятской губернии восхищало его своею набожностью, неиспорченностью и любовию к божиему храму, и он считал свою вятскую паству наилучшею изо всех, находившихся когда-либо под его пастырским попечением». А Зеленин, — не давая передышки, говорила она, — в предисловии к знаменитым «Великорусским сказкам Вятской губернии» пишет: «Думы и помыслы местного крестьянина... всецело сосредоточены вокруг вопросов хозяйственных и религиозных». Каково?

— А староверы?

— О, их традиции еще крепче. Они могли и уносить с собою от гонений иконы, но могли строго в старинной манере писать свои. Тут соловецкая линия.

Осторожно я рассказал ей о виденных иконах. Мы оба

загорелись сделать выставку вятской древнерусской иконы. Даже мечтали сагитировать музей реставрировать иконы, а потом вернуть после выставки старухам. Хватило бы, примерно прикидывал я, на три зала.

Наивные люди!

Весной похоронили настоятельницу. К тому времени я узнал, что слепой она стала оттого, что выплакала глаза. У нее было двое детей, и так получилось, что их нельзя было поминать, нельзя было за них молиться, так как оба кончили жизнь нехорошо — дочь пьяной утонула, а сын повесился. Молиться нельзя, но кто ж запретит матери плакать, она и плакала — и ослепла.

Настоятельницей стала матушка Серафима. А старостой... Татьяна. Причем не без моего содействия. Все мое содействие заключалось в том, что я говорил ей: «Татьяна, великое искусство пропадет, если не ты». Почему пропадет? Да потому, что, по обычаю староверов, они иконы не дарят, не продают, не отдают, а или пускают по воде, или закапывают. Конечно, в том случае, если их не на кого оставить. А тут как раз подходил такой случай — матушка Серафима становилась всех старше. Старухи понемногу умирали.

Татьяне было очень тяжело. И на работе и в общине. Молитвенные правила у староверов необычайно строги, особенно на всенощные, под праздники. Татьяна держалась.

У них, у Татьяны и матери, была собака, овчарка Альма. Ее завели на место предшественницы, которую я не застал. Завели, чтобы Татьяна спокойно ходила в лес. А лес она любила без ума. Так и говорила: «Люблю лес без ума». И покойный муж, по рассказам, тоже очень любил. При нем собак не держали, он всегда мог выйти из любой чащи, а Татьяна могла заблудиться, поэтому и Альма.

После смерти настоятельницы матушка Серафима перебралась в тот дом. И вместе с нею туда ушла Альма. Там я еще раз побывал. Летом, днем. Долго охваченно стоял в том полуподвале, оторвать взгляд было невозможно. Иконы в мой рост и выше или совсем маленькие (например «Успение», в ладошку) окружали со всех сторон. На стороне, противной красному углу, помещались сюжеты «Страшного суда».

Видел я эти иконы в последний раз.

И больше их никто не увидит.

А получилось так.

Матушка Серафима мучилась тем, что дочь притворяется верующей, а не верит по-настоящему. И хотя Татьяна исправно несла службы, следила за хозяйством, заказывала через третьи руки свечи с Преображенского московского кладбища, исхитрялась покупать уголь и дрова для отопления, мать все пытала ее в крепости веры.

В пасху Татьяне надо было непременно выйти на работу. Ведь она боялась, что на работе могут догадаться. Но для матери такое объяснение ничего не стоило. Она посуровела и замкнулась.

Прошла пасхальная неделя, троица, духов день, пятидесятница. Изнуренная молитвами, постом, просто возрастом, болезнями, матушка Серафима слегла.

И вот мы стояли у ее могилы, и Татьяна, заливаясь слезами, рассказывала, что последнее, что сделала матушка, — она закопала иконы. А где, никто не знает. Говорила: «Ты не для веры, для разглядывания, для посмеяния бережешь. За деньги чтоб их смотрели, пьющие да курящие, да стриженые девки в штанах, ни за что!» Кого она нанимала, где закопали, когда, не знаю. И никто не знает. Никто! И последнее, что сделала — отравила Альму.

— Прибегаю утром, лежит, шепчет: «Похорони Альму». Это ведь оттого, что Альма от нее не отходила и меня бы к тому месту привела. Отпевать ее старичок из Горьковской области приезжал, как раз из мест, которые Мельников-Печерский описал. Приехал точно день в день. Я поразилась: «Батюшка, как знали?» — «Мать Серафима заказывала». И вновь Татьяна заливалась слезами: «Матушка ты моя, зачем ты так-то, матушка?»

Татьяна завела новую собачонку... Но Альму вспоминает постоянно. Альма шла напролом, напрямую к дому, а эта собачонка ростом поменьше, в бурелом не лезет, обязательно находит тропинку. Но так и для Татьяны лучше...

Еще мы часто вспоминаем матушку. Сегодня вспоминали годы юности, танцплощадки, пластинки тех лет, особенно модную «Бэсамэ мучо». «Я ее по сто раз в день крутила, — сказала Татьяна, — а мамушка вздохнет да и скажет: «Бес вас замучит».

Такая история.

Дымка

Ласково и нежно называют эту игрушку — дымка. Ею знаменита сегодняшняя Кировская область. На высоком берегу Вятки стоит город Киров, в центре его, на улице Свободы, художественные мастерские дымковской игрушки.

Груда глины. Мешки с мелом. Ящики с красками, коробки с яйцами. Молоко. Вот почти и все, что нужно для создания этого чуда, которым любуется всякий видевший коняшек, водоносок, медведей, барышень и кавалеров, нянек и деточек, диковинных животных, Емелю на печи, Козу и семерых козлят, баранов и сказочных, похожих на жар-птицу индюков.

Всякий может взять глину, краски, мел, молоко. Но ничего не выйдет, если нет умения. А когда наблюдаешь за работой мастерицы, кажется все просто. Вот она отщипнула от глины кусочек, раскатала его колбаской, вот взяла глины побольше, расшлепала в лепешку, вот свернула лепешку воронкой, оказалось — это юбочка. Сверху приделала голову, руки, колбаску изогнула коромыслом, вылепила крохотные ведерки. На голову налепила высокий кокошник, приделала крохотный носик и поставила сушиться. Стоит водоноска влажная, коричневая, сохнет, светлеет. А мастерица новую водоноску лепит. Глядишь — совсем другая: кокошник по-другому, на юбочку передник с оборками, а коромысло не на двух плечах, а на одном. А берешься сам — глина мнется легко, готова тебе помочь, но ни во что не превращается, как говорят в народе: «Одна мучка, да разные ручки».

Мастерство дымковских мастериц идет из глубины веков. Ведь это не просто игрушки эти свистульки, эти коровки, лошадки, всадники, няньки — это начало знания для ребенка о жизни. Он и играл и входил в мир, который его окружает. И мир этот был прекрасен: высокие гордые шеи коней оплетали черные витые гривы, русские печи расцветали розами, нарядные деточки прижимались к расписным подолам матерей, отцы шли за сохой по золотой пашне, ручные медведи плясали под игру своей балалайки, на поросятах ехали веселые музыканты, Крошечка-Хаврошечка стояла под яблоней с наливными яблочками, храбрые богатыри стояли на страже сказочных городов, индюки вздымали разноцветные хвосты...

Одна дымковская вятская игрушка в состоянии пре-

образить, сделать праздничной квартиру, может быть, именно оттого, что в ней и огромный труд, и его многовековость.

Ее называют дымковской по месту происхождения. С высокого берега Вятки видно заречную слободу Дымково. Зимой, когда топятся печи, летом в пасмурные дни, когда туман, слобода вся будто в дыму, в дымке. Здесь хранилось, передавалось мастерство создания игрушки.

Сидит бабушка, рядом внучки, именно внучки, почему-то мальчики не перенимали «глиняное» мастерство. Терпения у них не хватало. Им бы все побыстрей. А тут дело неторопливое, доскональное, скрупулезное. Кладет бабушка свою шершавую морщинистую руку на ладошку внучке, направляет ее пальчики. Где не справляются пальчики, им на помощь приходит лопатка — прихлопывать глиняную лепешку. Рядом стоит чашка с водой, в воду то и дело окунаются пальцы, чтоб глина не приставала к рукам. Или мокрая тряпка. Тряпкой на ночь прикрывают глину, чтоб глина не пересохла.

Игрушки стоят на лавке, ждут обжигания в печи. Сейчас в мастерских специальные печи обжига, а раньше игрушки закаляли в русских печах. Топили жаркими березовыми дровами, чисто подметали, ставили на пол налепленные фигурки. Выходили они из печи закаленные, звонкие. Остывали. Разведенным на молоке мелом белили игрушки.

И уже после этого наступала пора росписи.

В дымковской игрушке, как нигде, выдержано соотношение формы и расцветки. Мастерицы уже тогда знают, как будет разрисована игрушка, когда она еще лепится.

Если посмотреть на узор дымковских игрушек, он необычайно ярок, праздничен, весел. Кажется, что это достигнуто сочетаниями многих линий, а начинаешь вглядываться и поражаешься, насколько просты, экономны средства росписи: точки, клеточки, линии прямые и волнистые, кружочки, пятна. Но все дело в их сочетании.

Может быть, главное волшебство дымковского чуда в том, что его красота не повторяется никогда. Взять крохотных козликов в модных штанишках (эту игрушку особенно любят в Японии), и ни один не похож на другого. Уж что говорить о медведях — у них не только роспись, не только лепка разные, но у каждого свой характер. И ни одного злого. Все добрые и веселые. Один похитрей, другой простоват, третий себе на уме...

Самое последнее, что делает мастерица с игрушкой,

это украшает ее золотыми лепестками. Операция называется «сажать золото». Листочки золота настолько тонки, что легче пуха, и когда «сажают золото», то от сквозняков закрывают форточки, чтоб лепесточки не улетели. Вот мастерица легонько коснулась кисточкой, смоченной в сыром яйце, золотого квадратика, поднесла его к игрушке и посадила на свое место: водоноске и барыням на шляпы, на кокошники, петухам на гребни, оленям на рога, гребцам на весла, волшебным деревьям на ствол и яблоки... и игрушки засветились и окончательно стали ненаглядными.

И впрямь, на них не наглядеться. Смотришь, и на душе становится радостно, и на сердце спокойно.

И все из глины. А глядишь на глину — ничего на ней, кроме крапивы, не растет.

Поездка в Лальск

Житейским морем все в своей ладье плывут
И к берегу забвения пристанут.
Всем память вечную у гроба пропоют,
Но многих ли потом вспомянут?

Надпись на плите кладбища в Лальске

Карта области с годами оживала для меня во все больших пространствах: здесь был, здесь был, здесь проезжал, здесь пролетал... А вот здесь, здесь и здесь надо побывать. И все последние годы, с кем бы я ни разговорился о красотах родного вятского края, спрашивали: «А ты в Лальске был?» — «Нет». — «Ну как это можно в Лальске не побывать?» И смотрели на меня сострадательно — как это так, вятский уроженец и в Лальске не был. Говорили: «Да это же Швейцария! Торговые ряды, как в Ростове Великом».

Лет десять назад, прилетев в Великий Устюг, зная, что до Лальска шестьдесят километров, пытался я достичь родной области, но даже вологодско-вятского пограничья не достиг — была весна, а северные реки в разливе — это нерукотворные моря, пересечь которые никому не под силу. И, постояв у впадения Сухоны в Юг или, наоборот, Юга в Сухону, у начала могучей Северной Двины, образованной этим совпадением, посмотря с тоской на восток, понял, что до Лальска мне не добраться.

Прошлой осенью мечта сбылась.

Лальск стоит в стороне от железной дороги, это ска-

зано к тому, что Лальск не имеет более того значения, которое имел раньше, когда через него шел Северный путь, а именно — по нему осуществлялась торговля России с Востоком. Из Китая через Лальск шли в русские княжества товары — шелк, чай, фарфор, от нас увозили сукна, холст, полотно, крашенину, лен, медь, железо. Иван Степанович Павлушков, лальский краевед, много сделавший по истории Лальска, относит основание города к 1570 году, а основателями называет новгородцев, уходивших от Московского княжества в 1555 году. Тут снова приходится говорить о народах, населявших эти края. Имей они письменность, они бы оставили свидетельство о заселенности этого места — водные артерии широкой Лузы и красавицы Лалы, соединявшие просторы на все стороны света, не могли не быть облюбованными. Лальск относился к Сольвычегодскому уезду, позднее отошел к Архангельской губернии в 1708 году. В состав Кировской области Лальский район вошел в первый год войны, в 1941-м. Но теперь Лальского района нет, он в составе Лузского. В Лальске сельсовет, центр совхоза, училище механизации, недалеко бумажная фабрика, оставшаяся еще с дореволюционных времен.

У меня не было будильника, боясь проспать на утренний поезд, спал плохо, ворочался, но в каких-то отрывках забвения увидел сон, будто за огромным столом много людей, все нарядные, идет прием. Официанты, возникая из ничего, выгружают на тарелки разные кушанья и вновь исчезают. На столе стоит огромный серебряный самовар. Но это не самовар, а такая голубятня. В серебре проделаны дверки, в них влетают, выпархивают махонькие белые голубочки. Они маленькие, но настоящие. Очень доверчивые. Садятся на стол, на плечи, воркуют, машут почти игрушечными крылышками, и это прохладно и приятно. За столом царит ожидание какого-то необыкновенного блюда. А вот и оно. Но какое, не помню. Только говорят, что надо самим гостям это блюдо залить соусом. В руках гостей тарелки, а на каждую тарелку садятся по два голубочка. Гости встают и идут к приспособлению, с помощью которого добывается соус. Все гости оживлены, и все, кроме меня, знают, в чем далее будет главное. Мы идем стройными рядами, вдруг слышу, идущая впереди женщина оживленно спрашивает спутника, будет ли сегодня вновь та игрушечная, но настоящая гильотинка. Будет? Оказывается, надо самим гостям отрубать головы именно этим голубочкам, которые довер-

чиво сидят на краях разноцветных тарелок. И кровью голубей заливать, сдабривать кушанье. Легко ли?

Ехал ранним поездом Киров — Пинюг, в Пинюге надо было ждать около часа и садиться на поезд Пинюг — Котлас до Лузы. Всю дорогу провалялся на деревянной нижней полке полупустого вагона. И думаю, надо ли писать о своем состоянии, кому это интересно в путевых заметках, достаточно упомнить, что состояние было невеселым — и от сна, и от погоды, и от пейзажа за окном. Пейзаж состоял из черных штабелей давно поваленного загубленного леса, брошенных шпал, отработавших и целых, развороченных насыпей, ржавых остатков техники, арматуры; потом шли, разворачиваясь на оси движения, мелкие леса, мелькали брошенные разрушенные дома, упавшие или падающие столбы с обрывками проводов, мелькал мостик, буксующая машина, дым костра или пожарища мешался с осенним туманом — невесело, что и говорить.

В Пинюге, окруженный стаей молчаливых, понурых собак, пошел в столовую. Там предсмертно хрипела бочка с пивом. На других, уже пустых, сидели и беседовали курящие мужики. Сказали, что поезд на Котлас уже стоит. Чего-то съев, пошел, думая вновь залечь. Около головного вагона стоял солдат с автоматом, он посторонился, я поднялся. Оказывается, в половине вагона везли заключенных. А в другой половине вагона ехали к месту службы в охранные войска стрижены призывники из Марийской АССР и Чувашии. Были они в телогрейках, в рваных шапках, держались скованно, молчаливо. Их донимали заключенные, смеялись над ними. Призывники ехали служить в конвойных войсках. На нижней полке крайнего купе спал сержант. Автомат лежал около него.

— Пастухи! — кричал заключенный. — Айда в карты играть.

В Лузе автостанция рядом с железнодорожной станцией, я удачно сразу попал на автобус до Лальска. Автобус был небольшой, верткий, водитель сразу за околицей так погнал его, что нас непрерывно водило, таскало по обледеневшей дороге. В особо опасные моменты женщины вскрикивали. Водитель поехал чуть медленней и, оборотясь к пассажирам, сказал:

— Бабы, будете орать — навернемся.

И вновь так нажал, что пассажиры замолчали теперь уже, думаю, от страха. Вскоре мы увидели впереди перевернутую, в самом деле, машину, «уазик». Парни, двое,

голосовали. Автобус остановился. Водитель выскочил. Парни радостно ржали, хлопали его по плечу. Он открыл дверь в автобус.

— Мужики, айдате поможем.

Мы вышли, поставили «уазик» на колеса.

— Заводи!

«Уазик» завелся и уехал. Тронулись и мы.

— Гололед, — сказала одна старуха.

— В голове у них гололед, — отозвалась другая.

Автобус вновь разогнался, и вскоре, ближе к сумеркам, мы прибыли в Лальск.

Спросил гостиницу, а оказалось, что стою перед нею, спросив в гостинице место, заняв его, решил дойти до берега Лалы, до нескольких храмов, стоящих по ее берегу. На крыльце стояла молодая женщина в белом полушалке, мы встретились взглядами. Вечер, насыщенный туманом, не позволял рассмотреть улицы, прогулка не удалась. Тем более утомляла дорожная усталость. Вернулся. На крыльце по-прежнему стояла та же женщина в полушалке. Теперь к ней приставал молодой мужчина. Отмывая ноги в цинковом корыте, услышал я часть разговора:

— И прекрати ждать, и чем я хуже? Вот увидишь, не приедет, — говорил мужчина, но на это ему отвечали:

— Кого я жду, того я всегда дожидаюсь.

Утром меня разбудил грохот поленьев, сваливаемых в коридоре на железный лист у круглой печи.

Лальск! По улице мимо старинных торговых рядов мальчик лет четырех вез за собою маленькие, рукодельные расписные саночки.

— Ах, — сказал я весело, — какие у тебя сани!

И очень серьезно, остановясь для ответа, глядя на меня ясными, карими глазами с длиннющими ресницами, мальчик сказал:

— Это не сани. Это косоузки.

— Папа делал?

— Дедушка.

Никакого плана у меня не было, просто ходил по Лальску, какая улица на меня глядела, по ней и шел. Конечно, больше всего времени провел на берегу, заходил в храмы, превращенные в склады, котельные, закрытые на гигантские амбарные замки и открытые, заваленные окаменевшим черным цементом, удобрениями, удобренными сверху грудами птичьего помета, изрисованные по стенам и дверям разными рожами и краткими слова-

ми. Отходил к реке, боясь ступить на молодой лед, оглядывался. Памятники архитектуры на расстоянии преображались, хорошели. Вдобавок, хотя и было пасмурно, падал рассеянный, как бы остановившийся в воздухе крупный снег, сквозь него колокольни и купола казались нарисованными на мрачном небе. Вороны и галки носились кричащими стаями, обсаживали голые, обдутые ветром деревья.

Изрядно замерзнув, зашел в один из храмов, над которым издали заметил слабый дымок. И угадал точно, в храме топилась печка. Железная буржуйка. Возле нее стояла на коленях старушка в черном халате и платке. Шла служба, я различил слова нестройного старушечьего хора. Старушка в черном, пошуровав в печке, присоединилась к поющим. В другой стороне старенький священник причащал старуху, которую держали под руки две женщины. «Имя?» — спрашивал он. «Глухая она, — отвечала одна из женщин, — она Мария». — «Рот открой, — говорил священник, — эх, беда, зубы падают».

Отогревшись, я вновь ходил по Лальску. Надо сказать, и это я знал еще по книге «Дорогами земли вятской», что в Лальске знаменитое своей архитектурой, богатое кладбище. Конечно, надо было побывать на нем. Тут и солнце помогло, прорвалось через занавес облаков, сосновые стволы зазолотились, засеребрились березы, зеркальной стала ледяная дорога. Спросив направление, я не сразу понял ответ: «Туда поехали». То есть меня приняли за родственника того, кого в этот день хоронили и уже отпели.

Ограда кладбища белокаменная, ворота дивной архитектуры. Причем именно кладбищенской архитектуры, они не парадные, но и не унылые, они угаданы в той торжественно-печальной тональности, которая сопутствует почти всякому конечному пути. На кладбище много богатых памятников, прекрасные кованые и литые ограды. Никакой запущенности. Свежие следы машины уходили в боковую узкую дорогу. И сама машина завиднелась вдалеке. Но сначала я зашел в сторожку, открытую сбоку запертой церкви. Картонная иконка висела над деревянным столом. На столе остатки копченой рыбы, хлеб, алюминиевая кружка. На стене четкая надпись: «Здесь я был 15 января. Я похоронил бабушку».

Надпись, которая поставлена в начале рассказа о поездке в Лальск, я списал с одного из памятников близ

церкви. Тут как раз меня застал мужчина. В сапогах, в телогрейке.

— Из родственников будете?

— Да нет, сам по себе.

Поздоровались. Это оказался сторож кладбища Пономарев Прокопий Иванович. Он справедливо гордился порядком, ругал предшественников, запустивших такое прекрасное кладбище, «лучшее по области, — говорил он, — а пожалуй, что и по стране».

— Вот только строго по кварталам не получается.

— Почему? — спросил я.

— Все к родне хотят.

— Но это же правильно.

— Так правильно-то правильно, но порядку нет. А ведь люди приезжают, ворота, вы же, наверное, знаете, в архитектурных справочниках. Посмотрят на ворота, зайдут внутрь, а тут могилы, как Родионки зубы. Надо, чтоб по линии. Все ж равны. И опять же искать легче. А то вот займись кого искать в невкруте, не сразу найдешь. А народу по праздникам у каждой могилы бывает втугую. Кто и поплачет, а кто и мусору натащит. Ограду эту, купцовскую, всю выкрасил, зять помогал, даром почти, за четырнадцать рублей. А как же — предмет искусства и старины, надо хранить.

Вместе с Пономаревым подошли мы к свежей могиле, куда уже спустили гроб, но еще не засыпали землей и глиной, а делали полати — настил из досок под крышкой гроба, чтобы тяжестью земли не продавило гроб. Этим делом были заняты двое мужиков, остальные просто ждали. Разговоры были об одном, о смерти.

— Все помрем, все помрем, — задирался, видимо, уже выпивший мужичонка. — А ты, Петька, возьми и не помирай.

— Да жизнь-то не надоела, — отвечал Петька, — да хоть бы знать, когда собираться.

— Пожить-то бы можно, — вступила в разговор старуха, — да ведь вот как, заживешься и места в ограде не хватит.

— В Индии умнее нашего придумали, — говорил первый, — с самолетов пепел рассыплют, и все дела. Сожгут и рассыплют, и на всех попадет, никому не обидно. Петь, ты как? Меня дак завещаю сожегчи и над Лальском растрясти. Неужели я бензину да дров не заслужил? Урожайность повышу.

— Дрова ты все истопил, — это Петька решил ото-

мстить, — а бензину и так нет, машины стоят, еще на тебя тратить.

— Да много ли мне надо, — отбился первый, — кружку на растопку, а остальное проспиртовано, запазгает. — И обратился к тому, что внизу делал полати: — Сбоку тесни́, на́ топор. Ох, ведь получается, к трем женщинам мужика положили, еще раздерутся. — И ни к тому ни к сему добавил: — Девки — сливки, бабы — молоко, бабы близко, девки далеко.

Обратный автобус на Лузу был куда медлительнее того, в котором ехал в Лальск. Снова темнело, морозило. Окно затуманивалось изморозью, будто засыпало. Прожектора света, подбрасываемые ухабами, метались в темном коридоре хвойного леса.

Из Лузы поезд на Киров уходил в два часа ночи. Время до поезда я промаялся в гостинице, опился крепкого чая и в полночь, поняв, что не задремать, пошел на вокзал. В вокзале шумели цыгане, а еще запомнилось невыносимое зрелище — плачущий мальчик просил пьяного отца поискать билет, и тот послушно искал его по всем карманам и не находил. «Пап, еще по-и-ищи», — просил мальчик. Отец обшаривал себя, выворачивал карманы куртки, голова его падала на грудь, сын вновь испуганно теребил его.

Ближе к часу ночи вышел из вокзала и услышал тревожные гудки тепловоза, а вслед за этим пожарную сирену. Тут и дым показался за мостом. Пожарники ломали забор, тянули шланги. Горел вагон. Его, оказывается, уже оттолкали тепловозом от других на свободное место. Вагон горел внутри. Была проблема — пломба на дверях. Эту пломбу не давала срывать дежурная. «Нельзя! — кричала она. — Кто за пломбу ответит? Давайте акт писать». Милиционер отвечал ей, что акт писать не будет, офицер-пожарник тоже отказывался. «Наше дело тушить». Никто не знал, что́ внутри вагона, какие товары, отчего загорело. «Там, может, на миллионы!» — кричала дежурная и ушла звонить начальнику. Пожарные стали лить сквозь краснеющие щели, но увеличивали только обилие белеющего дыма.

Народу набежало много. Даже цыганка с грудным ребенком пришла и, когда он орал, кормила грудью. Никто не хотел идти в свидетели срывания пломбы, все уезжали через сорок минут.

Пожарники, особенно один, ловко стали ломать углы, чтоб вливать воду. Но это тоже мало что дало. «Ломай

замок!» — закричала вернувшаяся дежурная. Стали ломать: никак. «Твоих бы уголовников сюда, — говорил офицер-пожарник офицеру-милиционеру, — они бы быстро». В толпе говорили, что горела бы изба, так полошились бы, а тут товар, да неведомо какой. «Все равно не нам».

Наконец вывернули ломом замок, откатили дверь, за ней пылало. Оказывается, в вагоне горела пустая тара, деревянные ящики. Толпа разочарованно побрела к вокзалу.

Мальчика и пьяного отца я больше не видел. Подошел поезд. Навалились и сели. И, уже засыпая на верхней полке, я все думал, какой красивый город Лальск. Но он гибнет, было такое ощущение, что я побывал у постели смертельно больного.

Летопись

Это документ, который непременно надо обнародовать. Это дневниковые записки художника А. В. Фищева, которые прислал мне его сын. Автору «Летописи» 16 лет.

Итак: «Летопись путешествия нашего в 1891 году.

Писано 26 ноября. Шли мы 23-го числа ноября, и наши сердца наполнились радостью, когда увидели святой лавры главу златую. Поклонилися три раза в землю, единогласно сказали: «Благодарю тебя, Христе боже наш, яко сподобил нас исполнить наше трудное начатое дело», встали и пошли дальше. Скоро влево засинела пятиглавая церковь, это, стало быть, Вифания. Прошли еще березняком с версту, вправо от дороги в полверсте увидели позлаченные главы — это был скит Черниговской чудотворной иконы божьей матери. «Что, брат, сейчас пойдем в скит или после?» — «Пойдем после», — сказал Онисим. Пошли дальше, вышли на дамбу, прошли в лес и вышли к посаду. «Ох, господи, как наша куменская колокольня велика, а здесь две наших надо!» Подходим все ближе и ближе к лавре, вошли в посад.

«Онисим, смотри-ка, какая же это дорога! Вправо, садовая, народу много, смотри, богомольцы идут».

Чу, по чугунке машина идет из Александровки все ближе и ближе к лавре, свистки подает, все поезда ждут.

Какие большие хорошие дома — настоящий город, и виднеется семь церквей. Прошли еще переулок, и перед нами явилась обширная площадь, застроенная лавочками,

между ними ходят толпы народу, ездят извозчики. Вправо, у лаврской стены, ряды лавок, в них продается большой выбор детских игрушек. Рядом святые ворота, над ними на башне часы показывают второй час после полудня. Мы в лавру не пошли, потому что там в это время службы не было. Была суббота. День стоял теплый, пасмурный. Я говорю Онисиму: «Пойдем в скит к Черниговской на всенощную, там переночуем». Не успел Онисим ответить, как подошел к нам странник: «Вы что не идете обедать в трапезную?» Указал, как туда пройти. Прошли через ограду, у солдата спросили, как пройти. Он сказал: «Вон она налево, ступайте мимо колодца». Прошли и мимо колодца и мимо кухонь. У торговки ягодами брусникой спросили. «И идите, — говорит, — прямо».

Подошли к зданию с каменным навесом, тут у двери на стене висят листки о вреде пьянства и курения табаку. Вошли в коридор, а там человек 200 обеда дожидаются и ходят монахи. Наконец один из монахов отворил дверь в другую комнату. «Идите, садитесь». Все кинулись, друг друга давят за места, потому что если прозеваешь хорошее место, то достанется в конце стола, или ложка ломаная, или еще что-нибудь. Толпясь и толкаясь, наконец все уселись и успокоились. Монахи ходят взад и вперед. Но вот, на другом конце стола, монах стал раскладывать хлеб в скибки весом в один фунт. Положили и нам хлеба...

Переночевали, утром решили: постоим у ранней обедни, а завтра к поздней пойдем в лавру. Так и сделали. Пошли. Устали страшно. Под вечер потеплело, пошел дождик, стало сыро. Прошли посад. Потом по дорожке прошли с версту и все лесом. Вошли в святые ворота, перед нами открылся сад, а в нем каменная скитская церковь и старая древняя деревянная церковь. Мы пошли прямо мимо большого дома, у которого находились широкие тротуары с перилами. Затем по ступенькам сошли вниз в овраг, тут через ручей мостик. Прошли мостик, вправо открылся пруд, а над ним часовня. Идем молча. Опять колокольня, а в ней святые ворота, а над ними образ Черниговской божией матери. Внутри ворот на стенах мы увидели развешанные образа, разные картины и портреты, планы. С одной стороны двери в просвирню, а с другой над дверью надпись: «Вход в пещеры», тут же стоит монах, который водит туда.

Напились святой воды и прошли ворота. Перед нами предстала пятиглавая с позолоченными главами церковь.

Вошли (туда) внутрь. Церковь светлая, на стенах живописи нет. Иконостас медный с посеребренными царскими вратами, некоторые иконы в золотых ризах. Оба клироса из белого мрамора, пол из изразцовых цветных плиток. На обоих клиросах хоры — старых и молодых монахов. Поют так хорошо, что душа невольно радуется. А когда оба хора сошлись вместе посредине церкви да запели «Благослови, душа моя, господа!», стекла задрожали, нас оглушило, и волосы зашевелились. Казалось, будто все несметное ангельское воинство славит царя небесного. О какая радость! Но прошло и это торжество. Хор певчих снова разделился надвое, и разошлись по своим местам.

Я мешочек свой снял и положил к ногам, потому что натянуло плечи. Отслужили и вечернюю. Народ пошел, и мы со всеми. Сошли по лестнице. На улице мокро, дождик идет, и так темно, что хоть глаз выколи. Прошли святые ворота, повернули направо в ночлежный дом. Вошли, сели на скамейки. Монах в корзине принес ложки, вывалил на стол и сказал: «Садитесь». Господи боже мой, какая тут поднялась суматоха. Множество странников дальних и тутошних все лезут, как скот. Монах сказал: «Человека четыре идите на кухню за чашками». Четверо ушли, а мы сидим, ждем.

И вот несут деревянные чашки с обручами, похожие на ушаты, из них клубами валит пар от щей с сухарями. Поставили на стол. Человек по десять в чашку с ложками лезут. Минут через пять все чашки опростали. Наелись и вылезли из-за стола. Принесли квасу ведро. Все хотят пить, рвут ковши, которых недостает. Напились, успокоились.

Пришел надзиратель и сказал, что всенощная будет через час. В самом деле, зазвонили ко всенощной. Пришел монах, потурил всех. На улице сильный дождь идет, страшная темь, того и гляди, что упадешь. Снова прошли святые ворота и вошли в церковь, везде перед иконами свечи горят. Отстояли всенощную. Часов в 10 до полуночи пришли в ночлежный дом. Пришел настоятель, посмотрел, что нас много, отпер еще одну комнату, мы в ней выбрали местечко в углу. Разделись, разулись. Мешок под голову, нижнее белье под себя, а верхним укрылись. Уснул. Вижу сон: предо мной свет, я иду, и мне есть хочется. Онисим говорит: «Не зайти ли нам в дом по кусок?» — «Что же, зайдем!» Успрятались от хозяина, пролезли через соломенную стену. Через огород переско-

чили и в избу. А там священник Ионинский, говорит мне: «Вы шли на Казань?» — «Нет, мы шли на Семенов, Нижний, Владимир, Суздаль, на Москву». — «А нашего Федора вы не видели?» — «Нет!» — «О, куда же вы ходили!»

Проснулся, вижу: та же комната в ночлежном доме, рядом спит Онисим. А как меня клопы накусали! Думаю, к чему бы это приснился Ионинский? Скоро опять забылся. Опомнился, когда уже начало светать.

24 ноября. Воскресенье. Вздули огонь, все странники обуваются. Пошли умываться, а воды нет, пришлось умываться на улице у трубы. Пришел монах, говорит: «Ступайте к обедне». Пошли было в ворота, а сторож не пускает. Пришлось обходить вдоль монастырской стены к воротам с Черниговской божьей матерью. Вошли в церковь, служат обедню. Что делать? Решили взять по просфоре, подать за упокой. Вышли из церкви, в просфорне купили по просфоре, написали за упокой родителей. Снова вернулись в церковь, отдали монаху по копейке, и он из алтаря принес нам по просфоре с вынутой частицей, на которой была изображена Черниговская божья матерь.

Отслужили литургию, и мы пошли в нижнюю церковь к Черниговской божьей матери. Направо винтовая лестница, опустились. Тут служат молебен. Помолились, пошли прикладываться к кресту и к образу чудотворной божьей матери. На образе висят крестики, которые продают по две копейки. Купил крестик. Решили пойти в пещеры. Нас было трое, купили по свече, и монах повел в пещеры. Отпер узенькую дверь и сказал: «Идите за мной, не отставайте». Идем без шапок, наклоняемся. По пещерам ходит ветер, наши свечи задувает. Прошли в темноте и сырости много поворотов, спускались по каменной лестнице книзу. Везде каменные своды. Еще несколько поворотов, и вот в стене мы увидели свет свечи. «Подойдите, — говорит монах, — не бойтесь. Здесь хоронят покойников». Подошли к стене, сквозь решетку посмотрели, такая тут страшная мгла, что ничего мы не могли разглядеть. Пошли дальше по подземелью. Было страшно. Привел нас монах еще в одно место, говорит: «Тут схоронены монахи-подвижники». В самом деле, в стенах и в полу виднелись гробницы.

Пошли дальше по узкому подземелью, начали спускаться по каменной лестнице вниз, а снизу дует такой сильный ветер, что у меня свеча загасла, я от неожиданности чуть не свалился в страшное подземелье, в которое

еще нужно было спускаться сажен пять. Но вот спустились, зажгли свечи, стало посветлее. Монах сказал: «Это колодец, из которого подвижники воду брали». Тут стоят ковшики. Мы взяли по ковшику, напились святой воды. Потом вошли в большой зал. Под полом вода, по стенам сырость, у пола проведены трубы. Было очень холодно, так, что руки зябли».

(Далее лист почти полностью вырван.)

«Перекрестились, свечи свои положили в блюдо. Подумали и решили сходить на благословенье к отцу иеромонаху, а звать его Варнава, говорят, что прозорливый. Подошли мы трое к крыльцу, а тут народу дожидается, батюшки что! Но вот вышел иеромонах Варнава, благословил нас и дал по крестику.

Решили мы с Онисимом пройти в лавру. Снова прошли через святые ворота в посад, там на площади базар, народу непроходимо! Вошли в ограду, помолились на образ спасителя. Смотрим, направо стоят лаврские дома, налево трапезная возвышается, а прямо церковь преподобного Сергия с позолоченными крышами. Успенский собор сияет золотыми главами.

Пошли в церковь преподобного Сергия. Вошли в притвор. Прямо паперть и налево вторая паперть. На паперти народу — Боже мой, потому что шла обедня поздняя. С левой стороны паперти иконостас с паникадилами. Мы остановились в толпе, в которой были и странники и богатые, здоровые и калеки, мужчины и женщины. В церковь не пройти, народу битком набито. Слышно было, как пели «Многая лета». На стене паперти написана картина «Страшный суд» — ужасно смотреть. Обедня отошла, народ стал валить из церкви, а в дверях солдаты встали, не дают выходить. Народ давит друг друга. Наконец мы выбрались. Спросили странника, как пройти в ризницу? Он указал. И тут у дверей стоят солдаты. Долго поднимались по лестницам, наконец вошли в комнату, посредине которой стоял престол, а рядом находился сторож, который предложил нам оставить все вещи. Я положил свой мешочек рядом с престолом, а на него в кучу положили свои шапки, рукавицы и палки.

Прошли в так называемую «ризницу». Сначала миновали две пустые комнаты. В третьей монах показывает что-то барину и его жене барыне. Мы подошли. Монах показывал различные предметы, которые были за стеклом. «Вот, — говорит, — деревянные сосуды, которые употреблял преподобный Сергий. А вот Евангелие, кото-

рое сам он писал своими руками. Вот одежда — риза преподобного Сергия, вот его башмаки, которые 30 лет были в гробу на его ногах и не изгнили». Видели мы ризы, висят синие, все в заплатках. Господи, что тут было древностей, которые доныне целы и невредимы. Все это мы видели, да разве все запомнишь!

Висит тут еще крест золотой, который предлагал преподобному Сергию митрополит Московский. Но Сергий отказался, говоря: «Прости меня, владыко, я смолоду не был златоносцем, теперь ли я стану носить!» Рядом с этим золотым крестом, тоже за стеклом, висят древние-древние кресты, сделанные преподобным Сергием и его учениками, тоже святыми, прах которых покоится в одной церкви.

Пошли смотреть другие предметы, расставленные на полках и столах. Монах говорит: «Вот золотое кадило, подаренное забыл кем и когда». На полках стоят митры, обложенные жемчугом и драгоценными камнями, тоже кем-то пожертвовано. Настольные портреты, подаренные Александром Вторым. Камень самоцветный, найденный каким-то крестьянином в земле. А на камне изображение: крест, на кресте Иисус Христос, а перед крестом стоит на коленях монах, молится. Говорят, что это изображение чудесным образом само обрисовалось.

А сколько видели риз драгоценных, вышитых в таком-то году, такими-то знатными людьми.

Но вот монах подвел нас к столу, на котором были разложены разные монеты, подаренные королями из разных земель. Монеты разных видов, и золотые, и серебряные, и медные. А среди них есть одна замечательная монета — сребреник, один из тех, за которые продал Иуда господа нашего — Иисуса Христа. Вид у этой монеты круглый, ободки и в средине изображена чаша. Все это видели мы, грешные.

Монах подвел нас к другому столу у стены. Открыл его — и о, чудо! Тут из разноцветных камней выложены разные монастыри, дворцы и замки, и все так живо изображено.

На полках стоят древние иконы с изображениями божьей матери, Иисуса Христа и угодников. Стоят они по древности с самого начала, которые писаны 1000 и более лет тому назад, есть тут и 900, 880 и 700-летние и более молодые. Но что интересно, из-за своей древности и старости они чуть почернели, а краски все целые. Так господу было угодно.

Стоит Евангелье с серебряными корками в золотой оправе, в длину аршин 2 вершка, шириною 3 четверти, а весом в 12 пудов. Его не употребляют.

Пошли дальше в другое отделение. Тут много всего, господи Боже мой, нельзя и перечесть, потому что мы, грешные, народ беспамятный, не можем запомнить всего, а что запомнить смог, записал.

В той комнате, посредине, стоит престол с плащаницей, которую вышивала шелком одна боярыня в Москве. Прошли далее. Монах говорит: «Вот висят вериги, которые носили ученики преподобного Сергия. Одни весом в 20, другие в 25 и 30 фунтов. По силам и носили ради царствия небесного», затем монах открыл шкаф, в котором, по его словам, висел кафтан Иоанна Грозного и уздечка с коня его. Мы все это видели, грешные. На полу у шкафа лежали рогатины, которые ковали сами монахи и кидали под ноги польской коннице, чтобы не могла ездить. После монастырской битвы остались орудия разные, пушки, пули, бомбы. Одна бомба весит 5 пудов.

Пошли в другое отделение. Тут монах показал нам столько предметов, что я и не упомню. Но главное, показал изображение лавры, вышитое на холсте разноцветным шелком, серебром и золотом.

О золотых, серебряных вещах, драгоценных камнях, бисерах и мраморных говорить не стану, одно скажу, что цены им нет. Если расплавить серебро и золото, то потечет река бесконечная золотой струею. Я, многогрешный раб господень, видел и дерзнул описать.

Но вот монах остановился и взял в руки блюдо для пожертвований. Некоторые господа клали по гривеннику, по пятнадцать копеек, а мы, грешные, положили по копеечке, потому что столь было. Вышли в комнату, где оставляли котомки, надели их и пошли. Онисим ушел вперед, а я отстал. Сошел по лестнице, зашел в церковь, смотрю, нет его там, пошел скорее в трапезную. Странники сидели уже за столом. Мне досталось место на краю, а Онисим сидит в средине. Стали обедать, тут дали нам по листку Троицкому. Вышли на площадь и купили по домашнему календарю. Пошли искать ночлежный дом, спросили у мужика, где странняя, он показал.

25 ноября, понедельник. Рано утром мы вышли из ночлежной, пошли в лавру к обедне. Кругом сырость, грязь, по улицам вода бежит.

Раннюю обедню служили в боковой церкви. Туда мы опустились вниз по лестнице. После того, как отстояли

обедню, пошли в другой отдел церкви. Тут возле стены почивают мощи разных угодников божьих и митрополитов, но еще не вскрытых, а под спудом. Над раками горят лампады неугасимые, а рядом монах безотходно читает молитвы. Мы приложились. На выходе из церковки на леву руку тоже лежат мощи одного епископа. И тут мы приложились. Поднялись в верхнюю церковь к Сергию преподобному. Смотрим, монахи готовятся к молебну. Я взял у старосты на паперти бумаги и тут же написал памятку о здравии.

26 ноября, вторник. Рано утром мы с Онисимом встали, обулись, умылись. Было так рано, что еще горел фонарь и кое-где по нарам и под нарами раздавался храп спящих странников. Но постепенно, один за другим засуетились все. Мы стали дожидаться смотрителя, чтобы взять свои мешки, так как решили отправиться в обратный путь. К ранней обедне давно уже отзвонили, а смотрителя все нет. Наконец смотритель появился, я приготовил свой № 44. Смотритель был очень похож на монаха. Я обратился к нему: «Батюшко!» А он отвечает: «Что, матушка?» И ушел куда-то. А мы опять ждем. Вышел на улицу до ветру, господи, какая погода: ветер, мороз, так подморозило, что кругом гололед.

Странники и золотая рать погоду не хвалят. Многие греются у натопленной с вечера печки. Совсем рассветало. Пришел смотритель, говорит: «Кому чего надо?» Все бросились к кладовой, и мы тоже. Отдали номер, взяли сумки, помолились Богу и пошли. Ух какой мороз, а лед как лапти дерет. Спустились к мостику через речку. Вчера она волновалась, шумела и ревела, а нынче вся замерзла. Пошли к церкви преподобного Сергия. В церкви пусто, народу нет. Подошли к раке преподобного Сергия, помолились и приложились. Ранняя обедня отошла, а поздняя не начиналась. Я посидел на скамейке. Приложился к иконам, которые на столбах висели. Но вот и служба началась. Я встал к клиросу, а Онисим подле меня. Когда с банками ходили, я положил одну копейку.

Но вот и служба отошла. В трапезной народу скопилось столько же, как и раньше, человек 70. За обедом снова дали нам по листку. После обеда я предложил: зайдем в какой-нибудь монастырь, но Онисим заупрямился. Я, грешный раб, тоже не пошел, ловко ли отставать от товарища, хоть бы близко к дому было, а то ведь 1000 и 21 верста.

Я говорю: «Онисим, пойдем простимся с преподобным

Сергием!» Но товарищ мой и туда не пошел, а из ограды в ворота, да на площадь и в обратный путь. А я, грешный, не стерпел, не пошел за ним, а отправился в церковь. Вошел, никого в церкви не видно. Взошел на амвон и пал на колени перед ракой преподобного Сергия.

Стал молиться, и такое чувство меня охватило, что слезы невольно потекли из глаз. Молился и плакал, а молитва моя была такова:

«О, преподобный отче Сергий, скорый помощник и заступник, моли Бога обо мне грешном! Да сохранит мя господь во всех путях моих! О, преподобный отче, дай мне слезы умиления, дабы мог я пускать их о грехах моих, ибо я грешный раб! Защити мя от страстей, обуреваемых мою душу душевными и телесными страстями! Будь мне защитником и помощником, мне, немощному рабу, защити мя от всякого зла и напасти! Умоляю Сергия преподобного, не оставь мя в день лют! Моли владычицу нашу, царицу небесную, богородицу деву, у нея бо нет ничего невозможного, да сохранит мя невређеного во весь мой трудный путь!

Еще молюся, отче святый, помолись о государе нашем Александре Александровиче, и о супруге его, и наследнике, и о всем его доме, и о всем правительстве, и о всем воинстве, и о всех служащих в православной христианской церкви! И еще молюся о родительнице моей и о сестре и всех родственниках, и о всех добродеющих и благодетелях и моих и всех православных христианах, да сохранит их господь во всех путях своих, да даст им господь долголетия и здравия!

О, преподобный отче наш Сергий, моли Бога о мне, грешном, да прославятся твои честные и нетленные мощи во веки веков, аминь!»

Я встал с полной надеждой на господа Бога и угодника Сергия, подошел к раке и приложился к честным мощам его. Как светло и радостно на душе стало, что казалось, что я в то время не на земле находился, а в раю. В церкви было светло, казалось, тысячи лампад светились, блестело золото и серебро, и такое благовоние, что действительно казалось, что я в раю перед престолом господним. Сошел с амвона, помолился всем иконам, стоявшим в иконостасе, приложился ко всем прочим иконам, которые висели на колоннах. Вышел на паперть, и так мне стало грустно, кажется, не расстался бы с храмом Сергия преподобного. Немного успокоился и пошел в обратный путь. Посмотрел, нигде Онисима не видать.

Спросил прохожего: не видал ли такого парня? «Прошел», — говорит.

Вскоре я и сам увидел его, догнал, и мы пошли вместе мимо тех же церквей и семинарии, у колокольни вошли в церковь. Тут нас подозвал к себе монах. «Вот, — говорит, — гроб, в котором лежал преподобный Сергий. Кто приложится к этому гробу, получит исцеление». Мы приложились. Монах повел нас дальше. «Здесь, — говорит, — архимандрит положен, на его гробу служат панихиды». Мы приложились к раке преподобного. Вошли в алтарь, там плащаница, приложились к ней. Рядом распятие Христово, приложились к нему. В средней церкви монах показал нам камень от гроба святого Лазаря. Отошли немного, и открылась нам такая красота: на высокой, покрытой мохом горе стоит сам господь Иисус Христос, а по бокам Илья и Моисей; чуть пониже — три ученика его. Все выделано так, будто все это живые люди. Выше горы алтарь, впереди хоры, тут служат литургию. А по горе по всей растенья, цветы и листья разных трав. Но вот, довольно насмотревшись на все это и помолившись, мы вышли из церкви и пошли в обратный путь».

Трифон Вятский

Не стоит земля без праведников, говорит русская пословица. Ни город, ни село, ни деревня, ни починок, никакое другое поселение не сможет удержать уровень порядочности, сохранить высокую мораль, если в них нет людей, человека, к которому идут за советом, на которого равняются, которого стыдятся.

Как бы мы ни силились оправдать своих вятичей, от исторической правды не уйдешь. Вспомним цитату о том, что «истинными варварами являются они на страницах русской истории 16-го века», вспомним рассказы об их разбойничьих набегах. Вятичи ли, вятчане ли, ушкуйники ли, утеклецы ли, новгородцы ли, царевы ли ослушники, беглые отчаянные головушки — как теперь знать состав сорвиголовых дружин. На это нет ответа в истории, а ясно одно — выходили они на темные дела из Вятской земли и возвращались то с победой, а то зализывать раны опять же в Вятку. Говоря словами некрасовской песни, «много разбойнички пролили крови честных христиан». Но и в той же песне: «Вдруг у разбойничка лютого сердце господь пробудил».

Именно Трифон Вятский явился пробуждающим варварское языческое сердце здешних наших предков, и коренных, и поселенцев. Говорить об истории вятского края и Среднего Урала и умолчать о преподобном Трифоне, все равно что, говоря о Болгарии, не сказать о Кирилле и Мефодии, все равно что, говоря о России, не увидеть огромной роли в ее истории Сергия Радонежского.

Не останавливаясь более на понятной мысли о том, что крещение Руси было своевременным и благотворным для ее культуры и развития, и на том, что в те времена просвещение насаждалось почти исключительно через священнослужителей и монастыри, обратимся к личности самого Трифона Вятского. В тропаре (церковном богослужении, посвященном памяти какого-либо святого или одному из праздников), названном «Преподобному Трифону, Вятскому чудотворцу», говорится (пересказываю современным языком): «Как светозарная звезда, воссиял ты от востока до запада; оставя место своего рождения, дошел ты до Вятской страны, основал в ней обитель во славу пресвятой богородицы, в ней собрал заблудших множество, наставляя их на путь спасения; был собеседником ангелов; молись за нас, Трифон Преподобный».

Это очень малая часть службы Трифону, здесь нет ни акафиста ему, ни кондака, но суть важно единственное — подчеркнуть значительность и величие этой личности.

Отец Трифона Дмитрий умер, когда Трифон был младенцем. Мать, Пелагея, воспитывала его вместе с осиротевшими братьями в селе Малая Немнюжка, близ Мезени, это, как все теперь знают, в Архангелогородчине. Рос Трифон работящим, знал плотницкое мастерство, крестьянские работы, но сторонился забав и развлечений. Заметя это, старшие братья решили его женить. Трифон, сославшись на молодость, уклонился и ушел на заработки в Великий Устюг. Его усердие к труду сразу было замечено, и вновь нашлись желающие выдать за него своих дочерей. Он вновь уклонился и, как говорится в его жизнеописании, «влекомый одним желанием — спасти свою душу, ушел тайно» в город Орлов (это близ Усолья в Пермской области) и здесь также вел жизнь самую скромную. Одевался так бедно, что над ним смеялись, и однажды дошло до того, что на воскресном гулянье, когда главными на гулянье были приказчики богатейших

владельцев Урала Строгановых (один из них жил как раз в Орле), эти приказчики жестоко насмеялись над Трифоном, сбросив его с крутого берега в глубокий снег. Он с огромным трудом, еле-еле выбрался. Едва выбравшись, он воскликнул: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Наиболее жалостливые кинулись отряхивать снег с его лохмотьев, сняли с него сапоги, полные снега, и увидели, что он не замерз. Далее следует рассказ, что проказа стала известной Строганову, а у него был тяжко болен единственный сын. Строганов попросил у Трифона помолиться за него, сын выздоровел. Строганов хотел щедро наделить Трифона, но тот вновь тайно ушел. Сокращая рассказ о Трифоне, надо сказать, что он всегда скрывался от мирской славы, которая, по его словам, мешает достигнуть спасения от грехов.

И следует сделать общее замечание о сходстве во многих чертах жизнеописания святых вообще. Житийная литература, сейчас широко издаваемая, доступна и дает об этом представление. Праведники всегда претерпевают гонения, отличаются душевной и телесной чистотой, норма их поведения в полном отрицании жизненных благ, небоязни смерти, их подвиг в изнурении себя, в посте и молитве. Когда, например, Василию Великому угрожали смертью, лишением имущества, ссылкой и даже склоняли к отступлению от веры, он ответил: «Я не боюсь лишения имущества, потому что не имею ничего, не боюсь ссылки, ибо везде земля божия, не боюсь и смерти, потому что она будет благодеянием для меня, так как соединит меня с Богом».

Другая грань праведничества — юродство. Именно юродивым, блаженным дается дар предвидения. Ярчайший пример для России — Василий Блаженный. Народная память о нем так была сильна, что мало кто называет собор Василия Блаженного на Красной площади Покровским, хотя именно в честь победы на праздник Покрова он был задуман, построен и освящен. В Вятке тоже был свой юродивый, блаженный Прокопий. Он жил немного позднее Трифона, но существует икона, где они изображены вместе. Если предоставится случай, расскажем о Прокопии подробнее, пока же отметим, что, сходясь в жизненной цели — помочь людям избавляться от пороков, они шли к цели различными путями, прилагая к сим язвам разные пластыри: Прокопий обличая, Трифон увещевая.

Пропустив общие места жизнеописания, скажем толь-

ко о том, что именно для Вятской земли был Трифон, прозванный Вятским.

Свершив ряд исцелений, но считающий себя недостойным зваться пастырем страждущих (тут мы поневоле переходим на слог, ныне не принятый, но единственно подходящий при рассказе о Трифоне и ему подобных), наш Трифон удалился от мира в верховья Камы. Куда, трудно сказать, но жизнеописание указывает, что именно туда, где недалеко стояло вековое жертвенное дерево остяков и зырян. Кстати сказать, выбор места обитания никогда не случаен во всех жизнеописаниях, всегда есть какой-то знак — вещий сон, небесное знамение, указание духовного отца. Так вот Трифон поселился близ языческого капища. А уже до этого он исцелял больных зырян, и, видимо, слава об этом достигла и этих мест. К Трифону приходили зыряне, спрашивая о его вере. Он рассказывал, поучал жить по-христиански. Но особого успеха не имел. Остяцкий князь Амбал (не от него ли пошло это прозвище здоровенного человека — амбалом) не препятствовал Трифону, вера его остяков, зырян и вогулов держалась с древнейших пор. Трехобхватное дерево держало всех в страхе, было увешано жертвами, приносимыми изо всех концов Прикамья и Приуралья.

Трифону рассказывали страхи об этом дереве. Некто из Чердыни посмеялся над служением остяков и к вечеру умер. Другой с товарищами, видимо разбойники, слово «товарищи» толковалось тогда как воровской клич «товар ищи!», захотел поживиться жертвенными соболями с дерева. И все они были поражены слепотой.

Цитата: «Преподобный захотел срубить это дерево, служившее соблазном и погибелью многих душ... избавить остяков от владычества духа тьмы... четыре недели пребывал в посте и постоянной молитве... и срубил, и сжег то дерево».

Амбал с войском явился к Трифону: «Как ты посмел срубить дерево, которому и отцы и отцы отцов наших поклонялись, а кто смеялся над этим, тот погибал. Или ты сильнее наших богов, что ты остался жив?» — «Я только слуга того Бога, которым все создано и который всех сильнее».

Крушение всего привычного — потрясение для слабых умов, а тут святыня. Амбал поехал в Сольвычегодск жаловаться городничему. А там были люди Строганова, знавшие Трифона. Еще более язычники поверили в преподобного, когда вскоре они испытали нападение других

язычников — черемисов. Они хотели убить Трифона, но он стал невидим для них, а черемисы, пораженные непонятным страхом, бежали. И здесь следует возглас многих жизнеописаний, который впервые я прочел в «Сказании о Мамаевом побоище»: «Велик Бог христианский!» Первыми крестились дочери Амбала и другого князя — Бебяка.

Далее жизнь Трифона проходит через Пыскорский монастырь, где он был шесть лет, через пустынь, девять лет, через гонения, лишения и все укрепляющуюся к нему любовь и доверие.

Все, о чем мы рассказываем, происходило от середины пятнадцатого до начала шестнадцатого века. Но даже в девятнадцатом наш край не был свободен от язычества. Вспомним участие Короленко в знаменитом «мултанском деле». Мало того, я отлично помню овеянное страхом старое марийское (черемисское) келеметище — место жертвоприношения, говорили даже, что кровавого. В ту сторону матери никогда не отпускали нас. Но как удержать? Конечно, мы ходили. Хоть и жутко, а интересно. Дубовая роща, и больше ничего. Но помню, что, входя в нее, мы переходили на шепот.

В городке Кае Трифон узнал, что в Хлынове нет монастыря. Он, по жизнеописанию, размышлял так: «Вятская страна многолюдна есть и изобильна всякими потребами, а еже о душевном спасении скудостью одержима, и монастыря несть тамо». Пошел Трифон зимним путем, лесами, и дойдя до Вятки, напился из нее воды, «которая показалась ему как мед сладка». Затем увидел во сне: на высоком месте стоит много дерев, а посреди их одно выше и лучше всех; и показалось, что он влез на это дерево, и прочие все приклонились к нему, и душа его обрадовалась. Это усилило в нем надежду... И далее: «И преподобный, видя простоту в вятчанах и веру их чистосердечную, возымел к ним великую любовь».

Вятское земское собрание отправило с Трифоном челобитную в Москву с согласием на постройку монастыря. В Москве Трифон был рукоположен в иеромонаха и утвержден в должности строителя.

И тут самое время сказать — скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Добровольные пожертвования на монастырь были так скудны, что даже начать было не с чем. Вступало в силу невеселое правило: более пеклись наши предки (не так ли и мы?) о суетной жизни, нежели о душе. Еще было и то, что Трифона

мало знали. А может, тут срабатывала природная недоверчивость ко всему новому? Трифон пошел на замечательный шаг — в Слободском была выстроена, но стояла «впусте», неосвященной два года церковь, он ее выпросил у слобожан для перевозки в Хлынов. Разбирать стали на Успеньев день (28 августа). Два чуда случились при этом: один мужик в одиночку спустил с церкви крест такой тяжести, что внизу его еле он же поднял с другими. Второе: в первый день раскатали церковь до матиц, шел проливной дождь, перестали раскатывать, и всю ночь шел дождь, а утром «...пришли и увидели — церковь раскатана донизу и всякое бревно лежало в порядке. Делателей же такого дела нигде не отыскалось». Бревна сплотили и Вяткой сплавили до Хлынова. Дождь продолжал идти, а перестал в день Рождества Богородицы, когда произошла закладка церкви.

Воеводой на Вятке был Василий Овцын. Примерно в 1586-м Трифон обратился к воеводе, прося помощи на строительство нового храма, ибо перевезенный становился мал для растущего города. Воевода «сотвори на Пасху в дому своем пир великий, и созва вся нарочитая (знатныя) вятския жители». На обеде он объявил о просьбе иеромонаха о строительстве монастыря и первый выложил значительную сумму. «Нарочитые» люди, кто кряхтя, кто добровольно, также подписались на разные суммы. Пожертвований было собрано более шестисот тогдашних серебряных рублей, каждый весом по трети фунта, то есть более пяти пудов серебром. Вспомним, к слову, выкуп разбойникам за ярославских князя и княгиню и сопоставим разность морального значения одинаковых сумм.

В течение вятского периода жизни Трифон ездил в Москву пять или шесть раз. О его подвигах и строительстве узнают царь Федор Иоаннович и патриарх Иов. Трифон был поставлен в сан архимандрита. Мало того, даяний на новую обитель (иконы, книги, ризы, церковная утварь) было столько, что от Москвы до Вятки Трифону были даны двенадцать подвод, чтоб увезти.

В то время монастыри практически одни были рассадниками (слово это, к сожалению, читается сейчас с обратным смыслом, а вообще это прекрасное слово) просвещения и нравственности. Трифон не выдумывал ничего нового, со времени Сергия Радонежского, его учеников Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, других общежительный устав был в общих чертах выработан. Три-

фон старался не принимать в монастырь молодых людей, отсылая их обратно в мир, заставляя исполнять человеческие, крестьянские обязанности за стенами монастыря. Наиболее упорно добивавшимся монашества назначал суровое послушание. Пища в монастыре была самая простая, о вине здесь при Трифоне и не слыхивали.

Шли годы. Монастырь разрастался. Настоятель его много ездил по Вятской земле, часто ходил пешком. Предание говорит о его пеших походах на Соловки и в Казань, в Москву. В Казани он встречался с митрополитом Гермогеном, которому предсказал, что тот будет Патриархом в Москве и погибнет мученически во время литовско-польского нашествия в Смутное время. Так оно в междуцарствие и случилось.

Пользуясь расположением князя Воротынского, он получил для монастыря новые земли, лес, покосы, «ловитвы» — места для рыбной ловли. Продолжал обращение в христианство язычников, утишал смуты в Вятской земле, упреждал волнения.

Но Трифону «...привелось испытать и людскую неблагодарность, быть даже изгнану из обители, которую основал и ради которой так много потрудился в продолжение двадцати лет и более. За его управление возненавидели его сыны сопротивления — лукавые монахи, подвластные духу мира сего».

Произошло вот что. Одним из любимых учеников Трифона был Иона Мамин, московский дворянин, принявший чин инока. Заболев, Трифон составил завещание, в котором называл Иону преемником. Вот некоторые выписки из завещания: «...и вы, собранное о Христе стадо, отцы и братия! Мене, грешного, послушайте. Аз вас молю: Бога ради и пречистыя ради Богородицы между собою духовную любовь имейте... и друг друга не осуждайте. Да благословляю аз, многогрешный, вместо себя ученика своего келейного, старца Иону Мамина. А моего ныне жития конец приближается и телу моему частые немощи приходят. А ты, брате и господине, старец Иона, молю тебя, Бога ради, хмельного пития не вводи у пречистыя Богородицы в дому. Как при моем животе не бывало хмельного питья и столов в келиях, такожде и бы и по моем животе хмельного питья и столов не было б в келиях. А братии на трапезах ести довольно б было, и квас добр бы был...»

Выписка намеренно извлекает касающееся житейской части, так как от нее-то чаще и раздоры. И это как чувствовал Трифон.

Коварство и клевета, наветы и мзды, как выражались ранее, помогают часто неправде встать выше правды. Произошел в монастыре своеобразный бунт, Трифон был оклеветан перед Патриархом, в архимандриты выбрали Иону, Иона «восхоте жити по своему обычаю, и начат в монастыре вино и пиво держати, и старейшин градских и прочих мирян всякого чина к себе в келию звати, и сам к ним в дома ходити, и пиры частые творити и безмерно упиваться». Более того! Когда Трифон стал обличать поведение бывшего ученика, то Иона «посмеянием и укоризнами поношаше ему, сквернословием охуждаше его, и руками дерзок бываше, и в темницу ввергаше». То есть дошло до того, что Трифона всячески обзывали, даже били и сажали под замок. Затем он был изгнан.

Слабое здоровье, мечта быть похороненным в Вятке («якоже младенец ищет матерь свою и сей преподобный плачася ищет в Вятскую страну и рыдает о разлучении с ней») погнали Трифона на поклонение соловецким святыням, а затем обратно в Вятку. Он доходит только до Слободского, ибо слобожане просят его основать монастырь и в Слободском, на базе, как сказали бы теперь, Богоявленского храма. Денег, конечно, нет. Что делать? Из последних сил с иноком Досифеем потащился Трифон на поклон Строганову в Сольвычегодск. Но, как пишет жизнеописание, «тот возъярися на преподобного».

Но назавтра (что произошло за ночь, не знаем) Строганов через Досифея просил Трифона простить его и «даде преподобному милостыню: икон и книг, и риз, и соли, и железа... и отпусти его из дому своего с честию».

Но сколько ни дал Строганов, на строение было мало. От Коряжемского монастыря путь Трифона лежал по усольским и устюжским землям. По Вычегде и по Двине он ходил, прося подаяния. Ходил не один, с Досифеем. Носили иконы, от которых были многие исцеления. В этом месте биографии говорится не только о сборе средств на монастырь, но и о том, что во время служб и ночных бдений преподобный Трифон непрестанно плакал, не случайно в церковной службе, посвященной ему и уже упоминавшейся, говорится, что струями своих слез он «погрузил» (потопил) несметное число бесплотных врагов, то есть духов зла.

Слобожане обрадовались возвращению Трифона, «воздаша ему честь велию, и о монастырском строении всячески ему помогающе, келии братиям поставляюще, и

ограду, и святые врата сострои, и над теми враты церковь созда во имя собора архистратига Михаила».

Тут остановимся и воздадим хвалу слобожанам — церковь жива! Жива и достойно несет знамя великого русского деревянного зодчества. Это, как она теперь числится в музейных каталогах, Михайлоархангельская церковь. Она ездила в Париж и блистала жемчужиной на выставке «Русское дерево с древнейших времен до наших дней».

Но закончим о Трифоне, ибо близится и его земная кончина. Уже совсем разболевшись, рукоположив Досифея в руководители монастыря, Трифон водой, по Двине, отправляется... в Соловки. Соловецкий игумен и братия, видя немощь Трифона, не хотели его отпускать. Но одно-единственное просил Трифон, чтоб сподобили его умереть в Вятке. Именно в созданной им обители желал он «телу своему положену быти».

Не доходя до Хлынова, преподобный расхворался окончательно. Посланный к архимандриту Ионе инок, вернувшись, доложил: «Яко не внял прошения твоего и в монастырь внити не повеле». Смирение Трифона было таково, что он и эту предсмертную несправедливость воспринял не с обидой, а с радостью, говоря: «Окаянный я и грешный, хуже я пепла и сору, и всякого праху. Что я о себе высоко мыслю! Был я и поп и строитель, был и архимандрит. Что мне еще недостало!»

За преподобным приехали дьякон Максим, монах Варлаам. Весть о прибытии Трифона распространилась мгновенно, к дому Максима шли толпы народа, «судии и всяких чинов граждане» шли за благословением.

И дрогнуло гордое сердце Ионы, поклонился Трифону, зовя его в обитель. И немедленно велел вести себя туда Трифон. «Не ты виноват, — говорил он Ионе, — а вечный враг рода человеческого». Через две недели со словами: «На тя, господи, уповаю и не постыжуся во век» — Трифон «преставися в вечную жизнь».

Вериги, говорит жизнеописание, сами спали с него чудесным образом, келья наполнилась благоуханием. Тело положили в гроб, еще за двадцать лет до этого приготовленный самим Трифоном. Панихиду служил плачущий Иона. Кончина была 8 октября 1613 года. Через семьдесят лет стали строить каменный храм, который мы видим доселе и знаем как Трифонов Успенский собор, переложили мощи «вятского чудотворца

в новый дубовый гроб и поставиша в уготованной часовне, яже близ той каменной церкви с южной стороны...».

Недалеко от собора до сих пор течет из-под земли источник чистой воды, открытый, по преданию, Трифоном. Старушки ходят к нему за водой для чая, не признавая другой, здесь окрестные женщины полощут белье, мальчишки пускают кораблики и бросают камешки, чтоб обрызгать друг друга.

В конце жизнеописания говорится о множестве чудес и исцелений, случившихся при гробе вятского чудотворца.

Нашествие

Жили, множились. Множество починков, превращающихся в деревни и села, значится в документах архивной комиссии. Диву даешься обилию ратников, поставляемых Вяткой — десятки, сотни тысяч. Рождаемость была не нынешней. Походы на Волгу, верхнюю и среднюю, даже нижнюю, на двинские земли, на Вычегду, в ростовские земли, на Кострому, разорение Гледена — это все на нашей совести. Убийство усть-вымского епископа Питирима, похищение ярославского наместника и его жены — все это ужасное добавление к страницам истории.

И, как говорили тогда, разразилась над Вяткой божья кара — нашествие татаро-монголов. Вятка счастливо пересидела в лесах нашествие Чингисханово и Мамаево, но хан Тохтамыш решил отомстить русскому Северу за участие в Куликовской битве. Известно сожжение им Москвы и других среднерусских городов.

Уничтожение Вятки было поручено отрядам царевича Бектута — племянника Тохтамыша. Что Бектут и исполнил. Цитирую: «Само уже понятие о свирепом враге, соединенное с именем тогдашнего Монгола, может нам объяснить, как кровожадно выполнил полководец Тохтамыша волю своего хана.

Множество вятского народа погибло в ужасных муках. Попавшиеся в плен и не заплатившие за себя откупа разделены были между воинами Бектута и уведены на вечное рабство.

Вятчане, по примеру туземных дикарей укрывшиеся от преследования татар в глуши лесов страны, остались не истребленными единственно лишь потому, что войска Бектутовы вскоре отозваны были Тохтамышем обратно за надобностью их в войне его с Тамерланом.

(Страшно думать, что б было для России, если бы эти два варвара согласились меж собой и соединились на нас. Цитирую далее.)

Но как только миновала эта страшная гроза, то разбредшиеся по лесам республиканцы, непривычные безнаказанно сносить обиды, снова собрались на пепелищах городов своих и решили во что бы то ни стало отмстить врагам за посрамление земли своей».

Налет Тохтамышева полчища был в 1391 году, и в этом же году вятичи, собрав под свои стяги большое войско, спустились Вяткой и Камой на Волгу и разорили города кипчаковской орды, в том числе Казань и значительный тогда Жукотин.

«Следствием этого было то, что татары вторично прибыли на Вятку, и вятская республика, бывшая до тех пор более двух веков грозною и самостоятельною, сделалась данницею татарской. С этого времени татары, не доверяя более неугомонному духу вятчан, в предупреждение набегов их на волжские жилища, начали заводить на Вятке свои поселения. Князьям этих татарских селений поручено было ханами собирание дани с вятчан.

Это было уже как бы предвестием скорого падения республики. Бродяжничья же и разбойничья жизнь вятчан с этого времени принимает более широкие размеры. Истинными варварами является потомство древних вятчан на страницах русской истории 15-го века».

Ходил смотреть, примерзла ли отколотая мною льдина. И думал, чего и смотреть, конечно, примерзла, ведь зима. Но льдины... не было. Уплыть она никак не могла, такая огромная, а незамерзшее пространство узенькое, куда делась? Пригляделся, понял, что течение реки истончило лед и меньше чем за сутки наморозило на прежнем месте нового льда. Я сел и силился уловить те мгновения, в которые нарастает новый лед и убывает старый. И сидел долго-долго, замерз, но не уловил. Так и история, думал я, как бы ни всматриваться в какой-то ее отрезок, ее трудно понять, нужна протяженность во времени.

Вполне сознательно отделяю я вятичей от вятчан. Первые коренные, вторые пришлые. «Утеклецы», как писали в розыскных грамотах. Всякие были — и лучшей доли искали, и лучших земель, и от несправедливостей уходили, всяко. Чтобы крестьянину сняться с земли, ему

надо для этого решения все переворотить в сознании. Крестьяне по своей воле уходили с земли редко. Насильно выселяли и переселяли, это было в русской истории. Но больше всего пришлых людей в других местах является из людей отпетых, из тех, кому терять нечего, кроме своих голов.

Наиболее знаменитые разбойники, позорившие Вятку, были, как пишет «История», «новгородские крамольники знатного происхождения, укрывшиеся на Вятке от кары закона». Это Айфал Никитин и брат его Герасим, расстрига, это Симеон Жадовский и Михаил Рассохин. Айфал Никитин управлял двинскими поселениями — огромной страной. Подкупленный прибывшим из Москвы с войском воеводой бояриным Андреем Албердовым, Никитин сдал без боя города Торжок, Волоколамск, Бежецк, Вологду, Орлец и принял присягу на верность московскому князю. В следующем 1398 году новгородцы отобрали эти земли назад. У Никитиных был еще брат Иван, его привезли для казни в Новгород. Ивана бросили в Волхов, Айфал как-то сумел бежать в Великий Устюг. К нему из монастыря присоединился Герасим. Во главе отряда устюжан Айфал выступил против новгородцев, но был разбит под Холмогорами. Скрылся в Вятку. Оттуда, вновь соединившись с Жадовским и Рассохиным, двинулся грабить селения по Двине, Сухоне и Югу, то есть нынешние Вологодскую, Архангельскую, Костромскую области. Действуя от имени великого князя московского (титул великого, как известно, пришел в Москву после Куликовской битвы), действуя от его имени, разбойники-вятчане немало навредили в деле воссоединения России. Грабили и Верхнее Заволжье. Разбитые у двинского острова Моржа, вновь бежали в Вятку.

В 1421 году меж них произошла междоусобица, чего-то не поделили. Возникает фамилия разбойника Сабурова, который совместно с Айфалом Никитиным бьется с Рассохиным. Битва произошла у Котельнича. Десять тысяч человек легли ни за что ни про что. Никитин и взрослый сын его Нестор погибли. Куда делся победитель Рассохин, неизвестно. Где конкретно была эта битва, где покоятся кости наших предков, неизвестно. Котельнич сейчас расстроился, может, уже его окраины коснулись забытых могил.

И времена Василия II, впоследствии Василия Темного, позорны для Вятки. Здесь вятчане или купленные, или по своей воле являются сторонниками посягателей

на великокняжеский престол князя Юрия Дмитриевича и сыновей его Василия Косого и Дмитрия Шемяки. Битва под Ростовом Великим решается в пользу Юрия Дмитриевича. Василий II бежит в Новгород, Юрий Дмитриевич на московском престоле. Но внезапно умирает. Василий возвращается на московский престол, но старший сын Юрия, Василий Косой, предъявляет свои права на престол, как теперь уже по праву наследия. Снова собирает он рати, и снова основная сила этих ратей воинственные вятчане. Войска становятся друг против друга у Костромы, у впадения реки Костромы в Волгу, там, где теперь Ипатьевский монастырь. Здесь следует примирение великого князя и Василия Косого, но примирение хитрое, ибо спустя малое время тем же вятчанам дано задание захватить в плен великокняжеского зятя, ярославского наместника, князя Александра Ивановича (прозвище Брюхатый). Князь предупрежден, и ярославцы и угличане с большой многотысячной силой готовы встретить неприятеля. В это же время Василий Косой пленен. Вятчане знают об опасности. Но не оставили мысли о нападении на ярославцев. В пятнадцати верстах от Ярославля они встретили бегущие остатки войска Василия Косого и присоединились к ним. Если бы все это было разумно. Но отделились сорок отчаянных головушек. По Которосли, к ее устью, ночью проплыли они к ярославскому войску, пробрались ко княжескому шатру. Помог утренний туман. Цитирую далее: «Захвативши князя и княгиню, бросаются они на стоящие у берега княжеские суда и в виду проснувшихся и хватающихся за боевые доспехи ярославских воинов отчаливают от берега, подняв копья и топоры свои над головами пленных, угрожая их гибелью не только что при преследовании, но и при едином выстреле из стана. Затем, порезав на судах Волгу до другого берега, оставляют в немом оцепенении изумленные дружины ярославцев и угличан, не осмелившихся, по повелению князя своего и мольбам княгини, долетавшим к ним с отплывающих судов, сделать ни одного движения».

Сокращая рассказ, скажу, что князь обещает выкуп в четыреста серебряных тогдашних рублей. Это четыре пуда чистого серебра. Вятчане (история тут справедливо называет их корыстными) соглашаются. Является княжий казначей, привозится серебро, сумма отсчитывается, но «пленники не возвращаются и следуют невольниками на Вятку».

Именно эта весть о пленении ярославского князя «стоила очей Василию Косому. Совершилось злодейство, — говорит Карамзин, — о котором не слыхали в России со второго на десять века (то есть с двенадцатого): Василий дал повеление ослепить своего двоюродного брата».

И виной тому — вятчане.

Но не вятичи. И на этом настаиваю.

Но тут же может получиться, что я принижаю способность земляков к сопротивлению и боевитости. Ко мне здесь ходит Коля, сосед. Чтоб не переобуваться, приходит в домашних тапочках, гуляя в них иногда и до магазина. Зима, между тем, уже вступила в свои права, забелила и заштриховала узорами окна. Коля сидит, смотрит телевизор, курит и наконец говорит фразу, ради которой пришел: «На красненькую не сообразим?» Я отказываюсь, ссылаясь на работу, но не могу огорчать Колю и помогаю ему сообразить. Вернувшись из магазина, Коля каждый раз ругает меня, что я никак не могу приехать в Нижнее Ивкино в день его получки или аванса. «Я тебя каждый раз жду. В этот раз ждал даже, когда уже последний автобус пришел, думал, может, на попутной, гляжу, тут уж программа «Время», так ты и не приехал. А раз я ждал, значит, кой-что готовил, так ведь?» Получается, что я материальной помощью Коле благодарю его за ожидания. Все рассказы Коли сводятся к рассказам о драках. «Они нам вломили, и мы им вломили». Про армию рассказ один — как Коля дежурил по кухне и задрался, как его посадили на губу, а там все добавляли, и как Коля уж и не чаял выйти с губы. «Ведут, а ремни оба отобрали, штаны держу. Ну, мне поддадут, опять махаться. Потом меня дополнительно оформляют, зато и они все в ауте».

Или, например, вспоминается слово «санчуренок». «Эти санчурята всегда не своей смертью умирают».

Но Санчурск, как и Яранск, как и Уржум очень молоды по сравнению с Шестаковом, Слободским, Орловом, им всего по четыреста лет. Это города-крепости, учрежденные Иваном Грозным после покорения им Казани. Они опять же были заселены пришлыми, по крайней мере на командирских должностях.

На севере области не слыхали тех частушек, которые поют в южных районах. В северных более про любовь, там подковырки необидны. Ясно, что в Шабалинском районе прекрасные невесты, как и вообще все вятские не-

весты, но ведь вот поют же шабалинские соседи: «Самогоночка — не пиво, политура — не вино. Если хочешь старых девок, поезжай в Шабалино». Или чтоб не забыть: «Хорошо тебе, товарищ, ты на хуторе живешь. Утром встанешь, морду вымоешь, за рыжиком пойдешь».

В южных больше удали, драчливости. Легко составляются такие, например, цепочки.

Начало:

Как на нашу на вечерку чужой парень залетел,
Заходил, заизгибался, знать, кинжала захотел.

Завязка:

Выходи на середину, атаман-головорез,
Заведем такую драку, зашумит зеленый лес.

Начало события:

Финка-нож германской стали, он блестит как серебро,
Он найдет себе местечко под девятое ребро.

Само событие обычно не описывается в частушках, следует развязка:

Атамана схоронили, не поставили креста,
Это общая могила человек четыреста.

Следует возмездие, но отношение к нему явно наплевательское:

Ленинградская тюрьма, с поворотом лесенки,
Мы с товарищем сидели, напевали песенки.

Записано от А. Гребнева, собрано им на юге Котельнического и в Советском районах.

Думается, что это бесшабашие, по-вятски — загниголовость, — все-таки завозное. Мне более по душе говорить о вятских вещи, более характеризующие их хитроватость, их якобы недотепистость. Вятские строили мосты не поперек, а вдоль рек — это ли не достижение. И вот только что узнал историю о вятских охотниках. Пошли на охоту, видят — лежит труба. Что делать? «А давай зарядим!» Собрали порох сколь было, зарядили, запыжили. «А куда будем целить?» — «А давай в Турцию». Запалили, раздался взрыв, шестеро насмерть. Седьмой поднимает голову и говорит: «Ну ладно, наши полегли, но каково теперь туркам!»

Или из времен первой мировой войны. После бомбежки и артобстрела шевелится земля и поднимаются два

солдата. «Ты кто?» — «Вятский». — «А ты?» — «И я вятский».— «Вот ведь смотри-ка, война мировая, а воюют одни вятские».

Анекдоты, скажете. Но вот история. Хлынов во все времена не имел грозных, неприступных стен. Идут очередные враги, зима. Что делать? А ведь придумали — настроили огромные снежные стены, заморозили. Но мало того — разрисовали стены под каменные, с бойницами, башнями. Измаил, да и только. И это задолго до потемкинских деревень. Враг отступил. От других врагов вятичи откупались подарками, особенно от московских воевод. Знали, кому что подарить, вообще всегда ощущается нежелание пролития крови. «Чего нельзя было сделать силою — то сделали подарки, принявши которые от вятчан, сняли московские воеводы осаду с городов вятских и вернулись восвояси, как бы неимевшие успеха».

Здесь дважды в день отключают электричество, и все тонет во мраке.

Говорят, что делают какую-то окольцовку. Вчера я не знал, что это бывает даже вечером, и оказался в полной темноте. Даже жутко стало. Сидел минуту, две, десять. К окну — темным-темно. Небо темное, луна еще — еле-еле за темным лесом. Окно дрожит от холода и тускнеет от инея. Увидел даже, как будто пристало к стеклу воронье перо. Нет, не мог больше сидеть в ночи. Стал искать обувь, одежду. И вроде хорошо изучил жилище, а задача не из простых. Вспоминал слепцов, чувствовал, как обостряются ощущения пространства. Оделся и вышел. Еле-еле кой-где в окнах маячили отсветы печей и керосиновых ламп. Тут еще и ветер. То есть если б снег был спокоен, он бы давал отсвет от неба. Пошел к центру поселка. Поднял голову — стало легче. Уже прокалывались звезды, они были не желтыми, не тревожно-красными, а радостно-белыми. Запнулся и какое-то время следил за дорогой, потом снова запрокинул голову — звездочек стало побольше. Остановился — смотрю. И того, немного жуткого, состояния не стало — звезды сыпались на полотно неба, будто их вышивали знаменитые кукарские кружевницы. Именно так впервые увидел небо — белым, серебряным.

В поселке, во тьме мрака, кипела жизнь. Стояли бортовые машины, груженные скотом. Моторы от мороза не

были выключены, и машины обволакивало выхлопными газами. Изо всех магазинов был открыт только винный, там исхитрялись торговать при свечах. Заряжали при спичках бочку с пивом. Тут-то я и узнал про окольцовку, но в чем она заключалась и почему ее надо делать в темноте, не знаю, и так и умру, не узнав.

Вот почему я сказал про эту темноту. Именно при ее наступлении меня вдруг поразило открытие, что все настолько рядом, что вот еще минута — и я войду в избу, где горит лучина, где дед на печи, внуки на полатях, я среди них. Вот отец входит в гремящей одежде, оттаивает бороду у устья печи. Вот дает нам пряники и книжки. Я помню лучину и коптилку, помню извоз, помню бесконечные метели над моим селом, помню снега выше проводов и эти столбы помню, когда ходил в командировки и когда всегда обмораживался, ибо один раз обморозился страшно, и лицо перестало терпеть.

И пошел я за поселок, в лес, только в лесу еще можно было пройти без дорог, ветви задерживали снег. И вспоминал, как недавно ходил здесь всюду, как на закате, почувствовав себя мальчишкой, лез на сосну, догоняя взгляд закатного солнца. Как думал тогда, что перед грозой душно, а перед снегом холодеет. И еще думал, что если все главное высказано, то никогда всего остального не выскажешь. И тут же понимал главную суть русского языка, на котором чем больше сказано, тем больше не сказано.

Как я не заблудился, как не оцарапался? А небо все изукрашивалось. Затихали звуки моторов, совсем стихли. Глаза привыкли, я видел ветви, стволы, прогалы, белеющие поляны. И вдруг зазвучало во мне: «Ты взойдешь, моя заря, последняя заря... настало время мое... В мой страшный час, последний час, господь, меня благослови». Это от совершенно мистического сходства этого елового леса с декорациями к опере «Иван Сусанин» в Большом театре, от исполнения последней арии Сусанина земляком моим Ведерниковым. Но тут же я, в отличие от Сусанина, забоялся, что зашел слишком далеко. Пошел обратно, угадывая следы.

А тут и свет зажегся. Тут и коровы в машинах замычали, тут и свечи в магазинах погасили, экономя до следующего раза.

Я пошел купить свечей на следующие случаи «окольцовки» и заодно погрелся, так как было морозно. И весело слушал, как мужик, зашедший после бани отметить-

ся, рассказывал, как они там во тьме шайками гремели. «В парилке-то от кирпичей светло, сколь натопили, а в самой-то бане лбами стукались. Потом дядя Миша фонарь принес». Дядя Миша — это знаменитый нижнеивкинский банщик знаменитой Нижне-Ивкинской бани. Чем же знаменита баня? Паром и деревянной парилкой. Еще в этой бане живет сверчок. А чем знаменит дядя Миша? А тем, что не пьет. Ни грамма. Известно его выражение: «Топят у нас не газом, а дровами, да сами-то кочегары под газом». А топят сейчас старой школой, потом будут разбирать на дрова старый интернат. «Ну как водичка, — спрашивали мужика, — мокра?» — «Мокра, говорю, дядь Миш, нет ли сушеной после бани обдануться». Еще над мужиком смеялись, что тащит из бани веник за десять копеек, да еще и выпаренный. «Не на венике, на вине экономь». — «Ну так этак, конечно, — соглашается мужик, — пропьешь ворохами, не соберешь крохами». Но веник не выбрасывает.

Очередь движется поступательно, никто, даже близкие знакомые буфетчицы, не минуют ее, и вот еще один мужик, достигнув прилавка, наваливается на него, облегченно вздыхает: «Ну, теперь уж лежа, да долежим». И вижу в мужиках родное с детства, дядю Васю, например, его проделки. Как его оставили на огромное хозяйство, а у него и без хозяйства нашлось дело — вытягивать через соломинку брагу из трехведерного бочонка. А почему через соломинку? А потому что нельзя было нарушить теткину печать, хоть и не сургучную, из ржаного теста, но не менее строгую. Дядя хотел спокойно пить свой коктейль и кормить никого не собирался. Поросенок устал рехать, смирился, как и остальные животные. Но не гуси. Эти орали так надсадно, что отравляли наслаждение. Тогда что сделал дядя? Он намешал в корм гусям крупной соли, гуси набросились на еду, наелись и пошли, довольные, на речку. Там наплавались, наигрались, опять захотели есть. И пошли к дяде. Но жажда повернула их вспять. Так и ходили гуси целый день. Напьются, пойдут домой, опять поворачивают.

— В аду много котлов стоит, — рассказывает соседу за столиком, а значит, и мне мужик с веником, — в одном котле наши, ну, вятские, в других разные — сибиряки там, Кавказ, костромские, воронежские... И вот, у всех котлов дежурят, чтоб не выскочили, а у нашего нет. Почему? А, говорят, вы сами, если кто выскочит, обратно притопите.

Ограбили магазин

И ограбили-то его как-то по-смешному — вытащили из склада ящик сока, который никто не мог выпить за последние пять лет, и несколько банок маринованных помидоров, которые опять же зеленели годами внутри да краснели ржавчиной крышек снаружи. Вытащили, но не утащили, спрятали у выхода на улицу под лестницей. Но ведь замок сломан, накладка выворочена: кража со взломом! Увидел это утром грузчик Манаенков, отец двух детей, пьющий человек. Сказал заведующей. Та звонить в райторг, оттуда ревизия, на дверях слово: «Учет». А так как учет был недавно, то сразу поняли, что что-то неладно: или заворовались, или еще что. Тут и участковый, тут и разговоры. Тут и находка — недопитая бутылка около вытащенных банок. Мнение мужиков в пивной было двузначным: или шнурки (подростки) полезли и кто-то спугнул, или кто-то уж такой пьяный, что не понимал, что делает, если уж даже допить бутылку сил не хватило. «Как-то же уполз». — «Придремал, да очнулся, да и пополз домой, а зачем приходил, и сам не знает». — «Сейчас, поди, и не помнит. Буди опохмелится, дак очнется».

У меня наутро после ограбления, когда о нем не знали, кончился газ, я пошел к хозяйке. Дома был Коля, он лежа читал «Вечный зов» и сопоставлял текст книги с экранизацией, находя разницу и ругая писателя за то, что в книге не так, как в кино. «Ты чего не заходишь?» — спросил я. Коля объяснил, что он встал на «просушку» и третий день читает. И что скоро пойдет в библиотеку менять книги.

А вечером пришел, показал испачканные краской пальцы и ладони и сказал, что снимали отпечатки, что завтра повезут в милицию, в райцентр Кумены. «Дактилоскопия, мать-перемать», — сказал он, отмывая руки арабским стиральным порошком.

Но посидел у меня бодро, пили чай, он курил, рассказывал опять об армии, о том, как приходили посылки, что никто не «курковал», то есть не прятал от других присланное, что «кускам» (сундукам, макаронникам) доставалось. Рассказывал, как грузили вагоны запчастями для тяжелых машин. «Рессору от «Урала» в одиночку таскали. Ты таскал? Нет? Но главное — скреперская резина — триста семьдесят пять килограмм». Но Коля хоть

и бодрился, видно было, что поездка в район неприятна ему.

Ушел, прибежала расстроенная мать его, просила денег дать Коле на завтра. Она уже бегала к участковому, но не застала. «Да что это такое, он же три дня из дому не выходил». — «Ну и успокойтесь». — «Все равно ведь заберут, ничего не докажешь, — повторяла она, — если из-за того, что там грузщичал, так их там каждые три месяца полно новых». — «Но если отпечатки сняли, по ним же установят». — «Чего отпечатки, возьмут да подтасуют». — «Как?» — «С бумаги возьмут, да на бутылку оттиснут. А мое свидетельство в расчет не примут — мать».

Увезли их с Манаенковым вдвоем. День мы проволновались. Зинаида Егоровна рассказывала про свою жизнь. Где какие были деревни, как она девочкой встретила День Победы. «Снег шел, но пахали. Из Ивкина прибежал нарочный: «Звонили в Ивкино — война кончилась». Хотели работу бросать, а бригадир просит: «Уж хоть до обеда давайте попашем». Так до обеда пахали, а с обеда праздновали».

Вечером пошел в столовую, там Коля. Веселый. «Чего не пришел, мать же изводится». — «Да я только что. На красненькую не сообразим?»

Коля рассказал, что допрос был вежливый, хотя вначале сказали, что могут до выяснения причин замести на три дня. «Манаенкова стали допрашивать, я пошел в лесхоз на собрание. Там говорят: план не тянем по пиломатериалам, я думаю, надо ребятам помочь. Завтра, наверное, да не наверное, а точно, на работу выйду. Лишь бы тес пилить, ну брус, но не этот мусор, не штакетник».

Вечером Коля на работу не вышел, сидел у меня и говорил про свою обиду на участкового. «Надо же было вначале алиби проверить, нет, давай руки пачкать. Слышь, а следователь спросил, откуда у меня часы. Я говорю: ворованные, а он: ты здесь не груби. Слушай, чего ты никогда в аванс или в получку не приедешь, я же каждый раз прошу. Прошу же! А просьба равна трем приказам, приказ можно не выполнять».

Тут Коля сорвался и побежал за картошкой, хоть я и удерживал. Пока он бегал, я вспомнил про часы. Это я ему часы подарил и никогда бы не вспомнил, но Коля сам непременно, особенно выпивши, вспоминает. Мне так надоело, что я пригрозил отнять обратно. Но тут

в расстроенных чувствах, да еще после интереса следователя. Эти часы электронные. Еще первых выпусков, в них совершенно устрашающая точность, даже не на секунду, на доли секунды. Они все показывают: год, месяц, день недели, часы, минуты, секунды. В них что-то неумолимо вокзальное, в этих молча меняющихся, и все вперед, и вперед, цифрах. Они угнетают точностью. Даже ночью их видно — светятся. И молча работают. Уж я и ронял их, раз даже с ними заплыл — идут. Я смирился. Когда кончились все сверхсроки смены питания, часы все равно шли. Это было как проклятие, в них не было относительности времени, то есть где угодно, на собрании или за столом, в радости или в горе, они шли одинаково, как заброшенные с другой планеты. Спас меня от них случай. Один печатный орган подарил мне именные часы. С надписью. Естественно, я подумал, что часы встанут на другой день. Ну, ничего, думал я, надпись останется, внуки посмотрят и дедушку зауважают. Но часы шли. Как-то по-родному крутились по солнышку стрелки, особенно секундная старалась, так трепетно и неуверенно, как былиночка, что я б и не рассердился, если б она остановилась отдохнуть. Но и наутро часы шли. Я заметил по электронным и вечером сверил. Конечно, нормальные часы отстали, но на то они и были нормальны. В них в окошечках были тоже означены день недели и число, конечно, перевранные, но и это было очень хорошо, очень по-нашему, не позволяло надеяться на других, заставляло работать головой. Когда я поехал сюда, я уже полюбил их и не снимал. Но, честно говоря, подстраховываясь, вдруг встанут, взял и электронные.

В первый вечер, так совпало, Коля, сокрушаясь, сообщил, что накануне за трояк «махнул» свои часы. «Чего ж за трояк, хоть бы за пятерку». — «Мучило сильно, болел». Тогда я и подарил электронные часы Коле, с облегчением избавляясь от них. Предупредил, что, может быть, скоро придется сменить батарейки, но это при нынешней науке и технике просто. Но время идет, и Колины часы идут. Я знаю, что Колю соблазняли много раз уступить их за большую, нежели предыдущая, сумму, но он держится. Каждый раз мне гордо рассказывает, что устоял, хотя и взять было негде и цену давали хорошую. «Я даже нарочно торговался, говорю: давай по бутылке за каждое указание. За то, что год показывает — бутылку, месяц показывает — еще бутылку, день недели, часы, секунды, минуты. Я еще приврал, что частоту пульса

показывает и давление, есть же такие часы? У японцев-то есть, конечно».

Но я не велел Коле торговать подарком, он отвечал, что и сам не дурак, только я все же сильно сомневаюсь, а вдруг не устоит? Как я тогда, по чему буду сверять свои часы, радио здесь не работает.

Не знаю, как кого, а меня мучает вопрос — пропьет ли Коля часы?

Коля принес картошки и гордо сказал, что за картошкой ходил в яму. Яма не подполье, она неблизко от дома, да и подступы к ней в снегу, и раскрыть ее целое дело. Но, думаю, что Коля специально пошел на этот подвиг, чтоб вновь и вновь отблагодарить за подарок.

Наутро Коля на работу не вышел, план по пиломатериалам до сих пор отстает. Часы Коля не пропил, не продал, не подарил, он их потерял по пьянке.

Карьера по-вятски

Я давно знал и гордился, что выпускник нашей сельской школы М-в работает дипломатом, и, по слухам, крупным дипломатом. Поэтому и приходится писать не фамилию, а первую и последнюю ее буквы. Но лет пятнадцать назад, когда я был изгнан с работы, я встретил М-ва в виде, совсем не дипломатическом, — он был явно бедно одет, в руках держал сетку, нагруженную овощами. Сам я выглядел так же, включая сетку с овощами. М-в принялся хохотать, но совсем не сконфуженно, а вскоре, когда мы сели поговорить, хохотали оба.

Специально карьеры М-в не делал, но наша вятская привычка пахать на совесть, впрячься и не вылягивать сослужила ему добрую службу. Как говорят: за Богом молитва, а за царем служба не пропадают. М-ва заметили, выдвинули, определили в одну из азиатских стран, страну сложную политически и экономически, многонациональную. Он был женат, но не по любви, это важно для рассказа. Женился буквально у трапа самолета, ибо неженатого не послали бы. Женился, улетел и работал. В стране — бывшей французской колонии — был замечен среди тамошнего дипкорпуса: знание языков, умение вести государственные дела при личном бескорыстии выдвинули его почти на первые роли в посольской колонии.

Начальство МИДа отозвало его в Москву, подержало год в аппарате, и он получил назначение в Париж на высокую должность.

Наутро надо было вылетать. Защелкнутые чемоданы на колесиках стояли в просторном коридоре московской квартиры, жена готовила стол. Стол легко было готовить — жена все заказала, и все, включая горячее, ей привезли готовым. Привез личный шофер мужа. М-в давал отвальную.

И вот — это случилось. На вечер пришел малознакомый товарищ, пришел с женой. И вот что вышло: М-в и эта чужая жена полюбили друг друга, полюбили мгновенно, именно полюбили, а не сошли с ума. Не солнечный удар, после которого нужно исцеление, а именно любовь соединила их. Забегая надолго вперед, то есть в сегодняшний день, скажу, что они женаты и счастливы, у них трое детей, от первой детей не было. О первой он сказал только, что она была жадна, детей не хотела, прощать не умела, какие еще нужны пороки, чтоб отряхнуть данный прах со своих ног? Но тогда, что тогда? Они ушли с вечеринки, убежали, кинулись в город, в Подмосковье, к его знакомым, и он вернулся оттуда через неделю, отлично понимая, что с карьерой покончено. Его понизили по службе так низко, что ниже были только курьеры и стрелки военизированной охраны. Ведомственная квартира осталась за первой женой, соединившейся с его бывшим шофером, а М-в стал снимать комнату на пятом этаже в Кузьминках.

— Получаю сто десять рублей, подрабатываю переводами. Куда денешься: дома дети плачут: «Тятя, хлеба дай!»

— Не раскаиваешься?

— Ничуть! Понимаешь, ведь второго родила, все как девчоночка, меня стесняется, а где как мать. Курить перестал, выпиваю совсем редко, да, в общем, не выпиваю. А раньше всякие журфиксы да брификсы, нет уж, лучше суффиксы и префиксы. Уеду из дома и домой тороплюсь, по ней и детям тоскую. Это же и есть жизнь.

Он советовался, как бы ему вовсе уйти с его работы и устроиться на договорные отношения с каким-либо издательством. Он уже пробовал, не получалось.

— Не у нас одних мафия, — смеялся он. — Я к переводчикам со всей душой, я же ихний! Нет, брат, там свои, я не нужен. Это кто, Евтушенко литературу с трамваем сравнил? Бегут, кричат: не отправляйте, а сел, кри-

чит: поехали. Да, брат, стол-то круглый, да садятся за него и локти пошире раздвигают, чтоб никто рядом не сел. Я заикнулся, что комментарии к «Махабхарате» и «Рамаяне» кое-где нуждаются в уточнениях, мне дали понять, что ходить к ним не надо. Я думал, может, только Восток ими оккупирован, давай зайду с Запада, с французского, нет, они уже и там.

Было что и мне рассказать М-ву. История моей неудавшейся карьеры была лишена лирической окраски, содержала скорее элементы сатиры и юмора.

До момента встречи с М-вым я работал в одной конторе, занимавшейся выпуском плакатов, буклетов, путеводителей, в основном для туристов. Слово «турист» я терпеть не мог и везде старался заменить его прекрасным словом «путешественник». Одна из моих редакторских удач была в выпуске плаката «Путешествуйте пешком!». Хотя так писать неправильно, ведь путешествовать — это и означает идти пешком, и я предлагал написать просто «Путешествуйте!» и нарисовать путника на дороге среди берез. Но время изменилось, мне было замечено, что путешествуют теперь на самолетах и теплоходах, а в конных маршрутах и на лошадях. Сказали об этом два других редактора, Лева и Боря, ветераны этой издательской конторы (тогда не было издательства «Плакат»).

В конторе четырежды в день была железная дисциплина: надо было вовремя прийти на работу, вовремя уйти на обед, вовремя вернуться с обеда и быть на своем месте в конце рабочего дня. За этим следили. А за тем, что заполняло пространство меж этих временных отметок, следили не очень. Оно заполнялось в основном весельем. К финалу дня некоторые из конторских сидели, держась за столы, но сидели, проходили проверку на посещаемость, а после проверки, особенно после рабочего дня, веселились законно. Жена моя, огорченная моими возвращениями во внеурочное время, явилась в контору, но вся контора закричала, что трезвее меня человека просто нет, что уж если я не работаю, то кто же работает? Я сидел и редактировал текст нарукавной повязки военного туриста. Разные были заказы.

Были заказы и такие, на которых можно было подзаработать. С них все и началось и ими все и кончилось. Лева и Боря не скрывали, да было и невозможно скрыть, что подписи к разным плакатам оплачиваются, и неплохо. Подписи делали Боря и Лева. Подписи были незатейливы, например: «Приглашаем в солнечную Кирги-

зию», или: «Вас ждет янтарный берег», или: «Самолетом — в солнечную Грузию», но оплата была огромной — двадцать пять рублей за подпись. Боря и Лева стойко держались за подписи, являя собой сплоченную мафию. Они как-то сумели внушить начальству, что лучше их никто не сможет делать подписи. Леве и Боре, конечно, было легче, когда сбрасывались, не от семьи отрывать. Один раз у меня был гонорар на стороне, гонорар небольшой, но жене неведомый, и я — дело прошлое — извел его на радость коллективу. Совесть бывает и у мафии: принимая мое угощение, Боря и Лева предложили мне составить одну подпись. Выпало Телецкое озеро. Я обрадовался возможности заработать четвертную, но мне было стыдно получать ее за одну только строчку. Я решил порадовать работодателей. Просмотрел слайды, полистал справочники и энциклопедии, узнал об озере кое-что и трудился два дня. Конечно, не избежала жемчужина Алтая названия жемчужины, конечно, был и целебный, настоянный на запахах тайги воздух, было там это, но было и нечто, что заставляло немедленно бросить все и бежать доставать путевку на турбазу Телецкого озера.

— Алтын-кель, — гордо говорил я, подавая подпись в трех экземплярах.

И такой был эффект моей рекламы золотого озера, что начальство, одобрив ее, поручило мне еще два плаката, отняв их у Левы и Бори. Поручило Камчатку и Байкал. Нигде тогда из этих мест не бывавши, я вновь обратился к справочникам. Еще была открыта для доступа долина гейзеров, еще не было на Байкале целлюлозного комбината — было куда звать туристов, я старался.

Итак, я перебил заработок у мафии. Но ведь не весь, думал я, и на обмывание гонораров не скупился. Однако раз случайно услышал по своему адресу, что заставь дурака молиться, он и лоб расшибет, и смекнул, что дела мои пойдут плохо. Стал отказываться от подписей, ссылаясь на занятость, но начальство, полюбившее мои подписи к плакатам, от занятости, то есть от вычитки корректур, поездок в типографии, меня освободило и переложило мои обязанности на тех же Леву и Борю.

Еще наша контора выполняла заказы различных министерств и ведомств. Путейцы постоянно заказывали плакатики по технике безопасности, и Лева и Боря, ничтоже сумняшеся, поставляли им такие тексты: «Перехо-

дите железнодорожные пути в установленных местах» или: «Выиграешь минуту — потеряешь жизнь» — и получали тридцатку, ибо с чужих драли дороже. Министерство торговли постоянно теребило нас, требуя рекламировать те товары, которые плохо раскупались. Зачем было рекламировать те, что раскупались хорошо? Лева и Боря сочиняли восклицательные предложения о полезности консервов «Завтрак туриста», «Уха азовская», беззастенчиво врали, что маргарин и животные жиры не уступают сливочному маслу, и опять же шли к кассе. Лебединая песня Бори и Левы звучала так: «Знать должен каждый человек — полезен серебристый хек».

Я тоже рифмовал. Написал для стенной газеты конторы такой текст: «Ты помнишь, товарищ, что было весной и в чем мы сидели почти с головой?» Это напоминало коллективу наше вселение в полуподвальное пространство и прорванную канализацию. Начальство, посмеявшись, решило меня и на стихотворных плакатах попробовать. Я не сробел, и до сих пор не стыдно вспомнить несколько текстов. Железнодорожный: «Чтобы дожить до седых волос, нужно знать не особенно много: по рельсам ходит электровоз, для пешеходов — дорога!» Торговый плакат для булочных: «Вот вам секрет долголетья старушек: за чай никогда не садятся без сушек. Второй секрет: сохраненье осанки — с утра до ночи ешьте баранки». Тогда что-то булочные затоварились баранками и сушками. Пришлось и к серебристому хеку руки приложить:

Как жили мы за веком век,
Не зная про такую рыбу,
Такую витаминов глыбу?
Купите серебристый хек!

Меня повысили по службе, уравняли в зарплате с Борей и Левой, и Боря и Лева решили со мной дружить, советовались по своим текстам. «А как бы ты, например, тиснул про нототению?» — «Ну как? — Без тени я сомнения — пред нами нототения». — «Старичок, это на поверхности». — «Ну, по-другому. «Всю ночь на воскресение я жарил нототению».

Какое-то время было весело.

Принесли заказ на рекламу бельдюги.

Прошел мой текст:

Советую врагу:
«Мясное ешь рагу».

Товарищу и другу
Шепну: «Купи бельдюгу».

К одному только слову придрались.

— Почему «шепну»? — спросило начальство. — Зачем нам этот намек на тайну. Нам нечего скрывать, это не маргарин, бельдюга питательна, вот выкладки.

— Чего ж тогда плакат заказывают? Значит, не покупают? А тут купят. Это же ухищрение такое, — защищался я.

— Но ведь вы не знаете, где друзья, а где враги, ведь по эту сторону прилавка все равны.

— И пусть не знают. Купят и те и эти. Какая разница, кому продать, лишь бы продать.

Все-таки велели слово заменить. Поев питательной бельдюги, Лева и Боря советовали сочинить так, чтоб никто не покупал, а своим, говорили они, мы шепнем, чтоб покупали. Но этой хитромудрости я не мог понять. Мне задали вопрос на засыпку:

— Кто автор подписи: «Не влезай — убьет»? Кто?

— Не знаю.

— А кто четвертную получил за подпись?

— Вы?

— Да! — воскликнули Лева и Боря. — Да! Но теперь ты хоть что-нибудь понял?

И опять я ничего не понял. Еще немного побившись со мной, Лева и Боря решили со мной кончать.

— О, дальнейшее понятно, — перебил меня в этом месте рассказа М-в. — Кто-то опоздал, его засекли, а ему дают понять, что заложил ты. Внезапная проверка, после нее по конторе слушок, что настучал ты, так? Заказчикам дают понять, что ты халтурщик, тебе лишь бы гонорар сшибить, а на дело наплевать, то есть переваливают на тебя все свои изъяны. Изъян всегда на крестьян, так ведь в нашей Вятке говорили?

— В общем, выжили меня, — сказал я. — Как мы умеем бороться? Да никак! Сильны в открытой борьбе и беспомощны в закулисной. Какая наша борьба? Терпишь, терпишь, да и пошлешь всех подальше, а этого-то им и надо, на это расчет. И вот — хожу за овощами. Для литературной канвы рассказа добавлю, что дождями и ветрами мои тексты с плакатов и сами плакаты смыло и опять расклеиваются другие: «Приезжайте в солнечную Молдавию», «Такси — все улицы близки», «По гоголевским местам», «Пользуйтесь пешеходными переходами»...

— «Не влезай — убьет».

— Так получается, — согласился я. — Они тоже меня всяко воспитывали. Говорят: тебе жалко, что ли, что у дураков холестерина станет побольше? Говорю: жалко. Ну, говорят, и иди к ним.

М-в показал мне написанные красивым крупным почерком заказы жены, и мы прошлись по магазинам, их выполняя, а потом расстались.

На десять лет.

За эти десять лет произошло вот что. О М-ве вспомнили. На одном из приемов дипломат одной из стран спросил одного нашего дипломата (когда пишешь о дипломатах, поневоле приходится переходить на дипломатический язык), спросил, где теперь такой-то талантливый, молодой и так далее дипломат. Наш не знал и поинтересовался. Ему рассказали о вопиющем факте пренебрежения служебными обязанностями. М-ва вызвали и расспросили. Терять ему было нечего, суждения его были смелы и самостоятельны, ведь он зря время не терял, продолжал совершенствовать и языки и знания. Начальнику М-в понравился, он извлек М-ва со дна МИДа, резко повысил в звании, М-в оправдал доверие, был восстановлен и в остальных правах, послан в Африку, затем в Европу, и я не удивлюсь, если М-в вот-вот станет Чрезвычайным и Полномочным.

Я тоже не пропал. Лева и Боря со мной здороваются.

Одно печалило М-ва при встрече — редко бывает на родине, в нашей милой Вятке. И жадно расспрашивает меня, как там и что. И все мечтает повезти туда детей, которые говорят кто на английском, кто на французском, а младший изучает суахили.

Вернемся к истории

Теперь по Соловьеву, книга третья, тома пятый и шестой. Более ранние периоды описаны по другим источникам, пора рассказать о присоединении Вятки к Москве. Или пошутим так — присоединении Москвы к Вятке. Шутка, слыханная мною и жизненная, если добавлю еще две, тоже взятые из употребления. Малмыж — большой красивый районный центр, бывший уездный город, там я слышал шутку, что Париж — пригород Малмыжа. Это прозвучало эффектно, согласитесь. Я без иронии: стояла светлая ночь начала лета, цвели черемухи, звенели ко-

мары, майские жуки застревали в девичьих прическах, жуков, которых, может, сами же тайно подсунули, выцарапывали неумелые пальцы моих юных земляков (моя Кильмезь входила в Малмыжский уезд), выцарапывали, девчонки визжали, гармошка играла, то до испуга отдаляясь, то радуя сердце, приближалась, какой там Париж, весь свет объедете, такого не сыщете. «Всю-то я вселенную проехал, нигде милой не нашел, я в Россию воротился...» Ах, а позднее что будет! Да то и будет, что было у нас: «Гармонь рвалась на правое плечо, как вспомню я весеннюю вечерку, всю в лепестках черемухи девчонку, и по сегодня сердцу горячо!» Так что никуда не денешься, Париж — пригород Малмыжа. А вторая шутка: «Сочи, Оричи, Дороничи — курортные места», тут недалеко до сатирической: «У кого грабли на плечах, у кого задница в Сочах».

Взаимоотношения с остатками Орды перешли во вражду, когда Казань окрепла. Она представляла реальную силу, и военную, и экономическую.

Пережав Волгу и вдоль и поперек, она лишала Россию торговли и с югом и с востоком, вдобавок постоянно соотносилась с Крымской Ордой. А уж если для Москвы Казань грозна, то что для Вятки? Москва далеко, Вятка близко. На Москву Казань не пойдет, а Вятке за союз с Москвой вымстит. Но московский князь, зная силу и удаль вятских республиканцев, склонял их к военному союзу против Казани. Подчинял себе. Этой целью был озадачен Сабуров, устюжский наместник. Его попытка 1468 года была отбита бескровно, подарками, и в казанском походе Москвы через три года вятичи не участвовали. До окончательного покорения Казани оставалось еще очень много.

Вятичи видели, что Новгород враждует с Москвой, а мы убедились по летописям, что Новгород восстановил противу себя не только Москву, но и Север. Тут точнее процитировать Соловьева: «И прежде в летописях отмечается нерасположение северо-восточного народонаселения к Новгороду, но теперь, при описании похода 1471 г., замечаем сильное ожесточение: «Неверные, — говорит летописец, — изначала не знают Бога; а эти новгородцы столько лет были в христианстве и под конец начали отступать к латинству».

Здесь союз вятичей с устюжанами и Москвой вызван опасностью проникновения ереси жидовствующих на Север и Восток. Войска сошлись на Двине: «Жаркая битва

продолжалась целый день, секлись, схватывая друг друга за руки; двинский знаменщик был убит, знамя подхватил другой, убит был и этот, подхватил и третий, наконец, убили и третьего, знамя перешло в руки москвичей, и двиняне дрогнули...»

Двиняне дрогнули, но вскоре дрогнула и Вятка, потерпев от Ибрагима, хана казанского, в 1478-м. Получилось так (по Соловьеву): «Как нарочно, хан казанский нарушил мир в то самое время, когда Иоанн привел Новгород окончательно в свою власть». Полное ощущение того, что Казань и Новгород имели сношения меж собою. «Здесь или неверные или специальные вести приходят в Казань, что Иоанн III потерпел от новгородцев и самчетверт убежал раненый». И вот тут-то Ибрагим сразу же пошел на Вятку, видимо имея целью не только ее покорение, но и соединение с Новгородом. «...Взял много пленных по селам, но города не взял ни одного и под Вяткою потерял много своих татар, стоявши с масленицы до четвертой недели поста». То есть более месяца. Не взявши Вятку, Ибрагим пошел на Устюг, но был задержан преждевременно разлившейся Моломой. Есть и другие предположения, что не сам Ибрагим возглавлял поход, а его военачальники. Тем временем из Новгорода пришли подлинные вести, что не великий князь потерпел от новгородцев, а они от него. Ибрагим тут же «отдал войску приказ возвратиться немедленно, войско повиновалось так ревностно, что побежало, бросивши даже кушанье, которое варилось в котлах».

Большое видится на расстояньи. Из Вятки было отлично видно, что братья великого князя далеко не единодушны, совсем не как пальцы единой руки, сжатые в кулак, и это дает им основание уклониться от казанского похода 1485 года.

Их ответ: вятчане тогда пойдут на Казань, когда на нее пойдут все братья великого князя. И по-видимому, это вывело из себя Ивана III. Может быть, он сразу же хотел посылать войска на Вятку, но вначале последовали мирные увещевания, две грамоты московского митрополита. В первой он говорит, что молил великого князя о вятчанах «со многими слезами; но от вас нет никакого исправления». Во второй: «Бейте челом великому князю за свою грубость, пограбленное все отдайте, пленных отпустите. Если же не послушаете, то кровь христианская вам отольется; священники ваши церкви божии закроют

и пойдут вон из земли, если же так не сделают, то будут и сами от нас прокляты».

Закрытие церквей было высочайшей мерой наказания. Вспомним, как Сергий Радонежский «затворил» церкви Нижнего Новгорода за вражду с московским князем. В данном случае церкви не закрыли, но, увы, и угроза не помогла. И шестидесятичетырехтысячная рать под началом воевод Даниила Щени и Григория Морозова подступила к Вятке.

Конец августа 1489 года. Надо представить размеры тогдашней Вятки, центр Кирова, заключенный меж садом имени Степана Халтурина и взгорьем к Серафимовской церкви, и шестьдесят четыре тысячи московского войска, кадровые военные, можно сказать. За многими казанские походы, великое стояние на Угре, новгородское покорение. Вятичи высылают послов сказать: «Мы великому князю челом бьем, покоряемся на всей его воле».

Воеводы отвечали: «Целуйте же крест великому князю от мала до велика» и велели выдать головами Ивана Аникеева, Пахомия Лазарева и Павла Богодайщикова. Послы просили сроку до завтра.

Они думали два дня. Воеводы ждали. На третий день было послано сказать, что никого не выдадут. Войску было приказано готовиться к приступу.

Много-много раз пытался я представить эти три дня. Эти три дня стоили жизни трем воеводам. Я представлял их примерно так: Ивана Аникеева — человеком мрачным и почти безрассудным, Пахомия Лазарева — человеком рассудительным, набожным. Более симпатий, мысленных, конечно, доставалось Павлу Богодайщикову. Он представлялся самым молодым вятским воеводой, влюбленным в вольную крестьянку, любимую дочку многосемейного крестьянина. Ее звали Марусей. Она была диковата и молчалива, и Павел всегда говорил больше, чем она. Бегая на тайные свидания, боясь, что отец узнает, она твердила одно, что ему надо жениться на боярской или купеческой дочери и что отец ее за воеводу не отдаст. А сама любила Павла и когда мечтала, что вот она расчесывает его русые кудри, то даже ночью краснела сама с собой.

Итак, послы вернулись. Что было в первые сутки, какие разговоры? Искать защиты у Казани? С ней всегда враждовали. Устюг заодно с Москвой. Выход был один — сдаваться. Но кто-то из троих первый сказал: воевать. А жертвы? Ведь не пощадят, воинства густо привалило.

Знали характер Ивана III, характер миротворческий, некровожадный. Покоряя или замиряя города, княжества, он миловал новых подданных, разводил по другим городам. Но ведь конец вятской вольнице. А прах отцов, память дедов?

Московские воеводы, учитывая жаркое лето, решили Вятку сжечь. Каждый ратник должен был приготовить охапку дров, запасаться смолою и берестою. Огромное количество горючего, по-пожарному выражаясь, материала было привалено к плетню, специально сделанному вокруг города.

Но не вспыхнул огонь — Вятка сдалась. Воеводы вышли впереди лучших людей Вятки. Богодайщикова, Аникеева, Лазарева били кнутом и казнили в Москве. Знатных людей Вятки с женами и детьми великий князь жаловал поместьями в Боровске, Алексине, Кременце, купцов Вятки поселили в Дмитрове.

А Маруся? Утопилась, думал я. Или бежала за увозимыми пленными до Москвы. Да разве догонишь? И была ли Маруся? А Павел Богодайщиков, вятский воевода, был. Били кнутом и казнили в Москве.

В завещании Иван III разделил Россию меж пятью сыновьями. Старшему, Василию, отцу будущего Ивана Грозного, были отданы важнейшие земли государства, в том числе Вятская земля. А уж такова она была прекрасна и обильна, что если верить преданиям того времени, то хлеб в Вятке давал из одной меры двадцать и тридцать мер, через хлеба не могли проехать конные.

Оправившись, вятчане, здесь все более называется слово «вятчане», одни из первых помогали молодому Ивану IV, внуку покорившего их деда, в походах на Казань. Летописи отмечают успех похода 1545 года. В деле отличился Василий Серебряный, спустившийся к Казани с Вятки, посадив войско на быстрые легкие струги: «...побили многих казанцев и пожгли ханские кабаки». Вот так.

Но до покорения окончательного состоялся промежуточный, в целом неудачный поход 1550 года. Простояв одиннадцать дней под Казанью, царь вернулся. Однако же заложенный тогда город Свияжск вырос так стремительно, что черемисы стали добровольно передаваться русскому царю. Наши земляки отличились и тут. «Вятский воевода Зюзин поразил их наголову... 46 человек пленных, в том числе Улан-кащак, были отосланы в Москву». Поразил кого? Важный вопрос, ведь от Казани

Иван IV отступил. Не казанцев поразил, а крымцев. В это время меж казанцами и крымцами пошли раздоры. Крымцы, понимая, что дела казанцев все равно плохи, пограбили все, что могли, и побежали. И именно их настиг воевода Зюзин.

В 1552 году Казань пала.

Где-то к этому времени, чуть раньше, ушел под землю, где-то в наших местах, целый народ — чудь белоглазая. Они ушли под землю, в нарочно вырытые укрытия, и подрубили столбы. Ушли от владычества белого царя, от символа, с которым его связывали, белой березы.

Со своим головой Писемским вятичи участвуют во взятии Астрахани в 1555 году.

Участие вятичей в походах Ермака сомнительно. Читаем у Соловьева грамоту чердынского воеводы о том, что вместо защиты Пермской области от вогуличей, вотяков, пелымцев, остяков Строгановы отправили своих казаков воевать сибирского салтана. Царь, серчая на Строгановых, напоминает, что казакам велено было стоять в Перми и Камском Усолье, «ходить на пелымского князя вместе с пермичами и вятчанами...».

В тишине «герценки»

(перечитывая страницы «Трудов Вятской ученой архивной комиссии»)

Вспомним добрым словом губернские архивные комиссии. Начало их относится к 1884 году, когда стараниями историка юриста Николая Васильевича Калачева были открыты четыре первые архивные комиссии: в Твери, Тамбове, Орле и Рязани, в 1885-м возникла пятая комиссия в Костроме. Вятская ученая архивная комиссия была по счету двадцать четвертая, и первое ее заседание, торжественное открытие, было 28 ноября 1904 года по старому стилю. В присутствии отцов губернии был отслужен молебен, произнесены речи. Задачей архивной комиссии ставилось собирание, хранение, напечатание памятников исторического материала, описание его, прояснения истории Вятки и соединения ее с общей историей родины! На открытии вспоминались изречения о пользе истории для современности. Пророка Давида: «Помянух дни древния, и поучихся во всех делах твоих»; Карамзина:

«История — зеркало бытия и деятельности народов, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего»; Пушкина: «Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу».

В докладах инициаторов создания архивной комиссии И. М. Осокина, М. Н. Решетникова, Н. А. Спасского и особенно Александра Степановича Верещагина (его роль первенствующая в комиссии) ставились задачи конкретнее в связи с непростой и малоизвестной историей вятского края.

«Перенесемся мысленно в туманную даль прошлого Вятской страны. Густой мрак язычества царил некогда в глухих дебрях нашего края, и, всматриваясь туда, в эту темную глубь таинственной стороны, невольно рисуешь воображением знакомые картины языческого культа — чуется: в священном сумраке дубравы суровые жрецы с толпой своих собратий справляют загадочный обряд кровавых жертв неведомым богам; и были тогда, как говорит поэт: «лес и дол видений полны», но только в этой старине — не русских дух: язычник-инородец, вот кто осветил вятские дремучие леса заревом пылающих костров и населил их тенями своих богов. Эта давно минувшая жизнь инородческого язычества, полная грубых суеверий, до сих пор еще, как отдаленное эхо, звучит в своеобразном быте и обычаях наших вятских инородцев, возбуждая иногда в нас недоумение своей неразгаданностью. Давно ли, например, прогремел на весь почти мир знаменитый судебный процесс мултанских вотяков, так ярко обнаруживший наше незнакомство со своим ближайшим соседом-инородцем? А сколько недобрых слухов, точно не проверенных и часто легендарных, ходит в простом народе про тех же вотяков и черемисов? И если теперь этот инородец, нередко таящий во мраке лесов и чумов преданья старины глубокой, подчас является для нас существом загадочным, то тем более таинственной представляется жизнь его предка-язычника. Пролить свет на эту темную для нас жизнь и может местная архивная комиссия».

На заседании говорилось об открытии в будущем исторического музея, исторической библиотеки, губернского общедоступного архива.

«Глухой Вятский край с его вековыми лесами стоял вдали от кипучего центра политической и общественной жизни, но он был полон событий, волнуясь иногда, как море-океан. Бурные вихри общественных движений и не-

урядиц залетали по временам и в вятские дебри, наполняя их своим шумом. Сюда — в захолустные уголки обширного края — шли прятаться от взоров правительства наши раскольники, и старообрядчество свило здесь прочное гнездо, выставив из своей среды представителей почти всех многоразличных толков. Невольными жителями далекой Вятки оказывались иногда видные общественные деятели, политические ссыльные, и заманчивые веяния Запада порой мутили прозрачные волны жизни благонамеренных вятчан...»

Это из выступления М. Н. Решетникова.

А. С. Верещагин говорил исключительно практически. Называл первые, подлежащие публикации дела, говорил о невосполнимых утратах. Так, исчезло дело о перенесении из села Курина в город Вятку образа архистратига Михаила, дело чрезвычайное, объемом в 600 листов. Куринские крестьяне сопротивлялись, дошло даже до выстрелов в присланного за образом архимандрита и его спутников. Также пропало весьма важное и объемистое дело «О Пугачевском бунте в пределах Вятской провинции». И то сказать, где хранились «дела»? Верещагин так описывает помещение: «В этой комнате, с разбитыми в окне стеклами, с разбросанными в беспорядке, покрытыми вековой пылью и снегом, изъеденными молью и отсыревшими делами, невозможно было оставаться без головной боли дольше полутора часов, а дела можно было читать не иначе как после очистки и просушки на печи».

Верещагин напомнил, что еще двенадцать лет назад председатель Вятской губернской управы А. П. Батуев поднимал вопрос об учреждении архивной комиссии, теперь же, когда вопрос решен, нужно идти вперед скорыми шагами.

Первым председателем комиссии был избран Н. А. Спасский. А. С. Верещагин, упрашиваемый занять эту должность, по состоянию здоровья просил оставить за ним место товарища председателя и редактора «Трудов комиссии».

«Наши архивы — это лес дремучий — так же богаты и так же малодоступны» — с такими словами председателя члены комиссии углубились в них.

Уже первые выпуски «Трудов» показали огромность запасов вятских архивов. Было начато их публикование. Дважды в месяц, регулярно, собирались заседания. На-

чинаемые обычно в семь вечера, они оканчивались, как правило, в двенадцатом часу ночи, что видно из пунктуальных протоколов заседаний. Вначале перечислялись члены комиссии, участники заседания, а затем «посторонние люди», например, седьмого января 1905 года из посторонних был священник Селивановский, а чаще просто писалось: «Из посторонних два человека».

И вот, в тишине любимой «герценки», выпуск за выпуском листаю «Труды Вятской ученой архивной комиссии» и понимаю: задача рассказать о них почти неподъемна. Но и необходима. Любое дело интересно, о любом хочется поведать современникам, я — первочитатель многих выпусков: восемьдесят лет в темноте прохладного хранилища ждали человеческого взгляда «Сказания русских летописцев о Вятке» с комментариями Верещагина. И другие дела. Тревожимые иногда историками, они все же неизвестны широкому читателю. Маленький лифт или узенькая лестница приводят нас в подвал, в котором, по поверью библиотечных работниц, живет таинственный человек. Может, он очами, при свечке, листает ветшающие страницы?

Возьмем целью рассказать хотя бы о некоторых делах, оставивших след в истории Вятки. Или, скорее, даже не так — постараемся видеть в архивах ту искомую особинку вятской глубинки, которая во все времена своей истории была загадочна для остальной России.

Многолетнее чтение «Трудов Вятской архивной комиссии» позволяет утверждать, что главным двигателем всякого благородного дела, всякой прогрессивной мысли для вятских людей было пожертвование. В самом широком смысле. Страницы архивов, если бы сопоставить их в сравнительном смысле, то есть подразделить на направления — указы и донесения, просьбы и жалобы, наказы выборным людям и грамоты, строительные подряды и дележ покосов и лесных угодий — какие угодно дела и события, то выходит, что документы, показывающие бескорыстие вятичей, в преимуществе перед другими. Умирает кормилец, вдова жертвует все оставшееся имущество на помин души мужа; началось движение за освобождение Руси от поляков в Смутное время — вятчанки отдают все свои драгоценности ополчению; сгорает монастырь — жители Вятки сутками безвозмездно работают, возводя новые стены... Вот и данная архивная

комиссия не могла бы начать работу без пожертвований. Содержание библиотеки, склада, почтовые расходы, дрова на отопление — откуда-то надо было брать деньги, и они были, от бескорыстных вкладов на доброе дело.

Нельзя не заметить, что только то и остается в истории, что сделано по самоотвержению от своих интересов во имя общественных.

Стрелы Георгия Победоносца

Одно из дел Вятской духовной консистории, сообщенное в третьем выпуске за 1907 год, живо напомнило наше детское поверье. Оно было в том, что рана, полученная в наших играх, царапина, порез, ушиб, нарыв, — словом, все отличительные знаки настоящего мальчишки быстрее заживут, если в эти раны... потыкать стрелой. И не какой-нибудь — железной. Мы их сами делали. Полоски жести сворачивали узенькой вороночкой и надевали этот железный наконечник на прямой прут из крепкой ветки черемухи или орешника. А лук был из вереска, а тетива из дратвы. Такая стрела, пущенная сильной рукой, просаживала одну, две, а то и три фанерки. И вот этими стрелами, ржавыми копьецами, тыкали мы в свои боевые раны. Потом еще и плевали на эти раны, и замазывали кровь землей. Раны, естественно, заживали.

То, что и другие мальчишки лечились слюной и землей, это точно, я спрашивал у сверстников. Но обычай тыкать стрелой в рану не был знаком никому, только вятским выходцам.

Вот истоки этого обычая.

Генерал-губернатор Хомутов преосвященному Неофиту (27 октября 1838 года): «Из преданий известно, что в прошлые времена жители села Волковского и других окружающих селений имели обыкновение по какому-то случаю встречать приносимый в известное время года в село Волковское образ св. Георгия Победоносца со стрелами, которые употреблялись в сражениях новгородскими выходцами, поселившимися в этом крае. По отобрании же у них епархиальным начальством стрел, вместо оных в настоящее время они встречают образ уже с восковыми свечами. Стрелы эти хранились прежде в церкви села Волковского, под ведением местного духовенства, а потом в Духовной консистории, но куда впоследст-

вии поступили из консистории и где ныне находятся, неизвестно. А как по высочайшему его императорского величества повелению в городе Вятке должен быть учрежден губернский музей, к чему и сделаны уже нужные распоряжения, то, заботясь о наполнении его всем замечательным, особенно усвоенным Вятской губернии, я долгом счел беспокоить ваше преосвященство покорнейшею просьбою о приказании кому следует сделать выправку: когда означенные стрелы были вытребованы из села Волковского в Вятскую духовную консисторию и где они в настоящее время сохраняются...».

Преосвященный Неофит отвечал на то, что «стрел никаких не видел, да и при всем старании найти оных не могли», что по какому поводу носились эти стрелы, когда отобраны, «нет никаких документов».

Однако автор сообщения о стрелах В. Шабалин не удовлетворился ответом преосвященного, по журналу консистории он докопался до сведений 1772 года, когда открылось, что, действительно, крестьяне Троицкой церкви села Волковского не только хранили таковые стрелы, но и делали, «кои стрелы во время хождения в город Хлынов с образом св. великомученика Георгия и при отправлении молебнов разные люди от старост церковных себе брали и в руках держали, а за взятье клали в церковную казну по деньге и по копейке и более, и те сбираемые деньги употребляемы были на воск и ладан и прочие церковные потребности; берущие ж стрелы объявляли им, попам, что-де теми стрелами во время колотной болезни о т ы к и в а ю т с я с а м и с о б о ю (разрядка в публикации. — *В. К.*), от коей-де болезни им бывает облегчение, а потом те стрелы старостам церковным отдавали обратно...». В документе попы оправдывают обычай «простотой» обычая и прибылью церковной казне, «а не для лакомства и скверноприбыточества», попы Волковского винятся перед консисторией, обещают стрел не делать, с образом св. Георгия стрел не носить.

А обычай, перешедший в мальчишеское поверье, сохранился. А ведь не малое нужно иметь мужество, чтоб, как пишется в документе, «отыкиваться». И эти стрелы я всякий раз вспоминаю, когда вижу образ Георгия, поражающего змия.

В этом же документе интересна форма слова «обязать». Она пишется как «обвязать», и это кажется внушительнее — обвяжут, и никуда не денешься.

Вятское подворье

Этот же третий выпуск 1907 года интересен еще многими документами. Епархии всей России имели свои представительства в Москве, имела таковое и Вятская епархия. Но тесное и маленькое. На Мясницкой (ныне улица Кирова) улице. Преосвященный Иона, епископ Вятский и Великопермский, «бил челом великому государю царю и великому князю Феодору Алексеевичу, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу», чтобы площадь подворья расширить... за счет соседнего подворья архиепископа Симеона Смоленского и Дорогобужского. У них «под подворье земли дано больше, да и потому», что на Москве у Симеона есть еще подворье.

Указом от 26 июля 7188 (1680) года царь пожаловал вятскому духовенству «каменную палатку и полуколокольню и полупапертный всход».

Ратники

Самыми первыми грамотами первого русского царя из династии Романовых Михаила были грамоты, повелевающие крепить оборону страны. Как характерные приводим выписки из царского указа от 2 апреля 1614 года на Вятку. Указ повелевает срочно «для государевы плавные службы сделати сто стругов», а также повелевается собрать тотчас ратных людей «с огневым и лучным боем, и рогатины б у них с прапоры были; а были б ратные люди молоды и резвы, и из пищалей бы стрелять были горазды, а старых бы и недорослей в них не было».

Охрана природы

В 1722 году Петр I с Екатериной ехал через Казань, а Вятка входила тогда в состав Казанской губернии, и дал указание вице-губернатору Кудрявцеву «иметь в ведении дубовые и другие леса от Нижнего, то есть от устья Оки реки, по Волге и по другим рекам, которые в оную впали, иметь крепкое надзирание, дабы никто не рубили и никакие тем лесам порубки отнюдь не чинили... а кто противно сему учинит, и таким чинить жестокое наказание ссылкой на галеры и отъятием всего движимого и недвижимого имения».

Вот такой суровый приказ царя был разослан во все церкви и приходы по всем рекам, впадающим в Волгу. Мы имеем его в связи с указом Тихона, митрополита Казанского, протопопу соборной церкви города Уржума Афанасию Васильеву «и всего Уржумского заказа священникам с причтами о дубовых лесах». Указ разослан в июле, царь же проехал Казань в июне. Даже и по нашим временам это весьма оперативно. Только нынешние наши наказания порубщикам показались бы царю недостаточными. На галеры! И имущества лишать!

Так думается, когда быстроходная «ракета» несется мимо голых берегов Вятки, заваленных черным гниющим лесом, когда слушаешь стариков о тех дубовых, осокоревых, лиственничных рощах, что были еще совсем недавно («В парнях были, дубы меряли, два-три обхвата. А чтоб костер в роще развести, ты что — старики шкуру спустят. А когда птицы выводили птенцов, в рощу тоже нельзя было ходить, чтоб не пугать. О-о, а рыба нерестилась — весла тряпками обматывали, чтоб всплеском не вспугнуть, рыба же рождается»). Разговор глушат пролетающие ревущие моторки, волны выплескивают на отмель вскоре умирающих мальков.

И как прикованные к моторкам сидят на корме этой современной галеры невольники нужды ехать на соседнюю пристань за товарами.

Наказы депутатам

При Екатерине II была создана комиссия для составления нового Уложения, и в нее посылались выборные люди со всей страны. Наказы депутатам давались поверенными о нуждах и недостатках людей той или иной волости, уезда, города, сословия.

Более всего речь шла о государственных податях, ибо вятские крестьяне были в основном крестьянами государственными или монастырскими. Также большой вопрос дорог, транспорта, постоялых дворов, домашнего скота, строений...

Государственные черносошные крестьяне Хлыновского уезда в наказе выборному депутату Н. Я. Буторину, защищая свои интересы, вспоминают обиды, чинимые проезжими чиновниками, военными, просят разобраться с ямской гоньбой, справедливостью назначения в обозы, говорят о неурожаях. Выпишем два раздела.

Речь идет о том, чтобы из обложения налогами были исключены слепые, увечные, юродивые, ибо «по нынешней дороговизне хлеба многие в пропитании себя претерпевают крайнюю нужду, а особливо слепые и крайне престарелые, и совсем действительно увечные, и многие детей к пропитанию не имеют...» То есть если б были дети, то они б кормили. Выборные просят Буторина «объявить, где надлежит» их просьбу исключить из подушного оклада податью означенных людей и не раскладывать подати на мирских, дабы «крестьяне отягощения претерпевать не могли».

Участившиеся кражи коней приводят к следующей просьбе: «Из конных воров многие оказываются в молодых летах и росту не малого и корпусами здоровые и в военной службе весьма быть годные, в чем не без сомнения, что из таковых годных в службу многие едва ль то воровство чинят не вымышленно, из того, чтобы их впредь не могли мирские люди отдать в рекруты, за что и оказуют себя подозрительными, чтобы остаться для такого плутовства в домах своих». То есть специально воруют, чтобы в солдаты не идти. И вот крестьяне просят именно их отдавать в солдаты, «с зачетом впредь тем волостям рекрутских нарядов», а которые негодные в солдаты — сечь кнутом, отправлять на поселение, и «не безуповательно, что то конское и прочее их воровство пресечись может».

Отметив великолепнейшее слово «небезуповательно», перейдем к следующим разделам, уповая на необходимость их упоминания.

Крестьяне просят оброки на мельницы, пришедшие в запустение, «за умертвием владельцев» отменить, «дабы впредь крестьянство не могло от оного платежа претерпевать излишние отягощения».

Зарождающееся купечество во многом входит в конфликты с крестьянами, что видно из многих тяжебных дел и споров. В данном наказе есть жалоба на то, что рыбные ловли захватывают купцы и, платя оброчные деньги, то есть вроде бы соблюдая государственный интерес, наживаются на рыбе, так как «раздают ловли живущим около рек крестьянам с немалою себе прибылью. А крестьяне, по безгласию своему, в том претерпевают от них немалое отягощение. Дабы повелено было, чтоб теми рыбными ловлями, состоящими в крестьянских жительствах, довольствоваться крестьянству, а не купечеству...».

Так же интересы купцов и крестьян схлестнулись на рынках сбыта. Крестьяне «по малоимению пашенных земель и сенных покосов... довольствуются от кожевенных ремеслов, а особливо от сделанных в домах своих говяжьих, кониных и бараньих кож по небольшому числу... а купечество как в делании тех кож, так и в продаже из оных сделанных — тоже котов (обуви), рукавиц, узд, шлей, хомутов и прочего, крестьянству чинят немалое препятствие, с коими товарами для продажи в праздничные дни и на базары не допускают. И от того крестьянство ныне в пропитании себя и в платеже государственных податей претерпевает скудость».

А что ж купцы? А вот посмотрим их наказы выборному. Буторин от крестьян, а слобожанин Песьяков от купцов, защищает их интересы. Тут сплошные жалобы на тяжелую купеческую жизнь. То же кожевенное ремесло, ведь с него купцы вносят оброк, а крестьяне нет. Так чего ради их пускать на базар? «Крестьяне в продаже чинят купцам немалое помешательство и подрыв». Ссылаются на указы «высокославных предков ея императорского величества, коими крестьянам запрещено никакими товарами, кроме обыкновенной своей работы, то есть — что происходит от крестьянской экономии, по малому числу хлеба, скота и протчаго тому подобнаго, а не до купечества принадлежащего, не торговаться и в города и на ярмонки не привозить». То есть купцы не хотят конкурентов.

А хотят они иметь людей в услужении и очень досадуют на то, что «купечеству запрещено иметь крепостных людей», а надо бы, и они просят через выборного добиваться в правительстве уж если не крепостных разрешить завести, то хотя бы скреплять их услужения договорными письмами. Чуя свою силу, купцы просят вроде бы смиренно, но почти каждую просьбу заканчивают самоуважительными словами: «купечество будут довольны», «чинено б этим было купцам удовольствие» и т. п.

Последняя, шестнадцатая просьба — о разрешении купечеству «иметь винокуренные заводы и отпускать на кружечные дворы винокуренное вино на прежних кондициях».

Почему «на прежних кондициях»? Потому что речь идет не о новом промысле винокурения, но о его возобновлении.

Среди подписей много Платуновых, Поповых и еще Шмелев, Дряхлин, Рысев, Поторочинов, Пашкин...

Снова хочется сказать о купце Ксенофонте Анфилатове, он этого очень заслуживает. Снова потому, что я писал о нем в очерке «Чувство родины», когда был поражен Слободским краеведческим музеем.

Но биографию Анфилатова узнал не в музее, а в «Трудах», в третьем выпуске того же, 1907 года.

Дед Анфилатова Иван Феофилов Анфилатов именовался «Шестаковского тяглова стана деревни Вагинской черносошным крестьянином». В 1761 году переехал в Слободской с сыновьями Алексеем и Лукой. У Алексея на следующий год родился сын Ксенофонт, так что Анфилатов коренной слобожанин. В 1775 году у Анфилатовых появляется собственный дом, а в 80-х годах вместе с Ильей Платуновым Анфилатовы упоминаются как купцы, ведущие заграничный торг, в 1790 году Анфилатовы приобретают и содержат в Архангельске корабль «Доброе товарищество». Ксенофонт Анфилатов избирается бургомистром Слободского в 1790 году, но — умирает отец, за ним жена Евдокия, оставляющая ему двух сыновей (Ираклия и Алексея) и двух дочерей (Марию и Анну). Дети маленькие, Анфилатов вынужден жениться. Брак его счастлив и удачен, женою становится Анна, дочь выдающегося архангельского купца Алексея Попова, основателя первого торгового дома в Архангельске.

В 1802 году в компании с вологодскими купцами Митрополовыми Анфилатов задумывает учредить в Лондоне Российскую купеческую контору «на всех тех правах и преимуществах, каковыми пользуются англичане в России». Завязывается знакомство Анфилатова с графом Н. П. Румянцевым, министром коммерции. О предприятиях Анфилатова доложено царю. Под покровительством царя основывается «Беломорская компания» для улучшения сельдяных и китоловных промыслов.

Далее строка биографии впечатляющая: в 1806 году Ксенофонт Анфилатов первый из русских вступает в торговые сношения с Северо-Американскими Соединенными Штатами. Три корабля Анфилатова идут в первый рейс без платежа пошлин, что было «беспримерной милостью для внешней торговли».

Лучше об этом скажет выписка из письма Румянцева Анфилатову от 30 декабря 1805 года: «Намерение ваше

отправить три корабля в Соединенные Американские Штаты его императорское величество принять изволил с особенным удовольствием, повелев вам как первому из русских, предпринявших такое дело, объявить монаршее свое благоволение, и в знак готовности своей награждать полезные начинания высочайше указал не брать пошлин с товаров как с тех, которые вы отправите в Американские Штаты, так и с тех, которые оттуда в российские порты привезутся...»

Для любопытных выпишем некоторые из товаров, которые были привезены в Россию, вернее, те, которые Анфилатов ожидал из Америки: «Гвоздика. Мушкатные орехи. Перец. Имбирь. Какао. Пшено каролинское. Сандал красный. Сандал синий. Сандал желтый. Краска брусковая. Лавра. Корица. Кофе. Ром. Ликеры. Шеколад...»

Мы везли товары пообстоятельней: лен, полотно, меха.

Вообще, история анфилатовской жизни заслуживает подробнейшего описания. Полные трагизма первые рейсы в Америку, возвращение, нападки таможни, карантин, история сыновей, торгующих в Лондоне и Стамбуле, история образования первого в России Общественного банка — все это настолько интересно, что не хочется обращаться к печальным страницам окончания жизни Анфилатова.

Банк общественного призрения ставил целью помочь предпринимателям из крестьян развивать ремесла, торговлю, улучшать хлебопашество. Проценты на вклады были самые благожелательные, ссуды были необременительны по сроку возвратов и обложению, банк опять-таки питался пожертвованиями сознательных купцов. В записке своей по поводу организации банка Анфилатов писал: «...торжествующая теперь во вред и угнетение трудолюбивых, но беднейших из купеческого и мещанского сословия граждан, алчная неблагонамеренных людей корысть сама собой угаснет...»

Это 1809 год. Через шесть лет общество кредиторов объявляет об Анфилатове, что он «решен и признан упадшим». К банкротству добавляется гибель сына, Ираклий утонул.

И еще через пять лет в полной бедности Анфилатов скончался. Он похоронен в Архангельске. На мраморном памятнике надпись: «Основателю в память от Слободско-

го Анфилатовского банка в служение градского главы Луи Агафоновича Колотова в 1863 г.».

Есть легенда, что разорен Анфилатов был так — он доставил в Лондон два корабля льна. Голландцы и немцы, войдя в сношение с англичанами, сбили цены на лен. Прождав все возможные сроки, Анфилатов посадил своих людей на попутное судно, сам приказал поджечь в виду иноземных купцов свои корабли. Вернувшись, он нищенствовал и умер нищим на паперти церкви, выстроенной на его средства. Это очень русская история. Признание после смерти, памятник через сорок три года, название банка анфилатовским. У нас «любить умеют только мертвых».

Иоанн Пустынник

Занимающиеся биографией знаменитого русского поэта, вятского выходца Ермила Кострова должны были обратить внимание еще и на то, что Синеглинье, откуда Костров родом, было долго известно в Вятке и за пределами еще одной личностью, личностью легендарной — Иоанном Пустынником. Кто он был, этот человек?

По рассказам местных жителей, его считали за брата преподобного Трифона. Рассказы эти были собираемы по приказу консистории, когда инструкцией духовного приказа в 1744 году было велено проверить, «не делаются ли где какие суеверия, не проявлял ли кто для сквернoприбыточества какие при иконах святых, при кладезях и источниках, ложных чудес и мертвых несвидетельствованных телес, не разглашают ли к почитанию их за мощи истинных святых...». А и до этого шла молва о том, что к месту жительства Иоанна, часовне, устроенной над его захоронением, тянутся люди, и, как сообщал нагорский диакон Тимофей Хлобыстов, «многие люди приезжают и исцеление от болезней много получают, на что-де имеются оного села у попа Лаврентия Кострова и записки».

Вятское духовенство, спустя время, приказало священнику Максиму Виноградову ехать в Синеглинское и «тщательно пересмотреть архив Синеглинской церкви, и если найдется в бумагах церковных какое-либо упоминание об означенном пустыннике Иоанне, сделать из них выписки с буквальною точностью, с объяснением, из какой именно бумаги оне извлечены... не сохранились ли

записки об исцелениях на могиле пустынника Иоанна... собрать от более почтенных по доброй нравственности старичков предания, и рассказ каждого записать отдельно...».

Это уже было в 1881 году. Но предание о пустыннике жило, и паломничество к месту его подвижничества не ослабевало. Виноградов докладывал: «...местожительство его находилось в 12 верстах от села Синеглинского при речке Мытец, впадающей в Кобру — приток Вятки. Местность эта окружена была в те времена непроходимым лесом; в настоящее же время лес этот вырубается и на расчищенных местах селятся жители села Синеглинского. Местоположение, где стоит часовня, самое веселое: оно и находится на покатости к реке Мытец и окружено стройным сосновым лесом. Часовня, в которой подвизался Иоанн Пустынник, по сказаниям, «была сложена им самим из бревен и крыта наглухо». Впоследствии эта часовня была сплавлена по реке в Вятский монастырь преподобного Трифона и поставлена над тем ключом, который находится на восточной стороне от алтаря главного собора. Жители села Синеглинского видали эту часовню и признавали ее за ту, в которой подвизался Иоанн Пустынник...»

Далее Виноградов рассказывает, как было открыто местожительство пустынника, как его самого обнаружили заблудившиеся лесовщики, как он, утоляя их голод, дал им по маленькому кусочку хлеба, и они насытились, а хлеба еще осталось — так они поняли, что перед ними не простой человек. Рассказывает Виноградов и о строительстве новой часовни взамен увезенной в Вятку. Новая была поставлена с неглинцами уже в девятнадцатом веке следующим образом: «Одному крестьянину привелось чистить ту самую поляну, на которой находилась первоначальная часовня Иоанна Пустынника. Собравши валежник в груды на том месте, крестьянин зажег его; огонь истребил все, выжег даже находящуюся поблизости траву, но среди этой поляны осталась небольшая площадка земли, совершенно не тронутая огнем. Наблюдая за тем, чтобы огонь не перешел на лес, крестьянин лег под куст, и, пригретый летним солнечным теплом, заснул, а во сне видит: является ему старец и говорит: «Зачем вы меня забыли? Вот, если вы устроите мне здесь часовню и будете молиться, то у вас опять будет родиться хлеб». Проснувшись, крестьянин рассказал о видении своим соседям, кои с общего согласия на сходе порешили

устроить часовию и поставить ее имеиио на то самое место, где огонь ие коснулся земли... Эта часовия устроеиа весьма просто». Описав устройство, Виноградов говорит, что в ией иаходится и икоиа с изображением Иоаииа Пустыиника. «Откуда приобретеиа эта икоиа, иа это никто ие может с ясиостью указать; говорят, что это снимок с какой-то старой иконы, отправлеииой в Вятку вместе с часовией. Иоаин Пустынник на этой икоие изображен в виде старца в монашеском черном одеянии; на главе у иего чериая скуфья, правою рукою ои благословляет, а в левой держит Еваигелие и четки... Праздиество в этой часовне бывает 29 августа. В этот деиь бывает здесь большое стечеиие народа... память его крестьяие чтут с особеиным уважением. Здесь правят молебиы и паиихиды; причем крестьяие, кроме хлеба, приносят еще пироги из рыбы, так как при жизии своей Иоаин, как рассказывают, кроме добывания себе хлеба, занимался еще ужеиием рыбы. Тропиика, по которой ои ходил на реку для ловли рыбы, и идущие с крутизны к реке уступки и по сие время показываются жителями как труды его рук. Рассказывают также, что незадолго до смерти Иоанна Пустыииика приходил к иему брат его преподобиый Трифон».

Так народ, в обход официальиого духовенства, без ведома его, выделил и возвеличил память пустынника. Был ли ои братом Трифона, как зиать.

О пустыииике думаешь, стоя в Слободском перед часовией архангела Михаила. Оиа привезена с северо-востока области, ио, видимо, судя по бумагам, это ие часовня Иоаииа, ведь его часовня, стала иадкладезной и ее остатки, может быть, мы видим иад ключом ниже моиастыря, там, где сейчас полощут белье. А может быть, Иоаии срубил еще одиу?

Как зиать. Знаем только, что консистория 27 июня 1884 года постаиовила по вопросу о личности Иоаииа Пустыиника: «Переписку по сему предмету прекратить, дело почислить решениым и сдать в архив».

Сдали в архив, а 29 августа крестьяне шли отовсюду и помииали пустыииожителя. Что их привлекало? Пусть им говорили, что Иоаин иикакой ие святой, что мощи его тленны, их заражал пример жизни отшельиика. Свободиый от грехов пьяиства и куреиия, питающийся от праведиых трудов, неутомимый работиик — вот кого ставил иарод в образцы жизиеииого поведения.

Хитрые подарки

Меня не могла не заинтересовать строка из Карамзина о том, что вятские воеводы откупались от московских нашествий подарками. Какими? Не сказано. Листая страницы «Трудов архивной комиссии», я набрел на письма вятского архиерея Алексия Титова к царю и царице, писанные в 1718—1721 годах. Впервые они были обнародованы в журнале «Странник» в его январской книжке за 1905 год, а оттуда перепечатаны в «Трудах» в том же году, во втором выпуске. В первом письме архиерей извиняется перед Петром за долгое молчание, говоря, что «не писал не забвением или нерадением твоея автократорская ко мне милости удержан: по истине не тем, но ово убо несвободою времени, ово же моею немощию занят, о чем прошу покорно склонного и милосердного безгневия». То есть то был занят, то болел, писать было некогда. Это декабрь 1718-го. А в январе 1720-го Алексий посылает императору подарок, да не простой. «При сем же вашему царскому пресветлому величеству челом бью в дар аз, нижеименованный, черным лисом живым. Да повелит державство ваше онаго маленького зверька милостиво прияти и ко мне, богомольцы своему, милосердие свое царское показати».

Еще через год Алексий одаривает царицу часами вятской работы, на циферблате коих изображены лики святых, и при часах... но лучше процитировать выдержку из письма:

«Изволь, великая государыня, наша царица, оные часы при своем величестве содержать, а к нам, убогим, свою государскую милость являть. Еще же вашему величеству челом бью двенадцать чашек ваповых, которые у нас на Вятке строятся. Подаждь, Христе боже, из оных сосудцев вашему величеству во здравие кушать и здравствовать на многие лета...»

Но уж самый хитрый из хитрых подарков был сделан императрице Екатерине. Губернии, как известно, в Вятке до ее царствования не было. Настороженная бунтом Пугачева, делающая Россию более управляемой, Екатерина образовала ряд новых губерний. Вятские тоже встрепенулись, а как же мы? А вдруг забудут? Тут тезоименитство государыни. Надо снаряжать депутацию. А что матушке-государыне подарить?

— Меха, — сказали купцы.

— Драгоценности, — сказало дворянство.

— Эх, неразумные, — сказал архиерей, — а то не видала государыня мехов аль драгоценностей. Уж с Сибирью да Уралом нам не тягаться. Надо так, чтоб императрица ежедневно нас вспоминала, садясь за труды.

— А как так? — спросили купцы и дворяне.

— Сейчас скажу, — отвечал архиерей, разворачивая карту империи. — А вот ежели бы, достопочтенные господа, на оной карте означилась бы Вятская губерния, то каковы б были ее очертания? Орлов, Котельнич, Слободской, это все вятское. И Кай-городок, и понизовье — Уржум, Яранск, Царево-Санчурск, Малмыж — это суть наше. А еще что?

— Как что? — сказали купцы. — По Чепце все земли наши. Глазов наш.

— А Елабуга? — вопросили дворяне. — А Сарапул?

— Следовательно, границы таковы, — и архиерей стал вести по карте указующим перстом. Когда он захватывал слишком, купцы и дворяне осаживали:

— Владыка, сие костромичей. А сие казанское. Сие екатеринбургское.

— Эх, — досадовал архиерей, — слабеет вятская удаль, а то чтоб нам и Казань не присовокупить?

— Владыка, к чему ваше такое словопрение?

— А к тому, что депутацию снарядить надо честь по чести.

И архиерей изложил свой план, который был с восторгом принят. Лучшим мастерам был заказан чернильный прибор из капокорня, редкого вятского промысла.

— Чернила матушке нашей государыне надобны постоянно, — говорил архиерей. — Сколь на одного Вольтера извела, соотносясь перепискою и наставляя оного на путь истинный. Уж хоть бы кто сказал голубушке, чтоб присоветовала ему не с папой римским сутяжничать, а в православие креститься. Так-то бы пристойней, и чернила не лить.

И депутация отправилась. Любезно принятая и посаженная в кресла депутация ждала, что скажет императрица о принятых подарках. Чернильный прибор был изумителен. Чернильницы, приспособление для перьев, песочница располагались на основании, которое было непонятной формы. Сверху значилось: «Карта губернии».

— Какова же это губерния? — подивилась императрица. — Таковых очертаний не упомню.

— Вятская, матушка, Вятская, — возопили депутаты, валясь в ноги самодержице.

Ну как было после этого не начертать указа о создании Вятской губернии?

Вася Прохорыч

Сидели с родителями, говорили о знаменитых вятских силачах, так как только что увидели по телевизору первенство СССР по поднятию гири, где одним из чемпионов стал вятский силач Цепелев, и я рассказал о Ваньке Каине, знаменитом цирковом борце, которого мог побороть только один борец в мире — Иван Поддубный. Подлинная фамилия Каина Павел Иванович Банников.

— Но думаю, что ему бы против Васи Прохорыча не устоять, — сказал отец.

Об этом Васе Прохорыче отец вспоминал не впервые, и я просил рассказать подробнее.

Васю в детстве испугали гуси, и этот испуг остался на всю жизнь. По временам на Васю находило затмение, он становился буйным, его связывали и везли в Вятку. Везли с двумя милиционерами, но после одного случая стали возить вшестером. Случай вышел на перевозе в Петровском. Вася сидел связанный на телеге и увидел, как мужики, запрягши двух лошадей, пытаются выволочь из прибрежного ила огромную дубовую колоду. Вася порвал связывающие его вожжи, бросил в реку кинувшихся на него милиционеров, отпряг коней и в одиночку выволок колоду.

Обычно помешательство проходило, Васю отпускали, и он возвращался в свою деревню пешком. Он жил с родителями в Первой Кизери, а всего Кизерей было пять: Первая, Вторая, Верхняя, Средняя и Нижняя. Это между Шурмой и Уржумом. Родители у Васи были, но он дома почти не ночевал, всегда жил в людях. На все пять Кизерей не было человека добрее и безотказнее Васи Прохорыча. Отец описывал его богатырем огромного роста и веса, в войлочной шляпе, с трубочкой в зубах.

«Позовут на мельницу мешки таскать, идет. Берет под одну руку пятипудовый мешок и под другую руку такой же. И несет версту десять пудов и не отдохнет и не задышится».

Обижать Васю свои не давали. Всегда ласковый и приветливый, он делал исключительно тяжелые работы,

например, копал могилы на все пять деревень. «Ему с собой дадут покушать, идет. Летом и зимой. Зимой костерок разведет, летом выкопает могилку, да в ней и уснет, видно, устанет. Привезут покойника, а могила занята, в ней Вася спит».

Чаще других Васю эксплуатировал лавочник Яков Сысоич. Однажды он посмеялся над даровым работником, зачерпнул колесной мази и угостил, будто это повидло. Вася размахнулся и дал Якову Сысоичу черпаком так, что тот улетел за прилавок.

Вася постоянно выручал солдаток и вдов, метал им сено, возил дрова. Когда он исчезал из деревни, это значило, что его кто-то увел с собой на работу в другое место

Где случалась какая драка, разнимать драчунов бежали за Васей. Он не разбирал, где свои, где чужие, прибегал, расшвыривал всех по сторонам. Драка утихала, враждующие стороны выползали из канав, из кустов кто своими силами, кого и выносили. Поэтому часто драки кончались только от одного крика: «Вася идет!»

Особенно Вася Прохорыч любил ярмарки, традиционную Белорецкую, на которую день и ночь шли обозы, съезжались отовсюду. На ярмарке Вася творил чудеса: борол цыганских медведей, гнул враз по три подковы, цирковому силачу-гиревику велел связывать ремнями все гири, которые были в цирке, и поднимал этого силача вместе с гирями. Ребятишки от Васи не отходили. Карабкались на него враз по пять, по шесть человек, и Вася бегом катал их. А то брал на плечи как коромысло дерево, на концы его цеплялись ребятишки, Вася крутил ребятишек как на карусели. Балалаечники, гудошники вынуждали Васю плясать, играя камаринского или трепака. Вася упирал руки в боки, делал выходку и плясал до тех пор, пока музыканты не сдавались.

Лишившийся услуг Васи, Яков Сысоич хотел его вернуть. Он привез из Казани связку сушек в двенадцать фунтов и послал сказать Васе, что если Вася съест всю связку зараз, то получит серебряный рубль, а это значило много по тогдашним деньгам, если же не съест, то будет неделю работать бесплатно.

Вася пришел. В лавку набился народ. Ударили по рукам, Вася стал есть. Сушки того времени, по словам отца, были так вкусны, что уступали в его воспоминаниях только французским булкам, которые долго не черствели и были так пышны, что, как ни прижимай их, возвращались в первоначальные формы.

Связка заканчивалась, лавочник затосковал. Васе стало сухо во рту, и он сказал, что пойдет, попьет из Кизерки. «Нет, — закричал Яков Сысоич, — ты попьешь, как доешь». Но народ сказал, что о воде уговору не было, Вася спустился к Кизерке. Кто пошел с ним, кто остался, но отвлекся, и лишь немногие видели, как лавочник, по выражению отца, «козла под стол пустил», подсыпал к спорным сушкам еще дополнительных. Вася вернулся, стал доедать и не смог, хотя «свои» съел и плюс еще несколько из добавленных. «А, не смог!» — закричал лавочник, но за Васю заступились.

Васю уговаривали ехать в дальние поездки, с ним было спокойно. Время революции и после нее было тревожным, много было разбоя. Так и говорили: «Разбойный лог за Уржумом у села Камайково, тут разбойники. Село Ошары, тут ошарят, деревня Теребиловка, тут отеребят. Отрясы, тут отрясут...»

Вася Прохорыч был нам как-то по родне, но как именно, отец каждый раз запутывался в вычислениях. И немудрено, жили большими семьями. «Нас в одном доме было чуть не двадцать, каждый день ставили пудовую квашню. Когда делились, делали прикладыши, пристройки, но и их не хватало, и строились отдельно. Лошадей держали по необходимости, но кому-то показалось много, и нас выселили в Сибирь».

Как Вася Прохорыч закончил свою жизнь, отец не знает. Не знает, своей или не своей смертью Вася умер. Его невзлюбил уполномоченный. Любил наганом махать, как выпьет. «Так-то махал, махал, Вася его перевернул кверх ногами, из того все посыпалось. А наган его в бочку с патокой бросил. После того уполномоченный на Васю забызел. Подвел под арест, как-то сумел начальству соловья на уши посадить, напел, Васю забрали. Он тюрьме дрова пилил и колол, а к осени разобрал забор и ушел. За ним приехали, а он огороды у вдов копает. Снова забрали. И так до трех раз. Он разобиделся, их разбросал, его сразу в три смирительные рубахи и увезли. Так и с концами».

У темной воды

Так и умру, не кончив «Вятской тетради». Молод был, дерзок, легко замыслил необъятное — история северо-востока России в сопряжении с днем сегодняш-

ним, очерк характера русского жителя этих мест. Неподъемен труд: сотой части не сказал.

Плыву по Вятке — сердце сжимается при виде ее мелей и брошенного по берегам леса.

Хожу по костям предков, где тот колокольный звон, проводивший их после праведных земных трудов? И где колокола?

Стою на высоком обрыве, на месте первого поселения русских в этом краю, в Никулицыне. Мелкий дождь летит на источенные веками камни фундамента. А раствор, их скрепляющий, не поддается, белеют его полоски.

Что делать нам, задавленным заботами дня, запуганным угрозами отравы века, когда понять, что мы не одиноки, что с нами наши праотцы и пращуры?

Вот стою я — гордый внук славян, стою на своей единственной земле, и горько мне, так горько, что впору заплакать. А не могу, разучился, а нет способа облегчить душу. «Проси только одного, — говорила бабушка, — память смертную и слезы».

Железный, грубо сваренный крест ржавеет над бабушкиной могилой. Бабушка Саша, есть у меня память, нет у меня слез. Вот я знаю то, что не знала ты, я так много прочел, но что с того: я никогда не узнаю того, что знала ты.

Ты давно умерла, но вот я хожу по той земле, где ты ступала, и читаю о ней бумаги трехсотлетней давности, и мы с тобою ровня перед этими бумагами. «...От Вятки реки вверх по Уржуму реке прямо дубником и болотами на сосняк, а от сосняка прямо на Кривое озерко, что против отарища, на которых росстани, да от озерка прямо на другое отарище по край болота дуб, на дубу старая грань да мыслете, а от того дуба прямо по-за Новокрещенскому полю к дороге на сосну, а сторонние люди сказали, что-де та сосна сгорела, и на той-де меже воевода велел поставить столб, а от того столба прямо через болото к горе, а на горе сосна, а в сосне борт; от той сосны прямо к лесу».

Нет того дуба, того столба, той сосны и той колоды на сосне. Но ведь и в бабушкиной жизни их не было. Но она могла прийти и *вспомнить*, а я только *воображаю*. Вот и вся разница.

Представляю, как игумен Спасского монастыря Макарий зачитывает братии послание архимандрита Германа: «...в Казани мужеска и женска полу люди собираются, игрища производя бесовские, плясания с соблазнитель-

ными действами и воспоминанием в песнях древних идольских имен, отчего ничто иное происходит как только соблазн и умножение беззаконий и худых действ, в самом деле немаловажных, то есть грех».

И вновь и вновь до покраснения глаз читаю документы прошлого. И вместе с прочтением приходит убеждение — не в документах главное. Почему? Они всегда будут неполными, а в истории Вятки особенно — она часто горела, горели монастыри, горел, и не однажды, Трифонов Успенский монастырь — главное хранилище архивов огромного края. Да и сохраненные документы далеко не все обнародованы.

Чувство памяти — особый дар. Он сродни чувству любви.

Мы возвращались с Никулицынского городища, ехали по ухабистой дороге через лес, а впереди увидели старуху. Она не просилась подвезти, не голосовала, сступила с дороги и ждала. Место в машине было, мы еле уговорили старуху сесть. «Денег только на автобус». Потом села и сразу стала объяснять, зачем она ходила в Никулицыно.

— Четвертый год каждую неделю хожу. На могилу внука. До Боровицы от Кирова еду на автобусе, оттуда пешком.

— Каждую неделю? И зимой?

— Каждую. Ждет.

Мы долго молчали. Кончился проселок, выехали на асфальт.

— Хороший был внук?

— Ласковый. Совсем маленький был, прибежит, прижмется: «Бабушка, я тебя сильно-сильно люблю!»

Открылся за рекой город, беседка в городском саду, трубы и корпуса заводов, вышка телецентра.

— В цинковом гробу привезли. Открыть не дали. Я поверила, что убили, а дочь не верит. Пьет сильно, меня ругает, что на кладбище езжу. «Не он там, и все!» А вы на городище были?

— Да.

— Правда ли, нет ли, говорили, что там памятник будет как первому поселению?

— Правда.

В совершенно безветренный день бабьей осени шел по нескончаемому осиннику и вдруг заметил, что осины шумят в совершенном согласии с моими думами. Звук

осин, по-прежнему молящий прощения, то смолкал, то оживлялся.

Разве тот умен, думал я, кто много знает. От знаний впадают в гордыню вседостижимости, гордыня затмевает чистоту помышлений. Умен тот, кто различает добро и зло, избегает злого, а свои усилия направляет на делание добра. Вот этому единственному уроку может научить история.

Кровь людская в нашей земле, красная, как алеющие осиновые листья.

Научиться любить, научиться прощать, научиться делать добро — вот тогда мы будем бессмертны.

Что б ни происходило с тобою, Отечество мое, люблю тебя и навсегда знаю: любовь к Отечеству — почти единственное, что может спасти от упадка духа.

Повести

—

Во всю ивановскую

Ивановская — Иван Купала — это праздник, пришедший из времен язычества. В нем много поэзии и веселья, много удали, к сожалению иногда грубоватой. Здесь и плетение венков, и пускание их по воде, здесь и обливание водой («Иван Купала — обливай кого попало!»), здесь и хождение в страшный, темный, гудящий полчищами комаров лес за цветом папоротника, здесь и хороводы, выродившиеся сейчас в танцы и пляски, здесь и драки. Праздник этот православная церковь соотнесла с днем рождения Иоанна Предтечи, который походил на Купалу и именем, и обычаем — крестил людей посредством купания в реке Иордан.

Раньше в Чистополье, на родине моего друга Толи, была церковь Иоанна, и как раз седьмое июля было в селе престольным праздником. По давней традиции, в этот день чистопольцы ходили на кладбище, поминали родителей, принимали многочисленных отовсюду друзей. Горожане и посейчас стремились взять к этому времени отпуска. Когда мы ехали от Котельнича в Чистополье, нам понимающе говорили: «На ивановскую!»

В лесу по дороге нас остановил застрявший частник. Дорога была, что и говорить, не из породы асфальтовых. Да еще добавили долгие перед этим дожди. Пока готовили трос, мы в самом прямом смысле не могли вдоволь надышаться лесным воздухом. Пытались по запаху определить, какие травы в нем слышатся. Конечно, иван-чай был в нем, анис был, но особенно головокружительно пахла таволга, по-вятскому — лабазник; ее белые пушистые метелки с легкой желтизной невесомой пыльцы стояли справа и слева от дороги.

Вытащили частника, поехали дальше. Солнце, еще задолго до обеда, поддавало до полного разморения, хорошо еще — пыли после дождей не было. Измаявшись (да еще перед этим ночь на верхней боковой полке), мы непременно решили перед Чистопольем выкупаться, чтобы

взбодриться. Что и выполнили. Больше всех измаявшийся Гриша, пятиклассник, сын Толи, первый же и воспрянул, когда зашел в золотистую торфяную воду лесной реки. Река называлась Боковая. Толя, буду называть его так, мой давний друг, земляк, поэт из Перми, давно звал меня побывать на его родине, и вот мечта сбылась.

Гриша, вырвавшийся из-под присмотра мамы, отважно поплыл, это было красиво необычайно — при солнце в этой янтарно густой воде тело его казалось слитком золота или, лучше сравнивать с живым, золотой, поднявшейся со дна рыбой.

Попрыгали и мы.

У обочины Чистополья стояло множество машин и даже тракторов. Причина была ясна — не проехать. Мы сунулись и застряли. Еле спятились. Достали вещи и пошли пешком.

Толя напугал, что идти далеко, но это он говорил нарочно. У поворота открылась высоченная уцелевшая колокольня, а не доходя до нее, был дом. Гриша, побежавший вперед, сказал о нас бабушке, Анне Антоновне, и она уже хлопотала на кухне. Но Толя торопил идти на кладбище, боялся, что разойдется народ.

По случаю моего первого приезда в Чистополье Толя подарил мне красную рубашку, которую велел тут же надеть. И сам новую надел. И вот, вырядившись, мы отправились вверх по селу, к магазинам, а там еще наверх, к «кусту», как называли тут кладбище. Издалека оно напоминало рощу.

— Чистополье на бугре, Караванно в ямине, — говорил Толя, показывая направление к Караванному селу, к традиционным соперникам по части молодецкой удали. — Они к нам ездили на ивановскую, мы к ним на николу зимнего. Их мы тут лупили, они нас там.

— Зачем тогда ездили?

— Ну как же, доблесть. Знаем, что получим, а едем. Трусом же не будешь.

Навстречу и по пути шло множество людей, все нарядные, веселые. Перекликались, договаривались, кто к кому придет, где собираться. Толю окликали и обнимали непрерывно. Кричали: «Григорьич! Натолий! Ой, да ведь, глико ты, Анны ведь Гришихи сын! Толя, да как это ты без гармозеи?»

Тут же вырывали обещание побывать и у них. По до-

роге на кладбище почувствовал я жуткую крепость чистопольских рукопожатий, правая рука моя онемела.

Почти у каждой могилы были застолья. В общем-то все могилы были так или иначе по родне Толе или же хорошо знакомые. Первая остановка была вынужденная — Толя понадобился как врач. На него налетел совершенно ошалелый парень с пустой бутылкой и торопливо прокричал, что бежит за водой для тещи, что ей плохо и чтобы Толя спасал ее.

В самом деле, на лавочке две женщины отваживались с третьей. Сняли с нее кофту, расстегнули ворот платья, побрызгали принесенной водой, женщина ожила. Радостный красный парень, заставляя женщину еще и попить воды, говорил:

— Теща, ты что это надумала? Ты ведь, если помрешь, дак не с кем и поругаться будет.

Уже раздавалась гармошка на дороге, уже редели компании у могил, а все больше скапливались около музыки. Уже и песня раздавалась: «Я тебе доверяла, словно лучшему другу, почему же сегодня ты идешь стороной?»

Мы пришли к родне на могилы дедушки и бабушки, которым именно в этот год исполнилось бы по сто лет. К стыду своему, я должен сказать, что пропустил в жизни эту дату своих бабушек и дедушек. Глухая тетка Толи расплакалась, вспоминая отца. И вообще, на всем кладбище было так — кто пел, кто плакал. Но плакавшего быстро утешали привычными словами, что все помрем, что нам бы еще дожить до их лет и тому подобное.

Солнце полудня стало снижаться, меньше ощущалось, так как его задерживала листва. Листва кипела и сверкала, и шум ее от ветра был радостным.

Забыть о том, что с нами гармонист, нам не дали — Толю непрерывно звали, посылали к нашему застолью послов. И вынудили. Мы пошли в центр кладбища — большую поляну, заполненную людьми. Играла там гармошка, но гармонист, завидя Толю, поспешно свел мехи и сдал полномочия. Толя, согласно законам приличия, поотказывался, но тут вывернувшаяся сбоку и обнимающая Толю старуха прокричала:

Гармонист у нас хороший,
Мы не выдадим его!
Всемером в могилу ляжем
За него за одного!

И дело было решено — Толя заиграл. Ох, как он играет! «Цыганку», «сербиянку», «прохожую», несколько частушечных размеров, любые песни, вальсы, фокстроты — словом, нет того, что бы Толя не выразил в звуках гармони или баяна.

Толя так заиграл, что ожившая теща выскочила в круг в паре с зятем. Тут же увидел я женщину, пляшущую с ребенком на руках, мужика с портфелем, даже одноногого инвалида увидел, пляшущего на деревяшке. Одна баба дробила так, будто хотела вся целиком втоптаться в землю, другая ударяла подошвами, склоня голову и будто вслушиваясь, будто добиваясь из земли нужного ей звука.

Частушки шли внахлестку, их было мудрено разобрать и запомнить, потому что веселье хлынуло враз и все почти хотели выкричаться.

Но тут мужик с портфелем пропел так, что я сразу вспомнил рассказ Толи о нем, это был односельчанин, сын знаменитого, погибшего на войне гармониста. Осталась от отца «колеваторка» — восьмипланочная гармонь ручной работы мастеров Колеватовых, и мать мечтала, чтобы сын выучился играть на ней. Но ничего не вышло, хотя она, по ее выражению, «пальцы ему привязывала». Слуха не было никакого. Он и частушку пел не в такт за музыкой. Но гармошку, как память об отце, не продавал никому, сколь за нее ни предлагали. Частушек он знал три и пел их всегда в строгой последовательности.

А г-го-род, го-род Киров,
Кировски поля-ноч-ки-и-и...
Я поеду в город Киров
Забывать гу-ля-ноч-ки-и-и...

Дальше шла вторая:

Хоть я сам и не-кра-си-вый,
Зато во-ло-сы вол-но-о-ой.
Все дев-ча-та мо-ло-дые
Гурьбой бегают за мно-о-ой!

Третью он пел в застолье, когда оно тормозилось:

Вороны каркают,
Собаки тявкают,
Мелки пташечки поют,
Что-то редко подают.

— Резкая гармония, — одобрительно говорили рядом со мной.

Совершенно необъяснимые переборы взмывающих высоких голосов, поддерживаемые басами, делали свое дело. Народ, как мотыльки на свет, слетался на музыку и пляску. Ввернулась в круг и уж не чаяла вырваться из него лохматая собака. Ребенок бегал за ней, да все не мог поймать и вдруг сам заплясал под одобрительные крики. А частушки просверкивали, вызывая смех и новые варианты. Огромный мужик в комбинезоне и сапогах, видно с работы, тяжело топал и гудел на тему женитьбы:

Как над нашею деревней
Черный ворон пролетел,
Я хотел было жениться —
Поросенок околел.

Один молодой мужик, которому кричали: «Витя, перестань!» или «Дает Колпащиков!», заклинился на частушке, которую, сильно опресняя, можно передать так: «Растаковская деревня, растаковское село. Растаковские девчонки гуляют весело!»

Женщина в нарядной, белой в кружевах кофте выхаживала перед парнем в голубой рубашке, который плясал, ускальзывая от нее вбок, она значительно, намекая на что-то известное только им, пела:

Ягодиночка, потопаем,
Потопаем с тобой:
Больше нам уж не потопать —
Жена будет с тобой.

Парень, ответствуя, тоже ей что-то напомнил:

Подожди, моя милая,
Наревешься обо мне,
Належишься белой грудью
На растворчатом окне.

Снова взревел механизатор:

Я хотел было жениться,
А теперя не женюсь:
Девки в озере купались —
Посмотрел — теперь боюсь.

Тут я услышал частушку, которая запомнилась мгновенно. Ее спел инвалид на деревяшке:

— Раскатаю всю деревню,
До последнего венца!
— Сын, не пой военных песен,
Не расстраивай отца!

«Сын, не пой военных песен, не расстраивай отца», — повторял я себе, думая, что веселье такого размаха не может долго держаться, но ошибался. Даже зрители и те притопывали на месте, а чаще срывались, раззадоренные музыкой, в круг. Я потерял из виду тех, за кем пытался смотреть, потому что добавлялись новые, будто в самосожжение веселья бросались они, чтобы оно разгоралось. Вспыхивали иногда слова почти хрестоматийные, например: «Посмотрите на себя, хороши ли сами-то». Или из недавнего прошлого: «Ах ты, дроля, дроля, дроля. Дроля, дроля, дроби бей. Мы в колхозе не работаем, живем без трудодней». Старуха, стоящая рядом со мною, потряхивала плечами и все не решалась, ожидая, наверное, вызова из круга или толчка из по-за круга. Все повторяла: «Эх, ножки мои, что мне делать с вами, не хотела я плясать, выскочили сами».

Толя упарился. Уже старухи, жалея его, кричали другим гармонистам, чтобы сменили его, но те не решались: что и говорить — поиграй-ка после мастера. И Толя продолжал.

Многие поколения русской молодежи немыслимы без музыки именно гармошек. Слово «резкая» по отношению к гармошке — слово, отличающее ее звук, слышимый иногда за много километров, количество планок обозначает богатство звука и вместе легкость разведения мехов.

Гармониста берегли. В драках его заслоняли и не позволяли вступать в потасовку. А когда парни шли в чужую деревню или навстречу другой компании с гармошкой, тут гармонист был первое лицо. Случалось, что одной игрой, резкой, громкой, складной, одерживалась победа. Встречные не выдерживали, сворачивали, шутками и восклицаниями извиняя свое поражение. Вспомним трубы Иерихона. Не зря за упомянутую «колеваторку» давали корову и два стога сена.

Ухарство сказывалось в частушках молодежи:

По деревнюшке пройдем,
На конце попятимся.
Старых девок запряжем,
С молодым прокатимся.

А кто постарше, пел и такую:

Как, бывало, запою —
Все дома валятся,
А теперя ни один
Даже не шататся.

Веселье оборвалось внезапно и даже как-то глупо. Невысокий краснолицый мужик, стоявший во всю пляску около Толи, попросил гармонь, и Толя охотно снял ее с плеча. Мужик же и не думал играть, он взял гармонь под мышку и... ушел. Это оказался владелец гармони. Кто говорил, что он пожалел инструмент, кто говорил, что его ждали в каком-то доме, думаю, что разгадка была в ревности к игре мастера, мужику бы так не сыграть, хотя и на своей. Толя развел руками, жалея, что не взяли свою, его гармошку, еще со времен юности ждущую его каждое лето, и веселье окончилось.

Засобирались домой. Но многие вновь разбрелись по могилам. Плача больше не было слышно. Солнце скользило к западу, уже не доставало до земли, резало деревья на две части: нижнюю — темную и остальную — изумрудную. К прохладе оживились и запели птицы. Но и комары зазудели.

По дороге нас все время останавливали, тянули к себе, мы отговаривались, но от всех отговориться было невозможно. Говорили мы, что только что с дороги, нам отвечали, что как раз и зовут нас отдохнуть, говорили, что Анна Антоновна ждет к обеду, нам возражали, что как раз на обед нас и зовут.

— Айдако-те, парни, в Красное, — решительно сказал сродник Петро, рукопожатие которого было самым железным.

— Точно, ждут — звали, — подтвердил муж Толиной сестры Риммы, тоже Толя. — А завтра, бляха медная, к нам.

— Завтра кошу, — отвечал Петро, — беру роторную косилку, и с утра — по коням!

Оказалось, что в Красное мы просто обязаны идти. Заскочили домой, взяли гармошку и хотели забрать Гришу, но его уже утащил Вадимка, деревенский мальчишка: Грише было с ним интересней. Правда, Толе, как отцу, тревожней, ибо стало известно, что Вадимка уже посылал Гришу за деньгами к бабушке, а также взманивал на луга, на озера, на самостоятельное купание без надзора.

С нами шел и Витя Колпащиков, азартнее всех плясавший на кладбище, и его жена, ругавшая его за все ту

же частушку о растаковском селе, деревне и девчоиках и пугавшая тем, что не пойдет в Красное и его не пустит. Витя замолкал, ио частушка, будто живчик, выскакивала сама. Шел Петро, Толя Бляха медная, еще несколько знакомых, сзади плелась полуживая старуха, за которую я очеиь боялся, что оиа ие дойдет, упадет при дороге. Нет — дошла.

Столы были накрыты перед домом, в просториом палисадиике. Дом был осиователеи, крепок. Даже двор был под крышей и застелен по земле половым тесом. Вода иа огород шла по трубам, качалась иасосом, даже лужок на поскотиие поливался веериыми струйками, и трава была там густой, высокой. Поговорили о том, кто к кому приехал, о покосе, о погоде. Я уж отчаялся запомиить всех по имеии, зто было иеудобио, так как меия-то быстро запомиили как приехавшего с Толей.

Веселье разгорелось ие сразу. Сидели мы как иа сцене, потому что вокруг ограды миого собралось любопытных, и Петро шутливо, подобрав с травы клочок сеиа, совал его через ограду, предлагая пожевать. Тут сыпаиул дождь, любопытных не стало. Думали перебраться во двор, ио виовь, по выражеиию Толи, «окрасилось иебо багряицем», разгорелся огромный закат. Видимо, от иего все лица казались розовыми и красиыми. Мие зтого цвета добавляла пылающая алостью рубаха, которую Петро сравнивал с флагом над рейхстагом. Петро вообще играл после Толи чуть ли не первую роль. Ои сидел рядом со мной, спрашивая: «У тебя высшее?» — «Да». — «Ну и у меня кое-что за плечами».

— Петро, выпейте вы, че секретиичать! — кричала женщиiа Алексаидра, как оиа представилась: Александра из села Сорнижи. Еще она поддразиивала чистопольских, что не только у иих есть свой позт, ио и у иих, и ие поэт даже, а поэтесса — Татьяна Смертиiа.

— Поженим, — кричали за столом. — Толя, ты как?

— Ни-ког-да! — отчеканивал Толя.

— Витя, тебе хватит, ведь ие спляшешь.

— Я?! Чтоб я ие сплясал! Я мертвый спляшу!

— А давайте за погоду!

— За иваиовскую!

— Ну! Подияли!

— У меия уж до ведра доходит!

— Ну, бляха медная, когда и повеселиться, как ие в ивановскую!

— Петро, иа рыбалку свозишь? — спрашивал Толя.

— О! — взорлил Петро. — Я ведь мотор к лодке купил! Новьё! Работает, как пчелка! На Пижме любого на одном цилиндре догоню и затопчу! Сделаем рыбалку. Директору скажу — кореша приехали. Уважит, куда денется. Траву вот подвалю.

— Да чего это, мужики, ровно все вареные, — заговорили вдруг женщины.

Уже кто-то ставил Толе на колени гармошку, уже ожившая старуха стащила с головы платок и помахивала им, крича:

Сербиянка рыжая
Четыре поля выжала,
Снопики составила,
Меня возить заставила.

Вышла Александра и еще без музыки, встав перед Толей, пропела:

Поиграй, залетка милый,
Поиграй, повеселюсь.
Меня дома не ругают,
Посторонних не боюсь.

Толя, налаживая по плечу ремень, весело в тон отвечал:

Поиграю, поиграю,
Зеленая веточка!
Ты на что меня сгубила,
Эка малолеточка?

И сразу, без паузы:

На гулянье привезла
Меня кобыла сивая,
А с гуляньица проводит
Милочка красивая.

Я сильно подозревал, что Толя сам многие частушки сочинил, даже те, что пошли в оборот, а это признак высокого качества. Причем если кто-то в пляске пел частушку совсем не к месту, а ту, что вспоминалась, то Толя, направляя застолье или круг, давал тему. В частушках, конечно, далеко не вся душа русского народа, но часть ее, и не маленькая.

Витя уже изготовился к пляске, стоял, шатаясь и комментируя свое состояние: «Бес кидает». Но только лишь заиграла гармонь, он моментально окреп и дал

такую присядочку, что впору бы и профессионалам из хора Пятницкого. Пошли и многие другие, старуха, махая платком, голосила:

Оттоптались мои ноженьки,
Отпел мой голосок,
А теперя темной ноченькой
Не сплю на волосок!

Правду сказать, и меня подмывало сплясать, да уж и Александра поударяла передо мной, но понимание, что мне и в одну десятую так не сплясать, как они, это понимание останавливало, и я не рыпался. Рядом сидела тетка Мария, тетка Вити-плясуна, я слышал, что она ему обещала завещать две тысячи, на что он отвечал: «Ты сегодня обещаешь, а вот где ты завтра будешь со своими тысячами!» Сейчас, хваля Витю за пляску, я спугнул ее тем, что наивно спросил, на что же Вите эти две тысячи, он что, чего-то покупать думает? Тетка закряхтела и засобиралась, говоря, что надо домой, надо скотину устряпывать, да где-то и внуков не видно. И ушла.

Плясуны усердствовали. Петро, запыхавшись, свалился на скамью и кричал Толе:

— Перестань играть, они с ума сойдут!

Но перестать было мудрено. Взять хотя бы одного Витю. Он сразу выкрикнул Петру:

Что ж ты, Петя, приустал,
Ты пляши, не дуйся,
Если жарко в башмаках,
Ты возьми разуйся.

И продолжал носиться, страшно красный, яростный. Толя пробовал тормозить музыкой, но Витя так отчаянно подскакивал и делал выходку, что Толя вновь нажимал.

— Этот Витька да еще один на прошлую ивановскую трех гармонистов утолкли, — сказал сосед.

В этот раз Вите не было достойного соперника. Толя сдался перед Витей, свел мехи и закричал, чтоб Вите не сразу давали пить, раза бы три обвели вокруг дома, как запаленную лошадь. Витя сел на клумбу и все еще махал руками и потряхивался, будто пляска продолжалась у него внутри и его сотрясала. А Толя жаловался, что смозолил пальцы.

Хозяин дома подошел ко мне, обнял за плечи, сказал: «Вот запомни, чего я тебе скажу», — но ничего не сказал.

Женщины запели и прекрасно, душевно спели песню «Деревня моя, деревянная, дальняя...». Там были прекрасные слова: «Мне к южному морю нисколько не хочется, нисколько не тянет в чужие края. Тебя называю по имени-отчеству, святая, как жизнь, деревенька моя...»

Вновь подошел ко мне хозяин:

— У меня прошла крупная жизнь. Я записал ее в общую тетрадь, но не знаю, как изорвал.

Я вышел в огород, решил послушать пение издалека.

«Не осуждай несправедливо, скажи всю правду ты отцу. Когда свободно и счастливо с молитвою пойдешь к венцу... Умчались мы в страну чужую, а через год он изменил. Забыл он клятву роковую, а сам другую полюбил...»

Потом запели: «Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним...» Там были невозможно щемящие душу слова: «Горит село, горит родное, горит вся родина моя...»

На огороде хозяйка укрывала стеклянными банками ростки огурцов.

Вновь я был за столом, и седой старик в фуражке говорил:

— Не знаю, как я остался жив, прямо не знаю. Да-а. Сыновья все полковники. А я поучаствовал во всех переворотах. И куда жизнь утекла, куда делась? Были девки, стали старухи, как это, а? Я не боюсь, что я уже седой, что я дед и прадед. Все моложе меня уже в могиле, даже кому была бронь, и те уже там.

Шли домой в летних прозрачных сумерках. Хотели поворачивать прямо к дому, но громкая музыка, яркий свет из клуба поманил зайти туда.

В клубе чередовались магнитофон и баян. Уставал баянист — включали магнитофон, надоело современное дрыганье, просили баяниста играть, например, краковяк. Или затевали «комсомольский ручеек», запевая при этом песню. При нас запели «Уральскую рябинушку». И еще, завидя Толю, подошли к нему две девчушки, попросили подыграть им и мгновенно дружно закричали девичью песню запоздалого раскаяния: «Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю...» Какой-то парень, вообще из молодой клубной публики, дождавшись паузы, выкрикнул переделку другой песни тоже про вину: «Прости меня, но я не виновата, что я люблю солдата из стройбата». В этом был какой-то смысл, по-

нятный его и девчоночьему окружению, так как поющие девчонки кинулись колотить парня, в шутку, разумеется...

* * *

Ночью была гроза. Мы спали в пологах в клети, спали после огромного дня без задних ног, но гроза нас подняла. Молнии освещали клеть солнечным сквозным сиянием. Одна не успевала исчезнуть, вспыхивала другая. Даже темноты в глазах, какая бывает после вспышки, не было. Гром сотрясал воздух.

Такие грозы ночью называют почему-то воробьиными, говорят, что воробьи начинают кричать. Может, они и кричали, но где их было расслышать. Чтобы не стало вовсе жутко, мы заговорили. Толя рассказывал, что в прошлые ивановские было больше народу и событий. Он называл уже умерших мужиков фронтового поколения, с которыми в детстве и отрочестве бывал на покосе, в поле: «Как они красиво говорили! Где это все?»

Молния и гром огнеметной силы полыхнули и тряхнули так, что сбросили Толю с постели. Он что-то крикнул, но я не расслышал, но понял, что он боится за Гришу, чтоб тот не испугался, и что он пошел в избу его проверить.

Вернулся Толя в таком виде, что меня подбросило с лежанки. Оказалось, что Вадимка все же сманил Гришу ночевать на луга. Подучил сказать бабушке, что будет ночевать на клети. Мы оделись, обуваться не стали.

Вышли за ворота. Куда идти? Молнии ослабевали, уходили на запад, колокольня чернела при вспышках. Гром отстал от молний и не пугал. Дождя почти не было.

— Папа! — раздался крик, и мокрый, дрожащий Гриша радостно подбежал под отцовский шлепок.

Гриша рассказал, что шалаш их свалило ветром, а вначале примочило внутри шалаша, что они побежали домой и что молния один раз ударила прямо у его ног.

Вадимка, как опытный соблазнитель, скрылся от возмездия на сеновале какой-нибудь тетки, коих у него было во множестве. Гришу переодели, затолкали на печь, укрыли одеялами, напоили теплым молоком. Анна Антоновна обохалась вся, призывая на Вадимку кары небесные, но и оправдывая его — живет без родного отца.

Мы пошли досыпать.

Утром — как и не было грозы — сияло солнце. Зве-

нели по-за огородами косы-литовки. И на нас укоризненно глядел заросший бурьяном угол огорода. Вытащили свои косы, направили. Пошли размяться. Косили с радостью. Наклоняясь за пучком травы, чтобы протереть лезвие, я услышал: «Парень, видно, крестьянство знает». Не было мне большей радости от этих слов. Сказал это кто-то из двух пришедших проведать гостей. Один, знакомясь, сказал: «Валерка буду», а другой назвался Николаем. Работа была оставлена.

Как раз у этого Николая два сына погибли, это о них я вчера узнал на кладбище.

Толя принес ему еще раньше обещанное лекарство. Вообще весь этот день к нам непрерывно текли гости, и почти всем им Толя давал какие-то привезенные заказы.

Пришел пастух Арсеня с сыном, который не давал ему пить, но сладить с Арсеней было мудрено.

Со всеми были обстоятельные разговоры о рыбалке, о лугах, про которые Николай сказал, что на них так красиво, что душа отпадывает. И что хотя и были дожди, но рыба есть, побродить можно.

К обеду затрещали по селу мотоциклы. Стояли у ворот, незнакомый парень привернул, ухарски тормознув, мгновенно занял три рубля и похвалился тем, что на прежнем мотоцикле сломал три ребра, но все равно завел новый.

Нужно было дать телеграммы, чтобы не беспокоились домашние, пошли на почту.

На почте ждал ряд новостей. Ночная гроза оборвала и связь, и радио, то есть дать телеграммы было невозможно. Женщина обещала по возможности с кем-нибудь передать, кому будет по дороге. «Если еще будет транспорт». Тут же на почте говорили, что трактора по дороге вязнут и что мы отрезаны от мира, вот только еще телевизор работает. Другая новость была, что Петро, работавший по связи, вызван на устранение аварии, значит, на луга он не поехал и, значит, не пойдет с нами на рыбалку.

Не успели мы загрустить, как все наладилось. На крыльце почты появился Гена-десантник. Тут же обещал достать клюковой (от слова «клюшка») бредень, велел немедленно собираться. И так нас затормошил, что мы, собираясь, многое забыли, например ложки, чтобы хлебать уху. С нами напросились Гриша и Вадимка, которого, куда денешься — родня, пришлось простить, тем бо-

лее он изъявлял усердие не по годам. Еще взяли палатку.

Гена дергал нас поминутно, будто могла уйти вся рыба. Поймал на дороге мотоциклиста Володю, сына Арсени, перечеркнув все его планы, и велел везти вещи к Большому озеру. Мы отправились пешком.

Гена своей торопливостью лишил нас многой добычи. Пустых заходов он не терпел. Не успевали мы выцарапать тину, траву, ил из крыльев бредня, он немедленно требовал сменить место.

Наконец мы все сошлись на том, что надо пробрести часть канала, соединявшего озеро и Пижму. Володя был поставлен в центр, сам Гена отчаянно кидался в глубину, я тащил прибрежное крыло бредня. Толя шел по берегу с ведром.

Рыбы попалось не так много, но самой разнообразной: щучки, ерши, караси, плотва, подлещики, язенки, даже небольшой линек, даже окуни. Но наловить полное ведро не дал Гена.

— Хватит на уху!

На уху, и на заправскую уху, хватило куда с добром. Пока она варилась, пока Толя, злясь на указания Гены, устанавливал очередность запуска в кипящую воду различных сортов рыбы, хватились ложек. Гена было погнал за ними Володю на мотоцикле, но Володя нашел выход получше — залез в озеро, нащупал там ногами и натаскал огромных ракушек-перловиц. Я таких и не видывал. Больше сложенных лодочкой ладоней. Володя располовинил и выскреб раковины. Гена объявил, что будет есть их содержимое, что не зря японцы такие умные — моллюсков едят, но все мы стали плеваться, когда он и взаправду потащил в рот мясное и кишечное тряпье раковин.

Уха — огромное ведро — была готова. Черпали самодельными ложками и нахваливали. Случились на озере еще мальчишки, приезжали купаться на велосипедах, хватило и им, и еще осталось.

Время до ночи еще было, хотелось полежать у костра после ухи, но Гена не дал, стал тормошить, чтоб натянуть палатку, это ему было после практики в десантных войсках «элементарно». Наконец, забрав бредень и оседлавши Володин мотоцикл, Гена отбыл, и мы полезли купаться. После купания снова принялись за уху.

Когда стали укладываться на ночь, оказалось, что не взяли по милости Гены ничего теплого, только Вадимка

был в куртке старшей сестры. Нарвали таволги и подстелили под днище палатки, чтобы не простыть снизу. Мальчишек положили в середку, сами легли по краям. Было тесно, мы шевелились, вытягивали ноги, палатка расшнуровалась, и нам добавили жизни комарики.

Мальчишки, едва рассвело, дали от нас тягу, мы немного добрали сна, но, разбуженные птицами, жарой первых солнечных лучей, выбрались, и вправду говорил Николай — душа отпала: до того красивы были луга. А небо какое было над ними — низкое, сияющее, склоненное к розовой воде, белому туману, мокрым, сверкающим кустам ивняка. В полусне, в полубреду стояла природа, трава и вода, соединенные туманом, смыкались, ложбины дымились белым паром.

Мы воскресили костер, разделись догола, чтоб потом надеть сухое, и ринулись в озеро. Сверху оно было теплое, но внизу — смерть какой лед. Поплыли горизонтально. Толя пугал меня воронками и глубиной. «Три вожжи дна не достают». Шутки шуткой, а бездна внизу ощущалась. Вылезли озябшие, грелись у огня.

— «Ах, зачем эта ночь так была хороша, — пел Толя, — не болела бы грудь, не страдала б душа...»

А и в самом деле — зачем эта ночь так была хороша? Ведь живем настолько нервно, задерганно. В «затыке», как говорила знакомая редакторша, и вдруг такая радость выключения из суеты. Стоял легкий звон в голове от обилия свежего воздуха, тянуло на сон. Я лег в траву — и запахи! Какой там сон — запахи детства охватили меня. Скошенная трава, цветы, ягоды, ветер принес даже дыхание северного лотоса — кувшинки — и еще запахи каких-то трав, которые были не для обоняния, для памяти и воскрешали не образ самих себя, но время, в котором они впервые узнались.

Но сейчас-то зачем травить душу, зачем видеть в родниках свое стареющее отражение, зачем так безжалостно понимать невозвратимость молодости? Живя во многом для впечатлений, мы со временем получаем сильнейшее — то, что впечатления повторяются, и с этого начинается старение души. Избавиться от этого помогает интерес к жизни, и самое страшное, если интерес увядает. Чужая молодость кажется хуже прошедшей собственной не оттого, что она хуже, оттого, что не хочется признаваться, что чем-то был обездолен. Чего уж теперь, как было, так и было.

Солнце вознеслось и нажаривало поистине во всю ива-

новскую. Подумав о завтраке, мы разогрели вчерашнюю загустевшую уху. И очень кстати — прибыли гости. Десантник Гена и Толя Бляха медная. Толя искал ушедших из дому оренбургских пуховых коз, а Гена, по-прежнему опекая, явился помочь свернуть хозяйство. Гена сказал, приятно поразив нас, что вчера он ездил в свою деревню Разумы, теперь бывшую деревню, нарвал цветов и положил по цветку на места бывших домов. Звал съездить и нас, но невыносим вид разрушенных печей, крапивы, глушащей иван-чай, обугленных бревен, отесанных со стороны жилой части и светлеющих пятнами на тех местах, где висели фотографии, зеркала, вешалки, численники. «Нет, не поедем, Гена, не обижайся». Да и легко ли вновь и вновь видеть свою вину исчезновения деревень. Именно свою — не при нас ли «собратья» по перу воспевали централизацию сельской местности, как совсем недавно славили торфяно-перегнойные горшочки и кукурузу.

И еще новость так новость привезли гости — в Чистополье был пожар. Горел верхний порядок, но счастливо отделались — сгорели двор, сарай, дрова, а на дома не перекинулось — отстояли. Конечно, Гена был в первых рядах.

— Не успеешь уйти, — говорил Толя, — все чего-нибудь случится.

— Курятина-то есть ли? — спросил Толя Бляха медная. Я его так называю по его присловью.

— Тебе что, ухи не хватило? — спросил я, а они захохотали.

Оказалось, что курятина — это курево. Гости закурили, отказавшись купаться, сказав при этом, что воды боятся как огня. Темой общего разговора, как чаще всего среди молодежи и мужиков, стала армия, тем более говорить о другом при Гене было трудно.

— Пей чай, — пригласил Толя, — наводи шею как бычий хвост.

— Эх! — принимая приглашение, сказал другой Толя. — «Сорок лет коровы нет, маслом отрыгается». Эту-то знаешь ли? — спросил он меня.

— Память-то уж не молоденькая, может, и знал.

— А эту: «Штаны спали, штаны спали, потихоньку съехали, все колхозники на тракторе сбирать поехали».

Гена и тут не отстал. Он добавил тоже замечательную:

Мне не надо решета,
Мне не надо сита.

Меня милый поцелует,
Я неделю сыта.

— Ну, бляха медная, еще подумают, какие чистопольцы, поют да пляшут. Но ведь не все же работать, надо и дыхание перевести.

Они увезли у нас все тяжелое — палатку, ведро, — и мы налегке шли домой. По дороге ели чернику, выбирали из зарослей брусники красные холодные ягоды, даже и земляничины алели в мокрой траве. Говорили о детстве.

— Может, ты меня осуждаешь, что я Гришке ночью поддал? Нет? Я на себя сержусь! Ведь это — рыбалка, ночевка на лугах — для нас было естественно. Что ты! Я год пропустил из-за этих лугов: «Бросить школу — и вольному воля — поревет и отступится мать...» А за Гришку испугался — не приучен. Я по две недели в шалаше один жил, а он пропадет. Случись чего — его больше жена не отпустит со мной, она и так меня к Чистополью ревнует. А что я без него?

Я спрашивал Толю о Петре, о Вите Колпащикове. Петро, узнал я, был знаменит еще тем, что отвадил от села приезжих с юга строителей.

— И хорошо, — заключил Толя. — Строили они быстро, рвали деньгу большую, а проходило пять-шесть лет — и их дома начинали трещать по всем швам.

Интересно, что Петро, мужик, живущий основательно, собирался уезжать из села. Как и Витя Колпащиков, бывший заведующий клубом, изба которого была, по давнему выражению русскому, подбита ветром.

В селе была встреча с Петром. Он, не наладив связи, уезжал на луга. На тракторе была навешена роторная косилка.

— Погоду нельзя упустить, — говорил Петро, все уже зная про наш улов и ночлег.

— А связь?

— Война будет, так скажут. День ничего не решает, а сено уйдет.

— Телеграммы женам никак не можем дать.

— Поволнуются, так крепче любить будут, — отвечал Петро. — А накопят злости, дак приедете и обесточите. Так ведь? Дождут! Вы ведь не какой-нибудь цех ширнетреба, орды! — И Петро умчался. И то сказать — у него были две коровы, телка, овцы.

Вернувшись домой, мы взялись за осуществление своей мечты — истопить баню. Но не сразу. Надо было сходить

за хлебом, которого в селе из-за бездорожья не было три дня. Очередь двигалась медленно, но так спокойно, что стоять было не в тягость.

Вдруг Толя весь озарился и вывел меня на дорогу, а там повлек за собой к колокольне. «Да как это так, чтоб ты на ней не побывал!»

Колокольня была крепка и явно собиралась нас пережить, но лестницы внутри были расшатаны, а кое-где лишены ступеней. Поднимаясь впереди, Толя рассказал, что церковь разломали для кирпича. Рушить не давали, и что колокольня теперь передана лесничеству, как пожарная вышка.

Толя поднимался и читал:

Заметная на сотню верст, пожалуй,
Теперь уже безгласная, она,
Чтобы лесные упредить пожары,
Лесничеству на службу отдана.

С нее мы даль оглядывали жадно.
И, не держась за узенький карниз,
Как ангелы, легко и безоглядно,
За горизонт неведомый рвались.

— И мы, школьники, помогали ломать, как ни горько, а надо в этом признаться, — говорил Толя, — а как было. Понадобился кирпич под фундамент для школы. Пригласили фотографа из района, черные веревки развесили по стенам — сфотографировали, ну точно — вся в трещинах, аварийное состояние, надо ломать. Вначале тремя тракторами купол сволокли.

Я вспомнил, как в детстве в своем селе растаскивал кованую церковную узорную ограду на металлолом.

За разговором мы поднялись на большую площадку, где Толя сделал остановку и, проверяя мои нервы и заодно вестибулярный аппарат, предложил обойти вокруг колокольни по карнизу. На карниз ветром нанесло земли, росла трава, даже, как подарок, показалась нам земляничка, росла крепкая береза, на другом повороте рябина, на третьем бузина. Медленно, перехватываясь руками, обошли вокруг и опять вступили на скрипучую лестницу.

На самом верху был ветер, закричали вороны, но, видя нашу невооруженность, замолчали. Толя показал направление к Караванному, к Горьковской области, леса которой синели на западе, рассказал, где какие были деревни. Сверху мы видели свой маленький домик и лужок на задворках, который следовало выкосить, видели дорогу,

по которой приехали, я узнал Красное и дом, в котором позавчера мы веселились. Толя жалел, что в маленький приезд не успел во многих местах побывать.

В магазине подошла наша очередь, мы набрали хлеба, взяли «горного дубняка», который только и был, ибо после бани полагалась ритуальная чарка. При выходе нас перехватил пастух Арсеня, которому Толя привез редкие лекарства, но не до этих лекарств было Арсене. Толя, выговаривая ему, все ж отсчитал просимую сумму, которая тут же была отоварена.

— На сутки хватит, — говорил Арсеня, — я помаленьку. Вот спасибо. Эх, товарищ, — говорил он мне, — жизнь моя прошла со скоростью поросячьего визга.

* * *

Анна Антоновна, ползая по борозде на коленках, полола. Я стал помогать, а Толя хлопотал с баней. У нас одинаковые матери, и легко было разговаривать.

— Свекор был, покойничек, злой на работу, но горденький. Вот напеку утром блинов, раньше всех встану, говорю: «Гриша, зови тятю!» Гриша зовет. Тот молчит. Потом уже я сама: «Тятенька, пойдем блины есть». И так до трех раз. Уж только потом полати заскрипят. Еще до войны помер. А мой-то отец в войну. Когда Гришу убило подо Ржевом, как выжила с детьми — не знаю. Теленок — бычок родился, я, как чувствовала, не дала под нож, вырастила. Такой был сильный, два лошадиных воза в леготку тащил. Меня и без кольца слушался. С ним я в Ежиху на лесозаготовки нанималась, а дети одни дома. От этого быка корова у нас долго была, она раз Толю чуть до смерти не покалечила, на рог поддела. До сих пор заметно. А тогда, какие тогда доктора, везли двадцать километров, думали, не жилец. — Анна Антоновна разогнулась, заулыбалась. — Теперь и Толя, и все дети, и вся родня на врачей выучились.

Скоро мы допололи грядку лука, и я пошел к Толе. Баню он сделал своими руками прошлым летом, она, по его словам, прошла самые взыскательные испытания.

— Крышу не рассчитал, очень конек высоко вознесся. Ты не находишь в архитектуре бани нечто прибалтийское? У кого какая баня, у меня осинова, у кого какая милка, у меня красивая. У кого какая баня, у меня из кирпичей, у кого какой миленок — у меня из трепачей.

Толя еще сказал ряд частушек про баню и связанные

с ней события, но пусть он их сам попробует обнародовать.

Не успел я взяться за натаскивание воды, как явился Семен, земляк Толи, так он представлялся, и дело застопорилось. Семену хотелось поговорить с умными людьми, так как он и сам был не из простых.

— Кончил политех, занимаюсь внутренней начинкой предприятий соцкультбыта. — Так он характеризовал себя. Рассказал, что любит читать, любит добраться до смысла непонятных слов: — Например, что такое «одиозный»? А я выяснил. Также слово «меркантильный». Вот что это такое?

— Сеня, говори по-людски, а то мы, ничтоже сумняшеся, подвергнем тебя остракизму.

— Да, Семен, — поддержал я Толю, — поверь, что это не инсинуация.

— Тогда как вы оцените вчерашний пожар и отсутствие пожарного снаряжения?

— Так и оценим.

— Хорошо еще, что направление ветра было в противоположную сторону от жилого массива. Верно?

— Верно, Сень, ты давай затапливай, я еще дров подколю, воды наносим да и вымоемся, — распорядился Толя.

Но тут нас позвала обедать Римма Ивановна, сестренница Толи. Дом ее был рядом, она жила со слепой теткой, одна. Римма принесла окрошку, квас, вареное мясо прямо в предбанник, где стоял маленький столик. Я притащил три ведра холодной воды, в ведра мы поставили квас, молоко, явился на столе мед, огурцы, лук, селедка «иваси», садовая клубника в блюде.

Пообедали, но не плотно, оставили место послебанному угощению. Толя занялся дровами, я водой. Семен стал затапливать. Вскоре дым обволок остроконечную крышу, Семен доложил, что дело сделано, и пошел сказаться теще, что будет с нами мыться. Толя предсказал (так и сбылось), что теща Семена не отпустит, а вооружит каким-либо ручным сельхозорудием. Я уже дотаскивал воду в котел, как белый дым повалил из дверей. Я их распахнул и понизу пролез к печке. Открыл ее — в ней было... пусто. Где же тогда горело? Оказалось, что Семен — деревенский выходец — затопил баню в отдушине трубы, в том месте, где были камни, кирпичи, накаляемые огнем для того, чтобы на них поддавать. То-то мы посмеялись. Перело-

жили горелые поленья на место, и вода в котле, не прошло и получаса, закипела.

Кожа зудела и просила веника. Раздевшись, Толя хлопнул на камни полковшика. Из отдушины ахнуло пеплом и сажей, это было следствие Семенова усердия. Проветрили, вновь поддали. Баня держала пар на славу.

— Ложись, — приказал Толя и хлестанул меня чем-то жутким, будто теркой шаркнул по спине. Я взвыл и сверзился на пол. — Что? — спросил Толя. — Посильнее «Фауста» Гёте? Будешь знать, как баню описывать.

Толя хлестанул меня веником из вереска. А дал он мне урок оттого, что я в одном месте описывал баню и для пущего эффекта придумал, что парятся вересковыми вениками. Вот я и был наказан.

— Мы же березовые ломали.

— Есть и березовые.

Попарились для первого раза немного. Закраснели и чесались места бесчисленных комариных укусов. Но когда мы опрокинули на себя по шайке холодной воды, стало хорошо. В предбаннике ждали Вадимка и Гриша и примкнувший к ним племянник Толи, Андрей. Мы их положили на полок, как карасей на сковородку, и хлестали вдвоем. Вадимка и тут сумел всех обхитрить — попал в середину и ему не досталось ударов по бокам.

Попарив, оставили их мыться и пошли передохнуть. Слышно было, как мальчишки разговаривают. Узнать, о чем они говорят, было страшно интересно. Вадимка, как человек практичный, срывал с Гриши обещания привезти пряников. Обещал за это дать такую подкормку, что вся рыба с озера должна была сбежаться к Гришиной удочке. Гриша, как человек городской и начитанный, отставал, конечно, от Вадимки в познании конкретной жизни, но не сдавался за счет знаний.

— Ребята, — говорил он, — а вы знаете, бронтозавров не надо бояться. Они трусливые, вот точно. На них крикнешь погромче, они убегут.

Толя изобрел веник, на который впору выдавать патент и который усиленно рекомендую, — две трети березовых веток, одна треть вересковых. Береза смягчает вереск, а тот, все же чувствуясь, дает прекрасный смолистый запах. Эффект мы ощутили при втором заходе так, что захотелось третьего. Но тут явился новый посетитель. Потом были еще, и мы, как римские патриции, принимали всех в предбаннике в течение пяти предзакатных часов.

— Ты поживи, мы тебе покажем настоящую жизнь, —

говорил Василий, дальний родственник Толи. — Вот Толя жил, и результат налицо, слушай: «На Угоре колокольня, кладбище, а дальше сплошь — за селом, за Чистопольем, в чистом поле ходит рожь». Все точно, нигде не соврал. Про многих сочинил, про Арсеню даже вывел, а про меня нет. Толь, ты чего про меня тормозишь сочинять? Смотри, помру, спохватишься. А ведь умру, Толь, умру в колхозной борозде. Ну, ребята, давай, мешать бане не буду. Баня, ребята, это — человек!

На смену ему явился одноклассник Толи Николай Федорович — я уже слышал о его мастеровитости. Он сам, почти в одиночку срубил дом с паровым отоплением, сделал теплицу, развел плодоносящий сад, выкопал пруд, запустил в него рыбу, которая жила даже зимой («к проруби подплывала, из рук кормил»), но, насколько я заметил, делал Николай не для накопительства, а от природной одаренности и нетерпения рук.

— Как там караси? — спросил Толя.

— Плавают, чего им. Породу вот улучшаю, нынче на Светлице наловил, запустил, пусть скрещиваются. Надо ли вам на уху-то, скажите? Или на лугах ведро оплели, дак пока сыты.

— Ты пока притащишь, мы уж проголодаемся, — поддел Толя в соответствии с чистопольским юмором.

— Да я! — Николай рванулся к двери.

— Не надо, не надо!

Мы остановили Николая и уверили, что для нас лучше, если он попарится с нами. Тем более с таким изобретением — Толя показал веник.

Но Николай сказал, что только вчера топил свою, и, пока мы парились, он заменил воду в ведрах, чтобы молоко, квас и остальное по-прежнему было холодненьким. Поздравил нас с легким паром. Мы заявили, что пар действительно легкий, но не окончательный. Сели подкрепить выпаренные силы. Николай стал пытать Толю: помнит ли он, какие места были в окрестностях Чистополья?

— Где Пронина кулига?

— Да ты что! Проня мой прадед, чтоб я не знал! А где Крута веретья?

— Спросил, — усмехнулся Николай. — А где Савкино репище?

— А скажешь, где Лебединое озеро, так отвечу.

— А где Круглое, где Бродовое? А Ореховое поле где?

А Тихонин ключ? А Утопша? Вот скажешь, где Утопша, сдаюсь.

— Да там, где шалаши ставили.

Николай кивнул, и состязание прекратилось.

— Николай Федорович, — спросил я, — а твои дети все эти места знают? И вообще молодые. Знают?

— Где уж там все-то. Вон Толя молодец, я думал, бывает наездами, так выветрилось, нет уж, что вложено, то вложено. Толь, видно, тянет сюда?

— Еще бы! Я и Гришку сюда везу, чтоб знал. Нынче сам изо всех сил просился, ни на какой лагерь Чистополье не променяет.

— Пчелы вот только у вас, — посетовал я, — днем меня прямо в голову жиганула.

— Умнее будешь, — решил Толя как врач, — пчелиный яд полезен. Другой рад бы специально голову подставить, а тебе повезло.

— Это Фомихи пчелы, — сказал Николай, — Фома был жив, пчелы у него были как мухи, а помер Фома, и пчелы у ней стали как собаки.

Мы пошли по последнему разу. Поддали как следует на камни и кирпичи, и они при последнем издыхании, геройски раскалили банный воздух.

* * *

Перешли в клеть.

— Толь, — как мне показалось, сказал с грустью Николай. — Как ты мне дом помогал делать, помнишь?

— Как же. Тес двуручником дорожили, пол сошкантивали.

— Да. А потом ты сочинил. И про пол тоже. «И дрогнет он в свой час под каблуком, а я рвану гармонь-полубаянку, чтоб друг в последний раз холостяком спел и сплясал лихую «сербиянку».

Когда Николай ушел, Толя рассказал, что Николай его одноклассник только до шестого класса, а там ему пришлось идти работать — умер от ран отец и от туберкулеза старший брат. И Николай больше не учился. До всего доходил сам. Но жену выучил, она учительница.

Не было нам суждено отдохнуть в этот вечер. Явился за нами и с ходу заявил, что мы обещали у них побывать, Толя Бляха медная.

— Когда это обещали?

— А в Красное-то ходили, перед этим. Я ж говорил, туда могли бы не ходить.

— Туда сильней тянули.

Толя вздохнул и велел мне надевать красную рубаху.

— А ты, бляха медная, коз-то нашел? — спросил я.

— Нашел, покажу.

Я впервые видел оренбургских коз пуховой породы. Длинношерстые чистенькие красавицы с умненькими жующими козьими мордочками и каменно замерший черноглазый козел очень мне понравились, и этим я очень угодил Толе. Чтоб не путать, назову его фамилию — Смертин. Он муж другой Толиной сестры, тоже Риммы, еще в гостях была тетка Лиза, сестра Анны Антоновны, и Ольга, ее дочь, с мужем Николаем, очень молчаливым, по фамилии — Русских.

И в этом застолье были песни, частушки, пляски. Как подарок были две старинные песни, которых я раньше не слышал и которые до сих пор в Чистополье пелись. Вот первая:

Девица, красавица, что, скажи, с тобой,
Отчего ты сделалась бледной и худой?

Иль тоска-кручинушка высушила грудь,
Или тебя, бедную, сглазил кто-нибудь?

На сердце есть кручинушка, сохну день
от дня,

Сгладил добрый молодец бедную меня,
Полноте печалиться и тратить красоту,
Разве не найдется милых на свету?

Много в небе звездочек, полон небосклон,
Много в свете молодцев, но они — не он.

Перед второй надо предупредить, что «герба» — это межевой столб.

Вы поля, поля, вы широкие поля...
Что во этих полях урожай был не мал.

Что во этих полях среди поля герба,
Как под этой гербой солдат битый лежал.

Он не битый лежал, сильно раненный,
Голова его вся изломана,

Бела грудь его вся изранена,
На груди его крест золóтый лежал,

А в ногах его конь вороный стоял.

Уж ты конь, ты мой конь,
Развороный мой конь,
Ты лети-ка, мой конь, на Россию домой,
На Россию домой, к отцу-матери родной.
К отцу-матери домой, ко женушке молодой,
Ко женушке моло-о-до-ой...

Второй песне Толя не подыгрывал, ее спели без аккомпанемента. Потом пели шутливые песни, где уж вели дочери, а не мать. Например, подражая церковным распевам, вспомнили комсомольскую самодеятельную тридцатых годов:

Отец благочинный пропил пож перочинный —
Расточительно, расточительно, расточитель-но-о-о...

Поп Макарий ехал на кобыле карей, упал в грязь харей —
Омерзительно, омерзительно, омерзительно-о-о...

Монашенки молодые пошли гулять в кусты густые —
Подозрительно, подозрительно, подозрительно-о-о...

У богатого мужика дом с чердаком, у бедного кисет с табаком —
Несравнительно, несравнительно, несравнительно-о-о...

— «Цыганочку» мне! — требовал Толя-хозяин который раз.

— Да я уж их тебе целый табор наделал, — отвечал Толя-гармонист.

— Эх, Толя-Толя, огурчик ты мой малосольненький, — приговаривал Толя-хозяин, не давая снять ремень с плеча и не давая встать, командовал: — Зетцен зи плюх!

Уже за полночь засобирались.

— Ну, бляха медная, ни выпить, ни высказаться! Вы что, хотите без Есенина уйти, это не по-людски!

Спели: «Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь серебрист и светел...» — и с этой песней вышли на улицу. Восток начинал алеть.

— Эх, бляха медная, недогуляли, — огорчался хозяин, — терпеть ненавижу, когда спешат. Уж сами пошли, так хоть уаду оставьте.

Унося в памяти это последнее, совершенно непонятное мне выражение, шли мы по спящему селу. Толя и Римма негромко завели песню:

Где эти лу-унные ночи, где это пел соловей,
Где эти карие очи, кто их целует теперь?..

Римма простилась, и Толя на прощанье спел: «Покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот», а мне, сводя и застегивая гармонь, сказал:

— Надо выспаться, а то, в самом деле, «утро зовет снова в поход».

* * *

Петро наладил связь. Он после лугов вышел на линию, отмахал пешком чуть не сорок километров, но результат был налицо, связь работала. Толя позвонил знакомым врачам в райцентр Котельнич, и они обещали прислать машину. Звонили мы от Петра, взаимно жалея, что вместе не порыбачили. Петро весело говорил о той трехсуточной нагрузке, которая легла на него.

— Начальник базарит, мол, с опозданием починил. А работы там было на бригаду, и пришлось бы ее высылать, я и говорю: чего базарить-то, мы же все мужики. Знаете ведь, парни, по себе, какая жизнь, как провода закрытые, — раскрываешь их и не знаешь, в котором месте стукнет. Я думаю, что я с этой работой обмандаринился и, конечно, уйду, но не сразу, я его доведу до молочно-восковой спелости.

— Слушай, Петро, а зачем тебе столько сена? Понимаю, что много скотины, но, может, поубавить. Она ведь вас заездит.

— «Ниву» покупаем, — отвечал Петро.

Толя рассматривал Почетную грамоту жены.

— Петро, у тебя разве Нине уже шестьдесят лет?

— Откуда? — воскликнул Петро.

— Смотри — в связи с шестидесятилетием за добросовестный труд. И еще не на пенсии? Оригинально!

— Да ты что, это же в связи с шестидесятилетием СССР, — объяснил Петро, но понял, что розыгрыш Толи удался, и первый захохотал.

— Сам мясо на рынок повезешь? — продолжал спрашивать я.

— Ни в кои веки! Тут с этим просто, сейчас полно умельцев — шарят по сельской местности на своих машинах. Перекупщики. Берут на корню, все берут. И мясо, и ягоду, а уж мясо только сюда подай. Колхозникам же выгодно отдать больше, чем по закупочной. И с клеймением не возясь, и со всякими справками от ветеринара. Тот еще начнет губы надувать, а то и не найдешь. А эти

прохиндеи сами везде договорятся — и деньги из рук в руки. А потом уж с вас, горожан, они вдвое слупят. Это я вам точно предсказываю.

— Что?

— А вот что. Мужикам сейчас дали вздохнуть, кто пообористей и посильнее, тот и заживет. А перекупщики-спекулянты будут плодиться. А потом того, кто сильно меры знать не будет, налогом прихлопнут. Оно, может, и правильно — не хапай, ну, а кому-то и руки опять отобьют. Тут у меня, в этом суставе, — Петро постучал по голове, — есть кой-какие соображения.

Мы еще раз позвонили в Котельнич, и нам сказали, что машина вышла (к нашему счастью, был попутный врачебный осмотр), так что нам было пора собираться. Простились с Петром. Обещали приехать.

— Только застанем ли тебя в другое лето?

Петро засмеялся загадочно.

В деревне была встреча с Витей Колпащиковым. Расстегнутый, веселый, он ругал за что-то Фомиху, сидя, кстати, на ее же завалинке. Он радостно сообщил, что и не думает кончать ивановскую, что он домой еще не являлся и у него третьи сутки идет соревнование с поросенком. Кто выдержит и первый не помрет — поросенок без еды или Витя без сна?

— На кого, парни, ставите?

Толя стал выяснять, из какой древесины сделан хлев, который сейчас грызет поросенок; я, не сомневаясь, поставил на Витю. В благодарность за это Витя пошел с нами в магазин, сказав Фомихе загадочно:

— Вот ежели бы ты кончала СПТУ, тогда бы конечно, а так, чтобы вокруг да около, это не ремесло.

Фомиха на это не шевельнулась.

Мы взошли на прощанье на колокольню. Теперь я уже сам смотрел на окрестность как на знакомую.

На задворках, что за нашей баней, маленькая женская фигура вела прокосье. Что ж это мы, ведь хотели помочь. Спешно мы спустились с небес на землю и, надеясь, что машина не так скоро одолеет сотню километров, ударили в три литовки. Косить было приятно, но вот у края, у заплота, сильно рос репейник, и в конце прокосья будто был не сенокос, а лесозаготовка — такие толстые задеревеневшие стволы татарника и репейника приходилось перерубать. Конечно, надо бы было их корчевать, да где

взять руки и время. Анна Антоновна, выйдя в огород, вынесла нам холодного парного молока. Когда мы закончили и обливали друг друга водой у колодца, она рассказала, что не могут найти теленка, который на пожаре бросался прямо в огонь, в хлев, конечно, он сбесился, и его теперь только стрелять.

Пообедали на дорогу. Слепая тетушка пришла по стенке проститься. До этого она крошила корм курам. Прибежал Вадимка, спросивший, едет ли с нами Гриша, обрадовался, что не едет, и ясно было, что он доволен грядущей полнотой влияния на городского братенника. Пришли сестренницы, но на минутку, у всех были дела, работа. Толя не позволял никому унывать, укладывал сумку и говорил: «Запевай, товарищ, песню, запевай, какую хошь. Про любовь только не надо — больно слово нехорош».

Машина снова, как и при приезде, не дошла до дома, мы вышли ей навстречу. Стояли на мосту через Каменку, водную артерию Чистополья. Вода была чистой, но мелкой, и серебряная монетка, которую я бросил, не успев сверкнуть, легла на дно.

Прости, прощай...

Это было тогда, когда жизнь воспринималась наградой, а не обязанностью, когда переустройство мира в сторону правды и справедливости казалось элементарным, — еще не было знания, что переустраивать надо себя, а не мир, что после этого мир сам переустроится, — когда сочинение стихов было естественной потребностью организма, когда двух часов сна в сутки доставало для бодрости, но когда при возможности легко было и продрыхнуть целые сутки; тогда это было, когда я увидел, что на тротуары валят соль, самую настоящую соль, которой я привык дорожить, когда к весне обрубали до полного уродства уличные деревья, используя для этого сооружение, называемое экзекуторским словом — секатор; тогда это было, когда все знали, как выращивать кукурузу, но выращивали ее без особого рвения, когда в литературу входило фронтовое поколение и мы всерьез бунтовали против старых институтских программ, — именно тогда мы были

студентами, «а это слово, — как пелось в песне, — что-нибудь да значит».

Встряхнись и блесни стеклами аудиторий,

**Московский
областной пединститут!**

Вспомни нас, пришедших в тебя в начале шестидесятых годов из армии. А тогда служили по три, по четыре года. Так что, по мнению студенток, мы вполне годились как кандидаты в мужья. И были мы женихи поневоле.

А если еще добавить, что, по преданию, здание, в котором мы учились, было именно то, где Пушкин танцевал с Гончаровой, если принять во внимание профиль института и наш факультет — литературы и русского языка, где расцветал, входил в формы каждый цветок сборного букета разнообразных невест, так что, беря все это в рассуждение, выхода не оставалось — следовало жениться.

О, наш милый МОПИ был известен не только лозунгом: «Попал в МОПИ, так не вопи!», но и знаменит невестами. Не знаю, кто как думает, но я за то, чтобы считать лучшими женами не кого-либо, а учительниц. Они знают трудности воспитания, они научены справляться с различными коллективами школьников, так что одного переростка уж как-нибудь да воспитают.

Гордая слава МОПИ как о базе перспективных, первосортных жен держалась незыблемо. Не знаю, как сейчас, но тогда студенты всех окрестных вузов — института физкультуры, энергетического, геодезии и аэрофотосъемки, трех военных училищ — напрашивались к нам. Да что говорить — бауманцы валялись в ногах у нашего комитета ВЛКСМ, выклянчивая договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи проведения внеучебного времени. Так что нельзя думать, что мы — единичные лица мужского пола на литфаке среди сотен девушек — могли не бояться конкуренции, нет, не так. Но мы были чаще на виду — отсюда вывод.

Жили мы в общежитии в Лосиноостровской, по Ярославской дороге, называемой ласково «северянкой», а в обиходе «чугункой». Лосиноостровская тогда только что вошла в черту Москвы, только что была завершена кольцевая автострада, и постоянное на пять-шесть лет было ощущение ломки и разрушения старых домов и

строительства новых. Строились тогда в основном хрущевские пятиэтажки, из которых состоят, например, Кузьминки, неважные дома, но тогда и это был выход из положения. Тогда же в Москве появились перебои в снабжении — следствие снесения окрестных колхозов и совхозов и обобществления домашнего скота. То есть то, что сейчас поправлено, тогда лихорадило общественную атмосферу и рождало слухи. Но это как-то не касалось нас — жили мы в своей пятиэтажке и не тужили. Гуманитарии по традиции занимали пятый этаж — это было несправедливо, а почему не физмат, не иняз, не инфизкульт, не геофак? Почему, спросили мы у студсовета. Нам ответили: потому. Нам — Леве, Витьке, Мишке и мне — жителям единственной парнишечьей комнаты на пятом этаже — стало лучше б на нем и не жить, так как на том же студсовете нас лишили умывальника на своем этаже и мы бегали на все остальные. Легко ли? Но в остальном именно нам было неплохо. Взять — вечерние часы: сорок девять комнат, во всех пьют чай, и нам, пятидесятой комнате, везде рады. Вот в доказательство тогдашние стихи: «Жизнь — базар, купи и продай, спорь за цены в Мосторге. Но как мне воспеть вечерний чай при старосте и комсорге? Как варенье воспеть, эту редкую сласть? Из души, нервотрепками взвитой, грусть-тоска была, да сплыла, унеслась! И дешево и сердито. Сидят активистки и шторы шьют, нитку в ушко суют со рвеньем. А я, бездельник, треплюсь и пою их красоту и варенье».

Жили мы безалаберно, но слово это, обозначая легкомысленную неустроенность жизни, не обозначает ее незаполненность. Все у нас было, и всего было много: часто театр, выставки, книги — читали мы непрерывно — купили в складчину проигрыватель, и потом каждый тащил пластинки. Этому проигрывателю, ижскому «Аккорду», надо поставить памятник. Три года он работал почти круглосуточно. Начиналось с Мусоргского, «Рассвет на Москве-реке», потом шли Бородин, Чайковский, конечно, Моцарт, уроки немецкого и английского, эстрада (тогда ведь тоже были свои модные певцы и певицы, ушедшие в забвение, как всякая мода). Проигрыватель утаскивался на кухню, и туда нам было не пробиться, не только от малого числа конфорок и тесноты, но, скорей, оттого, что нас просто выпихивали, чтоб мы подольше не шарахались от повседневного женского вида. Да и каково было нашим студенткам одеваться! На нашу-то стипендию. Стипендия

в педвузе тогда была такая крохотиая, что не буду и иазывать, а то подумают, что жду сочувствия.

Мы, парни, работали. Этому помогало то, что учеба иа литфаке начиналась в два часа дня. Мишка, четвертый жилец комнаты, долгое время не работал. Он иамекал иа покровителя, какого-то сильио высокого дядю, чуть ли не из ЧК, а то и вовсе из ЦК. Мишка иамекал и иа то и на другое. Вдобавок ему крепко помогали из дому. Наши дяди сидели по деревням, в домах тоже не было полной чаши, надеяться было не на кого. Лева работал в железнодорожной фотомастерской, делающей плакаты по технике безопасиости, Витька работал грузчиком иа заводе, я устроился всех «фруктовей», на мясокомбиат. Туда привел меия брат знакомого офицера из моей части. Работал я в иочную на линии, делавшей колбасный хлеб нескольких сортов: отдельный, любительский, московский; рядом были цеха, производившие ветчину в форме, студень, буженину и незабвенный карбонат. Почему-то его я особенно любил. И вообще с тех пор, со времен мясокомбината, я наелся мясных изделий на всю дальнейшую жизнь. Еще и от того, что потом, во всю дальнейшую жизнь, я столько мясных изделий и не видывал. Забегая вперед, скажу, что, приглашенный недавно на пятидесятилетие миоготиражки «За мясную индустрию», я не мог утерпеть, чтоб не пожелать всем советским людям появлеиия на их столах всего того изобилия, что предстало гостям юбилея.

Мои доармейские и армейские профессии для мясокомбината ничего не значили, меня держали в чернорабочих, платили мало, но хоть зато сыт был всегда. Был бы пятак на метро, да три копейки на трамвай, да добраться бы до проходной, а там объедайся. И хоть и стыдно было перед ребятами за свою сытость, они сами же требовали рассказывать о моих занятиях. Где только не гоняли на мясокомбинате, какую только дыру мной не затыкали, чего только не пришлось: возил в тачках от печей в холодильник готовый хлеб, расставлял там по полкам, закрывал и открывал огромные обледеневшие двери, потом мокрый, все в том же легком халатике, составлял охлажденные хлебы с полок в контейнеры, подавал их к спусковому лифту, выволакивал на платформу к весам, там передавал ночным грузчикам, грузившим огромные рефрижераторы для отправки по назначению. Все это было под силу, то ли еще приходилось в армии, но к одному надо было приловчиться — ходить по скольз-

кому от жира и крови кафельному полу. Как его ни терли с содой и солью, жир, казалось, растворенный вместе с копотью, оседал, и вновь возникал на полу сероватый масляный слой. А кровь сочилась из бочек, которые везли туда и обратно по всем этажам: из обвалочного в ветчинно-посолочный, из засолки на разделку, хватало крови. В спецодежду рабочих мясокомбината кроме халата и белого колпака входили деревянные сандалии, и всегда сквозь рев газовых печей, грохот волчков — гигантских мясорубок — слышался непрерывный колодочный стук, примерно такой, как в час пик в переходах метро, когда останавливаешься у стенки и прикрываешь глаза.

Работой потяжелей было подавать снизу из подъемника деревянные окровавленные бочки с мясом, а еще надсаднее загружать кусками мяса огромную мясорубку. Норма была за ночь — девять тонн. Раз я перекидал двенадцать, но к утру чуть не упустил в воронку железные вилы. Именно вилами подавали мясо. Хорошо, что предшествующая жизнь приучила меня к вилам, и хоть мясо тяжелее навоза, но сноровка есть сноровка.

А один раз была смешная работа — меня посадили вместо заболевшей пенсионерки штамповать этикетки продукции комбината. Уже и тогда это было пора делать машине, тем более вовсю мельтешили статьи о структуральном анализе, споры о машинном творчестве, нет, до этикеток не додумались — сидел и штамповал номер месяца и числа. Это было так легко, что под утро я заснул и ткнулся лбом в штамп, отпечатав на лбу долго не смываемую послезавтрашнюю дату.

Студентки со страхом спрашивали, а как происходит это самое. В этом самом месте, где убивали коров и свиней, на заводе первичной переработки скота я не бывал, но как не приврать. Врал, что чуть ли не сам убиваю. Тем более и «Джунгли» Синклера о чикагских мясобойнях были прочитаны, нельзя было уступать американцу.

Ну, так вот. Тяжелую я работу делал или легкую, но был всегда сыт. Рабочие при печах варили себе деликатесы — бульон, например, из бычьих хвостов. Или жарили свежую вырезку. Но чаще обедал в столовой, где совершенно сытный, свежий обед стоил пятнадцать копеек. Такая дешевизна была сделана сознательно как средство против воровства. Никогда почему-то не забыть возчика из подготовительного цеха, который приходил с кнутом, брал два первых, крошил в них полбуханки, вставал и

стоя выхлебывал обе тарелки. Потом садился, надевал шапку, закуривал, брал в руки кнут и уходил.

Когда говорят, что сытый голодному не верит, то надо спрашивать, кто этот сытый? Как было не сострадать моим друзьям, явившимся с флотских харчей. И я постоянно думал,

Как накормить друзей?

Старославянский, языкознание, античная литература, устное народное творчество... они хоть и не требуют чертежей, на что обычно жалуются в технических вузах, но достаются тоже не с налета. И при всей силе молодости силу эту надо поддерживать. И снова — как не изумиться нашим студенткам, их быту. Они в основном были из Московской области, так как наш институт и назывался областным и в него принимали только из Москвы и области, иностранцев не было ни одного, меня же приняли только оттого, что я служил в Московском военном округе, как и Лева и Витька, которые последний год дослуживали при штабе Военно-Морских Сил. Наши девчонки на выходные ездили по домам и оттуда привозили продуктов, иначе бы им не вытянуть. Нам продукты было возить неоткуда. Мишка питался как-то загадочно, но голодным мы его не видели.

Речи о том, чтоб я что-то вынес за проходную, не было. В проходной всегда обыскивали. На видном месте висел стенд с фотографиями пойманных при воровстве. И я, сытый, возвращался в нашу комнату, всю увешанную фотоплакатами по технике безопасности. Рассказы мои о тоннах невиданной в продаже жратвы становились бессовестными. Но помогла потеря. Я потерял пропуск. Меня потаскали по начальству, в караул, дали выговор и выдали дубликат. А пропуск нашелся. Он был в учебнике старославянского. Всегда на бегу, в метро, в трамваях, да где угодно, мы не выпускали из рук учебники. Вот, видимо, заторопился и забыл. Я дернулся сдать пропуск, но родилась мысль — сводить ребят по очереди на работу и накормить хотя бы по разу как следует. Тем более чтоб не думали, что я вру про изобилие.

Мы были примерно одинакового роста, одного типа лица, русые. Кстати, немного позднее, когда мы, по линии шефства, дружили со студентами Института имени Патриса Лумумбы, один китаец говорил мне, что так же, как

они нам, так же и мы им кажемся совершенно на одно лицо.

Парни мои долго сомневались, наконец решили: рискнем. Составили очередь. Первыми побывали моряки. В раздевалке я просил еще один халат, обувь оставалась своя, потому что ходить в колодках надо было уметь и новичков сразу бы заметили. Я провел их где посуше, накормил как следует, но в убойный цех не повел, да они и не просились. Кстати, и сам-то я не был там, так только, врал.

Последним повел Мишку. Переодел, привел в склад-холодильник. Он недоверчиво смотрел на длинные полки, заставленные мясными хлебами.

— А не посадят?

— Да бери любую! — И чтоб поощрить Мишку, разломил мясной хлеб, выкусил часть середины, остальное картинно выкинул в браковочный ящик. — На ливер или на студень.

Мишка, можете мне не верить, схватил другую буханку и... съел ее почти всю. Только корки оставил. Пошли дальше. Через колбасные цеха, где Мишка ел, именно ел, а не пробовал, в отличие от Левы и Витьки, различные сорта колбас, от простых, вареных, докторских, диетических до ветчинно-рубленых, до копченых. Ел простые и охотничьи сосиски, все ел. Бедный Мишка, когда мы пришли в цех, где делали ветчину в форме, потом окорока, буженину, карбонат, вещи все вкусные, есть Мишка не смог физически. Но так хотел! Чуть не плача, спрашивал: «Неужели нельзя хоть кусочек взять с собой?» — «Нельзя». — «Тогда ты иди, работай, а я похожу, похожу и опять есть смогу». — «Ладно, ходи».

В тот день я не был у конвейера, был на студневарке, то есть мог отлучаться, и навещал Мишку. Он ходил по коридору, тужился в туалете, но организм ничего из себя не выпускал и не принимал. Смена кончилась, надо было уходить. Мишка попробовал насильно сжевать кусок окорока, но случилась тошнота. Мишка вышел из туалета зеленый и есть больше ничего не хотел.

— Ты ведь не Гаргантюа, не Пантагрюэль, — говорил я в трамвае.

— Кто, кто?

— Читать надо по программе, — назидательно отвечал я.

Но Мишка поел еще все-таки колбасы в тот день. У кого-то из нас была получка. И конечно, пирушка по

этому поводу. Это, кстати, одна из причин, что не держались деньги — их пускали на общие радости. Мы не были ангелы и частенько, боком, мимо комендантши, волокли на сдачу десяток-другой пустых посудин, но, сразу скажу, что дико было потом слышать о серьезной проблеме пьянства студентов. Нет, этого у нас не было.

Как водится, на выпивку хватило, а на закуску осталось только на ливерную колбасу. Наглядевшись, как ее делают, я взмолился:

— Парни, давайте хоть в кипятке обварим.

Поставили чайник, вода закипела, опустили колбасу. Слабая оболочка лопнула, колбаса превратилась в жидкую кашицу. И — вот не забыть даже ради юмора — наливали в стакан выпивки, в другой через край чайника наливали эту кашицу, и получалось, что мы не закусывали, а запивали колбасой. Но и то, обычный девчоночий рацион: селедка, хлеб, чай с подушечками — был в дни наших получек разнообразиее.

Но — дело прошлое — пару раз я порадовал пятый этаж мясными изделиями. Чем-то я приглянулся охраннику в проходной. Я их не запоминал, всегда бежал, торопился, с мокрыми после душа волосами, старался подставить голову сквознякам, чтоб волосы высохли до занятий, в проходной терпел ощупывание, показывал и прятал пропуск и бежал дальше. Но один раз меня обыскали тщательнее обычного. На другой день тоже и на третий. Это очень противно, когда тебя обыскивают, но ведь и у них работа собачья. На четвертый раз охранник завел меня в комнату досмотра, там никого не было.

— Ты студент?

— Да.

— У меня сын тоже студент. В общежитии живешь?

— Да.

— У меня тоже в общежитии, только в другом городе. Голодно небось?

— Мне-то с чего голодно? Мне б только сюда доехать.

— А до завтра как? Вечером-то как?

— Ну, не неделя же. Чай пьем.

— А вот выходные. Как?

— Да ничего, живем. Парням похуже. Но тоже работают, так что терпимо.

— На вот, порадуй товарищей, — и охранник стал совать мне два батона дорогой сухокопченой колбасы, которая даже и для работников комбината была редкостью, потому что делалась в цехе, куда нужен был

особый пропуск. — Бери, бери, — совал он. — Не бойся, еще не учтенная. Бабу засекли, пожалели: одинокая, дети, без мужа, акта не делали, так, внушение.

— Ни за что не возьму. — «Мало ли что, подумал я про себя, знаем мы вашу породу, заметут, а мне в институте позориться, да еще такой работы лишаться».

И так и не взял. Он уговаривал меня и завтра и послезавтра, и я видел, что он не хочет засечь меня, и окончательно дрогнул, когда он признался, что сын у него не студент, а сидит и что он думает, что если я возьму колбасу, то и его сыну кто-нибудь поможет. Тогда я взял, и мои однокорытники узнали, какие продукты может производить мое предприятие. И еще пару раз, по договоренности с охранником, я выносил на своем теле, обмотав себя под плащом, как пулеметными лентами, сосиски, а второй раз сардельки. Трусил, конечно, но издали видел, что в проходной именно он, шел смело. Ощупав меня, он радостно говорил: «Молодец, сынок!» — и подталкивал на свободу. Но так как охранников специально переводили с поста на пост, то и моего благодетеля куда-то перевели. Куда, не знаю, ведь мясокомбинат огромен и по территории, и по числу работающих — постов охраны натыкано везде, где его искать. У других охранников, видимо, никто из родных в тюрьме не сидел, меня чего-нибудь стащить больше никто не уговаривал, а сам я не рисковал. Потом, уже работая в газете комбината, я храбро переделывал Лермонтова для сатирической страницы: «Бежал Гарун быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла, он колбасу тащил в кармане, да вот охрана засекла».

Освоившись с замысловатыми комбинатскими переходами, выкраивая время для занятий, я носился по переходам и коридорам бегом, по каким-то немыслимым ржавым мокрым лестницам, вдоль осыпающихся стен, из которых под ноги кидались крысы, и раз залетел в камеру дефростации. Я изучал немецкий и знал, что фрост — это мороз, а приставка де обозначает обратное действие. То есть я сам допер, что камера дефростации — это камера размороженпя. Туда, по подвесным дорогам, на крючьях прикатывались огромные говяжьи туши. Они все в инее, так как иногда находились в холодильниках по нескольку лет. В камере дефростации туши, вернее, их лодкообразные половины размораживались посредством сильных струй воды, сначала холодных, потом, в течение часа доходящих до кипятка. Вот в этой камере меня и заморозило и разморозило.

Я был с ночной смены. Радостно мчался в столовую, думая поесть и успеть на раннюю электричку. Заскочил в камеру и побежал насквозь, ежась от холода, задевая плечом сыплющийся с бывших коров иней, и был уверен, что проскочу. И довольно быстро пробежал между рядами, но дальние двери прямо на глазах с лязгом сомкнулись, я ахнул и кинулся обратно. И уже издалека услышал, как взвизгнули колесики под полотнами этих ворот и как полотна, смыкаясь, стукнулись. Свет погас. Было близко до ворот, и, несмотря на темноту, я мог бы добраться и стучать. Но так как я нарушил правила техники безопасности и мог кого-то и себя подвести, то стучать не стал, наивно решив, что у стенки или ворот будет сухое место. Как сказали бы в моей Вятке: ума нет, так беда неловко. Хлынула вода. Хорошо еще пропуск был завернут от влажности и крови в целлофан, тем более уже даже и не пропуск, а дубликат, а уж его гибель не простили бы. Вода была ледяной. Нащупав огромную, как горбыль, половинку туши, я развернул ее, в соседнем ряду развернул другую половину, устроив примерно такой шалашик. Шум воды был как у... Ниагарского, хотел написать, водопада, но там не был и права на такое сравнение не имею, но шум был ревущий. Сколько ревело и хлестало до появления теплой воды, не знаю. Половинки коров — мои защитницы — отмякли и стали скользкими, а потом и вовсе поползли: конвейер протягивали, чтобы подставить под брандспойты разные места мясосырья. Теплой воде я обрадовался и от нее не берегся, но когда сила ее стала нагнетаться, затосковал. И пол-то подо мной поехал, на нем двинулись скребки в желобах, сгоняющие воду, кровь и грязь в сливные люки. Сливалось плохо, снаружи это учли и включили втяжные насосы. Я нашел место, где хотя бы пол не двигался, и подбадривал себя тем, что все-таки в аду «Божественной комедии» было пострашнее. Еще спасло то, что полной темноты все ж не было — красный сигнальный свет у дверей высветил огромную ванную, в которой я и спасся от кипятка. Она была полной воды. Я потрогал — холодная. Но начинался горячий сверху и с боков ливень, и думать было некогда. Я залез в ванну, натянул халат на голову и терпел. Когда было невмоготу от банного ударяющего жара, окунался. Так и выжил. И нигде не обварился. И не заболел. Да, все души, о которых потом узнал, все эти Шарко и веерные — детский сад по сравнению с камерой дефростации. Двери раздвинулись, к счастью незамеченный — пересменка,

я побежал, уж не до еды, в раздевалку, попросил сухой халат и новые колодки.

Как раз в это время начинало играть утреннее радио, били куранты, и старик гардеробщик в это время возглашал:

— Москва проснулась! Москва жрать хочет!

Примерно к семи я возвращался в общежитие. Лева и Витька к этому времени собирались и уже уезжали на свою работу. Мишка спал. Я ложился поспать часа на три, просыпался — Мишка спал. Нас это не могло не возмущать. Мы уж и стыдили его, но Мишка был человек, которому плюй в глаза, скажет: божья роса. Эта пословица, взятая и из жизни и с занятий по устному народному творчеству, была сказана Мишке, но... Мишка спал, как медведь в спячке, как сурок. По вечерам, как кот, уходил куда-то и возвращался, загадочно облизываясь и произнося фразу: «Большое удовольствие получил». Назревала мысль:

Как проучить салажонка?

Его даже не проучить следовало, а отучить. Чтоб не считал себя ученее нас. Витька как-никак был старшина первой статьи, Лева второй, я кончил службу старшиной дивизиона, а этот салажонок зеленый, каких мы за людей не считали, считает себя умнее нас.

— Да, в общем-то и умнее, — говорили мы на военном совете старшин запаса, — и дядя у него, и деньги ему из дому шлют, и не работает, и девчонки за него курсовые пишут.

— Будут писать, он в моей тельняшке к ним ходит, вот ему... получит он у меня, — говорил Лева. — И перед сном где-то пасется.

— Еще бы не пастись, — говорил Витька, — я натаскаюсь плоского, накатаюсь круглого, мне недосуг.

— А я вообще по часу в закрытой камере под душем, — поддерживал я.

Был воскресный день. Мы накануне договаривались сделать генеральную уборку, и Мишка об этом знал. Но как-то ускользнул. Плевать! Велика ли комната после тех пространств казарм и палуб, которые нами были мыты-перемыты. Мы врубили проигрыватель на полную глотку, тогда в новинку были мягкие пластинки-миньон, нам кто-то подарил запись модного тогда певца Тома

Джонса, и вот, под его вдохновляющий хриплый голос, мы крикнули: «Аврал!» — и стали двигать кровати.

— Стоп, машина! — закричал Лева. Он как раз двигал Мишкину кровать.

— Ну, салага! — закричали мы хором, сразу все сообразив, — за Мишкиной кроватью были вороха оберток и серебряной бумаги от шоколадных конфет — конфет, даже по тем ценам недоступных для нас. Мало того, задвинутая за тумбочку и начатая стояла трехлитровая банка меду.

В коридоре пятого этажа была небольшая открытая зала, рекреация, где обычно собирались потанцевать, просто поговорить. Еще позднее тут шептались и целовались таинственно возникающие из ниоткуда парочки. Вот мы позвали девчонок, вытащили из комнат столы и стулья, накипятили чаю, пока он кипел, сбегали еще за добавками в магазин и сели. Конечно, и проигрыватель был с нами. И, прослушав для начала часть маленькой ночной серенады Моцарта, мы встали для говорения слов о человеческом бескорыстии нашего друга.

— Долой слово «тост», — воскликнул я, — есть прекрасное русское слово «здравица». Во здравие и за здравие трржениц-пчел эта заздравная чаша...

Как раз явился Мишка. Увидел свою банку, и — что значит неслуживщее молодое поколение — не дрогнул и сел со всеми за угощение. Пил чай, мило шутил. Взглядывая на нас, восхищенно разводил руками и говорил: «Ну, ребята, ну тимуровцы. Нет, девчата, вы посмотрите, какая у нас комната. Девчат, неужели после этого не вернете нам умывальник? А, парни? А мы им по пятерке в дневник поставим, да?» И Мишка смеялся.

— А ты родителей приведешь, — ляпнул Витька.

— Лучше дядю, — велел Лева.

Мишка развел руками, мол, уж это вы зря. Бедный, он думал, что отделался потерей банки.

Чаепитие кончилось. Мы вернулись в комнату, закрылись. Распределили роли. Витька сразу сказал, что будет палачом, а мы как хотим. Лева назвался судьей и прокурором, мне досталось адвокатство и написание приговора. Забегая надолго вперед, самое время сказать, что Витьку и Леву теперь так просто по имени никто не зовет. Они служат на очень высоких должностях в милиции, и это прекрасно. Кстати, к Мишке тоже надо звонить через секретаршу. Мы иногда, совсем уже редко встречаясь, со-

бираемся как-нибудь заявиться к Мишке и сказать: «Ты помнишь?»

Приговор мой, как порядочный, начинался со слова: «Именем...» В приговоре оговаривались все Мишкины смертные и бессмертные грехи. Дошло до меры наказания.

— Что писать?

— Пиши: сто ударов бляхой по заднице, — велел Лева-судья.

— Нет, — тут же во мне заговорил адвокат, — во-первых, он салага и бляхи не заслужил, настаиваю на ложке. Вы что, даже за лычку у нас больше двадцати не давали.

— Ребя, ребя, — вмешался Мишка, — как хорошо вы убрали, прямо Колизей.

— При чем тут Колизей? — закричал Витька. — Ты штаны снимай, а античку будешь после учить. А то выучишься, а останешься дрянью.

— Ребя, да бросьте, — Мишка вовсе не верил в задуманное. — Пошутили, и ладно, я ж мед не жалею, я и сам его хотел выставить, не успел. Вас же все время нет, вы ж все время на работе. Я ж не мог его девчонкам выпоить, думал, работаете, силы вам нужны, вам думал. А вот, ребя, знаете, — сказал он, найдясь, — дядя новую мебель завез, антикварную, а старую... не всю, а кой-что на той же бы машине и подбросил. И ему бы помогли все перетаскать, и нам польза.

— Спасибо, — ответил Витька, — я натаскался. Снимай штаны. Ложку можешь сам выбрать.

— Я прошу не сто, а двадцать, — вмешался я. — Будет вроде как ефрейтор.

— С чего это двадцать? — возмутился Лева. — Двадцать только для разгонки. Всыпать сотню, чтоб потом не возвращаться.

— Нет, сотню я устану, — сказал «палач», — мне еще латынь учить.

Уши Мишки заалели окончательно, сам побледнел:

— Ребя, если вы это серьезно, то вы за это ответите.

— Мы вначале за тебя ответим, — сказали мы на это.

— Да как же вы смеете учиться на педагогов!

— Да вот так и смеем.

И не посмотрели мы на Мишкиного дядю и Мишку выпороли. В целях страховки Витька предупредил:

— Будешь орать, добавлю.

— А заорет, поставим Робертино Лоретти.

— Лучше Ирэн Сантор или Пьеху, они громче.
— Тогда уж Шульженко: на фронте выступала.

Последнее, что сказал Мишка перед этой гражданской казнью, были слова:

— Ну, может, хоть не мебель, так ковер бы он отдал. А то висят какие-то плакаты.

— А ты их читай, — велел Витька, — читай вслух.

И Мишка, плача от горя воспитания, читал: «Выиграешь минуту — потеряешь жизнь», «Не стой под грузом», «Не стой под стрелой», «Не доверяйте свои вещи случайным пассажирам», «Не влезай — убьет» и т. п.

Следствием порки было то, что Мишка устроился на работу. Но и тут ухитрился не на физическую, а почти на умственную, прикреплять кнопками объявления на щиты Мосгорсправки. Гордился страшно. Объявления, которые отвисели оплаченный срок, приносил в общежитие, и скоро все места общего пользования были улеплены объявлениями о сдаче и найме комнат, квартир, покупке и продаже дач или их части, о пропаже собак, продаже пианино, гитар, и почему-то особенно много было совершенно наглых объявлений о подготовке в любой вуз по любым предметам. Также Мишкиной обязанностью было срывать объявления, висящие вне щитов Мосгорсправки, и он делал это со сладострастием.

— «Требуется няня, — презрительно читал он принесенную бумажку, — тьфу, да еще к больному одинокому человеку». Написали бы прислуга, нет, им надо скрыть истинное побуждение.

— Чего тебе, жалко, возьми и повесь на щит, — говорили мы. — Старуха какая небось, легко ли!

— Есть же порядок. Приди, заплати, дождись очереди. Тут же система разработана. Это же я ничего вам не говорю, но не какая-то погрузка-разгрузка.

Еще, гордясь перед нами своей оборотистостью, он хвалился, что дает до вывешивания объявления читать их каким-то ловким агентам по жилищным вопросам. И что, конечно, не даром.

И тут же поскуливал, что ему нелегко — щитов много, он один. И однажды клюнул на одно из объявлений, которое, устраняя конкурентов, не вывесил, а пошел по нему сам. Швейной фабрике требовались мужские фигуры сорок восьмого размера. Мишка стал «манекеном», как он гордо себя называл. У него оказался идеально сорок восьмой размер. По нему примеряли костюмы. Мишка и нас звал, но нам показалась дикой мысль, что

надо надевать костюм только для того, чтоб в нем показаться комиссии, и вновь снять, и вновь надеть. Что-то уж очень тряпочно-барахольное. Мишка, естественно, стал резко одеваться лучше нас. В один день он приходил в одном костюме, в другой — в другом. Форсил в них на тех этажах, где не знали о чаепитии на нашем. Возвращался в комнату, облизывался и вновь и вновь хвастался очередной победой.

— Большое удовлетворение получил. Нет, правда, ребя.

Какая там была правда! Мы специально один раз заставили его показать студентку с биофака, которая, по его словам, валялась у него чуть ли не в ногах. Уши его заалели, он уперся.

— Пиши приговор, — велел мне Витька. — Лев, давай твою бляху, у тебя начищена.

Я выдрал листок из тетради по языкознанию, Мишка испугался, повел и показал невысокую черноволосую девчушку, которую Витька отвел в сторону и о чем-то спросил. Она, поглядев на Мишку, засмеялась. Махнула на него рукой и ушла.

— Ты как спросил? Вить, как ты спросил?

— Спросил, знает ли она вот этого Мишку. Эту морфему и фонему.

— И что?

— Вы же видели! Хохотала до слез.

— Она не знает, что такое морфема и фонема, — защищался Мишка.

— Пойдем, спрошу напрямую.

Но Мишка вновь уперся.

— Получил удовлетворение?

Манекенщику хорошо ухаживать при его свободе времени, одевании и достатке. Ведь он хоть и хвастался заработками, но на общий стол не тратился, а если тратился, то непременно картинно, то есть делал как-то так, что все именно знали, что вот это вино или эти пряники от его щедрот. То есть денежки у него водились, а ухаживать с денежками, известно, веселей. «Пойдем, — говорили мы в шутку своим однокурсницам, — на трамвае покатаю». Другой подскакивал: «Нет, пойдем со мной, я подороже покатаю, на метро».

Чего-то я зачастил о деньгах, но это из-за Мишки. Осталось сказать о двугривенном. Сказать о нашем с Витькой событии, происшедшем в

Так мы их потом вспоминали. Первую сессию мы сдали, я уж и не помню как, но раз не отчислили, не лишили стипендии, значит, сдали. Все, кроме нас с Витькой, разъехались. Нам ехать было далеко, во-первых, во-вторых, решили поработать в две смены, чтоб, честно говоря, приодеться. Это хорошо в общежитии пофигурировать в отцовском кителе, а театр? А выставка? Хоть и сваливали агрессивные выездные билетерши нашему студкому билеты на такие постановки, где, кроме нас, были только солдаты и приезжие, все равно: и люстры светят, и девчонки приодеваются, и москвичи-парни, а их было много, приходят будто для контраста. Я уточняю — это не ущемляло нас, в то время престижность в одежде еще только начиналась, еще только-только ни с того, ни с сего героем, образцом для подражания становился спортсмен или артист, но одеться просто по-человечески после армии, после незажиточной юности хотелось. Вот и вся причина нашей мечты подзаработать и приодеться. Но после отмечания первой сессии остались мы с Витей на бобах. Как ни экономили, додержались до рубля. Завтра у кого-то маячили деньги, но это завтра. А сегодня решили не ужинать, пойти в кино. Сахар еще был, на кухне, на окне набрали сухих корок, размочили в сладкой воде и пошли. С рубля сдали двадцать копеек одной монетой. Каждому доставалось по гривеннику утром на дорогу. Хватило бы и меньше — в метро мы храбро проходили на один пятак.

Ну вот. Мы вышли из кино и потеряли эти двадцать копеек. Стали искать, и искали всерьез. Зрители рассеялись, а в конце шли две девушки, и мы — а куда денешься, где возьмешь глядя на ночь — стали просить у них пятнадцать копеек. Они думали, заигрываем, хотим познакомиться, но мы взмолились всерьез, допуская при этом тактическую ошибку: просили еще и адрес, чтоб деньги завтра же вернуть. Видимо, чтобы мы отстали, одна, повыше, с косой, сунула нам три рубля, и они пошли. Но вот тут-то мы и привязались. Они к остановке, мы за ними, они в пустой автобус, мы в него же.

— Нет, — говорили мы, — так мы не договаривались. Возьмите обратно, нам не надо. Мы бедны, но горды. А завтра умрет богатая тетка и оставит нам наследство. А пока мы живем и не тужим...

— ...и не планируем, что на ужин.

Начинал один, подхватывал другой. Техника, методика первоначального знакомства настолько проста, настолько общеизвестна, что ее описывать. Да еще, если друг хороший, если вышучивать друг друга, да непрерывно говорить приятные, неожиданные, шутливые, многообещающие, словом, какие угодно слова, скала не устоит. Весело, вежливо, без грубостей. Но и без остановок. В те годы это называлось кадрежкой, сейчас приколом.

— Мы вообще начинаем движение — жить на одну зарплату. Вот получим дипломы и начнем.

— Да! И газету будем издавать «За неимоверные трудности», а ведь в них счастье. Нет денег — трудность, так? Но из-за этого встретили вас — ах, счастье!

— А пока, что пока! Пока мы переживаем постоянный период временных неудобств.

— Да! Но кадры решают все.

— И вскоре мы ежедневно будем говорить хоть три минуты правды, хоть три минуты, пусть потом убьют! — Мы любили раннего Евтушенко.

— Да! И под нашими грубыми одеждами могут быть горячие сердца!

— Да! И вообще мы устали греться у чужого огня, хочется чего-нибудь такого.

— А трешница, что трешница, возьмите ее. И адреса не надо! О, как, оказывается, легко оскорбить недоверием! А во Вьетнаме и Конго нас ждут, и уж вот там-то не будет такого недоверия!

Дело кончилось тем, что они стали смеяться, назвались Ритой и Наташей, взяли обратно трешницу, дали рубль, но с нашим непременным условием, что мы его отдадим в воскресенье на том же месте во столько-то.

Потом они говорили, что не верили, что мы придем, а мы не верили, что они придут. Но хотелось, чтоб пришли. В автобусе, на свету, мы их разглядели — красивые. В воскресенье мы купили цветов, новенький рубль положили в конверт с картинкой, завязали ленточкой с бантиком и пошли на свидание.

Оно состоялось.

Нас привели в домик на северной окраине Москвы у окружной дороги, где жила Наташа, которая без косы. Посидели, пили чай, слушали Майю Кристалинскую, а из мужчин Эдуарда Хиля. Даже потанцевали, но чинно. Принесенное нами шампанское было выпито за знакомство, за будущую, тоже воскресную встречу,

Неделя прошла в фантазиях. Мы пока не делили, кто за кем будет ухаживать, хотя оба думали о высокой Рите, о ее роскошной косе.

На новую встречу мы явились во всеоружии. Опять цветы, опять шампанское, конфеты, торт, все в увеличенных масштабах. Мечты о том, чтобы приодеться, вытеснились более заманчивыми мечтами. А потом, разве за одежду любят? Это даже еще ценней, когда любят человека, а не оболочку.

Мы разгрузились, стали раздеваться, но мне Наташа сказала:

— Шапку не снимай, иди в сарай дрова рубить.

А Рита закричала:

— Витечка, иди банки открывать!

Так что мы уже были распределены. Пытаясь понять, чем же я хуже Витьки, я пошел рубить дрова. Рубил их и старался найти в Наташе доблести помимо золотистой косы. «Она хозяйственная», — думал я.

Витька прибежал за дровами вприпрыжку, похвалил мое усердие.

— Конечно, как тут Рите устоять, — сказал я, — у тебя нос больше моего, прямо гоголевский. И чего это девчонки большеносых любят?

— Да где тебе, дровосеку, чего понять, — отвечал Витька. — Ты давай, негр, работай, солнце еще высоко. — И опять вприпрыжку, теряя поленья, умчался.

Я и работал, да так разошелся, что остался в одной рубахе, без шапки, тем более и работа была на редкость родная. Не нами выведена мудрость, что работа лечит. Я и вылечился от Риты. Мне, как говорится, было и так хорошо, когда разогрелся.

И вдруг услышал истошный женский крик. Выскочил, как был, из сарайки, увидел группу парней и услышал другой крик:

— Серега, он с топором, беги!

С крыльца кинулся молодой мужчина с окровавленной рукой. Я в дом. Дверь террасы открылась, Витька впустил меня и за мной захлопнул. Оказывается, пришел муж Риты и его компания. Оказывается, Рита была замужем. Кто знал, что внешность Витьки для нее выше условностей брака. Рита успела увидеть мужа, закричала, Витька выскочил на террасу, а муж уже открывал дверь. Витька так рванул дверь, что ободрал ему кожу па руке. А тут и я с топором.

Мы оказались в осаде.

— Ритка, выйди, — кричал муж, прибавляя слова похлеще арго, жаргонов, эвфемизмов, такие, которые по лексике и семантике были зело экспрессивны.

— Не выйду, — отвечала Рита.

— Чего делать? — спрашивал Витька.

— Ты меня любишь? — ответно спрашивала Рита.

— Ты мне нравишься, — совершенно честно отвечал Витька.

— Наташ, тебя не тронут, иди за милицией, — распорядилась Рита и закричала: — Уходи, не выйду!

— Подожгу! — орал муж. Для экономии места остальные его слова можно не приводить.

— Не надо милиции, — сказал Витька, — сами поговорим.

Он распахнул дверь террасы и вышел на крыльцо. Я с топором стоял сзади как резерв главного командования.

— Эй, ты!

— Эй зовут лошадей, да и то не всех, — справедливо ответили нам.

— Выходцы из села, — сказал я, — пословицы знают.

— Ритка, не выйдешь — домой не приходи! — орал муж. — Ишь..!

— Витя, — приказала Рита, — крикни, что Маргарита вообще не придет.

— Подойди, — громко сказал Витька, так как понятно стало, что орать на таком расстоянии можно потише.

— Пошел ты, откуда родился!

— Извини, что руку оцарапал.

— Это-то? Ну, это-то..!

— Не выражайся!

— Я тебе еще выражусь по морде, студент сопливый!

— Витя, — визжала внутри Рита, — не разговаривай с этим гадом!

— Ты! — повысил голос Витька. — Слышь! Сереж, иди, выпьем. Да один иди, ничего тебе не будет.

— Вас-то двое, — уперся муж.

— Возьми одного с собой.

Они пришли на переговоры вдвоем. Остальные отошли и стали курить. Рита замотала Сергею руку. Мы сели одной мужской компанией. О какой-то закуске Сергей заметил: «Из дому, сволочь, утащила. Хотел парням вынести, уж похвалился — нет. Не сама же стрескала.

Значит, вам. Своего нет, так хоть чужая баба подкормит».

— Серега, ты служил?

— Ну?

— Так какого ж ты тогда? И мы служили. — Витька стал разливать шампанское, но Сергей закрыл свой стакан раненой рукой.

— Я все перепробовал, и денатуру лопал, и «аптеку», но эту бабью шипучку... — и он опять выразил свое отношение кратким выражением.

— Пей чего дают, — сказала из угла Рита.

— Ну, так вот, — приступил Витька к переговорам, — в гости прийти конституция не запрещает.

— И решать мне, — это опять Рита.

— Да, — неосторожно подтвердил Витька, — пусть она сама решает.

— А я уже решила.

Тут вмешалась Наташа:

— Вы решайте что угодно, только не здесь. Ведь правда? — спросила она меня, подходя и поправляя мне прическу. — Ты дрова все поколол? Или еще остались. А если устал, так и не коли, отдохни, потом закончишь. Приляг, приляг на софу, только разуйся.

Но Рита уперлась:

— Я скажу здесь. Я люблю Витю. И тебе он, Серьга, не ровня. У тебя все кореша да кореша, да мать да перемать. И тебе от меня одно надо, ты это знаешь. А я еще и человек. И что хотите делайте, — Рита помолчала. — Но ночевать я домой приду, а то ты с горя напьешься, еще бы — жена ушла — и дом спалишь, в постели будешь курить.

— А сейчас все уходите, — велела Наташа. — А ты куда? — это мне.

— Не могу я друга оставить.

— Иди, но возвращайся. Топор в доме оставь. А то я женщина слабая, беззащитная, кофе пью без всякого удовольствия, мало ли что, оборону держать.

Сергей толкнул меня, кивнул на Наташу и показал жестом — ненормальная.

— Это из Чехова, — защитил я Наташу.

— Да хоть из...!

— Опять? — закричала Рита. — У, пьянь тропическая! Я тут останусь. Витя!

Мы вышли. Компания окружила нас и, если можно так выразиться, мысленно кровожадно потирала руки.

— Оставьте, ребята, — сказал Сергей, — парни здесь ни при чем.

Мы сбросились, зашли, тогда еще не в «стекляшку», а в «деревяшку» возле платформы и поговорили.

— То-то она мне всю неделю: да такой культурный, да так может поговорить, да такой начитанный, да где тебе, да ты и «Муму» не читал, дай, думаю себе, погляжу на культурного. Вообще-то ее драть надо, чтоб на стенку лезла, и культуры б не захотела.

Еще мы хохотали над тем, как я бежал с топором, как они отхлынули от крыльца.

— Витек, — говорил Сергей, зубами затягивая узелок на бинте и отплевывая волокна марли, — бери, я не обижусь. Бери! Книги будете читать. Вот ключ, иди хоть сейчас. Я все равно часто у матери ночую. Но только предупреждаю — ты с ней намучаешься, и чтоб мне с похмелья всегда чего-нибудь держи. Бери ключ! Адрес... да пойдем, сам провожу.

— Не надо, — отвечал Витька. — У меня койка в общежитии, мне хватает.

Прошли каникулы, вновь загудели комнаты общежития и аудитории института. На древнерусской ныне покойный профессор Кокорев спросил:

— Как, выполнили мое задание?

И весь курс потупился. И я в том числе, а ведь клялся себе, что за каникулы найду слова Достоевского, относящиеся к воспитанию детей. Говоря перед тем, профессор зачитал слова и, улыбаясь, заметил, что говорить, откуда они взяты, не будет, чтобы мы нашли сами. В Достоевском, которого печатали в год по чайной ложке, мы были слабе́ньки, но профессор назвал и роман, откуда они взяты.

Вот эти слова (я увидел их уже после института): «От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль!..», «Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет...», «Через детей душа лечится».

Сейчас, когда Достоевского издают и он доступен, я использую тот же педагогический прием, не скажу, откуда эти слова, ищите сами. И роман не назову. Смысл в том, что профессор называл учительство высочайшей не профессией, не ремеслом, даже не призванием, а постоян-

ным озарением, которое освещает пути и перепутья, теплом, которое согревает сердца, совестью, которая не дает переступить через порядочность, исповедью, способной понять любое преступление, — вот что такое учительство.

Мы были последними студентами профессора Кокорева. Похоронили его на Введенском (Немецком) кладбище, где много святых для России захоронений. В том числе похоронен там доктор Гааз, которого так любил Достоевский и который добился облегчения веса кандалов и наручников.

— «Сказание о Петре и Февронии», — объявил Кокорев, начиная читать удивительную по чистоте и целомудрию повесть любви и посмертной памяти.

С другой кафедры в тот же день слышалось: «Дафнис и Хлоя», рассказы о временах языческого многобожия. Вгоняя девчонок в краску, профессор Богословский говорил про остров Лесбос, о разврате Римского двора и распаде Римской империи. Кстати, слово «секс» я узнал только тогда, именно на зарубежной. Откуда мне было знать его раньше?

На старославянском впору было залезать под парту. Читая теперь с легкостью старославянские тексты, что, заявляю всенародно, доступно каждому, имеющему среднее образование, со стыдом вспоминаю мучения тогда доцента, сейчас профессора Хабургаева вбить в наши головы простейшие титлы. Вот сейчас бы идти сдавать старославянский! Или не сдавать, так хотя бы автограф получить на его авторском учебнике для высших учебных заведений.

Первый в жизни автограф я получил именно в институте от профессора Абрамовича на его учебнике «Введение в литературоведение». Чем-то понравился мой ответ, и я осмелился попросить подписать книгу, купленную еще в армии. Но этот факт поверьте мне на слово — книги нет, ее свистнули в том же общежитии. Не знаю только — из-за автографа или из-за того, что не было учебника.

И работа, и учеба, и общественная жизнь (комсомольские собрания, собрания студенческой партгруппы, шефство над детскими домами) — все шло накатом. И вдруг встряхнуло — любовь Риты к Вите имела продолжение. Витя узнал, что такое любовь Риты, или, говоря языком грамматического разбора предложения, то, чем она может быть выражена. Любовь Наташи ко мне

не выражалась ничем. Она предложила мне прописать меня у себя, я отказался, вот и все. Рита явилась в партком. Нет чтоб сначала к нам. Явилась в партком: так и так, разрушена семья. Спасло то, что заступилась студенческая партгруппа. Но все равно обсуждали. Сейчас, может, и смешно: за что? Но обсуждали — было. Мы все рассказали. Да и чего было рассказывать, в чем было раскалываться? Как двугривенный потеряли? Больше всего возмутило одну преподавательницу то, что мы обратились за деньгами к случайным прохожим, а не в местный комитет. «Вы, будущие учителя, — сказала она, — и вы не знаете, куда надо идти в трудную минуту. Или могли бы позволить любому из нас, ведь так, товарищи?»

Окончательно спас Витьку профессор Аксенов, преподаватель истории СССР. Он полюбил Витю, когда тот, отвечая, посадил Ивана Калиту за княжеский престол после Ивана Третьего. Бывший вояка, профессор грозно закричал на Витю:

— При чем здесь Иван Калита?

— При деле, — храбро ответил Витька.

Профессор засмеялся, но гонял Витьку сдавать раз пять или шесть, пока в Витькином уме все доромановские русские князья не выстроились в затылок. Не зря Рита пленилась культурой Вити. На заседании парткома Аксенов воскликнул, споря с преподавательницей:

— При чем здесь местком? Вот здесь он не при деле.

Соблазненная и покинутая Рита стала делать набеги на общежитие. Вызывала Витьку через вахтершу — он высылал на переговоры нас с Левой.

Рита прижимала меня к комендантскому шкафчику с ключами.

— Будет сытым, я же завпроизводством, будет одетым, я же вижу, какая на вас мода, и тебе костюм куплю.

Однажды Лева надел тельняшку и сказал Рите решительно:

— Я все понимаю, у тебя любовь, ну, а если бы он вез патроны? А он их повез, а это надолго.

Жалко было Риту. И сам Витька жалел. Но был категоричен:

— А зачем она ходила в партком? Сама отвратила! Это же доколумбов способ — жениться через партком. Нет уж, я шмыгну в окно — и мое вам почтение.

— Выйди сам и объяснись.

— Кислотой плеснет.

Это была фраза из той развеселой песни, в которой поют от имени разлюбленной: «А я пойду в аптеку, куплю там кислоты. Соперницу девчонку лишу неземной красоты. Сама же из окна я вниз брошусь головой и буду манной кашей лежать на мостовой».

Кстати, Рите уже было в кого плескать кислотой — именно та черноглазка с биофака — Саша, покорением которой хвастал Мишка, именно она выделила Витьку, к его радости.

— Ритка узнает про Сашку, тут будет вам Карибский кризис.

— А ты и с той и с другой, — советовал Мишка. — Ритка костюм купит, а с Сашкой в нем в театр пойдешь.

— Присяги захотел? — грозно спрашивал Витька.

Надо сказать, что так, чтобы враз морочить голову хотя бы двум девчонкам, мы не представляли. В отношении чувств мы были настроены однопланово: полюбил — женись. Других отношений мы не представляли. Мишку в данном случае можно было не осуждать: молод, обгуливается. Но эта настроенность ничуть не возбраняла и не осуждала гусарство, легкость увлечений, недержание слов любовной лексики, обалтывание, веселие вечеринок, да даже и поцелуи. Чего там.

Ах, как помню одну студентку с иняза, ах!

Мишка, заботясь о своем драгоценном здоровье, взял напрокат велосипед. Не считая за нужное спросить у Мишки разрешения, мы также занимались амортизацией прокатной вещи.

Был майский вечер, светлый, теплый, когда я понесся на велосипеде наугад, мечтая вырваться из города. И вырвался. Кончились пятиэтажки Медведкова, которые уже тогда прозвали «хрущебами», кончились и двухэтажные желтые бараки, пошли пустые деревенские дома. Еще торчали остовы печей, еще ветер мотал обрывки обоев на поваленных стенах, еще били фонтаны светлой воды из пробитых неотключенных водопроводов, еще бродили у домов жирные дичающие кошки, еще летали над запустением голуби смешанных пород. У последнего остатка бывшего дома перед полем, на котором ничего не было посеяно, остановился и, раздевшись, принял душ. Вода была ледяной, я мгновенно задрог и торопливо вскочил в седло. И с каким-то ликованием устремился в непонятном направлении. Домчался до же-

лезной дороги, хотел проскочить перед поездом, обвильнув опущенный шлагбаум, но громко заматерилась на меня стрелочница с флажком.

Засмеявшись, я надел рубаху, подождал, пока прогремит порожняк, пока полетит догонять его встревоженный мусор, пока испуганно прижмется к спицам обрывок газеты и... покрутил педали обратно. В общежитии пошел в душевую и, радостно чувствуя прилив энергии, вскрикивая, стоял под холодной струей.

А в тот день была суббота, а в субботу, по-нынешнему выражаясь, дискотека. На пятом этаже, в рекреации, там, где пили чай с Мишкиным медом. Возбужденный, в белой рубашке, в брюках, отглаженных лежанием под матрацем, в синих китайских кедах — чем не парень! — пришел я на музыку, как сказал классик, «любить готовый». А там событие — девичий визг и вскрики. Оказалось, на дереве за окном глупый котенок. Ведь погибнет, так думали сердобольные студентки. От сострадания они прервали даже танцы. Ясное дело, ничего бы с этим котенком не случилось, поорал бы и спустился, когти-то на что, но ведь это когда еще. И что-то изнутри взмыло во мне, вскочив на подоконник, я прыгнул на дерево. Даже и не оцарапался. Удачно поймался за ствол и ветви. Честно говоря, дерево было рядом, невелик подвиг, но велик эффект, ведь пятый этаж!

Да, не оцарапался я о дерево, но этот гаденыш, этот котенок, пока я спускался с ним, вдоволь поточил о мою шею и грудь свои растущие коготки. Этого котенка истискали и исцеловали и физички, и лирички, а уж потом, когда окончилось сборище, мои царапины целовала студентка с иняза. Как мы бросились друг к другу, как вообще люди встречаются, необъяснимо. После спасения животного я не танцевал, ибо эффект был сопровожден и дефектом — разрывом брюк, я же не в джинсах по деревьям лазил, и я не танцевал. И все равно не уходил в комнату, возбуждение продолжалось, я взял на себя роль «заводилы», как шутили мы, вспоминая слово, приспособленное для тогдашнего диск-жокея, ставил пластинки и что-то несуразное выкрикивал. Но видел ее, вспоминая, что это именно она отчаянно взглянула на меня, откачиваясь грудью от подоконника, и показывала маленькой обнаженной рукой на дерево за окном.

И около этого окна мы всю ночь целовались. Сейчас можно наговорить, что в окно доносился запах цветущей

сирени, отцветающей черемухи, облетевших лепестков вишни, но тогда было одно — какое-то одурение, изнеможение телесное, мука смертная и неистовство объятий. Как я ей не сломал ребра, как она мне не вывихнула шею?

Под утро я докарабкался до своей койки, уронив по дороге велосипед. Разве же мог Мишка оставить в коридоре взятое напрокат имущество? Он принес его в комнату.

На этом история с котенком заканчивается, больше я ее не видел. Вот номер, скажут нынешние студенты, а нас учит постоянству. Штука в том, что эта ночь была исключительной, ее готовило и мое шальное состояние, когда я видел гибнущие деревни, когда чуть не попал под поезд, когда физически был весь взвинчен, восторг ждал выхода, а она... ей за глаза хватило страха за меня, когда я кинулся спасать животное и прыгнул с пятого этажа. А белая рубашка? А китайские кеды? Куда там кроссовкам! И почему-то потом я олицетворял эту студентку с Кармен. Даже и оправдывал Кармен. Она, скорее всего, не охладевает к каждому очередному возлюбленному-влюбленному, скорее, сама отскакивает, ибо ей не вытянуть такую высокую ноту неистовства в любви.

Витька продолжал вламывать грузчиком, Лева попрежнему штамповал тысячи фотоплакатов, призывающих сохранять жизнь, не стоять под грузом, не влезать на столбы, а Мишка вновь сменил работу. Стал контролером в трамвайном депо. Раз ехал с нами и продемонстрировал, как проверяет билеты. Уши его краснели от усердия, когда он клещом вцеплялся в безбилетника. Что было тогда тоже дешевле — это штрафы, всего пятьдесят копеек. Еще Мишка боролся за нравственность. Велел встать взрослеющему ребенку, а женщине велел сесть. «Что вы, спасибо, я сейчас выхожу». — «Не портьте ребенка, немедленно садитесь!» И женщина села и посидела пять секунд. Больше мы Мишке ездить с нами в качестве контролера запретили, а в тот раз засунули в кассу рубль, открутив тридцать три билета и велев принести копейку сдачи из депо.

В моей судьбе произошла

Перемена

Я перешел из цеха в многотиражку комбината «За мясную индустрию». Стоял в очереди к расчетному столу, а впереди мужчина читал маленькую, такого памятного для меня, по доармейской районке, формата, газетку. «На комбинате есть газета?» — спросил я. «Еще бы!» — ответили мне. И вот я пришел в редакцию, в крохотную комнату на шестом этаже завода первичной переработки скота и скромно сказал, что так и так, имею журналистский опыт (кроме районки, армейских газет, я уже вовсю печатался в многотиражке института «Народный учитель»), что работаю в ночную, что в общемто не сладко, и нет ли, случаем, вакансии хотя бы на полставки. Примерно так. И меня взяли! Оформили через завод со страшным названием первичной переработки скота в еще более страшный цех — убойный, по профессии вообще устрашающей — боец скота. Разряд был, естественно, начальный, но что с того — ведь газета!

Редактором газеты был Заритовский, литсотрудником Лева Степачов. Я буду просто называть его Степачов, так как Лева уже есть. Еще была машинистка Валентина Васильевна и редактор радио Яков Шабловский, он же фотокор. Со Степачовым мы сдружились, он был вечерник МГУ, романо-германского отделения. Он хмыкнул высокомерно на наш МОПИ, велел немедленно переводиться в МГУ. Даже повез меня на переговоры. Но вот судите сами — в МГУ меня брали на филфак со следующего учебного года без экзаменов. То есть уже год был бы потерян. Далее: в МГУ учиться пять лет, а в МОПИ четыре. Велик соблазн — продлить беззаботность и пользу студенческих лет, а если кушать нечего? Если б я перешел, учеба бы растянулась на шесть лет, мне бы просто не вытянуть житейски, разорвался бы меж работой и учебой. А на стипендию тогдашнюю было бы не вытянуть. Но, честно скажу, главное — я уже преданно любил свой вуз, как люблю и сейчас, и кто как не я сочинил вот хотя бы эту частушку: «Пропадаю ни за грош, ни за копеечку — до чего же ты хорош, наш Мопеечка!» Пусть и оборжали это на литобъединении «Родник», о котором ниже, но смысл остается.

Степачов, специализирующийся на французской литературе, мне очень пригодился: и как наставник по делам комбината, и как собеседник в литературе, и как

советчик вообще. Он учил меня проникать в тайны взаимоотношений цехов и их взаимного жульничества, того же убойного и кожпосолочного, обвалочного и холодильника, фаршесоставительного и шприцовочного, ливеропаштетного и... ну, допустим, субпродуктового. Как собеседник, он заездил меня мыслями Бахтина о Рабле, что очень не нравилось Заритовскому. Заритовскому нужны были мысли для газеты. Валентина Васильевна часто болела или сидела с внуками, и редактор сам печатал материалы. Кстати, у него я взял дикарский, но надежный метод обучения машинописи — если палец промахивался, ударял не по той клавише, он кусал его за это. Печатал он медленно, одним пальцем, чтоб уберечь хотя бы один палец. И постоянно спрашивал:

— Медпрепараты, чего две буквы? Гематогена, где можно перенос? Э, раблезианцы, свиноконвейерный цех занял первое место, давайте срочно заголовок.

— Пальма первенства — свиноконвейерному цеху, — говорил я.

— Пальма и свиноконвейерный! Фи! Грубо, дети!

— Называй ты, — требовал редактор.

— Должна быть благородная простота. Сейчас месяца три-четыре свиней будет навалом, а коров уже, чувствуете? Все меньше и меньше.

— Ты заголовок давай.

— «И вновь впереди — свиноконвейерный».

Но Заритовский любил красивое — проходила моя пальма.

Работал я в многотиражке с раннего утра и до обеда, там мчался в институт, иногда после занятий возвращался, чтоб сделать материал из вечерней или ночной смены. Всегда любил бывать в цехах, писал по просьбе старых работниц на радио просьбу исполнить русские народные песни, читал иногда в цехах в перерыве полулекции, полурассказы о литературе, любил ходить к ветерану труда Мискину Александру Ивановичу, писал о нем. Но почему же так казенны были мои материалы, какое оцепенение овладевало пером, какой гипноз кружил его по привычным звуковым дорожкам: «Идя навстречу... беря повышенные... подсчитав резервы... вахта экономии...» и еще и еще, все такая же чересполосица; читает человек, и разве возникает желание брать повышенные, считать резервы, нет! Слова даже не скользят, даже не отскакивают от взгляда, они просто не видятся, уж лучше бы газетный лист был чист, не испачкан сло-

воблудием, от которого, кроме ощущения гибели, все новых деревьев нет. Строчат перышки, трещат машинки, а от этого клонят головы и хлопаются оземь березы и сосны, тополя и ели, отдают тела на растерзание машинам целлюлозной и бумажной промышленности, зачем? Чтобы типографские машины печатали слова, которые никого не греют? Зачем тогда о себе писать так, как, например, в стихах о журналисте: «Сердце его бьется на странице в пламенных строках передовой».

С Мискиным много было разговоров.

— Комбинат строили, Микоян был через день да каждый день. Земля скипелась, ломом бьешь, бьешь, только огонь, искры. Первую линию пускали на холоде. За нож схватишься — к ножу рука пристает, за мусат — к мусату.

Мусат, объясню, это стальной стержень, приспособление для доводки остроты лезвия.

— Сейчас деньги, развлечения, молодежи все позволено, поют «молодым везде дорога», тюрьмы не боятся, тюрьмой хвалятся, это как? Ботинки хорошие наденут, папироску в зубы. Нам дадут, бывало, на пасху стакан семечек, уже радуемся. А если кто из молодежи курит, губы прямо с папиросой оторвут.

Любил я писать и о ПТУ-100, училище при мясокомбинате, еще бы — в нем учился один из кумиров детства и отрочества Виктор Талалихин. Он был для меня где-то, совершенно небесный, а здесь стал земной и доступный. Завуч училища напористо говорила мне о главной опасности обучения бойцов скота и раздельщиков: «Температура тела убиваемого животного равна температуре тела человека». Выпускники училища работали на всех заводах, во всех цехах комбината. Труд иногда был устрашающим по смыслу и угнетающим по однообразию: так, девушки полную смену, изо дня в день, из месяца в месяц, выстригали мозжечок из мозга, парни стояли у незатейливых машин, называемых костедробилкой и черепорубкой. Но это машины, и небольшие. А вот вам целое отделение под названием шкуросъемка. Как вплывает туда туша коровы, как эта туша — ну с чем сравнить, чтоб не совсем страшно, — как эта туша будто нога из чулка выходит, краснея, из кожи. Как туша плывет дальше по конвейеру, как, приникая к ней на рассчитанное технологией время, обработчики делают каждый свое дело: пилят, отделяют, сортируют...

На свиноконвейерах при мне внедрили рационализацию — стали током парализовывать голосовые связки свиней, а то они так визжали, что рабочие глохли. После внедрения рацпредложения свиньи двигались по конвейеру молча. Так же было внедрено и, говорили, куплено американцами для чикагских мясобоен еще одно новшество — полый нож. Нож с отверстиями на лезвии, рукоятка трубой с надетым на нее резиновым шлангом. Боец скота втыкал нож в горло свиньи, кровь лилась внутри ножа по шлангу, а другой конец шланга поддерживала девушка с ведром. Кровь собирали на гематоген.

Лязгали цепи, гремели крючья, скользкая кровь лилась на чугунные рифленые подмостки, уборщицы непрестанно сыпали на мокроту светлые мягкие опилки и сметали их, быстро намокающие, в сточную канаву.

И вот, дело прошлое, ведь не любил я ходить на завод первичной переработки скота, в убойные цеха, только по необходимости и по приказу, но как было не выщелкнуться перед студентками, как было не сочинить нижеследующее:

...и чтоб было в достатке водки,
чтоб не делать из жизни арену,
я пошел резать свиньям глотки
по две тысячи штук за смену.

Пугая, добавлял, что размах убийства животных на комбинате таков, что окровавленные опилки вывозят самосвалами, грузят ковшом экскаватора. Не было, конечно, такого, но две тысячи штук за смену — это факт. Смены три. Не знаю как сейчас.

Больше я любил писать о цехах производства ветчины, сосисок — сарделек, студня, консервов, медпрепаратов. На одной из линий, среди сотен девичьих лиц, высмотрел украдкой одно. Вычислил конец смены, подкараулил у проходной, на тогда еще Осташковском шоссе, а не Волгоградском проспекте, навязал провожание. Было отказано. Но хотя бы узнал имя и фамилию. Люся. Испытанная журналистами практика — написать о симпатии и тем поставить перед обязанностью отблагодарить — тут не прошла, данная работница усердием не отличалась. Это мне начальница смены сказала на мой вопрос. Как же так? А энергия молодости, а честь училища? «Все они такие, — было сказано мне, — пока стоишь над душой, чего-то делают, отошел — уснули». Оказалось все-таки,

что Люсю есть за что похвалить, за общественную работу, что и было мною сделано. Так я использовал печатный орган в личных целях. Но Люся, запуганная начальницей, от меня шарахалась. Долго ей шарахаться не пришлось.

Меня остановили глаза, глянувшие с Доски почета. Выпускница этого ПТУ-100. Надеясь, что мои лекции в цехе запомнились ей, подстерег ее в столовой и предложил пойти в кино. Сказала, что не может. Ее молодость — шестнадцать лет, моя старость — двадцать два года были барьером. Но что такое препятствие, как не желание его преодолеть. Приглашения на мероприятия шли как атака за атакой, и помог мне американский балет на льду «Холидей он айс», тогда новинка из новинок, у нас своего не было. Правда, в нагрузку навьючили билеты не скажу в какие два театра, но какие театры в шестнадцать, когда балет на льду. Сейчас представляю концы, какие делал в те времена по Москве, и не могу на себя надивиться. Ведь метро в Кузьминки, где жила Нина, не было, только-только делали, шоссе было как после бомбежки, в автобусах, по образному выражению, кишки выворачивало, что звучит вовсе не грубо для работника мясокомбината, для той же Нины, у нее подруги работали как раз в кишечном цехе. Нет, безответно было мое увлечение. Одну слабую улыбку сорвал я, когда стихами описал дорогу к ее дому. «Эхма, эхма, еще только МЗМА» (тогда так назывался АЗЛК), а дальше: «Слышен сердца испуганный стук, а ведь еле-еле «Клейтук». Слышен шины проколотой свист, это значит — завод «Металлист». Раз мы прошли от «Металлиста» до Текстильщиков, это много надо идти. И не вышло прогулки — жара, бензин, моторы ревут, мы запылились, и Нина настояла, чтоб дальше ее не провожать. Это ведь только в кино смешны перемазанные влюбленные, в жизни девушкам хочется быть аккуратными.

В дом Нины я напросился. И может быть, даже и напрасно — ее отец, совершенно молодой, гораздо моложе меня, теперешнего, нашел во мне собеседника в застольных разговорах об армии. Он служил при Жукове, я при Малиновском, было что с чем сравнивать. «Да неужели, — возмущенно спрашивал он, его звали как и меня, — неужели, тезка, не врешь, что любой салага без команды может пойти и настучать на командира? Э, у нас не так, у нас: «Товарищ командир отделения, разрешите обратиться к помкомвзвода». А тот: «А в чем дело?»

И надо объяснить. К помкомвзводу то же самое: «Разрешите обратиться к старшине». И каждому объясняешь. И каждый может сказать, да и говорили всегда: «Не разрешаю! Кру-гом!» И в судомойку. Не-ет, тезка, когда права качают, это не армия, это...» — и он говорил, что это, по его мнению.

— Папа! — возмущенно вскидывалась Нина. У них была однокомнатная квартира, деваться ей было некуда.

— А ты иди в магазин, — командовал отец. — Ты и с прошлой получки отцу родному пожалела, и сейчас жмотишься. Смотри, тезка, какая молодежь, нет, мы не так — от себя оторвешь, да отдашь.

Я срывался с места, чтоб побыть с Ниной хотя бы по дороге в магазин, тут же следовал окрик:

— Сид-ди! Молодая, не переломится. О чем с ней говорить? Подумаешь, дело! Будет восемнадцать — и женись.

Нина была необыкновенно красива, не мастер я описывать красоту, вот примерно: темные, почти всегда потупленные глаза, а когда поднимались, то всегда серьезно и вопросительно, сверкающие чистые темно-русые волосы, вырезные губы, которые я ни разу не поцеловал. Однажды она послала сказать через подругу — кассиршу столовой, что встречалась со мной только потому, что ссорилась со своим парнем, теперь они помирились, и что я свободен. Так что к многочисленным примерам женской логики можно добавить и этот.

И чем же, говоря языком гадания, сердце успокоилось?

Нет, не еще какое-то лицо, в смысле внешности и личности, вытеснило и нерадивую активистку Люсю, и передовую Нину, нет. Поэзия. О, эта дама не терпела совместительства. Увлекся, вдохновился и строчишь, и описываешь возлюбленную, а оторвешься, перечтешь: про кого это я?

Я тогда всерьез думал, что юность прошла, двух отставок хватило для замысла поэмы прощания с нею.

«Прости, прощай, — писал я, подразумевая в девушке, ах, бессмертный символизм, живописуя в девушке якобы обманувшую юность, — прости, прощай. Стон рельсов тонких тоской звенит, наперегонки с судьбою мчится эшелон, куда меня уносит он? Мою последнюю печаль не высказать, ее не жаль, уносит ветер; ведь листы, в сентябрь опавшие, к весне лишь редкий вспомнит.

Так и ты, уйдешь, про память встреч забыв, лицо от ветра схоронив. Как в тяжком сне. А ветра плач лишь всколыхнет твой серый плащ. Лишь всколыхнет. Но ветра вскрик ты не поймешь: не твой язык. Прости, прощай».

Давайте не будем упрекать за украденную печаль, за «ты в синий плащ печально завернулась» (у меня же не синий, а серый).

Но ведь вот тогда-то и была юность, перехваченная посредине солдатским ремнем.

А юность требует чувств. И, окончив поэму, я был свободен для них. Притом поэт, если даже он далек от высоких уровней, не может не быть влюбленным, иначе он не поэт. Собственно, вся поэзия, ее первоначальная цель — петь гимны любви, очаровывать избранницу, склонять ее к взаимности. Остальные заботы поэзии попросту ни к чему. Сказано к тому, что в моей жизни появилась

Элиза

И вот тут-то мне пригодился Степачов. Не хватало мне манер. Вот что, канальство, как сказал бы Ноздрев, было досадно. И Степачов, нахватавшись французов, и вообще москвич, стал давать мне уроки поведения в обществе и с дамой. А как иначе? Элиза — существо утонченное, жила на Арбате, на Гоголевском бульваре. Вот, например, буду провожать, то как, спрашивал я.

— Кавалер должен идти не с какой-то конкретной, правой или левой стороны, но со стороны наиболее вероятной опасности для дамы, то есть с внешней стороны тротуара.

Этот совет Степачова мы дебатировали в общежитии.

— Их вообще можно ни под руку, ни за руку не держать, — говорил Лева.

— За что же держать? — спрашивал Мишка, тоже не желавший быть некультурным.

— За зубы, — отвечал Витька.

Было мнения, что гражданским лицам надо идти от дамы с левой стороны, а военные должны идти справа, чтоб была свободна собственная правая рука для отдания чести встреченным старшим чинам. Это убеждало — армия еще крепко сидела в нас, еще дергалась иногда рука к виску при встрече полковника, еще по утрам я говорил: «Пойти сапоги почистить», хотя давно носил полу-

ботинки, но фраза: «Кавалер идет со стороны наиболее вероятной опасности для дамы» — это звучало.

В жизни данный совет исполнялся так (я, естественно, стал провожать Элизу): она, повторяю, жила на Арбате. О, тогдашние арбатские переулки, еще жива была Собачья площадка, еще Калининский проспект был в проекте, о, эти переулки, проулки, их загадочная внезапная красота и запутанность. Мы там любили гулять. Элиза, как и ее имя, была жеманна, тонка в талии, волосы имела распущенные, желтые (крашеные), что по тем временам казалось кому смелостью, кому развратом. Она звала парней по фамилии. После первых провожаний разведка донесла, что Элиза, кроме меня, встречается со старшекурсником. Соперничество обостряет чувства, тем более, воспитанный классикой, я знал, что за любовь надо бороться. Это уж потом будет понятно, сколько раз мы бываем в юности дураками. Вот этот, например, избитый женский прием: «отсюда прыгнешь ради меня? Если любишь». И почему им надо непрерывно проверять крепость любви, почему непрерывно дергать за нити, проверяя прочность привязки? Ведь жестоко. Отсюда, от этого природного женского инстинкта, с которым они обязаны бороться, ибо любовь не требуют, а дают, от этого требования подвигов во имя любви чудовищное количество глупостей и преступлений. Ристалища, битвы, войны — вот следствие желания насытить сладострастие власти над возлюбленным.

Вот мы гуляли с Элизой и говорили.

— А с этой крыши прыгнешь? — спрашивала Элиза. — Кстати, тут у Нащокина бывал Пушкин. Боже, какое запустение и небрежение к национальной гордости. Прыгнешь?

— Что, правда, дом Нащокина?

— Прыгнешь?

— Глупость это все, — сердился я. — Ну прыгну, ну докажу, ну и что? И сломаю башку, и тебе приятно? И следующего приведешь? Мне еще учиться надо. Пусть вначале старшекурсники прыгают.

— А, боишься, боишься!

— Да вся эта литература, все эти средневековые рыцарские романы, это что — литература?

— А что тогда литература?

— Улучшение души. А тут заблуждение и не тот путь.

— Кокорева наслушался. Где у тебя душа, где?

Здесь? — Элиза засовывала холодную ладошку под мой шарф. — Ну, погрей, погрей.

Дело ухаживания шло в мою пользу. Ведь не только мужчину можно взволновать, если вовремя восклицать: ах, какой вы талантливый, и неужели еще остался кто-то, кто не понимает этого, и женщины на этот счет таковы же. Я внимательно слушал Элизу. О ее знакомой пианистке, которая находила в Элизе задатки: «Смотри, какие гибкие пальцы, вот погни их в обратную сторону, мне не больно», о знаменитом гляциологе — ее первой любви и археологе, тоже знаменитом, — ее второй любви. «Они почти стрелялись, я кинулась между и уговорила поехать в одну экспедицию. Я просила год сроку для выбора, я стала затворницей, фигурное катание даже не смотрела (тогда, опять же кстати, фигурное катание было притягательным), о, где ты, несравненная Николь Аслер? Ты слушаешь?» — «Да, да, — горячо говорил я, — о, как я тебя понимаю! Ты тоже хороша, зачем хоть в одну-то экспедицию?» — «И ты понял, да, и ты понял мою вину?» — «А что такое?» — «Они оба погибли. Спасая друг друга. На Шпицбергене. Их раскопали. У обоих на груди была моя фотография». — «Элиза, — говорил я потрясенный и немного радостный отсутствием хотя бы еще двух конкурентов, — я стану журналистом, поеду туда и положу цветы на их могилу». — «Спасибо, милый. Подожди, я вытру слезы». — «Нет, дай я осушу их поцелуем».

Мы петляли по закоулкам, сплетничали о преподавателях, обсуждали виденные фильмы, и я все время перебегал на внешнюю сторону тротуара. «Что с тобой?» — тревожно спрашивала Элиза. Также я выполнял еще один урок Степачова, он говорил, что неправильно пропускать даму впереди себя в общественное место: мало ли там какая опасность, еще ударят, и надо войти, убедиться, что ничего даме не угрожает, тогда ее пригласить. И первым лез в булочные, кафетерии, первым вдвигался в кинозал, забывая, что все-таки Москва не Париж, что в Москве дамам такие опасности, как на Диком Западе, не грозят.

Но, несмотря на приличные манеры, дело двигалось, и я был приглашен в дом. Элиза предупредила, чтоб я при маме и папе не называл бульвар Гоголевским, а только Пречистенским, ушла вперед. Я купил длинный гладиолус, один, по причине отсутствия присутствия

средств, но заготовил фразу, что он так же одинок в вазе, как я в этом мире, и двинулся.

Поднялся в старинном лифте, открыл двери с цветными витражами, погляделся в их волнистое стекло, сбежавшее, видимо, из комнаты смеха, и позвонил. Услышав шаги, встряхнул длинными волосами, отпущенными до плеч как компенсация за годы наголо остриженного затылка, как месть казарменному парикмахеру, который, извиняя себя обилием работы, никогда не точил инструмент, чтоб ему! Шаги приблизились, зазвучали дверные цепи. Я вырвал гладиолус из целлофана и, держа его в руке, как обнаженную шпагу, вошел в дверь, отошедшую внутрь высокого коридора.

— Мама, это он!

Я поклонился полной седой даме и браво сказал:

— Шел по Пречистенке, а до того по Остоженке, дивно у вас, дивно. Но это ужасно, что андреевский памятник Гоголю поставили во двор, а на его прежнем месте помещен явно невыразительный. Но вообще дивно!

— Дивно-то дивно, — сказала дама и ушла.

И больше в тот раз не показывалась. Папа Элизы уехал в тот день на своей машине па свою дачу, мы с Элизой пошли в ее комнату. Набор книг у нее по тем временам был престижный — Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Бабель, Хемингуэй, Фолкнер на английском.

Мы уселись на диван и стали беседовать.

— Бабель, — закатывала глаза Элиза, — о, Бабель!

— Натурализм все это, — отвечал я. — Бабель. Конспект натурализма это, пусть и романтический. Подумай — голубиная кишка ползет по щеке, человек тычется лицом в лошадиную сырую рану, ковыряет в ней пальцем, как это? Золя и тот умел щадить.

— Значит, ты отрицаешь натуральную школу? Как же тогда твой Гоголь? Мало он описывал безобразий?

— Согласен, согласен — и там и там описана жизнь, но прочтешь Гоголя и улучшаешься, а прочтешь Бабеля — ухудшаешься. Бабель на нервы действует. Гоголь на душу.

— Ну уж Хемингуэя я тебе не отдам.

— И не отдавай, я всего прочел.

— Ха-ха-ха, ты не понял, я говорю не в смысле отдать, а в смысле не дам унизить.

— Никого я не унижаю, у всех найдутся читатели.

Один другого всегда стоит. Хемингуэй! Молодец, умеет, себя все только высовывает.

— Ты не высовываешься!

— При чем тут я? Я объективен. Ему повезло, что его долго у нас не печатали, а он биографию делал, а слухи шли, а американцы любят эти штучки — охота на львов, Килиманджаро, рыбная ловля, о, подожди! За «Старика и море» я ему многое прощу.

— Нуждается он в твоем прощении!

— Не нуждается. Но отношение мое мне самому важно. Вопрос: Фитцджеральд хороший писатель?

— Д-допустим, — Элиза оглянулась на полку, Фитцджеральда там не стояло.

— Прекрасный! А Хемингуэй его умудрился, боясь конкуренции, унизить. Прочти «Праздник, который всегда с тобой». Читала? Перечитай. Перечитай-перечитай! А! — подскочил я так, что Элиза вскрикнула. — А, «Старик и море»! Знаешь, какое самое сильное место? Не рыба — мысли старика. Помнишь, он восхищается бейсбольным игроком великим Ди Маджио и безумно жалеет, что у того костная мозоль. Бедный Ди Маджио! А сам старик при последнем издыхании. Очень русская повесть!

— Какая, какая? Пойду маме скажу, а то так и умрет, не узнав.

— В том смысле русская, что сам гибнет, а других жалеет. Так-то он, конечно, американец. Зачем нам кого-то силодером к себе тянуть.

— Как тянуть?

— Ну, в смысле насильно, силодером. Нам своей классики и за глаза и за уши хватает.

С собой Элиза дала мне почитать свою курсовую по сопоставлению двух постановок «Маскарада» — в Театре им. Моссовета и во МХАТе. Их мы видели вместе, и это было основание для требования соучастия.

В следующее свидание меня поили чаем, я читал курсовую вслух, не всю, а наиболее яркие места:

— «...и если Царев в сцене ожидания Нины выходит слева и сидит неподвижно, — писала Элиза, — то Мордвинов в этой же сцене входит справа и ходит, то заламывая руки, то замирая...» Гениально! — хвалил я. — Неужели это еще не все заметили?

— Конечно, не все. Ты же впервые такое прочел?

— Впервые.

— Ну вот. Тебе легче, ты выбрал в курсовую «Конь-

ка-горбунка». Все-таки, согласись, это первичный слой, тебе пора подниматься к культуре.

Решительная встреча с предполагаемой тещей была вскоре. На сей раз я купил хризантемы и, ощущая их похоронный запах, причесался, глядясь все в то же «взволнованное» стекло.

Был встречен и публично, то есть при маме, чмокнут и был вынужден дурацки чмокнуть то место на щеке Элизы, которое указал ее палец. Был раздет и приглашен за стол. Перед этим я попросил показать мне умывальник, Элиза показала мне, где моют руки, и я их вымыл. Она подала полотенце.

— Эх ты, умывальник! Это ж не общежитие. Ванную можно от умывальника отличить?

— Можно! Твоя мама дивная женщина.

— Ну то-то.

По договоренности, заранее, я принес лимонную настойку, выставил. Сели. Я вел себя культурно, ложку достал не из-за голенища, взял со стола. Умел пользоваться ножом и вилкой. Угощая настойкой, вначале немного откапнул себе, потом, по табели о рангах, будущей теще и будущей жене. Налив, я совершил первую ошибку — не просто отставил бутылку, а захлопнул ее жестяным колпачком. Так всегда делал отец. «Не закроешь, — говорил он, — так хоть градус да выскочит». Поднимая тост, желая понравиться, стать душой общества, обязанный, как единственный кавалер в компании, веселить дам, произнес: «Ну, прощай, разум, здравствуй, дурь!»

— За знакомство, — мягко поправила меня будущая теща.

— Мы же в тот раз познакомились.

— За более близкое, — вступила Элиза.

Выпили. И дальше я, к сожалению, ускорил программу, как говорят, погнал картину, поспешно налил по второй. Здесь опять срабатывало правило отца: «Бутылку откроешь, так она кричит». Но эти мои просчеты были цветочками. Беседа и ужин шли своим порядком.

Я вновь налил.

— Вы не торопитесь? — спросили меня.

— Что вы, — отвечал я словами отца, — с такой закуской с литра не качнет.

У меня узнали об обширной родне. Я радостно сообщил, что и сам из большой семьи и что дядей и теток, что по отцу, что по матери, очень и очень много. И у

всех детей, то есть моих братенников и сестренниц, очень помногу. «Не поддается исчислению».

— И все по деревням?

— Нет, в городах тоже есть. Но в Москве я первый.

— То-то им радости.

— Да я думаю, что гордятся, — отвечалось мне легко, так как я входил в новую семью, да и вообще никогда не врал, исполняя при этом завет мамы: «Врать себе дороже».

— А ваши планы? — Это меня все будущая теща допрашивала.

— Буду писать.

— А вы можете писать о спорте?

— Я его ненавижу!

Элиза запоздало ударила меня ногой по ноге.

— Почему?

— В нем есть что-то лошадиное, в нем есть желание превосходства, реванша, в нем есть возвеличение силы за счет унижения личности.

— Как? Победитель унижает личность? Чью?

— Но другие-то побеждены. А Диоген? Он говорит олимпийцу: «Ты чего радуешься?» — «Я же победил на Олимпиаде». — «Но ведь ты победил тех, кто слабее тебя».

— Победители протягивают руку побежденным!

— Чего и не обняться, когда, например, боксеры — и по морде надавал, и в милицию не забирают, да еще и хлопают.

Я опять получил ногой от Элизы.

— Позвольте, — заинтересованно сказала «теща», — подожди, Эля, отнеси лучше пустые тарелки...

— Мне интересно, мама, до чего он договорится.

— Да давайте я отнесу, — вскочил я.

— Что вы, что вы, вы — мужчина, как это можно...

— И правильно, — сказал я, — а то с этой эмансипацией докатились... — Тут я чуть не вскрикнул от удара ноги.

— Элиза, пересядь. Итак, позвольте, как же тогда: «В здоровом теле здоровый дух»?

— Это вздор, то есть это не совсем верно.

— Элизочка, я в восхищении. Молодой человек, этому выражению как минимум два тысячелетия.

— Ну и что, надо же когда-то и разобраться.

— Мама, он ревизионист. И агент мирового капитала.

Ты! у тебя есть капитал? Сколько тебе платят за абсурды и абракадабры?

— Под знаком аббревиатур? — я сворачивал на шутку.

— Мам, он словарь на букву «а» уже освоил.

— Э-ли-за! — это было сказано внушительно, Элиза пригасла. — Чем же вы опровергнете это выражение?

— Все тем же. Вы посмотрите на драки хоккеистов. «Прессинг по всему полю!» Прессинг, говорили бы: стычки, потасовка, наезды, удары, нет, надо скрыть. Откуда же в них здоровый дух? Здоровый дух разве не есть порядочность, разве порядочность допустит драку? Как раз здоровый дух больше в тех, которые через свою боль понимают чужие страдания. А тут наступит бутсой на живот и дальше бежит, да еще радуется. Силовой прием! Конечно, вы можете сказать: кто же упавшему запрещает опередить и сделать свой силовой прием, так? Но если есть хоть капелька совести, этого нельзя. «Бей первым, Фреди!» — это же американство. Ведь это же убавляет жизнь, ведь все скажется: любой удар, травма, сотрясение...

— Это ваши собственные рассуждения?

— Вот то, что все скажется, это мама всегда говорила. Она не в смысле физических ударов, но и, например, если в чем-то покривишь совестью, то умирать будет страшно.

— Она верующая?

— Да нет, вроде не замечал. Да у нас и церковь-то разрушили.

— Ну-с, вернемся, — задумчиво протянула мама Элизы, — но вы сами занимались спортом?

— Куда я денусь, я ж из армии. Там не можешь — научат, не хочешь — заставят. Там...

— Значит, вам знакомо понятие победы, поражения?

— Да.

— Вы против понятия сильной личности?

— Понятие сильной личности и жертвенности — не синонимы.

— Мамочка, мы уже проходили и синонимы, и антонимы, и омонимы, и омофоны, и это он хочет образованность показать и завсегда говорит о непонятном, — опять не вытерпела Элиза. — Мамочка, он у нас боец скота.

— Да, именно так написано в трудовой книжке. Нет

второй ставки литсотрудника, чем мне-то хуже, как меня формально считают?

— Вашу работу я одобряю, — сказала мама Элизы. — Это, дочь, у тебя первый такой молодой человек, который живет за счет своего труда, а не тянет с родителей.

Тут, видно, и она получила пинок под столом от дочери, потому что моментально сменила тему:

— Что ж мы забыли об ужине?

И тут-то я совершил непоправимое. Но меня можно было понять: где нам приходилось выпивать? — по вокзалам, забегаловкам, столовым, закусочным, озираясь и скрывая следы. Конечно, мы всегда убирали посудины под стол, которые тут же загадочно куда-то исчезали. И вот, разлив остатки лимонной настойки по хрустальным рюмкам, я не вернул бутылку на стол, а нагнулся и поставил ее к ножке стола под скатерть. Разгибаясь, я увидел расширенные глаза дочки и матери.

Но они были культурные люди, и мы стали пить чай с печеньем, о котором было сказано, что оно испечено Элизой.

— Прошу хвалить, — сказала она.

— Уже одного того, что ты пекла его, достаточно для того, чтоб, не чувствуя его вкуса, его хвалить, — отвечал я цветисто.

— Я не буду, мне не наливай, — сказала Элизе мама.

Тут я чихнул. От пыли этого самого печенья. Странно, что в то время не было принято говорить при чиханье: будьте здоровы. Считалось приличным не заметить чиханья. Но как же не заметить, вот как раз это-то и ханжество. И еще сидели во мне воспоминания детства, когда дед мой чихнул, а я не поздравил. Тогда он помолчал, помолчал и с чувством произнес: «Будь здоров, Яков Иванович, спасибо, Владимир Николаевич!» Дед мой лежал в сырой земле, а внук его чихнул в благородном обществе, обошелся посредством запасенного платка и сообщил: «Чиханье — признак здоровья».

Элиза воздела руки.

Я стал одеваться и прощаться. Вышла в прихожую и мама Элизы. Я звал обеих на лыжную прогулку за город.

— Я прокатную базу знаю, там никогда очереди нет. Я бы пораньше поехал.

— Нет-нет, спасибо, я уже стара. Эля как хочет, а я... увольте.

— Какая ж вы старая, — я и напоследок хотел понравиться, — у нас знаете как про таких, как вы, говорят?

— Как?

— Такую тещу, так и жены не надо.

Тут уж воздела руки будущая теща. Я же решил, что комплимент мой понравился.

Все мое недостойное поведение, вся моя сверхлапотность были изложены мне Элизою с негодованием на следующий же день. И я решил, что дело кончено, и начал переживать. Вдруг еще через день приходит Элиза на занятия и бросает мне записку: «Мама говорит, что и медведей учат танцевать. Проводи меня. Э.».

А я уж за истекшие две ночи написал поэму в столь чтимом Элизой новаторском жанре. «Рвался к тебе как к костылю с постели безногий, страдал, будто курево в потемках ища. Поздно: любовь прощает многое, но вот это (что «это»?) нельзя прощать... Туман рваной марлей виснет, а ты зябнешь в очереди за сигаретами «Висант» (тогда это были модные сигареты, а женщины, тем более девушки, еще только-только начинали баловаться, у нас на курсе было три курящих девчонки, Элиза из них). Судите! В свидетелях ее заплаканные ресницы (с чего я взял, что она плакала?), судите мою неуместную гордость, блестящую, пока крутятся спицы», ну и так далее.

Я вновь явился на Арбате, вновь выдержал спор о литературе, но виделось, что для Элизы не спор важен, а поддразнивание меня, что мои мнения ее мнения не своротят, а ее мнения, по ее мнению, это мнения культурного общества. Я еще должен был заслужить право войти в него. На это мне намекалось, и совершенно впрямую.

— Тебе нельзя носить такую шапку, тебе нужна из жесткого меха с козырьком. Тебе нужно кожаное пальто. А знаешь, какие тебе нужны ботинки?

— А знаешь, что тебе нужно прочитать? — перебивал я.

— Знаю. Тебе нужна рубашка с накладными (я уж не помню, то ли планками, то ли карманами).

Еще Элиза садилась на спинку дивана, на котором сидел я, и оказывалось, что я сижу у ее ног, ерошила волосы (было что ерошить) и спрашивала:

— Тебе удобно будет заниматься в этой комнате? Представь, это твой кабинет. Так поставим стол. Или так? Я буду входить на цыпочках, класть перед тобой тартинки и миндаль, ставить чашечку кофе. Но, знаешь, нам лучше занять большую комнату. Я думаю, ты скажешь по-мужски, чтоб мама перешла в эту.

Элиза выдала мне тайну разговора про спорт. У ее мамы были связи в какой-то центральной газете, куда могли меня устроить в спортивный отдел. Все подходило: национальность, партийность, образование немного было непрофильным, но ведь на то и знакомства, чтоб что-то преодолеть.

Но чем была хуже моя дорогая сердцу «За мясную индустрию»? И на вечернее я не собирался, привязавшись к курсу. Делить газетчиков по сортам в зависимости от того, центральный это орган или орган парткома предприятия, я не могу до сих пор. В многотиражке не соврешь, а соврешь, так тебе сразу это скажут. Нет, не покинул я родное «За мясо», как называли нас в типографии «Московской правды», где мы печатали тираж. Нашу, а было в типографии свыше ста многотиражек, всегда пускали без очереди. Честно сказать, не бескорыстно — мы привозили к праздникам талоны на свиные и говяжьи ножки для холодца, что ж, в конце концов, живые люди. Зато и в цехе клише, и наборном, и печатном нам был зеленый свет.

Переговорив с мамой, Элиза вновь привезла мне ее слова:

— И чем ты ей так понравился? Во-первых, она поражена, что ты пренебрегаешь такой работой. Ведь командировки за гра-пи-цу! А во-вторых, велела за тебя держаться. Дивная женщина моя мама...

И поездки на Арбат стали регулярными.

Любимым занятием Элизы было упрекать меня в невежестве. Сидим, говорим о Маяковском, вдруг она вскакивает, дергает меня за собой за руку, впрыгивает в комнату матери и кричит:

— Мама, он не знает, что Эльза Триоле и Лиля Брик родные сестры.

— Но узнал же! — вдвигался я следом. — И спасибо, что узнал. Не ты, так другой бы кто сказал.

— А кто еще тебе скажет, что Майя Плисецкая их племянница?

— Мало ли кто кому брат да сват, — защищался я. — Такие знания ума не прибавляют. Все кругом род-

ня. Я совсем Фамусова не осуждаю, ведь «как не порадеть родному человечку»? Ко мне в общежитие кто приезжает из родни, я тоже помогаю: на Красную площадь, в Кремль свожу, по магазинам сопровождаю, в музеи.

— Но мы же гибнем от блата, — воздевала руки мамаша.

— Конечно! — радовался я поддержке. — Взять торговлю или хоть эстраду. Как они на ней поют, многие же так поют, но все же на эстраде не уместятся и своих тянут. А потом раз-два — и вдолбили, что появилась хорошая певица, мы и верим. А она-то знает, что она плохая, и тем более хороших не пускает.

— Напиши статью, — советовала Элиза.

— Это у них тоже отработано, скажут: завистник.

— Какой же журналист из тебя выйдет, если ты заранее сдаешься?

— Я не то чтобы сдаюсь, — я потихоньку тянул Элизу за поясок халата обратно. — Я не сдаюсь, я знаю, что борьба может быть одна: творчество!

— О, какие мы! Чувствуешь, мам?

— Но в самом же деле — нельзя же по блату пройти по канату. Я еще на эту тему стих напишу: «Кто сможет по блату пройти по канату, вот тут-то родня обнаружит утрату...» и в таком духе. Ну! Или напиши по блату «Капитанскую дочку», это можно по блату о ней сколько угодно писать, а толку!

Мама Элизы отсылала нас к себе.

В другой раз, иногда в то же свидание, Элиза возмущенно волокла меня на новый правеж:

— Мам, он заколебал меня своим крестьянством.

— Что это за слово, Элиза?

— Это жаргонное слово, — объяснял я, — но видишь, Элиза, даже и в этом ты невольно подчеркиваешь превосходство деревни, там рождается и живет русский язык, а здесь жаргоны.

— Элиза, сдайся раз и навсегда, — советовала мама.

Воцарялось молчание: яснее ясного был тонкий намек на толстые обстоятельства.

— Нет, — решала Элиза, — еще повзбрыкиваю.

— Смотри сама, — отворачивалась к телевизору мамаша.

У Элизы и ее мамы были совершенно гениальные соседи, а у них исключительно гениальные дети. Отцы чего-то открывали, созидали, строили в выходные дачи по индивидуальным проектам, а занятия гениальных детей

были слышны непрерывно — звуки скрипок продирали даже капитальные арбатские стены. Иногда Элиза убегала «вспомнить детство», в детстве она тоже играла на скрипке, и оставляла меня с мамашей.

— Это очень правильно, — одобрял я соседей, — что с детства учат. И возможности есть.

— Вас не учили, — сочувствовала мамаша.

— Какой там! Может, и стояли где по клубам рояли, зто же дрова, — подделывался я под мамашу, — разве ж дотуда когда дойдет настоящий, беккеровский. А! — окончательно предавал я земляков. — Им хоть каждому по скрипке Страдивари дай, все равно...

— Что все равно?

— Разве у нас кому дадут высунуться. Вот кто-нибудь поет, какой-нибудь парень, его по башке: подумаешь, Шаляпин. Или кто рисует, его тоже по башке: подумаешь, Репин! Я, например, тянулся к писанине, книжки читал, меня запечным тараканом прозвали, а напечатался в районке, стали писарем дразнить. Пальцем показывали: ишь, Лев Толстой. А у вас здесь очень правильно, с молодых лет поддерживать, внушать талант. Он поверит в себя, потом и идет по жизни как белый человек, потом и попробуй, откажи ему. А то, что моих отовсюду выпинывают, так им и надо.

— Но вы же поступили.

— Так у меня стажу шесть лет. С армией. А я, кстати, до армии два раза поступал. Если б еще не приняли, тут уж я бы раскипятился. Нас ведь самоварами зовут, — выдавал я все пошехонские секреты, — мы ведь очень долго греемся, но уж если раскипятимся — туши свет, сливай воду.

— Ах, пет Элизы, она б вас поймала на жаргонных оборотах.

— Город портит, — валил я свою вину на город, но признавался тут же: — Но зто, правда, «сливай воду», «туши свет», «рви когти» мы и в армии говорили. Это-то, может, для меня и хорошо, — возвращался я к теме разговора, что шесть лет после школы не мог поступить, — знание жизни, а кто-то и отчаялся...

— Значит, вы считаете, что знаете жизнь? — щурилась на меня мамаша Элизы.

— Да где уж всю-то ее узнать, так, частями, — скромничал я для вида, я ведь полагал, что жизнь меня ничем более не удивит: видывал виды.

Мамаша стучала в стенку: «Элиза, двенадцатый час».

И много-много раз я мог бы петь популярную тогда песню: «Последний троллейбус мне двери открыл».

А утром, под звуки гимна, подъем, умывание на своем этаже, учебники за пазуху и бегом к электричке.

Думаю, что только энергия молодости могла вынести темп тех лет нашей жизни, похожей на музыку Свиридова «Время, вперед».

Пройдя тяжким путем познания непонятно какой длины дорогу, я вспоминаю студенческие годы, то незабвенное время любви к Москве, тоски по милой Вятке, и, ах, если бы можно было воскликнуть:

«Вернись, я все прощу!»

Прощу все себе, а не времени, так как чего валить на время, которое зависит от нас. Но в том времени, что от нас зависело? Армия и студенчество заслонили перемены, происходящие в остальной жизни: укрупняли районы, РТС, переименованные из МТС, переименовывали в «Сельхозтехнику», создавали главки и совнархозы, делили райкомы на промышленные и сельскохозяйственные...

— Ну, что еще сегодня новенького? — говорили мы по утрам, раскрывая газеты. И однажды, в октябре шестьдесят четвертого, было новенькое — Хрущев попросился на пенсию. В то утро в электричках, метро, автобусах лиц не было видно — одни белые полотна газет. Слово «волюнтаризм» было названо и осуждено.

Но повторяю, как-то все не касалось нас, занятых институтом, работой, книгами, любовью. И — доро́гой. Ведь это Москва. Гоголевский гимн дороге, ее врачующей силе, благодарность тем чудным замыслам, что родились в ней, как не подходил он к заколдованному кругу от общежития к работе, от работы к институту, от института к общежитию, с заездом иногда в кино, в театр, к подъезду провожаемой девушки; и опять от общежития к работе и т. д. Дорога в день съедала самое малое три-четыре часа. Это одна из причин, что мы самый читающий народ в мире, так как у нас всюду читают: в автобусах, электричках, метро, троллейбусах, трамваях. А где и когда читать? Раз в метро женщина в годах сделала мне замечание. Я читал в перчатках, хотя по

осени (начинался второй курс) не было еще холодно. Читал в перчатках и получил замечание. Сконфузясь, защитился тем, что руки-де болят. Ничего они не болели, перчатки эти были первые в жизни, гордился. Еще бы — каждый палец пристроен. Помню, читал историческую хрестоматию Сиповского. Со стыда притворился, что надо выходить, вышел на первой же платформе, содрал перчатки и сунул в карман. И к вечеру одну потерял, а вторую выбросил вслед, чтобы догоняла пару. И с тех пор так навсегда — не держатся у меня перчатки, как бы хороши ни были. И всерьез прошу жену, чтоб как маленькому сделала тесемку для перчаток, пропустив ее в рукава и скрепив перчатки с курткой.

Газета, институт, общественные нагрузки, научное студенческое общество (доклады по первым повестям Быкова, Бондарева, Бакланова, по повести Калинина «Эхо войны»), самодеятельность, литобъединение «Родник», газета «Народный учитель», стенгазеты курса и факультета, рукописные журналы с энергичными названиями «Молодо-зелено» и «Кто во что горазд» заполняли все дни. На первый курс после нас пришли московские ребята, они в пику нам стали выпускать журнал «Литэра», то есть вроде бы и литера — буква, но и литературная эра. Они теперь в основном критики. А ночные наши бдения! Память и любознательность были цепкими, до сих пор отрывками сохранились споры, иные интересные, иные от возраста. Кто нужнее — глупый или правдивый? Правдивый необязательно глуп, но глупый обязательно правдив. Каков диспут? И можно ли представить, что спорят умные люди? Но вот поумнее: как жить не как все, если живешь среди всех? Жестокость или благо требовать невозможного? Вот примерно такие. Все это нам простительно, тем более на философии нам сказали, что человечество вообще живет в предыстории, а раз в предыстории, чего с нас взять. Прошло в то время незаурядное событие — попытка реформы русского языка. Ну ладно, мы-то студенты, но взрослые люди со знаниями, остепененные и академически застрахованные от упрека в неумности, всерьез обсуждали: как писать: заяц или заец? До сих пор не могу смириться, что одно слово и одно его значение (подмышки) пишется отдельно — под мышки. А ведь я филолог по образованию, то есть не глупее других. Или, получается, фил-олух, как шутили мы друг над другом. Статью Леонова в защиту русского языка мы

зачитали до дыр. «Это не первое нашествие на русский язык, — писал он, — но последнее ли?»

В этой круговерти дороги, работы, занятий было много хорошего, занятость оберегает во многом от плохого. Занятость, и добавлю, ограниченность в средствах. Нам еще сверх программы ввели преподавание военного дела, до или после занятий. Это смешило нас, отслуживших. Нас учили поворотам налево и направо, нас, научивших этому не одну сотню новобранцев. Мы издевались над преподавателем как могли, хотя понимали, что он мужик неплохой. Мишку мы звали «сено-солома» и избрали командиром взвода. Но, надо знать Мишку, это ему льстило и, представьте себе, шло. Маршировали мы вразнобой, уча строевую, кричали на весь стадион на мотив «Прощания славянки»: «Мы идем, нас ведут, нам не хочется...» Сдавая зачет по противохимической защите, всерьез, гвардейски преданно глядя на преподавателя, говорили: «В Советском Союзе головы делятся на три размера: первый, второй и третий, дальше по величине размеров начинаются два лошадиных номера, но, товарищ подполковник, надо и об остальных животных подумать, у них ведь нету простыней, чтоб, завернувшись, полэти на кладбище».

Подполковник строил нас, Мишка, алея ушами, докладывал, что в строю столько-то, подполковник обводил нас взглядом и, щурясь, спрашивал:

— Айесли война?

— Повезем патроны, — высовывался Лева.

— Р-разговоры! Айесли война, кто будет воевать? Пушкин? Убит! Лермонтов? Убит! Я? Отвоевался!

Думаю, он и сам понимал, что смешно учить без пяти минут офицеров запаса элементарным вещам, ибо ставил нам отличные оценки.

Занятость уберегла нас от заразы модой. А уж эта зараза прилипчивей смолы. И, как следствие, это надо запомнить, уберегла от внимания таких девушек, которые обращают внимание на моду. Ставишь на первое место внешность — сама такая. Убереженное от моды время ушло на дело, а дело — это то, ради чего и дается жизнь. Дело — стратегия, пути к нему — тактика, а уж преимущества стратегии мы сдавали на той же философии.

Образ студента — чудаковатого очкарика, поглощенного наукой, не замечающего окружающего, девушек, — образ этот выдуман: студенты полнокровны. Да, заня-

тость не может не лишать чего-то, делать человека даже смешным. Например, я не заметил, что надел разные носки. Элиза заметила — и хохотать. Издевательски хохотать, делиться восторгом с подругами, высмеивать. Конечно, мне больно. Мне бы в те годы прочесть где-то или выдумать, что рассеянность — признак сосредоточенности. В довершение к разным носкам Элизе вздумалось — шалунья — испытать мое терпение. Попросила поехать с ней к подруге к Павелецкому вокзалу. У Театрального музея имени Бахрушина просила немного подождать. Я ждал два часа. Мороз. Я в своем пальтишке. Спрашивается, любит ли девушка юношу, если не жалеет его? Вышла и, совершенно иезуитски пожав плечами, заметила: «Не ушел? Я б ушла. Чтоб столько ждать? Нет в тебе гордости».

Это даже не женская логика, это какой-то женский силлогизм. Как восклицали мы в те времена: вот и верь после этого людям.

Я слег. Не то чтоб слег, но слаб был, температурил. Предаваясь варварскому способу излечения, я и здоровых друзей в него втянул, и на занятия мы не ходили. Правда, на третье утро вышли к платформе — шел товарный поезд. Мы загадали — будет семьдесят вагонов — поедем в институт, а нет — не судьба, пребудем в темноте. Вагоны нескончаемо грохотали. Испугавшись, что их будет все сто — порожняк, мы повернули в общежитие. Как больного, друзья отправили меня чистить картошку, сами пошли в здание, названное французским словом «магазин». Я чистил и сочинял: «На небе звезды-веснушки стынут на щеках зорь. Не могу головы от подушки приподнять, вот проклятая хворь. Сердобольный комсорг Наташка натащила лекарств с утра, все напрасно, опять рубашка от жары и кашля мокра. Но довольно в кроватной сети забываться простудным сном, еду, как в больничной карете, на трамвае тридцать седьмом». Вот ведь что такое жизнь и поэзия, в жизни никуда не поехал, а на словах сочинил. Тридцать седьмой трамвай ходил, да и сейчас ходит от Комсомольской площади до нашего почти института. Вагоны были только другие, да и другие сейчас в них контролеры, посерьезнее Мишки.

В разгар лечения в общежитие явились Элиза и Надя — секретарь комсомольской организации факультета. Им сказали: «Вы или садитесь с нами, или не смейте делать замечания». Они удалились. Излечение про-

должало совершать витки по спирали, руководствуясь лозунгом: рожденные пить, любить не могут. А назавтра наутро и вагоны считать не пошли, назавтра был другой лозунг, о понятии свободы: с утра выпил — весь день свободен.

И опять нам был нанесен визит предупреждения об обязанностях студентов. Элиза отозвала меня в сторону:

— Мама спрашивает, можешь ли ты писать о промышленности?

— Нет, только о сельском хозяйстве.

— Где ты нашел в Москве сельское хозяйство?

— Вот, — отвечал я, показывая на стол, не убранный с вечера и накрытый на неубранное заново.

Проигрыватель со скоростью семьдесят восемь оборотов в минуту извергал танго послевоенных танцплощадок: «Счастье мое я нашел в нашей дружбе с тобой, все для тебя — и любовь и мечты...»

— Так что ответить маме?

— Я и пишу о промышленности. Но связанной с сельским хозяйством. Мясо. Сядь поешь. От мяса не полнеют. Или танцуй. Все это ты, моя любимая, все ты. Или железо куй, иль песни пой, иль села обходи с медведем.

— Если б не мама, я б тебя давно бросила.

— Разве мама вымораживала любовь? Разве я на маме женюсь?

— Я еще подумаю, выходить ли за тебя замуж?

— А я еще подумаю, жениться ли.

Элиза, не присев, удалилась. Я думал, что уж теперь-то все, ибо, на мой взгляд, нахамил ей ужасно. Нет, напослезавтра в вузе был приглашен в первый же перерыв на перекур, в который я должен был прикрывать ее, а она курила от моей сигареты, чтоб не держать самой сигарету, курила и спрашивала, любил я еще когда-нибудь или она первая.

— Конечно, любил, и не однажды. А твои альпинисты?

— Гляциологи! Не смей, это святое.

— Но мои-то чем хуже? Тем, что не умерли? А может, я их убил, только по-другому.

— Однако! У тебя есть дети?

— Я к ним не прикасался.

— К детям?

— Ты все прекрасно понимаешь. — Я чувствовал, что чем грубее с Элизой, тем она вежливей. — Я и тебя, кстати, не касался.

— Какие мы смелые!

Зазвенел звонок, из которого, помню, все годы учебы при исторгании звука сыпались искры. И ничего, звонил.

— Какой же смелый, если не касался?

Подошла Надя, комсомольский секретарь, и попросила дать объяснение, почему мы столько-то дней не были на занятиях.

— Совесть, — отвечали мы, — главный контролер.

И опять я думал, что с Элизой покончено, но нет. Потащила в тот же день в Пушкинский на Кацикояниса и восклицала: «Совершенно Модильяни». Спустя время там же смотрели Кэте Кольвиц. «Совершенно «Капричос» Гойи!» О древнеегипетских фресках: «Совершенный Лансере!»

Тогда мне чуть не привилась эта искусствоведческая привычка облегчать восприятие искусства, уподобляя одно другому. Все со всем сравнимо, но высокое искусство может быть соотнесено лишь с эпохой, в которую создано, и с нами.

Поглощение книг, кино, учебников, выставок, разговоров — все это было на огромной скорости, все, к сожалению, галопом. «В захвате всегда есть скорость, — говорил любимый Есенин, — даешь, разберем потом», а когда потом, когда мы все собирались жить, а жизнь-то и была то, что мы собирались жить когда-то потом.

На вечеринках читали стихи, начиная щеголять переводами с латыни. «О, Сафо фиалкокудрая, — говорили мы красавице Наташе, другой Наташе, не комсоргу, — хотел бы я кой-что сказать тебе на ушко тихонько, но не могу, мне стыд мешает». И красавица Наташа, вознесшая голову в короне прически (тогда стремительно укорачивалась девичья коса — девичья краса, а Наташа держалась), отвечала соответственно стихами Сафо: «О, если б твои помыслы были чисты, разве б ты постеснялся?»

Ввели преподавание эстетики. Мы долго терпели косноязычие профессора (именно к этому периоду относится мое крамольное открытие, что профессор может быть глупым), а однажды всем курсом ушли с эстетики в театр, заявив, что эстетика зовет к искусству, а если мы просидим всю лекцию, то в театр не успеем. Помню, сорвались в имени Вахтангова, помню молодого Абрикосова — Фому Гордеева. Конечно, в перерыве Элиза на виду у всех волокла меня под руку в буфет. В другой раз мы сорвались в Малый театр, а там случилось, что у меня перед ним оторвалась пуговица на пальто, а ве-

шалки давно не было. Элиза могла бы и заметить, да и сам мог бы пришить, но, получив после спектакля пальто, заканчивая, так сказать, театр вешалкой, уже на улице обнаружил, что и пуговица и петелька вверху пришиты. Что и остальные пуговицы укреплены, что подкладка заштопана, словом, выполнен текущий ремонт. Как было после этого не полюбить Малый театр и невольно не вспоминать его все последующие годы, проходя мимо?!

И этот случай, и подобные ему, и хорошие встреченные люди Москвы, ее хотя и судорожная, но все-таки творческая атмосфера, ее улицы, памятники, ее, особенно зимние, солнечные дни, когда мороз ставит на прикол машины и воздух чист, когда на закате или вознесении солнца становишься так, чтобы золотой купол церкви Всех Скорбящих Радости сливался с ним, когда от стайки голубей, выпущенных смелым голубятником, вдруг отделяется один и завинчивается в небо до исчезновения, нет, боюсь зарапортоваться. Люблю Москву, но устаю в ней. Уезжаю и без Москвы долго не могу, примерно так.

Скорость не может не вызвать желание остановки. Представить безудержную тройку — это представить загнанных лошадей. Остановиться мне помогла поэзия. Я бежал с работы на тридцать пятый трамвай через Птичий рынок, через Абельмановскую площадь, и вот бы уже сесть, но не шла рифма. Решил дойти до площади Прямикова, там по набережной Яузы к Дворцовому мосту, там недалеко институт. Сочинял я тогда пьесу в стихах о любви...

Встану у края площади,
От восторга, как в цирке, глупеть:
Машины — дрессированные лошади,
Чуть не скачут за парапет.

Строфа нравилась, но что было делать с рифмой «глупеть — парапет»? Слышится парапеть. Получается пара Петь, два Пети идут и глупеют. Но ведь и любовь не без глупости, оправдывал я себя, а это была поэма о любви, о любви в большом городе, размеры и ритмы описания ее были, как и город, разные:

Город, растящий дома из могил (в смысле ставящий
дома на месте старых кладбищ),
Город, нарушивший рамки приличества,
Город, пытающий на растяг и изгиб,
Город, истязающий кнутом электричества...

Вариант третьей строки: «Город, который меня погубил».

Отлично помню, что именно около Андроникова монастыря, где музей Рублева, я топнул ногой и остановился. И пошел в музей, куда давно собирался, проезжая, торопясь мимо. Шел, переживая внеочередную ссору с Элизой, спешить было не к кому. В тот день я сочинил: «Опять на душе то и се, опять душа нездорова. Махнувши рукой на все, явился в музей Рублева. Но средь старинных икон, в осыпях фрески зыбкой, в ликах русских мадонн увидел твою улыбку». Где же я там видел осыпи фрески, там копии, да и не мозаика, но нужна была рифма. Меня дружно обсмеяли на «Роднике», но там и не то обсмеивали, на обсмеивание все мы мастера.

Шла осень второго курса, я писал об осени: «Отстояла береза лето, выцвел кроны зеленый парус. Скоро будет она одета в подвенечный ломкий стеклярус». За стеклярус оборжали. «Скоро влажным хрустом по озими к нам накатит мороз без жалости, а пока на палитре осени расплескались цвета побежалости». Оборжали и за цвета побежалости. А мне нравится.

Живя в Лосиноостровской, как было не побывать в Загорске, стоящем на нашей «северянке». И в один из дней, помня тем более суровые слова профессора Аксенова: «Вы — русские люди, и вы не бывали в таком месте, где не раз был центр событий Отечества!», — мы отправились. Было с нами много девчонок, они любили с нами бывать. Но еще отступлю, да вообще, что есть жанр воспоминаний, как не постоянные отступления? Как нас было не любить? Дежурили, например, в гардеробе три группы нашего курса, мы девчонок от дежурства освободили, мало того, всю неделю, во все время дежурства, мы не просто подавали пальто в обмен на номерки, но выходили навстречу каждой студентке и каждой подавали пальто в рукава. И никто не сердился, что приходится ждать. Это была сердечная дружба. Ведь знали же все, кроме меня, что Элиза меня из рук не выпустит, а Витьку черноглазка, а Леву томная Тома, которая появилась так, будто всегда имела на Леву права, и он только разводил руками и вздыхал. Мишку в расчет не брали, но в данной поездке в Загорск Мишка хотел взять реванш — он писал многие месяцы курсовую по атеиз-

му и вызывался быть гидом. Ехали, и он постоянно высовывался, чтоб быть на виду. Например, сказал нищему, а их много ходило тогда по электричкам: «Хотите, я вас устрою на работу через адресное бюро, нет, правда», а нам, когда нищий ушел, заметил, что зря подавали, все равно пропьет и что всем не наподаешься.

День поздней золотой осени был солнечный, и сверкание золотых куполов Троице-Сергиевой лавры открылось нам тогда, когда мы спорили

О непознаваемом

Шли от электрички к лавре и подшучивали над сокурсницами, что тут их полюбят монахи, или семинаристы, или слушатели академии, мы не разбирались в различиях этих понятий, что были сокурсницы, а станут попадьями. Студентов духовной академии хотелось увидеть. Хотя бы оттого, что они тоже студенты. Побывав в музее, попив из интереса и для утоления жажды святой воды, мы пошли в сторонку от шума отдохнуть и попали как раз на спор семинаристов и гражданских лиц. Там, за колокольней, была узорная железная изгородь. Мы стали по эту сторону, со стороны музея, семинаристы по ту. С этой стороны говорили: Эйнштейн, относительность, ядро, квант, плазма, дельфины... С той стороны говорили: недосягаемость, вечность, пред-верие, до-верие (именно так они делили слова), еще говорили: небеса, в смысле не небо, а то место, где нет бесов, не-бесы. Смутно это было и легко подлежало недоверию. Наш Мишка, вспомнив курсовую по атеизму, ввязался в спор.

— Бога нет, — сказал он.

— Откуда тогда все? — спросили его с той стороны.

— От природы.

— А природа откуда?

— От космоса, — не давался Мишка.

— А человек откуда?

— Ну, это просто, это эволюция. Папоротники, мхи, лишайники, амебы, простейшие, ну это же просто — эволюция.

— Да этот простейший от обезьяны, — сказали уже с этой стороны, а когда и там и тут засмеялись, неизвестно с какой стороны добавили: — Да еще Дарвин.

И опять замелькали слова и фамилии: Кант, свобода

воли, казуальность, детерминизация... — это с этой стороны. С той: совесть, выбор, душа, бессмертие.

— На бога надейся, а сам не плошай, — опять вылез Мишка. Свалить его в споре было невозможно. — Народная пословица, а народ не может ошибиться, значит, и народ против религии.

— Помилуй, сын мой, — сказал с той стороны ровесник Мишки, — что же в этой пословице безбожного? Это как раз об обязанности человека надеяться на свои силы. Лескова читал? Как полковник полк проверял, как лошади в полку были запущены, воровство и прочее. И все валят друг на друга. Старшие на младших, доходят до рядовых, им валить не на кого. Им только на бога. А он что им скажет? А он скажет: «Я вам не конюх». Самим нельзя плошать.

И вновь мелькали имена и слова. Сошлись на одном слове — прогресс. Прогресс в понимании стремления к совершенству. Сошлись также, что прогресс дело человека, который, как сказали с той стороны, идет впереди всех существ тварного мира.

— Какого? — не потерпел Мишка. — Какого мира? Тварного? Я — тварь.

— Ты можешь себя и не считать, раз ты выше Державина.

— Выше или ниже — будем посмотреть, — отшутился было Мишка, чуя, в чем-то его уличают.

— Читал? Я царь, я раб, я червь, я бог.

— Не беспокойся, читали. Вас тут держат, а мы и в кино и в театры ходим.

— Счастливый ты, — позавидовали насмешливо с той стороны, — и спишь небось спокойно?

— А вы не должны говорить в таком тоне, — взвился, краснея ушами, Мишка, — церковники тем и сильны, что притворно, но внимательно выслушивают исповеди и делают вид сочувствия. А мы, в нашей напряженной жизни, не всегда доходим до каждого человека, и вы его ловите в свои сети!

— Сын мой, ну какое же притворство, когда человеку у нас становится легче.

— А надо, чтоб трудности были непременно, а если вы их снимаете, значит, выключаете человека из активного процесса. — Так победно заявил Мишка и, не замечая сожалеющего, вот именно сочувственного, взгляда, еще добавил: — Может, вы и с горьковским утвержде-

нием не согласны: человек — это звучит гордо? Или вы бы и в лицо писателю сказали, что он тварь?

— Да, перед всевышним.

— Устарелая терминология. Сейчас верят или безграмотные старушки — пережитки прошлого, или сектанты.

И с той и с этой стороны стали расходиться, даже и те, кто произнес слова: квант, плазма, нуклеиновые кислоты. Напоследок ровесник Мишки, протягивая через решетку руку, сказал примирительно:

— Уж хоть пожми в знак дружбы, в знак обещания, что когда-нибудь приложишься.

— Ни-ког-да! И напрасно вы пришли сюда учиться, — отрапортовал Мишка.

— Ну что ж, — сказал семинарист, — прозябай. А с сектантами, сын мой...

— Я вам не сын, и на ты не называйте!

— Хорошо бы, чтоб не сын, да куда тебя денешь. А с сектантами мы боремся сами, и успешнее, чем вы.

— У вас не те методы.

— Уж какие есть.

— Вы отделены от государства, ваше дело обречено!

— То есть и от тебя отделены?

— От меня?! — растерялся Мишка. — Это еще неизвестно, удастся ли это вам. Если неизвестно. — Вдруг он выкинул номер: — Я проникну в ваши ряды и расстрою их изнутри.

Мы стали дергать Мишку сзади, что он истолковал как поощрение.

— Да как же ты проникнешь, — стал горячиться семинарист, — когда тебя видно за версту? — Уже и семинариста его товарищи дергали сзади.

— Как это?

— И свинья, сын мой, когда наедается, то хрюкает довольным и благодарным хрюканьем...

— Уж не хотите ли вы... — начал, щетинясь, Мишка.

— Не хочу, не хочу. Про свинью притча, и, извини, не евангельская, а народная.

— Вы за народ не говорите, мы вам народ не отдадим! — так ораторски закончил Мишка, считая, что последнее слово осталось за ним, ибо семинаристов отнесло как отливом — показался у стен академии седобородый старец в высокой черной шапке.

В электричке Мишка гордо говорил, что еще бы немного и он бы победил окончательно.

— Да если б еще не мешали, я б их сагитировал, не скажу всех, но половина бы в другие вузы перешла.

— Вот бы в наш! — смеялись девчонки, поглядывая на Мишку с уважением.

Помимо этого, говорили о модных тогда спиритах, возникающих по непонятно какому графику раз в тридцать-сорок лет. Кстати, начинал тогда возрождаться интерес к гороскопам. Еще говорили вообще о таинственном, о котором всегда говорить интересно.

— Может, эти монахи видят что-то, а мы не видим.

— Ну, это мистика.

— А если мистика реальна?

Разговор наш обличал наше цыплячье барахтанье в проблеме, но в этой проблеме мелко плавали и постарше нас. Из всего разговора мне особенно понравились слова, что прекрасное не может быть недобрым. Но ведь есть красивые — и злые, думал я. Элиза дремала на моем плече и, по временам, когда ей казалось, что я отвлекаюсь от нее на разговор, подтаскивала мою голову к своей и шептала на ухо: «Ты мой Бетховен, ты тоже напишешь «К Элизе», но только не музыкой, а стихами». — «Конечно, — шептал я, — ведь я же не знаю нотной грамоты». Стихи бились в моей голове, стесняясь ребят, я, под предлогом курения, выходил в тамбур. Но не записывал ничего, стоял, прислонясь к стеклу. Одно открытие поразило меня, и оно из тех, что мучает и сегодня — мне показалось вдруг, что наша жизнь, такая скрученная, занятая, перегоночная, эта жизнь скуднее уже описанной. То есть дело не в жизни, а в уровне описания ее. Ведь куда как интереснее мы живем, чем старосветские помещики, почему же они интересны, а мы нет? То есть вот этот тогдашний ужас, он непрост, как кажется, он в том, что стало вдруг, в какой-то момент, неинтересно жить, хотя непрерывным напором давили новые и новые факты и впечатления жизни, новые и новые знания. И ужас заключался в том, что ничего не изменится, хотя это новое должно же что-то менять, ведь нельзя, невозможно оставаться прежним даже физически, а тем более узнавая другие жизни в другие эпохи. И эта неинтересность непременно, думаю, поражает многих, а от нее дороги к замкнутости, к примирению и к интересу к своему собственному миру. Я и посейчас не до конца понятно выражаюсь. Не оттого, что что-то скрываю, а просто, значит, еще и сейчас не все тут самому ясно. Но почему в какой-то момент становятся неинтересными

новые знакомства, новые люди, впечатления? Почему как дикий шарахаешься от разговора? Почему неинтересно, как о тебе думают? Но последнее, что интересно, почему вдруг это стало неинтересным? А уж если и этот интерес покинет...

— Ну, и долго я буду в разлуке? — выходила в тамбур Элиза. И мы закуривали вдвоем.

Мы оба не знали, что вскоре разлука наступит навсегда, и разлука беспечальная. Это снова от поэзии: «Была без радости любовь, разлука будет без печали», не было с Элизой радости. Уже одно то, что она считала, что облагодетельствует меня и квартирой, и дачей, и машиной, уже одно это могло отравить отношения.

Надвигался диспут, модный тогда,

О физиках и лириках

Нужна ли в космосе ветка сирени? — такой якобы животрепещущий вопрос задавала «Комсомольская правда». Ответ все давали однозначно: да, нужна. Но сколько вариантов! Сколько возможностей поразглагольствовать и ученость показать. Нас на спор вызвали физматовцы. Силы были явно неравны, не в нашу пользу. Парней у нас почти не было, с первокурсниками у нас были разногласия, а как идти на поединок без единства? Кстати, по этимологии, слово «поединок» как раз обозначает событие, происшедшее после единения. Но не со своими же мы идем спорить. Спор, чтоб стать конкретным и напряженным, был огрублен до вопроса: кто нужнее — физики или лирики? Одно то, что физиков везде ставили на первое место, говорило в их пользу.

Мы собрались в старинной аудитории старого здания, где ступени полукругом, полуопоясывая кафедру, восходили к когда-то лепному потолку. На кафедре была укреплена доска, а на ней был начертан именно этот вопрос о том, кто нужнее. Наши девчонки явились на диспут стройными рядами. Это вдохновляло физматовцев, у которых с болельщицами были пустотно. Тут я увидел наконец своего соперника по притязанию на Элизу — громила баскетбольного роста, которого и взяли-то, наверное, для баскетбола. Так я язвительно подумал, но это было недостойно честного соперничества. «Покажи себя», — шепнула Элиза, проходя на переднюю скамью,

проходя мимо физиков, и тому старшекурснику, думаю, шепнула то же, что и мне.

Для начала мы попробовали, упирая на то, что точные науки требуют конкретности, потребовать определить в вопросе о нужности, кому именно или чему именно они и мы нужны, а уж потом биться за степень нужности.

— Это неважно, — заявили физики. — Наука нужна везде.

Им похлопали. Тогда пошла эта мода на КВН и различные состязания в эрудиции, значение человека в глазах общественности зависело не от его качеств, характера, а от суммы нахватанных им знаний.

— Хорошо, — отвечали мы. — Чего же тогда ваш Эйнштейн на скрипочке играет и Достоевского читает, да еще говорит, что это дает ему больше для науки, чем все остальное.

— Он оригинал, — отвечали нам, — это первая позиция, а вторая — это то, что вы сами себя высекли, сразу определили подсобную роль искусства для науки. — Им похлопали. Они даже сели как-то поразвалистей, снисходительно поглядывая. И одеты они были лучше. — Вы еще про Ландау сообщите, — добавили они на бис.

— А вы изучаете физику твердых тел? — спросили мы.

— Дети, это азбука.

— А вы знаете, что печник — это академик твердых тел. Кирпич — твердое тело, не так ли?

— В общем, относительно. Но при чем тут академик?

— А при том, что вашим профессорам печку не сложить.

— Вульгарно! — сказали физики. — Наука и печка!

Но в этом месте им уже не похлопали.

— Алгебра и гармония, — стали мы говорить, но физики пустили в ход домашнюю заготовку. Именно мой соперник встал и прочел стихотворение Пастернака, которое, стреляйте, я три дня назад обозначил закладкой в Элизиной книге. Может, впрочем, совпадение.

— И что это доказывает?

— А то, что вся ваша лирика достижима для нас, а наши формулы — для вас недоступны. Мы — элита, а ваша литература для нас обслуга.

— Ребята, отвечайте, — выскочил кто-то из наших девчонок с верхних рядов.

И опять снисходительные переглядывания и усмешечки физиков.

— Вы скажете, — стали мы наступать, — что мы ничего не понимаем в ваших сложных контурах, в обработке, например, звукового сигнала, так? Не отвечайте, мы ответим сами: да, не понимаем! И не хотим понимать, то есть, может, и захотим, то быстро поймем, подумаешь, бином Ньютона, но зто вы обслуга — уж вы, будьте добры, сделайте так, чтоб была качественной запись Чайковского и Бетховена, чтоб пластинки служили без износа, чтоб звук воспроизводился один к одному, как задумал композитор, а уж мы послушаем, да еще пожалеем, что звуки зти вам недоступны и вам безразлично, по каким звукам настраивать ваши приборы. И что за маниакальность (знали мы, чем громить, знали), что за маниакальность к точности, что за преступная страсть все объяснить. Откуда все? — задали мы вопрос, заданный в давнюю нашу поездку Мишке.

— Болтать вы только умеете с вашей литературой.

— Тогда что же есть общественное мнение? — спросили мы. — И что есть атомная бомба?

— Ну, есть несколько версий, — бодро начали они.

— То-то! И ни одна не подходит. Легче говорить об образовании Земли, а откуда Вселенная? Был день творения?

Захлопали нам, но недоуменно.

— При чем тут лирика? — спросили физматовцы.

— То есть вы хотите сказать, что зто не наше дело — физика, то есть, видите, мы вам даже слова суфлируем. Ну ладно, оставим физику. Нас вот бабушки учили (у нас тоже были домашние заготовки), как вы к бабушкам относитесь? При чем тут бабушки, скажете? Скажете? Ну не пустите же вы бабушек к лазеру и в барокамеру. И дедушек не пустите.

— Отстаньте вы с вашими Аринами Родионовнами.

— То есть наше дело — человек, а ваше наука? А наука для кого? Естественно, для человека. Так? А если вам не нужны старики, значит, они лишние. А зто уже фашизм. — Вот куда мы блистательно вывели, рассчитав ход заранее.

— Ну, знаете, — физики чуть драться не полезли.

— Знаем. Но только ответьте: будут космонавты стариками? Опять же отвечаем за вас: будут. Это ведь только в научной фантастике все с каменными мышцами да молодыми извилинами. Будете вы жалеть космонавтов-стариков, экстремальный случай, будете? Будете, если их будет сто — двести — триста, а если будут города в космосе и сирень там зацветет, хватит вашего качества на

количество? Или опять ставка на элиту? И детей этому будете учить?

Они справедливо не совсем поняли, но обиделись, ибо мы вовсе не соглашались ни в чем уступать первенства, тогда как им оно казалось безусловным. Технократы, конечно, выросли из них.

Поглядывая на Элизу, я видел ее напряженную заинтересованность в исходе поединка. Но уже вначале стало ясно, что ни они, ни мы не уступим, что будем считать свою профессию важнее, и призыв организаторов «пересаживаться по мере убеждений со своих стульев на стулья противоположной команды» остался неподхваченным. Физик, прочитавший Пастернака, получил записку. Прочтя, могу присягнуть, кивнул в сторону Элизы. Вскоре она ушла, и я получил записку. «Прости, разболелась голова, ты держишься молодцом. Только не надо так волноваться. Утром позвони. Э.».

Как поется в популярной частушке: «В клубе жулика судили, судьи все ушли в совет, а девчата вдруг спросили: танцы будут или нет?» Так и у нас все кончилось танцами. Я не танцевал. Мрачный, как обманутый муж на маскараде, стоял я в нише окна, одним своим видом исключая возможность приглашения на дамский вальс. Тогда у меня постоянно в голове вращались три сюжета фантастических рассказов, подстегнутые данным диспутом. Закончу эту главу кратким пересказом их содержания.

Первый. Лампочки, которые распространяют не свет, а темноту. Огромные пространства, над которыми не заходит солнце, но в наказание над какой-то частью территории ввинчивают лампочки, от которых происходит темнота. И не смеют выйти за темный круг под абажуром.

Второй. Непредусмотренный рейс. Будущее. Все налажено — снабжение, дороги, графики жизни. Интернат детей на Луне, чтоб оградить их от земных влияний. Аппаратура, устраняющая последнее, — земные сны и наследственность. Продовольствие идет с Земли. Вдруг сбой. Тут надо было оправдать этот сбой: откуда же он, если все налажено, но без «вдруг» нет ни литературы, ни жизни, а потом — когда-то еще все наладится, да и тем более сбой на Земле, а не на Луне, и вот приходится снаряжать корабль с продовольствием, управляемый корабль. У водителя в интернате сын. Тут столкновение, гибель. Столкновение может быть по двум причинам —

ритм автоматически отлажен и идут автоматы-корабли, с ними и столкновение. Или вторая причина — кому-то не надо, чтоб отец встречался с сыном.

Третий. Если два первых могли быть навеяны начитанностью: черные лампочки могли быть, хотя могли и не быть, — от черного солнца, которое увидел Григорий Мелехов, второй от читаемой на бегу фантастики, — то третий надумался исключительно от тоски по родине. Мне казалось, что из Москвы не выйти, все будет Москва: асфальт, провода, движение. Я и звезды стал различать в армии, чтоб узнать, в какую сторону глядеть к своему дому. И вот — рассказ. Домой! Но все сместилось в ту ночь. Человек знает дорогу по звездам, но звезды сошли со своих мест, образовав невиданные созвездия. Не стало сторон света. Надо идти по рельсам, думает человек, ведь они не сошли с насыпи. И идет по рельсам. Тут я путался, да немудрено — апокалипсическая картина схождения звезд с орбит была не из рядовых. Тут могли быть полустанки, брошенные дома. Взгляд на небо приводил в ужас. Всем думалось, что это не на небе, в каждом отдельном человеке, его психике, все видели по-разному, все думали про других, что они сошли с ума, потом это думали про себя, хотя все были нормальны, но разве нормально жить в ненормальном мире? А вдруг мир доселе был ненормален и скорректировался?

Такие сюжеты. И чтоб было тогда сесть и записать. Уж ясно, что по молодости были б поживей и поневероятней страсти. Например, жить под черным колпаком темноты, зная, что это не полярная ночь, а надолго, навсегда. А почему, а кто виновник? А за что? И его голова и эта черная лампочка.

И этот мужчина, рвущийся к сыну в лунный интернат, и, наконец, это безумие, равное по впечатлению даже не знаю чему. Еще не конец света, но все кончилось. То есть даже не так, не все кончилось, но все перестало быть, каким было от века, а оно уже не для нас, и мы просто пережидаем время кого-то следующих, которых не смутит новый порядок (для нас беспорядок) светил. Тут перебрасывались бы мостики от рассказа к рассказу — ведь и среди светил огромные провалы, темные пятна Вселенной (тогда и о черных дырах начинали говорить), как не представить, что и там горят звезды наоборот, и чья вина, что они захватывают пространство темнотой? Чей меч, чья голова с плеч? И есть ли что-то среднее меж палачом и жертвой? Я говорю не о топоре.

Первым на курсе женился Слава П. Я не упоминал его, как и многих других сокурсников, только от того, что они не жили в общежитии. Арнольд Сидоров, Слава Самсонов, Эдик Туманов, другие точно так же участвовали во всех делах и проделках, бывали у нас. И Слава П. бывал у нас (он, кстати, был первостатейным крикуном на заседаниях «Родника»), читал на вечерах и вечеринках свои стихи, повергая студенток в трепет, — его стихотворение «Тебе» было знаменитым в институте, оно начиналось так: «Лежишь нагая и бесстыжая». И он же умудрился выбрать жену не из своего круга. Он служил в Белоруссии, в Полесье, начитался Куприна, бредил его Олесей, и теоретически доказывал нам, что девушка из простонародья, он так и выражался — «скромная, неизбалованная девушка из простонародья», будет гораздо лучшей женой, чем московская, «все знающая», студентка. Он вывез свою Олесю из мест, где служил, и мы поехали на свадьбу в Раменское, откуда он ездил в институт. Слава оказался ниже невесты, посему натолкал в туфли бумаги, тогда еще не было высоких каблуков. На наши крики «горько!» он не позволял невесте вставать до конца.

Элиза попросила у нее примерить фату, подскочила ко мне, заякорила под руку и закричала:

— Смотримся? Прошу хвалить!

— Горько! — закричала публика.

— А когда свадьба?

— Сессию сдадим и через неделю! — объявила Элиза.

— Ур-ра! — закричала публика.

И фата невесты пошла гулять по девичьим головам.

И не хотелось говорить, а придется — разошелся Слава П. со своей Олесей. Она уехала, прожив с ним едва ли полгода.

Вскоре после свадьбы члены литобъединения «Родник» поехали читать свои стихи и рассказы в подшефный детский дом в Бронницы. Уже и тогда там были не только дети погибших и умерших, но и дети родителей, лишенных родительских прав, дети тех, кто сидел в тюрьмах. Ездили туда на первых курсах часто, потом пореже. Отлично помню, как помногу и жадно писали нам ребята. Мы им тоже. Старались писать весело, ободряюще. Но ближе к выпуску переписка стихла, конечно, по нашей вине. Еще долго детские письма заполняли ячейки почтового ящика в вестибюле института на все почти буквы.

Слава П., опустивший крылья после свадьбы, обещал не читать про нагую и бесстыжую, а шел и учил наизусть Асадова. С вокзала я позвонил Элизе:

— Поедем с нами.

И вдруг она заявила:

— Интересно, куда это ты собрался? И я не поеду, и ты не поедешь.

Я даже растерялся:

— Послушай, ты подумай сама, куда мы едем. Ведь не турпоход.

— Повторяю: и я не поеду, и ты не поедешь.

— Послушай, ты же знаешь, я поеду, должен ехать.

— Если поедешь, можешь вообще больше не звонить, понял?

— Понял, — пошутил я, — понял, чем старик старуху донял.

— Идиотизм какой! Немедленно приезжай.

— Вернусь и приеду.

— Будет поздно.

Мы поехали, выступили. Еще, в добавление к детдомовцам, привели отделение полиомиелитных детей. Они сели впереди всех, на полу, накострив перед собой костыли. Было тяжело выступать, но все равно хорошо, что выступили. Нас не отпустили от обеда, накормили.

Только вышли, как сразу стали спорить. Задиристый Евгений Сергеев, только что читавший стихи про храм, такой высокий, что «аж видно Волоколамск, аж страшно колоколам», набросился на меня, как на редактора журнала «Кто во что горазд», упрекая в неясности позиции. Они же — он, Поздняев, Быховский, Марцинкевич, Амурский, — они теперь критики, кроме Марцинкевича, представляли как раз журнал с пижонистым названием «Литэра».

— Да у вас-то какая позиция? — отвечал я вопросом.

— А вот я напишу статью под названием «Обидьтесь, Фирсов и Вознесенский», что ты ответишь? Могу, в порядке помощи в ответе, сказать, что мысль такова: один по-плохому традиционен, другой по-плохому новатор. Крайности сходятся. Гиперболы, параболы, прямые — это все геометрия, согласен. Жаль, что мы это еще не сказали физикам. То-то им близок Вознесенский, он — схема, чертеж, сравнение с конструкцией.

— Но ведь новаторство традиционно.

— Ты сейчас не стравливай на ветер мысли, прибереги, — заметил Сергеев.

— А давайте выпьем! — закричал женатый Слава П.

— Нет, вы все-таки оцените название: «Обидьтесь, Фирсов и Вознесенский». Прямо как «Новый мир» и «Октябрь». Так будешь писать ответную статью?

— Буду.

Статьи эти были написаны и изданы тиражом в одну машинописную закладку, и тут же последовало гонение на тех и других от ректора нашего вуза, крупного физика Ноздрева, писавшего стихи. Рецензия на его первую книжку так и называлась — «И физик и лирик». Напечатанная, конечно, не в наших журналах.

Так вот, вернувшись из детдома, я прямо с Казанского решил мчаться к Элизе. В руках был рукодельный медвежонок, подаренный мне детьми. Конечно, я решил его переподарить, забыв, что дареное, да еще такое дорогое, не дарят. Я позвонил, что мчусь.

— Я же тебе утром сказала, чтоб ты больше не звонил.

— Ты знаешь, со мной так нельзя поступать.

— А со мной можно?

— Я ездил не на пикник. — Во мне начинала вздрагивать обида.

— Это безразлично.

— Я приеду сейчас.

— Ни за что!

— Успокойся, я позвоню через час.

— Скажу то же самое.

— Хорошо, больше никогда не позвоню.

И, повесив трубку и выйдя на гигантскую площадь трех вокзалов, которую тогдашние поэты в залетном усердии сравнивали с русской тройкой (только странно, что лошади в данной тройке рвались в разные стороны), выйдя на эту площадь, я, отлично помню, ощутил ликующую легкость освобождения.

А медвежонок встал у меня в изголовье на тумбочку, и прекрасно.

В моей жизни наступал

Музыкальный период

Студентки наши были красивы все. Это я говорю с полной ответственностью. Они всегда все прекрасны. Но нетерпеливые из них, кто боясь не выйти замуж, кто не надеясь, что разглядят, берут дело в свои руки. Выра-

жение: красота бросается в глаза — не лучшим образом говорит о красоте. Чего ей бросаться, не собака. Но тут же есть слепота молодости, особенно в юношах. Торопливость жизни не дает рассмотреть красоту внутреннюю, душевную, ту красоту, с которой придется жить, а внешняя, которая временна, заметна. А тем более сделанная, эффектная, она прямо-таки кричит, попробуй не обернись на крик. Я и обернулся.

Это была Ирина. Ее сравнивали, будто больше не с кем, с «Незнакомкой» Крамского или, будто они эталон, с актрисами. Красива была, красоту усиливала умелой косметикой. Она занималась музыкой, кончила музыкальную школу, распространяла по линии комитета ВЛКСМ абонементы на музыкальные вечера.

— Как ты сюда-то попала? — спрашивал я ее.

— «Из всех искусств одной любви музыка уступает», — отвечала Ирина. — Пришла в МОПИ, чтоб с тобой встретиться. Чтоб тебя взять в хорошие руки.

— Меня уж брали, — отвечал я грубовато. — И что у вас у всех бзик (я нахватался городских выражений) воспитывать?

Эта Ирина имела большое влияние на меня. Не в личном плане, а, скажем в просветительском. Обрезавшись на Нине и Элизе, поняв, что не был ни ими любим, ни сам не любил, решил я, что мне и не дано, чтоб меня любили. Видно, так устроен, и обижаться нечего. Проживу и необласканным. Мне же дано любить, я это знал. Я и на Ирине был готов жениться, несмотря на все то же сознание ею своего превосходства. Мне даже нравилось, что меня часто принимали за дурачка. Возглас: «Мы этого от тебя не ожидали» — после того, как я что-то свершал, долго преследовал меня и еще не отступился. Ирина приобщала меня к миру искусства. Это было посерьезнее мечты Элизы купить мне шапку с козырьком. Я за многое благодарен Ирине. Она через связи доставала контрамарки, как бы я, придя с улицы, мог услышать Рихтера, например. Легко сказать, что я многого не понимал, мне еще легче сказать, что и сейчас многого не понимаю в музыке, но наш слух, данный нам природой, независимо от нас избирает звуки, оставляет их в памяти, они трогают сознание, сердце, они выращивают нас. Надо довериться им, а не заставлять насильно себя слушать, вот и весь секрет.

— Ты любишь воду? — спрашивала Ирина, водя меня по фойе зала имени Чайковского.

— А что, разве я неумытый? — меня сердил этот «мальвинизм» — постоянная попытка воспитывать. Да еще тогда добавила модная Эдита Пьеха. Женским басом она часто пела: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Крайне вредная песня.

Ирина спрашивала о воде на пейзажах. Как будто я не бывал десятки раз в Третьяковке. Нет, ей льстило, да и было проще, изображать, что она начинает с нуля. Или спрашивала, щурясь, о битах информации в музыке.

Маме Ирины, врачу, я очень понравился. Уже умел открывать шампанское, уже напором и частотой визитов выжил конкурента в очках и со скрипочкой, что было к удовольствию мамаши. Уже и с мамашей вел беседы в основном на медицинские темы.

— А у вас там, в вашей Вятке (она говорила будто о загранице), есть облепиха?

— Есть, — отвечал я, — у нас, как в Турции, все есть. Но вы знаете (забыл, как ее звали, допустим, Любовь Борисовна), знаете, Любовь Борисовна, это все предрассудки, что можно от чего-то излечиться. Болезнь — благо. Конечно, тут и Толстой мне помогает в этом убеждении, но ведь правда, что когда приглушаются физические силы, то духовные возрастают. И нет панацеи. Смотрите, набросились на пенициллин — панацея! Нет. Или что другое, нет единого лекарства. И облепиха не спасет.

Ирина, в отличие от Элизы, воспитанно не вступала в разговор, не обрывала меня, но копила замечания для разговора наедине. Любовь Борисовна была попроще Элизиной мамы, писать о спорте не агитировала, говорить со мной любила. Достижение это или несчастье — нравиться предполагаемым тещам?

— Не спасет, но поможет, облегчит боль, устранит, — поправляли меня.

— С облепихой согласен, неудачно. Но вообще. Давайте рассудим: здоровье — стратегия, так?

— Допустим.

— А действие лекарства — тактика. Это обман организма, то есть не обман, а поблажка. Больно — лекарство устраняет боль. Но организм привыкает, что не надо самому бороться, так как хозяин (хозяйка) поможет таблеткой. И самая худшая болезнь — излечивать себя лекарствами. Эта болезнь неизлечима. Почти неизлечима.

— Но как же вся фармацевтика? — Любовь Борисовна весело смотрела на меня.

— А так. Больно — терпеть. Организм подождет-подождет, помощи ждать неоткуда, поднатужится и сам справится.

— А не справится?

— Значит, такой организм, такая судьба, — жестоко отвечал я.

Любовь Борисовна смеялась. Ей нравилась такая логика.

— Или взять сроки жизни мужчин, почему короче, чем у женщин? Мужчины совестливее. Чем доказать? Они, собравшись, стараются выглядеть похуже друг перед другом, а женщины чванятся. Лучшее лекарство для улучшения самочувствия женщины — сказать что-то плохое про другую женщину. Не впрямую сказать, тонко, и чем тоньше, тем изысканней считается собеседник.

— В Вятке все такие? — спрашивала Любовь Борисовна, отсылая Ирину за чаем. А больше того Ирина и сама уходила. Звонить, или ей звонили. Разговоры по часу меня потрясали. Безумно хотелось подслушать, о чем говорят по часу? Но Любовь Борисовна не отпускала. А мы с ней о чем по три часа говорили?

— Что-то не видно, что мужчины переживают.

— Переживания скрыты, это еще ужасней.

— Но говорить о переживаниях — не значит переживать.

— Это упреждение переживания. Исходя из опыта.

— А вы опытный? — щурилась Любовь Борисовна. — Ира говорит, вы пишете, она приносила стихи в институтской вашей газете. Мне понравились.

— Какие? — искренне радуясь новому читателю, спрашивал я.

— Н-не помню, — отвечала она, — но хорошие. Я даже, кажется, сохранила. Цените.

Тут я похлеще Мишки распускал перья и говорил об открытии мира и литературы адекватным опытным путем. «Нужна лаборатория, полигон».

— Например, можно так сказать, что любовь — это опытное поле?

— Для стихов? Конечно!

— Я вам Ирину не отдам. Она молода и для опытов не годится. Лучше вам практиковать на опытных.

Эта Любовь Борисовна все поддразнивала меня, что очень злило Ирину. Ирина выговаривала мне, но за что — я совершенно не понимал. Мне даже нравились поддразнивания, они касались в основном моего говора,

юмора, Любовь Борисовна забавлялась, я же думал, что угождаю будущей теще.

— Я ваш юмор городской не принимаю, — говорил я. — В нем цинизм. Пример? Московские ребята рассказывали. Лежит на тротуаре коробка из-под торта. Конечно, идет человек, хочется пнуть. Пинает. А под коробкой два кирпича. Травма. Это смешно?

— Вот и боль, которую, по вашей теории, не надо лечить.

— Совесть надо лечить. Или цепляют за нитку кошелек, прячутся за кустами, бросают кошелек на асфальт. Кто-то идет, нагибается, а кошелек поехал от него.

— Но согласитесь, это смешно. И издевка над мелкими чувствами.

— Да он в бюро находок хотел отнести, объявление повесить.

— Ой, не скажите.

— Вот вам и доказательство вашей испорченности. Вы заодно с насмешниками, вы не верите в бескорыстие.

— Хорошо, хорошо, — торопливо говорила Любовь Борисовна. — Интересно, какие же шутки вас устраивают?

— Какие у нас шутки, когда мы не люди.

— Как не люди?

— Да так. Кто от кого, кто от обезьяны, а мы от медведей.

Я замечал, что Любовь Борисовна заливается смехом тогда, когда в шутках моих было самоуничижение, когда же юмор через хитринку говорил о смекалке и способностях земляков, тут она смеялась поменьше.

— Мы — вятские все могём, — заверял я. — Только вот часы нам не отремонтировать: топором негде размахнуться, и лестницу не могём сделать: долбежки много.

Полагаю, я был более забавен для матери, чем для дочери. Думаю, они расходились во мнениях обо мне. Ирина могла сердиться на мать, что та портит меня поощрением подобных разговоров, а впрочем, не знаю. Возведя однажды очи от моего произношения слов: кофэ, кафе, выбóра, Ирина дождалась от меня ответного возмущения, чем же лучше ее жаргонизмы, например, словечко тогдашнее — лажа (лажать, лаженуться). «А еще к музыке приобщаешь. Ну-ка скажи наизусть «Степь да степь кругом»!»

Но я был бы не прав, представив дело так, что Ирина мне не нравилась. Даже очень нравилась. Уже и стихи появились. «Слова отыщу и стихами порадую о любви наивной и чистой. Ты вспомни, ночь, радиатор в парадном, горячий такой, ребристый. О как ты нежно к нему прижималась...» Далее следовало сожаление, что жаль, что к радиатору, а не ко мне. Еще я Ирине благодарен, что стал обращать внимание на язык. И свой и чужой. Свой, защищая от нападок, я превозносил как незамутненную норму лексики и семантики. «Мы не знали ни татаро-монгольского ига, ни крепостного права. Мы как говорим, так и пишем. И ваше это ма-асковское аканье мне не указ». Но для себя я старался говорить — не чо, а што, не выбора́, а выборы, не кофэ, а кофе и тому подобное, то есть тренируя себя в вещах, легко достижимых. Но уже и Пушкин коснулся моего влекущегося к нему разума, уже щеголял я знанием того, что слово «хладнокровие» (у Пушкина вычитал) дурно переведенное с французского сочетание, а надо правильно — хладномыслие.

Заметив склонность мамы к разговорам со мной, Ирина поубавила свои телефонные разговоры, и мы зачастили в театры и концертные залы. Я был введен в круг Ирины, то есть не введен, да и круга я там не заметил, а просто познакомился с молодыми людьми, слушающими музыку, которая не звучала по радио. «Что у нас, — говорили они, — что у нас за эстрадная музыка. Один Эдди Рознер». На концерте Рознера в саду имени Баумана мы с Ириной побывали, и я был согласен, что это хуже, чем то, что слышалось с привезенных из-за границы пленок. Элвис Пресли, юные «битлы», немного Шарля Азнавура. Всего не упомнишь. Сборища при свечах напоминали общества спиритов, разговоры сводились опять же к тому, что мы отстаем не только в сельском хозяйстве, но в искусстве особенно. Мне повезло увидеть избранных из этой компании в непринужденной обстановке, в однодневной поездке, куда взяла Ирина. Любители Пресли, выпив, орали в электричке: «Веселися, бабка, веселися, Любка, веселися ты моя, сизая голубка». Песня нескончаемая — разговор старика и старухи о жизни. Там любые варианты. Старуха спрашивает: «Где же взять мне денег, милый мой дедочек, где же взять мне денег, сизый голубочек?» Мужская половина отвечает, ударяя кулаком по гитаре: «Спекулируй, бабка, спекулируй, Любка, спекулируй ты моя, сизая голубка».

Это очень хорошо, что я видел этих эстетов без их пленок и разговоров и процеживания слов, слов, будто золотых, так их мало тратилось. Трубки они держали в зубах «под Хэма», и свитера у них были грубой вязки «под Хэма». Стильный был народ.

Но ведь чуть не колебнулся тогда, чуть не стал, говоря языком нынешней молодежи, «балдеть» над джазом, блюзом, битлзами. Пусть их. И Армстронг и кто угодно, как говорится, не хуже других, но считать, что вот это-то искусство и есть — это увольте.

Концерты продолжались. Из событий, которым я безумно гордился, был концерт тогда молодого, но уже знаменитого земляка моего баса Александра Ведерникова. Меня распирало от гордости. Я больше не Ведерникова слушал, а вертелся, наблюдая, чтоб все слушали, чтоб не смели и шевелиться — наш поет!

— И Шаляпин наш, — захлебывался я от счастья, провожая Ирину к горячему радиатору в подъезде.

— И Эдит Пиаф ваша?

— Конечно! Не здесь же ей быть понятой. Здесь, где юмор от того, сегодня видел, как два балбеса моих лет стоят у парапета над подземным переходом и роняют на мрамор пятак. Он падает, звеня и подпрыгивая, они ловят, а люди, многие, начинают глядеть под ноги, искать. Тут расчет на смех, мол, чего искать, раз не у вас упало? Или на что другое? Может, объяснишь? А помнишь, чем я тебя насмешил? — мстительно говорил я.— Я вытер ноги не о ваш коврик, а о коврик соседей и пошутил, что не смею, недостоин, чтоб мои подошвы вытирались о ваш коврик, мои подошвы недостойны его коснуться. А ты смеялась, да еще Любови Борисовне рассказала. А чем виноват коврик соседей?

Но Ирина, не принимая критики, прижалась ко мне, и вся моя задиристость кончилась. «Но Ведерников, согласись, теперь и надолго — лучший бас».

Ирина повела меня на концерт новой музыки. Туда было не попасть, чуть ли не конная милиция, но нас провели. Это был концерт-диспут. Исполняли, помню, музыку под названием «Заводной слоненок» Бэнни Гутмана. И еще что-то в этом роде. Помню спор, как произносить: Гудмэн или Гутман. До сих пор не знаю. А потом два искусствоведа, один с бородой, другой лысый, орали друг на друга. Один: это безобразие, другой: это гениально.

— Вы согласны, что каждый инструмент имеет право

на самостоятельную тему? Согласны или нет? Или нет концертов для любых соло? Согласны, что развитие темы могут вести все инструменты? — так кричал лысый.

— Со второй частью согласен, все инструменты развивают тему, но не согласен и лягу костьми, что каждому инструменту дается самостоятельная тема. Есть общая, сквозная тема, ей все подчинено.— Так отвечал бородатый.

— Это диктат! — Лысый прямо кулаки воздевал, протестуя: — Где же ваше понимание каждого?

— У Бетховена из хаоса возникает мир, идет к гармонии. Голос бога над бездной... — заговорил бородатый. Тут я нагнулся к Ирине, спросив, есть ли у нее пластинка «К Элизе» Бетховена. Ирина дернула локтем, слушала.

Лысый не дал досказать:

— Вот! Вот! Хаос, бездна, голос — вот вам уже три темы. Гармония, наконец, тоже тема!

— Гармония не тема, а стремление...

— А стремление не тема? — победно, но демагогически возглашал лысый. — Великий Шёнберг дает свободу любому инструменту.

В публике закричали, чтоб он дал сказать оппоненту.

— Эта музыка, которую мы слышали, — начал бородатый, — угнетает и утомляет...

— Значит, вы ее не понимаете? — опять перебил лысый. — И публично признаетесь в этом.

«Сам дурак, — восторженно шепнула Ирина. — Как он бородатого лажанул!» — «Что-то не заметил», — отвечал я, зная, что она пожмет плечами, мол, и не заметишь, не дано. Но мне нравился бородатый, хотя он почти ничего и не успевал сказать.

— Если я не понимаю это, — прорезался бородатый, — то как же я понимаю Чайковского, Бородина, Мусоргского? А Моцарт?

— В них и понимать нечего, — отрезал лысый, — они слишком просты для понимания.

Но тут он явно хватил. В публике даже засвистели. «Ничего себе!» — закричал и я, получив толчок от Ирины.

— А это, что мы слышали, — наступал ободренный бородач, — слишком просто до бессмысленности. Разброд. Труба туда, кларнет сюда, рояль барабанит свое, ударник вообще лишь бы оглушить...

— Н-не скажите! — опять попер лысый. — Если вы ретроград, консерватор, кто же вам запрещает быть им, но нам позвольте пойти и дальше.

— Куда?
— Туда вам не дойти.
— Туда я не хочу.
— Туда вас и не зовут...

В подъезде, заменяя радиатор, грея Иринины руки, я говорил:

— Да, ты тоже можешь сказать, да так и думаешь, что я ничего не понимаю. И когда на Гарри Гродберге зевнул, это ты отнесла к необразованности, а не к тому, что ночью очерк писал, но подожди. У меня есть признак прекрасного, ты не смейся или смейся: вот, если меня мороз по коже дерет, озноб, мурашки бегают — это настоящее и большое.

— Слон в зоопарке, — сердито говорила Ирина.

— Ну и смейся. У нас скоро проигрыватель концы отдаст, ты слышала концерт для скрипки с оркестром Бетховена. Кожу снимает! И интересно, вдруг бы где-то там труба вылезла и завопила свое, нет, этот лысый чего-то...

— Не смей его так называть!
— Но он же лысый!
— Ну и что? Поумней тебя.

— И на здоровье. Можешь ему сказать в утешение примету, что ослы и бараны не лысеют. Ты слушай. Глинку благословил Пушкин, ты кому бы поверила, лысому, тьфу! Извини! Искусствоведу этому или Пушкину?

— Время изменилось, время! — закричала она, отдергивая руки, будто становясь в боксерскую позу.

— А Пушкин? А Глинка? А Берлиоз? «Шествие на казнь», это же...

— Кожу снимает?

— Да. И вдруг бы в мелодии чего-то бы забрякало, завыло.

— Хорошо ты выражовываешься, — ехидно сказала Ирина. — Этому лысому всего двадцать восемь лет, и он уже доцент. Посмотрим, будешь ли ты хотя бы кандидатом в двадцать восемь.

— Принципиально не буду. Этих кандидатов, извини, как нерезаных собак...

— Или ты будешь говорить нормально, или мы видимся последний раз. Перед тем как говорить, надо думать!

Я постучал себя по лбу:

— Думай, голова, думай, к зиме шапку куплю.

С этим лысым у меня была схватка на даче Ирины,

умственная схватка, в физической ему нечего было делать. Мы были вывезены помочь на даче. Там он сразу ушел в глубь комнаты и переоделся в рабочее, из чего и дурак умозаключил бы, что здесь он далеко не впервые. Мне, с моей одеждой, можно было не переодеваться. Ирина, веселая от ранней весны, свежего воздуха, порхала как бабочка. Надела какой-то балахон. «Только не ссориться, мальчики!» «Мальчики» переглянулись. Я-то еще, да и то с натяжкой, подходил под мальчика, а доцент? Молча мы таскали старые доски, разбирали какой-то сарай, работа пыльная, но не тяжелая. Доцент извелся от молчания и первый, первый, это льстило мне, предложил перекурить.

— Устал, — примирительно сказал он. — А вы, говорила Ирина, прошли трудовую школу?

— Прошел. Ну что, покурили?

И снова мы запряглись. Уже Ирина, жалея доцента, велела нам отдыхать. При ней я разговорился, да еще и Любовь Борисовна явилась с сумками. Разговорился о том, что в пословицах о труде сказался противоречивый, хитроватый характер русских.

— Нет ни одной пословицы, славящей труд. Может, только эта: «Бог труды любит», но она может быть извлеченной из проповеди, или: «Без труда не вытащишь рыбку из пруда», но ведь рыбка-то для своего удовольствия, для еды. А вообще, даже включая и новые: «От трудов праведных не построишь палат каменных», «С работы не будешь богат, будешь горбат»...

— Значит, — обрадовался доцент случаю поддеть меня, — пословицы как раз толкают к нечестному труду, как же нравственность народа?

— Или нынешние: «Пусть работает трактор, он железный», «Лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать», «Если хочется работать, ляг, поспи, это пройдет», «Работа не что-нибудь, век простоит», «Работа не Алитет, в горы не уйдет»...

— Вот это все и доказывает! — радостно заключил доцент. — Это вековая лень, нежелание трудиться, странно будет, если вы не скажете это публично. Лекарство горько, но это лекарство, я вам запишу потом, как это будет по-латыни.

— Юра, нам преподают латынь, — мягко заметила Ирина, — его хвалили, — сказала она обо мне как о постороннем. Она была довольна, что спор идет без обид.

— Нет уж, позвольте, — не дал я ей остаться спо-

койной, — странно это слышать, вы будто не русский.
— Национальность ничего не доказывает, — вежливо сказал доцент Юра. — Кто живет без печали и гнева, тот, как известно, «не любит Отчизны своей».
— «Труд этот, Ваня, был страшно громаден» — это тоже Некрасов, — отбился я.
— Чтецы-декламаторы, — восхищенно заметила Любовь Борисовна.
— Но Некрасова современная молодежь знает мало. Ушел тот быт, ушел и поэт.
Я взмахнул рукой и воздуха набрал.
— Ой, не надо! — закричала Ирина. — Ой, не надо. Люблю, люблю, люблю, люблю Некрасова!
— Но о работе я договорю, — упрямо сказал я. — Значит, вам не повезло, а я столько раз в жизни видел работу, которая вовсе не из-за денег, не из-за голода. Вот в армии. Солдат спит — служба идет. Сыт, обут. Но сколько раз были моменты: уголь, цемент, дрова — ночи напролет, энергия такая и удаль и все такое, отчего?
— Ну просто друг перед другом, — снисходительно молвил доцент.
— Да перед кем там, все в зеленом? Ну, до армии, на комбайне, тоже чуть не сутками. Чтоб не уснуть или чтоб от усталости не упасть с «хедера», привязывались ремнями.
— Сезон, заработок, — заметил доцент.
— Вы и про сенокос скажете — не упустить время. Да, можно сказать. Но когда идет туча, тут азарт, тут небо подстегивает, и никогда не было, чтоб не успевали.
— Но это лишний опыт для вашей будущей жизни. Ведь вы не остановитесь на вузовском дипломе? — спросил, сбивая с меня превосходство в физических трудах, доцент.
— Или ремонт тракторов, — я не мог остыть, с такой радостью вспомнились наши дымные мастерские. — О, я тогда схлопотал выговор, лозунг написал: «Трактор без кувалды не соберешь», хоть и правда, а начальству обидно — технический прогресс подковырнул. Какие уж там заработки, вот вы говорите, из-за денег, нам сверхурочные не платили, слова такого не знали...
— Профсоюз плохо работал.
— Какой профсоюз — весна приближалась. Ни запчастей, ни железа, холодище! На улице женщины работали, кирпичи грели в костре и потом на спину подвязывали, чтоб поясницу сохранить.

— Прямо блокада какая-то, — засмеялась Любовь Борисовна. — Вы с какого года?

— Привязывали! Врать-то мне какой резон? Вот вы вставили шпильку, что мне это в городе не нужно, сено, мол, это ваше. Еще, думаете, про навоз, мол, заговорит...

— Ну да, ну да, — сводил на шутку доцент, — «по хлеб, который жрете вы, ведь мы его, того-с, навозом», так?

— Да-да, уж точно, «они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня!».

— Ириша, разводим на пятнадцать шагов, — смеялась Любовь Борисовна.

— Ну что вы, доцент и студент — это все равно, что офицер и ефрейтор, какая тут дуэль, — поуничижался я.

— Струсил ты, — заявила Ирина. — Давайте разожжем костер из мусора.

— Да вот и в городе, — я хотел непременно оставить за собой последнее слово. — На мясокомбинате...

— Ой, не надо! — закричала Ирина, закрывая уши ладонями.

— Я не о крови. Хотя вот раскладывает же Любовь Борисовна колбасу и отварное мясо, есть-то будешь, и класс жажду заливает не квасом...

— Замолчи!

Нас повели за стол, накрытый на застекленной террасе. Усаживаясь, доцент обратился ко мне:

— Вы позволите, у меня серьезный разговор? Спасибо, Ириша, достаточно зелени. У нас на кафедре расширение штатов, набирается группа языка эсперанто, вы понимаете, как это важно для науки, искусства и как это перспективно. Было бы жаль, если бы нахлынули ловкие дельцы от науки, сняли бы сливки, а потом приходят «пахари», вы понимаете этот термин, он нов, вам должен понравиться, это о том, кто пашет, а не заботится о выгоде.

— Но мы же латынь упоминали, разве не хватает?

— Она трудна для всех, оставим ее для рецептов и для разговоров о смерти больного при больном.

— Скажите-ка, скажите, проверьте на доценте вашу теорию о вреде лечения, — подзадорила Любовь Борисовна.

— Сами потом перескажете, — сказал я невежливо, а сам думал, что нехорошо повторять при том, кто уже слышал.

— Ну-с, — возгласил доцент, — занесем зеленого

змия в Красную книгу. — Тогда еще только-только начали говорить о Красной книге природы, и остряки упражнялись.

За столом наступило время примиряющих анекдотов. Мои, казарменные, скрашивающие солдатское житье, не годились, доцент и тут первенствовал.

Про эсперанто с доцентом мы ни до чего не договорились. Мы бы и договорились, я даже был готов на последнем курсе взять эсперанто темой диплома, затем реферата для аспирантуры, раз уж Ирине так хотелось ученого мужа, но, уже чуть ли не давая обещание, я попросил доцента сказать что-либо на эсперанто. Он с огромной готовностью, торжествуя, вызвался прочесть стихотворение «Белеет парус одинокий». И прочел. Но это было до того чудовищно, неживо, куце, знакомые слова стали уродами, ударяясь друг о друга горбами корней, что мне сказать было совершенно нечего, кроме того, что я подумаю.

После обеда уже не работали. Ирина села за пианино. Доцент пел, и пел неплохо. Тенором. Когда я попросил его спеть любимую арию Ивана Сусанина «Ты взойди, моя заря», с потрясающими до озноба словами «настало время мое» и о страшном последнем часе, то опять попал впросак, мне было сказано, что ария эта для баса.

Порыв чувства к Ирине заменился вялотекущей дружбой. Но ведь на лекциях сидим вместе, но ведь провожаю, но ведь на даче работал, за стол усаживали, что еще? Как у Чехова: это только женихи ходят обедать. То есть подошло к тому, что надо было назначать день свадьбы. Тот же случай, что и с Элизой. Увидя же и в Ирине расчет, я резко сказал ей об этом.

— В чем? — она возмутилась. Красивая была, брови высокие, изогнутые. — Уж извини, но это у тебя расчет. Хорошо тебе, все готовенькое. Или на даче перетрудился?

Все закипело во мне, только звонок прервал разговор. В аудитории я сел с Витькой и Левой, которые жизнерадостно предложили делать свадьбы в один день. «Дешевле». — «Я не буду жениться». — «Да ты что?»

— Камчатка! — сурово прикрикнула профессор Гражданская. Была лекция по зарубежной литературе.

Я внезапно встал:

— Зоя Тихоновна, разрешите мне и Ирине С. выйти из аудитории.

Ирина испуганно поднялась. Мы вышли в пустой коридор.

— Ира, — сказал я, — я тебя никогда не любил и прости, что мою благосклонность (это слово было продумано, все-таки силен в нас в молодости синдром Печорина) ты приняла за серьезное увлечение. О дальнейших наших встречах речи быть не может, но если ты будешь считать меня человеком, способным прийти к тебе на помощь, буду благодарен.

Она закусила нижнюю губку, которая обычно выдавалась вперед верхней, и сказала:

— Я не вернусь на лекцию, ты отдай кому-нибудь из девчонок мой портфель.

— Могу и сам взять.

И отвез я тогда этот портфель в Измайлово по знакомой дороге, поднялся на знакомый этаж, поставил портфель у знакомых дверей и позвонил. И так мне хотелось дать деру, но сдержался — в чем я виноват? Открыла Любовь Борисовна. «Прошу передать», — сказал я. Портфель был молча принят. Мы раскланялись.

Ах,

эти девичьи комнаты и альбомы отрочества и юности. «Это мы с мамой в Гаграх, был? О море в Гаграх!» И эти милые сувениры прежних встреч и увлечений — перо птицы («Правда, как пушкинское?»), обертка от шоколада, засушенная ветка, цветок, письма, показанные из рук. «Это от него, когда-нибудь дам прочесть». — «Он погиб?» — «Нет, кто тебе сказал? Он в Гане».

Штука в том, и никто их за это не осуждает, что девушки, пройдя первые любви или увлечения, кому как достанется, испытывают их острее, обреченнее, безогляднее, нежели те, путь от которых к замужеству. Тут непременно есть расчет, если не свой, то родительский или ближайшего окружения. Тут не вопрос, любишь ли ты его, тут вопросы, а кто он, а перспективен ли, а откуда, а какая родня, а кто родители, а сколько лет и прочие житейские вопросы, которые не обойти, которые надо знать, но которые ранние чувства в расчет не берут. И камешек, поднятый с тропинки, и снова фотографии... Целая, без преувеличения, жизнь проходит до замужества в судьбе девушки. И эта жизнь будет светлой всегда и будет как упрек, как контраст будущей жизни, которая, конечно, будет разной и полной страданий. Судьба

это или так надо, чтоб человек всегда томился воспоминаниями о том, что, казалось, вот-вот сбудется? И не сбылось бы, а кажется, что сбылось бы.

И не могли стать моими женами ни Элиза, ни Ирина, ни другие, с кем связывала факультетская молва. А мне тогда было каково? Ведь оставленные не прощают. Ирина объявила, что бросила меня первая. Я приходил на лекции, сочинял мрачные стихи, которые забыл, жил какое-то время в странном состоянии. Винил, конечно, себя. Какие-то билеты в театры оставались, я попытался отдать их ей — для нее же старался, Ирина гордо прошла мимо. Правда, разведка доложила точно — ее тот доцент после занятий подхватывал у подъезда, так что чего было на меня обижаться.

Уединение хорошо самоуглублением, а это полезно.

Увлекшись Толстым, его статьями, я угрызался собственным несовершенством. И чем больше всматривался в себя, тем в большем ужасе отшатывался. И было отчего. Люди совершенной жизни принимали за грех тень мысли о грехе. Вот и доживи до такого совершенства. Попробуй, по Толстому, любить того, кого не любишь. Мяса не есть. Босиком ходить. Как это все исполнить?

Самое интересное, что вскоре все это исполнилось. Правда, на три месяца. Эти три месяца — это работа в пионерском лагере, на берегу Черного моря в Крыму. Там я ходил босиком, разве только на поднятие флага обувался, мяса не ел совершенно, ибо отдыхал от него, а кормили там! Лагерь был от Министерства обороны. И любить приходилось даже тех, кого не любил — пионеры, все равны, за всех отвечаешь. Но до лета надо было дожить.

— Вот ты комсомольский секретарь, — сказал я Наде, — ты и решай проблему, с кем мне в театр ходить.

— Ходи один.

— Я не могу один. Надо же реагировать, обмениваться мнениями.

— А ты разговаривай сам с собой и хлопай в два раза сильнее и думай, что не один.

Такой совет дала мне Надя, однако в театр пошла, думаю, из интереса к театру, а не ко мне. Потом мы несколько раз гуляли по Москве, и я привычно, по накатанной дорожке, говорил: «Это ужасно, что мы плохо знаем архитектуру (мы стояли перед Воскресенским собором в Сокольниках, а на следующий день перед собором Богоявления, в просторечии Елоховском на Разгу-

ляе), ужасно, ведь это мысль в камне, в дереве. Взять готику, там одно, здесь другое, там суровость, расчет, сведение небес на землю, здесь же возвышение, стремление вверх (мы стояли перед церковью Вознесения в Коломенском), поднять земное до небес... Каннелюры, — говорил я, — пилястры, закомары, полотенца, барабаны, золотое сечение», — много чего говорил.

Однажды Надя, засмеявшись открытию, спросила:

— Ты знаешь, я почти уверена, что так, как мне, ты всем до меня говорил.

И я, удивляясь на себя, покраснел и признался, что да, говорил.

В редакции тоже заметили перемену в жизни, и вот почему. Давая в номер по нескольку материалов, не мог же я все их подписывать одной фамилией, делал псевдонимы. Они были по именам девчонок — Элизин, Иринин. Я сдал материал с новой подписью — Надеждин.

— Что за новости? — сурово спросил Заритовский.

Я объяснил, так и так, хорошая девушка, дружу. И что мне хочется привести ее в гости в редакцию. Интересно, что это желание не возникало, когда встречался с другими.

— Приведи.

Надя, взяв с меня клятву, что не увидит ничего страшного, согласилась побывать. О, как она была принята! По высшему разряду. На столе были продукты из экспортного цеха. Ни до, ни после Надю так никто не кормил. На свадьбе хуже ели. Но главным было то, что она всем так понравилась, что, когда я звонил ей из редакции и, отвернувшись в угол, говорил часами, мне не делали замечания. Не было еще произнесено ни слова о любви, но было постоянное состояние вопроса о Наде, что с ней теперь, в эту минуту, что делает, помнит ли?

Надя жила далеко, с Курского вокзала на электричке, а там пешком или на автобусе. Провожал, потом возвращался через Курский на Каланчевку, бежал на Ярославский и ехал в общежитие. В один день, когда мы долго прощались (именно в этот день решилось, что мы едем в один лагерь, в Евпаторию), я опаздывал на последнюю электричку. Ночевать на вокзале было не в новость и не в тягость, не раз меня утренние уборщицы выковыривали шваброй из-под скамьи, но и не в радость. Бежал, торопясь, а из арки от таможни выскочила на меня черная «Чайка». Я успел подскочить и попал не под колеса, а на капот. Ударило не так сильно, но спицей заломлен-

ного дворника прорвало куртку на плече и ободрало плечо. И как-то еще попала рука, тоже шваркнуло. Машина, завизжав, вскопытившись, встала, я свалился на асфальт, но быстро вскочил. Шофер, оба мы были виноваты, подбежал. Я взял больной рукой больное плечо и сказал:

— Двигай дальше, я опаздываю.

— Молодец, — радостно крикнул он и уехал, а я успел на последнюю электричку в последний вагон и прошел ее на скорости всю, все десять вагонов, пугая своим видом редких пассажиров. В первом вагоне сел. Ко мне подсел плачущий пьяный мужик, который вовсе не из-за меня плакал, он объяснил:

— Опа мне сказала: до смерти домой не приходи, я и ушел. Пойду, думаю, сяду в любую электричку, шпаны полно ходит, может, убьют.

И впрямь, фраза «до смерти домой не приходи», сказанная, конечно, в сердцах, была страшной.

В общежитии нашли марлю, перевязали. Зажило быстро. Организм в молодости такой, что некогда думать о ранениях, оттого они и заживают быстрее.

Но это сказано к тому, что вскоре суровая комиссия АХОЗУ МО (что означает административно-хозяйственное управленпе Министерства обороны) допустила меня к работе в качестве пионервожатого в огромный (полтора километра побережья) пионерский лагерь «Чайка». И лагерная песня

«Чайка крыльями машет»

сделалась одной из наших любимых. Лагерь этот был для детей военных аппарата министерства и этого самого АХОЗУ. Дети там были не меньше, чем дети подполковников. Дети майора были редчайшей редкостью, у меня в отряде была одна капитанская дочка, она ходила в Золушках. На мотив песни «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы — пионеры, дети рабочих» я написал песню вожатых, и мне крепко за нее влетело. Она начиналась так: «Взвейтесь кострами, синие ночи, если б у нас были дети рабочих!» Но в АХОЗУ умели и ценить службу, с нами считались. Дружина нашего института, то есть та, в которой были вожатые — мопийцы, не знала равных. Нам с Витькой достались самые старшие отряды. По нашему убеждению, у наших переростков были поддела-

ны годы рождения. Но вообще-то уже и тогда словцо «акселерация» мелькало рядом с модными анкетами социологов. Вдобавок это вступало в жизнь поколение эгоистов, как его называли, поколение одного ребенка в семье. Девицы и юноши, составляющие Витькин и мой отряд, явно тяготились пионерскими церемониями, физзарядкой, самодеятельностью, рукоделием. Даже купание их не влекло, они ждали вечера. Ближе к нему они начинали оживляться, наряжаться, золото сверкало на пальчиках, девицы становились томными, юноши независимыми. Но, как говорится, и не с такими справлялись. Витька по утрам, выгоняя на зарядку и понуждая к уборке, ходил в одной тапочке, другая была в руках и звонко шлепала по известному воспитательному месту виноватых. Однажды на ночном совещании педагогов и вожатых Витька уснул от усталости. Его подняли и на него закричали: «Какая у вас главная задача?» — «Чтоб никто из пионерок не забеременел», — четко ответил Витька.

На вторую смену приехали настоящие пионеры. Впереди всех всегда, бесспорно, был отряд Нади. Как ей удавалось влюбить в себя за два дня сорок человек, как все сорок брали все призы в спорте, все сорок пели и плясали, шили костюмы, это загадка. Но самое смешное и несправедливое было в том, что первое место было присуждено отряду Мишки. Да, не спорим (я тогда был назначен старшим вожатым дружины), отряд Мишки был вышколен. Но как-то мрачен. Дисциплина помогает отдыхать — такой лозунг мы внедряли, и успешно. Но муштру отрицали. Мишка сумел понравиться начальству, и еще бы. Подъем флага — Мишкин отряд выглажен и в галстуках, а Витькины и Левины стоят наполовину в тельняшках, наполовину в ковбойках. Конкурс строевой песни — Мишка во главе, а Витька заявляет: «Купаться надо, а не маршировать». Надины ребята делали все по охоте и из любви к вожатой, а Мишкины — по его принуждению. К чести Нади, она первая поздравила Мишку.

Элиза и Ирина тоже были вожатыми, и я намучился с ними, и очень рад, что они ездили. Надо видеть человека в работе — это мера души и характера. Они жаловались мне, как старшему вожатому, на своих воспитателей, на них сваливали беспорядок в палатах, на море я трясся от страха именно за их отряды, они, храня себя, не очень лезли в воду, тогда как Надя, плохо умея пла-

вать, сидела в воде до дрожи. Они в столовой сидели отдельно от ребят. Надя всегда вместе и сверх того, что полагалось на пионерскую порцию, лишней ягодки черешни не съела, как тогда, я замечал, а уж пионеры тем более, что Элиза не прочь полакомиться сладеньким, которого ребята лишались. Сказать я не мог, было стыдно. Элиза и Ирина, получая письма из дому, передавали мне приветы от своих мам. Вечерами они наряжались, оговаривая это тем, что не хотят выглядеть хуже пионерок. Надю я ни разу не видел в нарядном платье, всегда в простеньких ситцевых или сатиновых, тогда я думал, что нет нарядных от бедности, а потом спросил. Нет, платья были, не успевала надеть, все работа и работа. Идешь ночью от директора с очередного полковничьего крика, сидят Элиза и Ирина и посидеть зовут на скамье среди глициний и магнолий, а в отряд зайдешь — или парни куда-то сбежали, или девчонки перемазаны зубной пастой, а Надя босиком ходит по палатам, уже все у нее спят, она кому одеяло поправит, кому на тумбочку поставит цветы, кому под подушку спрячет ириску. Зовешь ее на море посидеть при луне — ни за что ребят не оставит. Кстати, так же и Мишка. Только он не босиком ходил, а специально топал, чтоб слышали и боялись.

Тогда я впервые увидел море. Привыкший к северным просторам, просидев в отрочестве несколько лет подряд на лесной пожарной вышке, я совершенно был уверен, что открылся бескрайний, сливающийся с горизонтом лес. А это было море. Помню чайку, упавшую в волны и взмывшую с трепещущей рыбкой в клюве, чайка не смогла ее проглотить на лету, села на берег, бросила рыбку, та билась, и чайка, испытывая чувства кошки, играющей с мышью, глядела на рыбку поочередно то одним, то другим глазом. Волны моря, их размер, эти прекрасные строки Бунина: «Поздно ночью сидя на балконе, моря корабельный шум...» — все было незабываемо. Огромная луна над морем, перевернутый ковш Большой Медведицы, Полярная звезда, на которую мы с Надей договорились смотреть в одно время, милый Север, который был тогда в десять раз дальше от нас, чем Турция, тогдашнее состояние было удивительным. В пересменках, когда было посвободнее, сидели на берегу и под шум волн, вспоминая институт, гекзаметры Гомера, смеясь над Мишкой, что он залепил на зарубежке историческую фразу факультета, что Илиада это жена Одиссея, мы пели под вечный ритм волн: «Гнев, о богиня, воспой

Ахиллеса, Пелеева сына», а досидев до рассвета: «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос...», а то и свое сочиняли.

Мы сидели с Надей как раз в тот вечер, когда глядели на Полярную звезду, и к нам подбежал ежик. И сел у наших ног. То ли он был до нас ручной, то ли доверился, но мы его погладили как собачку.

Да, но ведь день приближался, день, в который назначена была свадьба с Элизой. Мы, те, кто поехал в «Чайку», сдали сессию досрочно, а если бы сдали нормально, то как раз и было б то время. Напомнила мне о свадьбе не Элиза, а Надя. Был первый за пять недель выходной, мы стояли на палубе прогулочного катера.

— Сегодня ваша свадьба с Элизой, — сказала Надя.

— Почему с ней, с тобой, — ответил я.

В городе забежал в магазин, купил медные кольца. Тут же, при выходе, надел и ей и себе. Мы пришли на набережную. Надя, опустив глаза, покрутила кольцо на пальце, потом сняла его и бросила в прибой.

До наших с ней золотых колец оставался год.

Доброе утро!

— Доброе утро! — так я однажды сказал, прощаясь поздно вечером с родителями Нади. Они сидели на кухне общей квартиры, ждали, пока мы расстанемся, не зная, что я просто-напросто сплю на диване, а Надя просто сидит рядом. Конечно, они могли подумать, что я ненормальный — не отличаю утра от вечера. Но они не знали того, что я устаю смертельно, пишу по ночам, попрежнему работаю, но теперь уже грузчиком, чтоб заработать на свадьбу и кольца, а для меня главной радостью было то, что перед Надей не надо было стесняться этой усталости, она понимала. Помню весну, молодую, горящую, сверкающую под фонарями после дождя листву деревьев, помню грозу, когда электричка тряслась на рельсах. Зиму помню, когда мы поссорились, я забыл свою тетрадь, выскочил, а Надя бежала по снегу в домашних тапочках, догнала и сказала: «Ты забыл», а обратно пошла шагом. Метель обвивала голые ноги, синий фланелевый халатик казался таким тонким. Я догнал и схватил ее на руки.

И ношу на руках всю жизнь.

Боковой ветер

Когда начинают сниться дедушки и бабушки, это означает, что зовут навестить их могилы. А я не навещал их почти четверть века. Это нехорошо, хотя можно оправдаться. Отец работал в лесхозе, а в 60-м лесхозы объединили с леспромхозами и отца перевели в другой район. Потом я ушел в армию. За это время два раза побывал в Кильмези в тяжелое для села время — район был ликвидирован, районной газеты, где я работал после школы, не стало. Потом прошли долгие годы, за которые я бывал в области, но уже в Фаленках, где жили родители, а в Кильмезь все не мог попасть.

И вот — как будто среди ночи постучали в окно. Я проснулся и понял — надо ехать. Сказал маме и старшей сестре, и они обе решительно заявили, что от меня не отстанут.

В Кирове на самолете Ан-2 веселый мужик спрашивал: «Ножики-то получили?» — «Зачем?» — «Как «зачем»! Прилетим, ремни чем разрезать? А ты чего не застегнулась? — спрашивал он маму. — Сейчас ведь не воздушные ямы, а воздушные пропасти до самой земли и дальше. Над Кильмезью вашей как раз. Ее ведь так и зовут: Кильмезь — дыра в небо». Сестра глотала аэрон и в ужасе зажимала уши.

Летели мы очень хорошо, молоденькие летчики дело знали. Первой посадкой должна была быть Кильмезь. Мы сели, самолет забуксовал в грязи, как автобус, но выкарабкался. Мотор взревел и затих. Стали отвязываться. Вдруг мужик, поглядев в иллюминатор, закричал:

— Малмыжским встать, остальные на месте!

Пилоты выходили, надевая фуражки.

— Все — ночуем! В Кильмези сильный боковой ветер, придете с утра к семи, отвезем.

Мы побрели по малмыжской грязи в Дом колхозника. Места были. Маме и сестре дали двухместный, меня определили в огромную, похожую на палату комнату. «С левой руки седьмая кровать». Собравшись, мы поужинали, а за ужином вдруг решили, что все к лучшему. Почему? Мы же все равно собирались навестить не только кильмезское кладбище, могилы дедушки и бабушки по отцу, но и константиновское, где лежит целая одворица

родни по маме. А в Константиновку все равно пришлось бы ехать из Кильмези, а потом возвращаться. А теперь выходило, что мы будем двигаться к ней, да еще по пути будут Аргыж и Мелеть — соседние деревни, где живет мамина родня, которая, узнав, что мы были в Константиновке и не побывали у них, обидится. В Аргыже я два сезона, после девятого и десятого классов работал у дяди-комбайнера в помощниках и вообще бывал там каждое лето, как и в Мелети. До Константиновки от нее семь, а от Константиновки до Кильмези примерно тридцать пять.

До Аргыжа надо было водой. Узнали у дежурной — рано утром по Вятке поднималась «Заря», судно на подводных крыльях.

Решив так, мы расстались.

Прошла моментально ночь, утром будто что подняло. Автобус до пристани из-за грязи не довез, долго шли пешком. Мама мучилась, что из-за нее мы опоздаем. Успели. От пристани в устье Шошмы открылась Вятка. Берега были загружены штабелями леса. Из баржи подъемный кран вычерпывал на берег песок. Подошла «Заря». Вышло очень много людей. Но когда мы попали внутрь, оказалось, что свободен один проход. Маму и сестру посадили все-таки, я стоял в тамбуре. Там хоть и курили, зато было видно вокруг. Стекло туманилось, но его протирали. «Зачем ты, ива, вырастаешь над судоходною рекой?» — вспомнились чьи-то стихи, когда увидал склоненные, подмытые разливом ивы. Левый, уральский, берег был высок, глинист, а правый — низинный. Цвела черемуха. Мелькнул одинокий рыбак. Вскоре объявили Аргыж. Мы вышли и потащились в гору.

Аргыж и Мелеть много значат для меня. Здесь я впервые увидел Вятку и в ней же научился плавать, оказавшись однажды лишним в лодке. Здесь часто бывал, подрастая. Ездили с ребятами прессовать сено. Сюда, заслышав гудок «КИМа» или «Энгельса» — «Звенгеля», говорили старухи, — бежали со всех ног. И здесь, повторяю, работал у дяди. Дядя был свиреп на работу, человека, сидящего без дела, не терпел, будил меня в полпятого утра криком: «Ты что, охренел, по стольку спать?»

Поднялись на гору. Шли сквозь радостное гудение пчел — солнышко разошлось. Дядя, конечно, ни сном ни духом нас не ждал. Он жил со второй, после тети Ени,

женой. Ее еще мы не видали, но родня есть родня. Мы постучались, вошли. В избе в двух ящиках под лампочкой пищали цыплята. Из кухни выглянула женщина.

— Вася-то где? — спросила мама.

— В конюховской!

— Ой, ведь гли-ко, до сих пор ходит.

Я вызвался сходить на конный двор. Стены конюшни и коровника были, как и двадцать лет назад, выстроены с выносами сруба, контрфорсами. Тут тогда хозяйничал Федя-водовоз, он был контуженый и не мог говорить, а только протяжно тянул слова, будто пел. Когда его передразнивали мальчишки, им доставалось.

Дядя не сразу узнал меня. Еще бы — двадцать пять лет! В Аргыже дядя всегда был авторитетом, и тогда, когда в нем было сто пять дворов, и сейчас, когда их осталось тридцать пять. Так думаю потому, что все завертелось вдруг: кого-то послали за грузовой машиной — везти нас в Мелеть и Константиновку, кто-то отправлялся за тем, чем отмечают встречи и поминки.

Утро было раннее. Я пошел бродить. Высыхающая трава на деревенской улице сверкала. Я прошел к знаменитой осокоревой роще, где-то тут должны были быть языческие славянские могильники, может быть, я по ним и ходил. Уже первые маслята вышли, и я набрал их в лопухи.

За столом самое дорогое было свое, домашнее — творог, сметана, яичница, которой вначале угостили цыплят, а то бы они своим писком мешали говорить. Я все поглядывал на фотографию тети Ени, все вспоминал ее. Великая была труженица и меня жалела. «Хорошая фотография». — «Такая же на могиле», — ответил дядя.

Часы в доме были с кукушкой, но в девять, когда раздалось кукование, она не выскочила. «Че это она?» — «Боится, — объяснил дядя. — Чапаевцы ей башку свернули (он говорил о внуках), теперь скрылась, лежит на боку, кричит из-за укрытия, не высовывается, чтоб окончательно не погибнуть».

Я перебирал насыпанные в картонную коробку фотографии и передавал через стол. Почти половина фотографий были похоронные. На многих среди провожающих была и моя мама, но дядя — везде. Фото с похорон де-

душки делал я, когда уже работал в редакции. Помню, что на одной и той же пленке были снимки ремонта сельхозтехники кукурузоводческих звеньев, потом — дедушки за день до смерти и фото похорон.

Еще я побродил по двору — печально было: вот сарай, в котором повесилась тетя Нюра, вот баня, в которой тетя Еня. Вот колодец, из которого выкачаны цистерны воды, пасека; ива, которой не было, липа, которая была, мокрый лужок — предмет зависти соседей, так как его выкашивали на сено дважды за лето. Вот верстак, на котором работано-переработано, старый гибочный станок, согнувший шею не одной тысяче дубовых плах.

Все стало вспоминаться резко, все в солнечном свете — то было детство и отрочество.

Подошла машина, мы засобирались. Молодой шофер, назвавший меня по имени, но с приставкой спереди слова «дядя», напомнил о возрасте. Выехали на взгорок. Где та яблоня, с которой мы воровали яблоки? Открылась даль, Вятка блестела справа. Я подумал, что реки моего детства постоянно расширялись — был ручеек под окнами в распутицы, ручей возле поля картошки в Кильмези, потом река Кильмеза, потом Вятка, показавшаяся широченной, да так оно и было, потом Волга, через которую по бесконечному мосту гремел воинский эшелон, увозивший нас, потом море, показавшееся похожим на лес, потом сибирские суровые реки. Но ощущение, когда я мальчишкой, сидя на мешках с зерном, которое везли на пристань, все тянулся и тянулся, чтоб увидеть Вятку, и увидел ее вдали над лесом, — это ощущение шло со мною всегда. Последние воды — воды запредельных Стикса и Лета не затмят того впечатления.

Машина наша неслась среди сверкающей зелени. Здесь все поля меж Аргыжем и Мелетью я исходил и изъездил на комбайне. Переехали пескариную чистую Мелетку. Остался сзади медпункт, куда меня привезли с израненной рукой, — медпункт вылечил меня так, что и шрамы заросли. Навстречу шел стройотряд: парни и девушки в зеленом с нашивками. У повертки случилось событие — мы выехали на Великий Сибирский тракт. Завернули к Геннадию, сыну тети Нюры, моему братеннику. С ним мы пасли когда-то свиней.

Старуха во дворе сказала, что Геннадий и жена домой не приходили, видно, на ферме. Поехали туда. Мама сидела в кабине с тетей Тамарой и плакала: Мелеть

была ее родиной. Нам сказали, что Геннадий пошел боронить огород, и показали дом. Я выскочил из кузова и побежал. Мужик шел за бороной навстречу, я его сразу узнал. Он остановился. Я спросил, узнаешь ли. Он сделал напряженное лицо:

— На правое ухо говорите, я на левое не слышу.

— Я ведь брат твой!

Гена как-то выжидательно улыбнулся. Я объяснил, что я с мамой и сестрой и что если он может, то вместе бы поехали на кладбище. Тут же стоял другой мужик, которому Гена и отдал вожжи. Мы пошли, я шел справа. Гена сказал вдруг:

— Читал я ведь твою книгу, ты ведь маленько неправду написал.

— Я знаю, знаю, — быстро сказал я, — я не хотел, уж больно бы тяжело, понимаешь? — Гена упрекал меня, что в рассказе «Тетя Нюра» я написал, что она выжила, а в действительности она умерла.

— Было бы, как ты написал, я бы ведь сейчас с матерью жил.

Еще я спросил, жив ли родник, из которого брали воду.

— Осушили, так-то, но можно раскопать.

Поехали в Константиновку: мы, дядя Вася с тетей Тамарой и Геннадий с женой. Дорога была ужасная.

Остановились у повертки. Пошли через поле озимой ржи. Прошли татарское кладбище. Почему-то на углах столбиков оградок были надеты пустые консервные банки. Только потом сообразил, что это не обычай, а чтоб столбики дольше не сгнили.

— У них тут и ворота, и домик.

— И у нас ворота, — ответил дядя Вася. Видно было, он волновался.

Заревела вдруг бензопила, долго выла, потом затрещало и повалилось дерево.

— Расширяют кладбище, туда дошли до узкоколейки, помнишь ли?

Бензопила замолкла, как и не было.

Шли молча, шумели сосны вверху. Вдруг дядя, свернув, сказал громко:

— Вон Еня сидит.

Мама прямо вся вздрогнула. Это дядя показал фотографию тети Ени на памятнике. Обошли могилы, вошли на смышляевскую одворицу. На могиле дедушки зажгли

свечку. Расстелили полотенце, и дядя велел мне обносить всех. «Правой рукой подавай», — шепнула мама.

— Помнишь ли, — спросил дядя, — крест поставили, тебе велят: «Пиши, грамотный». Ты спрашиваешь, чего писать? Дядя Тимофей говорит: «Пиши: «Здесь Семен покоится, велел и вам готовиться».

Я, видя перед этим пустые бутылки на могилах, например, у совсем молодого Семибратова, соседа Геннадия, хотел и нашу оставить у могилы.

— Нет, убери, — сказала мама, — он не пьяница был. Выпивал, но умеренно.

— К дяде Тимофею обязательно надо зайти, — сказал дядя Вася.

Постояли у дяди Тимофея, он очень был похож на своего брата, моего деда.

— Чего это, кто это посадил вереск, кому это? — спросила тетя Тамара. Могила была безымянна. — Колючее ведь не садят на могиле.

— Гена! — вдруг закричала Валя, жена его. — Вот ведь где Шишков-то, приходил ведь кто-то к нему. — Она показывала на могилу, с которой был выполот бурьян.

На прощанье еще зашли на нашу одворицу.

Постояли. Мама рассказала два своих сна, которые были после смерти тети Нюры. Первый был пророческим: когда гроб заносили, то обнесли кругом могилы отца и матери, и бабушка во сне сказала: «Зачем обнесли нашу одворицу, ведь еще хоронить будут». Второй сон: будто дедушка показывает и говорит: «Смотри, Нюра-то к нам приехала, на печке сидит». Вот и выходит: печка — печаль, но хоть печаль, а с ними, значит, не отдельно. Видно, уж так намучилась, что самоубийство не зачли в грех. И чего-то все там делает-делает, труженица была и здесь, и там.

Я вспомнил, как тогда, после поминок дедушки, мы с другим двоюродным братом и двоюродной сестрой взяли лошадь и поехали в Аргыж. Луна была огромной, слюдяной след полозьев извивался и, как рельсы, сходился вдали. В Аргыже мы узнали, что на лесозаводе танцы, и пошли туда. Пошли на танцы, а когда вернулись, то взрослые еще не приехали с поминок.

У ворот Гена сказал:

— Айда-ко, чего покажу.

У самых ворот была могила.

— Тут дядя Трофим лежит. Знаешь, почему у ворот?

Когда кого возили, он всегда соскочит, зайдет вперед и открывает. И всегда говорил: помру, похороните у ворот, и я вам буду всегда открывать. Вот подъезжаем сейчас, обязательно кто-нибудь кричит: «Дядя Трофим, открывай!»

В Константиновке стали было прощаться. Но дядя Вася сказал:

— Заходите в столовую, там все готово.

Сдвинули столы, но не успели получить заказанные макароны, как пришел автобус. Мы, ощущая вдруг торопливость, стали обниматься. С ужасом слушая себя, я подумал, что даже не заплакал на кладбище. Вышли на улицу. Дядя отозвал меня в сторону:

— Видел, как живу? Ульи, бычок в стадо пошел, поросенок, корова. Видел?

— Да.

— Не сердишься на меня? Гонял-то как я тебя?

— Это все же на пользу, я тебе, наоборот, благодарен.

— Ты приезжай, приезжай, как дядю забывать?

Тут раздались крики, и из проулка на сером в яблоках жеребце, сидя в ярко-красном седле, выскочил молодой цыган в черной рубахе. За ним ехали повозки, груженные в основном детьми и узлами. Еще длинные жерди для шатров были на одной повозке. Кони были черные, красавцы, храпели, вскидывали головы. Под телегами бежали привязанные собаки.

Автобус двинулся. «Не буду оглядываться, — сказала мама, — оглянусь, буду тосковать». Я все же не стерпел, оглянулся, но заднее стекло было заляпано и непроглядно. Я все ждал, что будем проезжать деревни, в которых бывал в командировках, но только Смирново (Кривули, так как в этом месте тракт давал кривулину) встретилось, а остальные: Кабачки, Порек, Малиновка — остались в стороне. Промелькнул большой указатель «Кильмезский район», и дорога сразу улучшилась.

В Кильмези мы ехали по Первомайской, по которой бегал тысячи раз, мимо заветного Валиного дома, мимо фонтана, которого не стало уже при нашей жизни, мимо новой школы, аптеки, дома советов, библиотеки... Остановка. Сестра вышла и ахнула: какое все маленькое. Как все близко! От милиции до базара раньше, бывало, бе-

жишь бегом, сейчас тихонько дошли за минуту. Вперед скажу, что уже на следующее утро все стало на место. Кильмезь вернулась в прежние размеры и даже, сравнительно с прежними, расширилась.

Нас ждали еще вчера, номера в гостинице были. Но мама не захотела в гостиницу. И Тоня тоже. Недалеко жила Полина Андреевна, тетя Поля, задушевная, ближайшая подруга мамы во все двадцать кильмезских лет. Мы пошли туда. Муж тети Поли работал раньше в лесхозе пожарным инспектором, а мы каждое лето дежурили на лесной пожарной вышке. Она стояла на околице села. Помню, заметив дымок, я наводил на него астролябию, запоминал градус и босиком нажаривал в контору, вбегая в нее как вестник несчастья: «Пожар! Градус такой-то!» О, как, кряхтя, вставал из-за стола Константин Владимирович! Подходил к карте. Кильмезь на карте была обведена кругом, разделенным на градусы, на гвозде в центре круга висела нитка. Константин Владимирович натягивал нитку через градус, сказанный мною. «Может, ты ошибся?» — «Нет!» — «Два раза наводил?» — «Три!» Константин Владимирович кряхтел, соображал в каждом случае, а вдруг пожар не у нас, а у малмыжан, в уржумских лесах, а то и вовсе в Удмуртии. Я ждал, что он будет названивать, поднимать народ. А он надевал фуражку и шел проверять мои данные. Я прыгал рядом, как собачонка. Он лез на вышку, долго смотрел на дым в бинокль, крутил астролябию, потом огорченно говорил: «Правильно навел», — и, кряхтя, спускался вниз. В бинокль я рассматривал его сверху, вертя бинокль спереди назад.

Он не изменился почти. Высокий такой же, медлительный. Но меня не узнал. А маму, конечно, узнал. Не успела она рассказать историю с посадкой в Малмыже, как пришла тетя Поля, сумки выпали у нее из рук, обе они обнялись и разревелись.

За столом тетя Поля все извинялась, что нет ничего, что плохо, но то, что для нее было плохо, — нам в охотку: домашняя стряпня, мед, творог.

— Кушайте, — говорила она, — заугоду, так и выпейте, своя вот, голова не заболит с нее, медовуха. Хозяин-то вовсе не пьет. Ох ведь, Валя, сына-то провожала, наложила всего-всего: меду, мяса, варенья. Собрались, пошли, гляжу — сынок-то все и попер, а сношенька, как на параде, безо всего, еще бы только флажок, нет, думаю, сынок, больше я так тебя не загружу, да вы

кушайте, ох ведь какая погода, в эту бы да пору да как бы уж свой весь салат не делать, кушайте, угощайтесь, всего-то и положила малестечко, а мед-то пробуйте, надули малированное ведро с двух ульев...

Мне надо было зайти в редакцию. Мама осталась — измучилась за такой долгий день. Пошли с сестрой. Все вновь воскресало в памяти. Тут магазин, который ограбили сами продавцы, тут жили Балдины, Ухановы, Агафонцевы, Пичугины, Черных, мой одноклассник Петя Ходырев, первым из нашего выпуска умерший. Контора лесхоза, где мы тоже дежурили у телефона, подрабатывая, но и с пользой — помногу читая. Улица была заасфальтирована. Вот дом учителя Плаксина, бывший поповский дом. Плаксин был не кильмезский, смутно говорили, что он был в плену, но что Вера Алексеевна, тоже учительница, не побоялась его принять.

Наш дом рядом с редакцией. Береза возле дома, переросшая дом. Ее я посадил в год выпуска двадцать пять лет назад. Вначале вошли в дом, постучались в квартиру. Сестра поразилась — как в этой крошечной квартирке жили ввосьмером, и еще всегда кто-то был на постое, всегда кто-то ночевал. Спали в четыре этажа: на полатях, на печке, на кроватях, сундуке и на полу. А как было весело! Враз училось пятеро, облепливали стол, да еще всегда ко всем приходили друзья. С одной стороны у нас жили Очаговы, с другой — Обуховы и Ведерниковы, и дружили старшие со старшими, средние со средними, младшие с младшими. Потом Очаговы переехали, их крохотное помещение заняла уборщица, она же сторож, она же курьер, но по штатному расписанию крутильщица печатной машины Тася. Вот как они-то, Очаговы, вдесятером тут жили? Сейчас тут стоял один редакционный линотип, и ему было тесно.

Но сказанное не значит, что в селе все так жили, нет. Были среди одноклассников и дети секретарей и директоров леспромхоза, сплавконторы, Заготскота, мы бывали, конечно, у них, например у Агафонцевых, с Вовкой я дружил, а его сестра Эмма была нами любима. Если учесть, что нам было едва по десять лет, можно засмеяться, но вот помнится же. Она никогда не узнала о нашей любви, хотя мы писали красными чернилами на сгибе локтя букву «Э» и тыкали в нее булавками, чтоб навсегда. Наверное, мы полюбили ее только за то, что она была приезжая, да еще с таким, явно не вятским именем. Когда Агафонцевы уезжали, мы наскребли с до-

роги горсть земли и, завернув в бумажку, дали Вовке, чтоб не забывал наше село. Потом уже другому другу, другу юности, я писал: «Друг мой, мы уже не дети, но все еще мал наш вес, и кроме Москвы на свете есть еще и Кильмезь». Дальше очень нравились строки: «В Кильмези твой дом с палисадом, откуда уехал ты, там утром под солнечным взглядом влажно искрились цветы».

В нашем дворе также стоял дровяник, сарай. Сестра вспомнила, как мы одно лето держали кроликов, их развелось бессчетно, но к осени остались четыре, а тех унесли забивать на бойню. Больше мы не разводили. На крыше сарая мы спали летом — красота! Вот уж где мы становились неподконтрольными родителям. Но тоже как сказать — еще спал там и старший брат. Родители меня пальцем не тронули, а от брата один раз попало, думаю, поделом: загулялся. На огороде, там, где были наши грядки, картошка, а осенью шалаши из палок подсолнуха, теперь стояли двухэтажные дома из серого кирпича, и уже на балконе с магнитофоном, слушая Высоцкого, сидели ребята. Тут еще была наша любимая полянка среди тополей, но полянки, увы, не осталось, тополя, правда, стояли.

Около полянки тогда была банька, в ней жила Та́нюшка, старушка. Я потом долгие годы собирался писать о том, как мы ей (и другим) помогали пилить дрова, а ей еще, кроме того, ловить ее непослушного влюбчивого козла. Надо было выследить, в каком дворе он в этот день ночует, взять с хозяев три рубля (тридцать копеек) и принести Танюшке. Если три рубля не давали, мы беспощадно уволакивали козла от несчастной козы. Жила Танюшка бедно-бедно, но всегда старалась нас чем-то угостить, особенно вкусной была репа. Помню, у этой Танюшки была дочь, продавщица. Как раз она принесла мне часы из магазина, часы «Кама» со светящимся циферблатом. Деньги на них я заработал на комбайне у дяди. Был еще день, а мне так хотелось увидеть, как часы светятся. И вот я побежал на сарай, забился в угол, укрылся тулупом, и стрелки начали считать мне новое время. Было первое лето после школы, было мне пятнадцать лет, паспорта я не имел и документы в институт не подавал, тем более я уже знал, что, может быть, меня возьмут осенью в редакцию. Районная двухполоска «За социалистическую деревню» становилась четырехполосной. Название ей было тогда изменено на «Социалистическую деревню».

Газета печаталась на ручной машине. Вначале мы издали смотрели, потом все ближе, а однажды Василий Евдокимович, печатник, весело велел: «А ну, кто поможет?» Как мы кинулись! Крутили по двое, когда рукоятка взлетала вверх, она прямо за собой вздергивала. Выезжала изнутри черная широкая доска с блестящими дощечками фотографий, машина издавала звук молотилки, доска ехала обратно, шипели черные резиновые валики, печатник тем временем подставлял под лапки большого вала чистый лист, лапки аккуратно прищемляли его и резко уносили вниз, провертывая меж валом и шрифтом. Там лист попадал под нитки, они не давали ему крутиться дальше, тащили с собой на похожие на вилы деревянные планки, а они опрокидывали запечатанный лист на стопку других. Дивно же было мне, когда в Москве, в армии, нас повезли на экскурсию в музей В. И. Ленина и там я увидел точно такую печатную машину, на которой печатали «Искру».

Главной радостью нам было унести из типографии завтрашнюю газету. Завтрашнюю! Это было огромное счастье — ведь никто еще не дожил до завтра, а в газете уже написано: сегодня состоялось совещание, то есть представить, что оно не состоится, было невозможно. Василий Евдокимович строго-престрого наказывал нам, чтоб никто не видел нас с газетой, строгости были огромные. Утром Тася складывала весь тираж в один мешок и тащила на почту. Евдокимыч, как его все звали, был еще знаменитый рыбак. У него же я купил старую лодку за семьдесят рублей плюс натуральную надбавку. Замка не было, я просто заматывал цепь за дерево, да и всего выехал на ней два раза: один раз с другом в разлив на далекие километры в сторону севера, другой раз я хотел прокатить в ней любимую девушку, но ничего не вышло, потом лодку то ли отвязали, то ли ее унесло. Евдокимыч был отец большого семейства, его жена тетя Дуся гонялась за нами, когда мы проходили в школу по ее двору, но это была самая короткая дорога.

В редакции сказали, что нас ждали вчера на аэродроме, что приземлились все кировские самолеты, кроме нашего. Из старых работников не было никого, я боялся спросить о Евдокимыче и спросил косвенно, сказав: «Тут вот стояла наша машина, ох, сколько мы с Василием Евдокимычем махорки изводили, когда газета задерживалась!» И вдруг женщина-печатник сказала: «Вчера забегал».

Редактор позвал к себе. Пошли воспоминания, редактор высказал беды районщиков, столь известные всем, — машина газеты втаскивает в себя непрерывную ленту материалов, а людей нет и т. д.

— Как вы думаете, — спрашивал он, — а эта тема заслуживает внимания?

Темы он называл все наболевшие. Например, продавцом быть стало престижно, как и в войну, и после войны (тогда, правда, и слов таких не знали). Получается, что, еле-еле дотащившись до аттестата, бывшая ученица делает зависимой бывшую учительницу, в отдельных случаях кричит на нее. Как мы считаем, правильно ли это? Конечно, это неправильно, согласились мы.

Еще пример: приезжали певец Магомаев, певица Пугачева, и кто же приобрел на них билеты? Об этом редактору говорили в Кирове, когда он был на семинаре. «Так кто же?» — «Это была выставка дубленок, бархата, нарядов. Сидели в зале одни продавцы. То есть знают ли эстрадные певцы, для кого они поют?»

Вновь говорили о погоде. Редактор говорил: «Если хлеб не вырастет, так хоть бы солома выросла, а то ведь позапрошлый год и за ней ездили». Он говорил еще, что в бригадах строителей не только студенты, инженеры, даже доценты берутся за топор. Разумеется, это материальный разврат в чистом виде. Зарабатывают за два месяца по полторы тысячи. И студенты, кстати, тоже. На втором курсе — туда-сюда, а третий, четвертый, пятый — тут идут большие заработки, как их потом с дипломом посадить на полторы сотни?..

За окном вновь стал сеяться дождь, мы простились.

У тети Поли вновь пришлось есть. «Отрад души поела, — говорила отдохнувшая мама, — отрад души».

Хотя было поздно, меня тянуло к реке. Пошел по улице Свободы, эта улица как раз и выводила к берегу. Парк за бывшими МТС, РТС, теперь «Сельхозтехникой», на месте пустыря сильно разросся, в нем цвели рябины, резко зеленели лиственницы. Здесь мы стреляли из винтовки, наша комсомольская организация ревниво держала первое место фактически по всем видам труда, спорта и самодеятельности. Кто помнит, не даст соврать. Вывозили удобрения на поля, Михаил Одегов, слесарь, придумал разрезать старые цистерны, раскатывать их в лист, приделывать скобы и таскать враз по восемь-десять тонн. Конечно, планы мы перевыполняли раз в сто.

А самодеятельность! Самое бурное собрание из всех бывших у нас было по вопросу: с кем дружить, с какой комсомольской организацией — школьной учительской или райбольницы. Голосовали раз пять. Вдобавок каждый раз голосовали за то, чтобы переголосовать. Победили те, кто был за школу. Мы отправили к ним послов, все честь по чести, пригласили на экскурсию. Они явились чинно-благородно, мы провели их по всей линии ремонта тракторов от мойки до обкатки, все разрешали трогать руками, посему в конце обхода пришлось тащить ведро солярки, потом горячую воду и мыло. В красном уголке уже был накрыт чай с пряниками. Вытирая руки одним полотенцем с высокой девушкой — учительницей рисования и черчения, я пошутил, что, по примете, так можно и поссориться, она, вспыхнув, отбросила полотенце. Сказав ту же шутку преподавательнице пения, был наказан насмешкой.

Вот здесь, по этой тропинке, обрывавшейся круто к реке, мы бегали тысячи раз. Над рекой стоит памятник комсомольцу Федорову, первый его вариант — просто оградка — был сделан при нас. В этот приезд, стоя над бесконечным простором, уходящим к северу, я понял, в чем особенное очарование Кильмези: в нее приходишь с юга, от Малой Кильмези, с горы, с запада, от Вичмаря, с горы, с востока, от Микварова и Зимника, с горы, то есть Кильмезь как бы в низине, но и сама она стоит на высоком-высоком месте, на обрыве, откуда не ограничен взгляд на север.

Простят меня земляки — не могу я сказать о Кильмези — он, поселок. Кильмезь для меня — она, материнская, хотя новым ребятам это странно.

Дождь все донимал, я вернулся. На крыльце вместе с кавказским народом гостиницы отмыл мочальной кистью обувь и вошел в ледяной номер. Он был на последнем, втором этаже.

Я стал смотреть — стояла светлая ночь. Только я узнавал место, как какое-то новое строение приглашало воспоминание. Вот столовая, в ней мы обедали с Валей, это было горе для мамы, когда я мимо дома шел обедать в столовую, но Валя была приезжая и вообще одна — из Даровского детдома, окончившая кировский библиотечный техникум. Целый вечер я старался говорить себе, что все в прошлом, но вот оно как близко, вот как взмывает — выше настоящего.

Теперь ясно, что первой моей любовью была Валя. Нет, так нельзя категорично. Из этого же окна был виден дом друга, в котором я впервые поцеловал Таню, тут же шла улица, по которой мы бежали на пожар с Галей. Но ведь это было не враз, так не было, чтоб сегодня с одной, завтра с другой. Всегда была единственная. Сколько раз жизнь могла пойти иначе. Или не могла? Мы не представляли в свои годы отношений между юношей и девушкой без освящения браком. Гуляли почти до рассвета. Вот в это же время, в которое сейчас не спалось. И песни пели, которые не передавали ни по радио, не печатали в газетах. Все они были о любви. «Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит вечерняя звезда», «Есть в Индийском океане остров, название ему Мадагаскар» — тут нажимали мы на припев: «Мы тоже люди, мы тоже любим»... Пели также про Индонезию: «Морями теплыми омытая, лесами древними покрытая...» Еще: «Ночь разводит опустевшие мосты, ночь над городом, и улицы пусты. Тихий дождик шелестит в твоем окне, он поет эту песню о тебе и обо мне». Пели: «Арриведерчи, Рома», пели: «В неапольском порту с пробоиной в борту», «Все знали атамана как вождя и мастера по делу...»

А дождь все шелестел. Я думал, что ожившие воспоминания, освежив, опечалив, отойдут и забудутся. Но, засыпая, хотел, чтоб кто-то приснился.

Настало утро. Сна я не помнил. Оделся и вышел. Дождя не было.

Выбирая дорогу, вновь пошел к реке, захватывая сейчас левую сторону по направлению от села. Сюда мы ходили полоскать белье. Сюда бегали смотреть ледоход, здесь встречали корову, она со всеми возвращалась из заречных пастбищ, стадо переплывало реку наискосок. Здесь ходил паром. Сейчас на середине реки был огромный песчаный остров, но все же река была широкой, вода чистая. Помню, как младший брат прибежал с реки и говорил, что на реке видел сухари и помадки. Это он так расслышал слова: глухари и матки, то есть сплоченные воедино особым методом бревна. Летом примерно здесь же было начало затора. Он ставился с двоякой целью: поднять воду в верховьях и дать возможность в низовьях принять ранее ушедший лес. Мы бегали по затору, рыбачили в его проранах, расщелинах. Еловые бревна были коварны, а сосновые и березовые, если сухие, были надежны, не скользили под подошвой.

Над колодой полоскания белья не было, как сейчас, укрытия. Приезжало враз помногу, все со своими фонарями. Если удачно — мы еще успевали, составив с санок тазы с бельем, покататься. Вода в колоду лилась подземная, теплая, сверху с таза снималась корка верхнего половика и в колоде отмякала. Если была большая очередь, мама, не выдерживая, шла с нами к проруби, полоскала в ней. Но там вода была ледяная, и потом у мамы сильно ломило руки. Наша работа была — бить дубовым или березовым вальком по мокрому белью. Особенно доставалось, когда полоскали половики. В мороз еще до отжимания они быстро твердели. Дома их развешивали на сарае, вымораживали день-два и вносили в дом. В доме долго стоял запах свежести, даже казалось, что пахнет черемухой, особенно если день стоял солнечный и морозные окна сияли белыми цветами.

Тут собака завыла, да так, что я подумал: одно из двух — или она брошена умирать, или у нее отняли всех щенков. Ветер шел в мою сторону от жилых домов, ветер был сильный, вой собаки относило. Вроде она была в логу, а может, за ним. И опять раздался. Потом умолк. Тут заработал мотоцикл, и собака снова завыла. Мотоцикл уехал.

Вот и Красная гора. Весной сюда ходили жечь старую траву, и гора издали походила на карту. Раз мы выжгли в одном месте, решили на другом. Я схватил горячий сук, закричал: «Я — хранитель огня!» Пока бежали, искры, видно, попали на фуфайку, на левую сторону, и я еще, помню, гордо подумал: это сердце мое разгорелось в груди, но тут услышал запах горящей ваты. Затушили, натолкали в дыру остатков снега из оврага. Дома перешил тайком пуговицы и застегивался на другую сторону. Однажды утром, запахиваясь, я не нашел пуговиц. Оказалось, что мама заштопала дыру, и перешила все обратно, не сказав мне ни слова.

По Красной горе мы ходили после шестого класса работать на кирпичный завод, это километра за три. Там еще раньше был крахмало-паточный. На кирпичном мы возили глину в тачках, расставляли для обсушки сырые кирпичи, перевозили их для обжига к печи, пилили огромные тюльки на бакулики, то есть на чурочки — подставки для доски. В обед купались у плотины на речке Юг. Разошедшись однажды, осмелев в компании, мы подняли запоры, вода из пруда хлынула. Было нам. Еще там карлик пас гусей. Еще дальше кирпичного были Вич-

марь, Алас. В разливы там бывала дорога в заречные поселки и лесопункты.

Еще в то утро я прошел до фонтана, там и в самом деле был когда-то фонтан, потом огромная, нам казалось, вышка. Там тоже полоскали, и тоже была всегда большая очередь. Там уже при нас были крыша и стены от ветра. Привезя белье, мы лазили по вышке, по ее расшатанным, трупелым в краях ступенькам, поднимались до верху, до огромнейшего чана, залезали и сидели, как на скамье, на его краю, свесив ноги. Внизу зеленела вода, голоса, не дожидаясь эха, гремели, как в рупоре. Раз в этот чан за двадцать копеек спрыгнул мальчишка по прозвищу Мартошка. От чана вниз вела железная труба, и по ней мы катались. Рубахи задирало, и живот, пока ехал донизу, оледеневал даже летом.

Вот сразу два дома: тут была на постое Тая, как раз к этому окну, замирая, я крался, чтоб увидеть ее. Но потом чувство, налетев, прошло. Она была из Селина, туда я ездил в командировку, она просила зайти к отцу-фельдшеру и привезти широкий лаковый пояс, очень модный тогда. Я зашел, они не отпустили, так я у них и ночевал, в сенях, под льняным пологом, и перед этим мне было сказано, что тут всегда спит Тая. Она училась в десятом, я уже начинал работать. Сейчас, не утерпев, я заглянул — в углу, где тогда сидела Тая, стоял телевизор. А это дом, где жили учителя. Как раз Люся и Галя. Мы приходили к ним, и, сразу оговорюсь, я, как секретарь, считал, что даже обязан знать нужды подшефных, но разве это нужно было девушкам? Я очень хорошо относился к Люсе, очень хорошо. Но не было того, что к Вале, лукавить было бы стыдно. Люся, поступая учиться в Москву, приезжала ко мне в армейскую часть, я чем-то тогда проштрафился, меня не отпустили.

Еще в это утро пришел на Аллею героев. Почти всех, чьи фотографии там были, я знал. Вдруг увидел — Черезов. Он был тогда председателем колхоза имени Фрунзе, а я приехал проводить комсомольское собрание. Молодежь колхоза не участвовала в стрелковых соревнованиях. В чем дело? У них не было малокалиберной винтовки. Почему? Председатель денег не дает. И вот — а ведь было! — я встал и произнес речь против председателя в защиту обороны. Он хмурился, поглядывая исподлобья, но денег не обещал. Я настаивал, чтоб винтовка была куплена немедленно, и наутро с их секретарем и с Черезовым (его вызывали зачем-то в райком) мы по-

ехали. Какой же был тогда мороз! Я думал — околею, одет был плохо. Черезов снял с себя тулуп, я отказался из упрямства. Доехали до Воронья, тут Черезов велел привернуть к одной избе. Ног подо мной не было, шел как на деревяшках. Куда-то кто-то побежал. Черезов, называя меня на «вы» (было мне семнадцать лет), просил разуться. А у меня уже и руки не работали. Тогда он стащил с меня сапоги, принесли таз со снегом, и он стал растирать мои ноги. Руки стали отходить, их выламывало изнутри в запястьях. Принесли водку в бутылке, покрытой инеем, вытряхнули в кружку синюю ледяную кашу, растопили чаем. Я выпил, разревелся и сказал: извините меня. И еще раз: простите меня, Александр Павлович!

Но почему же тогда-то, готовясь к обороне, изучая усердно винтовки, гранаты, изучая немецкий готический шрифт, готовясь к стрелковым соревнованиям, как к празднику, почему тогда мы так не почитали, не знали даже фронтовиков? Объяснение, что льготы с фронтовиков были сняты и многие перестали ценить награды, верное, но не окончательное. Что-то тогда дало осечку в пропаганде. Или фронтовики не считали и сами своей заслугой спасение отечества, а считали делом обычным, как и в Древней Руси смену плуга на меч. Один мужик просто говорил мне: «Если бы война затянулась, я бы еще ее застал». То есть воевал бы. Или же так горька была победа, такие страдания принесла, что было не до гордости. И само слово «победа» по этимологии обозначает событие, происшедшее после беды. Победа.

По-беда.

Вечер все же утих, но оживлялся, когда я проходил мимо больших берез и тополей. Тех, которые могли помнить меня. Мне так и казалось, что они именно узнают и приветственно шумят. Вот милиция, вот опять остановка. Сюда нас привели из магазина, совсем маленьких. Мы долго давились в магазине за овсяными хлопьями. Так как страдали не в одиночку, то было даже весело. А у одной женщины вырезали карман с деньгами, она хватилась — подумала, что мы. Нас схватили. В милиции расстелили газеты и велели высыпать хлопья на стол. Ничего не нашли. Нам до того было обидно, не рассказать. «Не воры мы, — говорили, — не воры». Нас отпустили, помню, я спрыгнул прямо с крыльца через перила, а не пошел по ступенькам. До того хотелось быстрее уйти. Сюда же, подрастая, мы приходили дежурить, спа-

чала бригадмильцами, потом дружинниками. Помню, прибежала женщина, говоря, что за околицей, у поворота на Троицкое, с саней упал мужчина, а лошадь ушла. Мы поехали на дежурной лошади. Не один мужчина там оказался, а еще маленький мальчик. Когда отец выпал, мальчик спрыгнул сам и сидел около него. Так они оба и ночевали в милиции. Еще раз, в праздники, был выезд, уже на машине, на лесозавод, там была драка. Но мы ее не застали. В одном бараке, сказали, скрывается женщина, из-за которой все получилось. Мы пошли, старуха показала вверх на полати. Я заскочил первым, в дальнем углу сидела, скорчась, голая женщина, было темно, только глаза чернели. Я слез и, глядя на старуху, сказал: «Тебе показалось, там никого нет». Но вообще хулиганства в селе было мало. Всех дел у дружинников было гулять, как и все, от почты до аптеки, в субботу забредать бесплатно на танцы и, снимая поочередно повязки, танцевать.

У милиции был стенд со стенгазетой «На чистую воду». В ней я помещал сатирические стихи, например: «Всего две лампочки висят на двух столбах в селе. Давно пора наладить свет, жилось бы веселей». Или обличал хозяев, распускавших коз, которые обгладывали молодые посаженные деревца. Коз держали вынужденно: налог на коров был большой. Коз называли сталинскими коровами. Вообще, к чести тогдашних школьников, мы много занимались озеленением.

И не пропал наш труд — Кильмезь необычайно красива, особенно в эту пору цветения.

Вся моя прогулка уложилась в час. Деточек, тепло одетых, в сапожках, вели и везли в детские сады, на молодых родителей я и не глядел, конечно, не узнаю никого, но одного мальчишку, уж очень браво он шлепал по луже, не утерпел, спросил весело: «Как фамилия?» И, так же весело и прямо взглянув, он ответил: «Чучалин моя фамилия. Здравствуйте!»

Тетя Поля накануне ни за что не велела ходить в столовую. И правильно. Наверное, она не спала — стряпни на столе было самой разной. Она все извинялась, что мука плоха, того нет, другого нет, но нам казалось — все есть. Конечно, так бы и в городе тете Поле показалось после сельского стола.

Я рассказал об утреннем обходе. Да и они, конечно, все утро проговорили воспоминания. «Босиком бегали,

никто не осуждал, сейчас, леший ее унеси, эту моду, друг перед другом форсятся».

Говорили о еде.

— Мы какие-то жоркие были, — говорила тетя Поля.

— С работы.

— С работы, да. А сейчас хоть насильно корми — не едят. Жиру мало было, хлебаешь из чашки только под своим краем и стараешься пораньше ложку положить, чтоб показать, что сыт. А помню, девчонкой была, побегу в погреб, пальцем сметану из горшка достаю. Мама горшок принесет и смотрит: «Опять ведь, отец, кошка была». Переглянутся, а я сижу и радуюсь, что на кошку подумали, а не на меня. А того не думаю, что разве стали бы после кошки есть. Еще, помню, отец говорил: «На что и вилка, была бы рука бирка».

И уж конечно, говорили о сенокосе. Тетя Поля жаловалась:

— Сейчас по два центнера на каждого работающего, это вроде немного, но сколько нас работает? Стариков не пошлешь, а молодежь отучена.

— Наши-то велики ли были, косили. У меня старший, — это мама, — возьму с собой, чтоб не онеметь, целый день не разговариваешь, и вот хлопаю и хлопаю, и все кажется — мало. Он глядел-глядел, говорит: «Мне бы маленькую литовочку сделать бы, и я бы стал». Ему конюх Николай Павлович сделал, смерил его до пояса, литовище насадил.

Сестра вставила:

— А меня оставляли еще до первого класса одну. На целый день. Все хозяйство — и еще сестра, чуть ли не грудная. Нынче рассказываю ученикам, не верят, думают, это им нарочно говорят.

— А бедность была, — опять мама, — ты, говоришь, у парома был, ведь до чего бедно, еду на пароме, одежонку с ребят соберу, а они за паромом плывут, как собачата, чтоб не платить.

— Жили не по желанию, а по необходимости,— тетя Поля. — Хоть крючит, хоть микрючит, а работали. А уж и работали. Сено за год заходило, нынче уж коров деревьями кормят. В газетке пишут: нетрадиционные корма.

Константин Владимирович уже давно перешел на диван и дремал.

Стали собираться на кладбище. Тетю Полю позвали,

но так как у нее еще было много дел по хозяйству, те решили зайти в школу, уговорясь, где встретиться.

Погода эти дни, как говорили, была не погода, а климат: то быстро выходило и торопливо грело солнце до того, что плащи и летние пальто оказывались снятыми и висящими на локте, то воцарялся ветер, резко, по-осеннему сдергивал зеленые листья, а то и того чище — сыпала снежная крупа и даже какое-то время хрумчела, как выразилась мама, под подошвой.

Новая школа была рядом с бывшей начальной. Сюда мы ходили по четыре года. Вот забор, конечно, другой, но именно на том месте, который мы в перемену перелезали вслед за старшими, там выкапывали и ели какие-то белые корни. В школе варили похлебку, давали по мисочке после второго урока. В распутицу те, кто ходил в лаптях, привязывали к ним снизу деревянные колодки.

Школа наша всегда была одна из лучших в области. Особенно в деле приобщения к труду. На лето или часть лета за каждым закрепляли грядку или ее половину, ухаживали, ставили опыты. Младший брат позднее меня учился, у них уже были свои трактора. Вдоль школьного забора шла аккуратная полоса чистой, рыхлой земли. На ней росли дивные голубые цветы. На огромном дворе вдали стояла оранжерея с надписью «Малая Тимирязевка», но и шалости не дремали, на двери была надпись мелом: «Осторожно, злая кошка», «Здесь учился и мучился Саша М.». Внутри шла работа. Просторные вестибюли, классы мыли, красили, убирали. «Узнаете ли? — спросила вдруг, подойдя, учительница. — Соседка ведь ваша». Мы, как ни силились, не могли. «А в райкоме-то, помнишь ли?» — сказала она. Тут я вскрикнул, конечно! Рая Двоеглазова, заведующая общим отделом. О! Сколько же воскресло! Наши бесконечные общественные дела. Одно я помнил, другое она. Наш первый секретарь тогдашнего РК ВЛКСМ Зоя Степановна сейчас оказалась заведующей отделом пропаганды РК КПСС. Первая моя заметка как раз связана с нею. В десятом классе я был на областном съезде рабселькоров. Приехал в валенках. Поразили до потрясения меня манекены в витрине магазина. Похожесть куклы на человека оправдана — она игрушка, но когда кукла с человека показывает еще ему образцы одевания, то есть поведения, это показалось мне нехорошим, ненужным.

Тогда была какая-то кампания по конькобежному спорту, гремела наша землячка Мария Исакова, меня

спросили, есть ли в Кильмези каток. «Нету». — «Садись и пиши». Я сел и написал, что в Кильмези нет катка. Правда, его там не было сто лет, и сто лет еще он не был нужен: кому надо, шел на гладкий лед замерзшей реки. Да как-то и не приходились к нам коньки, я, например, стоял на них раз в жизни, в основном Кильмезь — лыжная (это особая статья воспоминаний о лыжах в нашей жизни), ну так вот, заставили меня написать донос на то, что в Кильмези нет катка. Что не сделает жажда быть напечатанным. Крохотная заметочка без заглавия в общей подборке пришла в Кильмезь. Как раз случился сбор секретарей школьных комсомольских организаций. Зоя Степановна читала «Комсомольское племя», добралась до критики на себя. «Кто это такой-то?» — спросила она. Я подпрыгнул от счастья — увидел свою фамилию печатными буквами — мечта всей жизни сбылась. «Это я!» — «Ну, так вот, — сказала Зоя Степановна, — будешь расчищать стадион лично». В помощь мне, помню, был послан бульдозер, который заглох через полчаса, и я лопатой оправдывал свои слова. Ничего, конечно, из затеи не получилось. Хотя успел уже я узнать, что каток надо заливать не холодной, а теплой водой, чтобы вода не успевала замерзнуть, а вначале растекалась. Еще был памятный воскресник, мы вспомнили его с Раей, тогда решалось — полюбит ли меня Москалева. Москалева не полюбила. Да и правильно — была старше, собиралась замуж. Но ее общественная активность была наравне с моей — это ли не основание для сближения? «Образец для любви готовый, — писал я, — начало мною положено. В мире есть Москалева, есть на нее похожие». Когда был воскресник, я уже был членом райкома. Не было пленума, на котором бы я не выступал, требуя справедливости, обличая райком ВЛКСМ в инертности, забывая, что и сам участник пленума. А Москалева была членом бюро райкома, организовывала все мероприятия в Доме культуры, она всех запрягала в свои дела. Был вечер братских республик, молодые учителя шили нам костюмы, там каждую республику изображали юноша и девушка. Я сильно надеялся, что Москалева будет мне напарницей в показе России, но в последний момент она вышла под руку с усатым молдаванином — хозяином мойки — Васькой Шампоровым, а меня схватила под руку замужняя красавица Лида Потапова. Оглянувшись, я увидел парад эртээсовских ребят в паре с неизвестными мне девушками, так преоб-

разило всех переодевание в костюмы других национальностей. Это был Новый год, маскарад. Потом я, танцуя, не отпускал Москалеву от себя, говоря, что и этот, и этот, и этот огоньки на елке горят только для нее. «Да уж скажи сразу, что все», — смеялась она кружась. Какая ей была разница, с кем коротать дни ожидания возлюбленного из армии.

Такие воспоминания налетают мгновенно, а держатся долго. Еще о Рае сказать надо. У нее был старший брат Павел. Напившись, он порой угрожал самоубийством. Раз он до смерти напугал маму, она полезла на сеновал за сеном, зимой, уже смеркалось, а Павел стоял на бревне и, увидев маму, нарочно захрипел. Мама закричала так, что старший мой брат заскочил на сеновал без лестницы. «Болен он теперь сильно, в Челябинске». И кого мы ни брались вспоминать, все были кто где: в Брежневе — кто помоложе, кто постарше — в Свердловске, в Сибири, почему-то в Молдавии, в Мурманске, даже на Сахалине и Камчатке. Дочь одной знакомой вышла в Ленинграде замуж за негра. Еще было неизвестно — куда она с мужем после института. Но ребенка уж родила, и ребенок здесь. «Но не черный, а будто загорелый».

Сестра в это время говорила с другой учительницей, старше. Подошла и возмущенно сказала:

— Чего выдумали! Будто я в Игоря была влюблена! Он такой был хитрый, ехидный, всегда у меня в кино очки утаскивал. А еще, бывало, выучит заранее билеты и придет мешать. Мне нравился Валерка в шестом классе, больше ничего не было. Тогда ведь не нынче. Танцевали, мне он говорит: «Давай дружить»». Я говорю: «Я тебе не под пару: ты отличник, а я ударница».

И так все вдруг встало рядом, что мы засмеялись и помолодели.

Тут и Валя подошла, Валентина Яковлевна, директор школьного музея. Валя как раз и есть сестра Тани, о которой я писал: «Не стесняясь, ходит босое мое счастье рыжекосое». Но кто когда знает, что будет, как пойдет жизнь? Прямо или не прямо, но был ли я виноватым в других несостоявшихся судьбах? И моя жизнь могла пойти иначе, но, постарев, я думаю, что нет случайностей. По крайней мере, так надо думать, иначе можно всего себя исказнить, все снова и снова узнавая о судьбах тех, кого знал. Валю я бы узнал всегда. Чуточку располнела, глаза стали глубже и грустнее, но голос тот же, мне не

описать его. Валя дружила с Москалевой, иногда они, еще несколько девушек, сидя на скамейке рядом, пели, пели удивительно.

«А вы, — говорила Москалева, — комаров отгоняйте».

Школьный музей помещался в крохотной комнате. Но сделан был с такой любовью, так много знакомых лиц смотрело на меня со стен. Еще вдобавок и предметы крестьянского быта, посуда, вообще утварь, орудия труда на полу, по стенам и в середине. Я уж не стал заикаться о давней мечте создания музея Великого Сибирского тракта, на нем как раз стоит Кильмезь, работа эта одному энтузиасту не под силу. Мы отошли с Валей в сторонку, поговорили. Печальны разговоры с промежутком в двадцать лет.

Однако нам было пора. Пошли на остановку. Пригрелись на скамье, на солнышке. Мама и тетя Поля вспоминали общего знакомого, соседа, который только что мелькнул, но не подошел, они были уверены, что узнал.

— Дров у них вечно не было, жили взаймы. Вот привезем дров, идет просить. «Забирай, какую утащишь». Раз чурку взял большущую, больше себя, кряхтел, кряхтел, утащил. Потом поясницей мучился. Или за сеном придет — взаймы два пуда. Четыре охапки. А сено заливное, веское, каждый раз по пуду утаскивал. Ладно, думаю. Уж он уминает, уминает, коленом притопчет, тащит, как муравей.

— Рейку на пилораме выписывали, мы приедем, что навалят, то и спасибо, иной раз планки как фанерки, они моментально прогорают — тепла нет, а он целый день просидит, отберет крупный, как короста. Жаден, жаден. Жена говорила, до чего, говорит, у меня мужик экономный, в столовой, говорит, суп едим, если станет ложкой нельзя хлебать, через край выпьет.

— Выпить любил.

— Любил. Опять тоже, умел попасть именно в тот момент, когда могут угостить. И так примет угощение, что вроде не даром пьет, а одолжение делает. «Стопку пьем — карахтер кажем».

Промелькивали мимо прыгающие автобусы, в основном со школьниками: начиналась летняя практика. Появился и наш. Мы спросили, будет ли у кладбища остановка.

— Чего на Троицу не ходили? — спросил мужик, та-

щивший с собой бензопилу, завернутую в мешки. — Тут на Троицу все кладбище кипело!

Когда вышли, резко, при солнце, просыпало вдруг мелким градом — и будто ничего не было, только трава над красной свежей глиной дороги засверкала. Шли, говоря о том, к кому еще надо непременно зайти. «Хоть на минутку», — перечисляла фамилии сестра. Но мы понимали, что на минутку ни к кому не зайдешь, что обид все равно не избежать. Я давно заметил, что у нас никто ни для кого хорош не бывает, особенно в отношении родни и землячества. Оденешься прилично — ишь, скажут, вырядился. Плохо оденешься, снова осудят — до чего уж дожил, на костюм не заработал. И так далее.

Церковь, в которой нас крестили, сгорела. На ее месте выросли три березки. День крещения я помню. Шел снег. Нам дали лошадь. Младшим, вначале подумали о них, хватило крестных родителей, а мне нет. Мама помнит мою крестную мать, но не знает, кто она. Это была прохожая женщина, она откуда-то и куда-то шла по тракту, озябла и зашла в церковь обогреться. Ее-то и позвали в крестные, она-то и обвела меня за руку вслед за священником вокруг аналоя, а сама ушла дальше.

Эти три березки выросли сами, объясняла тетя Поля, никто не сажал, от семени, принесенного ветром. В эту крохотную церковь нас с Катей однажды посылали следить, не будет ли венчаться молодежь, такие факты были. Видимо, тогда был какой-то религиозный праздник, откуда мы знали — послали, и все. Действительно, приехала свадьба. Брачующиеся были так красивы и нарядны, что я в шутку шептал Кате, что я тоже хочу встать с нею под венец. Молодые выходили из церкви, надо было узнать их фамилии и из какого колхоза. Мы и в самом деле спросили, но нам продающая свечи старушка сказала: «Бог знает, кого венчает». Больше спрашивать было неудобно, так как она спросила, не будем ли и мы венчаться. Считая поручение невыполненным, в райкоме мы ничего не сказали.

От трех березок дорога вела вглубь. Искали большое дерево. Но деревья все были огромны, тень наступила, вороны замолкли. Все помнили, что налево. Первой я нашел могилу бабушки. Позвал остальных. Уже не дерево было у могил, а огромный черный пень. Положили меж двух камней доску. Тетя Поля и мама раскладывали еду.

Я стал обрывать с могил траву. Сестра огорчалась: «Велика ли была, ведь я водила могилу копать и неверно указала, а папа был в командировке». Получалось, что бабушка и дедушка лежат не рядом, а шагах в пяти-шести. Я сказал о своей давней мысли перезахоронить останки, чтоб они были вместе. «Не знаю», — задумчиво сказала мама. А тетя Поля энергично вмешалась: «Не надо! Земля что тут одна, что тут. Как земля заповедала, так и надо». Свечечка загорелась, уставленная на старом лежащем кресте.

— Хватит, хватит тебе, — остановила меня мама. — Малину не вырывают.

— Это чтоб видно было, что приходим, чтоб не вздумал кто тут хоронить, — оправдался я.

С тетей Полей мы вспомнили тот летний день. Шел сенокос. Накануне я прибегал в больницу, дедушка вышел со мной на крыльцо, и мы посидели на солнышке. О чем говорили, не помню. Наверное, он расспрашивал о делах. Трава была скошена, сохла, думали завтра грести и метать. Это было перед обедом. После обеда дедушка лег отдохнуть и не проснулся. На следующий день начались хлопоты, но как бросить сено? Мама попросила сходить на луга тетю Полю, я позвал друга Сапю, еще был младший брат. И вот, вчетвером, мы поставили стог. Так я впервые в жизни был метальщиком. Обратно не шли пешком, а сделали плот и плыли на нем, дурачась и купаясь, почти до лесозавода, до тринадцати родников. Там были родники, выходящие изнутри высокого обрыва. И когда мы ходили на луга, то обязательно пили по глоточку из каждого. У лесозавода лежали огромные накаты бревен, огромные штабеля напиленного теса, стоял запах соснового бора, по тесу и бревнам мы бегали часто, но однажды набежали на выводок змей, выползших понежиться на верх теса.

Мы плыли, дурачились, да так, в таком веселом, гордом даже состоянии, ворвались в дом. В доме, в передней, стоял гроб.

Дедушку отпевали в церкви. Я не пошел внутрь, считая это недостойным члена ВЛКСМ. Потом позвали проститься. Я, отстегнув комсомольский значок, вошел и поклонился телу дедушки.

— А я, — сказала сестра, — чтоб не таить, выскажу одну обиду: мы пили чай, а дедушка откуда-то взял конфету и пил с ней, а нам не дал.

— Старый, сладенькое любил, — оправдала мама.

Солнце разошлось, птицы воодушевленно запели, даже кукушка ударила. Мокрые кусты стали высыхать, шевелиться от слабого ветра. Занудили свое комары. Если бы не они, прямо хоть раздевайся, до того стало тепло. Только ветер не давал забыться, усиливаясь, он опахивал холодом.

Еще надо было навестить могилы тети Полиной матери и свекрови, они были в одной загородке. Простясь с родными, мы пошли на новую часть кладбища. Знакомые фамилии непрерывно останавливали нас. Что и говорить — печально прийти на кладбище после такого перерыва. Сестра заплакала вдруг навзрыд, и я узнал по фотографии красивую девушку — Нина Чучалина.

— Умерла от любви, — говорила тетя Поля, — полюбила парня, когда в деревне работала, а родителям показалось низко — механизатор. Потом чего-то с ним случилось, погиб, она стала на могилу ходить, в последнее время даже ночью ходила, да и так и...

— Мы вместе ездили на сессии в институт, — говорила сестра сквозь слезы. — Потом разъехались и переписывались. А потом она перестала отвечать, я написала дважды, думаю, пусть теперь она пишет. И так и не дождалась... — И снова, поразившись тому, откуда она ждала письма, продолжала плакать.

Мы отошли.

— Тут Федор Иванович, помнишь ли, — спросила тетя Поля, — конюх в лесхозе был, Городецких?

Как не помнить? Мир праху, Федор Иванович. Как не помнить Зорьку, Буяна, Якоря, но особенно помню Партизанку. Худая до невозможности она вернулась с войны. Раз купать их погнали. Меня Федор Иванович посадил, мал я был, он и выбрал мне Партизанку. Телогрейку подсунул. Ребята поскакали, Партизанка стала торопиться к воде, телогрейка сползла. Я схватился за гриву, все сиденье себе расшлепал в кровь.

Как вдруг вспомнился тот вечер. Острый хребет Партизанки я еле терпел, приноравливаясь сидеть, но на бегу лошади ничего не получалось, я съехал вбок и вовсе упал под ноги. Лошадь остановилась, ждала, когда я сяду. Но не было никакого столбика или изгороди. Ребята ускакали вперед. Я чуть не разревелся, повел Партизанку в поводу. Повел другой дорогой, чтоб не встретиться ни с кем. Привел на реку, загнал в воду и долго мыл. Силенок не было, скребницу увезли старшие, я нарвал

осоки и вышоркал Партизанку. Она, напившись, дремала. Я сильно озяб, повел ее домой. Но на берегу она вдруг легла на песок и стала валяться, стараясь перекинуться через острый хребет. Я дергал ее за повод, уговаривал. Партизанка встала, встряхнулась и хотела идти домой, но я снова потащил ее в воду. Нельзя же вести ее грязной. Был ей еле по брюхо. Поплескал снизу. Она опять вышла и опять повалилась. Встала и встряхнулась. А уже было совсем поздно. Комары облепили меня, я их просто сгребал с зареванного лица. Сверху по течению спустился белый туман. Партизанка ждала. Я потянул ее за повод, и мы пошли. Потом понял, что она никуда не убежит, и подвязал повод. Так мы и плелись рядышком. Поднялись на берег, пошли по дороге через поля цветущей картошки. Партизанка иногда останавливалась и рвала траву. Уже к ночи мы пришли на конный двор. Федор Иванович похлопал лошадь по ребрам, похвалил меня, что я хорошо ее выкупал. «Она на песке валялась», — сказал я. «Правильно. Вы купаетесь, разве не лежите на песке?» А я думал, он будет ругаться.

Федор Иванович и другой конюх, Николай Павлович, были очень сильные. Нагибались под лошадь и поднимали в воздух на плечах.

А сейчас вот узнал от тети Поли, что Федор Иванович не умер — погиб. Они стояли у стены, пятилась машина, тормоза отказали. Все отскочили, а Федор Иванович не успел. «Куда он на деревяшке? Так и распичкало».

Холодный прямой дождь упал вдруг, защелкал в листьях, глухо зашумел в хвое. Почему-то мы замолчали вдруг, разбрелись, нашли укрытия. То, константиновское, и это кладбище сошлись для меня в единое. Сколько сверстников (Ходырев, Новокрещенов) уже ушло. Вначале еще думается о том, как растворяется и соединяется с землей тело, потом мысль об этом спокойна. Мы же не знаем свои времена и сроки, и надо постоянно жить, чтобы в конце не испугаться. Но это легко сказать — а как на деле?

Маленькая птичка забилась от дождя под ветку, я разглядел ее и боялся спугнуть. Вдруг почему-то вспомнил, как один год, весной, я был в Мурманске, где уже начались белые ночи. Май, День Победы. Салют при солнце. Падали парашютики с обгоревшими крошками цветных ракет, мальчишки ловили их. Один парашютик упал ко мне на ладонь, мальчишки обступили меня. Мне

очень хотелось оставить парашютик себе, но это была собственность мальчишек. Когда я отдал парашютик самому маленькому, я уже сразу знал, что его ограбят. Но не об этом. В Мурманске неслись снежные залпы с севера, я еле улетел, в Москве уже цвела акация, сирень, березы начинали зеленеть, то есть у меня был скачок от снега к весне. Но была тайна в том, что через день служба угнала меня далеко на юг, где уже было лето. С тех пор я не люблю такие перебросы, и вот почему. Когда я забрел в Черное море, когда на меня пошла пусть не теплая, но вполне терпимой температуры волна, я сразу почувствовал, что сейчас в Мурманске снег и ветер, что мне должно быть стыдно, что мне в это же время хорошо. Тут легко явилось сравнение еще вот с чем: у нас была война, а в Южной, например, Америке футбол. Ведь это же точно, что они торопились прослушать скорее известия о нашей войне, лишь бы дорваться до футбола. Вот и сейчас — как мгновенно перекрывает спорт любые события. Не ужасно ли — царапину на ноге нападающего переживают сильнее, чем сотни, тысячи смертей.

Побрели потихоньку обратно. Но повезло — подобрала легковая машина. Который уж раз не шел, а ехал мимо дома, в котором жила Валя. Она в двух местах жила. Вначале на Колхозной. У нее там была подруга Роза. Они вместе учились в Кирове, в библиотечном техникуме. С Розой я вместе ехал из Аргыжа. В Кильмезь в те годы из областного центра добирались двояко, но любой путь был не меньше двух суток — водой, до Аргыжа, оттуда на попутных, или железной дорогой с пересадкой в Ижевске до Сюрека и оттуда на попутных. Мы сидели на мешках с мукой, в кузове. Этот путь я проделывал десятки раз. Первый раз меня везли на телеге крошечного показать дедушке и бабушке. Мама говорит, что я закричал, забился, увидя глину. Остановили лошадь, меня ссадили. Я где на ногах, где ползком докарабкался до нее и стал есть.

Именно Роза познакомила меня с Валей. Мы пришли — была осень — на почту погреться. Зная от Розы, что Валя детдомовка, я спросил напрямую: «Вы из Даровского?» Она, покраснев, ответила: «Да». В юности порывы безотчетны, но что-то же правит нами, представить свою жизнь без любви к Вале я не могу. Мне было стыдно перед Розой, но Валя заполнила все. Не оставалось в районе телефона, откуда бы я ей не звонил из

своих бесконечных командировок. А несколько раз мы были вместе. В Зимнике, очень помню, я вскочил раным-рано, хозяйка смеялась: «Тебя бы в бригадиры, больно беспокойный». Я ходил по избе, говорил, но главное для меня было в Валиной руке, свесившейся с полатей. Тогда Валя потеряла часы. Она вечно все теряла, за ней все время нужен был присмотр. Валя была невероятно застенчива. Она стеснялась надевать при мне очки, стеснялась обнаруживать свою начитанность, но с читателями своей, детской библиотеки была энергична, распорядительна. Помню, как я поцеловал ее впервые. Это было касание губами ее скользнувшей холодной щеки, потом замирание, ее потупленная русая головка, а меня затрясло так, что застучали зубы.

Через три года она писала в армию: «Ты был в те времена самым близким мне человеком. Конечно, надо бы жить настоящим, а не вспоминать прошлое, но если оно было лучше настоящего, что тогда? ...Я тоже была счастлива с тобой по-настоящему, но переживала я гораздо позже. Любила тебя... и понимаешь, время не отдаляет тебя. Вот получила письмо, и кажется, не было этих трех лет между нами. Ты не забыл еще наш соплюз, союз сопливых, и как в него вступали после гриппа; а билеты мы с тобой ходили покупать на бал-маскарад, был ветер, валил снег, я запнулась и упала, и билеты выпали, и мы пошли с тобой за новыми; а диамат и болезнь смехом, ты надежно забыл об этом, как мы смеялись над фразой «возникновение диалектического материализма революция философии»; а командировки вместе с тобой... Я до сих пор встречаю в библиотеке каталожные карточки, написанные твоею рукой. Мелочи, а какие милые».

Валя была старше меня, это было мое несчастье. Мне было шестнадцать, ей девятнадцать. В армии мне было двадцать, ей стало двадцать три. Хорошо это или плохо, что мы поссорились? А вдруг было бы хуже, если бы я знал в армии, что она меня ждет, а она бы не дождалась? Я закончил службу в двадцать два года, ей — двадцать пять. Сколько еще ждать? Тем более я из армии сразу пошел в институт, а стипендия была в те годы двадцать два рубля, то есть меньше, чем я получал, когда был старшиной дивизиона и на всем готовом. Уйти на заочное? Тогда прощай дневное со всеми его достоинствами общения с наставниками и друг с другом, со всеми его безалаберностями, которые тоже суть достоинства. Тут нет ни расчета, ни какого-то оправдания себя, попытка

понять. Столько в отрочестве и юности вариантов судьбы, что когда думаешь о десятках возможных, любой из которых мог бы сбыться, но проживается единственный, то приходишь к выводу, что случайностей нет. Так сказать, детерминизация казуальности, то есть причинность случайности, сочетая модные слова из словаря иностранных слов. Словарь тоже от Вали. Не будь Вали, такой словарь бы все равно был в жизни, в подростках и юношах хочется быть непонятным, но заодно и умным.

Мы поссорились. Ссору придумала Валя. То есть она на нее пошла, может быть, неосознанно, но не случайно. На лодке я подгребал к высокому месту, где ждала Валя, греб стоя, что было, как мне казалось, весьма эффектно. Но Валя, смотревшая сверху, видела только мое мальчишество да неловкое барахтанье с веслом. Тем более лодка протекала. Она засмеялась: «Капитан дырявой калоши». Это обидно стало мне, гордящемуся своей лодкой, дававшей столько счастья. «Ну и не садись». — «Ну и не сяду». Она ушла. И в тот же день, или специально, или дразня меня, прошла по улице с другим парнем, который был старше и меня, и ее и от которого через пять лет она убежала, завернув дочку в свое единственное пальтишко. Тогда я обидел ее, напугал и его, подойдя к ним и обозвав ее нехорошим словом. Потом мы виделись еще раз, об этом позднее я сочинил: «Ты помнишь: громко малыши недалеко в войну играли, но будто были мы в глуши и рядом лишь одни стояли. Я говорил совсем не то, что на душе моей творилось. Зачем-то возвращал платок (ее бывший подарок), и ты тогда на все решилась, сказала мне: люблю тебя, души своей открывши двери. И я, одну тебя любя, сказал, что я тебе не верю».

Так не вышло в моей жизни, чтоб я и любимая девушка любили друг друга впервые. Хорошо ли это, спросим опять. До меня Валя любила студента училища Виктора в Кирове, она говорила о нем, высекая из меня на него сатиры: «И пусть он меня изысканней, пусть в танце изящней кружится, но если тебе сказать искренне, в нем очень мало мужества». Или: «Пусть буду я ниже инстанцией, на сердце не будет грима, и на какой-нибудь станции я, гордо кивнув, пройду мимо». Этого Виктора я разыскал специально, когда был на пленуме обкома ВЛКСМ в Кирове, чтоб посмотреть. Ничего особенного. Поговорили. Говорить было не о чем, ясно стало, что Валю он не любит, я же весь исстрадался от разлуки.

Другие девчонки, две обязательно, Таня и Галя, любили меня впервые, но уже я был не тот, думал разочарованно. «Да, и себя я не сберег для тихой жизни и улыбок. Да, мало пройдено дорог, да, много сделано ошибок». В дневнике же написал: «Как ни странно, мне 17 лет, и я разочаровался в жизни» и т. п. Но потом Валю настигло понимание той любви, которая ею была вызвана. Так и меня однажды поразили стихи, посланные мне: «Порой тебе завидую до слез, собою недовольства не тая, что в этой жизни встретить довелось тебе любовь такую, как моя». Валя, уже после, писала (цитирую везде по памяти): «Мне май суровый душу распахнул, я так хочу поговорить с тобою, я помню нашу первую весну и первой встречи платье голубое... — И в конце: — Пускай сегодня утро для меня цветы срывает с солнечных откосов, я все цветы могла бы променять на дым твоей забытой папиросы».

Стихов в моей юности было много, поэтому приходится хоть какие-то цитировать. И вот: и Валя, и Таня, и Галя — все они, побывав замужем, родив детей, разошлись с мужьями, остались одинокими. Думаю, тут огромная доля моей вины — другие их так не любили, как я. Не любили сердцем. Надо обязательно сказать и повторить, что ничего меж нами не было. Не было. Будь бы, так бы не помнилось. Вспоминается не свершенное, а желаемое, вот в чем дело. Любовь, однажды испытанная, безоглядная, потом светит всю жизнь. Кажется, забыта она в тягостях дел, забот, суеты, но что-то мелькнет: звук, рисунок, запах, дерево, похожее на то, под которым стояли в дождь, и радостный насмешливый гром так ударил, что Валя прижалась в испуге, и повторение этого грома будет всю жизнь. И вот — хлынет воспоминание. Конечно, взглянешь на себя — постаревший, поплошевший, издерганный. Разве это я тогда стоял в ноябре, когда вся страна выходила ночами смотреть рукотворную звездочку — первый спутник? Разве это мои руки держали Валю? Да, конечно, это я кутал ее в перешитое отцовское пальто, и это она отстранялась, смеясь, что не для того она поднимает лицо, чтоб я ее целовал, а для того, чтоб смотреть на небо. Небо юности — это обилие ярких звезд на нем. Потом они меркнут, и былой блеск не возвращается. Одна бывшая одноклассница уклонилась от встречи со мной, я думал, может, чем обидел, но другая одноклассница, Юля, объяснила, что та не захотела, чтоб я видел ее постаревшей.

«И я ведь не прежний», — сказал я. «Но она-то женщина».

Не оттого ли и в Кильмезь долгие годы боялся лететь, что думал — не узнаю ни я ее, ни она меня, что новые впечатления перекроют старые. Зря боялся. Родина не может не меняться, как и мы. Дело другое, что нам сужден один путь изменений — к старости, а родина обновляется идущими вослед поколениями. Они часто безжалостны к нам. Во всех школах бывают вечера встреч с бывшими выпускниками. Но ходили мы на них вовсе не из-за встречи с бывшими, а друг с другом. Если еще приходили выпускники двух-трехлетней давности, это казалось нормальным, но уж если появлялись кончившие пять — восемь лет назад, да если еще и женатые, мы думали: «Этим-то старикам чего дома не сидится?» Да если еще вдруг они выходили танцевать и видно было, что им весело, это не могло не возмущать — коридор и так тесный (тогда мы танцевали в широком коридоре бывшего детдома, сейчас его переделали под ПТУ). Через четверть века кем, какими мы кажемся теперешнему поколению?

У нас была хорошая юность. Очень хорошая. Светлая, вызывающая из жизни души только хорошее. Например, что очень важно, в селе не было хулиганства. Драки были. Одна запомнилась всем надолго — местные парни дрались с шоферами из автороты. Тогда, в начале пятидесятых, были военизированные автороты, они вывозили хлеб, картошку. Приезжали на американских «студебеккерах».

Дрались из-за девчонки, которую не поделили, но это был повод, уж очень шоферы вели себя вызывающе. Конечно, шоферы были шестьдесят девятая нация, как они говорили, любили петь: «Мама, я шофера люблю, шофер ездит на машине, покатает он в кабине, вот за это я его люблю». Пели с вариантами. Дрались они нечестно — заводными ручками. Потом, уже ближе к армии, можно меня понять, что я применяю сроки к себе, чтоб быть точным, на село нахлынула еще одна сверхсовременная профессия — лесные парашютисты-пожарники. Но драк тут не было. Было уважение к их нелегкой работе.

Машины вообще в нашей жизни очень значительны. Читая о первых встречах с первым автомобилем, тракторами, самолетами, вспоминаешь, что и наши встречи были ничуть не менее восторженны.

Первые трактора были «СТЗ», «ХТЗ», «НАТИ» и «Фордзон-Путиловец», первой машиной, конечно, была полундра-полуторка, затем «ЗИС-5» и «Захар», потом неизвестные с круглыми газогенераторными топками по бокам, бензина не было. Топили газгены березовыми чурками. Эти чурки мы готовили на дворе лесхоза иногда по неделе, по две летом. Пилили бревна на коротенькие обрубки-тюлечки и эти колеса кололи топором. Работа считалась легкой, платили за нее мало. Зато ездить на газгене было одно удовольствие. Сидишь на груде чурок, а на остановках, когда шофер или помощник шурует в топке, открывающейся сверху, длинной железной палкой, подкидываешь чурки охапками. Нам доставались поездки ближние — на сенокос, за дровами.

Помню поездку с младшим братом на следующий день после похорон дедушки. День был солнечный, теплый. В дальней деревне, кажется Азиково, куда дорога была трудной, околистой, но где был какой-то интерес у шофера, он подогнал машину под огромную черемуху, велел нам есть ягоды, сам ушел в дом. Гудели пчелы, в черемухе возились воробьи, клюющие ягоды прямо из-под рук. Мы и наелись и набрали в кепки. Пришел шофер, с ним еще один мужик, стали подавать нам мешки. Потом шофер впрыгнул в кузов проверить укладку. «Эх, — крикнул он, — а ведь это поленья-то, знаете, какие? Это ведь вашего дедушку вчера везли, гроб на них стоял». Он почесал в затылке, подумал, еще крякнул, открыл топку и забил туда поленья с усилием, целиком.

А сейчас с десяти лет гоняют на мопедах, с полутора лет таращатся в телевизор. В Кильмези на улицах шумно от трескотни моторов. Андрей Платонов последним из писателей еще надеялся, что машина и человек будут друзьями. Но, похоже, не вышло, мы стали на них работать.

Была в МТС механик тетя Капа, фамилию не помню, одна из первых трактористок района. Она слушала моторы так — брала лучинку в зубы, упиралась ею в разные места блока цилиндров, в головку блока, выслушивая, как врач стетоскопом, и определяла неисправность безошибочно. После девятого класса я был помощником комбайнера на прицепном комбайне «С-4», потом их жатки переделывали под раздельную уборку, трактористом был молодой, яростный татарин Давлятшин. Он и себя не жалел, и меня гонял. Что-то случилось в моторе, при-

шлось звать в помощь из МТС. Приехала тетя Капа, выслушала мотор, изругала комбайнера, паладила. Мы выехали, но немного наездили — вздумали скосить пень, плохо заметный во ржи.

Вскоре я заболел, не мог почему-то даже головы от подушки оторвать, на уколы два раза возили на телеге, потом потихоньку ходил. Кололи хлористый кальций, от него становилось жарко, жар от укола взмывал вверх, казалось, что облили всего кипятком. Потом как-то прошло, но к Давлятшину я не вернулся, уехал к дяде Васе. Он уже получил самоходный «СК-3»...

Молодой парень, который подвез нас с кладбища, остановил у магазина, знаменитого тем, что в пятьдесят третьем, после сильного урагана, с него сняло крышу. Как раз этот магазин ограбили сами продавцы. А поймали их всего-навсего по капроновым чулкам, продавщица — невиданное дело — вырядилась в капрон работать на огороде. «Где взяла?» — «Сын из Свердловска прислал». Перерыли на почте все квитанции — нет доказательства. Так и дознались.

— Бедно же жили, — говорила мама, — уж на что покорыстились, на чулки.

— Не осуждали никогда никого, если кто бедно одевается, за модой не гнались, это же спасение было и родителям, и детям.

— Конечно, одеться получше хотелось, — добавила сестра, — но если не было возможности, то и не требовали.

— А уж младшая, — вздохнула мама, — потребовала: «Не хочу быть хуже всех».

Так, вспоминая минувшее в сопоставлении с настоящим, мы дошли до перекрестка. Мама и тетя Поля побрели домой. Нам с сестрой еще хотелось побывать у старших школьных учителей, а мне обязательно у Евдокимыча.

Нас встретила Анна Андреевна, учившая меня во втором классе и сестру в четвертом, проговорила с нами долго.

Она призналась, что хранит наши тетрадки, но попросить их было неудобно.

Я начал дергаться — завтра улетать, а не зайти к Евдокимычу, единственному изо всех прошлых работников типографии, я просто не мог.

Мне сказали в редакции, что тетя Дуся, жена Евдокимыча, оглохла. Подходя к их крыльцу и еще скрытый высокими мальвами, я услышал, как Евдокимыч громко кричит: «Дусь, слышь, Дусь. Забыл утром-то сказать, кого еще во сне-то видел...» — «Ну?» — «Лидку видел, Вовку видел». Это он называл незначительную часть своих детей. «А меня видел?» — обиженно спросила жена. «Вкратце», — кричал Евдокимыч.

Засмеявшись, я выскочил и схватил худого, прокуренного, усатого старого друга. Он узнал меня сразу.

— Дусь, — закричал он, — а ты все кричишь: старый ты дурак да старый ты дурак. А Николаич-то с бородой, знать, постарше.

Пока тетя Дуся тихонько с палкой переступала два порога, крылечный и квартирный — жили они в бараке на три семьи, — Евдокимыч кричал ей на ухо, что мы вместе работали.

— Много их было, — сердито говорила она, — дак при ком? При Соловьевой? При Медянцеве?

— При Сорокине, — кричал Евдокимыч, — еще когда газета стала четырехполосной, еще когда название-то переменили: была «За социалистическую деревню», велели назвать: «Социалистическая деревня».

Я не выдержал и тоже закричал:

— Теть Дусь, помните, вы нас палкой по огороду гоняли?

— Как не помнить, — сказала она, усаживаясь за стол.

— Дусь, — продолжал кричать Евдокимыч, — а ведь и я бороду заведу, только где кусок мыла лишний брать? — И тут же: — Дусь, ежели мы с Николаичем не выпьем, то мы с тобой разойдемся. А вот завтра, увидишь, будет тепло. Да что ж это, Николаич, за погода? Я думаю, что по погоде мы подвигаемся сейчас со всей планетой к Сибири, — говорил он мне, обуваясь в сапоги.

Я вызвался сбегать, но он сказал, что я прямушки не знаю, в ботинках застряну.

Не успели мы с тетей Дусей пересмотреть и половины фотографий в рамках на всех простенках, главной из которых была их свадебная, не успел я надивиться на количество внуков и разнообразную географию их размещения по стране, как Евдокимыч явился. В носках, оставив сапоги на крыльце.

— Подвиг совершил — пять копеек не дал, — закричал он Дусе.

— Давно бы так, — отвечала она, поворачиваясь к шкафу и гремя посудой.

Мне Евдокимыч объяснил подвиг подробнее, бегая в это время из кухни в комнату и огорченно говоря, что и подать-то на стол нечего.

— Я всегда в магазине добавлял. У кого десять копеек не хватает, у кого двадцать. И этим и сповадил. И вот сколь передавал, не па одну бутылку, а тут как-то сам пошел, все рассчитал — хватает, еще пятак лишний. А шел с посудой. И одну недоглядел — царапина на горле. Другую бы посуду, вон молочную, хоть полгорла отбей — примут, а у винной повыше честь и повышенная претензия. Забраковали. Туда-сюда, где двугривенный взять? А в магазине и около — они всегда трутся, и каждому я не по разу добавлял. К ним: мужики, по три копейки сброситесь... И... и умылся — никто не помог. Сегодня прибежал было с запасом, они глаза расщеперили на сдачу: «Дай!» Нет, говорю, у меня дорогой гость, повторять будем... Эх, сейчас бы ветчинки, рыбки, да на рыбку-то нынче и не облизнулись. Ну, погода, загнись она в три дуги. — И он показал на окно, которое, без того чистое, вновь стало промываться крупными сверкающими струями.

Подняли, поставили.

— Половил мой Вася рыбки, — сказала тетя Дуся, закусывая жареной старой картошкой. — Газету до полночи печатает, потом не ложится, сразу на реку. По два раза сомов ловил, в детдом сдали, детдомовцы на тележке на берег приезжали. На три пары ботинок денег дали.

— Половил, половил! — Евдокимыч развел усы, глаза заблестели. — Нынче дожили — на рыбалку едешь и воду для ухи с собой везешь. Но истории были. В сорок четвертом с шестого на седьмое апреля небывалый случай: гроза и ледоход. Меня на льду застало — окуней ловил. А берег пустой, деревьев нет, одна пихта, но заколдованная, еще со старых черемисов, и на ней висел священный пестерь. Боялись подходить — убьет. Но так хлещет, так воссияет, а! Гнись оно в колесо! И под пихту: густая, под ней сухо. Свой пестерь снял, повесил. Гром так взорвется — глохну совсем, думаю: все, больше не будет, нет, еще сильнее удар, а молнии — небо в клочья по швам изорвало. И лед стало разрывать, так везде загрохотало, что думал, и земля начнет раздви-

гаться, не выдержит. И так боялся, боялся, да и уснул. Утром проснулся — лед-от ушел, река чистая. Вот природа! Я подхватился, пестерь на плечи — и айда! Дак ведь пестерь-то черемисский надел, заколдованный.

— А чего в нем было?

— Не помню. В моем-то рыба была. Рыба-то мне нужней. Сбегал, повесил обратно, свой взял.

Евдокимыч, довольный эффектом, закурил.

— Ох, Николаич, а сколь было ошибочных историй. Раз думал — медведь, а там уж ползет... Наливай!

— Че хоть он боронил? — спросила тетя Дуся.

Евдокимыч закричал:

— Женился, говорю, на тебе и погиб во цвете лет.

— А! — отмахнулась она и, продолжая оглядывать фотографии на простенках, рассказала: — Детей-то не было вначале два года. Цыганка потом наворожила. Ой, говорит, девушка, коробочка раскроется, так не закроешь. Вон сколько натаскала, как кошка. Не то что нынешни. Нам любить было некогда — война да работа.

— Нынешние любить успевают!

— Это не любовь, притворство!

— Все дети у вас хорошие! — крикнул я.

— В армии все парни отслужили.

— Да! — воскликнул Евдокимыч. — Основа жизни — мир. — И вдруг подскочил к окну: — Эх, не успел. Такая красивая вдовушка прошла.

— Теть Дусь, — закричал я, впадая в тон Евдокимыча, — любили у тебя мужа?

Вопрос был у меня еще тем вызван, что про любовные свои похождения, может быть выдуманные, Евдокимыч любил нам рассказывать долгими вечерами в типографии, особенно когда полосы запаздывали, ожидая тассовского материала.

— Как его не любить? — гордо ответила тетя Дуся. — Такой был орел! Его нынче на демонстрации заставляли у памятника дежурить. Надень-ко пиджак с орденами. Надень, надень.

Евдокимыч вышел и вернулся таким молодцом, со сверкающими рядами орденов и медалей, так браво приложил руку и отрапортовал, что я вскочил, обнял его и стиснул.

— Ты не гляди, что у меня грудь впалая, зато спина колесом.

— Как не любили, — довольная сценой, повторила тетя Дуся, но, решительно выпрямясь, добавила: — Лю-

били, но после этого ни одна лахудра больше суток в Кильмези не жила.

— Бывали в жизни огорченья, сказал петух, плывя против теченья, — развеселился Евдокимыч. — Живем мы, — стал он говорить, — не больно, может, и фильтикультяписто, но войны нет, и слава богу. И не будет ее, вот увидишь. Америка воевать с нами сама боится, но научилась других натравливать. Но другие постепенно должны перестать быть дураками.

Показалось мне, что Дуся стала слышать, так как она вступила в разговор к месту:

— Как это за деньги нанимают людей бить, неужели такие есть?

— А по телевизору-то показывают.

— Там артисты, они что велят, то и изобразят, а я сама понять должна. Я увижу чужого человека, я сразу умру.

— И нам платили на фронте, — вставил Евдокимыч.

— Много тебе платили, чего хоть тогда после войны дом и корову с голоду продали?

Этот вопрос для тети Дуси был больной. Помню, она приходила в редакцию и женщинам в типографии и бухгалтерии жаловалась на мужа, что жить не умеет, вон Чучалин, Таандаров, Ведерников сколь всего навезли, по целому парашюту, сколь шелковых платьев из них нашьешь, а ее Вася привез одни ордена да медали. Жили они вправду очень бедно. Евдокимыч кроме газеты печатал непрерывно сотни тысяч листков бесконечной бланочной продукции: справок, квитанций, бюллетеней, сводок, графиков, отчетов, формуляров, инструкций, листовок обмена опытом, листовок с биографиями кандидатов в депутаты, налоговых разверсток... всего не упомнишь. Но это были крохотные приработки, а рыбой не разживешься. Тетя Дуся славилась как мастерица стегать ватные одеяла, у них всегда вот эта единственная комната во всю величину была занята ее работой, поневоле «кашинский колхоз» пасся в основном на улице.

— Детей мы плохому не учили, — говорила тетя Дуся.

— Родители разве когда плохому научат! — прокричал я.

— Нет, учат! — резко вступил Евдокимыч. — Уже дожили — учат!

— Как?

— Вернется из магазина без хлеба, его бить: сосед-

ский парень сумел взять вне очереди, а ты не сумел, иди и хоть воруй, а достань.

Такой был вечер: от грустного к смешному и обратно. Но меня уже, конечно, потеряли, мама беспокоилась. Я засобирался. И тут-то грусть подперла. Обнялись. Евдокимыч заплакал. Тетя Дуся на крыльцо с костылем не потащилась.

— Николаич, приезжай, порыбачим. Или уж на полухи не добудем?!

— Добудем. А ты уж загорел хорошо. Как это ты в такую погоду?

— Места надо знать, — отвечал Евдокимыч.

Вновь я выбрел к высокому обрыву. Дождь кончился, ветер дул ровно и становился все теплее. Так и хотелось лечь на траву, но было сильно мокро. Заречная даль туманилась. Из кустов высокого ивняка вышел и прошел вдоль берега лось. Я обрадовался и даже неожиданно крикнул, но было далеко, лось даже не повернулся. А я на себя подивился, надо же, расхрабрился, на родине кричу, а первые сутки все глаза опустив ходил.

Было радостно, голова была ясной, и думалось оправданно легко.

Нет моей вины в разлуке с милой родиной. Вот я пред тобою, река моя, ты учила меня плавать, и ты вынесла меня, когда я дважды тонул, ты спасала, когда, ныряя, ударился о полузатопленные бревна, и моя кровь ушла по твоему течению к океану.

Вот я пред вами, мои луга, вы выучили меня мужеству и силе, вы подарили столько красоты совместного труда и радостной усталости, на коленях я стоял перед ягодами, и прыгал с ваших берез и черемух, и громил гнезда девятериков-шершней, кусавших в кровь.

Поля мои, я исходил все ваши тропинки, исколол ноги о жесткую стерню; и ваши борозды, по которым мы ползли к гороху, замирая от страха, что поймают, и от гордости, что нас бы взяли в разведку.

Ручьи мои и особенно ваши крутые обрывы, — не зря вы рвали наши рубахи, не зря царапали нас в кровь кусты вереска. Не зря зимний окоченевший наждак наста снимал порой ленту кожи.

За все надо платить кровью.

Но уж зато есть и память крови.

Я брел вниз к лесозаводу. Вот в этом сосновом ле-

сочке меня поймали, когда я бежал в Корею помогать корейцам. Меня искали мои же друзья — они знали, где искать. Тут было такое прекрасное место для игры в войну. Временно отложив поиски, они начали делиться на две враждебные армии. Встали водящие, к ним подходили, покорно спрашивая: «Матки, матки, чьи помадки?» — а затем предлагали на выбор два слова: сосна или дуб, грабли или лопата, ночь или день и т. д. Конечно, тут было сплошное жульничество, еще по дороге многие нашептали «матке» свое слово. Я сидел на дереве, мне все было видно, армия, в которую попали в основном мои друзья, стала проигрывать, я закричал: «Обходят, обходят!» — «Ты чего там сидишь, слезай», — сказали мне, остановив войну. Я слез, пристал к своим, от нас выпихнули взамен двух кого поменьше, и война возобновилась. И в этот день особенно азартно, так как был предлог подольше не возвращаться — беглеца же искали. Игра грозила перейти в драку под звездами, когда нас пришли искать взрослые.

А вот артезианский колодец. В нем я утопил перочинный ножик. Бурили глубокую скважину для нефти, а ударила вода. Мы тогда переживали, что нефть не нашли, а вот сейчас радовался, освежаясь водой, рожденной в земных глубинах. Хотелось написать: «той же водой», но та утекла. Вдоль чистого ручейка пришел к реке, сел на обсушенное ветром бревно и забылся. Вода плескалась, даже понемножку пенилась, и будто полоска снега разделяла воду и землю. На отмели мальки бестолково тюкались мордочками в еле плывущие щепки.

Прозрачный свет, подкрашенный снизу желтизной, был воздухом, в котором вверху пролетел вдруг тяжелый гудящий самолет.

Обратно я шел по улице и думал, что это Промысловая, что увижу дом одноклассника Жени Касаткина, но оказалось, что это совсем новая улица. Там, где были лесхозовские участки картошки, стояли дома. Березовая рощица, где мы брали землянику, где привязывали пастись теленка, была жива и вознеслась вершинами выше телеантенн.

Раз с теленком был случай. Его, видимо, так пакусали оводы, что он бегал от них и добегался до того, что вся веревка обмоталась вокруг березки, перекрутилась, пережала ему горло и притянула к земле. Я пришел за

ним, чтоб отвязать и повести домой. Увидел хрипящего теленка, язык к земле, красные глаза, ногами он выскреб вокруг себя всю траву, видно, давно мучился. Я кинулся развязать — куда там. Сдвинуть теленка не было сил, я был мал, ломать березку — толста. И вот — как не сообразил забежать в ближайший дом попросить нож, да и как-то стеснялись мы заходить в чужие дома, — побежал я к своему дому. Бежал по картофельным полям всю дорогу. Дома крикнул сквозь слезы, что теленок, наверное, уже умер. Старшему брату было велено бежать со мной с ножом и, если что, перерезать теленку горло. Мы побежали, я, получив подкрепление, не стесняясь, подвывал на бегу. Брату было лет двенадцать. Мы успели. Когда брат стал разрезать веревку, теленок забился, а освобожденный, не мог сразу встать. Потом встал, я обнял его за истертую веревкой шею и повел, а брат разматывал веревку с березы. Как я обнимал горячего, измученного теленка! Но мы совсем недалеко отошли, как теленок выкинул номер — взбрыкнул, отбросил меня и пошел взлягивать по цветущим клочкам гречихи, овса, ячменя, картошки.

А навстречу бежала мама.

Мы рано начинали работать. Причем не просто помогать по хозяйству, это было само собой. Полоть грядки, поливать, таскать воду в дом, в баню, чистить хлев, пилить, колоть дрова — это было все само собой. Но мы видели работу — вот что важно. Нельзя сказать, что нынешние ребята — лодыри (за всех не говорю, наблюдаю в последнее время городских), но им надо работу указывать, заставлять, а это часто противно, и думает иная мать — я лучше сама сделаю, нервы не тратить. Но это к слову. Говоря «мы рано начинали работать», я понимаю работу за деньги, за заработок. Например, в девять лет меня брали с собой на устье Лобани, где были лесхозные луга, чтобы я охранял машину, тот самый газген. То есть рабочие переезжали реку, шли работать, а я целый день охранял машину. Я воображал, что ее вот-вот отнимут, взорвут, и не отходил ни на минуту, и хотя река была в пяти метрах, не смел выкупаться. Давали мне на день бутылку молока и ломоть хлеба. Деньги осенью выписали на отца, на них купили мне сумку в школу, именно сумку — не портфель, на брезентовых ремнях через плечо.

На другое лето (мы летних каникул дожидались только для того, чтобы работать) меня уже брали на общие лесхозовские луга, там я отгонял в жару от лошадей оводов, мух, слепней, еще была такая дрянь — коричнево-черная строка, та кидалась и кусала, как тигр. Если бы не отгонять, то лошади могли бы взбеситься. Длинными вицами, с которых быстро облетали листья, бил я лошадей по спинам, по бокам, по животам, по кровавым ранам, по скоплениям гнуса. Отгонял от одной лошади, гнус обсаживал другую, третью, лошади лезли мордами в березняк, рвали поводья. Раз мерин Якорь, отлягиваясь от насекомых, лягнул и меня. Но я побоялся сказать, а вдруг бы завтра не взяли. Самого, конечно, оводы и эта заразная строка искусывали до волдырей, которые во сне расчесывал в кровь.

Еще постарше — дрова пилили и кололи в учреждениях. Обивали дранкой кабинеты в райисполкоме. Работа хорошая, только на потолке тяжело, шея онемевала, известка сыпалась в глаза. Надо было прибивать дранки наискосок, ромбиками, да почаще. Во рту привкус драночных гвоздей не проходил до утра.

Или ездили прессовать сено на Вятку, грузили его на баржи. А один раз, наоборот, ездили за сеном в Лебяжье, это вверх по Вятке, грузили там сено, спускали в Аргыж. В Аргыже прессовали, грузили на машины. В Лебяжьем я первый и последний раз видел пойманную огромную стерлядь. Просто огромную. И это не оттого, что я сам еще был мал, лет четырнадцати, а помню, как сбежалось смотреть ее много взрослых. Наш завхоз купил часть стерляди и сварил. Мы ели. Но вкуса передать не могу, тогда все казалось вкусным. Нагрузили столько сена, что когда плыли назад, то были выше берегов. Спали тоже на сене, от него снизу было тепло, лежали на спине, лицом к небу, и врали, кто чего пострашнее придумает. Причаливали к берегу, варили еду в сумерках на берегу, собирали занесенные половодьем сучья, покрытые сухой пылью. И когда отходили от огня за новыми дровами, то костер в светлых сумерках казался матовым.

Много позже от одного ученого я узнал, что научно доказано: человек оставляет часть своей биоэнергии в том месте, где он побывал. Часть души, говорил он. Доказать все можно, но не во все можно поверить. А вот в это верю. Зачем бы тянуло в те места, где было хорошо, раз-

ве не затем, чтобы вернуть себе свою энергию, свои душевные силы?

Вот медленный подъем в гору, тут — надо же, сохранился — овражек, и та, зигзагом, почти горная тропинка, по которой мы, раскинув руки, летели вниз, делая фигуры высшего пилотажа, и вылетали на взгорок, откуда призывно сверкала река.

Подъем справа и слева был обозначен изгородью. Когда я учился ездить на велосипеде, камер не было, и мы набивали шины тряпками, меня понесло вниз. Тормоз не работал, меня шаркнуло об изгородь, изорвал еловыми жердями руку, бок, бедро, ноги. Даже не оглянувшись на упавший велосипед, я пошел к роднику отмывать кровь.

Здесь стояла пихта, по ее светло-зеленой коре сползали красные ручейки пихтовой серы. Не умея ее варить, мы жевали сырую и так забивали зубы, что потом было не отцарапать. Залезая на дерево, мы были капитанами. И тем больше и почетнее считался корабль, чем выше от земли были сучья.

И все это было не зря: весенняя зелень лесов и лугов, которую мы глодали вроде бы от бедности, — спасала нас: та же сера — что может быть полезнее для зубов? Но понятие пользы пищи, витаминов и прочего, направленное на выживание, пришло куда как позже. И хорошо. Пища нужна, когда чувствуешь голод, а голод — это нормально. И вообще, нормально, когда чего-то не хватает.

На огромных складах Заготзерна мы работали, когда были постарше, — таскали мешки. В райпотребсоюз возили дрова, грузили и разгружали соль, а в последнее время пошел уже и цемент, которого потом вдоволь наглотался в армии.

Все работы не исключали ежегодного, начиная с пятого класса, рабочего сентября, когда все школы бросались на выручку колхозам.

Один раз я писал о роли труда в жизни детей и упомянул этот факт, причем в самом положительном смысле. У меня его вычеркнули: мало ли что, прочтут на Западе, скажут, что у нас эксплуатация детского труда. Да кто же, как не тот же Запад, виноват, что наши деревни и села были обездолены и страну приходилось выручать неокрепшими поколениями? А мы, вспоминая, ничуть не жалеем, что эти сентябри были в нашей жизни. Дожди моросили на чахлые бесконечные ряды кустиков картошки. Колхозники выпахивали на лошадях пласты, мы,

мальчишки, деревянными копалками, нажимая через колено, выкапывали картошку, девчонки собирали ее в ведра и, вытягивая руки, несли к погрузке, где сидели учитель или учительница, считающие ведра. Но ведь и солнце же было! И костры — всегда. И хоть картошки, а все же наедались. Да разве ради одной картошки костер? Картошка — повод, главное — огонь. И обязательно девчонки шепчутся, хохочут, а то и заноют, и обязательно кричат: «Дров же мало! Костер плохой!» И конечно, уходишь в темноту за дровами, прохладно, а лицо, нагретое костром, горит. Вернешься, тащишь сушину, как муравей, думаешь отчаянно про девчонку Галю: хоть бы взглянула на подвиг во имя любви! Как же, взглянет. Взглянет, да не на меня, а на Юрку. А Юрка смотрит на Валю, а та на костер и шевелит прутиком горящие ветки.

Мы совсем ничего не знали о детях за границей. Нам внушили: здесь хорошо, там плохо. Свои детские стихи я писал такие:

Трудно живется ребятам в Париже,
не на что там покупать им книжек.
Трудно живется ребятам в Нью-Йорке,
некогда там им кататься с горки...
Есть у них братья, есть у них сестры,
все они маленьки,
все они пестры.
Их надо одеть, обуть, накормить...
трудно им, ясно, жить...

Стихи совершенно искренние, и через десятки лет я их повторяю не оттого, чтоб усмехнуться над временем «железного занавеса», неведением детей, напротив, в стихах была истинно русская жалость ко всем обездоленным и уверенность, что нам лучше всех, что нам очень хорошо. А то, что мы не знали, что нам плохо, это тоже хорошо. Когда сейчас блуждают мнения среди молодежи, что на Западе есть то, чего у нас нет, я по-прежнему искренне думаю, что трудно живется ребятам в Нью-Йорке. Мы были наивны? Да. Но разве это плохо? Ведь наивность есть правдивость. Конечно, мы были во многом обкрадены, но не считать же обкраденностью то, что мы ходили в лаптях. Не в этом дело. Мы любили родину, и это навсегда.

Всё знают только все. Долгое время думал, что это верно. Но более точно — говорить, что придет время, ког-

да все всё про всех узнают, все откроется, и в каком ужасе мы, может быть, отшатнемся друг от друга, когда узнаем мысли других о себе. Или наоборот, какими обольемся слезами. И еще можно думать, что мы уже всё знаем, то есть нам даны все языки, все свычаи и обычаи всех времен и народов и все ремесла, науки и искусства мы знаем, только не умеем открыть. Оттого-то мы делимся по склонностям, одни делят, другие умножают, одни расчленяют явления, другие пытаются обобщать, одни идут в актеры, пытаясь изобразить, например, рабочих, хотя сами рабочие могли, не изображая ничего из себя, быть самими собой и в искусстве. Все всё могут, нам всем подвластны миры и века, почему же так суетно и пусто мы проводим время, укачиваясь ритмом смены дня и ночи, недели, месяца, лета и зимы, рождения и смерти?

Примерно так думал я, направляясь к тете Поле успокоить маму и сестру, что жив и здоров, чего и им желаю. Я знал, что который вечер подряд идет какой-то телефильм, называемый не просто так, а сериалом. И знал, что он вот-вот начнется. Они будут смотреть телевизор, а я пойду еще похожу.

В наше время слово «гуляют» обозначало то, что должно закончиться глаголом «догулялись», а в применении, например, к корове спрашивали: обгулялась она нынче или не обгулялась? Мы просились у матерей побегать, это в детстве, а позднее: пойду к ребятам.

Меня обогнали явно спешащие две девушки.

— Веселей, милые барышни! — подторопил я, подумав, что они бегут к началу телефильма, и бегут как на пожар.

Но самое смешное — девушки бежали и вправду на пожар. Горела баня. Коптили там мясо, но пьяные заснули, и загорелось. Пожарные, несмотря на все нападки в их адрес в печати, прибыли моментально, и теперь остался один дым без огня, а в толпе слышались шутки о том, спасли ли пожарные мясо, и если спасли, то уж, конечно, возьмут за работу.

Мама возревновала, что я ходил к Евдокимычу, она помнила его не как моего наставника, а как соратника в безрезультатной рыбной ловле.

Кончился телефильм. Мы уселись в кухне. Тетя Поля наготовила всего вдоволь. Особенно хорош был домашний

творог и вообще все домашнее: ватрушки, пирожки со смородиной, которые мы запивали топленым молоком.

— Мука плохая, привозная уж которую зиму, да, видно, долго хранили, слежалая.

Но мы, наголодавшись, этого не заметили.

У них до меня был разговор, и сестра, продолжая его, сказала:

— Ты, мама, не дорассказала, давай!

— А-а, дорасскажу! — мама хлопнула рукой по столу. — Выпила медовухи полстакана, расскажу! Она тут была, ну еще в лесхоз-то после техникума приехала. Она, чего и говорить, видненькая. И к моему подговорилась, но я же чувствую...

— Вот это папочка! — возмутилась сестра.

— Нет, ничего не было. Расскажу. Она к себе его пригласила, жила отдельно. Пельменей настряпала, бутылку выставила, ждет. А я почуяла, он ведь врать-то не умел. «Надо мне, — говорит, — в контору сходить». — «Зачем? Ведь не лето, это летом понятно — пожары». — «Надо, надо, отчет забыл». — «Завтра возьмешь». — «Ну просто пойду пройдусь, голова болит». А сам в глаза не смотрит. «Иди,— говорю,— да ребят возьми, много ли ты с ними бываешь, так заодно». А я на вечере до этого в лесхозе видела, как она на него посмотрела, мне хватило на догадку. «Иди, — говорю, — проветрись». — «Ладно». Он ушел. А я как была из-под коровы, даже не переоделась, да к ней. Ох, она побледнела, но виду не подает. Пельмени стряпала. Я говорю: извини, ты гостей ждешь, да я, говорю, ненадолго, чего-то с мужиком разругалась, так хоть посижу. А гости придут, я уйду. «Нет, нет, оставайся». А сама то на дверь поглядит, то в окно. Ну, говорю, в таком-то виде для каких я гостей? Она стакан на стол, налила: выпей. Много ли я пила, Поля, вспомни?

— Ну и что дальше? — спросила сестра.

— А я взяла да и опрокинула. Полный! И набралась натуры, и говорю напрямую: «Я ведь знаю, кого ждешь!» Она молчит. «Понравился?» Говорит: «Понравился». Что ж, говорю, и я своего мужа не охаю, и то, что нравится, запретить не могу, и если ты ему нравишься, то тут ты что хошь делай, любую запруду порвет, только, говорю, вот что: нравится он тебе — на здоровье! Я давиться не пойду и стекла бить не буду. Только ты его не одного бери, а с ребятами. Вот так! Встала из-за стола, думаю, надо идти. Как дошла, не помню. Но головой все

помню. Пришла, детям говорю: устряпывайтесь сами, ужинайте без меня, плохо себя чувствую. А он сидит, курит, ему говорю: иди, тебе же в контору надо. Он стал к самоварной отдушине, опять курит, сам мрачный: «Сходил уж». И больше ни слова ни он мне, ни я ему.

— А дальше? — спросила сестра.

— Уехала куда-то.

— На тетю Дусю, наверное, нарвалась, — засмеялся я, рассказав, как тетя Дуся поступала с соперницами.

Кончился телефильм. Константин Владимирович вышел к нам и неожиданно заговорил совсем о другом:

— Вот раньше были учебники «Золотые колосья», «Отблески», «Родная речь», «Живое слово». Потом их уничтожили, стали другие, и стабилизация кончилась.

Пожелав доброго сна друг другу, мы разошлись.

* * *

Как было не любить Кильмезь — в центре ее пел соловей. Запоздалый в это вообще запоздалое лето, одинокий, он знал, что его слушают. Бывают соловьи, делающие на одном дыхании до двенадцати различных посвистов, колен. Этот парнишка явственно проделывал четыре и обрезался, причем легкие у него были отличные — воздухом он запасался колен на десять. Он сердито выпускал остатки воздуха, молчал и вновь громко въезжал в переливы мелодии. Самое интересное, что синицы и воробьи замолкали, когда вступал соловей, но начинали насмешливо кричать, когда ему не удавалось взять пятое колено. Тут уж они его освистывали. Но и опять замолкали, когда он начинал. То ли ожидали, что он сможет, то ли злорадно ждали срыва, увы, скорее — второе, так как уж очень насмешливо начинали чирикать.

Вот базарная площадь. Здесь я учился кататься на велосипеде. Тут постиг правило: если есть в середине площади столб, один на всю площадь, то где бы ни петлял, а обязательно в него врежешься. Меж прилавков, торговых рядов, уже научившись, мы лихо гоняли, почти не касаясь руля, пощелкивая семечки. Здесь стреляли из лука. Делали стрелы-пиконки. Это, вообще-то, страшные стрелы. Длинная стрела из оструганного прямого полена, а на нее надевался наконечник, свернутый из узкой полосы белой жести. Фанеру пробивало шагов с десяти.

Здесь, на базарной, какие бывали базары!.. Все кипело. Приезжали татары, смотрели коней, марийцы ходили

в белых длинных рубахах, марийки звенели пришитыми к подолу монетками. Удмурты торговали лаптями. Всего было полно — так казалось. Глиняной посуды, корзин, игрушек. Мы не больно-то смотрели на другое, нам бы лиственничной, или сосновой, или еловой серы, сваренной с медом, да кедровых орешков. Раз и я оказался продавцом. Отпущенный с утра на весь огромный день, я сорвал в огороде здоровенную шляпу подсолнечника и еще не распечатал, только ошоркал остатки сохнущих цветов и общипал треугольные листья по кругу. Ко мне пристала бойкая женщина: «Продай!» Я не хотел. Но она так пристала, что ей я эту шляпу отдал. Она навялила мне анилиновый краситель.

Базарная площадь, или «базарка», была известна своим «Голубым Дунаем». Так называли после войны пивные по всей стране. А еще звали «бабьи слезы». Когда мы стали дружинниками, приходили в пивную к закрытию. Обходилось закрытие всегда мирно. Раз я сам видел, как мужик, выпив стакан, на спор стал откусывать и есть тот же самый стакан. Только донышко не съел. Порезался, конечно, но выспорил!

Здесь в летние вечера и ночи была так называемая «сковородка» — вытоптанное место за ларьками на теперешнем стадионе. Сходились плясать и петь парни и девушки. Почему-то до нас, то есть до нашего юношеского возраста, «сковородка» недодержалась — выстроили танцплощадку, куда пускали за деньги, но зато играла радиола. И уже гремели фокстроты. «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня». Попробуй не запомни, когда за вечер пластинка с «Мишкой» крутилась до потери голоса. И уже привозили из города переделки песен; одна начиналась так: «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка»... Пародия разоблачала ненатуральные, лживые чувства, обнаруживая истинные стремления создателей. Гремела «Тиха вода», «Бела, бела донна», «Арриведерчи, Рома», «Я выучил вмиг итальянский язык, аморе, аморе...». Куда там было гармошке со «сковородки».

Библиотека. Валя. Сейчас я только вздохнул. И как-то облегченно, будто поговорил с ней.

Советская улица. Это и есть часть Великого Сибирского тракта, бывшая Троицкая. Кильмезь упоминается в записках Радищева. От фонтана и почти до почты раньше была торцовая мостовая. Даже и не только в селе, во

многих участках тракта я видел уже сгнивающую деревянную дорогу и груды бесформенных обрубков бывшей мостовой у обочины. Как делали торец, я видел, наверное, это было очень раннее воспоминание или, скорее, воображенная память услышанного от взрослых: стояли огромные котлы с кипящей смолой, равные по высоте чурбаки обмакивали в смолу, оставляли пропитываться. Потом, холодные и пристающие к рукам, их подбирали так, чтоб как можно меньше оставалось зазора. Большими половинками выводили края, середина приподнималась, давая скат воды в обе стороны. Двое рабочих огромной березовой, окованной обручами трамбовкой забивали чурбаки до общего уровня. Прогалы меж чурбаками засыпали песком и тоже трамбовали. Езда по такой мостовой была вовсе не как по булыжнику — тарантас летел мягко, лошадям бежалось легко. Потом, много времени спустя, мостовая постепенно запустилась, ее разобрали, чурбаки растаскали по домам на дрова и растопку.

Сейчас Советская была залита асфальтом. При встающей луне, добавлявшей своего света к электрическому, бронзовели лужи. Там, где книжный магазин, раньше стоял большой дом, сгоревший как раз в первый месяц приезда Вали. Она потом говорила, что первый раз увидела меня на пожаре. Тогда по молодости и по глупости полез я по горящему углу, чтобы снять сорвавшийся с держака наконечник багра. Багром раскатывали горящий сруб. Все бы ничего, но, спрыгивая, я попал на гвоздь и был на руках утащен друзьями в больницу.

Деревья стояли по сторонам улицы, и старые, что помнили, и молодые, уже большие, которые тоже помнили, потому что мы их сажали в пятьдесят шестом. Сколько тут по весне бывало майских жуков! Наберешь в коробок, мать ругается, тащишь потихоньку — и они всю ночь скребутся на полатях в изголовье.

Тут же, на старых березах, делали качели. Огромные трехдюймовые доски зарубали с краев, привязывали крепкими вожжевыми веревками. Насаживали полную доску ребятни, с краев становились взрослые, тогда казалось, парни и раскачивали. Иногда выше, чем до прямого угла, так, что терялось натяжение веревок и доска летела вниз сама по себе. Слава богу, никто не зашибался. Но уж крику! А еще я видел качели уже позднее, на берегу Лобани, в колхозе «Рассвет», когда ездил с рейдовой бригадой клеймить за плохо растущую кукурузу не-

радивых председателей. Там качели были сделаны над высоким обрывом и, когда они вылетали в его сторону, оказывались над рекой. Мало того, там были такие парни, что становились на край и, взлетев в высшую точку, получив огромное ускорение вперед и вверх, отталкивались от качелей и ныряли в реку.

Только стоило мне вспомнить не село, а какое-то место в районе, как хлынули другие воспоминания, будто ждали разрешения, а как запретить?

И сразу осветились все пути на четыре стороны света от Кильмези, даже больше, считая по дорогам: на восток, где Макварово, Зимник, Яшкино, Карманкино, Вихарево; на юго-восток: Дубрава, Бураши, Малыши, Жирново, Дамаскино, Азиково, Мирный; на юг: Малая Кильмезь, Малиновка, Малые и Большие Кабачки, Смирново (Кривули), Ар-Порек-Порек; на запад: Кильмезь, Алас, Мелеклес, Троицкое, Селино, Максимовская, Песчанка, Соринка, Салья; на север: Казнем, Ломик, Паска, Четай, Подшибино, Кержаки, Рыбная Ватага, Каменный Перебор, Волга, Антропята, Павлята, Дорошата; любая из дорог была изъезжена, а по большей части исхожена. Мы говорили не «поехал в командировку», а «пошел». И шагали. И эти дороги памятны, особенно когда столбы гудели и дергались от ударов ветра и от того, что их трясли натянутые бесчисленные провода.

И все-таки неверно было бы писать только по памяти, надо ступить на эту дорогу, прийти в эту деревню. И, виновато оставляя пока в стороне до следующего приезда воспоминания о всем районе, надеясь, что приезд этот не будет теперь через такое время, я очнулся около Дома культуры, бывшей Троицкой церкви. Тут было первое в селе уличное радио — репродуктор. Помню, тогда вслух передавали для разучивания песни. Читали по слогам, чтоб успели записать, потом пели один куплет, потом припев, потом снова. И так дня три, потом разучивали следующую песню. Ни одной не помню. Передавали спектакли и оперы, хорошо помню «Вассу Железнову», «Кармен». У Дома культуры стояла трибуна, мимо нее проходили демонстрации. Наша школа шла после всех, но зато ее появления ждали всего сильнее. Делали по классам разные украшения, одевались понаряднее, и хотя всегда 1 Мая и 7 Ноября были холодными, мы шли в одних рубашках. Здесь открыли первый киоск в селе, а в нем впервые продавали светло-красный морс с сахарином. Днем сейчас, я видел, ребята бегали с мороженым.

В Доме колхозника жил Руслан, прекрасный лыжник, ходивший вместе с еще одним учеником, Двоеложковым, по тогдашней норме мастера спорта.

Дальше был дом, где внизу жила учительница. Она взяла из детдома, когда его ликвидировали, нескольких воспитанников, фамилии у них были: Смирнов, Июльских, Беспризорных. Все они вместе с нами прошли через МТС, РТС, через все общие вечера.

Володя Июльских хорошо рисовал, он выписывал журнал «Художник», даже ездил поступать в Москву, но не поступил. У него были искалечены взрывом пальцы.

Привозили туда в коляске инвалида Яшу, еще совсем молодого, жаловавшегося, что не может найти жену. Он хорошо играл на баяне, разводил мехи, веселел, и мы подтягивали. Он пел: «И вновь под липами будем, милая, сидеть вдвоем и вдыхать аромат лесной под серебристою луной...» Припев был такой: «Что это, что это? Это настоящая любовь».

На втором этаже жили молодые специалисты, девушки после техникумов: финансового, фармацевтического, кооперативного, культуры... Они всегда втягивались неукротимыми Раей Двоеглазовой и Катей Москалевой в общественную жизнь, в самодеятельность, но как-то быстро, мелькнув, исчезали. Лида Желтикова, Таня Шихалева, Ада Березина... но это только по памяти. Раз на рождество мы там гадали расплавленным воском, бумагой, на которой писалась тайна, потом бумага поджигалась, корчилась на тарелке, потом, освещаемая сбоку свечой, вращаемая, бросала на белую стену черные фигуры — знаки близкого и далекого будущего. Но это было после Вали. Валя как раз — у нее была светлая голова, во всех смыслах светлая («Светлые волосы, сиянье глаз, звуки голоса слышал не раз. И восторгался, хотя хандрил. Тебе улыбался, тебя любил»), — Валя сказала, что мы не имеем права заглядывать в будущее, это в ответ на мои планы о нашей счастливой перспективной жизни. И была права. А еще и бабушка мне говорила: «Ничего вперед не укладывай, все без тебя уложено».

В этом доме совсем раньше был нарсуд. Один раз там целый день слушалось дело о разводе наших соседей Виноградовых. Этот процесс взбудоражил все село — развод был неслыханным делом. У них были сын и дочь, и их делили, кому кого. Ни один не хотел совсем остаться без детей. Все в зале плакали. Подчеркиваю, все в зале плакали. Но особенные рыдания начались, а с их ма-

терью случилась истерика, когда судья предложил уже самим детям решить, кто к кому пойдет. Брат и сестра вцепились друг в друга, и я видел, как их трясло, и убежал на огороды, спрятался в борозду и ревел, пока не обессилел. Дело о разводе было перенесено в областной суд, а чем кончилось, не знаю. Виноградовы уехали из села совсем. После нарсуд был построен на месте ШКРМ — школы крестьянской и рабочей молодежи, место для нас знаменитое. Там был старый колодец, в который упала корова. Потом однажды упал футбольный мяч, за ним лазил Вовка Обухов, парень отчаянный. За школой мы пробовали свои самодеятельные пистолеты-поджиги. Один раз, на третьей перемене, побежали смотреть на поджиг Рудьки Зобнина, он два урока подряд набивал его серными головками и рубленым свинцом. Поставили доску, начертили крест, в него прицелился Рудька и спустил боек — заточенный по отверстию запала гвоздь на толстой красной резине. Поджиг взорвался, Рудьке оторвало большой палец. Тут стояла бочка с водой, в которую он сунул руку, а большой палец остался на поверхности.

Сидел я на задней парте у дощатой переборки в учительскую. Один сучок в переборке расшатался, и я его вынул, а в дырку запустил майского жука, жук вцепился в прическу нашей классной руководительницы.

Тут, у школы, была моя драка с Алькой Дударевым. Он был вечным второгодником, признанным атаманом ребят. Он любил кричать: «Р-р-рота, моя, плюй на меня!.. Атставить!» И вот он сказал мне: «Дай списать». — «Возьми». Он взял тетрадь, развернул, а я и сам в тот день думал, у кого бы списать. «Чего ж ты, тетрадь даешь, а сам не сделал?» — спросил Алька. «Спросил бы вначале», — ответил я. Алька плюнул в мою тетрадь и швырнул мне. Тогда я подошел к его парте и плюнул в его тетрадь. Класс замер. Решили драться, после пятого урока. Была зима, мы были во второй смене, рано темнело. Вышли, сделали портфелями круг, в который мы с Алькой вошли. Помню, что я все-таки больше не дрался, а боролся. Он бил меня, я старался поймать и отвести его руки. Потом мы упали и дрались на снегу.

Он, может быть, победил бы, но, обозленный, что я не отпускаю его руку, он по-подлому незаметно укусил меня за ухо. Ярость вспыхнула, я вырвался и поднял Альку, вывернул руки и уткнул его носом в снег. И так держал. Он выл, рвался, я держал. Победа была явная.

Я встал, он еще ударил меня, я не отвечал, его схватили, он кричал, что надо было на лопатки, но судьи были мальчишеские, то есть справедливые. Тогда он заревел, и мальчишки решили: пусть еще дерутся. Но Алька уже был сломан. Я сбил его подножкой и прижал спиной к земле. «Дай ему!» — ревела толпа. «Дай!» — кричали бывшие его лизоблюды. Я взял сумку, беззвучно плача от великой горечи ненужной мне победы, и увидел, что Альку пинают ногами. «Ну-ка!» — закричал я, и они отскочили. Я пошел домой. Луна светила, я не смог громко плакать: за мной шла огромная свита моих подчиненных. Но мне власть была ни к чему, а он без нее был ничто. Я шел и заливался слезами. Хотелось приложить снег к мокрому уху, но они шли. Я повернулся и заорал: «Марш отсюда!» И они покорно отошли.

Конец истории прост. Мальчишки не прощают тем, кто выпускает из рук командование: не успела зима пройти, я был прозван запечным тараканом, так как читал книги и не шел на улицу, а атаманом стал Вовка Обухов, свершивший еще один поход в заброшенный колодец.

На месте дома Софьюшки, одинокой старухи, и на месте двухэтажного дома, где жили Обуховы, стоял двухэтажный дом из силикатного кирпича. Софьюшки мы ужасно боялись, говорили, что она колдунья. Но раз зачем-то нас послали к ней, и мы, сделав фигу из пальцев и засунув кукиш в карман, вошли в темную бедную избу. Она спросила, не хотим ли мы козьего молока или квасу, мы отказались. На улице долго говорили, что она хорошая, вернулись к ней и спросили, не надо ли чем помочь. Она от помощи отказалась. Вообще, помню, принять помощь, даже пионеров, было многим почему-то стыдно — тут высказывалось, что люди в состоянии еще себя обслужить, что за помощь надо отблагодарить, а чем? То есть тимуровского движения в смысле игры, как у детей дачников, у нас не было.

Между Софьюшкой и Обуховыми у черного забора было пространство, где мы играли в кузню. Натаскивали разных железяк из МТС, с кладбища прицепных комбайнов и колесников и делали тачки, дужки к ведрам, играли серьезно. Даже завели оплату — кто-то целый день по очереди колол старые доски на дрова под таганки, а вечером мы дрова делили и несли домой как заработок. Нас хвалили.

У Обуховых всюду были сделаны турники, брусья, са-

модельные железные кольца. С Софьюшкиного сарая мы прыгали, соревнуясь, кто прыгнет всех дальше издалека и схватится за перекладину. Раз промахнулся и шлепнулся пластом на землю. Дыхание остановилось. Меня схватили за руки, за ноги и стали трясти, тогда вздохнул.

Дальше шел наш двухэтажный дом — бывший конный двор лесхоза, за ним сараи — наша отрада в прятках. Мне нравилась девочка, мы убежали от водящего и забились вместе в старый тарантас. Замирая от страха, глядели в щель меж сплетенных березовых прутьев, шептали: «Идет, идет!» И вдруг замолчали. Что-то незримое пронеслось в это мгновение, от чего я выпрыгнул из тарантаса и стрелой полетел. Но был застукан.

Во дворе ходили куры и наш козленок Тарзан, которого Обуховы прозвали Скелетом и доводили нас тем, что козленок откликался на кличку Скелет. Собаку мы не держали, но у нас петух был хуже собаки. Знал всех своих и гонял чужих. Пьяненькая Сима-воровка потащила раз курицу. Петух догнал Симу и отнял курицу.

Дальше шла редакция, потом дом Кольки Максимова. Его прозвали Колька Толстый, хотя никакой он не был толстый, да и где взять толщину в послевоенное время, а прозвал его наш старший брат. Играли в прятки, обычно сигали кто куда, часто в дыру на сеновал, Колька застрял, брат полез за ним, брата застукали и стали над ним смеяться. «Да не поймали бы меня, — оправдывался брат, — если бы не этот толстый». У Максимовых росли черемуха и яблоня, что было огромной редкостью из-за обложения налогом. Но яблоня была не садовая — дикая, и ее налог миновал и сохранил.

И вот — вспоминал про Кольку, и он сам вышел и пошел через дорогу. В домашних тапочках, шароварах, в военной рубашке без погон. Я остановил: «Николай!» Он долго всматривался. А узнав, тут же заявил, что наконец-то я явился и наконец-то он мне уши надерет за то, что я тридцать лет назад обломил у его черемухи сук.

— Это мне была мораль, — смеясь, отвечал я, — чтоб вовремя прощаться с игрушками.

Я играл на черемухе, качался на ее ветви, но рос я быстрее черемухи, и однажды сук обломился, и я шлепнулся.

Николай шел договариваться о рыбалке. Не спрося, откуда я, надолго ли, он позвал на рыбалку и исчез.

Ночь так и не приходила, даже как бы светало, потому что я потихоньку шел на рассвет. Тем более улица стала под уклон, и было далеко видно. Слева были конторы лесхоза и леспромхоза. В лесхозе мы дежурили вечерами. Сестра еще сокрушалась, что всегда подружки прогуливались по улице как раз мимо лесхоза, а она сидела в конторе. Но зато это были вечера с книгой, а то — бильярда со стальными шариками от тракторных подшипников. А то китайский бильярд, то есть тот же шарик пускался наклонно и катился вниз, стукаясь о гвоздики, виляя по сторонам, и, наконец, попадал в ямку с какой-нибудь цифрой. Еще в лесхозе была комната радиосвязи, туда я потихоньку заходил, садился за рацию, надевал наушники и, поворачивая рычажки или колесики (но чтоб точно потом вернуть в то же положение), воображал себя разведчиком, передающим ценные сведения. В лесхозе для детей устраивалась елка. Давали подарки в пакетах из газетной бумаги. Булочку белую помню. Еще елка была и в школе, так что у нас выходило по два подарка. У нас в классе хорошо пел Петя Ходырев. Мы это знали, хотя он не только сцены, но даже нас стеснялся. Он жил как раз в леспромхозе, один у матери-уборщицы. (Он погиб, именно погиб, не умер — разбился на мотоцикле.) Однажды на новогоднем вечере шли выступления по классам. Мы всем классом навалились на Петю, закричали ему о чести пионера, сказали потихоньку ведущей, чтоб объявила его выступление, и в самом прямом смысле вытолкнули его на сцену спортзала. Он запел, сцепив руки за спиной. Мы стояли за кулисами, и нам было видно, как он в кровь исцарапал ногтями себе руки, щипал себя до мгновенно вспыхивающих красных пятен, будто стоя на последнем допросе. Он пел: «Далеко-далеко, где кочуют туманы, где от легкого ветра колышется рожь, ты в родимом краю, у степного кургана, обо мне вспоминая, как прежде живешь...» Я не знаю, кто эту песню написал, я очень люблю ее, а теперь тем более, когда узнал, что Петя погиб. Я всегда вспоминал, весь напрягшись, Петя пел: «Далеко протянулась родная Россия, дорогая отчизна твоя и моя...»

Вместе с Петей мы бегали к Вовке Шишкину: вот и его дом. Он тоже разводил кроликов, но капитально, у него клетки стояли плотно, в три этажа, как район-новостройка. От него я принес двух крольчих себе на горе. Раз мы именно у Вовки выпустили классную газету «Колючка». Ее выпускали по партам, и в эту неделю

надо было отвести очередь. Мы изощрялись в юморе и сатире, но главным было то, что мы нашли повод чем-то уесть Риту Кулакову, нашу отличницу и реву-корову. Говорили, что Риту лупят даже за четверку. Что началось в классе! Мы сняли «Колючку» только тогда, когда нам сказали, что если про газету узнают родители Риты, то ее запорют насмерть. Риту вообще жалели. Только Иван Григорьевич Шестаков, наш классный руководитель старших классов, не пожалел. Он вел физику и во всеуслышание заявлял, что физику женщина знать не может, а если может, то только, в лучшем случае, при сильной фантазии, на тройку. Рита выходила к доске, заранее рыдая. Она шла на медаль, и весь педсовет валялся в ногах у Ивана Григорьевича, выпрашивая Рите пятерку. Нет, не смог переступить себя Иван Григорьевич. Сказали мне, что Рита кончила медицинский. С этой Ритой мы в один день вступали в пионеры. При керосиновой лампе, с одним казенным пионерским галстуком. Вначале она прочла торжественное обещание, ей повязали галстук, потом прочел я, перевязали мне. Потом сняли у меня, велев купить. Купить было негде, сделать было не из чего. По этой самой улице до Дома культуры лунным вечером, затеяв возню-толкание в снег, подсечки сзади, мы шли всем отрядом.

На этой улице было много лунных ночей, зимних и летних, ночей до такого замерзания, что, напровожавши Валю, я бежал, стуча окоченевшими ногами, как копытами. А еще была ночь зимняя. Мы всей семьей уже спали. Вдруг сестра потихоньку меня разбудила и велела одеться. Так как все наши проказы были вместе с нею: переодевание в ряженых, самодеятельность, купание — то я сразу с радостью слез с полатей и оделся. Луна была над селом — как над морем, огромная, будто лицо ее придвинулось именно к нам и было веселым. Взяли санки и стали катать друг друга. Я думал — сестра забыла, и спросил. Нет, она очень помнила эту ночь. Тогда снегу намело под крыши, мы катались в лог по сугробам на уровне проводов. Матери тряслись от страха — провода были электрические, убило раз собаку. Нет, ничего не случалось, что-то же берегло нас.

В логу весной первыми появлялись желтые солнышки цветка мать-и-мачехи, первые букетики приносили отсюда. В логу я нашел меч. Конечно, это был не меч, какой-то шкворень, от сеялки, может быть. Но похожий. С рукояткой, тяжелый. Был я в чистой белой рубашке и та-

щил меч домой, представляя мысленно древнерусского богатыря.

Дорога, которой я шел, была та, по которой уезжали из села; от нас до железнодорожной станции тридцать километров, там поезд в четыре утра на Ижевск, в Ижевске пересадка на поезд до Кирова. До областного центра ехали двое суток. Летом был еще другой путь — сорок пять километров до Аргыжа, там на пароход, но это еще дольше. Отсюда я дважды уезжал поступать в институты. В первое после школы лето никуда не поступал, так как еще не было паспорта, работал на комбайне, потом в редакции. Через год поступал в Уральский университет на факультет журналистики. Не поступил. Срезался на истории, ответив без запинки на все вопросы, а оценки объявляли вечером. Гляжу — мне двойка. Мысли даже не возникло идти куда-то разбираться, требовать правды. Повернулся и уехал. На другое лето я изо всех сил хотел уйти из редакции; тут долго объяснять, но будет достаточно, если мне на слово поверят, что я считал знания о жизни недостаточными, так я и писал в своем дневнике, но редактор Сорокин не отпускал. А поступать в институт он не мог запретить, и я, наугад раскрыв справочник вузов, ткнул в него пальцем и попал в Горьковский институт инженеров водного транспорта. Подал документы, поехал. Если на журналистику был огромный конкурс, то тут еле набиралось по человеку на место. Но тут уж я сам затосковал. Нарешал математику письменно так, что сразу пошел забирать документы. Мне не дали. Вечером вывесили оценки, у меня была четверка. Пришлось идти на устный. Взял один билет, второй, сказал, что оба не знаю. Спросили, какой я знаю, велели выбрать. Выбрал, сел готовиться. Подсел преподаватель, решил задачку, велел переписать. Когда пошел отвечать, отвечать не дали, посмотрели на задачу, поставили четверку. Я чуть не завыл. Уже мерещилась пристань на Волге, я — начальник, красивая нарядная жена поднимается от реки, и ребятишки гурьбой сыплются с обрыва. И я, усталый после трудной навигации, снимаю форменную фуражку и подставляю солнцу обветренное лицо. Но на сочинение я шел, стиснув зубы. И добился своего — я сделал четыре ошибки в слове из трех букв: написал не «еще», а «исчо»; я ставил запятые в середине слов; содержание же было бредовым. Меня вызвали и велели переписать. Я отказался. Велели переписать чье-то. Отказался. Уже были написаны стихи:

Не хочу я сотни дней скитаться по лекториям
и учить осадку в реках пароходную.
Я хочу войти в литературную историю,
а не водную...

Была суббота. Небольшие деньги мои были просажены во время свиданий с грузинками, сестрами-близнецами. Мы с одним парнем познакомились с ними на знаменитом нижегородском Откосе, на знаменитой лестнице, во время концерта симфонической музыки. Оркестр сидел в раковине внизу справа, а слышно его было отовсюду. Помню, исполняли увертюру к опере «Руслан и Людмила» и «Ночь на Лысой горе». Парень этот был Николай из Коврова. Мы узнавали, кто за кем ухаживает, только по различным браслетам к часам. Да и то бы сами не догадались, это мне «моя» посоветовала ее так запомнить. Сильно мучаясь, что они меняются часами, мы гуляли неотрывно вчетвером, идя с Колькой по краям и меняясь местами, чтоб все-таки хоть не все время, но быть рядом со «своей». Субботу я упомнил потому, что до понедельника не мог получить денег. Занять было не у кого. Прожил два дня на трех кусках сахару и в понедельник хлопнулся в обморок. Да еще и курил, это тоже добавило. Потом невозможно было купить билетов в нашу сторону, и я, отчаявшись, взял билет в купейный вагон, оказавшийся полупустым. Был конец месяца, и сошлись два нечетных числа, а казанский поезд до Ижевска шел только по четным. Вот как «водная история» запомнилась. Вернувшись, я устроился в РТС слесарем-фрезеровщиком. И так вышло, что поступил я в институт через шесть лет после окончания школы, когда не только одноклассники, но даже и те, что учились после, получили высшее образование. По этой же дороге наша семья уехала из Кильмези, по этой же дороге я уехал на три года в армию.

Тут, напротив новой автобусной остановки, была маленькая избушка Щенниковых, сын их учился с моим братом, и я бывал у них. Отец плел лапти, учил меня держать кочедык — нехитрый инструмент для продевания лыка. Иногда с похмелья он плел кое-как, иногда, вдохновившись, сплетал такой лапоть, что, даже не размоченный, он не пропускал воду.

Ночь пролетала так, будто шло желанное свидание. Уже и впрямь заалел восток, отступились остатки комаров, и, конечно, я вновь очутился на берегу реки.

Чего говорить, думал я о первой любви, хотелось не

только поцелуев, но и большего. Но был этот красный светофор юности — только без рук! Как было выстоять? Многие и в город шарахнулись от строгости, многие оттого, что деревня парнями обнищала. Не было паспортов у колхозников, а после армии выписывали. Паспорт получил — в колхоз не вернется. За это нельзя упрекать. Это как бы крик государству, что надо что-то в деревне предпринимать.

Я сидел и видел обрыв, будто простроченный крупнокалиберным пулеметом — так много было гнева у ласточек-береговушек. Они суетились, начиная день. Вдруг сверху раздался шум — я поднял голову. В небе шла самая настоящая птичья война. Не какой-то отряд птиц воевал с другим, ласточки били друг друга. Перья летели на воду и уходили по течению. Огромная стая взлетала, все птицы старались быть сверху, с криком сплетались в воздушный клубок, и он, кипя внутри, распадался. Многие старались не вступать в борьбу, отскакивали. Чего они не поделили? Начинался день, гнезд всем хватало, живи, выращивай птенцов... и снова взмывал и падал легион ласточек, снова они потрошили друг друга, и вдруг — будто камешек выпал из стаи, стал падать вниз и булькнул в воду. Но всплыл. Видно стало, что это ласточка. И уже снизу ее поддавали своими мордочками рыбы. Что это было такое?

Шум и крик вверху утихали.

Надо было хоть немножко поспать. Наступал день отлета, пятница.

Но ничего не вышло со сном. Даже разделся было и лег в холодную постель, даже закрыл глаза, чтоб отгородиться от раннего рассвета, но, будто дождавшись этого мгновения, замелькали в памяти события, люди, дороги этих трех дней: самолет, прилетевший в Малмыж, ночь в Малмыже, утро, пристань, «Заря», Аргыж, дядя, Мелеть, брат Гена, кладбище в Кильмези... Но главное было в том, что оказалось — я так много не вспомнил, что стало стыдно: поле клевера в Аргыже, в виду Вятки, клевер жали из расчета гектар за три, но уж и доставалось, деки у барабана подтягивали до упора, красная мельчайшая пыль превращала комбайн в кровавое облако, катящее по полю; забыл я тот родник у дедушки в Мелети; забыл, как рыбачили пескарей на Мелетке, как кошка приходила к нам на реку и сидела на обрыве, изредка

мяукая; кота нашего кильмезского забыл — он не мяукал, сидя на табуретке, лапой, молча, показывая на то, что хотел бы съесть. Все забыл! Как зимой из керосиновой лавки — ее видно из гостиницы — нес стеклянную бутыль с керосином и поскользнулся. Как порезался о край, как окоченели руки, облитые керосином, валенки окаменели, и все-таки немножко на оставшемся дне с краями принес домой. Как оба дедушки брали меня с собой в баню, мигала коптилка у заснеженного окошка, я расправлял дедушкам скатанные в валик чистые рубашки на распаренных худых спинах. Один дедушка не умел читать, другой перед ним гордился огромным списком прочитанного. Я приносил из редакции старые подшивки «Огонька» и «Работницы», неграмотный дедушка листал их и однажды, показывая на фотографию Чайковского, сказал: «Лицо мужицкое, а по рукам глядя — не пахарь». Другой дедушка подарил мне журналы «Нивы» времен первой мировой войны: поезд сестер милосердия, фотографии погибших офицеров, списки убитых нижних чинов. Еще там были рассказ о телефонном кабеле меж Европой и Америкой и рассказ о том, как делают веревки, названный «Веревка — вервие простое», и дивился: «И на что только бумагу тратят, разве ж кто не знает, как веревки вить?»

Каждое место родного села было значительно. На Красной горе, был крохотным, меня от руки не отпускали, увидел огромный разлив, подтапливающий Больничную и Национальную улицу, и дымный громадный буксир. На той же горе был с друзьями, жгли старую траву; тут ходили работать на старый кирпичный завод — потом его перевели на Малахову гору, к аэродрому, а аэродром выстроили новый.

Ничего не оставалось на месте, только земля. И еще память. Скоро уже кто, кроме меня, скажет, как выглядел фонтан и крохотная водокачка около аптеки, где из милости жила нищенка? Кто вспомнит, как выглядел первый конный двор лесхоза и второй, где была пожарная вышка, где стояла Партизанка, где кололи чурки для газгена? Ведь и второго двора нет, нет и газгена, нет и Партизанки. А место есть.

«Вот на этом месте...» — горькая фраза.

Скоро и о моей первой школе скажут, вот на этом месте была школа. Сейчас в ней склад старых школьных парт. Может, даже и лучше, что был такой провал во времени, ведь тот, кто живет около чего-то постоянно, не

видит изменений. Но это моя память, и ради чего стал ее бередить, ничто не возвратимо, ради чего она сама не дает мне уснуть?

Все дело в том, что тогда был молод.

Я открыл глаза. В номере было темно. Закрыл глаза, забылся, снова открыл — темно. Или проспал сутки? Посмотрел на часы: пять, шестой. Не вечера же. Окно было темным. Подошел к нему и все понял — черная туча шла с запада, и уже облегла все небо, и все шла и шла. Но без дождя, только с ветром. Лиственница внизу от ветра нагнулась в сторону движения тучи и стояла, унизительно согнутая перед тучей. И вдруг, резкой вспышкой предупредив о себе, ударил гром. Я вспомнил примету, по которой от первого грома перекидываются через головы, и, непонятно, почему решив, что этот гром первый для меня в этом году, действительно перекувырнулся через голову. Тут ударила вторая вспышка, третья, а гром как ударил, так и гремел непрерывно, будто длинная лента реактивных самолетов именно над Кильмезью прорывала звуковой барьер.

И прекратилось внезапно. Молнии будто обернулись вечерними зарницами, а гром сменился ревом мотора грузовой машины, одолевающей новую порцию грязи. И совсем прекратился дождь. Распахнул окно. Лиственница, освежась, отряхивала ветки, и слышно было, как непоседливый образованный грузин с утра пораньше ухаживает за дежурной-блондинкой.

— Красота, — кричал он, — везде свои Ромео и Джульетта, Тахир и Зухра, Паоло и Франческа, Филемон и Бавкида, гвельфы и гибеллины, виги и тори...

Конечно, какой уж теперь был сон, когда так протрясло атмосферу. Да и надо было прощаться с селом. Не загадывая на сколько. Еще мне надо было зайти к двум одноклассницам: одна, Юля, директор Дома пионеров, другая, Тамара, директор книжного магазина. И еще была печальная обязанность увидеть Гену К., первого парня в нашем классе, летчика дальних рейсов, списанного по здоровью.

И пошел я на прощанье, конечно, первым делом к реке. Гроза оставила в наследство воды, но ведь было лето, и земля, зная больше нашего, что впереди засуха, все запасала и запасала ее.

Все это время на родине дороги выводили меня к реке, ручьям, родникам, даже дожди, столь огорчавшие земляков, радовали меня. Раньше одной из самых страшных болезней была водобоязнь, ведущая к сумасшествию (шествие с ума — сочетание этих слов я однажды открыл сам и ужаснулся). Вид воды — реки, озера, сверкающей лужи после дождя, ручейка, мельничного пруда — всегда прекрасен, легче вздохнется у воды, чем в любом другом месте. Даже фонтан, задавленный камнями, стиснутый зданиями, тянет к себе, и не только из-за прохлады. Дожди, ливни, грозы есть освежение, очищение. А купание? Ведь это таинственный, из язычества обряд. Почему вначале боязно войти в воду, а как радостно плавать и неохота выходить из нее?

Звучание воды неисчислимо по разнообразию мелодий, и нет ни одной неприятной: водопад, как бы он ни ревел, пусть по своим децибелам в сто самолетных турбин, но он не давит слух, а заколдовывает; ручеек, звякающий и звенящий камешками; выбулькивающий родник; стучащий по крыше дождь, о, тут снова неисчислимо: дождь по крыше, а крыши разные — тесовые, но и тесовые разные: свежий тес — веселый стук, старый, в зеленом мху — глуховато, усыпляюще; крыши под черепицей, дранкой, под соломой, даже толь, шифер, рубероид — и с теми примирит миротворческое соединение неба и земли. А если взять дождь в лесу — как он согласен с елью, пихтой, как освещаются и веселятся, посверкивая, листочки берез, как тяжелеют и темнеют листья осины, усмиряются сосны — это без ветра, а с ветром?

Что уж говорить о морском и океанском прибое, ритме нарастания страшной силы после семи вздымающихся длинных изломанных хребтов... и эти удары восьмого и девятого, и эта огромная белая полоса пограничья воды и земли.

Вой вьюги (не отсюда ли и название печной закрышки — вьюшка) — этот вой заставляет вспомнить одиноких путников...

Нет случайных звуков в природе. Одни убаюкают, другие напомнят о нашей малости.

И как грубо и неопрятно вносим мы свои ужасные звуки в гармонию. Много раз я видел, как падают высокие корабельные и маточные сосны. Особенно жалко зимой. Земля промерзла и вздрагивает от удара и не принимает дерево, а в небе раздирается огромная сиротливая пустота. А бензопила ревет, выхлопной газ несет на лю-

дей, на кустарник, и огромный, во всем брезентовом вальщик целится под горло следующей сосне.

Этот грустный переход случился оттого, что я стоял глядя на север и северо-запад, то есть туда, куда часто ездил в командировки в леспромхозы и сплавные участки и нагляделся всего.

Но тут же, без усилия, пришло радостное воспоминание о казнемских лесопитомниках. Там мы с младшим братом и еще одним мальчишкой под руководством взрослой работницы лесничества ухаживали за сосенками. Обычно, как в огороде, опалывали и окучивали землю вокруг растения. Только огород был огромнейший, на многие километры. Помню эти нескончаемые увалы, солнечные желтые пески, бруснику, чернику, и на увалах стояли и одобрительно гудели оставленные на семена необхватные, вознесенные надо всем мачты сосен. Как было тогда не решить, что небо — это парус для таких сосен, что мы — матросы корабля. Разумеется, пиратского. Только временные невольники на плантациях таких будущих огромных сосен. Но представить их, нагибаясь к пушистой, хотя уже колючей малютке, было невозможно.

Встреча с одноклассником Геной была более чем примитивной. У пивной мужики глядели на незнакомого, я узнал Гену и попросил отойти. Назвался.

— А, — сказал, — вмазать хочешь? Давай трояк.

— Мне нельзя, лететь.

— Это ты летчику говоришь?

— Видеться надо еще кое с кем.

— Ну смотри. А трояк дай.

Сам я грешный человек, не могу и не смею осудить пьющего, пока не узнаю причин. Видел я сотни гибнущих от вина, но не знал их, не знал, кто они, откуда. Спросишь — соврут. Но Генка — красавец, гордость десятого «А», художник, спортсмен, погибель девчоночья... Он ухаживал как раз за Юлей и однажды меня приревновал. Юля была в бюро ВЛКСМ, я — секретарь, и что-то мы, изображая взрослых, зазаседались. Генка стоял за дверьми, ждал. Я его понимаю — ну, полчаса можно решать комсомольские дела, ну, час, но не два же!

В Дом пионеров мы пошли с сестрой. Юли вначале не было, вызывали в роно. Мы успели посмотреть комнаты выставки изделий и фотографий, потихоньку, стоя в сторонке, смотрели на ребят поселкового лагеря. Было интересно. Я так Юле и сказал. Она застеснялась точно

так же, как и четверть века назад, когда ее хвалили. Мы с ней сразу узнали друг друга. Посидели, повспоминали. Пришел один из Очаговых, Геннадий, одноклассник сестры. Мелькали фамилии. Но не было так, чтобы о ком-то вслух было сказано, что человек полностью счастлив. Да и что есть счастье? Живы-здоровы, и хорошо. В Кильмези почти никто не остался, но это еще было во многом оттого, что при Хрущеве район ликвидировали и многие остались без работы.

Библиотека была на новом месте. Все там были новые, только заведующая прежняя. Поговорили. Беды были обычными, библиотечными — заказы «Книга — почтой» не выполняются: дают то, что никто не читает, а то, что читают, не дают. И книжный магазин плохо снабжают.

— А что я могу? — сказала Тамара, моя одноклассница, директор книжного. — Дадут две-три книжки, кому? В библиотеку всегда стараемся давать экземпляр. Ох, — сказала она, — идем-ка покажу.

Мы увидели огромные лежбища поэтических сборников. В таких завалах может блеснуть жемчужное зерно. Но нет, предание о том, что в сельских магазинах можно купить редкие книги, ушло в легенду. Конечно, как всегда в таких случаях, неизбежен вопрос: зачем все это издают, если по десять раз по-всякому их выставляют и рекламируют, но никто не покупает? Причем среди едва ли не сотни имен и известные, но те, что переполнили рынок сбыта, то есть лучше выразиться — понизив спрос с себя, снизили спрос на себя.

С Тамарой мы вспомнили, как вступали в комсомол. Она была из Микварова, староверской деревни, и ей не сразу удалось вступить, на первый раз она отдала мне бланк своей анкеты. Микваровские девчонки приходили в школу на лыжах и вообще бегали на лыжах как лоси, и почти все они по фамилии были Мальцевы.

Если б было время, много чего можно б было вспомнить о школе. Но и мы торопились, и у Тамары начиналась инвентаризация.

Несколько фраз хватило, чтоб мы оживили в памяти наших учителей. И Ивана Григорьевича Шестакова, уже — мир праху! — умершего. Как он однажды вошел в класс и, хитро щурясь, сказал, что сделано открытие: на Луне есть люди, установлена связь, и что он видел кино о лунатиках. Все то же самое, только у них головы побольше. А еще вспомнил его вопрос: «Итак, вода кипит

при ста градусах, выделяя пар. Пар — это вода? Водяные пары, правильно. Почему же воду мы можем нагреть до ста градусов, а пар — до шестисот?» И еще: «Вода кипит, пламя продолжает гореть. Зачем пламя? Ведь вода уже кипит?» И очень радовался, когда на второй вопрос мы отвечали: пламя нужно на поддержание кипения.

Мария Афанасьевна Шутова, математик. Ведь надо же было: она где-то разыскала или сама написала геометрическую пьесу. Классе в седьмом. Ее играл весь класс. Я представлял шар — на мне был огромный картонный, похожий на глобус шар.

Были такие слова: да, я толст, но зато сколько изящества в моих формулах. Споря с кубом, ромбом и худой трапецией, я доказывал, что во мне есть все — круг, квадратура круга, число два пи эр квадрат — это мое число, а уж каких только секторов и сегментов не наберешь в шаре, всяких радиусов и т. д. Тут выходила касательная и находила у всех у нас общие точки. Пирамида возносилась. Приходили параллельные прямые неевклидовой и евклидовой геометрии, все мы ссорились, но великий Лобачевский, создав треугольник с тремя прямыми углами, все ставил на свои места.

На том вечере мне сказали, что умерла бабушка в Мелети и что мама и папа уехали туда. Нам, старшим, велено было домовничать. С вечера я пришел, награжденный десятью тонкими тетрадями и грамотой за исполнение роли шара. Роздал тетради братьям и сестрам. Мы сидели допоздна, было 17 марта.

Ровно через четыре года, день в день, умер дедушка. Он сидел 16 марта у нас, вдруг встрепенулся, спросил маму: «Это ведь завтра Саше три года?» — «Нет, тятя, уже четыре». Я работал тогда в редакции, начинал снимать доярок, механизаторов, подготовку семян кукурузы к севу, принес фотоаппарат домой и снял дедушку у окна, потом он утром вышел во двор, еще снял во дворе. Перед обедом его, ни разу не ходившего по врачам, расшибло параличом. Медленно, но твердо он сказал, когда хлопотали о больнице: «Домой, умираю». И на этой же пленке в фотоаппарате следующие кадры были — копание могилы, прощание с дедушкой.

Еще из учителей помнился, конечно, Колька Палкин, да простит мне Николай Павлович, наш физрук. Он был молод, имел громкий голос, но не наказывал. И давно бы

мы у него распустились, если бы не его и наша любовь к лыжам. Он выбирал крутые до безрассудства спуски со склонов оврага, скатывался первый, кувыркался в снегу, вставал, отряхивался и орал: «По одному справа, пошел! Только попробуйте мне лыжи сломать! Только попробуйте! Пошел! Кто там испугался? Ну-ка столкните его! Пошел!» На склонах положе мы делали трамплины-нырки. Укладывали охапки еловых веток, прихлопывали снегом. И потом — кто дальше прыгнет. Средний уровень был отличным, но уже к исходу урока мы одним местом, которое в прыжках с трамплина ни к чему, выбивали в снегу яму, в которую менее средний уровень втыкался головой.

А химия? Незабвенный Павел Иванович. В очках стоит за демонстрационным столом, берет в руки пробирку с желтой жидкостью.

— Итак, берем в левую руку, я реально, а вы мысленно, пробирку с раствором...

— Не надо! — кричали мы.

— Опыт, — отвечал на это Павел Иванович, — и еще раз опыт, и еще раз опыт. А в правую руку раствор соляной кислоты. Теперь...

— Не надо!!

— Надо!! Теперь осторожно содержимое правой пробирки сливаем в левую.

Раздавался взрыв, белая завеса скрывала стол и классную доску. Из-за стола, как сдвоенный перископ, показывались очки.

— Вы видели что-нибудь подобное? — спрашивал Павел Иванович.

— Нет!

— Я тоже не видел. Запишем формулу...

Изо всех формул органической химии мы с ходу запомнили только формулу спирта. Из неорганической — коррозию.

Меня коррозия вообще защитила от химии. Узнав, что я занимаюсь в тракторном кружке, Павел Иванович спрашивал меня о ней три года.

— О чем мы сегодня узнаем? — спрашивал он.

— О коррозии! — кричал класс.

— Почему?

— Она приносит вред народному хозяйству!

— Итак-с, кого же мы спросим? А спросим мы чело-

века, который на практике познал неотвратимость коррозии металлов и пути борьбы с ней...

Все захлопывали учебники, я безропотно вставал и шел к доске зарабатывать пятерку.

На экзамене на аттестат зрелости, однако, мне достались гранулированные удобрения, и хотя Павел Иванович задал дополнительный вопрос о вреде коррозии, это не спасло.

Когда дети спрашивают меня, как же я учился, отвечаю: «У меня в аттестате одна четверка». И дети, конечно, думают, что остальные пятерки. Увы, дети, остальные тройки.

Недолго преподавала, но запомнилась историчка Маргарита Михайловна. Рассказывая, особенно о войнах (если изучать историю по учебнику, то будет такое впечатление, что вся история есть история непрерывных войн), — рассказывая о войнах, особенно Средней и Малой Азии, Маргарита Михайловна входила в такой раж, что ломала указки. Мы несли повинность — приносить в школу новые. Тесали их из поленьев, и они разлетались вдребезги и отбрасывались к печке на растопку. Однажды, сговорясь, мы сделали указки из вереска. И вот — урок.

— Дрались-бились, дрались-бились, — говорила учительница, раскаляясь и ударяя по столу и передней парте, на которой на уроках истории никто не сидел, — дрались-бились, и наконец — победа! — Удар по столу. — Чья? — Еще удар. Указке хоть бы что. — Чья победа? — закричала Маргарита Михайловна, сгибая указку через колено.

Указка гнулась, но не ломалась. О другое колено. Указка, в отличие от учительницы, стерпела. Отшвырнув указку, Маргарита Михайловна ушла.

Литературу в старших классах вела Ида Ивановна, приезжая из Кирова. Всегда зябла, стояла в белом платке у печки. Я очень любил Иду Ивановну, хотя и дичился и даже остался на осень по литературе в девятом классе. Именно Иде Ивановне я осмелился сказать о своей мечте. Зимой, в метель, я подкараулил ее выход из школы, догнал и открылся. Она засмеялась: «Мне тоже говорили, что буду журналисткой или артисткой, а вот видишь, сижу в вашей Кильмези».

Сейчас напоследок я побывал у школы. Березы, которые мы сажали, были огромными, выше старых школьных крыш.

Где проходили трассы школьной лыжни, была дорога на луга, за ягодами, в ветлечебницу, на бойню.

На луга мы ходили прямушкой, через огромные поля высокой ржи. Выше роста человека. Идешь, и колосья хлещут по лицу, можно, отойдя в сторону, заблудиться.

Здесь были клумбы с цветами, которые летом стали засыхать, и мы сами прибежали их рыхлить и поливать.

Смешно, но с этого начались сельские уличные пионеротряды. Нас даже наградили поездкой в Ижевск, и я впервые в жизни увидел город и железную дорогу. В Ижевске больше всего поразило то, что люди купались за деньги. Я не пошел, зато, и это всегда вспоминала мама, привез связку сушек. В этом я поступил как отец: он всегда из командировок, экономя командировочные, привозил нам подарки. Лучшим подарком была еда.

Однажды он привез картину — лебеди плавают в озере, а по краям цветы.

Мне всегда больно, когда высмеивают вышивки, герань, картины с лебедями, — разве это мещанство купить на последние рубли картину и осмотреть далекую красоту? Конечно, кисть несовершенна, так дайте тогда каждому по Рафаэлю. А как высмеивали висевших в столовых васнецовских трех богатырей, шишкинских мишек, перовских охотников! И все же — ничего не вышло: копии все улучшаются, и представить в сельской столовой кубистов и супрематистов все же нельзя. А герань — этот прекрасный, обруганный цветок бедных подоконников? Выжила герань. Что говорить: курочка-ряба могла исчезнуть, не попавши даже в Красную книгу. Оказывается, курочка-ряба может быть рождена, высижена и выхожена только курочкой-рябой, в инкубаторе их не разведешь. А ведь смеялись над темнотой хозяек, тех, кто сажает в самое яйценосное время курицу на яйца, а не берет цыплятами из инкубатора. Нет, великое дело постепенность.

Прошел, снижаясь, самолет и еще раз напомнил, что сегодня прощанье с родиной. Надолго ли? Тут нельзя было назначать точное время, такая жизнь, что можно только надеяться и верить, что скоро. Так много дорог и тропинок надо проехать и пройти, чтобы понять, откуда начиналась жизнь на этой земле.

И вот последние часы в Кильмези. От редакции, от

нашего дома, у которого сфотографировались на память, идем собирать вещи. И не моя, милая родина, вина, что живу здесь в гостинице. Я не гость и не хозяин, но и не блудный сын. Даже останься тут жить мои родители, все равно в тот год уходили в армию, а там институт. А там работа. Приезжал бы, но звался бы тогда отпускником. Тоже не мед. Шел бы купаться, а не на воскресник.

И совершенно искренне, выступая в школе перед старшеклассниками, говорил я, чтобы они непременно шли учиться. Да, ничего, кроме пользы, от того, что выпускники, особенно ребята, поработают, послужат в армии, нет, но надо идти на преодоление схемы. Еще неизвестно, где больше пользы мы приносим отечеству.

Мама и сестра, как женщины, не могли не зайти в универмаг. Он обновлен, расширен, и товаров в нем на любые деньги. Но вот что нас всех опечалило, и мы враз сказали, что это плохо, — это то, что в бывшем хлебном магазине сейчас продают водку. Это не ханжество, и помянуть стариков на кладбище, выпить мы брали здесь же. Но эти хлебные карточки (эх, забыл у Вали Грозных спросить, есть ли в музее продовольственные карточки: нет, наверное, разве их можно было уберечь!), эти очереди с вечера. «С вечера очередь сама займу, накажу, чтоб кто-нибудь пришел, а потом ночью по очереди бужу и посылаю на смену. Так достаивали до утра, а хлеб иногда везли к обеду». Как забыть эти очереди? Когда мы рассказываем, чего мы пережили, какие у нас были воскресники, как было голодно, многие не верят, думают, что это мы нарочно. Нет, милые, какой там нарочно, рады бы не писать, не рассказывать, но когда смотришь, как швыряют хлеб, как не любят работать, как забывают, кто они и откуда: как тут смолчать?!

Нехорошо, очень нехорошо, что в хлебном магазине водка. Как бы сделать так — неужели это недостижимо, ведь сделана же прекрасная уличная выставка героев войны — сотни кильмезских мужчин убиты за отечество, и за тот нелегкий хлеб сколько пролито крови, — и вот сделать бы в этом магазине какой-то другой, не водочный, и прикрепить мемориальную доску: «В этом магазине в военные и послевоенные годы был хлебный магазин. Норма хлеба на одного человека в сутки была 200 граммов».

Прочел бы взрослый человек, вспомнил бы, прочел бы добрый молодец, призадумался.

Именно отсюда потом, по воспоминаниям, пришли ко мне строки:

Хлеб давали по списку мукой,
раз на землю мешок уронили,
загребли на фанерку рукой
и по норме меня оделили...

Я тогда до всего не дорос,
но уже и тогда был не слеп.
Отвернулась мама, чтоб слез
не впитал суррогатный хлеб.

Это было давно-давно,
как для многих немое кино.
Но с тех пор навсегда мне дано:
хлеб с землею — понятье одно.

До свидания и ты, Дом культуры. Сколько перепето, перетанцовано в тебе! Как сердце билось от смелости, когда делал первый шаг через огромное пространство пустого зала, чтобы подойти, освещенному прожекторами взглядов, и сказать, глядя в пол: «Пойдем». И вот ее ладони на плечах, как погоны за смелость. А вот уже и другие пары. Нет, это я залетел, две руки на плечи будут класть куда позже, мы держали правую руку на талии, левой же держали ее правую на отлете. Плохо, скажете. Нет. Зато мы видели глаза друг друга.

А сколько пересмотрено фильмов. В детях мы сидели на полу, движок, конечно, ломался, рвалась лента. Сеанс шел иногда целый вечер, как многосерийный. На экране устраивали театр теней — мальчишки перед ним из сплетения пальцев делали собак, птиц, зайцев. Фильмы шли сказочные: «Кубанские казаки», «Свинарка и пастух», «Веселые ребята». Мы их смотрели, как сказку, и радовались, что если у нас плохо, то это ничего: ведь есть же такие места, где людям хорошо. Но, помню, даже и тогда никак до нас не доходило, что надо смеяться над тем, что поросенок напивается пьяным, а затем его, живого, тычут вилкой. Или как в Большом театре, размахивая погребальным фонарем, поют частушки.

Здесь же я увидел в кино Лолиту Торрес, и с тех пор для меня Южная Америка — это она. И недавний приезд в СССР многодетной матери, отяжелевшей исполнительницы романсов, не заслонил прежний ее образ.

Девчонки тут, конечно, увидели Жерара Филипа. Скажите, чем он хуже Пьера Ришара?

Пришла машина.

И я, как будто добирая воспоминания, торопливо писал обрывки фраз и слова.

«С сараев на снег» — это уже ближе к весне, когда спускали снег с крыш, вырубали огромные пласты, очередной удалец садился верхом, пласт подрубали, и он, зашумев у крыши, ухал вниз, разбивался в прах.

«Рио-Рита, — писал я. — О, Рио-Рита! Трехлинейка-коптилка забыта, и забыт невеселый тот фон. Но закрою глаза — Рио-Риту, надрываясь, ведет патефон».

«Первый раз выпил». Это тоже надо. Не надо только того, что никто, хотя бы при жизни, не знал. И так все всё узнают. А про выпивку надо. Мы играли с мальчишкой Витей Вороновым из Заготзерна. Отец его был конюхом и сторожем, а мать рабочей. Она сшила Витьке рубаху из юбки. На рукава не хватало, она сделала сколько хватило, до локтей. Витька даже примерить рубаху отказался. Позвали меня, чтоб повлиял. Было лето перед пятым классом. Я перед лицом родителей засрамил Витьку и надел рубаху. «А на улицу в ней выйдешь?» — спросил Витька. «Выйду». И вышел. Ничего не случилось. Тогда Витька надел рубаху, а его отец налил мне стакан браги. Я выпил. Пошел домой и поставил самовар без воды. Дедушка по звуку почуял неладное в самоваре и еле его спас. А я пошел на улицу, пристал играть в выжигательный круг и всем мешал.

«Мечты о смерти». Тут среди тополей и берез меня настигла обида такой силы, что я мечтал умереть. Да так, чтоб все поняли, кого они потеряли. Ах, как сладко было в возвышенном над толпой гробу, под звуки рыданий — никакого оркестра! — только слезы, только вопли отчаяния, и вот я плыву над толпой, уходя в сторону заката, возвышаясь и спрашивая всех: а раньше-то где вы были? А я так любил вас, так любил...

Самолет задерживался.

Новый аэродром, на который мы должны были сесть три дня назад и из-за ветра не сели, конечно, во много раз был лучше старого. Правда, тот был рядом, к самолету шли пешком, а к этому ходил автобус. Вспомнили старый аэродром, бессменного его начальника Ожегова. Он там был один, а тут целый штат.

— На поле не выйдешь, — сказала сестра, показывая

загородку. — А на том аэродроме всегда бегали к самолетам, он взлетает, а мы прицепимся за крыло и соревнуемся, кто дольше провисит в воздухе, а потом отцепляемся.

Ну, сестра! Такого у меня в детстве не было.

Обходя аэропорт, я увидел надписи и показал их сестре. Надписи были одинаковы — проклинали «эту дыру» Кильмезь. Многим пришлось тут пережидать непогоду.

И опять отложили вылет. Насколько хватало расстояния, чтобы слышать объявления о вылете, настолько я прошел по направлению к Кильмези, поднялся на рукотворный храм из песка и гравия. Вот она, милая. Вот школа сразу бросается в глаза. Сюда, где я стою, бегали за орехами, земляникой. Вон в той роще ломали веники... Как можно проклинать любое место нашего отечества, если оно кому-то дорого, кому-то дало жизнь, язык, первую любовь?

Как много воскресло в эти дни. Мы, оказывается; ничего не забываем, и все идет с нами, в нас и участвует в теперешних поступках. Надо ли говорить, что все эти дни совершалась во мне внутренняя безмолвная работа сопоставления меня, ребенка и юноши, ожидающего от меня, взрослого, свершений, и надо ли говорить как часто мне было стыдно? Но как же вообще хорошо, что были эти три дня...

Взлетали мы при сильном боковом ветре.

Великорецкая купель

1

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, Святителя Николая Чудотворца и всех святых, помилуй мя, грешнаго», — почти автоматически прошептывал Николай Иванович, а сам занимался двумя делами: писал памятки, или, как их называли старухи, «пометки» о здравии и об упокоении, — первое, и второе: думал, как жить дальше. Они с Верой были в самом прямом смысле изгнаны из квартиры, приютились в общежитии, но и тут приходили от коменданта, ве-

лели забирать вещи и уходить. Конечно, тут гадать нечего — Шлемкин со свету гонит, Шлемкин, уполномоченный по делам религий при облисполкоме, он человек слова: сказал в шестьдесят втором году, когда рушили церковь Федоровской Божьей матери и когда Николая Ивановича за руки, за ноги милиционеры оттащили от бульдозера и бросили внутрь милицейской машины, сказал ему тогда Шлемкин: «Я тебя со свету сживу», — и сживает. Сживает вот уж четверть века. Стал совсем плешивый, скоро на пенсию, а все сживает. Ему за то, что сживает Николая Ивановича, государство зарплату выделило, надо оправдывать. А разобраться, даже и не государство, а сам Николай Иванович гонения на себя оплачивает: он плотник редкостный и работник безотказный. Только, оказывается, и такими работниками не дорожат: уволили. Уволили по статье за прогул. Прогул засчитали оттого, что в начале июня, как обычно, Николай Иванович ходил в село Великорецкое на день обретения иконы Святителя Николая Чудотворца. В другие годы давали три дня в счет отпуска или без содержания, в этот раз не дали. Знал Шлемкин, что все равно пойдет Николай Иванович в Великорецкое, знал. На то и рассчитывал. Начальник базы очень переживал, лишаясь такого работника, но поделать ничего не смог — приказали уволить. Приказали очистить ведомственную жилплощадь — две крохотные комнатки, в которых было по кроватке, да кухоньку с маленьким столом и табуретками. Самодельные, конечно, и кровати, и стол, и табуретки. Всей мебели — на тележку складь. Главное их богатство — иконы. И в ее светелке, и в его передней. «Два монастыря у нас, матушка», — говаривал Николай Иванович. В общежитии, куда пустили из милости, оттого, что Вера там была уборщицей, для икон даже места не нашлось. Теперь вот гнали и из общежития. А Веру рассчитали, сославшись на пенсионный возраст и на какую-то статью, сказали даже номер статьи, как будто Вера в этом что понимала. Разрешили пожить две недели. Надо было что-то решить.

Николай Иванович с утра, как на работу, уходил искать новое место. Но неудачно. Только доходило до оформления, только протягивал паспорт, как под разными предлогами отказывали. Стар, пришел бы вчера, зайдите осенью. Это могло быть правдой, но в одном месте раскормленный кадровик в полупиджаке-полуфренче заявил: «Сектантов не берем», — тут стало ясно. Шлемкин включил в список неблагонадежных и его. Спорить, дока-

зывать, что назвать православного сектантом все равно, что русского эфиопом? Но повидал Николай Иванович полуфренчей, полукителей, полугимнастерок — и рукой махнул.

Можно бы и на пенсию прожить, но стараниями все того же Шлемкина пенсия у Николая Ивановича была сверхничтожна. Один раз вот так же уволили Николая Ивановича за уход на Великую, причем уволили в пятьдесят семь лет, за три года до пенсии. Тогда, правда, хоть на сдельную, на временную, на аккордную брали. Но в стаж все это не попало, и пенсию насчитали как три года неработавшему, то есть копеечную. И вот сейчас, на старости лет, опять гоняют Николая Ивановича, как, прости, Господи, пса беспризорного, только и успевает Николай Иванович произносить: «Ненавидящих и обидящих мя прости, Господи», — да только вздохнет коротко и сокрушенно, стараясь сердиться на себя, а не на них, ругая себя за то, что не до конца изжил в себе сетования и печали.

Ходить, искать работу и жилье, понял Николай Иванович, было бесполезно. Он решил с утра отстоять литургию, причаститься и отправиться в свое село, теперь уже не село, непонятно что, какое-то собачье название — эрпэгэтэ. Деревня бы лучше пристала родному Святополью, потому что и в Святополье церковь была порушена, а какое ж село без церкви? А деревня какая без часовни? Так что, видно, эрпэгэтэ в самый раз. Тонюсенькая ниточка, которая тянулась из Святополья, была открыточками сестры Раи, или, как она их называла, «скрыточками», к Новому году и к Пасхе. На Пасху Рая, страшась, наверное, недавних гонений, поздравление не писала, но открытку подбирала не революционную, а с цветами.

А не был на родине Николай Иванович, страшно сказать, пятьдесят лет. Пятьдесят лет прошли, как увезли его из Святополья, увезли с милицией за отказ служить в армии. Вот тогда, пожалуй что, он был сектантом. Вот какой грех взял на себя Николай Иванович, а отмолимый он или неотмолимый, Бог знает. И пятьдесят лет не видел Николай Иванович оставшегося в живых брата Арсения и всего израненного, однорукого брата Алексея. А отец и старший брат Григорий погибли. С рабов Божиих Григория и Ивана начинал Николай Иванович памятку об упокоении, а с рабов Божиих Алексея и Арсения — о здравии. И молился за них, зная, что братья икон в доме не держат, может быть, только Рая. И мо-

лился и чувствовал теплоту в молитве, а ехать все стыдился.

Но вот подошло: спасибо Шлемкину, гонит на родину. Николай Иванович дописал имена умерших, прошептывая на каждом имени: «Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцем, братиям и сестрам нашим и сотвори им вечную память», — и как-то замер над листочком, думая, может, забыл кого помянуть? И тут, вот и скажи, что что-то бывает случайным, именно пришла Вера и молча, перекрестясь, подала телеграмму. Вначале прочлась приписка внизу: «Факт смерти Чудинова Алексея Ивановича заверяю секретарь сельсовета».

Вера зажигала свечечку (лампадку в общежитии они не осмелились направлять). Зажгла, прочла поминальную молитовку и сказала:

— С женщинами договорилась, селедки достанут.

— Зачем?

— Как зачем? Ничего ж там нет. С утра поедешь?

— С утра-то бы хорошо, да ведь там близко церкви нет, лучше тут заочно отпеть, и уж с обеда, благословясь... — Он недоговорил, но Вера знала, что он мог бы сказать, что ведь как, теперь уж надо ехать обязательно, брат позвал.

2

Кроме селедки Вера еще достала и конфет, и чаю, пусть хоть грузинского, но и такого давно не было, достала даже кооперативной, дорогущей колбасы, хоть сама ее и век не едала, положила также хозяйственного мыла, сигарет Арсению, это в сумку, а в руках велела держать связанные вместе упаковки для яиц, две по три десятка. Это был единственный товар, который следовало везти не в деревню, а из деревни, и Николай Иванович попробовал сопротивляться. Но Вера, он давно знал, лучше его стократ смыслила в жизни, и он сдался.

Ехать было так же, как и пятьдесят лет назад. Поездом, только он назывался теперь электричкой, потом автобусом. Тогда ездили на попутных, а чаще на лошадях. Некоторым, правда, как вот Николаю Ивановичу, был особый почет — бесплатный проезд да еще и с охраною.

Николай Иванович заключение, в общем-то, перенес легко. Били — думал: «Слава Тебе, Господи, привел по-

страдать», заставляли выносить парашу, и это было не в тягость, ведь трудом унизить нельзя, даже и неверующего. Надо же кому-то и парашу выносить. Обделяли уголовники куском, он вспоминал Иоанна Крестителя, питавшегося кореньями и акридами, вспоминал сорокадневное пощение Спасителя, молился, и голод отступал. Одно было невыносимо — опер каждый день на проверке и разнарядке подходил к Николаю Ивановичу и срывал с него крестик. Крестик Николай Иванович делал из щепочек, а ниточку для него вытаскивал из портянок или из мешковины, или приловчился отделять от ивовой коры лычинку, всяко было. Но чтобы лечь уснуть без крестика на шее, этого он не мог. Он так и думал, что страдает за свою веру, сознание непоправимости, огромности греха пришло к нему после тюрьмы, после встречи со старцем, когда они ходили вместе на Великую, на день обретения чудотворной иконы Николы Великорецкого. Тогда-то старец рассказал о преподобном Сергии, конечно, не впервые услышал Николай Иванович о Сергии, но впервые о том, что в годину, тяжелую для России, своею волею преподобный Сергий повелел взять оружие даже монахам. К тому времени Николай Иванович многое понял, он знал уже, что отец и брат Григорий погибли, что Алексей потерял руку. Знал, правда, по слухам, не было документального подтверждения, что и в эту войну монахи воевали в танковой колонне «Дмитрий Донской». Это отец Геннадий рассказывал. Он же увещевал Николая Ивановича забыть грех отказа от защиты Отечества, ведь тот искупил его и тюрьмой и молитвами. Но Николай Иванович все не чувствовал облегчения, все тяготило его, что даже и могилки отца он не знает, и братова могилка неизвестно где на просторах Северо-Западного фронта, вот в чем горе. Их мать не вынесла этих двух смертей, да еще и Николай был в тюрьме, а тут и Арсеню посадили за воровство, хоть и был несовершеннолетний, и мать умерла. Рая писала, что мать надорвалась на лесозаготовках, куда сама напрашивалась из-за хлебной нормы, но знал Николай Иванович, что страдания душевные тяжелее физических.

Но почему он боялся или стыдился ехать в Святополье, неужели только телеграмма вытянула да издевательства Шлемкина? Нет, тут многое может оправдать. Во-первых, не с чем было ехать, во-вторых, когда? Отпуска фактически у него и не бывало, все работа и работа. На смирных воду возят, а он безответный человек, он

лишь в одном тверд — в служении Богу. А Бог велел терпеть. О, многое в государстве держалось на верующих. Как только над ними не изгалялись всякие Шлемкины, а они все тянули да тянули. И не роптали, не воровали, не пили. Был в государстве еще один безгласный отряд ломовых лошадей — пьяницы. С этими было еще проще: вначале споить, а потом требуй что хочешь. Сверхурочных работ, работ в выходные, можно лишать премий, путевок, жилья, можно над ними всяко издеваться — куда денутся? Ну, иногда устроят сидячую забастовку: доползут до работы и ничего не делают, но это не от поисков социальной справедливости, просто с похмелья нету сил. Так и пусть бастуют, думает опытный начальник, пусть до обеда бастуют, там похмелятся и пусть вламывают во вторую смену, можно и ночную прихватить, чего с ними чикаться? Особенно выгодны были русские пьяницы, у них одна из национальных черт была черта стыдливости за свои поступки. Им стыдно за вчерашнее, стыдно, что не удержался, пропил аванс, вот и стыдись дальше, иди на любую работу, соглашайся на любые расценки, иди на химию, иди с радиацией работай, можно и молоко за вредность не выдавать, и без молока хорош. Можно презирать, можно в боевом листке карикатурно изобразить, это особенно проверяющим комиссиям нравится, называется пунктом борьбы за трудовую дисциплину. Для начальников пьяницы — большая драгоценность, на них списывают все понедельники и дни зарплат, все дни после непрекращающихся в стране праздников — вали все на них! Ох как напугал многих слух о сухом законе! И напугал именно начальников, а не пьяниц, пьяница — человек больной, разве больному не хочется излечения? Нет, не ввели сухого закона, и этот, полусухой, тоже испохабили, и начальники на своих активах радостно говорили, что и Горбачев признал ошибочность гонения на пьянство, и так выводили, что Горбачев чуть ли не рад спаиванию людей, которые еще кроме всего и избиратели...

Кончились незнакомые, вроде как сжавшиеся поля, пошел лес, тоже незнакомый. Тот лес детства и юности был сосновый, пихтовый, этот — больше ольха да осина. Кончился асфальт, жестяной указатель на Святополье был продырявлен, видно, охотники баловались. Никто в автобусе не узнавал Николая Ивановича, и он никого. Вышел, матушка моя, батюшка мой, — вот она, колокольня, одна и осталась, обезгласела, запаршивела, но

стоит среди Святополья. Нет, уже не посреди, Святополье сдвинулось в сторону эрпэгэтэ, дома там сероцементные, там центральная усадьба, а Святополье как было, так и стояло на бугре, близ кладбища. И изба их стояла, даже баня на задворках.

Пришагал Николай Иванович к дому — закрыто. Сел дух перевести, бежит Рая. Родина ты милая, пятьдесят лет братик сестричку не видел, пятьдесят лет. Обнялись они, Рая уливается, Николай Иванович успокаивает, а какими словами, что говорили — и не высказать. Рая просила жить у нее, но Николай Иванович запросился в родительскую, старенькую избу, которую Рая держала за летнюю, а сносить не хотела. И говорила, и говорила! И чего ж это милый братик писал так редко, и кто эта Вера, от которой приветы передает? И чего ее не привез, и сколь долго не было, это ведь какие веки, это ведь они своих родителей вдвое старше, а в колхозе ничего, жить можно, ведь не умерла же, хоть раньше и серпом косила, а с хлебом были, а сейчас на тракторах ездят, а хлеб едим не свой, тяжелый, а Арсеня пьет, сильно пьет, поговори с ним, Коленька, старшего послушает, Алешу не слушал, да уж чего перед своим скрывать, вдвоем и полоскали, а уж про Алешу сказать, хоть и грешно сказать, но хорошо, что отмучился, и сам отмучился, и жена его Анна отмучилась, она тоже, наверно, скоро сунется, ведь жили они в доме престарелых в Кирово-Чепецке, легко ли, да не пожилось, Алеша стал заговариваться, стали оформлять в Мурыгино, в дурдом, так уж вернулись сюда, здесь как участнику войны дали комнату в бараке, там и лежит, там и умер, могилу завтра с утра парни выкопают, над ним сейчас старичок псалтырь читает, он всегда читает и берет недорого...

3

Николай Иванович как вошел в избу нагнувшись, так и стоял ссутулясь, низенек оказался потолок. Вот печь, на которой он родился, вот лавка, на которой сидели они, и тут вдруг резко прозвучала в памяти слуха рекрутская частушка, а ведь Николай Иванович вроде и знать не знал ее, как же в нем сохранилась? «Со́брана́ моя котомочка, на лавочке лежит, неохота, да придется на чужой сторонке жить».

— На кладбище сегодня сходим? — спросила Рая,

но тут же решила, что лучше уж завтра, заодно с похоронами. И баню завтра.

И снова все говорила и говорила. На трех работах работает, вся выскалась, а как, парень, иначе, ведь дети нынче дорогие, а и их как осуждать, трое у нее, все семейные, всем помогает, а у Алеши был один, да и тот, миленький, утонул в Каме, в Брежневе, не говорят ничего, но по всему видно — по пьянке утонул, выпивал больно, приедет когда в Святополье, так дня от ночи не отличает, инструктор по какому-то спорту ли, туризму ли, они не больно-то объясняют, у молодежи нынче язык отнялся, осталось только у них — половина мычанья, половина мат, вот и пойми. Да еще на мотоциклах палят, только и слышишь: тот башку сломал, этот ребро, а им — что дико, то и потешно. А у старшенького у ее — девочка с диабетом, и дети-то нынче все задохленькие, дышать им нечем и едят сплошную химию, как тут будешь здоровым, да еще атом этот лешачий кому-то спонадобился, надо им, так сделайте себе в кабинете да и радуйтесь, нет, они вначале на колхозниках испытают, а чего колхозники, колхозники не рабочие, все вынесут, у них ума на забастовку не хватит, да и скотину надо кормить...

— Ой, заговорила я тебя, — спохватывалась Рая, а сама прямо летала по избе, чего-то расставляя и поправляя.

Вошли в переднюю. Божничка, как стояла тогда, так и стояла. Иконочки Спасителя, Казанской Божьей матери, Николая Чудотворца тоже были те самые, их, семейные, еще дореволюционные. Простенькие, напечатанные на бумаге и наклеенные на дощечки. Цветы из стружки, к радости Николая Ивановича, были свежими, видно было, положены на божничку недавно.

— К Пасхе убирала, — сказала Рая. — Жена Арсени всегда к Пасхе приносит. А Арсеня наш чего-то совсем задурил, в Святополье не живет, сидит в Разумах, там один дом всего и остался, как раз его дом. Задурил совсем не по-путному, из детей, их у него пятеро, никого не признает, ты поговори с ним.

— Надо будет мне потом все имена записать всех детей, чтоб о здравии поминать.

— Да я так-то пишу, передаю со старухами, самой-то когда, так и живу, грешница, в церкви не бываю. — И, раз уж коснулись этой темы, спросила: — Тебя-то как, все карают?

— Ничего, живой.

— А вот как, скажи, Коля, тебя на десять лет увозили, а сколь долго сидел, как?

— Два раза добавляли. За что? Видно, понравился. Там ведь просто. Я старый был зэк, матерый, меня они не стеснялись, при мне раз обсуждали: киномеханика надо было выпускать, срок домотал. А как без киномеханика? Один другому и говорит: «Да ничего, это устроим», — и устроили. Приметили парня на воле, да могли и любого, втравили в драку, сунули пятерку, и иди в зону, крути кино, фильмы-то те же самые. У нас любого и каждого могут посадить, и никому ничего не докажешь.

Рая вздохнула, согласно покивав.

— Поешь с дороги.

— Нет, Рая, давай вначале к Алеше.

Они пошли, оставив избу незакрытой.

— Нюра, Алешину хозяйку зовут Нюра. Еще там Люба, ты ее должен помнить, дяди Ксенофонта дочь. Предсельсовета была, потом увезли на восстановление Ленинграда, так и всю жизнь там, тоже уже безмужняя.

Они пошли напрямик, по глухому проулку, около поваленного забора, поваленного не до конца, сквозь него били фонтаны цветов, оплетали их голубые плети мышиного гороха, горели фонарики клеверных головок, белые колокольцы вьюнка тихо качались, выстреливала вверх тимофеевка, а сзади напирала плотная, кроваво-мрачная стена репейника. На местах домов, если они рушились сами, от старости, росли лопухи и крапива, а на месте пожарищ полыхал лилово-малиновый иван-чай.

— Все ли узнаешь-то? — спросила Рая.

— А как и не уезжал.

Рая остановилась, оглянулась.

— Вот уж именно, как и не уезжал.

— А жизнь-то, Раечка, и прошла. — Николай Иванович тоже остановился. — Прошла, — повторил он о своей жизни как о чужой, — прошла жизнь и кончилась, одна душа жива, слава Богу, одним Святым Духом живы, Раечка. А уж где Бог привел быть, в тюрьме ли, в колхозе ли, Его воля.

— Его, — откликнулась Рая.

Видно было отчетливую на закате колокольню, деревья, выросшие на ней. На месте остальной церкви стоял железобетонный стеклянный магазин. За ним зеленело, темнело кладбище.

Жена Алексея, теперь уже вдова Нюра, так, наверное,

и не поняла, что Николай — младший брат ее мужа.

— Есть же брат-от, — бестолково повторяла она, — Арсенька-то есть ведь? Есть. И Григорий убитый.

Николай Иванович сжал Рае локоть, чтоб она больше не объясняла, и пошел ко гробу. Все было снаряжено по-хорошему, даже венчик, пусть пожелтевший и старенький, покрывал лоб. В углу стоял образочек соловецких угодников Зосимы и Савватия. Старичок сидя, сливая слово в слово, тягучим одинаковым голосом читал псалтырь. Николай Иванович встал в изножье гроба, читая отходные молитвы и вспоминая почему-то свой почерк, которым в памятку об упокоении вписал брата Алексея.

Старичок прервал чтение, встал, и они похристосовались.

— Иди отдохни, — сказал Николай Иванович, — я почитаю. Иди, тебя Рая покормит.

— Пойдем, дядя Степан, — сказала Рая.

Старичок ушел. Николай Иванович посмотрел на брата пристальнее, но никак не мог признать в нем брата Алешу. Алеша был старше на три года, а в парнях эта разница огромна. Мало они общались. Разные были. Алеша — парень лихой, а Николай тихий, да вдобавок перед войной связался он с сектантами, которые как раз и внушили ему мысль о грешности держания оружия в руках. Но и как было не возникнуть тогда сектантам, когда церкви порушили, когда священников посажали, оставили только «красных» попов, «обновленцев», когда все запрещалось, шло по-собачьи, через пень-колоду, своей смертью и то редко умирали, умирали не дома, с людьми — что хотели, то и делали, сказать ничего было нельзя. Это теперь прорвало, но прорвало в другой край, так подносится, будто и не жили люди, будто было повальное доносительство, поголовная трусость, нет, не было этого. Уже где-где, может, где в городах, а в деревне все знали друг друга, знали вкруговую, кто чего стоит, своих не выдавали, а в деревне все свои да наши. Уж какая трусость, чего напраслину на народ говорить, когда в полный голос ругали власти, осуждали гонения на церковь, разве не тогда Николай Иванович слышал выражения: «Серп и молот — смерть и голод», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, ешьте хлеба по сто грамм, не стесняйтесь», когда Сталин произнес вслед за этим склоняемые всеми лизоблюдами слова: «Жить стало лучше, жить стало веселее», разве не говорили повсеместно и

вслух эту же фразу, добавляя ее словами: «Шея стала тоньше, но зато длиннее», а в Вятке говорили и того чище: «Вшей стало больше, вши стали крупнее». Разве не утаивали от переписи кур, даже иногда и овец, разве возможно в деревне что-то от кого-то утаить? А когда описывали за недоимки вещи, неужели же не прятали у соседей зимние пальто, посуду, самовары? А самый страшный удар, конечно, был по церкви. Когда шли сюда, когда отдыхали, оглянувшись на Святополье, не утерпел Николай Иванович, спросил о судьбе Гриши Плясцова, именно Гриша сбрасывал колокола, именно Гриша завязывал веревочную петлю на церковном кресте.

— И похоронить-то было некому, — ответила Рая, — от сельсовета наряжали, на навозной телеге увезли. Да не специально, не подумай, народ у нас не злой, так сошлось, машины были в разгоне, а телеги, какие сейчас телеги, эту отыскали. Да и закопали за оградой. И ведь тоже не специально, опять же не подумай, а возчик поленился на глинистом месте копать, а тут песок брали, яма была готовая, туда и свалил.

— Нет, Раечка милая, — высказался Николай Иванович, — случайного в мире не водится. И телегу эту, и яму такую за оградой он заслужил.

Николай Иванович равномерно, глуховатым, но очень разборчивым голосом читал псалмы. Сколько уже раз, сотни, наверное, он прочитывал псалтырь целиком. От первых, настраивающих на высокий подвиг внимания слов: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...», до последних, благодарно-торжественных: «Всякое дыхание да хвалит Господа», — читал он с радостью, читая всегда будто впервые, проваливаясь в глубину и сокровенность каждой фразы и невольно и благоговейно, и счастливо замирая и крестясь во многих местах.

Только в этот раз не дали дочесть подряд, ведь Люба же здесь была, Люба, дочь дяди Ксенофонта, сестренница его. Вот Любу он узнал бы при любой погоде. Она сразу его закрутила и защебетала.

— Ой ты, Селифонтовна, Селифонтовна, дай человеку поесть. Ведь ее, Коля, еще с довойны Селифонтовной зовут. Люба, сама-то хоть поешь.

— Читай, сестра, «Отче наш», — велел Николай Иванович, — или без «Отче наша» за стол садишься?

— Ты какой сестре, родной или двоюродной? — спросила Люба. — Родная-то знает, знаешь, Рая, знаешь, от меня не потаишься, и хорошо, что знаешь, это я всю

жизнь комсомолка, всю жизнь носом в портреты прожила, когда мне было молиться, есть-то было некогда, ой, Коля, как-нибудь сядем, ты надолго? Я тебе порассказываю, ой, Коля, всего нахлебалась: и горького, и кислого, и соленого, оглянулась — вот уж старость — матушка моя, кто ж за меня сладкое-то съел?

Николай Иванович остановил ее жестом, прочел «Отче наш», перекрестился. Видно было ему, что и Рае хотелось перекреститься, но, может, постеснялась Любы. Сели. Люба велела и вдове Нюре садиться. Люба вообще всем распоряжалась, причем так, что выходило: она одна знает, что, как и кому делать. Только это была видимость. Все делала Рая. Накормила и отправила на работу племянников, детей брата Арсения, Геню и Виталия, но не копать могилу, как велела Люба, а «косануть» лужок.

— Могилу и с утра выкопаете, а сейчас подвалить траву в самый раз.

Распорядилась она и бутылкой. Плеснула племянникам, Любе, велела выпить Нюре, посмотрела на Николая Ивановича.

— Ой нет, — отвечал он, — грехов на мне как паутины на кустах, но этого нет.

— Тюрьма от греха спасла, — брякнула Люба, — в тюрьме этого не положено.

— Не пил он никогда, — заступилась Рая. — Этой разорвы, я водку разорвой зову, никогда не убудет.

— От гонений водка крепнет, — сказала Люба и захохотала.

— Вот и загнать бы ее чертям большеносым! — пожелала Рая и перевела разговор: — Этот старичок Степан у нас из переселенцев, он не наш, из высланных, из Белоруссии или с Украины, молчит все. Но добрый, всем помогает, ласковый всегда, один живет. Всегда читать зовут. По имени Степан, а как по отчеству и не знаю.

— Тридцать два года на транспорте, тридцать два года, — говорила Люба. — Осталась без старика, были на очереди, уж очередь подходила, а умер — с очереди сняли, видно, в коммуналке помирать. Да ничего, соседи хорошие. Цветы им оставила, чтоб поливали, и сюда. Я уж поезжу, поезжу, да и совсем сюда махну. Я же тут все начинала. С меня надо летопись колхоза «Ленинский путь» писать.

— Ой-ёй, ой-ёй, — вставила вдова Нюра, — чего-то

все сижу и сижу, глоток глотнула, так вроде ожила. Чего-то ведь делать надо.

— Сиди, — велела Рая, — сиди, поешь. Умер, дак не убежит. Гроб готовый, могилу Геня с Витей выроют с утра. Пироги бабы стряпают, отдыхай, тебе год за год надо отдыхать. — И объяснила Николаю: — Целый год Алеша не вставал, целый год. И все молча. А до того, как слечь, всех пугал, все боялись, Нюра толком-то и не сыпáла: пожара боялись, спички прятали. Все равно где-то найдет, где-то и бензину найдет, плеснет на землю, бросит спичку, огонь пазгает, а он кричит: «Севастополь горит!»

— Ордена не все нашла, — сказала вдова Нюра, — ордена были в доме престарелых учтенные, а выходили — двух не хватило, Алексей и рукой махнул. Да и кому их оставлять, Женечка в Каме утонул.

— В музей сдашь, при школе музей делают, Ольга Сергеевна делает, ей и сдашь. Она нам тоже по родне, — и Рая стала объяснять брату степень родства Ольги Сергеевны.

— Поживу, так во всех разберусь, — отвечал. — Пойду Степана сменю, почитаю.

4

«Всякое дыхание да хвалит Господа. Аминь», — дочитал Николай Иванович и поднял глаза.

Светлый день стоял в самом начале. За окном подъехала, пофырчала и смолкла машина. В комнате пахло одеколоном. Николай Иванович еще и еще покорил себя за то, что забыл положить с собой ладан, вот и Вера забыла, ровно петух опел.

Стали выносить. В головах в одиночку шел Толя Петрович, еще один племянник, приехавший в отпуск. Видно было, племянники были рады встрече друг с другом и договаривались о завтрашней рыбалке бреднем.

— Сметать-то хоть помогите, — просила Рая.

— Смечем, тетка, — обещал Толя Петрович. — На копну сверху сядешь, я и тебя вместе с копной на стог заметну.

— А уж я буду настаивать, непременно я, — условилась Люба Селифонтовна.

Геня и Витя вчера косили до ночи, а сегодня с утра копали могилу. Могли бы и не приходить к бараку, но

нет, пришли, и вот шли сегодня вместе со всеми второй раз на кладбище.

— Как же дядьку не проводить, надо проводить.

Поставили гроб в открытый кузов, как на передвижную сцену. Машина ехала тихонько. Встречные машины сбавляли ход, а мотоциклы так и пролетали, как оводы, зажигая за собой белое пламя мелкой пыли. В кузов подсадили Нюру, она сидела на голубой крышке гроба, держала на коленях подушечку с нацепленными наградами мужа. А вот брата Арсени чего-то не было. Рая все оглядывалась, все ждала его, поглядывала извинительно на Николая Ивановича, но так и не показался Арсеня.

Мужчины говорили про рыбалку, женщины жалели Алексея-покойничка. Хоть и без руки был, а косил и метал, и дрова готовил, золотой был мужик. Жалели и Нюру. Сколь и ей досталось.

Толя Петрович рассказывал:

— Рыбы принес, в сенях положил, вернулся к машине еще за чем-то, гляжу: рыбы-то убыло. Кто взял? Конечно, кошка. Разве ж можно такое терпеть, чтоб кошка воровала. Убил. Убил, рука не дрогнула. Пошел за лопатой, гляжу — соседский кот под забором жрет мою рыбу. И его убил, а уж на могилку своей-то кошки походил, поплакал.

Поднималась жара, и все обрадовались прохладе кладбища. Но за прохладу стали сразу их казнить комары, мухи, пауты. Но это было терпимо. Могилу Геня и Витя вырыли, как выразилась Рая, «прайскую», то есть заправскую, то есть очень хорошую. И рытье было непростое, метра с полтора по всем сторонам могилы видны были обрубленные толстенные смолистые корни.

— Вы прямо как на лесозаготовках были, — выразился Толя Петрович. — Давай, снимаем!

Сняли с машины гроб, поднесли. Помолчали. В тишине Николай Иванович трижды прочел: «Подаждь, Господи, оставление грехов в вере и надежди воскресения прежде отшедшему рабу Твоему Алексею и сотвори ему вечную память», потом троекратно, крестообразно высыпал на саван привезенную с отпевания земельку. Степан хотел снять со лба Алексея бумажный венчик, но Николай Иванович не дал, сказав, что он Степану этих венчиков привезет в другой раз несколько.

Помолчали еще.

— Ну чего? — спросил Толя Петрович, — мух выгонять да заколачивать?

— Так наверху еще вроде никого не оставляли. — Это Геня сказал.

— Как, тетка Нюра? — спросил Толя Петрович. Нюра стояла в ногах гроба и все кланялась, как болванчик, и не отвечала. Тогда Рая велела подносить крышку и сама закрыла лицо покойного белой тканью, поправила платок в желтых прокуренных пальцах левой, единственной руки.

Геня и Витя спрыгнули в могилу и приняли гроб. Они же, выпрыгнув, взялись за лопаты.

— Тут у него и тесть и теща, и родители недалеко, ему и весело, — сказала Люба.

— Женечка-то, Женечка наш в Брежневе в Каме утонул.

— Да уж теперь не Брежнев, тетка Нюра, — поправил Толя Петрович, — теперь опять Набережные Челны.

— Утонул-то в Брежневе, — мучительно улыбаясь, сказала Нюра, — в Набережных Челнах он не утонул бы, и в Вятке не утонул.

На свежем холмике, пахнущем смолой, землей и хвоей, расстелили скатерть, выложили огромный поминальный пирог. Оказывается, Геня и Витя накануне ночью еще и рыбачили на поминки.

— Ну-ко, ну-ко, — говорил Толя Петрович, — открывайте верхнюю корку, посмотрим, какой вы там мойвы заловили.

— Ой, ножик забыла, — спохватилась Рая, — парни, нет ли у кого?

— Да я вроде сегодня резать никого не собирался, — ответил Толя Петрович.

Рая наломала пирог руками. Лещи внутри оказались жирнущими, тут уж и Толя Петрович руками развел.

— Чего говорить! Бывает, нет так нет, а тут уж есть так есть. Ну, завтра хоть не ходи, вы все выгребли. Или как?

— Или как, — ответил Геня, разгибаясь от лопаты.

Шофер поднес звякающую сумку.

— Значит, вы вчера с одной тони сто килограммов затянули, а мы, значит, завтра со ста тоней один килограмм? О! — еще раз изумился Толя Петрович, принимая на себя командование поминками, — я думал, тут будет напиток «КВН», а тут самое то. Становись шесть чекушек в пять рядов!

— КВН, — объяснила Рая Николаю Ивановичу, — это называют самогонку, «коньяк, выгнанный ночью»,

или еще говорят «из-под Дунькиной сосны», или «три звезды Марии Демченко», всяко эту разорву обзывают.

Появилось и домашнее бесхмельное поминальное пиво. Его Николай Иванович чуточку пригубил, самую чуточку. И отрочеством повеяло, запахом хлебпым и влажным от русской печи, почему-то дождливым осенним вечером, когда маленького Коленьку, еще не было Арсеньки и Раи, сажали на лавку к подоконнику и велели чайной ложечкой вычерпывать из длинного корытца под рамой воду. То же было и весной, когда таяло.

К пирогу в соседи напросились из корзины и ватрушки, а к пиву и квас. Мужики распоминались, разговорились, раскурились, и комары им уже стали не в помеху, а за компанию.

Рая и Николай Иванович ходили по кладбищу. Фамилии все были знакомые: Русских, Разумовы, Смышляевы, Чудиновы, Чудиновских, Чудовы, а знакомых на фотографиях не было, никого не узнавал Николай Иванович, словно из эмиграции вернулся.

— Все свои да наши, все по родне, — объяснила Рая, остановясь у каждой почти могилки и объясняя, кто какой смертью умер. — Прямо беда, почти никого от старости, вот только нашего Алешу сегодня добавили земле, ему за восемьдесят, а смотри, какая все молодежь. Ох, вот ведь Пашу-то без меня хоронили, я в больнице лежала, он молодой, горячий, на танцах задрался из-за девчонки, его забирать, ну, он и с милицией сцепился, его увезли, там всего измесили, вернулся, и месяцу не жил, а вот Володя Сысолятин, ох, ведь тоже из-за девчонки. Он женат был, жена с первым ходила, так уж и с последним, чего это я говорю: с первым, жена беременная ходила, а тут на уборку студенток послали. Он парень видный, его одна и захомутала, сплелись. А в деревне как же не узнают, узнали. Жена в истерику, кричать: «Утоплюсь, утоплюсь!» — и убежала. А он и в самом деле подумал, что утопится, пошел и повесился. А она к родителям убежала. Ох, Володя, Володя!

Их нашел Толя Петрович, он был с посудинкой, повел их на могилу своего отца — двоюродного брата Раи и Николая Ивановича по линии отца, на могилу Петра Тимофеевича.

— Дядь Коль, батя у меня был — мужик первеющий! Говорок был еще тот. Я иногда могу выразиться, а он так говорил — мог любую работу остановить, ника-

кой забастовки не надо. Рассказывал раз, как от медведя бежал, говорит: залез на елку на два метра выше верхушки. — Толя Петрович выпил в одиночку, сплеснул немного на землю (они стояли в оградке). — Батя ты, батя! Оградку покрашу. Теть Рай, ты ж, как ты выражаешься, вместе с батей была в колхозной борозде, ты ж знаешь, какой он говорок был, да? Дядь Коль, о-о!

5

Рая заторопила всех... на поминки. А Николай Иванович по наивности думал, что поминки уже прошли, нет, только начинались. В доме Раи. Там хлопотали: Ольга Сергеевна, жена Гени Нина, Люба Селифонтовна, еще пока незнакомые женщины, тоже родственницы, и, особенно вызывающая общий интерес, невеста Вити, девушка Оля. То, что он с ней дружит, знали давно, но вот именно сегодня она, так сказать, была, благодаря поминкам, легализована, она чувствовала внимание, вся раскраснелась, все у нее выходило ловко, быстро, потихоньку она начинала смелеть и даже разочек на Витю прикрикнула, когда он неправильно, по ее мнению, поставил в торце стола стулья, а не табуретки. Это прикрикивание было очень одобрено молодыми женщинами, очень осуждено старыми и очень сочувственно по отношению к Вите было воспринято мужчинами без различия в возрасте. Но, разобравшись, моя перед застольем руки, перекуривая, мужчины решили, что стол этим торцом обращен к порогу, что в дверь ходят туда и сюда, что табуретки занимают меньше места, не мешают входу и выходу, что стулья бы мешали, так что Оля права, а Витя — молодец, выбрал девушку сообразительную, так что пусть скорей женится, а то упустит.

— Вторым заходом! — пошутил Толя Петрович. — Первым дядю Алексея помянем, вторым тебя под арест.

— Сегодня нет, — отговорился Витя, — сегодня еще косить.

— Как косить? — изумился Николай Иванович. — Да вы, Рая, говорила, чуть не всю ночь косили, потом такую могилищу выкопали, и опять косить? А еще бредень тянули.

— Комаров ночью нет, косить легче, — объяснил за братенников Толя Петрович.

Из избы позвали. В избе были раскрыты окна, но от

мух завешены марлей. И дверь распахнули, чтоб был сквозняк. Немного протягивало ветерком, марля шевелилась, от ее белизны было как-то особенно светло. На белые скатерти женщины все носили и носили кушанья. Уж некуда было ставить. Уже и тарелку и рюмочку, налитую по обычаю поминаемому, со стола переставили — все равно никто не смотрит — на телевизор, уже хлебницы, разобрав нарезанный хлеб, отставили на подоконники, а тарелки все прибывали. Николай Иванович даже пожалел, что на кладбище съел изрядный кусок рыбника, тут были такие кушанья, которые он и помнить даже забыл: был овсяный, поливаемый холодной сметаной кисель, была кутья с изюмом и черносливом, снова был пирог с рыбой Гени и Вити, была окрошка с таким ядреным квасом, с таким продирающим молодым хреном, что слезы выступали, были и блины, которые явились позднее, были и грибы, и ягоды, была и селедка, Верой добытая, и колбаса была, словом, как выразился Толя Петрович: «Пережили голод, переживем изобилие».

Но вначале надо было что-то сказать. Все смотрели на Николая Ивановича. И он знал, что́ именно ему надо сказать. Когда хоронил своих старушек, собирался на поминки стариковским в пять-шесть человек кружком — какие там были речи, там молитвы были. И здесь хотелось, и надо было прочесть и молитву, но не только. Николай Иванович встал, перекрестился на передний пустой угол (Рая виновато ссутулилась) и прочел «Отче наш».

— Брат мой Алексей, прости меня, если можешь, прости меня, — сказал Николай Иванович. Эти слова он давно хотел сказать, сказать брату, живому сказать, повиниться, но вот как вышло. А дальше уже все говорилось само, вот уж истинно — никогда не надо думать, что говорить, само скажется: — Алеша, хоть и винюсь я, а разве я виноватый, разве своя воля была, жили не по желанию, а по необходимости, кого куда занесло, чего уж теперь, а Бог не оставил, главное счастье дал — в своей земельке упокоиться, это ведь теперь редкость, всех с места сорвало, вот и мне край подходит, хоть и грешно загадывать, вот и мне, дай, Господи, здесь упокоиться...

Но не дано было договорить Николаю Ивановичу. Именно на этих словах раздался крик:

— Нет! Тут ты не жилец!

— Арсений! — вскинулась Рая.

— Дядька Арсений, чего ж ты на кладбище не был? Чего ж ты под руку? — Это Толя Петрович сказал и уже вскочил, уже наливал рюмку Арсению.

Арсений же, черный и небритый, и видно, что возбужденный, пробирался вперед.

— Чего это не по-русски? — спросил он сердито. — Где Алешкино место? Я это место займу, я свою очередь не пропущу, тут мы без приезжих, без залетных обходимся. Сядьте, дорогой товарищ, мы видывали представителей общественности, сядьте, — Николай Иванович сел. Нюра, очнувшись, тискала Арсеню сзади за рубаху, стараясь его посадить. — Нюра, сиди! Сиди! Рай, молчи, — говорил Арсеня громко, принимая у племянника рюмку. — Самозванцев нам не надо, бригадиром буду я. Так! Поминки объявляю открытыми. А для меня не поминки, я Алешку в гробу не видел и больше не увижу, для меня Алешка живой, так, Нюра? А? Севастополь горит? Горит! Да! Как там... — он набычился, потом воспрянул: — Готовился я, готовился сказать фразу... вот! У старого стари́на, нет, как-то не так, плевать!

— Рука ж отсохнет! — Это Толя Петрович.

— Арсень! — Это Рая.

— Тих-ха! Вот: у старинушки старина, в общем, было три сына, так? Старший умный был детина, это Гришка, умней всех, долго не жил, на всю эту срамотищу не глядел, старший умный был детина, средний был и так и сяк, это Алешка, младший вовсе был дурак — это я. Четвертого брата в сказке нет! Нету Коли ни в сказке, ни в семье. Коля к нам ловко подтасовался! Кто-то за него погиб, кто-то в тюрьме посидел, я ведь, Коля, за воровство сидел, муки украл, так эта тюрьма почетная, а баптисты разные хоть и не воровали, да не больно-то их дождешься семью кормить да на фронт идти.

— Выпейте за моего мужа, — тихо сказала Нюра.

Арсеня выхлебнул рюмку и хлопнулся молча сидеть. Выпили молча и остальные.

— Он на каком фронте воевал? — громко спросила, видно, глухая старуха.

Соседка так же громко ответила ей:

— Ты чего, военкомат? Или красный следопыт? На каком надо, на том и воевал. Документы есть.

— Я к тому, — не смутясь отвечала глухая, — что я и знать не знала, что Алексей Иванович такой бое-

вой, вот бы про моего спросить. Мой-то за Польшу погиб, может, виделись?

Молодежь, сидящая в другом конце стола, успешно боролась с «разорвой», уже невеста Оля, забирающая все больше прав на Витю, тыкала, проходя вдоль стола, своего жениха в спину. Тычки эти нравились ему, он чувствовал, что и его не обойдет супружеская игра в строгости жены и хитрости мужа. Все еще впереди: не только в спину, но и в бок будет тыкать, когда будут рядом сидеть, и ноги все обступает, воп Нина у Гени, это ж заметно. Нина вообще, как нынешние жены, и не подумала вскочить из-за стола, когда забежавшая в избу девчонка сообщила, что Нинин ребенок шлепнулся в грязь у колодца. Толкнула мужа, тот пошел к колодцу.

Затрещал мотоцикл, приехали еще гости — племянница Алексея с мужем и детьми. Привезли увеличенную фотографию Алексея, поставили на телевизор. На фотографии он был молодой, красивый, и все решили, что именно с этой фотографии надо потом сделать фотографию для памятника.

Арсеня больше не выступал.

6

Уж чего-чего, а топить баню Николай Иванович Рае не позволил, да и топить было не в пример со старым легко — вода качалась насосом, дрова прямо в предбаннике. Тихо, без треска горели березовые поленья, желтые, похожие на солнечные пятна бегали по коричневой стене.

Николай Иванович сидел у порога, около детской ванны, налитой холодной водой, и чувствовал свежесть от воды. В нем, как всегда, постоянно, внешне безмолвно, свершалась молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго», эту молитву он читал всю жизнь. В ней было спасение от всех жизненных расстройств, приучился он к ней в тюрьме, ибо там было невозможно молиться явно, только про себя. А молитва, чтобы выжить, требовалась постоянная. Бог послал Николаю Ивановичу наставника, старца, бывшего священника, тоже вятича, отца Геннадия. Посаженный при тогдашнем митрополите Сергии, отец Геннадий рассказал о сути своего расхождения с сергианством. «Грешно осуждать, — говорил отец Геннадий, — но грешней того

не обличить ересь. Как же так, Сергий оправдывал репрессии, говорил в тридцатом году, что они в общем порядке, что гонений на церковь нет, что храмы закрывают по просьбе населения. Бог ему простит, а я не Бог, простить не могу. Власть от Бога, я согласен, а разве не бывает власти от сатаны? Разве не прав Аввакум, что дьявол выпросил у Бога, а лучше сказать, выкрал, Русь и кровавит ее. Об одном жалею, — говорил отец Геннадий, — что не привелось отбывать вместе с соловецкими страдальцами». Тогда-то Николай Иванович и услышал о соловецком послании в пересказе отца Геннадия. Соловецкие ссыльные священники ни в коей мере не посягали на государственность, они были не согласны с коммунистами в подходе к человеку, не согласны только с материалистическим взглядом на человека. «Как же это может быть на земле счастье, если человек смертен? Земной удел — страдание. Дело Церкви — сострадание, а коммунисты говорят о непрерывной борьбе. Если бы с собою, со своим несовершенством, а то людей с людьми. Разве не заблуждение — вначале переделать устройство общества и думать, что и человек переделается. Переделается только тот, кому безразлично любое устройство, лишь бы самому жить. Коммунизм выращивает приспособленцев, как это от каждого по труду, если тут же ввели понятие нормы, от каждого по труду, это значит, по мере труда, по возможности, и как это каждому по потребности, если потребности у бессовестных беспредельны. И получилось на деле, что понятия души и совести стали ненужными, каждый урывал по способностям».

Молод был Николай Иванович, молодая память, со слов отца Геннадия выучил главные молитвы и требы на многие случаи жизни, тогда же и молитву об избавлении от многих лютых воспоминаний. «Многое не надо вспоминать, — учил отец Геннадий, — его вспоминаешь, оно сильнее привязывается».

Вот и сейчас эта молитва легко избавила от воспоминания о выходке брата Арсени. Николай Иванович просто жалел его и понимал. Уж он-то видал-перевидал обиженных и озлобленных. Он даже попробовал после поминок позвать Арсеню ночевать к Рае, но тот только зыркнул на него, ткнув пальцем в сторону графина: а это, мол, на кого бросить.

Вернулась Рая, перемывавшая с женщинами посуду и довольная, что отстоловались до коров. Вслух вспоми-

нала весь день по порядку, говоря, одновременно как бы спрашивая, что все справили по-прайски, в люди ни за чем не бегали, что и сено посмотрела, что на завтра к обеду греблево поспеет, что в экую сушь одним только колорадским жукам хорошо, да еще плодожорке, всю смородину загубили, экая страсть, никогда такого не бывало, помнишь ли, да как не помнишь, разве про какую заразу думали, а сейчас только и трясешься, чего только на людей не набрасывается.

— Ты на Арсеню... — начала она, и Николай Иванович торопливо поднял руку... — конечно, конечно, ты же понимаешь. Он сидел, да, сидел. Но ведь как доставалось, вас, старших, нет, мама в лесу, ну, тут я не буду вспоминать, вся опять изревусь, и так сегодня досталось, ой, Алеша, Алеша, на сегодня сердцу хватает. Да он сам тебе, Арсеня, расскажет, поговоришь, всяко, с ним. Буди, завтра, может, придет на метку. Не в тюрьме его печаль, не в тюрьме. — Тут Рая даже оглянулась. — Не в тюрьме. Ты псалтырь над Алешей читал и на кладбище не заметил женщину... такую, в белом платочке, в общем, это жена Арсени, Анна. А на поминки она не пришла, они похороны поделили, они не встречаются. Где она, туда он не ходит, даже брата не проводил. Это ведь я, грешница, ему с утра сунула, чтоб перемогся. А ведь знаешь чего, Коля, — вдруг встрепенулась Рая, — ведь Арсеня, вот чувствую, что так и есть, ведь сейчас Арсеня...

— На кладбище? — докончил ее догадку Николай Иванович.

— Да. Если силенки есть, так сходи, рядом же. Баню я дотоплю. Она у меня прямо точная, то есть по-нынешнему, угару не бывает, труба не закрывается, печь топится, и сиди, мойся, вот как придумали.

И — точно, угадала Рая: сидел Арсеня у братовой могилы, курил. Николай Иванович тихонько коснулся его плеча. Арсеня посмотрел на него совершенно осмысленно, встал и ушел. По-прежнему гудели мухи, звенели комары, но уже меньше пахло землей и хвоей, а больше разогретой за день смолой. Измявшаяся зелень деревьев начинала потихоньку оживать, первыми воспрянули осины, уже кое-где краснеющие, хотя до осени было далеко.

В предбаннике стояла банка квасу, лежала смена белья, большое нарядное полотенце, видно, что совсем новое. Николай Иванович боялся, что скажется сердце от жары, нет, родные стены и сердцу помогают, наобо-

рот, оно билось ровно, хотя и чаще обычного, но и не тревожней, радостней. Даже и плеснул на каменку Николай Иванович, даже и похлестался молодым веничком. И уж совсем было помылся, ополоснулся, вышел в предбанник, но неожиданно для себя раздухарился и еще поддал, и еще похлестался.

Постель была готова. Под льняным пологом в прохладных сенях, с подушкой, набитой свежим сеном. От подушки пахло, конечно, мятой прежде всего, мята — трава ревнивая, но если перетерпеть ее нашествие, то ощутится и зверобой, и душица, и клеверок, и пыреек, и тончайшая таволга, и много-много других, начала жизни, запахов. На вымытый пол Рая набросала полыни.

Ночью Николай Иванович проснулся, ему показалось, что на него смотрят. Потом показалось, что в стене отверстие, что в него смотрится белая луна. Но это был светлячок. Николай Иванович встал на колени и, безошибочно обратясь в темноте на восход, долго молился.

Потом снова склонился ко сну. Где-то, совсем рядом, казалось, даже в подушке, скребся маленький мышонок. Николай Иванович, улыбаясь, щувал его, мышонок замолкал, потом опять куда-то выцарапывался.

7

К обеду на один стожок, копен на шесть, нашло много работников. Толя Петрович уже изладил стожар, женщины подгребали сено в валки с краев.

— Ну жрут, ну жрут, — не выдерживали все, говоря про паутов и оводов. А еще был такой насекомый хищник — хребтовик, крупнее шмеля.

— Полколенки выкусил, — кричал Толя Петрович. — Унес на крышу и грызет.

Стог настаивала, принимала сено, утаптывала Люба Селифонтовна. Крутились и мальчишки, непонятно, чьи дети, чьи племянники, их Толя Петрович называл отребками. Раю даже и не подпустили к работе, она делала обед. Говорили, что земляника отошла, да и мало было, но черника есть, черники надо бы побрать. Мальчишек-то бы и послать, все равно лоботрясят. Оглянулись — где мальчишки?

— Купаться устегали! — кричала Селифонтовна. — На Святицу. Их оттуда с овсом не выманишь, не то что черникой. — Она волновалась и все спрашивала, не вер-

шить ли, не перекашивает ли стог, вдруг получится «беременным» или еще что.

Николай Иванович с утра перечинил все грабли, все вилы, насадил новую рукоять на тройчатки — огромные вилы, которыми Толя Петрович наворачивал подходяще. А вот пауты и оводы отчего-то не трогали Николая Ивановича. «Кровь старая уже, не манит», — думал он, но сам, хоть ты что делай, не чувствовал, и все тут, старости. То ли баня вчерашняя, то ли утро, проведенное в желанной работе, то ли все вместе, но даже обычные боли в пояснице, к которым он притерпелся, боли в коленных суставах — все куда-то отошло.

За столом опять вспоминали Алексея, говорили, что все вчера было по-хорошему, вспоминали цены на памятники. И хотя Николай Иванович говорил, что достаточно креста, родня заявила, что хуже других не будет. Ольга Сергеевна подсела к Николаю Ивановичу и просила написать для школьного музея воспоминания.

— Теперь мы к другим материалам еще и о репрессиях собираем.

— Уж какой из меня писарь.

— Нет, дядя Коля, я не отстану, я у тетки Раи ваши открытки всегда читала, очень грамотно.

— Не знаю, Оля, не знаю, может, когда и порассказываю. А и чего рассказывать? Кто, многих я знал, несправедливо терпел, а я за заслуги. Верно меня вчера Арсений обличил.

— Но не три же срока! — воскликнула Ольга Сергеевна.

— Ты, Оленька, лучше с деточками собирай сведения о погибших деревнях. Я вчера с горки глянул — ой-ё-ёй, как пусто вокруг Святополья. А мы в парнях, бывало, от Святополья на все четыре стороны! Куда ни глянешь — огонечки в избах. Там такая гармонь, там такая.

— Собираем, собираем, — обрадовалась Ольга Сергеевна.

Разговор стал общим.

— Целого, целехонького сельсовета Валковского не стало, три тыщи одних избирателей. А детей! Голосовать приезжали — все кипело, — это Селифонтовна развоспоминалась. — Я на транспорте была тридцать два года, еще «ФэДэ» и «ИСы» застала, потом тепловозная тяга, потом электрическая, все какой-то прогресс, все думала — развиваемся, а приехала сюда — глянула: нет, товарищи, не развиваемся, а гибнем на всех парах. Оля,

ты это дело не оставляй, будь нас умнее, мы были загниголовые, слушать не умели, родителей не расспрашивали, дедушек, бабушек не теребили, рассказывать не просили. Они умерли — опять мы ничего не знаем. Телевизор включишь — везде какие-то даты справляют, собираются, празднуют, у нас все крапивой заросло, беда! Старались выжить, старались детей вытянуть, а для начальства были как преступники. Я предсельсовета была, совсем девчонка, а понимала — надо утаить зерна, иначе пропадем! Засы́пали, помню, на конеферме в кормушки, сверху присыпали куколем, ведь обошлось! Идут с милицией и уполминзаг, да еще с района Вихарев, идем по конюшне, а одна лошадь вот фыркает, вот фыркает, куколь разрывает: зерно почуяла, мордой мотает, я, видно, белей стены была, уполминзаг обратил внимание. А Вихарев треплет рукой по плечу, одобряет: «Трудное время, товарищ комсомолка, трудное!» Он, да еще Барашинский из райзо, вот кого ненавижу. После войны мода была, даже снимки печатали — женщины на себе пашут. И по Вятке было сколько угодно. А за Святополье не скажу, на себе не пахали. Как-то лошадей сохранили, пусть доходяги, но тащат потихоньку. Быков объезжали, даже до коров доходило, когда боронили, но на себе не пахали. Брашинский звонит: «Сколько на себе вспахали?» Мне бы, дуре, сказать, хоть гектара два бы сказать, а я вроде как даже погордилась, что пахоту, мол, заканчиваем, и женщин сберегли. «Как так? Везде на себе пашут, а вы выстегиваетесь. Доложить через два дня, иначе неприятности». Сами знаете какие. Собрала женщин, я им все доверяла. Так и так, бабы, давайте хоть для видимости. И вышли за околицу, тут вот, как на Разумы идти, на взгорок, впряглись. Я за плуг. Так, играючи, и отделалась. Доложила: пашем на себе.

Молчаливая женщина, не прямая родня, но тоже как-то своя, сидевшая, как и вчера на поминках, так и сегодня, на самом краешке, заговорила вдруг:

— А я фельдшерицей была, больше всего зимы запомнила, тоже была девчонкой, а такое уважение, всегда по имени-отчеству. Едут на санях и для меня тулуп везут: «Лидия Ивановна, жена рожает». Заметет выше крыш, потом ветры, бесснежье, наст убьет, ходишь над деревней как по асфальту, а внизу избы, печи топят. Привезут всегда в обрез, я всегда с мужиками ругалась, на собраниях выступала, они оправдываются, мол, не

хотели зря беспокоить, уж когда, мол, действительно убеждались, что это именно роды, а не просто что, тогда ехали. Примешь роды, записать иногда не успеешь, опять поехала — некогда. А ведь дивно же, Любовь Ксенофонтовна, рядом жили, в одно время работали, а не встречались.

Рая для Николая Ивановича, да и для всех, кто не знал, объяснила:

— По распределению Лидия Ивановна к нам приехала, привыкла, потом уехала замуж, а теперь стала ездить, тянет.

— Родина! — произнес Толя Петрович. — А я уж скоро тоже буду человек без родины, гибнут мои Катни, гибнут. А вроде как вчера из Катней в Шмели на вечерки бегали. Где те Шмели?

— Шмели! — воспрянула Селифонтовна. — А Артемки, а Аверенки? А Большое Григорьево? А Игнашихинская какая была? А Езиповка? Пастухи! Горевы! Черкасская, Гвоздки.

Рая все согласно кивала, видно, следя мысленно по взгорьям, по речкам, чтоб какую деревню не упустили. И Николай Иванович многие названия помнил, он только ахал, слыша, что деревень таких больше нет как нет.

— Долгораменье, — продолжала Селифонтовна,— сами Валки сколь велики были, Лаптенки, Улановское, Бобры, Ощурки, Буренки.

Ольга Сергеевна внимательно слушала, будто сверяя со своим списком. Когда Селифонтовна замолчала, она продолжила:

— Пихтово, Ведерники, Высоково, Малый Плакун, Большой Плакун, было еще, почему-то звали, Табашно, Конопли, Лоскуты...

— Лоскуты я говорила.

— Я не заметила, еще...

— Катни, — вставил Толя Петрович, — гибнут, епонский бог, Катни, сто четыре дома было.

— Еще Яхрененки, Онучинский кордон, Еремеево...

— Еремеево я называла, — опять вступила Селифонтовна.

— Да хоть и говорила, — сказала Рая, — а повторить, помянуть лишний раз — это нелишне.

— Ерши! — выкрикнул Толя Петрович. — Ерши забыли, ох была деревня так деревня, рыбы там было всегда. Всегда, в любое время дня и суток, стояли у них специальные перегородки на Боковой. Но в Катнях

река Юм чище и рыбистее Боковой. Была. За сейчас не ручаюсь и не отвечаю. Как, бывало, запою — все дома качаются, а теперь хоть заорись, ничё не получается! Ну, что, тетка Рая, грустный пошел разговор?

Рая притворилась, что не поняла того, что Толя Петрович подговаривается к «разорве», высказала и свое воспоминание:

— Я среди парней, среди мужиков росла. Они матом, и я матом, чего я понимала? Председатель встретил: «Здорово, молодуш!» Я ему: «Какая я тебе, в душу мать, молодуш, я ведь только в пятый перешла». Ну, говорит, завтра грести. И пошла грести. И гребу и гребу с тех пор, всю жизнь гребу, не выгребусь. А этих ссыльно-каторжных свозили в Святополье, в бараки, назвали совхоз, а название «Ленинский путь» сохранили. Потом их стали звать палестинские беженцы, потому что совпало, как ни включишь телевизор: все палестинские беженцы, и у нас со своих мест стаскивали. Да не горюйте, бабы, колхозников ничего не убьет. Вот собрали все нации на испытание, кто больше всех выдержит, посадили в бочки и крутят. Всех укрутили, все на волю запросились, все сдались, а одна бочка до того докрутилась, что подшипники оплавились. Открыли, а там колхозники. Живехоньки. И с вилами и с граблями сидят и к южному морю не просятся, и никакая Прибалтика не нужна, и никакой Кавказ, там и не бывали, да и некогда.

— Колхозники разве нация? — спросил Толя Петрович. — В КВН сыграем?

— Лаптенки-то ведь живы, — тихо сказала одна из женщин. — Степан-то живет.

— Это Арсени жена, Анна, — тихо объяснила Николаю Ивановичу Рая. — Живы, живы, — повысила она голос. — Тоже, как Сергей Филиппыча, насильно увезут. Сергей Филиппыч, Коля, это тоже был фронтовик, у него было три ордена Славы, а Героя не было звания, так потом долго говорили, что ему надо Героя звание дать за то, что последний из Егошихинской ушел.

— Увезли, — поправила Ольга Сергеевна, — связали и увезли.

— Ох, ведь нет, не Сергей Филиппыч, — ахнула Рая, — чего это я, совсем беспутая, это ведь я про Шевнина Григория Васильевича, он тоже с орденами Славы, пимокат, это ведь его, Оля, связывали.

— Сергей Филиппыча тоже связывали.

— Ой, подруга дорогая, помоги мне, сироте: съела рыбину живую, шевелится в животе, — такой частушкой напомнил о себе Толя Петрович. — А вот с мужской стороны: Бей, товарищ, по забору, чтобы гири мялися, чтобы нас, таких молоденьких, везде боялися.

— Уж не молоденький ты, братенничек, — с улыбкой сказала Ольга Сергеевна.

— Признаю факт — не молоденький. Мылся в бане с племянником, он мне: дядь Толь, у тебя на голове кожа, я ахнул, схватил два зеркальца, навел — вот оно, вот оно! Ничего — это для мужчины знак качества. Запевай, не унывай, не унывать родилися!

— Рано бы запевать-то, третий день только, хоть девятого подождать.

— Дядя Алексей был веселый, он не осудит.

Николай Иванович засобирался к Арсене. Одного его Рая не отпустила. Она с сеновала извлекла мятого, похмельного Геню, который тут же и выговорил Николаю Ивановичу, что это именно Николай Иванович его сглазил.

— Ты вспомни, дядь Коль, как ты вчера изумился, что вот, мол, какие ударники — ночь рыбу ловят, день косят, с утра могилу роют...

— День пьют, — вставила Рая.

— ...Какие, мол, вы активисты, ты так, дядь, изумился, так? Ну! Вот и сглазил, вот меня и свернуло. Нинка как знала: не пей, не пей, и эта Витькина, не хочу даже такой родни, его всего истыкала в спину, до синяков, он ей при мне спину показывал, у колодца обливались, а уж мне, говори не говори, дядька родной сглазил. А косить, оно, дядя, дело работистое. А теперь чего? Теперь я пролетел, как фанера над Парижем, Нинка обиду изобразила, да мне и к лучшему. Я тебя, дядя Коля, перед Разумами проинструктирую. А то там отец начнет выступать, а не его, между прочим, дело, жить тут тебе или не жить. Теть Рай, да что вы все такие бабы, что старые, что молодые, все в спину тычете. Это ведь очевидное невероятное.

— На вот, отнеси отцу, — сказала Анна Гене, давая сверток.

И Николая Ивановича Рая нагрузила, дала хозяйственную сумку. Вышли за околицу. Геня сразу стал свататься к сумке, но Николай Иванович помнил предосте-

регающий жест сестры и ответил, что лучше вначале дойти до Разумов, до Арсени. Геня приуныл. Но ненадолго. Разулся, пылил большими ступнями по дороге, спугивал из мокрых низин желтые стаи бабочек.

— Нинка собирается в городе жить, в Советске, бывал? Ну, как же, Кукаркой звали. И до чего довела Нинка, ты слушай, не желает никого из скотины держать, хотя условия советская власть, не в том смысле, что советская, а в том, что нашего района, Советского, Советск — районный центр, ну да, ты ж бывал. Не желает! Интелего! А у Толи Петровича, он же тоже советский, жена не такая, у него рвет и мечет. Все свое. Мы ж в одном гараже работаем, он на семитоннике, я на подхвате, я ж загудеть могу, меня вроде как за второй сорт считают, плевать! Сейчас старперы в месткоме зашевелились, их скоро попрут, пора, как не пора, чем мы хуже поляков, пора и нам солидарность, а то сели на шею и ножки свесили, сколько, дядь Коль, захребетников в стране? Семнадцать миллионов, Горбачев сказал. Накопец-то узнали, вот еще узнаем, сколько у нас сидит, да во сколько государству литр спирта обходится, и больше нечего будет... Но Нинка-то как, а? Интелего! До чего ребенка довела, привез, привожу к тетке Рае, коровы боится, овцы боится, овцы! Спрашивает про овечек: «А они не кусаются?» Русский вятский ребенок боится овечек! Я ей говорю: «Ты детей хочешь без родины оставить, но меня — не выйдет! Я могу день с ночью спутать, но родину ни с чем не спутаю». Вчера у колодца сына напоил из ведра, она взвилась: «Не мог за кружкой сходить, кого растишь?» Я и сползать за кружкой мог, не только что сходить, но ведь из ведра пить — это же из ведра! — Геня воздел руки, потом опустил их перед собою и напряг, будто держа добытую из колодца бадью. — Из ведра! Это же кто понимает, тому нечего и объяснять, а кто не понимает, объяснять бессмысленно. Из ведра! Напьешься, зубы стекленеют, а в конце всю голову туда! Это французам и не снилось. То-то Наполеон и попер отсюда. Зачем он шел к тебе, Россия?

Подвигались они не споро, но непрерывно. На ровном, возвышенном месте гулял ветерок, легко дышалось. Николай Иванович шагал тем размеренным неторопливым шагом, каким прошел многие и многие сотни километров, ходя на Великую реку. Примерно три-четыре километра в час, больше старухи не поспевали.

Показалась деревня, один дом. Это и были Разумы. Они остановились. Но не остановился язык Гени:

— Я восхищаюсь, я гляжу на это, я плачу. Я в армии служил, сержант на табуретке сидит, я перед ним ползаю, а сам думаю: выживу и приду в Разумы. Ты ж тюрьму прошел, знаешь, как издеваются. Да! Здесь все мое, и я отсюда родом! Я хожу босиком по земле, у меня меж пальцев ромашки, я в поле хозяин, земля разумовская меня воспитала, деревня — мое хобби. И еще хобби — босиком ходить.

— Босиком ходить хорошо, я тоже люблю, — одобрил Николай Иванович. — Нынче еще я пока не насмелился, а надо бы. Вначале дня три подошвы нащекочет, потом нечувствительно. Да простываю, Геня, быстро, сразу в поясницу.

— Видишь, дядь Коль, лен растет, плохо растет, вымокло в мае, июне, сейчас жара наяривает, корка на земле, опять неладно льну, а на нем можно миллионером быть. От нас же чего в мире ждут, не танков же, а лен ждут и хлопок, нефть ждут и газ, и лес! А вот на лес и нефть надо бы им кукиш показать, самим надо, лес по пятьдесят, по сто лет растет, а лен каждый год, а слушать этих экономистов не надо, я весь телевизор заплевываю, когда они выступают. У них отношение к природе, как к дикой природе, их привезти сюда и выпустить — за неделю с ума сойдут и все равно ничего не поймут, пожили в Канаде, побегали по заграницам, одели жен, насмотрелись порнографии, думают, что и остальным это надо. А надо что? Луга нужны, лес и велосипед. А к комарам и гнусу у меня адаптация, как у космонавтов к невесомости.

— И меня не трогают, — заметил Николай Иванович.

— Ты же свой! У них же, хоть поколения и чаще меняются, чем у людей или у слонов, но есть тоже память, они же на одном месте живут. Вот предки этого комара, ну, попей, попей крови, тебе не жалко, — сказал Геня комару, но тот улетел, — видишь, понимает, предки этого комара кусали мою прапрапрапрадалеебабку, и на их крови продлили род. А кусают не комары, а комарихи, а отсюда вывод, что и в дикой природе все зло в женском роде, видишь, даже в рифму сказалось, я же не сочинял, само сказалось, устами глаголет истина.

— Устами младенца, — поправил Николай Иванович.

— Перед природой мы все — младенцы. Во всей природе все зло в женском роде. Я с толпой туристов

не собираюсь по родине ходить, и Африка мне не нужна... — Они уже подходили по затравеневшей дороге к Разумам, к единственной избе. — Видишь, дядя Коля, дуб? Ты его помнишь?

— Ой, Геня, если бы это тогда был отдельный дуб, ведь огромная была деревня, черемухи, липы, конечно, дубы. А вот этот, отдельный, не помню. Видел, конечно, и его.

— Я на нем вырос, — сказал Геня, — у меня на нем были полати, я там спал. И до сих бы пор. Я с армии пришел, маленько промазал. Пил только по причине, был дерзкий мужик, с любой техникой на ты, мы же десантники — цвет человечества. И Нинка подвернулась, а! — Геня махнул рукой. — Если этот дуб упадет, я тоже рухну, пусть он меня переживет. Но я знаю, что, как только я умру, в дуб тут же молния попадет, он же меня помнит, я на нем спал, я в него ни одного гвоздя не забил, хотя могу и рукой гвозди забивать. Увезла в город! А я же не насекомое, я не могу в камнях жить. Дядь Коль, общайся с природой, она не подведет.

— Давай, Геня, передохнем. — Николай Иванович взялся за ствол дерева, перевел дыхание, потом даже и сел на бугор корня.

— Знаешь, как Рая говорит: отдóхнем, когда подохнем! Но ты подыши, подыши! Я тебя пока в курс дела буду вводить. Ты помнишь Метеную Веретью?

— Помню.

— Нет ее! А Безголовица? Тоже все заросло! Правда ли, что название Безголовица от того, что человека убили и голову отрезали?

— Так говорили, — подтвердил Николай Иванович.

— Все заросло, все, — говорил Геня, — я прихожу в лес, я с отчаяния начинаю руками заросли выдирать.

— Метеная Веретья от того, что девки вениками мели, а потом плясали, — вспомнил Николай Иванович. Он слушал себя, творил про себя непрестанную молитву: «Господи, помилуй мя, грешнаго», слушал Геню, мог бы даже пересказать, о чем так непрерывно суесловил Геня, а сам, помимо всего этого, как бы просматривал со стороны отдельные дни своей жизни. По его молитвам от него отступились злые воспоминания, то есть те, помня которые можно было на кого-то злиться, помнились, конечно, крестные ходы в Великорецкое, хоть там и по дороге и на самой реке над ними издевалась милиция,

да ведь тоже подневольные. Были и такие воспоминания, в которых хотелось видеть знак, промысел, провидение. Сейчас сел под дуб, и вдруг, есть же какая-то связь, вспомнился архангельский порт, куда прибрел Николай Иванович, еще совсем слабенький, похожий на старичка, хотя не было и пятидесяти. Сейчас, за семьдесят, — он могутнее. А пришел он по наставлению отца Геннадия, который так и умер в заключении. Так и умер, а жалеть не велел. «Сподобил Бог за веру пострадать». Просил побывать на Соловках, помолиться на Секирной горе, но ничего не вышло у Николая Ивановича, не пустили его. Надо было специальное разрешение. А у него закорючка в паспорте — арестант. Толпы пьяных туристов с гитарами валили на теплоходы, им было можно, а Николаю Ивановичу нельзя. Просил, просил матросов, потом по-евангельски отер подошвы сапог, отряс прах с ног на трап, плюнул и пошел. Сейчас Николай Иванович одобрял себя: куда бы, к чему бы он приехал, да еще не на пароходе «Зосима и Савватий», а на «Демьяне Бедном», так переименовали пароход. А за невинно убиенных можно везде и всегда молиться. Свое горе с собой носишь.

— Ну, — произнес Николай Иванович, — пойдем к братцу.

— Кому братец, а кому отец, — отвечал притихший Геня. — Он тебе чего начнет присобирывать, ты не слушай, так и мать велела передать, просила. Ты, дядь Коль, теперь старший, он тебя должен послушать. А чего напридумывал, так уши вянут. Теперь-то, на последних метрах, сумку доверишь? — Он взвесил сумку в руке, как добычу, — должно быть, должно! Дядь Коль, тут наши корни.

Он срывал и нюхал траву. От дома залаяла собачонка, но так и не выскочила, так и отсиделась под крыльцом.

— Своих чует, — одобрил собачонку Геня.

8

Неприбранность в избе Арсени была давняя. Банки из-под рыбных консервов работали здесь пепельницами, окурки были и у печки, и в тазу под рукомойником. Стены, оклеенные районной газетой «Социалистическая деревня», еще за пятидесятые годы, были грязные, пото-

лок закопчен. С улицы зайдя, не сразу разглядел Николай Иванович Арсеню, вначале услышал его голос:

— Ак чё, парень, здоровья совсем нет, надо как-то обретаться. Здоровье было — в сельпо кочегарил, ходил на лыжах, нынче уж не ходил, руки без рукавиц мерзнут. Дай им тепло, а сам хоть подохни, это никого не касается. Сейчас, парень, так все устроено, чтоб человек работал все больше, а жил все хуже. Садись, Коля, садись! — На Геню Арсеня и внимания не обратил. Геня между тем шебуршил свертками, добываемыми из сумок. — Летом-то хорошо, — продолжал Арсеня, лежащий на кровати у печки, — часа по три колорадского жука собираю, в керосине топлю, только, парень, это бесполезно, Америка умеет жуков выводить, наши, майские, все передохли, колорадский процветает. А не обирай его с картошки, от ветвины одни дедлюшки оставит.

Николай Иванович пожал слабую твердую руку Арсени. Оба присели к столу. Геня между тем сбегал за водой, ополоснул стаканы, убрал на столе, открыл занавески.

— Со свиданием! — первый сказал он.

— Обожди, нехристь! — остановил его Арсеня. — Брат, читай молитву.

— Я уже прочел, — ответил Николай Иванович. — Про себя.

— Про себя не считается, — сказал Арсеня, но тут же махнул рукой и выпил половину. Закрыл глаза, посидел с минуту, потом допил остальное. — Луку принеси... А, есть? Принесли? Рая послала?

Геня сделал знак Николаю Ивановичу.

— Рая, — ответил Николай Иванович.

— Похож ли Геня на меня? — спросил Арсеня.

— Пока не пригляделся.

— И не приглядывайся. Не похож. Не мой это сын, — сказал Арсеня, закурил и продолжил говорить в том же тоне: — Летом жить можно, парень, а сидеть да без дела курить — это дело плохое. Я стал задыхаться, когда до пенсии еще не дожил. Болел сильно. Вызвали на рентген: задыхаюсь, говорю. Вы и должны задыхаться, говорят. Легкие поражены. Но туберкулезу нет, иди на хрен без группы. Хожу, останавливаюсь. А корень наш крепкий, верно ведь?

— Верно.

— Алешке — за восемьдесят, тебе — к тому, а ходишь,

Райка тянет, быку столько не утянуть. А дети — это уже сор, эти не в нас. Все не мои.

— Батя! — воскликнул Геня.

— Выкормил пятерых, сама шестая, сам седьмой. Раз в месяц за зарплату расписывался, еле дышу.

— Ты ел сегодня? Ты сегодня чего завтракал? — строго спросил Геня.

— По неделе не ем, — сказал Арсеня Николаю Ивановичу. — Рассказала тебе Рая, как она тебя нашла?

— Нет.

— Нет? Хм! Так тут нет военной тайны. Она встретила старуху, Дусю Кощееву, знал?

— Не помню.

— С тобой ходила в Великорецкое. Ну?

— Многие ходили. Нет, не помню.

— Да как же! Дуся Кощеева. В платочке, востроносая. Давно похоронили, родни не осталось, можно было карточку показать. Она и рассказала Рае, мол, вот по вашей фамилии нас вел старичок, старичком тебя назвали, ты как Сусанин их вел, только старух, а не поляков, говорит: так и так, вел нас Чудинов Николай Иванович, много за веру перестрадал, сидел тридцать лет. А ведь мы и не думали, что ты живой. Рая пытать эту Дусю, та к детям поехала в Вятку, Рая велела ей твой адрес узнать, потом и от тебя открытка.

— Нет, не помню Дусю никакую, — тихо сказал Николай Иванович. — Я думал, через справочную искали. Сам-то уж я, прости, Господи, и не думал, что здесь побываю.

— Да вот на кладбище пойдем, я тебе ее фотографию покажу. Это и не важно, важно — нашли тебя.

— Да, — опять откликнулся Николай Иванович.

Геня, вооружась полотенцем, бил мух. Растревоженные, они гудели на оконных стеклах. По стеклам Геня не бил, гнал на потолок и стены. Молчать ему было тяжело, тем более что он поправил свое здоровье, и теперь радостно говорил:

— Эту сказку знаете, конечно, — «Одним махом семерых убивахом»? Мультфильм недавно был. Я чего вспомнил, воюю с ними и считаю, нет, ни разу семерых за раз не убил. У них, значит, мухи погуще сидят, у нас пореже, у нас гигиены больше.

— Вот, — показал на него Арсеня пальцем, — вот доказательство: разве бы мой сын мух бил, да еще бы

и считал? Нет, парень, ты, наверно, от Феди Гаринских, от инспектора, такой же ветродуй.

Зайдя сзади, будто выслеживая мух, Геня показал Николаю Ивановичу жестом, что именно вот этот-то и есть тот пунктик, о котором он предупреждал. А вслух сказал:

— И в русских сказках мух бьют, правда, этим не хвалятся. Но братья Гримм это ващ-ще! Я тут прочел сыну и опупел. Мальчик-с-пальчик вывел братьев, а ведь их специально родители увели в лес на съедение зверям.

— Вот и вас бы увести, — сказал Арсеня. — У нас волков в жизни побольше, чем во всех ихних сказках. Ладно, плесни понемногу. Вот, Николай, так и живу и буду жить, пока столбы не сгниют, пока матица не хряснет. Тут, в боку, будто иголки насыпаны, а выпью — живу. — Он отдернул свой стакан от Гениного, не чокнулся с ним, и выпил. И опять закурил. — Лечили, конечно, да как лечили? Так лечили, что из больницы мечтаешь сбежать скорее, чтоб до конца не «вылечили». — И снова, без всякого перехода, собственно, как и Геня, заговорил о другом: — Увлекался я, парень, работой, кроме работы ничего не видел, трудиться любил, есть не мог, если чего-то не сделано. Приехал Фомин с райисполкома: «Убирайся с глаз долой!» У меня шея хоть и коротка, а долго доходило. Меня на элеватор в район, а он с Анюткой обретался!

— Батя, этого не может быть! — закричал Геня.

— Уж чего не может быть? Вот какой был Сема. Моя башка ничего не соображала, кроме работы и трудов. Поздно я понял свою жизнь. Ты ее, Коля, не знаешь, я ее тебе расскажу... — Арсеня пересел от солнца в простенок. — Тебе Алеша не снился эти дни?

— Нет, — ответил Николай Иванович.

— А мне снился. На тебя, значит, не обижается, а на меня обижается. Такая примета: не снится — не сердится, снится — чем-то попрекает. Как меня не попрекать, ведь я его фактически мог бы спасти.

— Как? — спросил Геня.

— Иди, колорадских жуков собирай.

— Я еще мух не всех убил.

— И молчи.

— Молчу, характер мягкий, другой бы спорил, глаза выворотил.

— Мы с ним часто на пáру полоскали. Не помногу, так, для лекарства. Генька сиживал, у него в бестолков-

ке другого не водится, и как еще Нинка, такая хорошая, за такого дурака пошла. И парня такого хорошего родила...

— Любишь внука, любишь! — назидательно вставил Геня.

— Да ты же его и испортишь.

— Я?! Да я его сюда вожу, чтоб он овес от ячменя отличал.

— Можно и отличать и дураком быть.

— А как тебе Алеша приснился? — осторожно напомнил Николай Иванович.

— Упрекает, — ответил Арсеня, помолчал и повторил: — Упрекает. Мог я смерть отодвинуть. Мог. Сидели мы, сидели и уже вторую распечатали, его-то Нюра загудела, да я на их гудение...

— С высокого дерева! — подхватил Геня. — Правильно, батя, у тебя учусь. Вот с этого, с моего дуба!

— У тебя, дурака, Нинка, а не Анюта, не Нюрка, не путай. И молчи.

— Молчу.

— Вот и молчи.

— Правда, Геня, дай рассказать, — мягко попросил Николай Иванович.

— Молчу, дядь Коль, молчу. Народ безмолвствует! Но про себя смекает.

— Загудела она, а мне что бабы, что шмели гудят — одно и то же, у баб слов нет, одно гудение, да еще урчание с голоду...

— Да еще рычание, — не утерпел Геня, но тут же закрыл себе рот большой ладошкой.

— В общем, чтоб ее не слушать, мы перешли из барака под навес.

— Вид протеста, — прокомментировал Геня.

— ...Перешли под навес, — совершенно Гени не замечая, рассказывал Арсеня, — перешли, добавили: он — фронтовую, я — лагерную, и запели, мы пели обычно «Во саду при долине».

— Громко-о пе-ел со-оло-овей, — затянул Геня и оборвал.

Арсеня пододвинул ему бутылку.

— Запели, пели негромко, не орали...

Тут Геня сунулся еще раз, но для начала честно предупредил, что суется последний раз, он не утерпел, сказал частушку на тему голоса:

— «Что ты, батя, не поешь, да разве голос нехорош? У нас такие голоса — поднимают волоса».

— Волос нет, подымать нечего, я пою, впелся, гляжу — он откинулся, готов!

— Как это плохо, — горько сказал Николай Иванович, — как это плохо, знали бы вы, что он выпивши умер. Прости, Господи, рабу грешному, в ведении или в неведении грех свершившему.

— Это на мне грех, — сказал Арсеня.

— И на тебе, Арсюша.

— Он же не самоубийца, — возразил Геня, — это самоубийц осуждают, он же от старости. День туда, день сюда — несущественно.

— Минута существенна, едрена мать, согрешишь с тобой! — Арсеня в сердцах хватанул порцию побольше предыдущих.

В избе становилось не просто жарко, а душно. Вышли на крыльцо, оно было в тени, под крыльцом возилась и вздыхала, но не показывалась собака.

— Лет пять мне было, я навоз возил, — вспомнил Арсений. — Тебе, Коль, что объяснять, ты сам все это прошел.

— Я еще даже немного захватил. — Это Геня.

— Навоз возил. Пять лет. Отец нагрузит телегу в ограде, посадит, даст вожжи, я поехал, мать в поле встречает. А в войну, тебя уж долго не было, думали, пропал...

— Я был без права переписки.

— Тебя ж никто не осуждает, тебя все жалели, и Лешка жалел. Ну, бывало, матюгнет, это когда отца и Гришку вспомнит, а так чего осуждать. Тебе голову закрутили... Мы с сестренкой сильно заголодали, ей — шесть, мне — двенадцатый. Мать на заработках. Чего оставила — приели, экономить дети не умеют. Сосед-кладовщик подучил воровать. Залезли в склад сквозь крышу, взяли гороховой муки кошелек, а списали на нас семьдесят килограмм. Судили, на суде говорят: да как это ребенок утащит через потолок, до потолка три метра, такую тяжесть протащить. Дали два года. Сидел, там и болеть начал. Но там все-таки кормили, дома многие помирали. В тюрьме ходил в угол и молился, крестился, прощения просил за воровство. Я во всю жизнь окурка докуренного неспрошенного не украл. И вышел я без наколок и больше не воровал. А наколки там делали, только иголки щелкали. Меня там называли иша-

ком, говорили: дураков работа любит, а я не мог не работать, и каши дадут тарелку, а то и хлеба срезок с маслом, это мне за диво казалось. Я работу любил. Война кончилась, выпустили, сказали: мы тебе нигде не запишем, что сидел, и ты никому не говори. Будто в деревне утаишь. Работал за трудодни, доходило на них по двести грамм. Уже и Райка работала. Взяли в армию, я ж по документам чистый. В армии заболел экземой, ноги от подколенок и выше. В санчасть попал, работал и там, меня полковник полюбил, придешь на прием, штаны спустишь, он: «Чудинов, неохота тебя лечить, ты мне в санчасти нужен, я тебя из роты спишу, иди к нам». Вылечил, только потом, бывало, когда папьюсь до психозы, то опять краснота выступала и чесалось.

Вернулся, с первой женой не пожилось. Она старше на десять лет, но тут не город, не под ручку ходить. Из-за Райки распазгались. Мать тогда уже тоже на кладбище отнесли, я хотел Райку в люди вывести. Жена в штыки: ей не в школу ходить, а работать пора. Райка рослая была, крепкая. Председатель тоже навалился, поставили в борозду. А мне жалко сестру. И пошла у нас с женой раскостёрка. Женился на этой, тут болезнь. А болезнь от нервов. В лесу выпиливали дупла для пчел, да подвалили лося, это на пятерых. Все молчком. А был Кибардин от райфо, является — в клеть. Тогда, парень, ордеров не предъявляли ни па арест, ни на обыск. У меня ноги задрожали — увидит ногу, нет, увидел стружки — Анюта с матерью, с тещей моей, делали цветы, мы скрывались от налогов. И на этого Кибардина грешу, потому что налог не выписал, а штраф дали небольшой, так что сам смекай, чем ему Анютка вмастила. Штраф надо было деньгами платить, а работали мы за трудодни, за те же цветы выручили. Пятерых родила, все не в меня. Пошто я, пошто тогда-то не приглядывался? Называли меня дураком, а я и есть дурак. Башка темная была, работал да пил. Соседи подъедали, я ничего не понимал, меня вроде не касалось. Когда заподозрил, поднял на нее руку, опять виноват, на меня подала, меня судить. Про первую, детскую судимость открыла. Но у людей совесть иногда есть, судили общественным судом, люди сказали: живите врозь. Все деньги перевели на нее. Заходил на почту узнавать, сколько переводят, я тогда за деньги пастушил, говорят: скажем только через прокуратуру. Это что ж за закон — мужа обворовали, и не узнай, на сколько обворовали. Разбежались,

она осталась в Святополье, я здесь. Избу года четыре строил, в ней и умру. Дети прибегали, они при чем, я детей люблю, — Арсеня покосился на Геню, но тот спал сидя, завесившись упавшими волосами. — Чужих и вырастил. Своего одного нет.

— Может, Арсюш, ты ошибаешься?

— Хо! Я фотографии по тыще раз перебрал, я, конечно, с придурью, но не дурак же окончательный, могу сравнивать. Началось у нее с коммуниста Приемова. Работать не хотел, проверял кожуха, пожарник. Мы спали врозь. Я так урабатывался, мне интерес был сделать работу, я об ночи не думал, а она свое отобрала. Это дело пахучее, парень, учуяла и пошла. Ребенка родит, уж соседи знали от кого. Чё тебе объяснять, сам мужик.

— Я же не был женат.

— Совсем?

— Совсем.

— А с какой-то Верой живешь?

— Так это сестра во Христе. Сошлись без греха, мне уже за семьдесят было, ей — семьдесят. Она и настояла. Нет, тут, брат, все без греха. И женат ни разу не был, и вообще ни разу не грешил.

— С бабами не спал? — вытаращился Арсеня.

— Ни разу, — твердо произнес Николай Иванович. — Ни разу. — И добавил, глядя на поглядывающего на него и встряхнувшего головой Арсеню: — Мне это легко досталось. Читаешь труды монахов, особенно «Добротолюбие», там много уделено борьбе с плотью. А мне жизнь помогла: в тюрьме плоть моя была немощна, а это почти тридцать лет, вышел стариком. Был однажды соблазн, но подумал, подумал, думаю: весь в грехах и так, еще и ...á!

Они долго молчали. Только без устали носились над ними серые стрижи. О них вначале и заговорил Арсеня:

— А знаешь ли, что стриж на земле гибнет. Если на землю сядет, ему не взлететь, так, в воздухе, и живут. Да-а. Да знаешь — деревенский, чать... Да-а, Николай Иванович, да-а. Вот да так да. Ни разу, ни с кем? Нет, я, парень, был ходóк еще тот. Значит, еще и это я за тебя свершил.

— Ходок был, а дети, говоришь, не твои.

— Не мои. Тут уж я никакого «Яблочка» не плясывал, не матрос был, не матрос. Да-а. Вот так-так, Иван Тимофеевич, родил ты четырех сыновей, а они вчетвером

ни одного не оставили. Григорий погиб, у Алексея был один, Женька, Женька утонул, у него, правда, был смастерен наследник, но припадочный, уж считать это или нет, это, парень, только в количество, только в название. У тебя, значит, ничем никого, и у меня никого. Как детдомовцев воспитывал. Фамилию дал, а кровь не взяли. Да, Иван Тимофеич, миленький, уж не посетуй, жизнь в обратно не прожить, только переживать.

Геня проснулся. Сбегал за угол, потом сбегал к колодцу, выкачал ведро, чем-то оно ему не понравилось, он выплеснул его, еще выкачал, долго пил, потом облился из ведра и мокрешенький, оставляя на крыльце мокрый след, ушел в избу. Но ненадолго. Вернулся и вступил в разговор:

— Дядь Коль, и ты, батя, слушай, ты не будь пассивным, мы от пассивности гибнем, вот чего я рассуждаю, подтвердите. Говорить?

— Мели!

— Значит, семнадцать миллионов тунеядцев. Но из них нужны, скажем, три миллиона, их прокормим. Но даже если мы доведем до трех миллионов, они опять разрастутся. Почему? От недоверия и проверок. Раньше верили. Написал человек отчет, зачем его проверять? А у нас один написал — пятеро проверяют, пятеро перепроверяют, пятеро едут с комиссией.

— Арсюш, — улыбался Николай Иванович. — Гордись, кого воспитал. Разве неправильно рассуждает?

— У нас рассуждателей в каждой дыре по три затычки сидит. Чего мне-то не принес? Сигареты захвати.

Солнце стало подбираться к ним, вначале к ногам. Арсеня выпростал ступни из тапочек и подставил теплу.

— Я, Коля, молчу годами, молчу и молчу. Ты думаешь, раз Генька болтун, так в меня? Нет, я молчу.

— Я тоже лаконичный, — сказал Геня. — У меня словам тесно, мыслям просторно. В прошлую осень грязища была, она всегда здесь, но тогда особенно. Я приехал сюда и застрял. Пошел на почту и дал телеграмму такого содержания: «Идут дожди дорог нет трактора тонут прощай». Во текст!

— Я служил в армии, мне приснился сон... — начал Арсеня, но Геня вновь стал перебивать:

— У вас еще армия такая была, что сны успевали видеть. У нас какой сон, у нас не успеешь по подъему — в тебя табуреткой.

— Не налью больше, — пригрозил Арсеня, и Геня

испуганно смолк. — Приснился сон. Старичок, седой весь, голова белая, весь оброс, подошел и говорит: «Ты проживешь долго, но будешь мучиться». А еще был сон: на небе круг, в него вошли с саблями, стали биться. Потом из круга вышли и сели за стол, стол распилили пополам. А это была война и перемирие в Корее. А уж вот последний был сон: будто у меня зубы валятся и валятся изо рта, и все крупные, жемчужные. А утром по радио говорят: наши войска пошли в Афганистан.

Опять помолчали.

— Ты мать помнишь? — спросил Арсеня.

— Конечно. — Николай Иванович тоже разулся. Он мысленно поукорял себя, что не читал сегодня дневных молитв, но не каждый день он виделся с братом.

— Как не помнить, — говорил Арсеня. — Она учила: ведите себя тише воды, ниже травы. Может, и плохо такое воспитание: в жизни кто молчит, тот и виноват, кто кричит, тот и прав. Еще до похоронной на Гришу, а на отца так ведь и не было похоронной. И до чего ж сучий закон был: на без вести пропавших пособие не давать. Куда он без вести пропал? Да в ту же землю! Неизвестный солдат! Все известны! — Арсеня, видимо, подходил к какому-то пределу, за которым мог стать нехорошим. Николай Иванович взглядом перекрестил его. — А на Гришу пришла похоронка, так она та́к закричала! Ей с нами досталось! Вся зазаботилась. Поехала за хлебом, мы с Райкой сидели одни. А бригадир по домам ходила, проверяла, кто что ест, тарелки-то проверяла, чем замараны, что ели, вот ведь! А кладовщик и оказался вор. Меня подучил через крышу лезть, меня посадили, а он так и не посаженный прожил. В церковь бегали, это я всегда помню, батюшка уж чего-нибудь да сунет. Помню, враз четверых ребенков отпевали, лежат в корытечках. Наелись зелени, кто поносом изошел, у кого заворот кишок. Глупые. Тогда часто перевертывались. Батюшка велел каждому поклониться. «Ангелы вы мои», — говорит и плачет.

— С голоду и взрослые без ума, — сказал Николай Иванович. — В заключении, особенно на работах, на лежневках бывало: у лошадей украдут овса и сразу съедят. Где там варить, да и заметят. Съедят, кипятку напьются, овес разбухнет и желудок рвет.

Арсеня, взглянув на брата, согласно кивнул и продолжал:

— Усажу, бывало, сестренку в тележку и к матери в

поле. Она до того кричит, прямо обезголосеет, а я кожилюсь по песку, по канавам. Привезу, мне мать отломит от горбушки, сама сестренку кормит. Покормит, я опять обратно везу в люльку — качать... Пойдем в избу.

Геня, отметив, что осталось на самом донышке, пошутил:

— Эх, дядя Коля, ты бы еще воду в вино превращал, цены бы тебе не было!

— И тогда бы ты, Геня, и остальное Священное писание запомнил?

— Как пионер!

В избе Арсеня сразу лег. Николай Иванович подсел к нему.

— Чего плохое вспоминается, так ты не вспоминай.

— Мне другого нечего вспоминать, одно плохое и было.

— Так, Арсюша, нельзя.

— А как можно? — Арсений старался побольше вбирать воздуха при вдохе, но это больно ему было. — Как можно? Ты, как мать наша, тише воды, ниже травы. И отец: вперед не суйся, сзади не оставайся.

— Вся жизнь — борьба! — заявил Геня. — До обеда — с голодом, после обеда — со сном. Дядь Коль, труба зовет — солдаты, в поход! А всякое примиренчество ведет к застою.

— Идите, идите, — сказал и Арсеня. — Спасибо, зашел, брат, не побрезговал моими хоромами. Как они на меня обрушатся, приезжай хоронить. А то и не уезжай. Живи здесь, половиц хватит. А то и хоронить не надо. Гень! Как дом рухнет, меня погребет, тогда бензину не пожалей, плесни, и — спичку. И — Севастополь горит!

— Болтай, батя, болтай.

— Слушай, приемыш, слушай. Оставайся, Коля, а? Генька побежит, скажет, что остался. А? Жизнь у меня не очень важная, да надо жить. Будем обретаться. До самоубийства не дойдем.

— Это грех.

— Будем в лес ходить, за бобрами охотиться, ягоды брать. Я мясо бобров ем, только желудок плохой, надо мясо в вольной печи уваривать... Дак не останешься? Ладно, сегодня не оставайся, а если поживешь в Святополье, то приходи хоть пожить. Жизнь прошла, как-то бы нам ее сесть, обсудить. Братья. Четверо было. Гриш-

ку я совсем плохо, неявственно помню. Как он на действительную ушел, отгулял проводы, это помню. Меня на печку загнали. Мне же интересно! Когда все разошлись, вот он сидит за столом, локтем в столешницу уперся, лицо рукой закрыл, слезы льются, а он поет: «Во саду при долине громко пел соловей...» Тогда-то вся душа моя и содрогнулась, тогда-то я и поревел о нем. Да тихонько реву, лицом в шубу, если бы тятька услышал, выпорол бы.

— Тятя у нас был хороший, вечная ему память. — Николай Иванович обвел взглядом избу. — А вот тут уже ни он, ни Гриша не бывали?

— Алешка был, в частом бываньи был! — гордо сказал Арсеня и тут же сник. — А я, до чего я дошел, так нажрался, что башки не мог поднять. Понимаю, что надо брата хоронить, а не могу. Когда оклемался, пополз, только на поминки успел, без меня закопали.

— Батя! Все в лучшем виде, — отчитался Геня. — Яму выгрызли — бульдозером не вырыть. Корни с Витькой рубили, надселись. Тятька лошадь запрягает, маменька уселася, черно-пестрая корова со смеху надселася. Дядь Коль, они там думают, что мы тут как один умерли в борьбе за это. Идем! Хоть у тебя и непротивление злу насилием, силом утащу!

Арсеня осторожно переложил ноги.

— Я уж провожать не пойду. Попрохладнеет, огород полью да жука пообираю. Уж на девятый день приползу.

Геня схватывал со спинок стульев, с гвоздей у двери рубахи Арсени, полотенце, ссовывал их в сумку.

— Бать, комаров я не всех уничтожил, но все-таки; оставил только ограниченный контингент. Вперед, и с песней!

9

Конечно, и на обратном пути Геня стрекотал, стрекотал весело, подторапливался, кажется, даже и хотел бы оставить Николая Ивановича идти одного, но все-таки не убежал.

— Дядь Коль, ситуация с матерью и с батей знаешь чего мне напоминает? Французский фильм «Супружеская жизнь», там одну серию ему дают слово, и видишь на сто процентов, что жена виновата. А во второй серии

дают слово жене, и что? Виноват во всем муж. Даже и у французов, — а у них измена хоть мужа жене, хоть жены мужу не в зачет, у них это просто разнообразие, — и то последнее слово оставили за женщиной. У нас так же. Послушать батю — виноватее матери нет. Не послушать — батю вообще надо расстреливать. Ведь диколье: один среди пространства сидит, нас все в Святополье осуждают. Он еще, подожди, он еще тебе все наши фотографии начнет показывать, со своими сравнивать — сравнения, мол, никакого. А если мы в мать? Ничего не жрет неделями. Я вчера думал, на поминках поест, нет, пьет да курит. В сумку ему Нинка наложила пирогов, — все целые. Глубокую чашку с пельменями поставила, сегодня гляжу — собаке, так, целиком, под морду у крыльца сунул. Прямо в чашке. Не жрет неделями. Я когда приезжаю, я хоть ему хрену в квас потру, да с солью, тогда немножко аппетит бывает. У него программа на самоизживание. У него ведь и телевизор исправный, он его, спроси, никогда не включает. Я ему, опять же, программу на неделю, когда бываю, приношу. И Витька приносит, — нет, не смотрит. Ну, хорошо. Гондурас не беспокоит, но ведь бывает и «В гостях у сказки».

— Отдохнем, Геня, — попросил Николай Иванович. — Я тоже, Геня, телевизор не смотрю, и никогда не смотрел. И в кино ни разу не ходил. И фильм этот не видел. И никакого вообще. Даже в зоне: пригонят в клуб, я в землю смотрю и молитвы читаю.

Долго Геня стоял с открытым ртом, так долго, что в рот залетел комар. Геня долго отплевывался.

— Отцы! — вымолвил он. — Вот это отцы так отцы! Вот почему вы долго живете, вот разгадка: вам нервы кино и телевизор не исковеркали. И радио не слушаешь?

— И радио не слушаю. И книг, и газет, Генечка, не читаю, только священные, только житийные.

— Комаров много, — сказал Геня, — я бы еще раз рот открыл. Да-а. А вон туда, — он показал к горизонту, — там лес Сергановщина, знаешь название?

— Знаю.

— Правда ли, там человека убили, плохо закопали, фосфор разошелся, и по лесу свет с тех пор ходит. Ты бы не побоялся туда один пойти? Я бы забоялся.

— Как же так? И телевизор смотришь, и кино, и забоялся бы?

— Неужели ты ни разу в жизни в кино не ходил?
— Ни разу, Геня.
— И газет не читал?
— Нет.
— Это мне, дядя Коля, наверное, не дошурупить. И так и живешь?
— Так и живу.

Рая и Аня, в самом деле, уже начинали сильно беспокоиться.

Геню ждали две новости, одна хорошая, другая плохая. Хорошая явилась в образе Толи Петровича, который, скорее всего, так и не вставал из-за стола. Он закричал Гене:

— Привет вредителю сельского хозяйства!

На что Геня, воспрянув, радостно отвечал, что набрал целое ведро колорадских жуков, что отошлет завтра в Америку в обмен на валюту и что вообще пора добиваться права Аляски на самоопределение.

Вторая новость была для Гени плохая. Нина, забрав сына, уехала дневным автобусом, и Гене предлагалось следовать ее примеру.

— Ни за что! — закричал Геня. — Отпуск есть конституционное право, за меня все депутаты борются. От ведь! Ей плохо становится, когда мне хорошо. Доказать? Я же не пил огромными периодами, она веселеет: «Ах, Генат, — Генатом зовет, — ах, Генат, я так молодею, я такая счастливая, мне хочется хорошо выглядеть, мне хочется хорошо одеться». Это значит: Гена, вперед, на мины, ордена потом, вкалывай, Гена, денежки нужны, одеваться захотелось! Петрович, что, у тебя разве не так же?

Братенники наказали дяде Коле произвести ревизию сенокосного инвентаря. Вот они выполнят еще кое-что по своей программе и тогда займутся программой продовольственной. И удалились. Николай Иванович хотел пойти к себе полежать немного, но его остановила Анна, жена Арсени:

— Вы ведь мне деверь, Николай Иванович.
— Конечно, деверь, Анна.
— Вы поняли, какую он бессовестность городит, от людей стыдно.

Николай Иванович взглянул на сноху, та увела глаза.

— Совсем ни к чему бывает, — осудила Арсеню и

Рая. — Неужели опять кричал, что ему за тебя пить пришлось, а Алеше воевать, а отцу и Грише погибнуть? Неужели так говорил?

— Нет. Хорошо поговорили. Детство вспомнили, маму, отца. Рассказал, как тебя, маленькую, к маме в поле на тележке возил, еще от груди питалась.

У Раи прямо слезы так и брызнули.

Но и поплакать как следует ей не дали, прибежал мальчишка и под окном закричал:

— Раиса Ивановна, идти велели, быка косарям режут.

— Видишь, как, Коля, — промокая платком глаза, через силу улыбнулась Рая, — без меня и земля-то не вертится.

10

На девятый день снова ходили на кладбище. Уже семейно, уже и Геня, и Толя Петрович отбыли, на прощанье успев и порыбачить, и помочь в сенокосе. Лидия Ивановна и Селифонтовна остались делать скромное угощение. На кладбище ничего с собой не понесли. Рая прихватила маленькую садовую тяпочку, которой поухаживала за материнской могилкой. Братья ходили меж оградками. У одной высокой кованой оградки, из которой, будто из вазы, выносился букет зелени, Арсеня объяснил:

— Этого ты должен помнить. Разумов, кузнец. Нож еще Грише выковал из тележной оси. До сих пор им поросят режут. А вот рядом Кащеев, забыл имя, надсадился в войну, ой, от надсады сколь примерло, надсадился на лугах в сорок шестом — стожар осиновый вырубил и на себе принес. Дед наш Тимофей Ефимович тополь над ним какой вызыкал. Боялись, что упадет, памятники попортит, спилили половину, Генька с Витькой лазили, лет пять тому, все равно здоров. Они примеривались на долбленку взять, приехать с подъемным краном — я не дал. Нельзя с кладбища, утонули бы враз. Бабушка наша рядом, Александра Андреевна...

— Вечная память, вечная память, вечная память, — крестился Николай Иванович.

— Двенадцать рублей пенсии, а не бывало, чтоб хоть рублик не сунула, а то и три. Яков Иванович, другой дед, — это огонек!

— Я помню, — улыбнулся Николай Иванович. — Кричит: «Ставь самовар, плясать буду!» И плясал с кипящим самоваром в руках.

— Мы супротив их — гнилушки, — Арсеня отколупнул пихтовой смолы. — Попробуй. Хоть детство вспомнишь.

— У меня, Арсюша, ни одного зуба. Я тебе признаюсь, я и бороду отпустил, и усы особенно, что стеснялся беззубого рта. Вот мы тогда поговорили, ты удивился, что я не был женат, подумал, может, что какой обет давал, нет, так получилось. У меня передние выбили, жевал задними, даже весной ветки обгрызал, чтоб десны не кровили. Потом все равно выпали остальные, я вышел, старик стариком, неужели бы кто-то на меня из женщин посмотрел. А мне уже и не хотелось. Сторожем взяли в автохозяйство, сторожами верующих многие начальники любили брать, да еще кладовщиками, завхозами: не воруют — от этого. Сижу ночью, размочу в кружке хлебушек и жамкаю потихоньку. Говорил я бормовато, меня плохо понимали, потом стал себя заставлять вслух читать. Псалтырь читал особенно, и говор наладился.

Пришел с ними на кладбище и старичок Степан, опять почитал на могилке. Вдова Нюра опять рассказывала, как они жили в доме престарелых, как муж стал мешаться, забывал комнату, как их стали оформлять в дурдом, в Мурыгино. Что в доме престарелых отношение к ним было хорошее, была отдельная комната, две кровати и тумбочка. Что сама Нюра работала по кухне, накрывала на столы и убирала, и ей даже платили десять рублей в месяц.

А сейчас одной ей в бараке страшно, вот и просится к Рае.

— Мне от этого только хорошо, — одобряла Рая. — Хоть корову встретишь да хоть им пойло приготовленное в колоду выльешь. Ведь двенадцать ведер вылапывают — это только корова и теленок. Все у меня живут, все останавливаются, и Селифонтовна, и Лидия Ивановна — родина тянет.

Побрели обратно.

За столом оказался родственник Андрей. Это был из той же породы, что и Толя Петрович, что и Геня. С какой он был стороны, как по родне, Николай Иванович и выяснять не стал, боялся не запомнит. Смену себе Геня и Толя Петрович выслали достойную. Андрей завернул

на родину из отпуска, с юга. Загоревший, веселый, за столом только его и слышно было.

— Папаша! — закричал он Николаю Ивановичу, — папаша, я всегда тобой гордился, я всегда говорил: Чудиновы еще докажут свое! Точно! Я ж тоже, папаша, Чудинов. Лежу на солнце, врачиха говорит: радиация, опасно. А, говорю, чхал я на вашу радиацию. Я, конечно, покрепче выразился, чтоб она отскочила. Отскочила. Я, конечно, потом извинился, она же меня потом, кстати, покорила. Одной фразой. Вы же, говорит, не из Африки, вы же, говорит, белый человек. Тогда я стал весь ее. — Он вздымал свой стакан и широким жестом, напоминающим жест тамады из грузинского фильма, предлагал помянуть дядю Лешу, похоронить которого он не успел. — Это ты, теть Рай, всему виной, послала б телеграмму, я б приехал, хоть там и билетов не достать. Я б достал. Ну! Невозможно прожить без печали, но родина есть родина! Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал.

Так он и сбил все застолье. Прямо как конферансье какой, чуть даже до того не докатился, что стал предлагать выпить за женщин, тут его одернули, он смущенно поскреб молодой загар на юной лысине, крякнул и стал звать Николая Ивановича и старичка Степана на рыбалку.

— Будете загонять, делим поровну. А я еще застал, когда в Святице стерляди были.

— Андрюш! — осадила Рая.

— Были! Дашь острогой в хребет — зубья у остроги гнутся, расходятся, приходилось в бок. Ну, что, папаши, видно, тут один я поддерживаю мужскую честь, приходится за всех. Я еще помню, как из вашего времени до нас дошли стихи, исполнялись как песня в ДК, лампочку Ильича пропагандировали: «Нам электричество мрак и тьму разбудит, нам электричество пахать и сеять будет. Нам электричество наделает делов — нажал на кнопку: чик-чирик — и человек готов!» Ну, не будет выстегиваться, пусть земля ему будет пухом! Эх! Напиток божественный, а цена безбожная.

Рая виновато взглядывала на братьев, на вдову Нюру, но Андрей все балабонил и балабонил. Николай Иванович боялся, что Арсеня сорвется, но тот вроде и не слышал Андрея, все курил и курил. Жена несмело пододвинула ему тарелку, он дернулся как ударенный.

— Брат! — громко сказал он. — А ведь мы еще за

одной могилой не поухаживали, ведь как ты думаешь, надо нам Гришу навестить.

— Ой, хорошо бы! — откликнулась Рая.

— А ведь я его сильно любила, — сказала Селифонтовна. — Чего уж теперь, можно признаться. Первый раз его увидела, мы быков гнали, а они на вечерку в Григорьево шли. Они поднаряженные, а мы по-рабочему, я застеснялась, и у меня еще, как назло, бык не пошел. Уперся и стоит хуже осла. Парни его понужают, он стоит, начал уже землю копытом скрести, — это знак плохой: в ярость приходит. Парни отскочили. А Гриша, у него пиджак был внакидку на белую рубашку, воротник сверху, тогда мода такая красивая была, Гриша стоит. «Ну-ка, дайте, ребята, гармошку!» И заиграл! И что ты думаешь — пошел бык под гармошку.

— Они чувствуют мужскую руку, — вставил Андрей.

— Молчи! — резко оборвал Арсеня.

— Любила, — продолжала Селифонтовна, катая по клеенке круглый шарик — пробку от старинной уксусницы. — Любила. А еще раз на лугах виделись. Там так волки завыли — не только что бабы, мужики в шалаши полезли. А Гриша опять не забоялся. Помню, луна была, это в лето перед войной, стою на берегу омута, колодник там, осока, и почему-то, молодая была, дурочка, думаю: Гриша не полюбит — утоплюсь. А он подошел, окликнул тихонько: «Люба», — тихонько, чтоб я не испугалась. Подошел. У меня голова звенит, звенит... А скоро уже его и забрали, — шепотом докончила она.

— Тогда он и пел «Во саду при долине», — сказал Арсеня. Он во все глаза смотрел на заплаканную Селифонтовну.

— Да, именно, — подтвердила она. — И всю жизнь я его помню. Всю жизнь. Алешу хоронили, я говорю: «Гришенька, Гришенька, что ты такой невнимательный, даже брата не пришел хоронить». И никого у Гриши не было, только я и была. Хоть мы даже не только не поцеловались, за руку не подержались.

— А нынче без увертюры: раз-раз — и на матрас, — Андрей поднимал стакан. — Значит, и за Григория Ивановича.

— Уйди отсюда, уйди! — заорал на него Арсеня. Он был выбрит сегодня, вдобавок лицо его побледнело от гнева, он был мертвенно страшен.

Андрея только и видели.

Помолчали. Николай Иванович хотел прервать молчание, но Селифонтовна опередила:

— Они другого не испытали, уж чего их судить, пусть его. Да, пел тогда Гриша «Во саду при долине», я выбегу в ограду, наревусь, наревусь, — я же предсельсовета работала, нельзя на людях слезы показывать.

И опять помолчали.

Рая, оправдывая Андрея, сказала:

— Завтра с утра как трактор будет работать. Косит здорово. Здесь у нас не курорт, здесь работа, а все равно тянутся. Родина. И ты, Коля, у нас главный молодец, вернулся. И в первый же день, — это она для всех, — в первый же день все грабли перечинил, Чудиновы без работы не могут.

Заметно было, Арсеня борется с желанием выпить, держит себя куревом и старается хоть наугад, да тыкать вилкой, но одолела «разорва».

— Эх, — объявил он. — То ли ум пора копить, то ли остальной пропить? — Все притворились, что не заметили, как он набуровил себе стакан, хлобыстнул его и ушел.

— Валера пишет из офицеров, что идут сильные сокращения, куда им идти, кровь сдают, — стала рассказывать Анна. — Хотела и Арсене рассказать, да разве слушает. — Она подождала, но никто ничего не сказал. — Так и свернется. Чего, Рая, чего тебе, давай помогу да тоже надо идти по хозяйству.

Застолье кончилось.

Николай Иванович вышел на крыльцо. На крыльце мирно беседовали... Андрей и Арсеня. Николая Ивановича и не заметили.

— Я ей говорю: мне бы образование, я б на тебе не женился.

То есть тема была все та же, о женах. Арсеня кивал Андрею.

— Не женился. Сюда раз побывала, больше ни ногой. Думает, тут у меня какой прихохотье, а тут у меня пуп резан! Приехала осенью, ты же знаешь, осенью какая грязь: и непроезжая, и непролазная, и непролетная, — морду сфифилила, глаза стеклянные, а сама оловянная. Уперлась, и чего она тогда уперлась, ты, Арсень, помнишь этот случай?

— Нет. Какой?

— Жена моя как меня в «декабристы» записала. В клуб ушла. Из-за стола. Тут ей фи-фи, ей надо, чтоб

на нее смотрели. Я, конечно, начесался тогда правильно; очнулся, где она? Тут кто-то посмехнулся: ищи, мол, если найдешь, — сеновалов много. У меня глаза уж не вином, а кровью налились, я в клуб. Та-ам! Стоим рядом с женщинами, но я их не заметил, а еще стоял один в ботиночках, как он проперся без сапог, в ботиночках? Я ему по мордасам!

— Слышал, — сказал Арсеня.

— По харе ему! За него многие заступились, я их всех в одно место склал. — Андрей прикурил очередную сигарету. — Как вы тут обретаетесь? Я все жалею, что тогда не согласился в партию. Меня спльно блатовали, у меня б вы иначе жили. Свой председатель — зто ж свой! А была политика — возить счужа. Будто они лучше. Они все разворуют, и дальше их повезли, как в награду, на новое выдвижение. И кругом так: секретари обкомов, райкомов все не местные, до чего мы дожили, что своим не доверяем, что любовь к своему краю стала в укор. А у меня, Арсень, вар-то есть в голове, ведь есть? У меня дом советов варит! Я не на горного техника был заказан, не в тех размерах живу... Ну, у тебя и кашель, Арсень, как у смертника. — Арсеня мучительно, с пристоном, держась за бок, кашлял. — Ты так, Арсень, себе остатки легких оттрясешь. Давай постучу. — Андрей огромным кулаком треснул Арсеню по худой спине, Арсеня поперхнулся и вовсе заумирал. Андрей треснул еще раз, Арсеня вроде передохнул, замолк. — Теперь мы зто дело закрепим... нальет еще старуха, а?

— В Разумы пойдешь ко мне ночевать?

— Пойду! Вспомянем, как коров пасли, как телкапервогодок отелилась. Все как у людей. Пойдем, пойдем! Заправимся и двинем. Я только к тетке Лизе за приемником зайду, у меня приемник любую часть света берет. Сейчас уже никто не скрывается, лежишь на пляже, крутишь ручку — и «Голос Америки» тебе с доставкой на дом. Их не поймешь, где врут, где не врут, где притворяются, где охмуряют, но слушать можно. И Албанию слышно, и Румынию, Китай слышно, а Ватикан как заведет, как заведет! Я и дома слушаю, с утра слушаю. Это лучше, чем моя дура сядет с утра к телевизору, банку с водой поставит, этот экстрасенс, мошенники они через одного, он в телевизоре руками водит, она балдеет.

Из дому стали выходить и расходиться женщины.

11

Томился Николай Иванович тем, что Вера осталась в неопределенности. Ее, конечно, как уборщицу, на улицу не выбросят; но ведь бес его знает, Шлемкина, вот уж истинно бес, прости, Господи, согрешишь всегда с этим Шлемкиным: как его вспомнишь, так и нечистого тут же. Шлемкин этот спокойно не уснет, если еще какую пакость не сделает. Уж кажется, и выдумать того нельзя, как он издевался. По его приказу у Николая Ивановича над ухом стреляли, когда акафист Николаю Чудотворцу читали у источника, подгоняли пожарную машину и сирену включали. Водой из брандспойта по старикам и старухам как по не знай кому били. «Крестить вас так будем!» — орал Шлемкин. Сердца у него нет, только и знает, что кричит: «Меня партия поставила на это место, и я доверие партии оправдаю!» — «Неужели тебе партия велела над стариками издеваться?» — спрашивал Николай Иванович. «Методы — это мое дело!» И ведь носит земля! Носит.

Веру, Веру было жалко. И тревожно за нее. Неделя прошла, как там она? Признался вдруг себе Николай Иванович, что пусто без Веры, без ее тихих хлопот, без ее грудного четкого говора, когда она читала утренние и вечерние молитвы. Все еще именно на то сваливал Николай Иванович, что Вера — сестра ему, они сошлись без греха, жили старичками, как брат и сестра, ну вот как сейчас с Раей, но сильно томился он, и внезапно это томление налетало, и он понимал, что без Веры плохо не из-за чего-либо, плохо просто оттого, что Веры нет рядом.

Сошлись они, и даже расписались, по ее настоянию. Он легко обходился сам, ходил в чистом, сам стирал, сам штопал, а из еды ему хватало хлеба, да еще варил картошку, разминал ее и сдабривал растительным маслом. За это тоже тюрьме спасибо — не избалован. Но с Верой как получилось. Она ходила в церковь и старалась стать к стене. У нее ноги болели, ходила с костыликом. Они кланялись друг другу и однажды на Пасху даже похристосовались, но такая была давка, что их тут же разнесло в разные стороны, она еле устояла, дружинники подхватили и помогли выйти. Кланялись, а знакомы не были. Она знала, конечно, что он водит каждый год старух на Великую, но и помыслить не могла, что тоже пойдет: три дня туда, три обратно. А какие

страсти! Ночевать не пускают, боятся. Старух собаками травят, всяко издеваются. И когда он подошел в мае и сказал: «Скоро Николая Великорецкого надо встречать, пойдешь ли?» — «Ой, — охнула она и обрадовалась, что пригласил. Но первое, что вырвалось: — Ты ведь меня бросишь!» — «Мы никого не бросаем, — ответил он, — мы идем потихоньку, на привалах считаемся». — «Да я же на костылях!» — «А у нас сколько ходили на костылях, все там костыли оставляли. Пойдем!» И звал настойчиво. И она, обмирая от страха, а было ей далеко за шестьдесят, обмирая от страха решимости, решилась. Отслужили напутный молебен и пошли. А уж что натерпелись! Но больше всего радости было в том, что ногам полегчало, искупалась в Великой и обратно шла без костылей. На следующие годы она ходила по обету. «Сколь жива буду, буду ходить», — говорила она, крестясь и ощущая, что стоит сама, без костылей, что чувствует легкость на сердце и в подмышках, натертых за долгие годы костылями.

И сошлись они с Николаем Ивановичем по ее настоянию. Давным-давно жила Вера одна, редко когда возили к ней внуков, не оттого, что были плохие отношения с детьми, а оттого, что далеко жили, дорого ездить. Вера сама настояла, чтобы Николай Иванович перебрался к ней, оставил свой топчан в проходной автохозяйства. А когда пришли выселять, как незаконно живущего, упросила Николая Ивановича расписаться. «Это ведь не венчание, это ведь для Шлемкина, уж уступи собачьему сыну». Тогда Шлемкин сильно издевался. «Жених, развратник, не стыдно ли на старости лет!» По себе всякий судит.

И жили, и Богу молились. Всё друг про друга знали. Знал Николай Иванович, что Вера числит на себе грех за мужа, который запился и покончил с собой, знал, что Вера корит себя за это, хотя терпелива была до конца пределов. У нее были дети-погодки. Он совал им в рот папиросу, давал вино, и тогда она, терпевшая безгласно побои, решилась для сохранения детей жить одна. Объявила. Он перебил всю посуду, переломал стол и стулья, высадил окна, и они потом долго жили, обедая на полу и тут же стеля на ночь. «И ложки на полу, и чашки на полу», — говорила Вера.

Обезножела она на биохимзаводе. Из-за зарплаты и молока для детишек сама вызвалась на «вредную сетку», думала — поразит легкие, но почему-то ударило по но-

гам. А согласилась она пойти на Великую еще потому, что до войны туда ходила ее родительница, ее мама. «Лапти обувает и с собой лапти берет. А мне не пришлось сходить, бесовщина наступила, отступилась я ото всего, заблудилась, в церковь не ходила, грешница». Ее мама помнила старца Геннадия, с которым Николай Иванович был в лагере. Только, по рассказам Веры, он был сильно могуч, сильные волосы по широким плечам, а Николаю Ивановичу запомнился небольшого роста, с серебряным пухом на лысой голове, только глаза требовательно сверкали.

Они, старушки, меж собою называли Николая Ивановича старичком. И много-много свечечек истаяло в огне, моля, своим теплом и светом о его здравии. То, что Вера взяла на себя заботу о старичке, вызывало у старух уважение к ней. Да иногда и зависть. Рослая горластая старуха Катя Липатникова, постоянно впадавшая во грехи осуждения, но уж зато и вводившая в трепет представителей власти, махала рукой на Веру и кричала: «Тебе с полагоря жить, тебе чего не веровать, у тебя все условия, мужа экого выгадала!» Вера извинительно улыбалась и Катю всегда поминала о здравии.

Жили они с Николаем Ивановичем так согласно, так тихо, благообразно, что Вера часто вставала ночью в своей комнате и молилась со слезами благодарности за успокоение своей старости. Молилась тихонько, чувствуя, что в соседней комнате стоит на молитве и Николай Иванович. Они завели даже и небольшой участочек — прибавление к пенсиям, но и в первый год, и во второй кто-то вытоптал все посадки, выдрал всходы картошки, и они отступились. Николай Иванович строго запретил ей стирать ему носки и носовые платки, даже пытался запретить стирать рубахи, но рубахи она в тихой, упрямой борьбе отвоевала. И в дорогу положила запасную косоворотку, белую, с голубенькими пуговичками, она ее очень любила и велела сразу достать из сумки и повесить на плечики. А он забыл. Сейчас, сидя один в прохладной родительской избе, он достал рубашку, встряхнул. Была б Вера, горела бы лампадочка в углу, без лампадки неуютно и тревожно. Была б Вера, вместе б становились на молитвы, вдвоем и по хозяйству веселей. Но снова и снова Николай Иванович понимал, что не в лампадке даже дело, дело в том, что Веры нет рядом. Он и не знал, как сильно к ней привязался. Видно, не прошел тот первый год, когда он уговорил ее пойти на Великую

и много-много молился тогда Николаю Чудотворцу об исцелении болящей рабы Божией Веры. И когда она, стесняясь того, что из-за нее идут медленнее, что без нее бы шли скорее, ковыляя по дороге, видела, что Николай Иванович оборачивается к ней и ободряет, она полнилась силами. Тогда она особенно пережила за него. Тогда милиция напала уже перед самым Великорецким. Пьяные, расстегнутые, кое-кто раздетый по пояс, перегородили они дорогу. Старухи запели акафист Николаю Чудотворцу, милиционеры стали стрелять в воздух из пистолетов. Напали на Николая Ивановича, содрали с него мешок, вытряхнули кусочки хлеба на дорогу. «Поворачивай, нищетрясы!» — орал мужчина в серой кепке. Это и был Шлемкин. Пошли напролом. Дорогу перегородили машинами, Николая Ивановича схватили и затолкали в крытый кузов. «А ты куда прешься, калека?» — заорал на Веру Шлемкин. «Вас не спросили!» — закричала она, неожиданно даже для себя, тварь бессловесная всю жизнь. «В больницу увезем, садись в машину!» — «Я в ваших больницах до смерти належалась, мне все хуже да хуже». — «Ну, а тут окончательно загнешься», — пообещал Шлемкин. Когда она пошла обратно своими ногами, без подпорок, хотела Шлемкину отдать костылики, но пока поопасалась, несла обратно. Николая Ивановича, продержав в машине сутки, выпустили. Он в одиночку ночью ходил к источнику, на место взорванной часовни, окунался в купель, молился до утра и вернулся к старухам обновленный, веселый даже, объявил перекличку. Все девяносто восемь, их тогда ходило девяносто восемь, Николай Иванович строго учитывал всегда, были налицо. Тут-то она и вышла навстречу, показалась ему, он сразу понял, что она без костылей, и пал на колени, и все встали на колени и запели «Символ Веры». А полудурок Шлемкин потом говорил, что история с костылями была сделана специально, в целях церковной пропаганды, дурак какой, будто Вера первая встала тут на ноги, будто она не мучилась двадцать лет, будто не шарашилась на костылях по больничным коридорам, будто не кололи ее тысячи раз, будто не перепробовала она сотни рецептов.

Когда старухи завидовали ей, она говорила про себя: «Слава Богу», — но не могла чисто по-женски не вспомнить, каково ей доставалось, когда тот же Шлемкин отовсюду, будто подрядившись, гонял Николая Ивановича, когда не то чтоб что-то новое купить, те же хоть

дешевенькие ботиночки, чтоб с ног не простывать, на еду не хватало. Николай Иванович и знать не знает, что она ходила кланяться Шлемкину в облисполком. Один ответ был у Шлемкина: «Перестанет старух водить в Великорецкое, ишь, Сусанин-вятский, перестанет и пусть приходит». — «И он будет ходить, и я не перестану», — твердо сказала Вера. «Так пусть вас ваш Никола и кормит», — отвечал Шлемкин, и она ушла. И не оставил Николай Чудотворец — не умерли.

12

Разговор, который мучил Николая Ивановича неопределенностью, начала Рая. И начала, и кончила в минуту:

— Ты, Коля, не томись, ты давай подпоясывайся, да, благословясь, за хозяйкой. Печку подделаем, обои переклеим, тут вам и поместье.

Николай Иванович стал говорить о маленьких пенсиях, почему-то это было особенно стыдно, но Рая сказала, что пусть те стыдятся, кто такие назначал, принесла ему в дорогу мягких, по деснам, оладий.

— А передавать Вере ничего не буду специально, скорее пусть приезжает, мы еще с ней за черникой сбродим.

Утром проводила Николая Ивановича на автобус. С ним уезжали ставшие за эти дни знакомыми отпускники, а на смену им ехали другие.

— Зимой их никого не увидишь, — говорила Рая, любопытствуя: кто, в каком составе, к кому приехал.

Водитель, белый от пыли, перекурил, старательно обилетил пассажиров, не велел детям высовываться в окна, и поехали. Долго пробирались сквозь стадо коров. Водитель давал сигналы, газовал, но коровы, будто под машиной родившись, по выражению водителя, может быть, принимая автобус за нестрашное животное, не расступались. Только на повертке автобус вырвался на простор.

— Она знает себе цену, — кричал водитель, — она знает, что полторы тыщи стоит, и мою зарплату знает.

Через три часа, выбеленные пылью, прибыли на станцию. Ну а дальше опять электричка. Еще три часа с молитвою — и Вятка. Тут троллейбус полчаса, пересадка, тут автобус еще полчаса, вот и день к вечеру, вот и общежитие, вот и Вера. Они никогда доселе, ни разу,

в мыслях не было, чтоб обняться при встрече, а тут чуть ли не обнялись.

— Как тебя долго не было, ровно Великий пост, — сказала Вера. — Тебе повестка в суд. Но она на позавчера, так, может, и вовсе не ходить. С той же квартиры нас согнали, соседки могли и не знать, что мы здесь. Это опять этот дошлятина тянется.

— Ну, и отнеси на ту квартиру.

— Отнесу.

— Сестра в Святополье пожить зовет, — за чаем осторожно сказал Николай Иванович и замолчал.

— Так и поживи. И ехал зря, мучился, послал бы письмо.

— Вместе с тобой зовет. Дом целый стоит.

Вера долго сидела, смотрела на свои руки, без дела вдруг лежащие на коленях.

— Ой, Николай да Иванович, не знаю, не знаю. И дети как? Я и в деревне-то не живала, мне и печь не истопить, тебя опозорю.

— Сестра и брат у меня там, очень душевные. Зовут. — Николай Иванович разволновался. — Корову сестра держит, картошки прикупим к зиме...

— Ты хоть расскажи, как съездил, как с Алексей Ивановичем убрались.

— А все, Вера, по-прайски, как Рая говорит, все по-прайски.

Утром они выехали. Всех вещей у них было две сумки. Оставили Кате Липатниковой доверенности на получение пенсий, адрес. В автобусе у Николая Ивановича нашлись даже знакомые. И пока они тащились от остановки до дома, Рая уже знала, что они приехали. Бежала навстречу.

— Дайте хоть мне на сношеньку поглядеть, — запела она, обнимая Веру, отнимая у нее сумку. — Скоро у нас свой колхоз будет, ведь Нюра ко мне перебралась. К зиме Арсеню трактором вытащим, Колю — председателем, тебя, Вера, по знакомству...

— Рядовой ее, рядовой в бригаду, — пошутил Николай Иванович.

Рая и Вера сошлись в первый же день. В первые же минуты открылось, что обе знали Дусю Кощееву, как раз ту, которая ходила с Николаем Ивановичем на Великую, была сама святопольская, но отчего-то ему не открылась, а сказала Рае. Да и не была уверена, хотела проверить. Да и попросту стеснялась старчика.

— Вот ты какой у нас, — корили Николая Ивановича и Вера, и Рая. — Одним видом запугиваешь старух.

В избе Рая развернула куски обоев, бывшие у нее, а на потолок — показала купленные в магазине, списанные портреты. На хорошей, лощеной бумаге, чистые с изнанки, они очень годились.

Провозились с оклейкой два дня.

— Успешь-то не та уж, — говорила Вера. А сама по ее годам работала сноровисто, «у́спешь» у нее была больше Нюриной.

Крепко выручила Ольга Сергеевна, учительница. Привела всех своих детей: Аню, Лену и Сережу, двенадцати, восьми и пяти лет, и все дети до единого были помощниками. На них прямо налюбоваться было невозможно. И Вера, и Николай Иванович вечером долго говорили именно о них.

— Меня вначале дичились, — говорил Николай Иванович. — Потом Сережа первый осмелел и Леночка. А уж Аня старается казаться взрослой. Золотые дети, золотые, вот какая у меня племянница.

В избе пахло клейстером, глиной. Это Рая еще обмазывала и печь, которую наутро затопили.

— Не поверишь, отец, — говорила Вера, — впервые печку топлю. Ты как в городе сказал: поедем, — я первым делом сижу и думаю: ой, печку не смогу топить. Слава Богу, смогла.

— Хозяйку чувствует, — Николай Иванович коснулся плеча Веры. Она даже вздрогнула.

— Ох уж, хозяйку. Пятьдесят бы лет назад.

Печка все-таки сильно дымила, оба наплакались. Но потом кожух прогрелся, пошла тяга, и до того жарко натопили, что спать в избе не смогли; спали: Николай Иванович — в сенях, Вера — в клети. Рая принесла пологи от комаров. Принесла вечером и все не уходила, все говорила и говорила.

— Рая, — осторожно спросил брат. — Ты устряпалась?

— Почти. К утру еще овсяные хлопья замочить, а так-то все, табор свой накормила, не орут. — Табором Рая называла хозяйство во дворе, домашних животных; корова, например, у нее была Цыганка, бычок — Цыган, по причине черной шерсти, от них и остальное население двора, овцы и поросята, причислялось к табору. — Кур надо вам завести, вот что сделаем. Сейчас с комбикормом полегче. Я бы завела, но дома меня по целым дням нет, а они

такие, что в любую щель пролезут. И орет, и перья дерет, а лезет. А то приехал из района умный один и упрекает: почему это петухи не поют, почему это не поют, вам правительство идет навстречу, вам разрешили не умирать, питаться разрешили с одворицы, а петухи не поют.

— Так и сказал: разрешили не умирать?

— Это уж я сама.

— Я, Рая, вот почему спросил про хозяйство. Сейчас надо на вечернюю молитву становиться, так ты, может быть, с нами? Ежели в тягость, то не надо.

Рая посерьезнела, оглядела себя.

— Ой, уж больно я по-домашнему.

И осталась.

Затеплили в красном углу лампадку. Встали.

— Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, — начала Вера.

— Аминь! — затвердил Николай Иванович.

И, не отступая ни на шаг, по полному правилу, стали читать вечерние молитвы. Рая отстояла до конца, вслушиваясь и крестясь, а последнюю «Да воскреснет Бог, и расточатся вразй Его» — она даже почти вспомнила. И девяностый псалом, который в народе называют «Живые помощи», тоже вспомнила. Когда закончили, Рая призналась, что ноги у нее маленько устали, но тут же изумленно спросила:

— И это, брат, вся твоя вина? — Уж, конечно, поговорили они с Верой эти два дня, уж, наверное, Вера порассказывала, какие казни выдерживал Николай Иванович. — А помнишь, Коля, мама становилась на молитву, я вслушивалась, маленькой была, она торопливо шепчет, вот только «Живые помощи» чаще другого говорила, я более-менее затвердила. А ее просила, она меня боялась приучать, боялась, что и я, как ты, — Рая запнулась, подыскивая слова.

— Боялась. — Николай Иванович посмотрел на фотографию матери, помещенную — вместе с фотографиями отца, Гриши, его самого, еще довоенную, Арсени с Нюрой и детьми, Раи — в одну рамку, под одно стекло. — Боялась. За детей.

— Как не боялась. По домам ходили, иконы выбрасывали, а то прямо в доме рубили. А печка топится — то и в печку кинут. Мама эти вот иконы спрятала, а был Чернятин, зональный парторг, тогда зональные МТС были, он над людьми дикасился, не человек, а облигация, ходил с гаечным ключом, прямо ключом по иконам, черт ро-

гатый, сгнил уж, конечно, нисколь его не жалко. Пришел к маме: если бы, говорит, не Гришка, ты б, говорит, у меня загремела. И что лютовал, за какие привилегии? Потом на Гришу похоронная, так еще хорошо, что похоронная, а от тяти ничего. Чернятин ходил, нюхал: чего муж пишет? Спасибо почтальонке, он и ее спрашивал, и ее сексотом хотел сделать, спасибо ей, тетя Поля Фоминых, в следующий раз могилу покажу, ему тетя Поля никогда не выдавала, что от тяти ничего нет. А то бы узнал что про тятю, и мы сами не знаем, еще бы как-нибудь издевался. «Мать тюремщиков!» — кричал на маму.

— Ее зимой хоронили?

— Зимой. Сосед-кладовщик могилу делал. Мы еще тогда не соображали, что это о́н Арсеньку посадил, а он как вроде вину искупал.

Утром прибрел Степан из поселка. Сидел, попил чаю, снова долго сидел, потом спросил Николая Ивановича:

— Так ты меня и не признал до сих пор?

— Нет.

— Как же? Подумай.

— Нет, Степан, не та голова, не вспомнить. Что знаешь, скажи.

— Как же! Мы были из высланных, один я остался. Из западных украинцев, ну, вспомнил? Западэнцы? Тебя из-за нас взяли.

— Ну, что ты, Степан, что ты, Бог с тобой, как же из-за вас. Я сам отказался служить, сам и страдал. Ты на себя не греши. — Николай Иванович даже очки нацепил, приблизился к Степану. — Нет, не признаю. Может, у тебя есть карточки довоенные?

— Я тогда зовсим малэньким хлопчиком був, ты и не запомнил.

— Був хлопчиком, а дывысь, яким старичиной вытянул, — улыбнулся Николай Иванович. — Я с украинцами сидел, погода там была дуже хмарна. Нет, Степан, не виноваться. И много вас теперь? Вам ведь, я слышал, разрешили вернуться.

— Разрешили, а кому возвращаться?

— Вера! — зашумел Николай Иванович, — ты нам чайничек взбодри, мы тут по случаю встречи еще по чашке ошарашим.

Весь вечер сидели, вспоминали.

— Я и сам не могу понять, как к вам прибился, — говорил Николай Иванович. — Я, Вера Сергеевна, почему

к сектантам пришел, спроси, не знаю. Потом я всяко думал. Мать боялась, в церковь не пускала. Тайком от нас молилась. В комсомол я не зашел, я как-то стеснялся даже слово на людях сказать. А почему так, не знаю. Думаю, конечно, было б как раньше, разве б случилось. То есть стала молодежь больно озоровать, матерщина пошла, над всем старым издевались, стариков перестали уважать, тут «рыковка», тут папиросы «Трезвон», тут частушки: «Сами-сами бригадиры, сами председатели, никого мы не боимся, ни отца, ни матери!», как жить? Причем всё убивали, надо всем издевались, а называли всё счастливой жизнью и приказывали радоваться. Какой-то обман получился. Когда Ленин Николая заступил, другое обещали, обещали великую Россию, а какая великая, когда Богу молиться нельзя. Девушек я дичился, и в них бес вступил, волосы поотрезали, кричат: мы на небо залезем, разгоним всех богов. Срама, срама! Ваш староста меня и пригласил. Он так уважительно, так сердечно позвал. Я еще оттого пошел, что жалели высланных. Сильно-то боялись с ними сходиться, а жалели. Это для Украины Вятка — ссылка, а вятских гнали куда еще позадиристей, наши в Нарымский край попали, да и там, христовеньким, жить не дали. Только отстроятся — опять. Я в лагере одного землю по говору узнал, его под пятьдесят восьмую за то, что свой дом выстроенный поджег. Ну, вот. — Николай Иванович передохнул, поглядел на Веру, как бы сказав ей, что ничего, ничего, не волнуйся, мне эти воспоминания не во вред. — Воот, — протянул он, — пригласил ваш староста. И мне очень понравилось. И стал ходить. Много ли я понимал, хотя по тем временам семилетка как нынче институт, но в части души тогда многие заблудились. Тут хожу, слушаю: всякое дыхание славит Господа, как хорошо! Комара не убивать, к оружью не прикасаться.

— Уж теперь-то комара убьешь, — улыбнулась Вера.

— Глаза открылись — и фашиста бы убил. Разве Арсеня сам упрекает, что за меня погибли отец и Гриша, это через него от них упрек. В том же Писании: «Нет большей любви, чем умереть за други своя», от Иоанна, глава пятнадцать, стих тринадцатый. И случай был. В конце сорок первого и начале сорок второго по лагерям прошла вербовка на фронт. «Смыть кровью преступление», — так говорили. В армию к Рокоссовскому. Я хотя был без права переписки, но понимал, что Гриша воюет. Про отца почему-то не думал, он мне сильно в годах

казался... а теперь вот я его в два раза почти старше. Вот. Я к оперу: запишите. А оказалось, что политических и верующих, нас называли сектантами, не записывали. Вот до чего дошло — уголовниками стали закрываться, а Богу все равно не верили. Я прошусь, а опер издевается: «Сопри хоть чего-нибудь, — говорит, — будь человеком, сопри хоть рукавицы», — у меня-то, конечно, давно стащили, без рукавиц гоняли. А ничего: Богу помолюсь и как-то не обмораживался.

— А зачем он учил воровать? — спросила Вера. Она впервые слушала Николая Ивановича, чтобы он рассказывал о заключении.

— Чтобы перевести в уголовники, а из них пойдешь, мол, раз так хочешь, на фронт. Разве я украду? — Николай Иванович поскреб ногтем какое-то пятнышко на столе, Вера вся напряглась. — Как знать, может, и надо было, только он непременно делал мне в издевательство. Опять бы обманул. Когда понял, что меня никакими парашами не унизить, никакой работой, просто бил. Господи, прости ему, конечно, теперь уж он неживой. Именно это он и выбивал, чтоб я осердился или взбунтовался. Кричит: «Не верю, что можно за врагов молиться! Значит, ты, гад такой, за Гитлера молишься? За Сталина, гад, молись!»

— Не надо, отец, не надо больше, не вспоминай. Степан, еще чашечку выпьешь? — спросила Вера.

— Прости меня, брат, — сказал Степан, вставая и в пояс Николаю Ивановичу кланяясь. — Прости, брат во Христе, прости.

— И ты, Степан, прости, — Николай Иванович тоже поклонился. — А скажи, Степан, староста Марк Наумыч, он здесь похоронен?

— Нет, на Львовщине. Ему после войны, по инвалидности, разрешили уехать. Я стал было за себя хлопотать, но тут, тут... долго рассказывать, остался один. Так и живу. Хожу над усопшими псалтырь читать. Здесь народ хороший. Я гляжу, шо я не лишний, мне то и в радость. А як занедужу — меня старушки вызволяют. То меду несут, то сметаны, то ще чи шо.

— Старухи у нас всех лучше, старухами все держится, — сказал Николай Иванович. — Взорванную часовню мы расчищали, ревут, а камни таскают, тяжелей себя.

13

На неделе пожаловал высокий гость, председатель сельсовета Домовитов. Уважительно поздоровался, представился, огляделся.

— Это вы молодцы, что дом сохранили. Снаружи вовсе плох, а изнутри красота. Когда Раиса Ивановна выстроилась рядом, я думал, этот дом на дрова пустит, а она как знала, для брата уберегла. Только надо, Николай Иванович, оформить отношения с сельсоветом. Вы пенсионеры, вам это легче по закону. Вы сейчас где прописаны?

— Были на ведомственной площади на заводской, но думаем, к старости лучше здесь. — Это Вера успела вперед Николая Ивановича. Ну, правильно, он так же бы объяснил.

Домовитов от чаю отказался, просил зайти в сельсовет с паспортами, вдруг, чего-то вспомнив, остановился:

— Только, Николай Иванович, этот дом придется вам покупать. У Раисы Ивановны нет права собственности на два дома. Этот мы числим за сельсоветом.

— Но вы сказали, что Рая хотела этот дом раскатать на дрова.

— Раскатала бы — другой разговор. Но сейчас это не дрова — жилая единица. Да вы не волнуйтесь, он подходит под все уценки и списания, он и будет по цене дров, рублей триста. Одворицы, как не членам совхоза, не полагается, но сотки две-три берите, больше вам не обработать.

Вот такой был заход высокого гостя. Собственно, он был прав и как раз хотел, чтоб все было оформлено по правилам. Но где триста рублей взять?

— Эка беда, отец, — сказала Вера, — а смертные-то мои? Я на старости лет воспрянула, так пожалею ли последние?

Взяли они Верины деньги и пошли на другой день в сельсовет. Но вот какое известие ожидало их — Домовитов показал предписание: «Чудинова Н. И. препроводить в Кировское райотделение МВД Вятской области».

С оформлением дома получалась оттяжка.

— Не езди, — советовала Вера. — Не езди, и все тут.

Она отлично знала, зачем вызывают. Николая Ивановича приплели к одному случаю, к выносу с территории олифы и краски. Собственно, с территории можно было утащить не только олифу и краску, но и саму террито-

рию, ибо забор был таков, что непонятно иногда было, где территория, а где остальное пространство. Вдобавок надо было доказать, что вынесена краска в дежурство Николая Ивановича, а не его сменщика. То есть Николай Иванович ни сном ни духом не помышлял, что он здесь при чем-то. Но вот припутали. Может быть, — а может быть, и не может быть, а точно, — следователю хотелось притянуть именно Николая Ивановича? Еще за ним тянулось дело о хулиганстве, да, да, о хулиганстве. Но это уже по линии Шлемкина, это за последний поход, когда Николая Ивановича схватили, затолкали в машину и на него же написали протокол, что оказывал сопротивление представителям власти. Какое? Когда схватили его рюкзак и высыпали кусочки на дорогу, и он спросил: «Или вы голодные? Так возьмите, ешьте». Это — сопротивление? Но написано черным по белому: оказывал сопротивление. Поди докажи, что не оказывал. Вызывали, допрашивали, передали на административное взыскание. Да и то тыщу раз подчеркнули, что это из особой милости, из того, что его года преклонные, а так бы закатали куда следует. И все тыкали носом в судимость. «Давно она снята», — говорил Николай Иванович. Оказывается, нет, не снята. Реабилитируют политических, а насчет верующих указа не было. «Пиши, добивайся». Николай Иванович написал. Пришло для принятия мер в облисполком к... Шлемкину. «Я те попишу!» — сказал он. Теперь вот добавляют к хулиганству и воровство.

— Поеду.

И поехал. И Веру, сколь ни просилась, не взял.

Этот следователь оказался человеком хорошим. Еще молодой, с усиками, много курящий, чем заставлял страдать слабые легкие Николая Ивановича, он долго листал тощее дело спереди назад и сзаду наперед, а потом спросил:

— А кто так вашей крови жаждет?

— Этого я не знаю.

— Знаете. Я могу вам одно сказать: того, кто выносил, я нашел. Вернее, он нашелся сам. Я взял это дело как прицеп к другим, у нас этих краж, если б мы только их и разбирали, нам бы за тыщу лет не расхлебать, взял и в конторе, в обеденный перерыв, спросил о вас. Сказали, что вы уже не работаете. Сказали, что с вами поступили очень несправедливо. Еще сказали, что легче поверить,

что камни с неба валятся, чем поверить в то, что вы могли что-то взять. Это женщины в бухгалтерии. Далее. Тут заявление одного, фамилию не скажу, он человек не конченый, потому что именно он вначале написал на вас заявление, а потом сам мне признался, что написал по наущению. Но кто наущал, очень просил оставить в секрете. Поэтому я и спросил: кто же так жаждет вашей крови?

— А как имя этого рабочего? Только имя?

— Имя? — следователь покосился в бумаги. — Павел. — И догадался: — О здравии хотите свечку поставить? Правильно. Не хватило бы у него совести, пришлось бы вас помытарить. А что, Николай Иванович, можно личный вопрос? Вы в Бога продолжаете верить?

— Не только продолжаю, но все более укрепляюсь в вере. И в каждом дне вижу Промысел Господа, — Николай Иванович перекрестился, хоть и не на что было креститься в Кировском райотделении.

— Веровали бы все, никаких бы краж не было! — Следователь отодвинул от Николая Ивановича пепельницу.

— А все и верят. Только не все об этом знают.

— И я верю?

— И вы.

— Н-не знаю, — недоверчиво протянул следователь. — Пожалуй, я по многим параметрам неподходящий. И курю, и бывает, что матерюсь, а иногда такое дело достанется, что только и остается рвануть стакан без закуски, чтоб напряжение снять.

— Молитв не знаете, вот и мучает вас лукавый.

Следователь зачем-то взглянул на сейф, потом на Николая Ивановича.

— У нас, знаете, как вас прозвали?

— Знаю. Сусаниным.

— Да. Вот я и связываю эту краску и ваши походы на Великую. Или нет связи?

— Есть, — сказал Николай Иванович. — Могу сказать, что знаю — кто.

— Н-ну, хорошо, Николай Иванович. Распишитесь мне на память — и с Богом. И еще вопрос: а того, кто над вами издевается, вы пишете о здравии, свечку ставите за него?

— Да.

— Хм! — Следователь протянул руку на прощанье. — Тогда уж и за меня поставьте, не сочтите за труд. А осо-

бенно за жену мою Татьяну. Никак ребенка не может родить. Болеет и болеет. Татьяна.

— А вы крещеные оба?

— Этого не скажу. То есть, — улыбнулся следователь, — не то что я скрываю, а не знаю. Мы же, знаете, как вырастали: вперед и выше!

— Есть молитвенное воздыхание супругов о деторождении. Только для этого надо быть крещеным и венчанным.

Следователь развел руками.

Ночевать Николай Иванович хотел в общежитии. Но его решительно заарестовала Катя Липатникова. Спорить с нею было бесполезно. Входящая в церковную двадцатку единственного в Вятке храма, она этим очень гордилась, она была воинственно набожна. Именно так она и говорила: «Воинственно! Было общество воинственных безбожников, пришла пора воинственных верующих». Она непрерывно впадала в грех осуждения, но этого себе в грех не ставила. Ходила на Великую ежегодно, несла всегда самые тяжелые хоругви, цепляла на плечи мешки тех, кто послабее, иногда и на себе перетаскивала старух через грязи и топи. Голос ее был громогласен. Она заявила, что Вера оказалась похитрее ее, увела к себе старчика. А ведь у Кати Липатниковой была своя квартирка, хоть и маленькая, а отдельная. Все в ней было чисто, устелено половичками, все блестело. Образа в дорогих, сверкающих киотах и старинный, высокий угольник — составной трехэтажный киот в переднем углу Катя Липатникова завещала в Великорецкий храм, когда его вернут верующим. «Вернут, и с поклоном вернут!» — пророчила она.

Они близко познакомились с Николаем Ивановичем как раз тогда, когда ломали церковь Федоровской Божией матери. То, что она не погибла вместе с церковью, Катя Липатникова простить себе не могла. Шлемкин, тогда совсем молоденький комсомольский работник-активист, записал Липатникову в сумасшедшие, еще бы не сумасшедшая: плюет в глаза представителям власти, именует их иудами, сатанятами, чертями, а они при исполнении. Тогда Катя Липатникова кричала: «Пойдем, бабы, внутрь, пусть нас вместе убьет!» И всегда потом громогласно винила и себя, и баб: вера ослабла, и церковь упала. «Восстал народ на народ внутри народа», — кричала она. Катя говорила, что ей было явление Трифона Вятского преподобного. «Пришел под утро, стоит, на батожок навалился. Покачал головой, сказал: «Пустует храм, откроется

храм перед концом света. Но церковь восстановите — спасетесь. Кому церковь не мать, тому Бог не отец», — так сказал. Еще сказал, что не Бог будет судить, а будет судить совесть, Бог будет только печати ставить, утверждать. И все живыми будут на суд приведены».

Это именно бесстрашная Катя Липатникова входила в любые кабинеты, требуя свободы совести. Шлемкин от нее просто бегал. Давал указание священнослужителям укоротить Липатникову, а те, зная характер прихожанки, говорили о Липатниковой Николаю Ивановичу. Ибо только Николая Ивановича она могла послушаться. Могла. А могла и не послушаться. Она гордилась тем, что «звон отхлопотала», добравшись до оч-чень высокого начальника, изумив его сравнением с... петухом. Да, именно так. Сказала: «Петух — и тот поет, Бога славит, а какая у него голова, маленькая, а у тебя, посмотри в зеркало, у тебя голова поболе петушиной, должен понимать, что в церкви должны быть колокола. — Еще добавила: — Суворов вон какой умный, почему? Александр Невский почему тевтонов расхвостал? Донской Димитрий почему навеки славен? Кутузов почему негасим для потомков? В Бога верили! Неужели ж ты их значительней? Кабинета у них такого не было, это точно, а в остальном ты кто?»

Так что Шлемкину оставалось одно: считать Липатникову ненормальной и тем оправдывать свое перед нею бессилие. Но ведь и священники терпели от нее: она знала все службы всем святым на все дни, попробовали бы они какую-то запятую пропустить. «Я — маленький человек, темная я, но ежели такие великие люди, как (следовало перечисление Мономаха, Калиты, Невского, Донского, Суворова, Кутузова...), если они веровали, то мне, пыли и грязи человеческой, как не веровать?»

Сейчас она привела Николая Ивановича к себе, попыталась его разуть, но Николай Иванович сумел это сделать сам. Катя ходила из кухни в комнату, голос ее гремел:

— Они, ироды содомовы, думают, что если в крематорий ныряют, так от Суда уйдут, — ждите! Я до них и на том свете доберусь, я их там всех перебуровлю. Я тебя одного к этому Льву Ильичу больше не пущу, что это такое — орет на тебя, а ты, голубь, из ковчега излетающий, молчишь и терпишь.

— Бог терпел и нам велел.

— Где? — грозно вопросила Катя, — где сказано — терпеть? Ударят по правой щеке, подставить левую, так? Так! И Писания я слушаюсь, и смиренно подставляю. Но где сказано, что снова и снова подставлять, где? Не мир, но меч! Семьдесят лет Вавилонскому плену миновали, надо укрепляться! — Тут же Катя сменила голос и позвала Николая Ивановича за стол: — Прошу, Иваныч! Теперь красота гостей приглашать — Успенский пост. Нету мяса, и не взыщите, нету масла, и не надо. Дураки наши руководители, им в руки плывет руководство страной, они отпихиваются. Пост — дело государственное. А то они дождутся: три дня рабочим хлеба не давать — и любое правительство с любых подпор слетит. Иваныч, да что это такое — у них будто голова в желудке, брюхом думают, душу вытеснили, нехристи!

И за столом Катя несокрушимо воевала со Шлемкиным и другими нехристями и наставляла Николая Ивановича, как ему жить.

— «Я вам добра желаю, — кричит, — я, я!» Говорю ему: я — последняя буква в алфавите, стоит нарасшарагу, ты, говорю, хочешь и начальству угодить, и с нами покончить, но трус ты последний, говорю. Меня запугать! — Катя показала свои отнюдь не старушечьи ручищи. — Мне под восемьдесят, и меня запугать! В его годы я по кедрам как белка бегала. Залезу на кедр и ногой по ветвям топаю, шишки отряхиваю. Раз сорвалась, но на мне была мужнина гимнастерка со значком Осоавиахима, она зацепилась и выдержала. Это было второе крещение, когда я сорвалась, я в ту секунду взмолилась святому Николаю, он спас. А тонула! А с воза падала! Так какие же у меня страдания, да у меня их не было, меня всегда Бог спасал. И муж мне от Бога достался, Федор Ондреяныч, не пьяница, песельник. Все за столом напьются, а он поет и поет. Песен знал! За меня его таскали, за меня его не повышали — жена в церковь ходит, в церкви поет. А он меня любил, мы тайно венчались. А у сестер у всех мужья пьющие. И всех я сестер похоронила, и Федор Ондреяныч мой, песельник, в чужой земле... — слезы пробрызнули на ее глазах.

Николай Иванович коснулся плеча Кати. Старуха подняла на него мокрые просветлевшие глаза, стала пододвигать ему тарелочки с сухариками и сушками. Потом все же договорила:

— Муж был у сестры, он живой, Вася. Зять мой. Похоронил сестричку, она у него рано опочила. Он сам

говорит: она у меня работала как трактор. И он после нее уже три раза женился, и все наперекосяк, все горшок об горшок, и опять: не трожь мои куклы, я с тобой не играю. Сивый уже весь, выпьет — по сестре моей плачет. Спрашиваю: «Трактор жалко, работать на тебя некому?» Нет, говорит, на лавку бы посадил, за водой бы сам ходил, лишь бы жила. И ревет, и ревет. Я его приучила писать памятки, так стал ходить, поминать. Кто меня слушает, тот спасается, сейчас вот внучкой, Настей, займусь.

Потом Катя снова вспоминала, как ходила в горисполком требовать колокольный звон:

— Говорю: я в человеческом городе живу или в пустыне? Говорят: в городе. Нет, в пустыне — нет колокольного звона, как это может быть, а? Нехристи! И креста боятся, и звон им ненавистен. Трясутся от страха, а думают — от негодования. У! Иваныч, Иваныч, дураков-то сколько я видела! Ты сердцем другой, чем я, ты страдальцев видел, а я дураков. Вон сколько всей земли, копай ее. Копай, копай, много ли золота найдешь.

После чаепития Катя как-то резко сменилась в лице, как-то сконфуженно и просяще посмотрела на Николая Ивановича:

— Я ведь, Иваныч, в свои места родные ездила...

— На могилки?

— На какие могилки? На пустыри! — воскликнула Катя и вытащила из кармана черного платья сложенные листки и опять чего-то застеснялась. Николай Иванович, помогая, протянул руку, но Катя свою отдернула и тут же повинилась: — Да, прочти это, прочти. Но прежде прости меня, дуру неграмотную. Это ведь стихи, Иваныч, согрешила на старости лет. — И заторопилась: — Поехала в свои места, дай, думаю, пока ноги ходят, тем более после Великорецкой. Поехала. Район был Просницкий, сейчас Чепецкий, там я до войны возрастала. Все сплошь знала, всю округу, всех мужиков, которые на войну ушли. Да ты все поймешь, я не стерпела, как все узнала, сердце не стерпело, а может, запись моя негодна, то выбрось. Я не смогла, чтобы их фамилии не записать. Они там погибли, а их деревни здесь погибли, я это выразила.

Отдала листочки и тут же ушла.

Николай Иванович хотел было надеть очки, но Катин почерк был такой крупный, что читалось легко:

«Название «Солдаты из загробного мира»

Вятские парни хватские,
в увольнение решили сходить,
деревни свои и родных навестить.
Поездом быстро домчались,
на родной земле оказались.
Как и раньше бывало,
с разъезда, с Каныпа, пешочком всегда ходили,
к женам, детишкам домой с покупками спешили.
Пошли земляки по тропинке гуськом.
Шаклеин сказал:
«В нашу деревню Прокудино мы попадем».
Шли земляки, быстро шагали,
но тропинку совсем не нашли, потеряли.
Ночь, ничего не видать,
пришлось напрямую шагать.
Шли, спешили.
«Шаклеин Иван,
мы вашу деревню, вероятно, проскочили».
«Не тужи, браток, правей возьмем,
в деревню Сунгоровцы мы попадем».
Километр за километром отмеряли,
вроде деревня стоит впереди, увидали.
«А ну, Востриков Сашка, в разведку шагай,
в хату родную нас приглашай».
Пошел Востриков, а деревни нема,
только стоят березы да тополя.
«Хлопцы, влево немножко свернем,
в Боньдю родную мы попадем».
Смотрели вперед, смотрели назад,
а деревни опять не видать.
«Что ж, друзья, совсем заплутали,
деревни свои потеряли?
А ну, давайте вправо по плану возьмем,
в деревню Пихтовец сейчас попадем».
Лес перешли,
в гору взошли.
«А ну, Метелев, вперед шагай,
в избу нас приглашай».
«Да, местность моя,
поля, перелески, луга,
а где деревня, друзья?»
«Подожди, Метелев, земляк, —
Князев ему говорит, —
наша деревня на угоре стоит».
Но только рябина с черемухой стояли,
словно солдат ожидали.
«Братцы, товарищи, влево возьмем,
в нашу большую деревню Векшинцы мы попадем.
В два этажа школа наша стояла,
речка Филипповка у нас протекала».
«А ну, Поскребышев, вперед иди,
в избу нас зови,
кваску бы не против напиться,
немного хоть подкрепиться».

Кругом осмотрелись — деревни нема.
Что за холера, что за чума?
Неужели прошел ураган,
все до бревнышка в речку скидал?
А может, и здесь Гитлер-зверь сумел делов натворить,
наш народ загубить?
«Нет, братцы, жена мне писала,
что немцев в глаза не видала,
а вот поляков пришлось повидать,
вместе пришлось работать,
грешным делом церковь в Поломе ломать.
Деревья, леса целы,
не было здесь ни бури, ни войны».
Под гору к речке спустились,
воды напились
и по речке пошагали,
в деревню Мальчонки идти загадали.
Место нашли, где деревня была,
пусто кругом,
хоть один бы дом.
«Эй, бойцы, начинает совсем темнеть,
надо на ночлег попадать.
Наша деревушка была мала,
пусть мала, да зато весела,
гармошки чинили, весело жили».
«Давай, Рязанов, твой черед,
шагай вперед».
Видит Никола — местность гола,
сиротинки стоят тополя,
да старая ива жива осталась,
которая прямо в окно приклонялась,
речка Сырчинка так же текла,
такие ж угоры, поля,
но исчезли деревни твоя и моя.
«Токарев Иван, твой черед,
иди вперед,
на гору взбирайся,
где твой дом — разбирайся».
«Братцы, и у меня один тополь стоит,
только листвой шелестит».
И опять земляки шагали,
шаг за шагом километры мелькали.
«А здесь стоял небольшой хуторок,
звали его Помелок,
но нет его: кругом тишина,
только качаются береза до сосна».
«С речкой Сырчинкой надо прощаться.
в Пантюхино будем добираться».
Лес перешли, полем шагали,
по дороге обо всем рассуждали:
как пахали, сеяли, косили,
друг ко другу на престольные ходили.
«А ну, братцы, ура, деревня моя.
избы стоят,
три огонечка горят».
Пантюхин вперед пошагал,

избы своей не узнал,
в окно постучал:
«Здравствуй, хозяйка, я Пантюхин Иван,
что ж, не узнала?»
«Нет в деревне у нас мужиков», — она отвечала
и побыстрей дверь на засов запирала,
а сама к окну пошагала,
вслед смотрела, солдат провожала.
«Земляки, в километре деревня Огарыши должна
стоять».
Но нет ее, не видать.
«А где же наши любимые женушки,
наши детишки, наши внучата,
милые красивые наши девчата,
когда нас на войну провожали,
любить и ждать обещали.
За тысячи верст мы к вам пришли,
но никого не нашли.
А помните, братцы, как друг друга мы хоронили,
слезы лили, как же нас они позабыли?
Ах, родные, вы же в наших сердцах дорогие!
И никто никогда не узнает о нас,
где мы жили, где наши деревни стояли,
за что же тогда мы воевали
и смерть в чужой земле принимали?
А ну, братцы, в строй становись,
любимой вятской земле поклонись!
Мужайтесь, солдаты, в часть доберемся,
во всем разберемся!»
Низко головы солдаты склонили,
на небо молча они уходили...»

Николай Иванович отложил листочки и услышал, как Катя теперь уже громко всхлипнула и высморкалась.

— Я бабам читала, ревмя ревут, — сказала она не без авторской гордости. И объяснила: — Это я все исходила, все тропиночки, вот уж горе так горе. Стою под конец у бывшей своей деревни, а туман, такой ли белый туман, и вот носится, кругами ходит над деревней огромная стая голубей белых. Я так и думала — голуби, перекрестилась, вот, думаю, в воспоминание душ загубленных летают, а ближе-то подлетели, я и села и ахнула: вороны, сплошь вороны. А сквозь белый туман и они белыми казались. Та́к нам, Иваныч, вместо голубочков вороны над нами летают. Так я пеньком и сидела, и сколь просидела — не знаю, там и начала шептать вот это, будто от имени солдат. Потом записала. Ак дочитал, не отбросил?

— Дочитал, Катя.

Как ни возражал Николай Иванович, Катя постелила ему в комнате, сама долго гремела на кухне. Мало того, кроме лампады Катя затеплила перед угольником боль-

шую свечу. «Ради дорогого гостя. И не вздумай эконсмить!» Так и засыпал Николай Иванович под Катины молитвы и глядя на мерцание желтого огонька свечи и голубенького — лампады. По потолку, как зарницы по небу, продрагивали светлые пятна, отраженные от начищенных окладов.

И утром Катя Липатникова не отстала от Николая Ивановича.

— Я тебе одному не доверю пойти к этим прохиндеям, — это она говорила о мастерских по производству надмогильных памятников. — Банные обдерихи, дак как они геенны не боятся?

Николай Иванович даже пожалел, что рассказал ей еще об одном своем заделье в городе — заказать памятник брату. И верно, пожалел, — Катя все не все, а половину дела испортила. Во-первых, было дорого. Но это-то как раз от мастеров не зависело: до́роги гранит и мрамор. «Конечно, — стала шуметь Катя, — сколь кладбищ разворотили, нажились, нехристи!» — «Кто, мы воровали?» — спросили мастера. Во-вторых, памятников с крестами и в виде крестов мастерская не делала. Они показали образцы. «Руки отсохли сделать крест?» — воспросила Катя. «Не отсохли, а не имеем права». — «Покажите бумагу!» — потребовала Катя. Показали. «Черным по белому, читайте, мамаша!» — «Сам читай, помоложе глаза, чать!» — «Пожалуйста: «...производить согласно образцов и описаний». Вот, мамаша, образцы, вам показывали». — «Вы же не только неверующих хороните». — «Хорошо, вам признаемся по секрету: когда делаем из мраморной крошки с цементом, то многие заказчики просят внутрь заливать кресты. Иначе не позволяют».

Катя плюнула, обтопала свои ноги в больших парусиновых туфлях, еще довоенного образца, и повлекла к выходу Николая Ивановича.

Но Николай Иванович все-таки оформил заказ.

До самого вокзала, до самой электрички проводила Николая Ивановича Катя Липатникова. Билет не дала купить, сама купила. А на самое прощание сунула в руки сверточек. «Развернешь по дороге». И уже совсем было повернулась, как, не утерпев, спросила:

— Вера там, конечно, в передовые доярки поступила?

— Какие доярки — вся больная.

— Это я вся здоровая! — высказалась Катя Липатникова.

Они перекрестили друг друга.

А подарочек у Кати был такой дорогой, что и не высказать. Кроме овсяных лепешек на растительном масле был в свертке тщательно завернутый набор открыток — виды Вятки начала двадцатого века. И не просто виды, а именно праздник Великорецкого Николая Чудотворца. И все было снято и описано. Отец Геннадий много рассказывал о крестном Великорецком ходе, празднике, ярмарке, он сам хаживал с богомольцами. И теперь его рассказы наложились на изображение. Не меньше десятков тысяч было участников — вся река была в лодках, пароходах. На центральном, «Святителе Николае», везли Чудотворную икону. Хоругви изо всех церквей, а было их в городе, кроме многих и многих соборов и монастырей, числом до сорока, хоругви неслись при торжественном благостном пении. В особых парадных костюмах шло духовенство, при полном параде выходили войска, выводили военные оркестры. Передача иконы на «Святителя» происходила с особой, расписанной по-старинному ладьи. На ней стояла часовенка. Гребцы, в красных шелковых рубахах с голубыми перевязями через плечо, дружно взмахивали золотыми веслами. Ладья неслась по Вятке, только что не взлетая, так была похожа на птицу. Чудотворную носили по заречным селениям. Шестерки лошадей потом привозили в Вятку сундуки с медными грошиками. На эти деньги строились новые церкви, подновлялись старые, приводились в порядок кладбища. И во все время крестного хода на колокольне Богоявленского собора, как бы отмечая размеренный шаг богомольцев, следовавших к месту обретения иконы, бил и бил колокол. Шумела Великорецкая знаменитая ярмарка, не уступавшая по размаху нижегородской Макарьевской.

Рассматривать открытки и читать подписи пришли к Николаю Ивановичу и Вере Рая и вдова Нюра с Селифонтовной. Вдова Нюра просто сидела поодаль и покачивала головой. Рая потихоньку сказала брату, что Нюра путает ее дом со своей комнатой в бараке и все говорит: «Зачем это Алеша окно переставил?» Николай Иванович рассказывал об иконе те чудеса, что дошли в летописях о Вятской стране. Икона была обретена вскоре после Куликовской битвы, при великом князе московском Дмитрии Донском. Крестьянин увидел, что от сосны исходит странное сияние, золотое свечение. Он ехал за сеном. И когда ехал обратно, вгляделся пристальнее: сияние исходило от иконы. Он привез ее домой, даже не подозревая, что икона чудотворная. А открылось так. Был другой

крестьянин, лежавший в немощи двадцать лет, и ему в видении открылось, чтобы он шел помолился именно этой иконе. Первый раз он не поверил, послушался второго раза. Его принесли на носилках, а обратно он шел сам.

— И ходили каждый год, — рассказывал Николай Иванович, — а в 1552-м по нерадению не было Великорецкого похода, и на вятскую землю обрушились беды — снег и град шел в июне и в июле. И с тех пор ходили неотвязно. Было дважды хождение в Москву с образом святого Николая Великорецкого, первый раз при Иване Грозном. Как раз строился собор Покрова на рву, то есть будущий Василия Блаженного. Принесли наш образ, нашего Николы. Вдруг такое дело: оказывается, одна из церквей собора не определена, то есть какой будет престол? И решили: Николы Великорецкого! Вот веды! — Николай Иванович прервался. — Тут уж все мы не молоденькие, а хотелось бы побывать в соборе нашего святителя, посмотреть, поклониться.

— А вот поеду нынче не прямо в Ленинград, а через Москву, и зайду, и побываю! — высказалась Любовь Ксенофонтовна.

— Дай Бог, — отозвался Николай Иванович и продолжал: — А еще раз крестный ход при нас не состоялся, в шестьдесят первом. Тогда были гонения на церковь тихие, подлые, но непрерывные. Сейчас вот тащат Никиту на пьедестал, а гореть ему в огне. Да уж и горит, прости его, Господи. Какие страсти были! Церкви жгли, рушили, а на стариков, старух шли с оружием, издевались в своей стране. Опять и опять в любви к Богу пытали. И в том году, как ход сорвали, поплатились мы церковью Федоровской Божией матери. Как на нас кричали! Кричали: последний гвоздь забит в гроб Великорецкого чуда. И тогда сделали на Великой учения ДОСААФ, вывели призывников-несмышленышей и часовню над источником взорвали. Как старались перед дьяволами выслужиться. Бог наказал и Бог спас — опять ходим.

— А меня спас от рейдов безбожников. Воинствующих. В обществе, прости, Господи, пришлось состоять, силой загнали, а в рейдах не участвовала. Гриша Плясцов, тот был неистовый. Меня требуют, велят: председсовета, обязана, Советская власть, а у меня или жар, все видят, или сыпь по всему телу. Вот как отводило. — Это рассказывала Любовь Ксенофонтовна. — Еще был Гриша Светлаков...

— О-ой! — вскрикнула Рая. — Этому-то Грише на

лоб плюнуть — в глаза само натечет, такой был осатанелый.

Освобождая женщин от воспоминаний, Николай Иванович произнес:

— Прости, Боже, рабам своим, не ведавшим, что творили.

— Этих Гриш сотню скласть против вашего Гриши, и сотня не потянет, — сказала Селифонтовна.

Подошла и зима. И пусть она была каленая, малоснежная, ветреная, старики переносили ее легко — дров не жалели. Дрова были сухие, лежали в крытом дворе, давно наколотые, будто их и ждали. Изба быстро выстывала, топили вечером подтопок. Да и Николай Иванович постоянно избу упечатывал. Еда у них была незатейливая, да хорошая. Картошка своя, крупы в колхозе Рая выписала, масла растительного в магазине было безвыходно (это Раино выражение — безвыходно, то есть — есть постоянно), также было и молоко от Раиной Цыганки. А запустили Цыганку — нашлось молоко у соседей. Да и какие уж едоки были Вера и Николай Иванович — мяса вовсе не ели. Овощи были. То есть зимовали в достатке, в тепле.

Приходил Степан. Видно было, намолчался, рад был Николаю Ивановичу. Чаще бы приходил, да, видно, стеснялся. Приходил, крестился на голубенький огонечек лампадки у божницы, почти насильно всякий раз усаживали его за стол. Пил чай с блюдечка.

Однажды Степан сказал:

— Привык у вас с блюдечка чай сербать, как к себе поеду, надо будет отвыкать или своих приучать.

Сказано это было — ясно, что не про блюдечко. Николай Иванович поставил свою чашку на скатерть (Вера не позволяла пить чай на клеенке) и осторожно спросил:

— Значит, надумал все ж таки?

— Надо... — Степан понурился, потом поднял голову. — Надо. К тому идет. Радио слушаю, к тому идет. Греко-католикам тоже дадут жить. Не хочу в сектантах умирать.

— Старухи тебя здешние, Степан, жалеть будут, — сказала Вера.

— И я тоже буду жалеть, — ответил Степан. — Но я уже всяко-всяко передумал, всякую думку в голову брал. И сон стал видеться, будто маштачу себе гроб, а крышка

получилась такая гарная, такая ладная, но дуже великая, будто на хату. Думаю: надо опилить. Захожу с пилою та и замер: вся крышка расписана, как та мазанка, петухами и рушниками, як маты к Пасхе расписывала. Ай, думаю, не буду опиливать, так покойно мэни будэ. И все чую, як дивчины та хлопцы колядуют, со звездой ходят. Ну, так як, Мыкола, какое будэ твое слово?

— Какой я тебе советчик, — сказал Николай Иванович. — Все равно ведь уедешь.

— Боюся. Боюся там в первый день скончатися от сердца, боюся.

— Не бойся, Степа, — быстро вставила Вера, — не бойся. Именно ты правильно решил. По могилкам ты затосковал, они тебя зовут. Походишь, над ними почитаешь, и тебе будет полегче, и им. Как Коля боялся сюда ехать. А видишь, как все слава Богу.

— Так у Коли Вера якая! — улыбнулся Степан. — Таку бы Веру ухапить, то и в ад бы не забоялся.

— Ой, не греши, — отмахнулась Вера. — Оружия вы в руки не брали, но жениться-то не было запрета?

— Не было. Да невеста была така огневая, что я забоялся.

— Кто, если не секрет?

— Тогдашняя предсельсовета... —Степан развел руками. — Любовь Селифонтовна. Когда тебя и нашего старца увезли, меня по молодости административно привлекли на принудиловку. И я отмечался в сельсовете, что никуда не сбежал. Тогда и полюбил. Приду, она берет тетрадь высланных и привлеченных, сделает отметку — иди. А я не иду, сяду на корточки и все чекаю, чекаю...

— И ничего не вычекал?

— Ничего. Молодой был, телятистый. Но раз сорвался. Подстерег у выхода, говорю: «Председатель, послушай, я песню выучил. — И ахнул ей частушку: — Сидит Сталин на березе, Троцкий выше — на ели. До чего, христопродавцы, вы Россию довели?»

— О-о-ой! — протянула Вера. — И что Люба?

— Схватила за чуб и голову мотает. Так помотала, помотала и шепотом велела: «Иди и частушку забудь!» — Степан ласково посмотрел на Веру. — Частушку я не забыл, но и любовь Любы не заслужил. Она, я потом понял, Гришу любила. Понял, когда вашей мати похоронку Поля Фоминых принесла, тогда Люба вся осунулась, добилась того, чтоб поставили рядовой колхозницей, а потом ее в Ленинград мобилизовали.

— Ты приходи, Степа, приходи, пока не уехал, — попросила Вера.

И долго смотрела потом вслед Степану в окошко. Тот шел тихонько, опираясь на костылик.

И опять явилась птица залетная — Геня, племянничек. Все приставал с расспросами, как дальше жить в такой международной и внутренней обстановке. Николай Иванович терпеливо отвечал, что ничего не понимает ни в какой обстановке, что этих обстановок, пока он сидел, сменилось много, и что надо жить не по обстановке, а по совести.

— Епонская мать! — восклицал Геня.

Но Николай Иванович обрывал:

— Язык прикуси!

— Как прикуси? А тогда зачем дали гласность?

— В прямом смысле прикуси! Как вылетело гнилое слово или ругательство, если не смог удержать, допустил до этого, то хоть вослед себя накажи, кусни поганый язык. В прямом смысле. И так и отвадишь себя от похабщины. Вдумайся: не то нас оскверняет, что в нас входит, а то, что от нас исходит.

Геня сникал, сидел потерянно, он старался в эти дни изгнания из семьи не пить (да и где было взять?), сидел, потом обещал, что больше плохих слов произносить не будет.

В день отъезда он в одиночку сходил к отцу, а заранее не сказал, что собирается, вернулся к обеду и отчитался тем, что целый уповод (он именно это употребил слово, ныне редкое, — уповод, в смысле полдня) он воспитывал Арсеню.

— Яйца, конечно, курицу не учат, но, дядь Коль, это же невозможно: мат на мате сидит и ножки свесил. Родной отец! ёштвай корень, о! дядь Коль, прости. — И Геня показал, что кусает свой язык, и язык этот в доказательство высунул, объяснив, что даже кусал его до крови. — Дядь Коль, но главному ты меня не научил. Вот я перестал ругаться, перестану, к этому идет, действительно, пусть жизнь тяжелая, но мать-то при чем, за что ее по матушке? Ругаться перестану, курить тоже поднатужусь и брошу: во рту противно, зубы желтые, с утра кашель, брошу! Но, дядя Коля, как, как отстать от питейного дела?

Николай Иванович поглядел внимательно:

— Это, Геня, тоже достижимо. Садись.

— Ты, дядь Коль, мелко не кроши, ты сразу главный параграф: как бросить? — Геня сел, однако рванулся было рукой в карман за сигаретами, но отдернул ее и жестом показал — не буду! — Мелко не кроши, не заводи проповедь, на меня время не трать, сразу скажи: можно суметь не пить?

— Можно.

— Как?

— Только через веру в Бога.

— А по-другому?

— По-другому ни у кого не получилось, — ответил Николай Иванович. — Если гипнозом отучают, то другого лишают, гипноз иначе не может, он укрепляет в одном, а подавляет другое. А про ЛТП и про наркологию ты лучше меня знаешь.

— Но как в Бога поверить?

— В Бога все верят, но не все об этом знают. И бесы в Бога верят, иначе бы нас не морочили.

— Но как не пить-то, дядя? — закричал Геня. — Как? Ведь подсасывает, ведь сорвусь, я же знаю, я же больной...

— Геня, ты уже на пути к излечению, раз понимаешь, что больной. Советовать я ничего не могу, но могу сказать из личной жизни.

— А ты пил? — вытаращился Геня.

— Да, и сильно.

— В лагере? В лагере пил?

— В лагере. Когда в войну и после много леса требовалось, то у нас было послабление, строгости оставались, но издевательства утихли, лагерь оценивался по кубометрам. А я, как грамотный, был при техноруке, при передаче леса с лесосек на Нижний склад. Там вольные, они иногда хуже нашего питались, нам стали подбрасывать. Я и пристрастился менять пайку на самогон, и попивал. Молод был, думал — не затянет, да и откуда отраду брать?

— Отрады все же хотелось? — иезуитски спросил Геня и тут же ответил себе: — Ну да, живые ж люди. Ну и втянулся?

— Втянулся. Как-то дурел. Самогон был, конечно, сивушный, да еще иногда махоркой подбалтывали, чтоб сразу в башку. А молитвы — сам понимаешь, за то и брали, — читал. И посетило меня отчаяние на Новый год, думаю, ведь это что такое — и в тюрьме сижу, еще

и гибну. Причем, Геня, вот был бы ты верующий, понял бы, тюрьма мне была не в укор, не в поношение, тут не моя вина, тюрьма меня с Богом не разлучала, а питье, это пойло поганое, разум мутнило. И вот так взгорнлось именно на Новый год...

— Что с горя и выпил, — предположительно продолжил Геня, — я тоже полощу со всего: с горя, с радости, решаю перестать пить — и на радостях по этому поводу!

Николай Иванович переждал.

— Нет, Геня, немного не так. Меня начальство в то время за крест не тиранило, а охранники сами больше нашего боялись. Нам чего бояться? Нечего. А они в страхе. Да тем более шел поток изменников Родины, какие они изменники — вышли из плена и снова в плен. Восстаний боялись охранники и часто зэкам потрафляли. Мало ли — сегодня с автоматом, завтра с лопатой. То есть мне тогда можно было хоть под пробку наливаться, а на меня напало такое томление, такая тьма объяла, что молюсь, молюсь — и не легче. Думаю, ведь человека от меня не остается, прямо реву, а не легче. На Новый год наши немного сгоношили, после отбоя зовут, суют. Я говорю: не могу и не буду. Они ржать, когда это бывало, чтоб зэк отказался выпить. «Не буду!» — я уперся. Ну, уперся и уперся, им больше осталось, насильно не лили. Но еще одно сказали: «Ты вот за Россию все убиваешься, Россию твою нехристи калечат, ты вот и выпей за Россию». — «Не буду!» — «Как, за Россию не выпьешь?» — «А России лучше, чтоб я за нее не выпил!» — вот как я ответил и вот как тебе скажу, ибо нехристи терзать ее продолжают. Или еще так себе говори: вот эта рюмка сгубит мою душу, эта рюмка как яблоко, которое змий через Еву скормил Адаму. Не ел бы, греха бы не было.

Николай Иванович понурился. Геня молчал тоже. Николай Иванович поднял голову, тихо улыбнулся и протянул будто для себя:

— Во-о-от, дали год. Отсидел двенадцать месяцев, вышел досрочно.

— Повтори, дядь, повтори, — оживился Геня, но сам тут же ловко повторил, запомнил с одноразки. — А вообще, дядь, сейчас юмор только в тюрьме и остался, так?

— Дальше, Геня, дослушай. Пример с яблоком тебя не спасет.

— Не спасет, — согласился Геня. — Мне яду налей,

выпью. Нинка грозится так-то сделать. А я иногда дохожу — жить неохота, то думаю, что еще ей и спасибо скажу. Иначе, чего же я, какую наследственность передаю?

— Новый год прошел, я сколько-то потерпел и опять сорвался и опять мучился. Но молился. И вот наступило десятое сентября, я тоже тогда молился и особенно сильно от избавления от беса пьянства. И меня стало тошнить, прямо выворачивать, прямо чернотой исходил, думал, жилы на шее лопнут, а живот острой болью резало. Вытащило меня, выполоскало, в санчасть утащили, думали — отравление... Ну... вот, Геня, осталось досказать маленечко. Я тогда святцы плохо знал, знал основные праздники, а когда вышел, святцы изучил и ахнул от счастья, ведь это именно так и было, что святые мученики преподобные Вонифатий и Моисей Мурин меня спасли. Понимаешь, память Вонифатия падает на первое января, а Моисея Мурина — именно на десятое сентября. Именно они охраняют от винного запоя. Так что, Геня, молись и веруй, что добьешься трезвения тела и мыслей.

— Хорошо, — вздохнул Геня. — Хорошо, да не на мою натуру. А иначе как-нибудь нельзя?

— Нельзя. Если чего и достигают русские, только с помощью Бога, другого нет.

— Не-ет? — изумленно и возмущенно вскочил Геня. — Еще как есть-то! Ты посмотри этот телевизор, ты ж не смотришь, ты посмотри, как без Бога обходятся! Смотри, как на любое кидаются. Эти же, попы-то, уже стали выступать, что ж нет результатов?

— Хорошее свершается медленно. А на плохое кидаются оттого, что оно грешных оправдывает в их грехах. А еще от лени. Хочется быть здоровым, в любого жулика поверят. А здоровым зачем быть?

— Я уж до чего доходил, до белой горячки, — гнул свое Геня, — представляешь — такое виденье: птенцы, вроде как коршуньи, голые, когти железные, вцепляются в икры, волокут ко краю. Проснулся — на ногах раны. Вот, дядечка. А тебя можно попросить за меня молиться?

— Я это делаю, Геня, делаю. Да, видно, грешен сильно, видно, недоходчивы мои молитвы. Тут, Геня, все-таки надо за себя самому молиться. А пуще того Бог труды любит, вера без дела мертва. Можно и свечи ставить, можно и молитвы читать, а успеху не будет. Свечки наши могут быть святым противны, а молитвы от уст лживых коротки.

— Почему лживых?

— Сейчас ты молитву читаешь, а через полчаса этим же языком лжешь.

— Ох, дядя Коля, все бы сидел бы да слушал бы тебя, а ехать надо.

Геня встал. Из кухни вышла Вера. Оказывается, она тихонько там сидела.

— Возьми-ко ты, Геннадий, да ты Арсентьевич,— сказала она, давая Гене завернутую в тряпочку просфорку. — С утра еще до еды и с молитвою. Понемногу. А днем, как потянет на выпивку, подумай: хорошо ли божий хлебец питьем осквернять? Еще и это поможет.

— Дай Бог! — воскликнул Геня и, может быть, впервые в жизни перекрестился. — Я, тетка Вера, — он уже и Веру записал в тетки, — я тебя вот о чем только попрошу: дай мне молитву от злой жены, то есть как от нее оборониться? Чтоб характером была как ты. Условие!

— Есть икона «Умягчение злых сердец», есть, — ответила Вера задумчиво. — Только ведь зло не от добра рождается, от зла. Злая жена посылается в наказание за грехи, вот и подумай, почему у тебя такая Нина, как ты описываешь.

— Ну! — воодушевленно закричал Геня, пропуская Верины слова меж ушей, — как в больнице побывал. Как в больнице! Язык весь искусанный, пить не хочу и не тянет, явлюсь домой к ночи — и ей: «Ты перед сном молилась, Дездемона?» Дядя Коля, я нашу чудиновскую породу продолжу! Я, дядь, камень.

— Подожди хвалиться, — урезонил Николай Иванович, — дай хоть петухи попоют. Тогда и увидим, камень ты или трость, ветром колеблемая.

Но Геня не понял евангельских аналогий и отбыл, совершенно уверенный в своем исцелении, в своей новой жизни.

14

Двух недель не прошло — явился Геня. Тихий, виноватый, ясно, что с похмелья. Молча посидел, повздыхал.

— Нет, дядя Николай, плюнь на меня, не возись, не бери в голову и не молись за меня. Пусть! Я знаю, зачем я буду жить, я буду жить для примера, как не надо жить. На мне будут учить, начиная с пионеров: «Вот, дети, что вышло из безвольного дяди». Меня, дядя, завгар

в слесаря окончательно перевел. Это он специально, он еще тот жук, он к Нинке клинья бьет. Она же у него была, я же видел, что они не первый раз беседуют. От жук! Говорит: на самое лучшее место перевожу. Самое пьяное, а не самое лучшее. Лучшее! Все же ко мне в очередь, все же знают: Геня что сделает, туда сто лет не надо заглядывать. И денег не беру. Значит, что? Значит, вывод ясен: Гене посудину. А Геня еще до того не одичал, чтобы один пить, так? И что? И вот я перед вами.

— Чаю попей с дороги, — позвала Вера.

— Нет, к отцу пойду. Вы — люди святые, с вами тяжело, при вас мне стыдно не то что чай пить — сидеть вот тут, на этом стуле, и то стыдно. С отцом легче. Дров ему тем более надо подрубить. И вам, если что, любое сделаю. Не осуждайте!

Они и не осуждали. В Святополье было кому Геню осуждать — тетке Рае. Она его крепко, по ее выражению, перепаратила, в первый день не отпустила в Разумы, истопила для Гени баню, дала после бани из своих рук сто пятьдесят, а уже утром, наложив в сумку для брата печенюшек, говядины и баранины, утром послала сама.

Вернулся Геня через три дня. Веселый. Объявил, что с отцом у них все было тип-топ. Так и сказал. Что пели лагерные песни. Что некоторые Арсеня до конца не знает и велел спросить у брата.

— Вот эта, например: «Докурю я, чтоб губы обжечь», не знаешь?

— Нет, — отвечал Николай Иванович. Он растирал ноги мездрой с овчины, средство давнишнее, народное, от онемения.

— Тогда эту: «Да, это был воскресный день, но мусора́ не отдыхают»?

— Нет, Геня. Как-то не приставало.

— Вот именно — не приставало. Я и говорю: чего тебе святым-то не быть, ничего не пристает, — вывел Геня. — А эту как продолжить: «Пьем за то, чтоб не осталось больше тюрем, чтоб не осталось по России лагерей»?

— Эту я слышал.

Геня взвинченно балабонил, рассказывал, как Арсеня насмешил его тем, что снова стал смотреть телевизор, слушать радио.

— Знаешь, как он начальников распределяет? Не по должности, а по фамилии. Говорит: «Вот мужик-то, кото-

рый Громыкой работает, он ничего», а кукурузу уже забыл, при ком сажали, говорит, что при Брежневе. Я поправляю: при Хрущеве. А батя: «А, — говорит, — все одно при них. На Малой земле, — говорит, — сажали».

Геня сам вытопил баню, сводил потихоньку Николая Ивановича. А еще до бани натаскал старикам полные сени дров, чтоб брать было ближе.

На вечерней молитве стоял молча сзади.

Утром Геня уехал.

15

А Николая Ивановича вовсе всего разломало. Еще держался Филиппов пост, еще перед Рождеством шебаршился по хозяйству, а с Крещенья слег.

— Совсем ты, отец, заумирал, — упрекала его Вера.

Она старалась как-то оттянуть его от, казалось ей, плохих мыслей о смерти, старалась разговорить Николая Ивановича, но тот, похоже было па то, собрался умирать всерьез. Лежал, перебирал край одеяла, будто четки, и глядел в потолок. Рая прибегала каждую свободную минуту, старалась хоть чем-то накормить. Но наступил Великий пост, и Николай Иванович на дух не подпускал ничего ни мясного, ни молочного. Вера тайком плакала. Ночью подходила к Николаю Ивановичу, склонялась, слушала дыхание. Он открывал глаза, шептал:

— Спи, спи, Веруша, спи, хорошо мне.

Какой там хорошо, она же видела его недомогание. А раз и сильно испугалась за его голову. Ночью он через силу встал и потащился к выходу, и в избе заблудился, спутал окно с дверью. Она проснулась, когда загремел и разбился горшок с геранью. Подскочила, подхватила, повела обратно, а он шептал:

— Дверь-то, дверь зачем заставили?

Еще однажды попросил:

— Степана, Степана приведи, пусть надо мной почитает.

Ох, тут уж Вера чуть не взвыла — разве забыл он, что Степан на Сретенье уехал, приходил на прощание посидеть, что они долго говорили? Значит, забыл, значит, разум мешается?

Попросил поставить образок святителя Николая Чудотворца перед глазами и перенести к нему лампадку. Ночью Вера со страхом видела на голубой подушке тем-

ное лицо Николая Ивановича, а страшней того было, когда он открывал светящиеся глаза. В глазах горели голубые искорки лампады. Иногда говорил что-то непонятное, иногда разбирала Вера две-три внятные фразы. Запомнила:

— Как ни живи, а Страшный суд все ближе и ближе.

— Молитвы недоходчивы, свечи зря ставил, зане зело грешен аз.

— Ногами, ногами молиться, ногами ходить, ноги отняты, нет прощения.

Иногда же какое-то время говорил связно. Рассказал поразившее его видение:

— Видел Николая Чудотворца на коне. Сурово глядит. Ногу, говорит, тебе одну отдерну. И коня от часовни повернул, и прямо по сверху реки на коне отъехал. Надо, надо часовню восстановить.

Рая допрашивала брата: где именно, кроме ног, болит?

— Нигде не болит, — шептал он, — и ноги не болят, везде слабость. Сердце, то совсем будто без него, то всю грудь заполнит и распирает.

Рая и смелеющая рядом с ней Вера постоянно тормошили Николая Ивановича. Поднимали, меняли рубаху, обтирали влажным полотенцем, он не сопротивлялся, только шептал:

— До смерти скоро замучаете. Какие вы, право, разве плохо умирать? Умирать хорошо, плохо жить во грехах. Хужей того другим тяжесть доставлять.

Однажды, уже совсем весной, слышно было, как течет с крыши, Николай Иванович сам подозвал Веру. Она тут и сидела, дремала в ногах.

— Веруша, я вот чего вспомнил. Ты в святцы Степана записала о здравии?

— Конечно.

— Еще монгола запиши, имя не знаю, запиши слово «монгол», запиши. Я объясню сейчас. Подними немного. — Вера подоткнула ему под спину запасную подушку. — Вот, хорошо. Ты вечером чем меня поила?

— Чаем со зверобоем.

— А-а. От него я, наверное, и вспомнил. В лагере со мной были два монгола, ихние священники, ламы. Старый и помоложе. Старый хорошо по-русски знал, а молодой хуже. Ламы. Тоже над ними издевались. Молиться не давали, в общем, как и мне, как и баптистам, но они изо всех были самые терпеливые. Я с ними со-

шелся. Старый мне доверился, просил помочь молодому бежать. А куда побежишь? Он говорит: надо, вера угаснет, если он и его ученик ее не продолжат. Просил научить русским молитвам. Молодой с моих слов «Отче наш» и «Богородицу» затвердил. Я тоже ихний «Отче наш» заучил: «Ом мани падме хум...». И вот этот парень бежал. Его не хватились дня три, потому что старик глаза им отвел, себя за него выдавал, а старого вроде того что по санчасти числили. Потом старика этого долго мордасили, на комаров привязывали, это ведь лето, тундра, прости им, Господи, но он выжил. И вот прошло почти два года, и ему, этому монголу, этому ламе, как-то кто-то сообщил, что молодой бежал через всю страну, всю Сибирь полтора года и в Монголию через границу вернулся. И тогда старик весь свой порошок можжевельника, у них можжевельника веточки вроде наших свечек, они сушили и терли можжевельник, он весь этот можжевельник поджег, долго молился лицом на восток, к родине, значит, потом меня поцеловал, сказал, что Иисус Христос — лучший брат Будды, и умер. Так что ты одного монгола напиши об упокоении, другого — о здравии. — Николай Иванович передохнул. — Вот все думаю: шел полтора года, никто не выдал. Да как же это можно русских людей скотинить? Мы всех спасаем, себя вот только забыли. Дай попить. — Вера подала. — У них вера красивая, у них земля как мать святая, им нельзя ее пахать, а наши им насильно трактора вдвигали. Только у них смерть не по-нашему. Мы умираем раз и ждем всеобщего Воскресения, а они перевоплощаются. Хорошо жил — в следующий раз в следующей жизни будешь поближе к Будде. Плохо жил — будешь собакой или еще кем. Этот старик, конечно, на ихних небесах, хотя нет, почему, он снова живет. Никого не пиши в упокой, пиши обоих о здравии.

— Запишу.

— Еще запиши, кого Рая скажет. Рая, надиктуй. Рая, — позвал он.

— Придет, придет скоро Рая. Утро скоро, — сказала Вера.

— Еще запиши Хасида Мухамаддеева, — попросил Николай Иванович. — Тоже пострадал, вместе сидели. У них тоже с нашим похоже, чего нам делить? И он про Магомета говорил, что Иисус — брат его. Еще запиши в поминание всех ненавидящих и обижающих, Шлемкина запиши, и иже с ним, еже попусти их Господь пытать веру христианскую.

И замолчал. Вера задремала, но снова очнулась от шелестящего четкого шепота Николая Ивановича.

— На могилку мне земельки принеси с Великой, принеси, не забудь.

Вера тихо плакала.

16

А по первой траве, по первой зелени в Святополье заявилась... Катя Липатникова. С внучкой. Ну, уж и внучка у нее была. Как ее бабушка, пока еще не громогласная, но до того бойка, что все диву давались. Эта Настя детей Ольги Сергеевны стала немедленно укорять, что они взяли городские гостинцы и стали есть.

— Мы же сказали спасибо, — защищалась Аня.

— Спасибо сказали, а «Отче наш» не прочитали. А вот и Адам погиб от чего? От того, что яблоко взял от Евы, а «Отче наш» перед едой не прочитал. Вот! И был низвергнут.

— Слушай, слушай! — гремела Катя Липатникова, — слушай мою внучку, моя выучка! А про Адама и яблоко это она сама. Сама! Еще сама тоже одному гостю у нас сказала тоже крепко. Он наелся, откинулся, брюхо гладит, ну, говорит, душу отвел. Настенька ему тут же: «Это плохо, дяденька, что вы душу отвели, нельзя душу отводить». Иваныч, вставай, Настя, вели ему встать. Иваныч, скоро Великорецкая.

— Уж не ходок я. Ты поведешь.

— Да как это можно! — закричала Катя, — как это может быть, чтоб баба повела, нет, парень, шалишь! Вставай. Ты, парень, обязан Шлемкина пережить. Он от больших трудов на курорт уехал, силы копит. И тебе пора. Вон твой курорт — завалинка. Для начала.

— Дедушка! — настойчиво звала Настенька, — идем на солнышко, там чего-то увидишь, того не бойся, я с тобой.

И ведь выполз на завалинку Николай Иванович. А Настенька придумала вот какую штуку: она заранее нарисовала огромные следы у ворот, всего три, и сказала, что тут утром прошел человек в обуви тысячного размера.

— Ты что, не веришь, дедушка?

— Верю, — сказал Николай Иванович. — Вот такой-то человек до Великой быстро дошагает.

— В этом году и я пойду, — заявила Настенька.

— А как родители?

— Они бабушку боятся.

— Бабушку твою не только родители боятся, ее любые начальники боятся.

— Бабушка никого не боится, она только Бога боится. И меня так учит, — сказала Настя, глядя вопросительно.

— Правильно говорит.

— А папа возьмет да и выпорет ремнем. Когда без бабушки. Он ремень у кровати повесил.

— Родителей надо уважать.

— Ого, уважать! За то, что ремнем?

Этот педагогический вопрос осгался без ответа. Подошел брат Арсеня. Сапоги его по голенища были в глине. Поздоровался, и будто не было долгой зимы, будто только вчера виделись, сразу заговорил:

— Ак чего, парень, чего-то все про революцию талдычат. Как ни включишь радио: революция и революция. Куда еще революцию, будто недостаточно. Это ведь если революция, то в новые колхозы погонят, да в новые лагеря. Революция, дурак понимает, — это борьба за власть, а власть другой революции не терпит и заранее сажает. И песни нагаркивают все лихие: «Ленин такой молодой и Октябрь впереди», как, парень, думаешь? А ежели власть у народа, то какой народ ее опять отнимает? Как думаешь?

— Думаю, скоро июнь, думаю, дойду или нет до Великой. Ты сколь по распутице пропахал, может, пойдем вместе?

— Может, и пойдем, — сказал вдруг Арсеня. — Ты моего Геньку правильно поворачиваешь. Меня уж поздно...

— Доброе дело никогда не поздно.

— А его надо бы от вина и пустомельства оттянуть. А я бы тебя позвал, помнишь, договаривались летом, позвал бы на могилку Гриши съездить, а? Надо бы, брат. Оба мы с тобой тюремщики, надо бойцу поклониться. Да надо бы и в розыск об отце подать. Как это «без вести пропавший», так не бывает. Ты скажешь: Бог знает его, где он.

— Да.

— Вот и спроси Бога, пусть откроет.

— Где земля заповедала, там и лежит.

Ночевал Арсений у Раи. А Катя Липатникова с внучкой у Николая Ивановича. Да и всего-то одну ночку. А перед отъездом и сказала, что не за тем приезжала, чтобы пенсию передать, Настей похвалиться, нет, главное, сказала она, просил настоятель церкви передать, что

давнюю просьбу Николая Ивановича помнит и что эта просьба удовлетворена. Какая просьба, не сказал, сказал, что Николай Иванович знает.

Николай Иванович знал. Просьба его была, когда особенно допекал Шлемкин, когда гнали со всех работ, просьба была — место в монастыре, он бы в любом монастыре не был иждивенцем. С его-то руками. Но тогда мест не было. Сейчас, после послаблений, место нашлось.

— Просил согласие передать. Передавать? — спросила Катя.

Николай Иванович посмотрел на огонек лампадки, помолчал.

— Нет. Скажи, что стар стал, что боится в тягость быть.

— Так и сказать?

— Так. Благодарил, мол, и кланялся.

— Так что за просьба у тебя была? — не утерпела Катя.

— Ой, Катя, совсем забыла, — заговорила Вера. — Возьми хоть килограмм десять картошки, возьми. Очень хороша. И Насте понравилась.

— Да. Без нитратов, — вымолвила Настя.

Когда Вера вернулась от повертки, от автобуса, проводив гостей, она сразу сказала:

— Вот что, Николай Иванович, вот что выслушай от меня: ступай с Богом в монастырь, это тебе не дом престарелых, ступай.

— Нет, Вера, нет.

— Из-за меня не идешь? Не надо, я в силах, уйду к сыну. — Вера отвернулась к кухонному столу, будто на нем что прибирая.

Николай Иванович прошел от кровати до передней, топнул ногой:

— Слышишь! Аж половицы гнутся, во как ты меня на ноги поставила... Нет, Вера, не пойду, не пойду в монастырь. И мечтал, и просился, а надо жить в миру. А просился еще до тебя, тут и это учти. В миру, в миру надо жить. Хоть и грешишь больше, а сколько заблудших видишь, до того их жалко, чего тебе объяснять. Как мы хорошо зиму зимовали, а? Как песню спели. Если обидел в чем, прости, Христа ради прости.

Вера, отвернувшись по-прежнему, мотала головой.

Николай Иванович продолжил:

— Ведь именно ты меня выволокла. Лежу, думаю:

ну, беда — умру без покаяния, без причащения, без соборования. Были мне видения, но я их, по своей греховности и недостойности, считал за прелести и старался забыть. Видел и ангела в сияющих одеждах, как в писании, одетого в одеянии, яко из молнии вытканном. Но думал, что это вообразилось. Думаю, такого могут сподобиться только праведники. А когда смерть пришла, тут я сразу согласился, что это именно она.

— А как понял? — спросила Вера. Она промокала лицо платочком.

— Черная. Другой не бывает. Но я как-то, по болести или по безволию, не забоялся и только хотел произнести «В руце Твои...» и так далее, как ты прямо подлетела и ее выгнала. Прямо полотенцем крест-накрест хлестала.

— А когда это примерно?

— Еще когда утром кисленького питья попросил.

— А-а. Нет, это я мух, наверное, отгоняла. Пригрело, они ожили и загудели, я на них полотенцем.

Николай Иванович подошел, развернул Веру к себе лицом и неловко приласкал.

— Давай, матушка, сухари суши. Великорецкая близко.

17

Как они, христовенькие, шли, это может только тот рассказывать, кто с ними ходил. Шел потихоньку Николай Иванович, опирался на свой посох, оглядывался. Лепилась к нему щебетунья Настя. Но постоянно щебетать ей не давала бабушка Катя Липатникова. Высоким, громким голосом она первая заводила акафист преподобному Николаю Чудотворцу. И тянулся акафист над размытыми дорогами, разъезженными колеями, под дождливым небом. И не бывало, и не будет у нас распевней и согласнее хора. И перепоет этот хор любые наши песни и гимны. Шел этот крестный ход, как ходил уже свыше шести столетий. Все видел он: дождь и град, тучи и звезды, комаров и мух, да только не думал он, что увидит, как выходят на него, на беспомощных стариков и старух, здоровенные мужи, коих хорошо бы представить с косой да с топором, ан нет. «С Богом покончено!» — объявляли они. Где те борцы? В каких огнях, в каких пределах корчатся от ужаса их души? Кто отпоет их, кто простит, кто поймет?

Ждал на берегу Шлемкин, ждали милиционеры в яркочерных сапогах.

— Поворачивайте! — закричал он.

Конечно, не повернули старики. Как будто не знал того Шлемкин. Вот встретились они глазами с Николаем Ивановичем.

— Подойди, — велел Шлемкин, — поговорить надо.

— Что говорить, молиться идем, — отвечал Николай Иванович.

— Эх ты! — закричала Катя Липатникова, махая на Шлемкина черным платком. Старухи всегда к Великорецкой купели шли в темных платках, а обратно — в беленьких. — Эх ты, какую голову имеешь, наверно, безразмерную, а того не поймешь, что петух понимает со своей головой маленькой. Славу Богу поет, а ты, ты... диверсант безголовый, вот кто!

— Ты ответишь, Липатникова, — закричал Шлемкин. — Запиши, — велел он офицеру возле себя и ему же скомандовал: — Не давать им парома!

— Дак как же это? — растерялся Николай Иванович, — мы же платим за перевоз.

— Не нужны ваши деньги! Лучше б их в фонд мира отдали, — посоветовал Шлемкин.

— Или вам, — сказал Николай Иванович. — Уж не тридцать ли вас, всем бы по сребренику.

— Нам зарплаты хватает! — сообщил Шлемкин. — А парома не получите. И жалуйтесь куда хотите!

У парома встали два милиционера.

Первым в воду пошел Николай Иванович.

— Отец, отец, — закричала Вера, — нельзя тебе, нельзя!

— Верую! — возвестил Николай Иванович, чувствуя, как холодная вода перелилась через голенища и приятно охолодила натертые ноги.

— Ве-е-рую! — возвестила Липатникова.

И все, старики и старухи, сколько их было, с пением «Символа веры» двинулись вброд и вплавь через реку Великую. Пошли, чтобы поклониться месту величайшего чуда — обретения иконы святителя Николая, любимого русского святого.

А было это позорище для одних и подвиг для других, было это на святой Руси, в вятской земле в год тысячелетия принятия христианства на русской земле.

Господи, прости нас, грешных! Надеющиеся на Тебя да не погибнем! Да, мы рабы, но только твои, Господи. Аминь!

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ПОВЕСТИ

Крупин В. Н.
К84 Избранное: В 2 т. Т. 2. — М.: Мол. гвардия, 1991. — 559[1] с.

ISBN 5-235-01445-6 (т. 2)
ISBN 5-235-01444-8

Во второй том избранных пронзведений пнсателя входят: рассказы, цикл «Вятская тетрадь», повестн «Боковой ветер», «Во всю нваиовскую», «Прости, прощай...», «Велнкорецкая купель».

К $\frac{4702010201-057}{078(02)-91}$ 078—91 ББК 84Р7

ИБ № 7082

Крупин Владимир Николаевич

ИЗБРАННОЕ: В 2 т. Т. 2

Заведующнй редакцней В. Перегудов
Редактор Г. Кострова
Художннкн А. Озоревская, А. Яковлев
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор Т. Кулагнна
Корректор Е. Дмитриева

Сдано в набор 11.06.90. Подпнсано в печать 29.01.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. нмп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 29,82. Учетно-нзд. л. 31,8. Тнраж 100 000 экз. Цена 5 руб. Заказ 1163.

Тнпография ордена Трудового Красного Знаменн издательско-полнграфнческого объедииения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-01445-6 (т. 2)
ISBN 5-235-0444-8